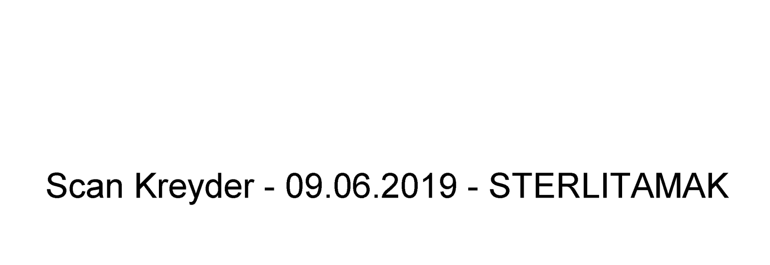
ФЕДОР АБРАМОВ



ФЕДОР АБРАМОВ

ДЕЛА РОССИЙСКИЕ

Повести и рассказы

МОСКВА
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ"
1987

ББК 84Р7
А16

Абрамов Ф. А.

А 16 Дела российские: Повести и рассказы. — М.: Мол. гвардия, 1987. — 526[2] с. — (Б-ка юношества).

1 р. 40 к. 200 000 экз.

В сборник включены повести и рассказы о родных местах писателя — русском Севере. В своих произведениях писатель поднимает вечные вопросы: любовь к родине, земле, семье, верность идеалам человечности, размышляет о судьбах русского крестьянства, русской природы. Издание рассчитано на массового читателя.

А $\frac{4803010102-036}{078(02)-87}$ 177—87 ББК 84Р7

Составитель Л. В. КРУТИКОВА

ИБ № 4978

Федор Александрович Абрамов

ДЕЛА РОССИЙСКИЕ

Редактор
С. ИОНИН

Художник
В. ЮДИН

Художественный редактор
К. ФАДИН

Технический редактор
Е. БРАУДЕ

Корректоры
Н. ОВСЯНИКОВА, Н. ПОНКРАТОВА

Сдано в набор 18.04.86. Подписано в печать 22.12.86. Формат 84×108 1/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. л. 27,72. Условн. кр.-отт. 27,72. Учетно-изд. л. 29,4. Тираж 200 000 экз. (1-й завод 100 000 экз.). Цена 1 р. 40 к. Заказ 1037.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

САМЫЙ НАДЕЖНЫЙ СУДЬЯ — СОВЕСТЬ

Федор Александрович всегда был искренним другом молодежи, любил встречаться, беседовать с молодыми читателями. Одним из последних было выступление писателя в студии «Останкино».

При подготовке сборника было решено открыть книгу сокращенной записью этого выступления.

Уважаемые товарищи, дорогие друзья! Я рад встрече с вами...

Предваряя ваши вопросы, я отвечу сразу же на один, который обычно встречается в каждом письме и на который чаще не отвечаешь: кто ты родом, откуда? Как пришел в эту жизнь? И разумеется, как стал писателем?

Я родился в красивейшем месте России, для меня, конечно, красивейшем. В Архангельской области, в селе Веркола, на реке Пинеге. В краю белых ночей и бескрайних лесов, к сожалению, ныне немало поределых. В краю былин и сказок. Конечно, жизнь моя поначалу складывалась совсем не сказочно. Большая, многодетная крестьянская семья, ранняя безотцовщина. Заботы, постоянные заботы о куске хлеба насущного. Но, конечно, были и в моем детстве, и моей юности свои радости. И прежде всего — это учеба, до которой я был великий охотник. Мне удалось после окончания средней школы поступить в Ленинградский университет. В 1938 году, когда мне было восемнадцать лет и когда первый раз я встретился с городом — это был Архангельск, столица нашего Севера, — я получил первые впечатления о большой цивилизации. Помню, мне ужасно не понравилось городское многолюдье. Поразил мое воображение паровоз, который я тоже впервые увидел в жизни. И страшно не понравилась опера «Евгений Онегин». Не понравилась потому, что я, как всякий разумный, нормальный человек (так я считал), привык к тому, что люди, общаясь друг с другом, говорят обычными словами, а тут обращаются с песнями друг к другу. Это мне казалось крайне неестественным.

Отечественная война застала меня на третьем курсе Ленинградского университета. Ну, вполне понятно, что я, как все наши ребята, все мои товарищи, сразу же записался в народное ополчение. Был великий тогда патриотический подъем и среди молодежи всей страны, и среди ленинградцев. Воевал под Ленинградом. Был дважды ранен. Второй раз очень тяжело. Самые тяжелые дни блокады пережил в Ленинграде. Потом эвакуация на Большую землю по Дороге жизни через Ладогу. Окончил университет в 1948 году. Потом аспирантура. Защитил кандидатскую диссертацию и работал в Ленинградском университете. Старший преподаватель, доцент. Последние шесть лет заведовал кафедрой советской литературы. В 1958 году я написал (на свою беду или на счастье) первое свое художественное произведение — роман «Братья и сестры». И это предопределило, решило всю мою дальнейшую судьбу. В 1960 году, через два года после окончания этого романа, я покинул университет и перешел на вольные хлеба.

Как стал писателем?

Хотя я родился в таежной, в лесной глуши, в четырехстах километрах от ближайшего города, но имя писателя для меня всегда, с малых лет было окружено ореолом почитания и особой славы. Короче говоря, для меня никогда не было более высокой должности на земле, чем писательская. И естественно, мне хотелось испробовать свои силы, я тянулся к слову. Но я из крестьянской патриархальной семьи, где, так сказать, в общем, смелость не очень поощряется. Короче говоря, я очень робел и только в 1950 году, под давлением своего друга (мы как раз отдыхали в то лето на одном хуторе Новгородской области), я начал писать первые главы своего будущего романа «Братья и сестры».

Начал я сразу с самой большой литературной формы — романа. Обычно начинают с очерка, с рассказа. Ну, в лучшем случае, с повести. Но мне казалось, аспиранту несолидно начинать с какой-то малой формы. Этим объясняются мои сложности. Я сочинял свой первый роман целых шесть лет. В великой тайне от всех. Нынче, как только появляется товарищ, у которого влечение к слову, он сразу же объявляет о том, что занимается литературой, и требует соответствующего к себе внимания. Я, наоборот, всячески скрывал свои писания. И о том, что я что-то делаю, знали два-три самых моих ближайших человека. И вот я окончил роман. Два года

его отфутболивали редакции... Потом случайно мне повезло, и роман опубликовала «Нева». Это было в 1958 году. И это первый случай, когда мой роман, мое большое произведение было сразу же принято доброжелательно. И читателем, и критикой.

Два года я колебался, думал, что мне делать, как быть... Но потом стало ясно, что раздираться между литературой и наукой невозможно. И я очертя голову бросился на новую стезю.

Вот и все, что касается моих анкетных данных. А теперь позвольте сразу перейти к ответам.

— *Федор Александрович, скажите, пожалуйста, кто из ваших учителей оказал на вас самое большое влияние?*

— Ну, я даже немножко растерян, потому что надо было бы начинать, может быть, разговор с литературы, но начнем с этого. Человек — это произведение чьих-то рук. И в самый раз мне начать с учителей.

Скажу так: человек — это и учителя, и ученики. У каждого человека очень много учителей. Да, в общем, до последнего дня жизни, хочет он это признать или нет, он учится. Ну, и у меня, конечно, тоже было очень много учителей. В общем, делали меня многие люди, начиная с детства. Были неграмотные учителя, которые оставили большой след в моей жизни. Были очень грамотные, были профессора знаменитые, академики; мне немало приходилось встречаться в жизни с крупными художниками, с выдающимися нашими советскими художниками, с артистами, с композиторами. В общем, много, много было учителей, и эти учителя есть в моей жизни и сегодня. Причем речь идет даже не о возрасте. Учителя бывают и весьма солидные, старше меня по возрасту, но бывает и молодежь. И воздействие этих учителей из молодежи бывает не менее полезным для тебя, чем слово старших.

Так вот, если говорить об учителях всех периодов (разумеется, всех невозможно перечислить), я бы отметил двух человек, которые оказали на меня если не решающее воздействие, то очень большое влияние. Первый человек — это моя родная тетушка Иринья, старшая сестра моей матери. Это была старая дева, малограмотная, что называется в народе «христова невеста». Швея, со своей старенькой, разбитой машинкой «Зин-

гер» она обходила, обшивала всю нашу большую деревню...

И приход ее в каждый дом был великой радостью, потому что вместе с тетушкой Ириньей в дом входил свет, входила благость, входили доброта, само милосердие, бескорыстие. И люди на глазах добрели. В семье прекращались, кончались всякие ссоры. И на неделю, иногда на десять дней, иногда на две недели, в зависимости, от количества пошива в этом доме, воцарялось нечто вроде рождества Христова или пасхи, какой-то благоговейной тишины, какой-то удивительной красоты, доброты и сердечности...

Тетушка, конечно, у меня была очень религиозная, староверка. И она была начитанна, она прекрасно знала житийную литературу, она любила духовные стихи, всякие апокрифы. И вот целыми вечерами, бывало, люди слушают, и я слушаю, и плачем и умиляемся. И добреем сердцем. И набираемся самых хороших и добрых помыслов. Вот первые уроки доброты, сердечности, первые нравственные уроки — эти уроки идут от моей незабвенной тетушки Ириньи.

Второй учитель, имя которого я тоже с благоговением и трепетом называю, это Алексей Федорович Калянцев — учитель средней школы. Это был человек невероятно ярких способностей, как я сейчас понимаю, но окончил он всего лишь учительскую семинарию. И после учительской семинарии целиком себя посвятил работе на ниве народного просвещения, пополнил армию тех, о ком у Некрасова сказано: сеяли доброе, вечное. Алексей Федорович приехал к нам юношей на Пинегу и сыграл, конечно, выдающуюся роль в просвещении пинежского населения. Он вырастил не одно поколение учеников, детей. Были тогда времена другие — особой роли, особого места учителя в школе. Алексей Федорович не только учил детей. Он учил взрослых. Тогда была кампания ликбеза, ликвидация безграмотности взрослого населения. И, конечно же, во главе этого дела стоял Алексей Федорович. Конечно же, он был и во главе самодеятельного театра. Он был естественник, химию преподавал, биологию, естествознание. Насаждение агрономических знаний среди крестьянства — конечно же, Алексей Федорович. И все, все — Алексей Федорович. Перед ним — таков уж был авторитет этого несравненного человека — благоговела вся Пинега. И бывало, когда в любой мороз — а у нас морозы подходя-

щие, и под сорок и за сорок — проходит Алексей Федорович по главной улице райцентра, мужик, завидев его с той стороны, снимает шапку, обнажает свою лысину и кланяется. И конечно, старуха тоже отдает дань почтения народному учителю.

Алексей Федорович по своим знаниям, подчеркиваю, мог бы быть известным в науке, мог бы занять самую, мне кажется, лучшую кафедру в наших университетах. Но он предпочел удел народного учителя, удел бескорыстного, незаметного для других и мало поощряемого деяния...

Вот это мои самые главные учителя.

— Один критик написал о вас, что вы лечите болью, вы согласны с ним?

— Ну, я думаю, что тут почти даже нечего рассуждать: лечат ведь двумя радикальными средствами — радостью и болью. Радость — великолепное лекарство, но у радости есть одна слабость. Она сильных укрепляет и окрыляет, а слабых убаюкивает и расслабляет. В то время как боль, боль... Сказать человеку вовремя о его слабостях, о его самочувствии, о его недостатках, о зародышах какой-то беды, или боли, или хворобы, которые в нем сидят, — это очень хорошо. Очень хорошо. Я лечу, по-моему, двумя средствами: мне кажется, что в моих сочинениях есть и радость, ну, конечно, есть и боль. Ну как же без боли, как же не болеть за свое родное, кровное? Хорош был бы я гусь, а? А еще к этому добавлю, что лекарства более действенны не сладкие, а все горькие, как правило.

— Какое место в вашей жизни занимают музыка, живопись, поэзия?

Занимают очень большое место. В живописи у меня есть очень надежные учителя, авторитеты, которых я очень люблю. Это наш выдающийся художник Андрей Андреевич Мыльников. Очень люблю я работы второго нашего ленинградца — Моисеенко. Совсем в другом духе пишет Шаманов. Шаманова люблю. Очень ценю работы, которые, к сожалению, не получают должного выхода к зрителю, работы моего друга, очень серьезного, думающего, мыслящего Евгения Мальцева. Нравятся мне некоторые работы художника, имя которого не очень громко звучит, а для некоторых совсем не звучит — Федора Мельникова. Я просто оплакиваю недав-

но, и так трагически, и так нелепо скончавшегося Попкова, с его удивительными северными полотнами. Вообще, о живописи я могу вам говорить много, я страшно люблю живопись, русскую живопись двадцатого века, и считаю, что это одна из вершин в мировой живописи, тоже до сих пор на Западе недооцененная. Удивительна живопись XX века! На эту тему можно много говорить.

В музыке я не ахти как образован, хотя очень люблю; к сожалению, до сих пор не могу сделать обязательным для себя регулярное посещение филармонии — это большой пробел: что без музыки за жизнь! Среди музыкантов, сегодня работающих, я особенно бы отметил Георгия Свиридова, музыканта выдающегося и очень разнообразного, глубокого и какого-то духовного, в традициях которого живет духовная музыка нашего русского средневековья, русского возрождения, которое мы только недавно для себя открыли.

Поэзия. Ну, без поэзии куда и вся литература, в том числе и проза? Проза — постольку литература, поскольку она поэзия. В поэзии я мог бы назвать... обождите, тут надо маленько подумать. Ну, видите ли, в поэзии сегодня, я бы сказал, некая наблюдается пауза, некое затишье, а в 50-е годы взрыв был: поэзию читали на стадионах... Сегодня мы наблюдаем некий штиль на поэтическом море, хотя пишут у нас этих стихов просто необозримо и нечитаемо.

Поэзии маловато сегодня. Ну, кого бы я назвал из наших поэтов? Прежде всего назвал бы Андрея Вознесенского. Его можно упрекать за излишнее экспериментаторство, хотя литература, живопись да и поэзия без экспериментаторства невозможны, но это поэт очень большой, яркий... необычной формы, поэт, которым очень ярко, современными средствами, средствами НТР выражен дух нашей эпохи. Конечно, Андрей Вознесенский выражает одно из направлений нашей эпохи, она богаче, и нельзя в Андрее Вознесенском искать все и вся, этого не бывает...

Очень люблю, не пропускаю ни одного стихотворения Юрия Кузнецова, Владимира Соколова, Анатолия Жигулина, оплакиваю и каждый раз рыдаю над стихами, особенно последними, так рано скончавшегося Николая Рубцова. Очень дорога мне, очень нежно люблю я Ольгу Фокину, которая мне представляется нашим самым ярким поэтом из женщин. Можно говорить очень

много. Но будем надеяться, что мы живем в состоянии некоего затишья, которое разразится поэтической грозой.

— Как вы соедините гуманизм Пушкина с его строками в «Евгении Онегине»: «...кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей»?

— Ну, ничего тут страшного нет, это не универсальное, не глобальное презрение. Кого-кого, а уж Пушкина в человеконенавистничестве заподозрить никак нельзя, это был величайший жизнелюб и величайший был человеколюб... Пожив, особливо с мое, становишься немножко — и это признак, если хотите, ума — становишься скептиком во всех отношениях, в том числе и в отношении человека, его природы. Человеческая природа — невероятно сложная штука. Мы говорим: человек звучит гордо, нет ничего прекраснее, царь природы — все это верно. Но ведь и нет в живом мире таких падений глубоких, кои наблюдаются среди людей. Короче говоря, природа человека у нас еще очень мало изучена, как это вам ни покажется диким и странным: казалось бы, о чем писать, о чем думать нам и размышлять — прежде всего о том, что такое человек. И мы, конечно, думаем, всю жизнь думаем, но, к сожалению, я должен вам со всей откровенностью сказать, что, может быть, менее всего изучен и понят человек. Это и огорчает, но это и лишний раз убеждает в неограниченной красоте, в многообразии и богатстве того существа, имя которому человек.

— Федор Александрович, вы много писали о деревне, а не было у вас желания написать о жизни города? Ведь вы прожили в Ленинграде не один год, неужели он вас не вдохновил на какую-нибудь тему?

— Да, вопрос, упрек, конечно, справедливый. Но это не совсем верно. Надо о городе тоже писать. Да, надо, но сердцу не прикажешь. А писатель — это сердце... Извилины работают очень напряженно, должны работать, но всем распоряжается в писательском хозяйстве сердце, интуиция, какая-то внутренняя подсказка. У меня есть задумка написать о городе, даже где-то робко его ввожу, но это не очень хорошо получается, ну, а потом я весь переполнен по-прежнему деревней. А что значит деревней я переполнен? Я переполнен Россией, периферийной Россией, на которой держится вся наша

городская жизнь. Мы в городе, может быть, только плоты плавучие в этом народном море, океане, который называется Россия. Так что, мне кажется, пусть кто о чем хочет пишет, главное, чтобы в его писаниях ощущалось время и ставились вопросы и проблемы, которыми мы с вами живем.

— Федор Александрович, в зарубежной прессе часто пишут о том, что с развитием техники наступает закат... и голубой экран постепенно заслоняет печатное слово, вот как бы вы, писатель, разубедили людей, не верящих в бессмертие книги?

— Одно время я тоже разделял опасения такого же рода: и не потеснит ли голубой экран книгу? Но время показало, что нет. Это не мешает, и не только у нас (у нас читаемость не снизилась, а увеличилась). Мне приходилось говорить на эту тему и за границей. Одно время была волна — все захлестывало кино. А вот сейчас итальянцы, например, жалуются, что не затащишь никого в кино, прогорают театры, а книжка, книжка — она не прогорает при условии, если она хорошая книжка. Вот тут мало надо: только напиши хорошую книжку — и, братцы мои, успех обеспечен, тебе не надо беспокоиться... И картину хорошую экран не потеснит, мы в этом тоже убедились, на хорошую выставку отбоя нету, очереди стоят. В общем, ничто хорошее ничем не вытесняется.

— Какие процессы современной жизни вам кажутся наиболее важными?

— Я бы сказал, что это процессы и глобального порядка, и нашего внутреннего порядка, союзного, а еще, скажем, уже российского порядка. Ну, что касается глобальных процессов, тех процессов, которые втягивают в свою орбиту все человечество, весь мир, всю нашу планету, то это прежде всего вопросы мира, войны и мира, тут, так сказать, споров на этот счет не может быть, и, конечно, все зависит от решения этого коренного вопроса, и, конечно, мы не только каждый внимательно следим за этим, но в меру своих сил делаем все для того, чтобы дело мира восторжествовало. К глобальным вопросам относится и проблема народонаселения. Вы народ грамотный, читающий, вы знаете, что, по предсказаниям некоторых демографов, через двадцать или двадцать пять лет население земного шара увеличится в два раза. Задумайтесь, что это такое, какие проблемы,

какие вопросы, какие трудности возникают перед человечеством: это жилье, а значит — современные города, число домов нужно удвоить, это проблема питания, это проблема обеспечения водой, которая сегодня становится очень ценным, так сказать, минералом на земле, это многие-многие другие вопросы. Это проблемы распределения материальных благ. И вот в этой связи я хотел бы всем вам порекомендовать прочитать книгу римского публициста Аурелио Печчеи «Человеческие качества»... В этой книге много спорного. Он, например, ставит вопрос так: чтобы человечество смогло выжить, оно должно радикально изменить свою природу. Это, конечно, чистая утопия, это нереально, но, помимо утопических воззрений, в этой книге огромная информация, много всяких сведений и рассуждений. Мне особенно показалось привлекательным предложение, которое он выдвигает перед людьми: самая насущная потребность нашего времени — это необходимость установления минимума и максимума потребностей, необходимость ликвидировать тот чудовищный разрыв, который существует между отдельными людьми, отдельными группами, сословиями и классами в обладании материальными богатствами. Вот это, так сказать, на тему о глобальных проблемах, которые стоят перед человечеством.

Что касается внутренних проблем, чего уж тут говорить, вы сами все понимаете, их очень много. Это устройство прежде всего Нечерноземья, так принято, так часто называют сегодня коренную Россию, откуда пошло наше великое государство. Это дороги прежде всего, это устройство жилья деревень, которые опустели, из которых ушли люди, — много, много вопросов, — это, наконец, вопрос о русском лесе, который нещадно вырубается, это вопрос о русских реках. Это вопрос о водах, о животных, и это вопрос, наконец, о тишине. В общем вопросов очень много, и все их надо решать, но их можно решить только при одном условии, и на это мне хотелось бы обратить ваше внимание — при условии решительного искоренения, решительной борьбы с пассивностью, равнодушием и безразличием, которые еще бытуют в нашей жизни.

— Какие у вас были самые горестные и самые радостные моменты в жизни?

— Тут придется касаться «автобио». Самый первый и самый горестный момент в моей жизни связан с

1932 годом. В этом году я окончил начальную школу. Окончил первым учеником (без хвастовства). Казалось бы, первому ученику должны прежде всего раскрыться двери в школу. А тогда как раз у нас впервые на базе нескольких деревень была создана первая в нашей округе пятилетка. И вот приняли всех детей бедняков, детей красных партизан, хотя все мы были уже в колхозе, колхозниками, а меня, первого ученика, не приняли. Потому что я был сын середнячки. Когда умер отец, нас у матери осталось пятеро. Мал мала меньше, старшему пятнадцать, младшему — второй год. И отец оставил нам немного, наследие небольшое: коровенку и пол-избы. А к 1930 году, к моменту вступления в колхоз, мы были одной из самых состоятельных семей в нашей большой деревне. У нас было две коровы, две лошади, жеребенок, бык, штук десять овец, и все это сделала, сотворила наша детская коммуния. И вот это было поставлено в вину мне. И я, как сын середнячки, не попал в школу. Это была страшная, горькая обида ребенку, для которого ученье было — все. Но все в конечном счете в этом лучшем из миров кончается благополучно, и зимой меня все-таки приняли в пятилетку.

А самый радостный момент? Ну, радости много было в жизни. Радость — это когда выходит книжка, это когда мысль хорошая придет в голову, радость, когда хорошо выспишься, когда встретишь интересного человека. Но самая большая радость в моей жизни — это то, что я прошел через войну и остался жив. А на войне мне пришлось повидать много. В 41-м году, когда добровольцами мы все пошли (за немногим исключением, кто поехал держать оборону под Ташкентом) на фронт... В общем, у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди, с ребятишками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами... Страшно много случайностей, в результате которых я оказался жив. Это надо рассказывать очень долго, и вот для меня самый великий праздник — тут уж я открываю прописные истины — это, конечно, День Победы.

Ребят, которые со мной ушли на фронт, нет в живых. Сколько бывает огорчений, сколько невзгод в жиз-

ни, когда чуть ли не в петлю готов залезть, но вспомнишь, что ты остался в живых, а ведь все ребята, твои товарищи, погибли, может быть, самые талантливые, может быть, гениальные ребята... Мы подсчитали — двадцать миллионов, и то неточно. Двадцать миллионов или больше, мы не знаем, сколько погибло. А кто подсчитал, сколько погибло талантов, гениев? Как осиротела из-за этого, оскудела наша советская, русская земля. Это не подсчитано. И поэтому для меня всегда самое первое утешение, что я живу, и я должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету.

— *Как вам представляется будущее деревни и русского крестьянина?*

— Вопрос очень серьезный. Ну, конечно, проще всего вам бы обратиться с этим вопросом к министру сельского хозяйства. У него в руках вся цифирь, все планы, все прогнозы на будущее, плюс к тому — армия научных работников. Можно было бы, конечно, обратиться к нашим социологам. Они очень точно подсчитали, что, скажем, опоздания на работу понижают производительность труда. Можно было бы, конечно, попытать фантастов. Они любят фантазировать о будущем и прогнозы строить. Но если говорить по моему собственному разумению, как мне представляется проблема, то я бы сказал так... У деревни существуют два пути. Или проблема деревни, проблема крестьянства имеет два решения.

Первое решение — деревня кончается, деревня исчезает с лица земли и уходит в небытие, и чем это скорее произойдет, тем лучше. А что взамен? Взамен агрогорода, агрокомплексы. Короче говоря, промышленное сельскохозяйственное производство, полная, полнейшая механизация, без всяких сантиментов. Буренушка там... никаких буренушек, доильная машина, «биологического», так сказать, строения — полная механизация, полная машинизация. Есть в этом резон, в таком подходе к сельскому хозяйству? Есть резон. И такой путь развития сельского хозяйства дает неплохие плоды.

Возьмите Америку. Я своими глазами видел в бытность свою в Америке — действительно, там никаких сантиментов не существует. Я был там и на крупных ранчо, то есть огромных фермах, на средних и на мелких, которые стоят на грани исчезновения. Меня все

интересовало, и я ездил по этим фермам. И вот я на средней ферме... Все там камень, все железо, упитанные коровы и прочее и прочее. Я спрашиваю хозяина: «Ну, а вы знаете всех их по именам? Коров?» — «Как по именам? Зачем?» Я говорю: «У нас и сейчас доярки: Буренушка, Мальва, Ольга, кто как изощрится, такое имя и называют, и чешут, и ласкают». — «Ну, что за глупости, конечно же, я не знаю имен, и коров не знаю. Коров я знаю только больных, которые заболели и которые перестали давать мне молоко. Сразу принимаю меры, я замечаю, отличаю здоровую от больной коровы, и этим отношения человеческие с коровой кончаются». Это вот американский путь. Может быть, несколько в огрубленном виде.

А второй путь, этого пути придерживаются многие писатели-деревенщики, в значительной мере его разделяю и я. И этот путь практически осуществляется в ряде стран. Скажем, успешно осуществляется в Чехословакии, хорошие результаты он дает в Венгрии. Этот путь заключается в том, чтобы деревню сохранить. Конечно, с введением всех, так сказать, благ цивилизации, городского быта и так далее. Но деревню сохранить. Почему это важно? Дело не только в материальной стороне дела. Деревня русская — это ландшафты, наша Родина, мать и прародина всего. Дело в том, что исчезновение связей, утрата связей человека с животными, с землей, с природой может обернуться очень серьезными последствиями. И в Америке эти последствия еще не изучены, там не знают, что даст полная механизация, машинизация. Они могут обернуться очень серьезной стороной для человеческой природы. Потому что земля, животное, общение с ними — это один из главных резервуаров, из которых черпается человечность, строится человечность в человеке. Исчезнут эти отношения любви, доброты с животными и землей, повторяю, неизвестно, чем это кончится. Не отразится ли это вообще на самой природе человеческой и не поведет ли к каким-то очень серьезным и непредвиденным изменениям национального характера?

— *Каким представляется вам лицо сегодняшнего мещанина?*

— Ну, такого мурла мещанина, как у Маяковского, Зощенко, сегодня нет. Сегодняшний мещанин очень образованный. Это прежде всего. Если надо, очень дели-

катный и очень хорошо владеющий искусством мимикрии. Причем с высоким начальством он один, а с низким — другой. Таким мне хотелось представить Таборского: он может разговаривать и с районным и областным начальством, и вместе с тем он — парень-рубаха, свой в доску с механизаторами. И их разлагает: воруйте, ребята, я сам цыган и вам не мешаю.

Вот таков примерно сегодняшний мещанин...

— Расскажите, пожалуйста, как складываются отношения с редакторами, издательствами, Твардовским, нынешними.

— Большой вопрос. Я уже говорил вам частично, что мне каждую крупную вещь приходилось печатать с большим трудом. Что касается Александра Трифоновича Твардовского, то он сыграл в моей жизни выдающуюся роль. Он первый, когда меня пять лет не печатали нигде, напечатал «Две зимы и три лета». И вообще Твардовский сыграл (хотя я не могу сказать, что я был с ним на короткой ноге, что я дружил с ним, хотя встречался с ним довольно много и знаю его, как мне кажется, довольно хорошо) в моей жизни редкую, исключительную роль. Я и сейчас пишу и думаю с оглядом на Твардовского: а как бы на это посмотрел и оценил Твардовский? Потому что не было в моей жизни, в мою бытность в литературе человека, который более нетерпимо относился бы ко всякого рода лжи и фальши, чем Твардовский.

— Я читал ваше выступление на съезде писателей. Вы говорите, что перестройка, обновление жизни только социальными средствами, не подкрепленными душевной работой каждого человека, не могут дать желаемого результата. Что вы подразумеваете под душевной работой каждого человека?*

— Вопрос очень сложный. За неимением времени коснусь коротко. Издревле, с очень давних пор существуют два способа обновления, два способа перестройки жизни. Один путь — социальных революций и социальных реформ, второй путь, который особенно яростно проповедовал в нашей русской жизни и в нашей литературе Лев Николаевич Толстой, — это путь нравственного усовершенствования, нравственного самовоспитания личности, каждого человека. Долгое время к этому

---

* Автор вопроса имеет в виду VII съезд писателей СССР.

учению Льва Толстого, прекрасному учению Толстого, которое является сердцевиной всего его творчества, у нас относились негативно. Были на то основания, потому что это отвлекало от революции, но сегодня мы можем должным образом оценить учение этого великого человека, потому что опыт показывает — социальная перестройка жизни, не подкрепленная душевной работой каждого, не может дать должных результатов.

Что я понимаю под душевной работой каждого? Это самовоспитание, строительство собственной души, каждодневный самоконтроль, каждодневная самопроверка высшим судом, который дан человеку — судом собственной совести. Совесть — это как раз та сила, которая помогает сдирать с человека коросту эгоцентризма, коросту всякой затхлости. Это та сила, которая выводит человека на пути широкого братства, требовательности к себе и людям.

— Культура личности — что вы вкладываете в это понятие?

— Прежде всего культурный человек для меня — это не обязательно человек с высоким образованием. Культурным человеком, и так было в старину, в деревне может быть и неграмотная старуха, неграмотный старик. Культурный человек определяется, на мой взгляд, прежде всего своим строем души, минимальным эгоцентризмом и самой широкой открытостью людям, жизни, желанием прийти в любую минуту, в любых обстоятельствах на помощь павшему и падшему, проявить милосердие и, конечно, быть требовательным к себе прежде всего, а следовательно, и к людям; короче говоря, руководствоваться самым надежным самоконтролем, самым надежным судом, имя которому совесть.

— Как случилось, что большинство ваших героинь — русские женщины, что они во многих произведениях потеснили мужчин?

— Ради ответа на этот вопрос я, пожалуй, встану. Я уже говорил о лирических причинах, почему меня так привлекают женщины. Прежде всего женщина мне дорога своей ролью в нашей жизни. Мужчина пришел с работы — большинство к телевизору. У женщины, и это мы все хорошо знаем, после рабочего дня на предприятии, в школе, на фабрике дома начинается второй рабочий день, не менее сложный, не менее трудный, а мо-

жет быть, и тяжкий. Это беготня по магазинам, дети, обедишко какой-никакой надо сварганить, постирать, и так далее... Короче говоря, шутки шутками, но работы у женщин чрезвычайно много, и некоторые наши эмансипированные женщины сегодня наверняка кричат: «Назад, даешь домострой, даешь закрепощение». Это в нынешней жизни. А что сказать про войну? Из моей деревни Веркола ушла целая рота мужиков, сейчас в клубе на самом видном месте висит в траурной рамке список погибших, не вернувшихся с войны, — сто двадцать восемь мужиков. Так вот, русская женщина, русская баба, сельская баба (я не говорю о городской, беру только этот пример) во время войны впряглась в эту работу. То, что раньше мужики пахали поля, и сено ставили, и прочее, все это она взвалила на свои плечи, и, будьте спокойны, она это делала не хуже мужиков. Пройдитесь по сегодняшним полям — они запущены наполовину, так ведь техники сегодня сколько, тракторов одних сколько! А сенокос? А вот эта самая баба с одной косилкой, с одним плугом, с серпом, — она все выжинала, она хлебом кормила фронт, и похоронки на нее сыпались в это время, и детишек нужно было оприютить и как-то обиходить, сохранить хоть корень мужа, убитого на войне, хоть фамильный корень. Я все это видел, и когда у нас говорят, пишут, что второй фронт в эту войну был открыт в 44-м году, — это неверно. Второй фронт был открыт русской бабой еще в 1941 году, когда она взвалила на себя всю эту мужскую непосильную работу, когда на нее оперлись всей своей мощью фронт, армия, война. Я уже не говорю о подвигах той же русской женщины после войны. Ведь, бедная, думала, что война кончилась — начнется жизнь, а война кончилась, к ней снова: давай хлеб, давай молоко, корми города, давай лес, кубики. И если бы вы знали нашу лесную Россию, сколько поколений девушек были повенчаны с пнем в лесу вместо мужика. А безотцовщина? Трудно даже вообразить, что все это пало на плечи русской женщины. Я не буду сегодня говорить о той роли, которую сыграла русская женщина в истории, ведь и в прошлом Россия всей тягостью опиралась на женщину. Таково было положение в России, что большую часть своей жизни наш мужик воевал. И вот очаг домашний, тепло домашнее, песня — все это теплилось, и взрастало новое поколение прежде всего вокруг женщины, это нельзя забывать никогда. И конечно же, русская баба,

русская женщина достойна самых великих памятников. К сожалению, наши памятники не всегда отвечают этому. Всегда ли узнаешь в них Мать с ее бесконечной любовью, с ее способностью к великому самопожертвованию, с ее вечным страхом и заботой и робостью в глазах? Я верю, я надеюсь, что у нас, наряду с этими монументальными образами, появятся памятники, когда на пьедестал шагнет простая, всем знакомая русская женщина-мать.

— Федор Александрович, хотелось бы услышать ваше мнение о современной молодежи.

— Значит, о молодежи. Это вопрос вопросов, об этом надо говорить, и очень много, и долго, но я постараюсь быть кратким, если это вообще в моих силах. Ну, что молодежь? Прежде всего молодежь у нас разная. Есть хорошая молодежь, и я эту молодежь встречал сам везде. Ну вот, начну со своей родной деревни. Мой племянник Владимир, младший сын старшего моего покойного брата. Чудо же парень: механизатор, он и тракторист, он и сам машину водит, он и мотоциклист, он и дом отхлопал один, чуть ли не лучше всех в Верколе. Он — совесть, голубя не обидит, прекрасный парень. Единственный его недостаток — чрезмерная, как у его покойного отца, совестливость. И вот я знаю, что Владимир сейчас вместе с вами будет смотреть эту передачу, и я тебе, голубчик, не сердись на дядю, я тебе прямо скажу, все-таки себя тоже побереги маленько, а то что ж, нельзя же двадцать часов в сутки работать. Больного везти в район — он, доярок везти — он, за силосом ехать — он, старухе что-то сделать — он, и так далее. В общем, мне очень не нравится, что у тебя, парень, уже в двадцать семь лет радикулит.

В той же деревне три брата Абрамовых (у нас много в Верколе Абрамовых), моего приятеля Петра Александровича дети — три механизатора, один другого лучше; очень хорошие ребята у Геннадия Васильевича Белоусова. У нас в Верколе растет сын вдовы моего покойного приятеля, Абрамов Виктор Константинович — очень хороший парень. Из самых молодых мне очень нравится сын управляющего Ваня Серебренников.

Вот возьмите театральную молодежь. Казалось бы, с театром всегда у нас связано представление о богеме и прочих вещах. Те ребята, о которых я рассказывал, — это сама чистота, которой может позавидовать кто угод-

но. Возьмите школьников: недавно я получил от школьников литературного клуба письмо и получаю две книги — свои книги. «Федор Александрович, нашему дорогому Юрию Максимовичу Чухненко исполняется круглая дата, мы очень хотим, чтобы вы поставили свой автограф». Я, конечно, если бы они обратились ко мне, все книжки отправил бы, какие у меня есть, а тут трогательно: где-то нашли эти книжки, купили и, более того, сделали секрет: «Ни в коем случае об этом никого не оповещайте». И тут же приложена фотография. Великолепные ребята с прекрасными, жизнерадостными лицами. И среди художников знаю прекрасных девушек. Я уже не говорю о наших строителях на БАМе, где я не был, но о котором много читал, о строителях новостроек — много, много хорошего.

Но я не буду убаюкивать молодежь, мне не все нравится в современной молодежи. И буду говорить совершенно откровенно. Самый главный недостаток, который я замечаю, — у нашей молодежи нередко не хватает молодости. Молодости в смысле идеализма в высшем понятии этого слова, в смысле идеалов, в смысле порывов, в смысле романтики, в смысле устремлений к высшему. Слишком много практицизма, слишком много внимания к барахлу, к барахольщикам, слишком много, ну, не слишком — я сгущаю краски по обыкновению — встречаются, выразимся культурно, элементы жестокости, о которых пишут в газетах, недоброты, действительно с этим часто встречаешься. Но тут я меньше всего готов винить саму молодежь, я думаю, во многом виноваты прежде всего родители, да и окружение, скажем прямо. Нет должной требовательности, взыскательности. Я на нынешних родителей просто смотреть не могу. Как они возятся, как они нянчатся, как они ползают на брюхе вокруг своего чада. И тут, сколько лет, сколько десятилетий у нас живет один и тот же, так сказать, афоризм: мы худо жили, пусть поживут хоть наши деточки.

Так вот, дорогие родители, дорогие товарищи папы и мамы, ваши дети не будут жить хорошо, они будут жить плохо, потому что так вы воспитываете поросят, эгоистов и прочее.

Самая главная основа в воспитании молодежи, в делании молодежи — это трудовое воспитание, а есть ли оно у нас? Есть. Опять-таки сошлюсь прежде всего на свою деревню, на свой район. Я, например, замечаю: в Комарове под Ленинградом дети летом, целое лето то-

мятся в пионерских лагерях. Это же ужас! Ничего не делают, едят-пьют, в лучшем случае раз-два физкультуру делают. Еще что? Ну, в лучшем случае пробарабанят, в лучшем случае линейку проведут, но боже мой, если бы мне предложили повторить снова мою юность в этих формах, я бы сказал: нет, не надо, благодарю.

У нас в деревне тоже паразитов малолетних хватает, а все-таки, скажем прямо, ученические звенья, которые работают в моей родной деревне, в Верколе, работают целое лето. Особенно хорошо это дело поставлено в таком прославленном совхозе, которому голова мой друг и приятель Александр Иванович Галышев, в Суре. Там чуть ли не тридцать процентов сенокосных страдных работ выполняют ученики средней школы. Братцы мои, я с шести лет начал косить, с шести лет начал работать. Иной сегодняшний восьмилеток — так достань, дядя, воробышка. Это же отнимает радость у ребят. Трудовое воспитание — это даже понимают «темные» капиталисты. Там до восемнадцати лет человека кормят, папа и мама кормят, а потом ауфвидерзейн, оревуар, до свидания, вставай на ноги. Сынки миллионеров работают летом официантами, зарабатывают деньги. Почему бы у нас всем фронтом не насаждать это трудовое воспитание? Я этого не понимаю. Тут можно говорить много, это претензии всем родителям, но я не снимаю ответственности и с молодежи, я не намерен гладить по головке и молодежь, молодежь тоже виновата... Я со многими разговаривал: почему так? «А у нас не организуют, а нам что». Так вы что, голубчики, что вы за молодежь, вы ждете, что вам воткнут в одно место шприц и введут вакцину молодости? Да что, что же это такое? Молодежь потому и называется молодежью, что она призвана омолаживать мир, заражать своей неуемной энергией, беспокоить! И заражать всех и вся, нас стариков, зеленым цветом молодости.

ПОВЕСТИ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНИ

1

О приезде старой Милентьевны, матери Максима, в доме поговаривали уже не первый день. И не только поговаривали, но и готовились к нему.

Сам Максим, например, довольно равнодушный к своему хозяйству, как большинство бездетных мужчин, в последний выходной не разгибал спины: перебрал каменку в бане, поправил изгородь вокруг дома, разделал на чурки с весны лежавшие под окошками еловые кряжи и, наконец, совсем уже в потемках, накидал досок возле крыльца — чтобы по утрам не плавать матери в росяной траве.

Еще больше усердствовала жена Максима — Евгения. Она все перемыла, перескоблила — в избах, в сенях, на вышке, разостлала нарядные пестрые половики, до блеска начистила старинный медный рукомойник и таз.

В общем, никакого секрета в том, что в доме вот-вот появится новый человек, для меня не было. И все-таки приезд старухи был для меня как снег на голову.

В то время, когда лодка с Милентьевной и ее младшим сыном Иваном, у которого она жила, подошла к деревенскому берегу, я ставил сетку на другой стороне.

Было уже темновато, туман застилал тот берег, и я не столько глазом, сколько ухом угадывал, что там происходит.

Встреча была шумной.

Первой, конечно, прибежала к реке Жука — маленькая соседская собачонка с необыкновенно звонким голосом — она на рев каждого мотора выбегает, — потом, как колокол, загремело и заухало знакомое мне железное кольцо — это уже Максим, трахнув воротами, выбежал из своего дома, потом я услышал тонкий плаксивый голос Евгении: «О, о! Кто к нам приехал-то!..», потом еще, еще голоса — бабы Мары, старика Степана, Прохора. В общем, похоже было, чуть ли не вся Пижма встречала Милентьевну, и, кажется, только я один в эти минуты клял приезд старухи.

Мне давно уже, сколько лет, хотелось найти такой уголок, где бы все было под рукой: и охота, и рыбалка, и грибы, и ягоды. И чтобы непременно была заповедная тишина — без этих принудительных уличных радиодинамиков, которые в редкой деревне сейчас не гремят с раннего утра до поздней ночи, без этого железного грохота машин, который мне осточертел и в городе.

В Пижме я нашел все это с избытком.

Деревушечка в семь домов, на большой реке, и кругом леса — глухие ельники с боровой дичью, веселые грибные сосняки. Ходи — не ленись.

Правда, с погодой мне не повезло — редкий день не перепадали дожди. Но я не унывал. У меня нашлось еще одно занятие — хозяйский дом.

Ах, какой это был дом! Одних только жилых помещений в нем было четыре: изба-зимовка, изба-летница, вышка с резным балкончиком, горница боковая. А кроме них, были еще сени светлые с лестницей на крыльцо, да клеть да поветь саженей семь в длину — на нее, бывало, заезжали на паре, — да внизу, под поветью, двор с разными стайками и хлевами.

И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком, не спеша. Вразвалку. Чтобы не только сердцем и разумом, подошвами ног почувствовать прошлые времена.

Теперь, с приездом старухи, на этих разгулах по дому надо поставить крест — это было мне ясно. И на моих музейных занятиях — так я называл собирание старой крестьянской утвари и посуды, разбросанной по всему дому, — тоже придется поставить крест. Разве смогу я втащить в избу какой-нибудь пропылившийся берестяный туес и так и этак разглядывать его под носом у старой хозяйки? Ну, а о всяких там других привычках и удовольствиях, вроде того чтобы среди дня завалиться на кровать и засмолить папиросу, об этом и думать нечего. Забудь. Не смей! Старуха в доме.

2

Я долго сидел в лодке, приткнутой к берегу.

Уже туман наглухо заткал реку, так что огонь, зажженный на той стороне, в доме хозяев, был похож на мутное желтое пятно, уже звезды высыпали на небе

(да, все вдруг — и туман, и звезды), а я все сидел и сидел и распалял себя.

Меня звали. Звал сам Максим, звала Евгения, а я закусил удила — и ни слова. У меня даже одно время появилась было мыслишка укатить на ночлег в Русиху — большую деревню, километра за четыре, за три вниз по реке, да я побоялся заблудиться в тумане.

И вот я сидел, как сыч, в лодке и ждал. Ждал, когда на той стороне погаснет огонь. С тем, чтобы хоть ненадолго, до завтра, до утра, отложить встречу со старухой.

Не знаю, сколько продолжалось мое сидение в лодке. Может быть, два часа, может быть — три, а может, и четыре. Во всяком случае, по моим расчетам, за это время можно было и поужинать, и выпить уже не один раз, а между тем на той стороне и не думали гасить огонь, и желтое пятно все так же маячило в тумане.

Мне хотелось есть — давеча, придя из лесу, я так спешил на рыбалку, что даже не пообедал, меня колотила дрожь — от сырости, от ночного холода, и в конце концов — не пропадать же — я взялся за весло.

Огонь на той стороне сослужил мне неоценимую службу. Ориентируясь на него, я довольно легко, не блуждая в тумане, переехал за реку, затем так же легко по тропинке, мимо старой бани, огородом поднялся к дому.

В доме, к моему немалому удивлению, было тихо, и если бы не яркий огонь в окошке, можно было бы подумать, что там уже все спят.

Я постоял-постоял под окошками, прислушиваясь, и решил, не заходя в избу, подняться к себе на вышку.

Но зайти в избу все-таки пришлось. Потому что, отворяя ворота, я так брякнул железным кольцом, что весь дом задрожал от звона.

— Сыскался? — услышал я голос с печи. — Ну, слава богу. А я лежу и все думаю, хоть бы ладно-то все было.

— Да чего неладно-то! — с раздражением сказала Евгения. Она тоже, оказывается, не спала. — Это вот для тебя светильню-то выставила, — кивнула Евгения на лампу, стоявшую на подоконнике за спинкой широкой никелированной кровати. — Чтобы, говорит, постоялец в тумане не заблудился. Ребенок постоялец-то! Сам-то уж не сообразит, что к чему.

— Да нет, всяко бывает, — опять отозвалась с печи старуха. — Кой год у меня хозяин всю ночь проплавал по реке, едва к берегу прибился. Такой же вот туман был.

Евгения, охая и морщась, начала слезать с кровати, чтобы покормить меня, но до еды ли мне было в эти минуты! Кажется, никогда в жизни мне не было так стыдно за себя, за свою безрассудную вспыльчивость, и я, так и не посмев поднять глаза кверху, туда, где на печи лежала старуха, вышел из избы.

3

Утром я просыпался рано, как только внизу начинали ходить хозяева.

Но сегодня, несмотря на то что старый деревянный дом гудел и вздрагивал каждым своим бревном и каждой своей потолочиной, я заставил себя лежать до восьми часов: пусть хоть сегодня не будет моей вины перед старым человеком, который, естественно, хочет отдохнуть с дороги.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись с вышки, я увидел в избе только одну Евгению.

— А где же гости? — Про Максима я не спрашивал. Максим после выходного на целую неделю уходил на свой смолокуренный завод, где он работал мастером.

— А гости были да сплыли, — веселой скороговоркой ответила Евгения. — Иван домой уехал — разве не чул, как мотор гремел, а мама, та, известно, — за губами ушла.

— За губами! Милентьевна за грибами ушла?

— А чего? — Евгения быстро взглянула на старинные, в травяных узорах часы, висевшие на передней стене рядом с вишневым посудным шкафчиком. — Еще пяти не было, как ушла. Как только начало светать.

— Одна?

— Ушла-то? Как не одна. Что ты! Который год я тут живу? Восьмой, наверно. И не было вот годочка, чтобы она в это время к нам не приехала. Всего наносит. И соленых, и обабков, и ягод. Краса Насте. — Тут Евгения быстро, по-бабьи оглянувшись, перешла на шепот: — Настя и живет-то с Иваном из-за нее. Ей-богу! Сама сказывала весной, когда Ивана в город возила от вина лечить. Горькими тут плакала. «Дня бы, говорит, не мучилась с ним, дьяволом, да мамы жалко». Да, вот

такая у нас Милентьевна, — не без гордости сказала Евгения, берясь за кочергу. — Мы-то с Максимом оживаем, когда она приезжает.

И это верно. Я никогда еще не видел Евгению такой легкой и подвижной, ибо по утрам она, шлепая по дому в старых разношенных валенках и в стеганой телогрее, всегда стонала и охала, жаловалась на ломоту в ногах, в пояснице — у нее была тяжелая жизнь, как, впрочем, у всех деревенских женщин, юность которых пала на военную страду: только с багром в руках она тринадцать раз прошла свою реку от вершины до устья.

Сейчас я глаз не мог отвести от Евгении. Просто чудо какое-то произошло, будто ее живой водой вспрыснули. Железная кочерга не ворочалась, плясала в ее руках. Печной жар трепетал на ее смуглом моложавом лице, и черные круглые глаза, такие сухие и строгие, сейчас мягко улыбались.

На меня тоже напал какой-то непонятный задор. Я быстро сполоснул лицо, сунул ноги в калоши и выскочил на улицу.

Туман стоял страшенный — я только теперь понял, что на окошках не занавески белели. Реку затопило с берегами. Даже верхушек прибрежных елей на той стороне не было видно.

Я представил себе, как где-то там, за рекой, в этом сыром и холодном тумане, бродит сейчас с коробкой старая Милентьевна, и побежал в сарай колоть дрова. На тот случай, если придется затоплять баню для иззябшей старухи.

4

Я раза три в то утро выбегал к реке, да столько же раз, наверно, выбегала Евгения, и все-таки мы не укараулили Милентьевну. Явилась она внезапно. В то время, когда мы с Евгенией завтракали.

Не знаю, то ли оттого, что ворота на крыльце не были заперты, то ли мы с Евгенией слишком заговорились, но только вдруг дверь подалась назад, и я увидел ее — высокую, намокшую, с подоткнутым по-крестьянски подолом, с двумя большими берестяными коробками на руках, полнехонькими грибов.

Мы с Евгенией выскочили из-за стола, чтобы при-

нять эти коробки. А сама Милентьевна, не очень твердо ступая, прошла к прилавку у печи и села.

Она устала, конечно. Это видно было и по ее худому тонкому лицу, до бледности промытому нынешними обильными туманами, и по ее заметно вздрагивающей голове. Но в то же время сколько благостного удовлетворения и тихого счастья было в ее голубых, слегка прикрытых глазах. Счастья старого человека, хорошо, всласть потрудившегося и снова и снова доказавшего и себе и людям, что он еще не зря на этом свете живет. И тут я вспомнил свою покойную мать, у которой, бывало, вот так же довольно светились и сияли глаза, когда она, до упаду наработавшись в поле или на покосе, поздно вечером возвращалась домой.

Евгения, ахая, причитая: «Вот какая у нас бабка! Мы еще сидим — брюхо набиваем, а она уже наработалась», — развернула бурную деятельность. Как подобает примерной невестке. Она занесла легкий ушатик из сеней, вымытый, выпаренный, заранее приготовленный для засолки грибов, сбегала в клеть за солью, наломала в огороде свежего пахучего смородинника, а потом, когда Милентьевна, немного передохнув, ушла переодеваться на другую половину, начала сворачивать на середке избы пестрые половики, то есть готовить место для засолки.

— Думаешь, она сейчас исть-пить будет? — заговорила Евгения, как бы объясняя мне, почему она не хлопочет сперва о завтраке для свекрови. — Ни за что! Старорежимный человек. Покамест грибы не приберет, лучше и не заикайся об еде.

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили солнечные зайчики, грибной дух мешался с избяным теплом, и так славно, так приятно было смотреть на старую Милентьевну, переодевшуюся в сухое ситцевое платье, на ее темные, жиловатые руки, которые она то и дело погружала то в коробку, то в ушатик, то в эмалированную кастрюлю с солью, — старуха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтая молоденькая сыроежка со сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, волнушка и царь солех — масляный груздь, который особенно хорошо оправдывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так и кажется, что в его блюдце комками плавится топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью брал из коробки гриб и каждый раз, прежде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

— Что — не видал такого золота? — спросила меня Евгения. Спросила с подковыркой, явно намекая на мои довольно скромные приношения из леса. — Да вот, в том же лесу ходишь, а гриба хорошего для тебя нету. Не удивляйся. У ей с этим заречным ельником с первой брачной ночи дружба. Она из-за этих грибов едва живота не лишилась.

Я непонимающе посмотрел на Евгению: о чем, собственно, речь?

— Как? — страшно удивилась она. — Да разве ты не слыхал? Не слыхал, как муж в ей из ружья стрелял? Ну-ко, мама, сказывай, как дело-то было.

— А чего сказывать, — вздохнула Милентьевна. — Мало ли чего меж своих не бывает.

— Меж своих... Да ведь этот свой мало тебя не убил!

— А раз мало, то не в счет.

Черные сухие глаза Евгении неистово округлились.

— Я не знаю, ты, мама... Уж все вкось да поперек. Может, скажешь еще, что ничего и не было? Может, и головная трясучка у тебя не после этого?

Евгения заправила тыльной стороной руки выбившуюся прядку волос за маленькое ухо с красной сережкой-ягодкой и, видимо решив, что от свекрови все равно никакого толка не будет, начала рассказывать сама.

— Шестнадцати лет нашу Милентьевну взамуж выпихнули. Может, еще и грудей-то не было. У меня не было в эти годы, ей-богу. А про то, как девка жить будет, про то разве раньше думали? Отец, родимый батюшко, на житье женихово позарился. Один парень в доме, красоваться будешь. А какая краса, когда дикарь на дикаре вся деревня?

— Да, может, хоть не вся, — возразила Милентьевна.

— Не защищай, не защищай! Кто хошь скажет. Дикари. Да и я помню. Бывало, к нам в праздник в большую деревню выберутся — орда ордой. Все скопом — женатые, неженатые. С бородами, без бороды. Идут, орут, каждого задирают, воздух портят — на всю деревню пальба. А дома у себя — никто не видит — и того чище. Уж каждый с какой-нибудь придурью да забавой. Один в сарафане бабьем бегает, другой — Мартын-

ко-чижик был — все на лыжах за водой на реку ходил. Летом, в жару, да еще шубу наденет, кверху шерстью. А Исак Петрович, тот опять на архиерее помешался. Бывало, говорят, вечера дождется, лучину в передних избах зажгет, набивник синий на себя наденет — сарафан бабкин — да ходит-ходит из избы в избу, псалмы распевает. Так, мама? Не вру?

— Люди не без греха, — уклончиво ответила Милентьевна.

— Не без греха! Каки таки грехи у тебя в шестнадцать лет были, чтобы из ружья стрелять? Нет уж, такая порода. Весь век в лесу да в стороне от людей — поневоле начнешь лесеть да сходить с ума. И вот в такой-то зверушник да девку в шестнадцать лет и кинули. Хошь выживай, хошь погибай — твое дело.

Ну, мама у нас решила перво-наперво свекра да свекровь на свою сторону перетягивать. Им угоду делать. А чем можно было перетянуть стариков в бывалошное время? Работой.

И вот новобрачные в первую ночь милуются да любуются, а Василиса Милентьевна у нас встала ни свет ни заря да за реку по грибы. Осенью тебя, мама, в это время выдали?

— Кажись, осенью, — не очень охотно ответила Милентьевна.

— Да не кажись, а точно, — убежденно сказала Евгения. — Летом-то много ли в лесу губ, а ты ведь коробку-то наломала за час — за два. Когда тебе было расхаживать по лесу, когда тебя муж дома ждет?

Ну вот, возвращается у нас Милентьевна из лесу. Рада. Ни одного дыма над деревней нету, все еще спят, а она уж с грибами. Вот, думает, похвалят ее. Ну и похвалили. Только она переехала за реку да шаг какой ступила от лодки — бух выстрел в лицо. Грозный муж молодую жену встречает...

У старой Милентьевны, как веревки, натянулись жилы на худой морщинистой шее, сгорбленная спина выпрямилась — она хотела унять дрожь, которая заметно усилилась. Но Евгения ничего этого не видела. Она сама не меньше свекрови переживала события того далекого утра, известные ей по рассказам других, и кровь волнами то приливала, то отливала от ее смуглого лица.

— Бог, бог отвел смерть от мамы. Далеко ли от огорода до бани? А мама как раз к бане подошла, когда

он ружье-то на нее навел, да, видно, рука-то после пьянки взыграла, а то бы наповал. Дробь и теперь в дверке у бани сидит. Не видал? — обратилась ко мне Евгения. — Посмотри, посмотри. Меня муженек сюда первый раз привез, куда, думаешь, перво-наперво повел? Терема свои показывать? Золотой казной хвастаться? Нет, к бане черной. «Это, говорит, мой отец мать учил...» Вот какой лешак! Все, все у них тут такие. По каждому кутузка плачет...

Я видел: старая Милентьевна давно уже тяготится этим разговором, ей неприятна наша бесцеремонная назойливость. А с другой стороны — как остановить себя, когда ты уже целиком захвачен этой необычной историей? И я спросил:

— Да из-за чего же весь этот сыр-бор загорелся?

— Пальба-та эта? — Евгения любила все называть своими именами. — Да из-за Ваньки-лысого. Вишь он, лешак, прости господи, неладно бы так своего свекра называть, хватился утром-то... Где вы, мама, спали? На повети? Туда-сюда рукой — нету. На улицу вылетел. А тут и она, молодая жена. Из заречья идет. Вот он и взбеленился. А, думает, так-перетак, к Ваньке-лысому ездила? На свиданье?

Милентьевна, к этому времени, должно быть, опять овладев собой, спросила не без издевки:

— А ты и про то знаешь, что твой свекор думал?

— Да почто не знать-то. Люди соврать не дадут. Иван-лысой, бывало, напьется: «Ребята, я смолоду в двух деревнях прописан: телом дома, а душой в Пижме». До самой смерти говорил. Красивый мужик был.

Ох, да чего рассусоливать. Женихов косяк у мамы был. За красоту и брали. Вишь ведь, она и теперь у нас хоть взамуж выдавай, — польстила свекрови Евгения и, кажется, впервые за все время, что рассказывала, улыбнулась.

Затем, как-то жеманно, с прищуром поведя своим черным безрадостным глазом, заговорила игриво:

— Ну, а тебя, мама, тоже не хвалю. Уж как ни молода была, а должна понимать, для чего взамуж берут. Всяко, думаю, не для того, чтобы по грибы в первую ночь бегать...

Ох, как тут сверкнули тихие голубые глаза у старой Милентьевны! Будто гроза прошла за окошками, будто там каленое ядро разорвалось.

Евгения сразу смешалась, поникла, я тоже не знал, куда девать глаза. Некоторое время все сидели молча, с особым старанием выбирая сор из грибов.

Милентьевна первой подала голос к примирению. Она сказала:

— Сегодня я уж вспоминала свою жизнь. Хожу по лесу да умом-то все назад дорогу топчу. Семой десяток нынче пошел...

— Седьмой десяток, как вы вышли замуж за Пижму? — уточнил я.

— Да хоть не вышла, а выпихнули, — с легкой усмешкой сказала Милентьевна. — Верно она говорит: не было у меня молодости. И по-нонешнему сказать, не любила я своего мужа...

— Ну вот, — не без злорадного торжества воскликнула Евгения, — призналась! А я рта не раскрой. Все не так, все неладно.

— Да ведь когда по живому-то месту пилят, и старое дерево скрипит, — еще примирительней сказала Милентьевна.

Грибы подходили к концу.

Евгения, поставив на колени пустую коробку, начала выбирать из грибного мусора ягоды — мокрую, переспелую чернику и крупную, в самой поре бруснику. Она все еще дулась, хотя нет-нет да и бросала время от времени любопытные взгляды на свекровь — та опять принялась за прошлое.

— Старые люди любят хвалить бывалошные времена, — говорила Милентьевна негромким, рассудительным голосом, — а я не хвалю. Нынче народ грамотной, за себя постоит, а мы смолоду не знали воли. Меня выдали взамуж — теперь без смеха и сказать нельзя — из-за шубы да и из-за шали...

— Неужели? — в страшном волнении воскликнула Евгения. — А я и не слыхала.

От ее недавней сердитости не осталось и следа. Жадное бабье любопытство, столь глубоко укоренившееся в ее натуре, взяло верх над всеми другими чувствами, и она так и впилась своим пылающим взглядом в свекровь.

— Так, — сказала Милентьевна. — Отец у нас, вишь, строился, хоромы возводил, каждая копейка была дорога, а тут я стала подрастать. Бесчестье, ежели дочь на игрище выйдет без новой шубы и шали, вот он и не

устоял, когда из Пижмы сваты приехали: «Без шубы и шали возьмем...»

— А братья-то где были? — опять, не выдержав, перебила Евгения. — Хорошие у мамы были братья. Беда как ее жалели. Как свечу на руках несли. Уж она взамужем была, у самих ребят полные избы, а все сестре помогали...

— А братья, — сказала Милентьевна, — в лесу в ту пору были. Лес на двор рубили.

Евгения живо закивала:

— Ну, тогда ясно, ясно. А я все голову ломаю, как такие братья, первые люди по деревне — из хорошего житья мама брана, — сестру любимую не могли отстоять. А оно вон что — их дома не было, когда тебя сватали...

После этого, уточняя все новые и новые подробности, неизвестные ей, Евгения опять стала забирать разговор в свои руки. И вскоре кончилось все тем, что негромкий голос Милентьевны совсем замолк.

Евгения переживала давнишнюю драму свекрови всем своим существом.

— Беда, беда, что могло быть! — размахивала она руками. — Братья услыхали: зять сестру застрелил — на конях прискакали. С ружьями. «Только одно словечушко, сестра! Сейчас дух выпустим». Крутые были. Силачи — медведя в дугу согнут, не то что там человека. И вот тогда мама и сказала им: «И не стыдно вам, братья дорогие, шум понапрасну подымать, людей добрых баламутить. Хозяин молодой у нас ружье пробовал, на охоту собирается, а вы невесть что взяли...»

Вот какая она у нас умница-разумница была! Это в шестнадцать-то лет! — Евгения с гордостью посмотрела на свою потупившуюся свекровь. — Нет, подними на меня Максим руку, я бы не вытерпела. Засудила бы и засадила куда следует. А она головой потряхивает да братьев своих отчитывает: «Куда суетесь? Есть у вас голова-то на плечах? Поздно мне теперь назад заворачивать, когда голова бабьим повойником покрыта. Надо тут мне приживаться да уживаться». Вот так, такой поворот всему дела дала.

Евгения вдруг всхлипнула. Она ведь, в сущности, была добрый человек.

— Ну дак уж свекор ей за это только что ноги не целовал. Что ты, что ты, ведь смертоубийство могло

быть. Братья распалились — чего им стоило решку на Мирона навести. Я-то маленькая была, худо помню Онику Ивановича, а люди старые и сейчас поминают. Откуда ни идет, с какой стороны ни едет, а подарок своей сношеньке завсегда. А ежели загуляет да начнут уговаривать остаться ночевать: «Нет, нет, робята, не останусь. Домой попадать буду. Я по своей Василисе Прекрасной соскучился». Все, как выпьет, Василисой Прекрасной называл.

— Называл, — вздохнула Милентьевна, и мне показалось, что ее старые, видавшие виды глаза повлажнели.

Евгения, по-видимому, тоже заметила это. Она сказала:

— Есть, есть за что помянуть добрым словом Онику Ивановича. Может, только он один и человек в деревне был. А тут все как есть урваи. — В Пижме все носят одну фамилию — Урваевы. — И Мирон Оникович, мой свекор-батюшко, тоже урвай. Да еще урвай-то какой. Другой бы на его месте после такой истории, знаешь, как повел себя? Тише воды ниже травы. А этот такая поперечина — за все взыск.

Милентьевна подняла голову, она, видно, хотела вступиться за своего мужа, но Евгения, опять вошедшая в раж, и рта открыть ей не дала.

— Нечего, нечего закрашивать. Всяк знает какой. Кабы хорошой был, разве не выпускал бы тебя десять лет с Пижмы? Нигде не бывала мама — ни у родителей своих, ни на гулянье. Да и куделю-то, бывало, пряла одна, и не на вечерянке. Вот какая ревность лешья была.

Да чего говорить? — Евгения махнула рукой. — За все спрос да взыск. Скажи-ко на милость, виновата ли жена, что все дети обличьем в ей, а не в отца, а у него и за то взыск: «Чей это голубель за столом рассыпан?» Все так допрашивал маму, когда напьется. А чего бы, кажись, допрашивать? Сам темный, небаскящий, как головешка копченая, лицо в шадринах, оспой болел, как, скажи, овцы ископытили... Да радоваться надо, бога вечно молить, что дети не в тебя...

Не знаю, то ли не понравилось Милентьевне, как невестка обращается с ее прошлым, то ли она, как крестьянка старого закала, не привыкла долго сидеть без дела, но она вдруг начала подниматься на ноги, и разговор у нас оборвался.

5

Дом Максима единственный в Пижме, который развернут фасадом вниз по течению реки, а все остальные стоят к реке озадками.

Евгения, не очень жаловавшая пижемцев, объясняла это просто:

— Урваи! Назло людям выставили свои поганые зады.

Но причина такой застройки, конечно, была иная — та, что Пижма расположена на южном берегу реки, и как же было отвернуться от солнца, когда оно и так не часто бывает в этих лесных краях.

Я любил эту тихую деревушку, насквозь пропахшую молодым ячменем, развешанным в пухлых снопах на жердяных пряслах. Мне нравились старинные колодцы с высоко вздернутыми журавлями, нравились вместительные амбары на столбах с конусообразными подрубами — чтобы гнус не мог подняться с земли. Но особенно меня восхищали пижемские дома — большие бревенчатые дома с деревянными конями на крышах.

Впрочем, сам по себе дом с коньком на Севере не редкость. Но я ни разу еще не видел такой деревни, где бы каждый дом был увенчан коньком. А в Пижме — каждый. Идешь по подоконью узкой травянистой тропинкой, в которую из-за малолюдья превратилась деревенская дорога, и семь деревянных коней смотрят на тебя с поднебесья.

— А раньше их поболе у нас было. В двух десятках деревянное стадо считали, — заметила Милентьевна, шагавшая рядом со мной.

Старуха который раз за эти сутки удивила меня.

Я думал, после завтрака она, старый человек, первым делом подумает об отдыхе, о покое. А она встала из-за стола, перекрестилась, принесла из сеней берестяной пестерь и начала привязывать к нему лямки из старого холстяного полотенца.

— Куда, бабушка? Не опять в лес? — полюбопытствовал я.

— Нет, не в лес. К дочери старшей, в Русиху лажу сходить, — по-старинному выразилась Милентьевна.

— А пестерь зачем?

— А пестерь затем, что, все ладно, завтра из-за

утра в лес уйду. Доярки коров доить поедут и меня прихватят. Мне, вишь, нельзя время-то терять. Я намало в этот раз отпущена, на неделю.

Евгения, до сих пор не вмешивавшаяся в наш разговор — она собиралась на работу, — тут не выдержала:

— Сказывай — намало отпущена. Завсегда так. Уж не отдохнет, не посидит без дела. Нет, моя бы воля — весь день лежала. А чего? Неужто человек только затем и родится, чтобы с утра до вечера чертоломить?

Я вызвался проводить Милентьевну до перевоза — а вдруг перевозчик опять в загуле и старухе потребуется помощь.

Но у Милентьевны нашлись помощники и кроме меня. Ибо не успели мы поравняться с конюшней, старым полуразвалившимся гумном на краю деревушки в поле, как оттуда с разбойным свистом и гиканьем вылетел Прохор Урваев. На гремучей немазаной телеге, в которую был запряжен Громобой, единственный живой конь в Пижме.

Когда-то этот Громобой, надо полагать, был рысак что надо, а сейчас от старости он походил на ходячий скелет, обтянутый сопревшей от лишая кожей, и если кто еще и мог заставить этот скелет погреметь старыми костями, так это Прохор — один из трех мужиков, оставшихся в Пижме.

Прохор, по обыкновению, был под мухой — от него так и разило дешевым одеколоном.

— Тета, тета! — закричал он, подъезжая. — Я твое добро помню. Я с утра дежурю с Громобоем, потому как знаю — тебе на перевоз. Так, тета? Не ошибся Прохор?

Милентьевна не стала отказываться от услуг племянника, и скоро телега с ней и Прохором покатила по зеленому выкошенному лугу к желтевшей вдали песчаной косе, где был перевоз.

Я вернулся домой.

Евгении дома уже не было — она ушла на поле помогать бабам убирать горох, и мне бы тоже в самый раз заняться своими делами — у меня и сетка за рекой не смотрена, да и в лес надо — когда еще выдастся такой ладный денек.

А я вошел в пустую избу, постоял неприкаянно под порогом и пошел на поветь.

С поветью меня познакомил Максим в первый же день (я сперва хотел спать на сеновале), и, помню, я просто ахнул, когда увидел то, что там было. Целый крестьянский музей!

Рогатое мотовило, кросна — домашний ткацкий станок, веретенница, расписные прялки-мезехи (с Мезени), трепала, всевозможные коробья и корзины, плетенные из сосновой драни, из бересты и корня, берестяные хлебницы, туеса, деревянные некрашеные чашки, с какими раньше ездили в лес и на дальние сенокосы, светильник для лучины, солонки-уточки и еще много-много всякой другой посуды, утвари и орудий труда, сваленных в одну кучу, как ненужный хлам.

— Надо бы выбросить все это барахло, — сказал Максим, словно бы оправдываясь передо мной, — ни к чему теперь. Да как-то рука не поднимается — мои родители кормились от этого...

С тех пор я редкий день не заглядывал на поветь. И не потому, что вся эта отжившая старина была для меня внове, — я сам вышел из этого деревянного и берестяного царства. Внове для меня была красота точеного дерева и бересты. Вот что не замечал я раньше.

Всю жизнь моя мать не выпускала из своих рук березового трепала, того самого трепала, которым обрабатывают лен, но разве я замечал когда-либо, что оно само льняного цвета — такое же нежное, лениво-матовое, с серебристым отливом? А хлебница берестяная. Мне ли бы не запомнить ее золотистого сияния? Ведь она, бывало, каждый раз, как долгожданное солнце, опускалась на наш стол. А я только и запомнил, что да когда в ней было.

И так все, что бы я ни взял, на что бы ни взглянул — и старый заржавелый серп с отполированным до блеска цевьем, и мягкая, будто медвяная чашка, выточенная из крепкого березового свала, — все раскрывало мне особый мир красоты. Красоты, по-русски неброской, даже застенчивой, сделанной топором и ножом.

Но сегодня, после того как я познакомился со старой хозяйкой этого дома, я сделал для себя еще одно открытие.

Сегодня я вдруг понял, что не только топор да нож — мастера этой красоты. Главную-то обточку и шлифовку все эти трепала, серпы, пестери, соха (да, была тут и

андреевна, допотопной раскорякой стоявшая в темном углу) прошли в поле и на пожне. Крестьянские мозоли обкатывали и полировали их.

6

На следующий день с утра зарядил дождь, и я опять остался дома.

Как и вчера, мы с Евгенией долго не садились за стол: вот-вот, думалось, придет Милентьевна.

— Не должна бы она сегодня далеко-то убрести, — говорила Евгения. — Не маленький ребенок.

Но шло время, дождь не переставал, а на том берегу — я не отходил от окошка — все никого не было. В конце концов я накинул на себя плащ и пошел затоплять баню: хорошо из нынешней лесной купели да прямо на горячий полок.

Бани в Пижме, черные, с каменками, стоят рядком неподалеку от реки, под огородами, которые как бы греются на взгорке.

Весной, в половодье, бани топят, и с верхней стороны против каждой из них врыты бревенчатые быки — для сдерживания и дробления напирающих льдин, а кроме того, от этих быков к баням протянуты еще могучие тяжи, свитые из березовых виц, так что бани стоят как бы на приколе.

Я спросил как-то у Максима: к чему все эти премудрости? Не проще ли было поставить бани на взгорке, там, где расположены огороды?

Максим по-урваевски, как бы сказала Евгения, рассмеялся:

— А затем, чтобы веселее жить. Весной знаешь, бывало, какую пальбу по этим льдинам откроем! Ой-ей-ей! Из всех ружьев.

На следы дроби в старой продымленной дверке я обратил внимание еще в первые дни своего пребывания в Пижме — она сплошь изрешечена, а сейчас, затопив баню и вспомнив вчерашний рассказ Евгении, я попытался даже определить, какие тут дробины от того заряда, который выпустил когда-то по молодой Милентьвне ее муж. Но из этого, конечно, ничего не вышло. Да, откровенно говоря, мне было и не до прошлого. Потому что очень уж погано сегодня в лесу было, и как там старая Милентьевна? Все ли с ней в порядке?

Евгения тоже беспокоилась о свекрови. Она не могла усидеть дома и пришла ко мне.

— Не знаю, не знаю, что и подумать, — сокрушенно качала она головой. — Это уж она на Богатку уперлась — не иначе. Вот какая вот упрямая старушонка! Хоть говори, хоть нет. В ее ли годы под таким дождем лешачить в лесу.

Прикрыв лицо смуглыми руками, сложенными козырьком, Евгения поглядела на реку и еще более определенно сказала:

— Учёсала, учёсала — больше некуда деваться. В прошлом году вот так же: ждем-ждем ее, все глаза проглядели, а она на свою Богатку укатила.

Я знал про Богатку — это поскотина в трех-четырех верстах от Пижмы вверх по реке, но я никогда не слыхал, что там много грибов и ягод, и спросил об этом Евгению.

Она по привычке, когда дело казалось ей яснее ясного, округлила свои черные глаза:

— С чего! Какие грибы на Богатке? Может, теперь-то и есть — все лесом заросло, а раньше там сплошь пожни были. Один только Оника Иванович, мамин свекор, до ста возов сена ставил. Вот она кажинный год туда и ходит — с ей эта Богатка началась. Она всему делу закоперщица. А до того, как мамы на Пижме не было, и слова такого никто не слыхал. Поскотина да поскотина — и все тут.

Евгения кивнула на деревню:

— Лошадей-то деревянных видал на крышах? Сколько их? Во всей Русихе столько нету. А скажи-ко, часто ли ране ворота на взвозе красили? Это уж только богач, какой туз деревенский. А тут ведь, на Пижме, сплошь. Бывало, идешь мимо тем берегом — страшно, когда солнышко на закате. Так вот и кажется, вся Пижма в пожаре. Дак вот, все это у них с Богатки, там клады им открыла Милентьевна.

Я все-таки ничего не понимал: о каких кладах говорит Евгения? Что в ее словах правда, а что вымысел?

Густой дым, поваливший из сенцев, заставил нас податься в сторону маленького оконца. Там мы сели на скамейку под жердочку с сухими березовыми вениками нынешней вязки.

Евгения, кашляя от дыма, выругала для собственного облегчения мужа — хорошо переклал каменку! —

потом заодно уж прошлась по другим жителям деревни:

— Все тут урваи! Я вчерась для-ради мамы похвалила Онику Ивановича, а по правде сказать, дак и он урвай. Как не урвай. До старости свою старуху заставлял самое хорошее на ночь надевать. У людей как бы в люди или на праздник получше выйти, а у него чтобы на ночь в шелках. Вот какой норов у человека. А о том ли бы мужику серому думать, когда в доме, куда ни повернись, везде дыра да прореха. Мама, мама их всех в люди вывела, — убежденно сказала Евгения. — При ней урваи пошли в рост...

— А как?

— Как в люди-то вывела? А через Богатку. Через расчистки. Север испокон веку стоит на расчистках. Кто сколько пожен расчистил да полей раскопал, у того столько и хлеба и скота. А Милентий Егорович, отец-то мамин, первый по расчисткам в Русихе был. Четыре сына взрослых — знаешь какая силушка!

А на Пижме у этих урваев все шиворот-навыворот. Первое дело у них охота да рыба. А к земле и прилежанья не было. Сколько деды накопали, расчистили, тем и жили. Своего-то хлеба до нового года не всегда хватало. Правда, когда на зверя в лесу урожай, у них песни. А когда на бору голо, и они как сычи голодные.

И вот мама сколько-то так пожила, помаялась, потом видит — так нельзя. За землю надо браться. Ну, а у ей дорожка к сердцу свекра уж протоптана. Еще с той, новобрачной ночи. Она и давай капать: татя, за ум надо браться, татя, давай землей жить...

Ладно. Согласился, нет свекор с невесткой, а главное, что не препятствовал. Мама братьев своих кликнула: так и так, братья дорогие, выручайте свою сестру. А те, известно: для своей Васи черта своротить готовы. Участок, какой надо, выбрали, лес долой — которо вырубили, которо пожгли, да той же осенью посеяли рожь.

Вот тут урваи и започесывались. Беда, какая рожь вымахала — мало не вровень с елями. Знаешь, по поджогу как родится. Кончилась охота, прощай, рыбка. За топор взялись.

Ну и робили! Я-то не помню, мала еще была, а мама у нас все рассказывала, как их на этой самой Богатке за работой видела. Иду, говорит, лесом, корову искала, и вдруг, говорит, огонь, да такой, говорит, боль-

шой — прямо до поднебесья. А вокруг этого огня голые мужики скачут. Я, говорит мама, попервости обмерла, шагу не могу ступить: думаю, уж лешаки это, больше некому. А то урваи. Расчистку делают. А чтобы не жарко было, рубахи-то с себя сняли, да и жалко лопотину-то — не теперешнее время.

А ребятишек-то мучили! У меня Максим иной раз почнет вспоминать — я не верю. Мыслимо ли дело — ребенка как собачонку на веревочку вязать? А у них вязали. В чашку молока плеснут, на пол поставят, да ползай весь день на веревочке, покуда мама да папа на работе. Боялись, знаешь, чтобы ребята пожару дома не наделали.

Так, так дичали урваи, — еще раз подчеркнула Евгения. — А чего? Они век не рабатывали, птичек постреливали — сам знаешь, сколько у них силы накопилось.

Ох, мама, мама... Хотела как лучше, а принесла беду. Ведь их покулачили, когда зачались колхозы...

Я не охнул и не ахнул при этих словах. Кого в наше время удивишь этой старой-престарой сказкой про щепки, которые летят, когда лес рубят!

Евгении, однако, мое молчание не понравилось. Она приняла его за равнодушие и голосом, полным обиды, сказала:

— Старое время ноне не в почете. Все забыли — и как колхозы делали, и как в войну голодали. Молодежь я не виню, молодежь, та известно: жить хочется, некогда оглядываться назад, да нынче и старухи-то какие-то не те стали. Посмотри, когда они в Русихе за пензией идут, одна другой толще да здоровей. От детей ихних, которые в войну голову сложили, уж и косточек не осталось, а у них на уме, как бы подольше пожить да чтобы войны не было. А уж насчет того, что ихние поля да луга лесом зарастают, и не охнут. Сыты. Пензия капает каждый день.

Я тут как-то бабу Мару спрашиваю: не больно, говорю, глазам-то? Не колет? Ране, говорю, на поля из окошка смотрела, а теперь на кусты. Хохочет: «То и хорошо, девка, дрова ближе». Подумай-ко, что на уме у старого человека? Урваиха, чистая урваиха! У меня Максим такой же: все смешки да хаханьки — хоть потоп кругом.

Евгения помолчала, затем тяжело вздохнула:

— Нет, я какой-то выродок по нонешним временам.

У меня все заботы да печаль. Мне все на нервы. А уж из-за своей-то свекровушки я понадрывала сердце. Что ты! Робила-робила, да ты и виновата. Вот какое время у нас было. «Да я-то, говорит мама, ничего, я-то бы стерпела. Да каково, говорит, людей под монастырь подвести».

— Каких людей?

Евгения быстро обернулась ко мне. В ее черных немигающих глазах опять появился накал.

— Пять хозяйств распотрошили. Что ты, у них еще в гражданскую войну по амбару хлеба выгребли, а к колхозам-то они уж и вовсе разъехались. Ну и урваи еще. Все одно к одному. Кабы тихо-мирно, может, и не тронули бы — кто не знает, с чего пошли? А то ведь их в колхоз записывать приехали, а они: не желам. У нас и так колхоз. Вот власти-то и психанули, невзлюбили их. Ну, правда, четырех-то мужиков вернули, и мой свекор, мамин муж Мирон Оникович, вернулся, хоть и больным, а сам-то Оника Иванович так и остался там.

Беда, беда, что тогда было! Кой год мама тут рассказывала, я не рада была, что и слушать стала. Заревелась.

Евгения шумно ширнула носом, вытерла платком глаза.

— Ты подумай только, как все иной раз в жизни оборачивается. Мама как раз рожь молотила на гумне, когда гроза-то над ними пала. Да, на гумне, — кивнула она, немного подумав. — Радуется. Вот, думает, опять бог дал хлеба. Хорошая, крупная рожь уродилась, может, за всю жизнь такой не видали. И вдруг девка прибегает: «Мама, бежи скорее домой. Татю да дедушка повозят».

И вот, говорит мама, сама знаю, что бежать надо. Тогда ведь круто поворачивались, раз-раз и прощай навек, а у меня, говорит, и ноги подкосились. С места не могу двинуться. Дак я, говорит, до ворот на коленцах доползла. Страшно. Из-за ей ведь расплата пришла. Кабы она свекра не подбила на эти самые расчистки, кто бы урваев тронул? Век голь перекатная.

Ну, не страхом убил свекор маму — добрым словом. Она-то чего только для себя не ждала, к каким казням не приготовилась — сам знаешь, человек в такую минуту что может натворить, а свекор вдруг, ви-

дит, на колени встает. Да при всем честном народе. «Спасибо, говорит, Василиса Милентьевна, за то, что нас, дураков, людями сделала. И не думай, говорит, худа против тебя на сердце нет. Всю жизнь, до последнего вздоха благословлять буду...»

Евгения заплакала и досказала, уже давясь слезами:

— Так мама и не простилась с Оникой Ивановичем. Замертво упала...

7

Милентьевна вернулась из лесу в четвертом часу пополудни — ни жива ни мертва. Но с грибами. С тяжелой, поскрипывающей на ходу берестяной коробкой.

Собственно, по скрипу этой коробки я и узнал ее приближение к шалашику на той стороне, под елями,— я все-таки не выдержал и переехал за реку.

Евгения, еще больше моего измученная ожиданием, начала отчитывать свекровь как неразумного ребенка, едва мы переступили за порог избы.

Ее поддержала баба Мара.

Баба Мара, здоровущая, краснолицая старуха с серыми нахальными глазами, и Прохор — оба на взводе — уже не первый раз сегодня наведывались к нам. И каждый раз твердили одно и то же: где гостья? Почто́ прячете от людей?

На Милентьевне не было сухой нитки, она посинела и сморщилась от холода, как старый гриб, и Евгения первым делом стала снимать с нее мокрый платок и мокрую пальтуху, потом достала с печи нагретые валенки, натянула на них красные покрышки.

— Ну-ко, сапоги-то сырые стянем скорее да в баню пойдем.

— А вот в баню-то тебе, тета, как раз и нельзя,— веско сказал Прохор. Он сидел у малой печки и покуривал в душничок.

— Сиди! — прикрикнула на него Евгения. — Они шары нальют, не знай, чего начнут молоть.

— А чего не знай-то? По медицине.

— По медицине! Это в баню-то нельзя по медицине?

— Ну! У ей, может, воспаление легких. Тогда как?

Евгения заколебалась. Она посмотрела в растерянности на Милентьевну — та, тяжело дыша, с закрытыми глазами сидела на прилавке у печи, — посмот-

рела на меня — я еще меньше ее понимал в медицине — и в конце концов решила не рисковать.

Короче, Милентьевну вместо бани водворили на печь.

Баба Мара, которая все время, пока шел обмен мнениями насчет бани между Евгенией и Прохором, с усмешкой качала своей крупной головой в красном сатиновом повойнике, тут сказала:

— Ну, рассказывай, где была, чего видела.

— А чего надо, то и видела, — тихо ответила с печи Милентьевна.

— А ты нам скажи чего, — ухмыльнулась баба Мара. — Поди, опять на Богатке была да клады искала?

— Ладно, давай, — миролюбиво заметила Евгения, — чего ни искала, не наше дело. Вишь ведь, едва прибрела, едва дышит.

Баба Мара басовито захохотала, и я с удивлением увидел, что у нее целехоньки все зубы, да такие крепкие, крупные.

— Проха, ты сказывал, пожни колхозникам давать стали, те, которые кустом затянуло, а про расчистки наши ничего не сказывали?

Начался длинный и пустой разговор о расчистках, о целине.

Прохор потребовал от меня, как человека, по его словам, живущего в одном городе с главным начальством нашей жизни, ясного ответа: почему в южных краях заново распахивают целину, а у нас, наоборот, взят курс на ольху да осину? (Он так и выразился.)

Я что-то не очень определенно стал говорить о невыгодности земледелия в глухих лесных районах, и Прохор, разумеется, сразу же припер меня к стенке.

— Так, так, — воскликнул он не совсем своим голосом, не иначе как подражая какому-то местному оратору, — теперича невыгодно? А в войну, дорогой товарищ? Выгодно было, я вас спрашиваю, в период Великой Отечественной? Одне бабы, понимаешь, с ребятишками все до последней пяди засевали...

К Прохору немедленно присоединилась баба Мара — ей почему-то всегда доставляло удовольствие задирать меня.

Наконец я догадался, каким доводом сразить своих оппонентов — бутылкой «Столичной».

Правда, домовитой и экономной Евгении не очень по душе пришелся такой способ выпроваживания не-

прошеных гостей, но когда они, опустошив бутылку, с песней и в обнимку вышли на улицу, и она вздохнула с облегчением.

Свое окончательное отношение к гулякам Евгения выразила, когда стала убирать со стола, — она терпеть не могла всякий беспорядок и разор.

— Нет, видно, не только поля лесеют, лесеет и человек. Господи, слыхано ли ране, чтобы пьяные урваи в дом к Милентьевне врывались? Да скорее река пойдет вспять. Бывало, мама-то идет, ребятишки возле взрослых шалят: «Тише вы, бесенята! Василиса Милентьевна идет». А когда пройдет мимо: «Ну, теперь дичайте. Хоть на голове ходите». Так вот ране маму-то почитали. Исть-то как будешь? — спросила Евгения у свекрови, которая все это время тихонько постанывала на печи. — Спустишься? Але на печь подать?

— Не надо, — чуть слышно ответила Милентьевна. — Потом поем.

— Когда потом-то? С утра ничего не ела. Ну-ко поешь. Хорошая у нас сегодня ушка, с перчиком.

— Нет, сыта я. У меня хлебцы с собой были.

Евгении так и не удалось уговорить свекровь поесть, и она снова засокрушалась:

— Вот беда-то. Что мне с тобой и делать-то? Ты, может, заболела, мама? Может, за фершалицей сходить?

— Нет, все ладно, отойду. Вот отогреюсь и встану. А вы — хорошо бы — губы прибрали.

Евгения только покачала головой:

— Ну, мама, мама! И что ты за человек? Да разве тебе сейчас про губы думать? Лежи ты, бога ради. Выбрось ты из своей головы эту лесовину...

Тем не менее Евгения подняла с полу берестяную коробку с грибами (пестерь был пустой), и мы пошли на другую половину. Чтобы дать покой старому человеку.

8

Грибы на этот раз были незавидные: красная сыроежка, волнуха старая, серый конек, а главное, они не имели никакого вида. Какая-то мокрая мешанина пополам с мусором.

Проницательная Евгения из этого сделала совсем невеселый вывод.

— Вот беда-то, — сказала она. — Ведь Милентьевна-то у нас заболела. Я сроду у ей таких губ не видала.

Она вздохнула многозначительно.

— Да, да. Вот и мама стала сдавать, а я раньше думала — она железная. Ничего не берет. Ох, да при ейной-то жизни не то дивья, что она спотыкаться стала, а то, как она доселе жива. Муж — чего-то с головой сделалось — три раза стрелялся — каково пережить? Мужа схоронила — хлоп война. Два сына убито намертво, третий, мой мужик, сколько лет без вести пропадал, а потом и Санюшка петлю на матерь накинула... Вот ведь сколько у ей переживаний-то под старость. На десятерых разложить — много. А тут все на одни плечи.

— Санюшка — дочь?

— Дочь. Разве не слыхал? — Евгения отложила в сторону кухонный нож, которым чистила грибы. — У мамы всего до двенадцати обручей слетало, а живых-то осталось шестеро. Марфа, старшая дочь, та, которая в Русиху выдана была, под ней шли Василий с Егором — оба на войне сгинули, потом мой мужик, потом Саня, а потом уж этот пьянчуга Иван.

Ну вот, сыновей Милентьевна на войну спроводила, а через год и до Сани очередь дошла. На запань, лес катать выписали. Тоже как на войну... Ох и красавица же была! Я кабыть и в жизни такой не видела. Высокая, белая-белая, коса во всю спину, до колена будет — вся, говорят, в матерь, а может, еще и покрасивше была. И тихая, воды не замутит. Не то что мы, сквалыжины. И вот через эту-то тихость она и порешилась. Налетела на какого-то подлеца — обрюхатил.

Я не дивлюсь, нисколешеньки не дивлюсь, что так все вышло. Это кто всю жизнь под боком у родителей прожил да нигде не бывал, пущай ахает, а я с тринадцати лет в лес пошла — всего насмотрелась.

Бывало, из лесу-то вечером в барак придешь — еле ноги держат. А они, дьяволы, не уробились, карандашиком весь день ворочали, так и зыркают на тебя. Ни разуться, ни переодеться — живо в угол затащут...

И вот, может, и Сане маминой такой дьявол на дороге встал. Чего с ним сделаешь? Кабы у ей зубы были, она бы шуганула его куда следно быть, а то ведь ей и не сказать. Я помню, в праздник к нам перед войной, в Русиху, пришла — залилась краской: бабы глаз

не спускают — как, скажи, ангелочек какой стоит, и парни ошалели — навалом лезут. А тут, может, еще матерь, когда в дорогу собирала, острастку дала: чего хошь теряй на чужой стороне, доченька, только честь девичью домой приноси. Так, бывало, в хороших-то семьях наказывали.

Не знаю, не знаю, как все вышло. Маму про это лучше не спрашивай — хуже врага всякого будешь.

Евгения прислушалась, заговорила разгоряченным шепотом:

— Хотела скрыть от людей-то. Никого, говорят, близко к мертвой дочери не подпустила. Сама из петли вынула, сама обмыла и сама в гроб положила. А разве скроешь брюхо от людей? Те же девки, которые с ней на запани были, и сказывали. Санька, говорят, на глазах пухнуть стала, да и Ефимко-перевозчик заметил. «Ты, говорит, Санька, вроде как не такая». А с чего же Санька будет такая, когда на страшный суд идет. Ну-ко, глянь, дочи, в глаза родной матери, расскажи, как честь на чужой стороне блюла.

И вот она, горюша горькая, подошла к родному дому, а дальше крыльца и ступить не посмела. Села на порожек, да так всю ночь и просидела. Ну, а светать-то стало, она и побежала за гумно. Не могла белому дню в глаза посмотреть, не то что матери.

Евгения, опять прислушиваясь, настороженно приподняла черные дуги бровей.

— Спит, верно. Может, еще и отлежится. Я спрашивала у мамы, — заговорила она на всякий случай опять шепотом, — неужели, говорю, уж сердце материнское ничего не подсказало? «Подсказало, говорит. Я в ту ночь, говорит, три раза в сени выходила да спрашивала, кто на крыльце. А светать-то стало, меня, говорит, так и ткнуло в сердце. Как ножом». Это она мне рассказывала, не скрывала. И про го говорила, как сапоги на крыльце увидела.

Подумай-ко, какая девка была. Сама помираю, жизнь молодую гублю, а про матерь помню. Сам знаешь, как с обуткой в войну было. Мы, бывалоче, на сплаве босиком бродим, а по реке-то лед несет. И вот Санюшка с жизнью прощается, а про матерь не забывает, о матери последняя забота. Босиком на казнь идет. Так мама по ейным следочкам и прибежала на гумно. Не рано уж было, на другой день покрова — каждый пальчик на снегу видко.

Прибежала — а что, чем поможешь? Она уж, Санюшка-та, холодная, на пояску домотканом висит, а в сторонке ватничек честь по чести сложен и платок теплый на нем: носи, родная, на здоровье, вспоминай меня, горемычную...

Дождь на улице не прекращался. Старинные зарадужелые стекла в рамах всхлипывали как живые, и мне все казалось, что там, за окошками, кто-то тихонько плачет и скребется.

Евгения, словно читая мои мысли, сказала:

— Я страсть боюсь жить в этом доме. Мне уж не ночевать одной. Я не мама. Зимой как завоет-завоет во всех печах да трубах да кольцо на крыльце забрякает — хоть с ума сходи. Я попервости все Максима уговаривала: давай жить дома. Чего мы не видали на чужой стороне? А теперь, пожалуй, и я нажилась. Зимой от нас и дороги к людям нету. На лыжах в Русиху ходим...

9

Милентьевна два дня лежала лежкой, и мы с Евгенией стали всерьез подумывать о вызове фельдшерицы. А кроме того, мы решили, что о ее болезни нужно известить ее детей.

Однако, к нашему счастью, ничего этого не потребовалось. На третий день Милентьевна сама слезла с печи. И не только слезла, но и без нашей помощи добралась до стола.

— Ну как, бабушка? Поправилась?

— А не знаю. Может, совсем-то и не поправилась, да мне сегодня домой попадать надо.

— Домой? Сегодня?

— Сегодня, — спокойно ответила Милентьевна. — Сын Иван должен сегодня за мной приехать.

Евгения этим сообщением была огорошена не меньше, чем я.

— Да зачем Иван-то поедет по такому дождю? Посмотри-ко, на улице-то что делается? У тебя, мама, мозга на мозгу наехала, что ли?.. Ты ведь и грибов еще не наносила.

— Грибы подождут, а завтра школьный день — Катерина в школу пойдет.

— И это ты ради Катерины собираешься ехать?

— Надо. Я слово дала.

— Кому, кому слово дала? — Евгения аж поперхнулась от изумления. — Ну, мама, ты и скажешь. Она Катерине слово дала! Да вся-то Катерина твоя еще с рукавицу. Сопля раскосая. Была тут весной. В угол заберется — не докличешься.

— А какая ни есть, да надо ехать, раз слово дадено. — Милентьевна повернулась в мою сторону: — Нервенная у меня внучка, и с глазками девке не повезло: косит. А тут еще соседка девку вздумала пугать: «Куда, говорит, бабушку-то из дому отпускаешь? Не видишь разве, какая она старая? Еще умрет по дороге». Дак уж она, моя бедная, заплакалась. Всю ночь не выпускала из своих рук бабушкину шею...

Весь день Милентьевна высидела у окошка, с минуты на минуту поджидая сына. В сапогах, в теплом шерстяном платке, с узелком под рукой — чтобы никакой задержки не было из-за нее. Но Иван не приехал.

И вот под вечер, когда старинные часы пробили пять, Милентьевна вдруг объявила нам, что, раз сын не приехал, она поедет сама.

Мы с Евгенией в ужасе переглянулись: на улице дождь — стекла в рамах вспухли от водяных пузырей, сама она насквозь больная, попутные машины по большаку за рекой ходят от случая к случаю... Да это ведь самоубийство, верная смерть — вот что такое ее затея.

Евгения отговаривала свекровь, как могла. Стращала, плакала, молила. Я тоже, конечно, не молчал.

Ничто не помогло. Милентьевна была непреклонна. Она не кричала, не спорила с нами, а молча, потряхивая головой, накинула на себя пальтуху, увязала еще раз узелок со своими пожитками, прощальным взглядом обвела родную избу...

И тут, в эти минуты, я впервые, кажется, понял, чем покорила молодая Милентьевна пижемский зверюшник. Нет, не только своей кротостью и великим терпением, но и своей твердостью, своим кремневым характером.

Я один провожал больную старуху за реку. Евгения до того распсиховалась, что не могла даже спуститься на крыльцо.

Дождь не переставал. Река за эти дни заметно прибыла, и нас снесло метров на двести ниже бревна, к которому обычно примыкают лодку.

Но самое-то трудное нас ждало в лесу, когда мы вышли на лесную тропку. По ней, по этой тропке, и в сухое-то время хлюпает да чавкает под ногой, а представляете, что делалось тут сейчас, после трех дней сплошных дождей?

И вот я брел впереди, месил ходуном ходившую болотину, хватался за мокрые кусты и каждую секунду ждал: вот сейчас это произойдет, вот сейчас хлопнется старуха...

Но, слава богу, все обошлось благополучно. Милентьевна, опираясь на своего верного помощника — легкий осиновый батожок, вышла на дорогу. И мало того, что вышла. Села на машину.

С этой машиной нам, конечно, повезло неслыханно. Просто чудо какое-то случилось. Ибо только мы стали подходить к дороге, как там вдруг заурчал мотор.

Я остервенело, с яростным криком, как в атаку, бросился вперед. Машина остановилась.

К сожалению, места в кабине рядом с шофером не было: там сидела его бледная жена с новорожденным на руках. Но Милентьевна ни одной секунды не раздумывала, ехать или не ехать в открытом кузове.

Кузов был огромный, с высокими коваными бортами, и она нырнула в него, как в колодец. Но под темными сводами ельника, плотно обступившего дорогу, я еще долго видел качающееся белое пятно.

Это Милентьевна, мотаясь вместе с грузовиком на ухабах и рытвинах, прощально махала мне своим платком.

10

После отъезда Милентьевны я не прожил в Пижме и трех дней, потому что все мне вдруг опостылело, все представилось какой-то игрой, а не настоящей жизнью: и мои охотничьи шатания по лесу, и рыбалка, и даже мои волхвования над крестьянской стариной.

Меня неудержимо потянуло в большой и шумный мир, мне захотелось работать, делать людям добро. Делать так, как делает его и будет делать до своего последнего часа Василиса Милентьевна, эта безвестная, но великая в своих деяниях старая крестьянка из северной лесной глухомани.

Я уходил из Пижмы в теплый солнечный день. От подсыхающих бревенчатых построек шел пар. И пар шел от старого Громобоя, одеревенело застывшего возле телеги у конюшни.

Я позвал его, когда проходил мимо.

Громобой вытянул старую шею в мою сторону, но голоса не подал.

И так же безмолвно, понуро свесив головы с тесовых крыш, провожали меня деревянные кони. Целый косяк деревянных коней, вскормленных Василисой Милентьевной.

И мне до слез, до сердечной боли захотелось вдруг услыхать их ржанье. Хоть раз, хоть во сне, если не наяву. То молодое, заливистое ржанье, каким они оглашали здешние лесные окрестности в былые дни.

1969

ПЕЛАГЕЯ

1

Утром со свежими силами Пелагея легко брала полутораверстовый путь от дома до пекарни. По лугу бежала босиком, как бы играючи, полоща ноги в холодной травяной росе. Сонную, румяную реку раздвигала осиновой долбленкой, как утюгом. И по песчаной косе тоже шла ходко, почти не замечая ее вязкой, засасывающей зыби.

А вечером — нет. Вечером, после целого дня возни у раскаленной печи, одна мысль о возвратной дороге приводила ее в ужас.

Особенно тяжело давалась ей песчаная коса, которая начинается сразу же под угором, внизу у пекарни. Жара — зноем пышет каждая накалившаяся за день песчинка. Оводы-красики беснуются — будто со всего света слетаются они в этот вечерний час сюда, на песчаный берег, где еще держится солнце. И вдобавок ноша — в одной руке сумка с хлебом, другую руку ведро с помоями рвет.

И каждый раз, бредя этим желтым адищем — иначе не назовешь, — Пелагея говорила себе: надо брать помощницу. Надо. Сколько ей еще мучиться? Уж не такие это и деньги большие — двадцать рублей, которые ей приплачивают за то, что она ломит за двоих — за троих...

Но так говорила она до той поры, пока пересохшими губами не припадала к речной воде. А утолив жажду и сполоснув лицо, она начинала уже более спокойно думать о помощнице. А на той стороне, на домашней, где горой заслоняет солнце и где даже ветерком слегка потягивает, к ней и вовсе возвращался здравый смысл.

Неплохо, неплохо иметь помощницу, рассуждала Пелагея, шагая по плотной, уже слегка отпотевшей тропинке вдоль пахучего ржаного поля. Худо ли — все пополам: и дрова и вода. И тесто месить — не надо одной руки выворачивать. Да ведь будет помощница — будет и глаз. А будет глаз — и помои пожиже будут.

Не набахтаешь в ведро теста — поопасешься. А раз не набахтаешь, и борова на семь пудов не выкормишь. Вот ведь она, помощница-то, каким боком выйдет. И поневоле тут поразмыслишь да пораскинешь умом...

У мостков за лыву — грязную осотистую озерину, в которой, отфыркиваясь, по колено бродила пегая кобыла с жеребенком, — Пелагея остановилась передохнуть. Тут всегда она отдыхает — и летом и зимой, с сорок седьмого. С той самой поры, как встала на пекарню. Потому что деревенская гора немалая — без отдыха не осилишь.

На всякий случай ведро с помоями она прикрыла белым ситцевым платком, который сняла с головы, поправила волосы — жиденькую бесцветную кудельку, собранную сзади в короткий хвостик (нельзя ей показываться растрепой на люди — девья матерь), — затем по привычке подняла глаза к черемухову кусту на горе — там, возле старой, прокоптелой бани, каждый вечер поджидает ее Павел.

Было время, и недавно еще, — не на горе, у реки встречал ее муж. А осенью, в самую темень, выходил с фонарем. Ставь, жена, ногу смело. Не упадешь. А уж по дому своему — надо правду говорить — она не знала забот. И утром печь истопит, и корову обрядит, и воды наносит, а ежели минутка свободная выпадет, и на пекарню прибежит: на неделю — на две дров наготовит. А теперь Павел болен, с весны за сердце рукой хватается, и все — и дом и пекарня, — все на ней одной.

Глаза у Пелагеи были острые — кажется, это единственное, что не выгорело у печи, — и она сразу увидела: пусто возле куста, нету Павла.

Она охнула. Что с Павлом? Где Алька? Не беда ли какая стряслась дома?

И, позабыв про отдых, про усталость, она схватила с земли ведро с помоями, схватила сумку с хлебом и звонко-звонко зашлепала по воде шатучими жердинами, перекинутыми за лыву.

2

Павел, в белых полотняных подштанниках, в мягких валяных опорках, в стеганой безрукавке с ее плеча, — она терпеть не могла этого стариковского вида! — сидел на кровати и, по всему видать, только что

проснулся: лицо потное, бледное, мокрые волосы на голове скатались в косицы...

— На, господи, не вылежался! — выпалила она прямо с порога. — Мало ночи да дня — уже и вечера прихватываешь.

— Нездоровится мне ноне, — виновато потупился Павел.

— Да уж как ни нездоровится, а до угора-то, думаю, мог бы дойти. И сено, — Пелагея кивнула в сторону окошка за передком никелированной кровати, — срам людей — с утра валяется. Для того я вставала ни свет ни заря? Сам не можешь — дочи есть, а то бы и сестрицу дорогую кликнул. Невелика барыня!

— День андела у Онисьи сегодня.

— Большой праздник! Отпали бы руки, ежели бы брату родному пособила.

Хлопая пыльными, все еще не остывшими сапогами, которые плотнее обычного сидели на затекшей ноге, Пелагея оглянула комнату — просторную, чистую, со светлым крашеным полом, с белыми тюлевыми занавесками во все окно, с жирным фикусом, царственно возвышающимся в переднем углу. Взглядом задержалась на ярко-красном платье с белым ремешком, небрежно брошенном на стул возле комода, на котором сверкали новехонькие, еще ни разу не гретые самовары.

— А та где, кобыла?

— Ушла. Девка — известно.

— Вот как, вот как у нас! Сам весь день на вылежке, дочи дома не оследится, а мати хоть убейся. Одной мне надо...

Пелагея наконец скинула сапоги и повалилась на пол. Без всякой подстилки. Прямо на голый крашеный пол.

Минут пять, а то и больше лежала она недвижно, с закрытыми глазами, тяжело, с присвистом дыша. Потом дыхание у нее постепенно выровнялось — крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела, — и она, повернувшись лицом к мужу, стала спрашивать его о домашних делах.

Самая главная и самая тяжелая работа по дому была сделана — Алька и корову подоила, и травы на утро принесла. Еще ей радость доставил самоварчик, который, поджидая ее, согрел Павел, — не все, оказывается, давил койку человек, справил свое дело и сегодня.

Она встала, выпила подряд пять чашек крепкого чаю без сахара — пустым-то чаем скорее зальешь жар внутри, потом приподняла занавеску на окне и опять посмотрела в огород. Лежит сено, целый день лежит, а ей уж не прибрать сегодня — отпали руки и ноги...

— Нет, не могу, — сказала она и снова повалилась на пол, на этот раз на ватник, услужливо разостланный мужем. — За вином-то сходил — нет? — спросила она немного погодя.

— Сходил. Взял две бутылки.

— Ну, то ладно, ладно, мужик, — уже другим голосом заговорила Пелагея. — Надо вино-то. Может, кто зайдет сегодня. Много ноне вина-то закупают?

— Закупают. Не все еще уехали к дальним сенам. Петр Иванович много брал. И белого и красного.

— Как уж не много, — вздохнула Пелагея. — Большие гости будут. Антонида, говорят, приехала, ученье кончила. Не видал?

— Нет.

— Приехала — поминал даве начальник орса. Из района, говорит, на катере вместе с военным ехала, с офицером, — вроде как на природу поинтересоваться захотела. А какая природа? Жениха ловит, взамуж выскочить поскорее хочет. — Пелагея помолчала. — А тебе уж ничего не говорил? Не звал на чашку чая?

Павел пожал плечами.

— Вишь вот, вишь вот, как время-то бежит. Бывало, какое угощенье у Петра Ивановича обходилось без нас? А теперь Павел да Пелагея не в силе — не нужны.

— Ладно, — сказал Павел, — у нас у сестры праздник. Была даве — звала.

— Нет уж, не гостья я ноне, — строго поджала губы Пелагея. — Рук-ног не чую — какие мне гости?

— Да ведь обида ей будет. День андела у человека... — несмело напомнил Павел.

— А уж как знает. Не подыхать же мне из-за ейного андела.

Как раз в эту минуту на крыльце зашаркали шаги, и — легка же на помине! — в избу вошла Анисья.

3

Анисья была на пять лет старше своего брата, но здоровьем крепкая, чернобровая, зубы белые, как репа, и все целехоньки — не скажешь, что ей за пятьдесят.

Замуж Анисья выходила три раза. Первого мужа, от которого у нее был ребенок, умерший еще до года, убили на войне. Со вторым мужем ей пришлось расстаться в сорок шестом году, когда она попала в заключение (сноп жита унесла с поля). А третий муж — из вербованных, приехавший на лесозаготовки с Рязанщины (она его больше всех любила) — пропил у нее все до нитки, избил на прощанье и укатил к законной жене. После этого она уж больше семейного счастья не пытала. Жила вольно, мужиков от себя не отпихивала, но и близко к сердцу не подпускала.

Брата своего Анисья не то что любила — обожала: и за то, что он был у нее единственный, да к тому же хворый, и за то, что по доброте да по тихости своей никогда, ни разу не попрекнул ее за беспутную жизнь. Ну, а перед невесткой, женой Павла, — тут прямо надо говорить — просто робела. Робела и терялась, так как во всем признавала ее превосходство. Домовита — у самой Анисьи никогда не держалась копейка в руках,— жизнь загадывает вперед и в женском деле — камень.

Провожая мужа на войну — а было ей тогда девятнадцать лет, — Пелагея сказала: «На меня надейся. Никому не расчесывать моих волос, кроме тебя». И как сказала, гак и сделала: за всю войну ни разу не переступила порог клуба.

И, сознавая превосходство невестки, Анисья всякий раз, когда разговаривала с нею, напускала на себя развязность, чтобы хоть на словах стать вровень. Так и сейчас.

— Чего лежишь? — сказала Анисья. — Вставай! Вино прокиснет.

— Все ты со своим вином. Не напилась.

— Да ведь как. В такой день насухо! — Анисья кивнула брату. — Давай, давай — подымай жену. И сам одевайся.

Павел потупился. Анисья по-свойски взялась за его брюки, висевшие на спинке кровати.

— Не тронь ты его, бога ради! — раздраженно закричала Пелагея. — Человек не в здоровье — не видишь?

— Ну тогда хоть ты пойдем.

— И я не пойду. Лежу как убитая. Еле ноги из заречья приволокла. Меня хоть золотом осыпь — не подняться. Нет, нет, спасибо, Онисья Захаровна. Спасибо на почести. Не до гостей нам сегодня.

Анисья растерялась. По круглому румяному лицу ее пошли белые пятна.

— Да что вы, господи! Самая близкая родня... Что мне люди-то скажут...

— А пущай что хошь, то и говорят, — ответила Пелагея. — Умный человек не осудит, а на глупого я век не рассчитываю. — Затем она вдруг посмотрела на Анисью своими сухими строгими глазами, приподнялась на руке. — Ты когда встала-то нынче? А я встала, печь затопила, траву в огородце выкосила, корову подоила, а пошла за реку — ты еще кверху задницей, дым из трубы не лезет. Вот у тебя на щеках и зарево.

— Да разве я виновата?

— А я на пекарню-то пришла, — продолжала выговаривать Пелагея, — да другую печь затопила — одно полено в сажень длины, — да воды тридцать ведер подняла, да черного хлеба сто буханок налила, да еще семьдесят белого. А уж как я у печи-то стояла да жарилась, про то я не говорю. А ты на луг-то спустилась, грабелками поиграла — слышала я, как вы робили, за рекой от ваших песен стекла дрожали — да не успела пот согнать — машинка: фыр-фыр. Домой поехали... — Пелагея перевела дух, снова откинулась на фуфайку, закрыла глаза.

Павел, избегая глядеть на сестру, примирительно сказал:

— Тяжело. Известно дело — пекарня. Бывал. Знаю.

— Дак уж не придете? — дрогнувшим голосом спросила Анисья. — Может, я не так приглашаю? — И вдруг она старинным, поясным поклоном поклонилась брату: — Брателко Павел Захарович, сделай одолженье... Пелагея Прокопьевна...

Пелагея замахала руками:

— Нет, нет, Онисья Захаровна! Премного благодарны. И сами никого не звали, и к другим не пойдем. Не можем. Лежачие.

Больше Анисья не просила. Тихо, с опущенной головой вышла из избы.

— Про людей вспомнила! — хмыкнула Пелагея, когда под окошком затихли шаги. — «Что люди скажут?» А то, что она за каждые штаны имается, про то не скажут?

— Что уж, известно, — сказал Павел. — Не везет ей. А надо бы маленько-то уважить. Сестра...

— Не защищай! Сама виновата. По заслугам и почет...

Павел на это ничего не ответил. Лег на кровать и мокрыми глазами уставился в потолок.

4

Таких домов, как дом Амосовых, теперь уж не строят. Да и раньше, до войны, не много было в деревне.

Великан дом. Двухэтажный шестистенок с грудастым коньком на крыше, большой двор с поветью и сенником и сверх того еще боковая изба-зимница.

Вот с этой-то боковой избы-зимницы и начали разламывать дом — ее в сорок шестом году отхватила старшая сноха (у Захара Амосова четыре было сына, и только один из них, Павел, вернулся с войны). Затем потребовала своей доли вторая сноха — раскатали двор. И, наконец, последний удар нанесла Пелагея, решившая заново строиться на задах. По ее настоянию шестистенок разрубили пополам. И старого дома-красавца не стало...

Безобразная хоромина, напоминающая громадный бревенчатый аналой, стоит на его месте. В непогодь скрипит, качается, несмотря на то, что с двух сторон подперта слегами, а зимой еще хуже: суметы снега набивает в сени, кое-как прикрытые сзади старыми тесницами, и Анисья всю зиму держит в избе деревянную лопату.

И все-таки что там ни говори, а весело на Анисьиной верхотуре (нижняя изба, доставшаяся третьей снохе, заколочена), и Алька любила бывать у тетки.

Высоко. Вольготно. Ласточки у самого окошка шныряют. И все видно. Видно, кто идет-едет по деревенской улице, по подгорью, видно, как весной, в половодье, большие белопалубные пароходы выплывают из-за мыса. А кроме того, у тетки всегда люди — не то что у них на задворках. Бабы тащатся из лавки — кому похвастаться покупкой? Тетке. Рабочие на выходной пришли из заречья — где посидеть за бутылкой? У тетки. Все к тетке — и проезжая шоферня, и свой брат колхозник-пьяница, и даже военные без году неделя как понаехали, а к тетке дорожку уж протоптали.

В этот праздничный вечер Альку так и кидало из избы на улицу, с улицы в избу. Хотелось везде ухватить

кусок радости — и у тетки, и на улице, где уже начали появляться первые пьяные.

— Ты ведь уже не маленькая сломя-то голову летать, — заметила ей Анисья, когда та — в который уже раз за вечер! — вбежала в избу.

— А, ладно! — Алька вприпрыжку, козой перемахнула избу, вонзилась в раскрытое настежь окошко. Самое любимое это у нее занятие — оседлать подоконник да глазеть по сторонам.

Вдруг Алька резко подалась вперед, вся вытянулась.

— Тетка, тетка, эвон-то!

— Чего еще высмотрела?

— Да иди ты, иди скорей! — Алька захохотала, заерзала по табуретке.

Анисья, наставлявшая самовар у печи, за занавеской, подошла к ней сзади, вытянула шею.

— А, вон там кто, — сказала она. — Подружки.

Подружками в деревне называли Маню-большую и Маню-маленькую. Две старухи бобылки. Одна медведица, под потолок, — это Маня-маленькая. А другая — ветошная, рвань-старушонка, да, как говорится, себе на уме. Потому и прозвище — Большая. К примеру, пенсия. Дождется Маня-большая этого праздника — сперва закупит чаю, сахару, крупы, буханок десять хлеба, а потом уж пропивает что останется. А Маня-маленькая не так. Маня-маленькая, как зубоскалили в деревне, жила одну неделю в месяц — первую неделю после получки пенсии. Тут уж она развертывалась: и день и ночь шлепала в своих кирзовых сапожищах по улице, да с песнями, от которых стекла лопались в рамах. А потом Мани-маленькой не видно и не слышно было три недели. Холодная печь, три кота голодных вокруг да уголь на брусе, которым она отмечала на потолке оставшиеся до получки дни.

Подружки стояли посреди пыльной улицы, по которой только что прогнали колхозное стадо. Маня-маленькая невозмутимо, в своем всегдашнем синем платке, повязанном спереди наподобие двускатной крыши, а Маня-большая, задрав кверху голову и слегка покачиваясь, что-то втолковывала ей, для убедительности размахивая темным пальцем у нее под носом.

— Чего-то вот тоже морокуют меж собой, — усмехнулась Алька.

— Люди ведь, — сказала Анисья.

— Манька-то маленькая вроде не в духе. Горло, наверно, сухое.

— С чего быть не сухому-то. У ей самая трезвость сичас. Это та хитрюга с толку сбивает. Вишь ведь, пальцем-то водит. Наверно, траву подговаривает продать.

— Какую? — Алька живо обернулась к тетке. — Это в огородице-то котора? Надо бы маме сказать. Сейчас за винище-то она дешево отдаст.

— Ладно, давай — чего старуху обижать. Не сейчас надо торговать.

— Тетка, — сказала немного погодя Алька, — я позову их?

— Да зачем? Мало они сюда бродят?

— Да ведь забавно! Со смеху помрешь, когда они начнут высказываться.

Анисья не сразу дала согласие. Не для них, не для этих гостей готовилась она сегодня — в душе она все еще надеялась, что невестка одумается — придет, а с другой стороны, как отказать и Альке? Пристала, обвила руками шею — лед крещенский растопит.

Первой вспорхнула в избу Маня-большая, — легкая, в пиджачонке с чужого плеча, в мятых матерчатых штанах в белую полоску, женского — только платок белый на голове да платье поверх штанов, а Маня-маленькая в это время еще бухала своими сапожищами по крутой лестнице в сенях. В дверях согнулась пополам. Затем, перешагнув за порог, начала отвешивать поклоны в красный угол.

— Давай, не в монастырь пришла, — съязвила Маня-большая, намекая на давнишнее прошлое своей товарки, когда та стирала на монахов.

— А что? — пробасила Маня-маленькая. — И не в сарай.

— Дура слепая! В углу-то у ей Ленин.

Алька захохотала.

— Ничего, — все так же невозмутимо ответила Маня-маленькая. — Власти от бога.

— Верно, верно, Егоровна, — сказала из-за занавески Анисья. — Пензию-то вам не бог платит. Проходите к столу.

— А стол-то у тебя не шатается, Ониса? Нет? — спросила с намеком Маня-большая.

— У тебя в глазах шатается, — усмехнулась Алька.

Тут с улицы донеслось чиханье и фырканье мото-

цикла, и она быстрехонько вскочила на табуретку у окна. При этом шелковое, в красную полоску платье сильно натянулось сзади, и белая ядреная нога открылась поверх чулка.

— Алька, — полюбопытствовала Маня-большая, — какое у тебя там приспособленье? Под самый зад чулок заправляешь.

— Пояс. Неуж не видала? — Алька удивленно выгнула круглую бровь — бровями она была в тетку, — спрыгнула с табуретки, приподняла подол платья.

— Ловко! — одобрительно цокнула языком Маня-большая.

— Како тако поесье под платьем? — Маня-маленькая, близоруко щуря и без того узкие монгольские глаза, вытянула шею. — Нуто те — трусики.

— Трусики! Пень бестолковый! Вот где у меня трусики-то. Смотри! — И Алька со смехом оттянула тугой розовый пояс.

— Тоже кабыть шелковые, — пробурчала Маня-маленькая.

— Я вся шелковая, — хвастливо объявила Алька и, придерживая руками подол платья, игриво повернулась на высоких каблуках.

— Алька, Алька, бесстыдница! — крикнула из-за занавески Анисья. — Разве так баско?

— А чего не баско-то? Не съедим.

— Нельзя так. Она еще ученица, — сказала Анисья и строго посмотрела на Маню-большую.

— Ученица! Нынешняя ученица — знаем: рукой по парте водит, а ногой парня ищет. Алька! Кого я вчерась видела — огороду с солдатом подпирает?

Алька нахмурилась:

— Ври, вралья! Буду я с солдатом. Я с солдатом-то близко никогда не стаивала.

— Ну, тогда с золотыми полосками. Так?

Против этого Алька возражать не стала.

— Вишь ведь, вишь ведь, — опять зацокала языком Маня-большая, — кровь-то в ей ходит! А колобашки-то! Колобашки-то! Колом не прошибешь!

— Хватит, хватит, Архиповна. Я отродясь таких речей не люблю.

— И я не люблю, — подала свой голос Маня-маленькая. — У ей все срам на языке. Я тоже девушка.

Тут Алька от смеха повалилась грудью на стол. А у Мани-большой так и запылал левый глаз зеленым

угарным огнем — верная примета, что где-то уже подзаправилась. И поэтому Анисья, не дожидаясь самовара, вынесла закуску — звено докрасна зажаренной трески, поставила на стол четвертинку — поскорее бы только выпроводить такую гостью.

— Пейте, кушайте, гости дорогие.

— Тетка сегодня именинница, — сказала Алька, вытирая слезы.

— Разве? — У Мани-большой от удивления оттянулась нижняя губа. — А чего это брата с невесткой нету?

— Не могут, — ответила Анисья. — Прокопьевна на пекарне ухлопалась — ни ногой, ни рукой пошевелить не может. А сам известно какой — к кровати прирос.

Маня-большая ухмыльнулась.

— Матреха, — закричала она на ухо своей глуховатой подружке, — мы кого сичас видели?

— Где?

— У Прошичей на задворках.

— О-о! Нуто те — Павел Захарович с женой. В гости направились. У Павла сапоги сверкают — при мне о третьем годе покупал. И сама на каблучках, по-городскому... Богатые...

Больше полугода готовилась Анисья к этому празднику. Все, какие деньги заводились за это время, складывала под замок. Сама, можно сказать, на одном чаю сидела. А стол справила — пальцев не хватит на руках все перемены сосчитать.

Три рыбы: щука свежая, речная, хариусы — по фунту каждый, семга; три каши, три киселя; да мясо жирное, да мясо постное — нельзя Павлу жирного есть; да консервы тройные.

И вот сердце загорелось — все выставила. Нате, лопайте! Пускай самые распоследние гости стравят, раз свои побрезговали. Правда, звено красной — три дня мытарила за него на огороде у Игнашки-денежки — она сперва не вынесла. А потом, когда опоясала с горя второй стакан, и семгу бросила на потраву...

Не стесняясь чужих людей, она безутешно плакала, как малый ребенок, потом вскакивала, начинала лихо отплясывать под разнобойное прихлопыванье старушечьих рук, потом опять хваталась за вино и еще пуще рыдала...

Маня-большая, как кавалер, лапала раскрасневшую-

ся Альку. Та со смехом отпихивала ее от себя, била по рукам и под конец пересела к Мане-маленькой, которая низким, утробным голосом выводила свою любимую «Как в саду при долине...».

Вдруг Анисье показалось — в руках у Альки рюмка.

— Алька, Алька, не смей!

— Тетка, мы траву спрыскиваем. Я траву у Мани-маленькой торгую.

— Траву? — удивилась Анисья. И махнула рукой: а, лешак с вами! Мне-то что.

— Да я не обманываю, Онисья, — с обидой в голосе заговорила Маня-маленькая. — Когда я обманывала? У меня трава-то чистый шелк.

Алька начала трясти ее темную пудовую руку. К ним потянулась Маня-большая.

— Ну-ко, я колону. Может, и мне маленько отколется. Отколется, Матреха?

— Куда от тебя денешься? Выманишь...

Маня-большая, довольная, подмигивая, закурила, а Маня-маленькая опять зарокотала:

— Травка-то у меня хорошая, девка. Надо бы до осени подождать. В травке-то у меня котанушки любят гулять...

— Да твоим котанушкам по выкошенному-то огороду еще лучше гулять, — сказала Алька.

— Нет, не лучше. Травка-то им надо. Они из травки-то птичек выглядывают...

Маня-маленькая тяжко покачала головой и, обливаясь горючими слезами, затрубила на всю избу:

На мою на могилку,
Знать, никто не придет.
Только раннею весною
Соловей пропоет...

Ее стала утешать Маня-большая:

— Давай дак не стони. Расстоналась... Вон к Ониске и брат родной не зашел... В рожденье...

— Не трожь моего брата! — Тут к Анисье сразу вернулась трезвость. Она изо всей силы стукнула кулаком по столу, так, что посуда зазвенела. — Знаю тебя. Хочешь клин меж нас вбить. Не бывать этому!

— Алевтинка! Чего это она? Какая вожжа под хвост попала?

— А ну вас! — рассердилась Алька. — Натрескались. Одна белугой воет, другая чашки бьет.

Окончательно пришла в себя Анисья несколько позже, когда в избу вломились празднично разодетые девки в сопровождении трех военных.

Тот, у которого на плечах были золотые полоски, быстрыми блестящими глазами обежал избу, воскликнул, подмигивая Мане-большой (за хозяйку принял):

— Гуляем, тетушки?

— Маленько, товарищ... Старухи пенсионерки... — Маня-большая икнула для солидности. — Советская власть... Крепи оборону... Правильно говорю, товарищ?

— Уполне, — в тон ей ответил офицер, затем стал со всеми здороваться за руку.

— По-нашему, товарищ, — одобрила его Маня-большая и, повернувшись к Анисье, круто распорядилась: — А ты чего глаза вылупила? Не знаешь, как гостей принимают?

5

Место им досталось неважное — с краю, у комода, и не на стульях с мягкой спиночкой, а на доске — скрипучей полатнице, положенной на две табуретки.

Но Пелагея и этим местом была довольна. Это раньше, лет десять-двенадцать назад, она бы сказала: нет, нет, Петр Иванович! Не задвигай меня на задворки. На задворках-то я и дома у себя насижусь. А я хочу к оконышку поближе, к свету, чтобы ручьем в оба уха умные речи текли. Да лет десять-двенадцать назад и напоминать бы не пришлось хозяину — сам стал бы упрашивать. А она бы еще так и покуражилась маленько.

Но ведь то десять-двенадцать лет назад! Павел тогда бригадир, самой ей в рот каждый смотрит — не перепадет ли буханка лишняя. А теперь незачем смотреть, теперь в магазинах хлеб не выводится. А ведь какова цена хлебу — такова и пекарихе. На что же тут обижаться? Спасибо и на том, что вспомнил их Петр Иванович.

Когда от Петра Ивановича прибежал мальчик с записочкой, они с Павлом уже ложились спать. Но записочка («Ждем дорогих гостей») сразу все изменила.

Петр Иванович худых гостей не позовет, не такой он человек, чтобы всякого вином поить. Перво-наперво будут головки: председатель сельсовета да председатель колхоза, потом будет председатель сельпо с бухгалте-

ром, потом начальник лесопункта — этот наособицу, сын Петра Ивановича у него служит.

Потом пойдет народ помельче: пилорама, машина грузовая, Антоха-конюх, но и без них, без шаромыг, шагу не ступишь. Надо, скажем, дом перекрыть — походишь, покланяешься Аркашке-пилорамщику. А конюха взять. Кажись, теперь, в машинное время, и человека бесполезнее его нету. А нет, шофер шофером, а конюх конюхом. Придет зима да прижмет с дровами, с сеном — не Антохой, Антоном Павловичем назовешь.

Антониду с Сергеем, детей Петра Ивановича, они за столом уже не застали: люди молодые — чего им томиться в праздник в духоте?

Хозяйка, Марья Епимаховна, потащила было Пелагею на усадьбу — летнюю кухню показывать, — да она замотала головой: потом, потом, Марья Епимаховна. Ты дай мне сперва на людей-то хороших досыта насмотреться да скатерть-самобранку разглядеть.

Стол ломился от вина и яств. Петр Иванович все рассчитал, все усмотрел. Жена директора школы белого не пьет — пожалуйте шинпанского, Роза Митревна. Лет десять, наверно, а то и больше темная бутылка с серебряным горлышком пылилась в лавке на полке — никто не брал, а вот пригодилась: спотешила себя Роза Митревна, обмочила губочки крашеные...

Петр Иванович всю жизнь был для Пелагеи загадкой. Грамоты большой не имеет, три зимы в школу ходил, должности тоже не выпало — всю жизнь на ревизиях: то колхоз учитывает, то сельпо проверяет, то орс, а ежели разобраться, так первый человек на деревне. Не обойдешь! И руки мягкие, век топора не держали, а зажмут — не вывернешься.

В сорок седьмом году, когда Пелагея первый год на пекарне работала, задал ей науку Петр Иванович. Пять тысяч без мала насчитал. Пять тысяч! Не пятьсот рублей. И Павел тогда считал-считал, до дыр бумаги вертел — с грамотой мужик, — и бухгалтерша считала-пересчитывала, а Петр Иванович как начнет на счетах откладывать — не хватает пяти тысяч, и все. Наконец Пелагея, не будь дурой, бух ему в ноги: выручи, Петр Иванович! Не виновата. И сама буду век бога за тебя молить, и детям накажу. «Ладно, говорит, Пелагея, выручу. Не виновата ты — точно. Да я, говорит, не для тебя это и сделал. Я, говорит, той бухгалтерше урок преподал. Чтобы хвост по молодости не

подымала». И как сказал — так и сделал. Нашлись пять тысяч. Вот какой человек Петр Иванович!

Самым важным, гвоздевым гостем сегодня у Петра Ивановича был Григорий Васильевич, директор школы. Его пуще всех ласкал-потчевал хозяин. И тут голову ломать не приходилось — из-за Антониды. Антонида в школе работать будет — чтобы у нее ни камня, ни палки под ногами не валялось.

А вот зачем Петр Иванович Афоньку-ветеринара отличает, Пелагее было непонятно. Афонька теперь невелика шишка, не партейный секретарь, еще весной сняли, шумно сняли, с прописью в районной газетке, и когда теперь вновь подымется?

А в общем, Пелагея недолго ломала голову над Афонькой. До Афоньки ли ей, когда кругом столько нужных людей! Это ведь у Сарки-брюшины, жены Антохи-конюха (вот с кем теперь приходится сидеть рядом!), никаких забот, а у нее, у Пелагеи, муж больной — обо всем надо самой подумать.

И вот когда председатель сельсовета вылез из-за стола да пошел проветриться — и она вслед за ним. Встала в конец огородца — дьявол с ним, что он, лешак, рядом в нужнике ворочается, зато выйдет — никто не переймет. А перенять-то хотели. Кто-то вроде Антохи-конюха — его, кажись, рубаха белая мелькнула — выбегал на крыльцо. Да, верно, увидел, что его опередили, — убрался.

Ну и удозорила — и о сене напомнила, и об Альке словцо закинула. С сеном — вот уж не думала — оказалось просто. «Подведем Павла под инвалидность, как на колхозной работе пострадавши. Дадим участок».

А насчет Альки, как и весной, о первом мае, начал крутить:

— Не обещаю, не обещаю, Пелагея. Пущай поробит годик-другой на скотном дворе. Труд — основа...

— Да ведь одна она у меня, Василий Игнатьевич, — взмолилась Пелагея. — Хочется выучить. Отец малограмотный, я, Василий Игнатьевич, как тетера темная...

— Ну, ты-то не тетера.

— Тетера, тетера, Вася (тут можно и не Василий Игнатьевич), голова-то смалу мохом проросла (наговаривай на себя больше: себя роняешь — его подымаешь).

Председатель — кобелина известный — потянул ее к себе. Пелагея легонько, так, чтобы не обидеть, от-

толкнула его (не дай бог, кто увидит), шлепнула по жирной спине.

— Не тронь мое костье. Упаду — не собрать.

— Эх, Полька, Полька... — вздохнул председатель.— Какие у тебя волосы раньше были! Помнишь, как-то на вечерянке я протащил тебя от окошка до лавки? Все хотелось попробовать — выдержат ли? Золото — не косу ты носила.

— Давай не плети, лешак, — нахмурилась Пелагея. — Кого-нибудь другого таскал. Так бы и позволила тебе Полька...

— Тебя! — заупрямился председатель.

— Ну ладно, ладно. Меня, — согласилась Пелагея. Чего пьяному поперек вставать.

И вдруг почувствовала, как слегка отпотели глаза — слез давно нет, слезы у печи выгорели. Были, были у нее волосы. Бывало, из бани выйдешь — не знаешь, как и расчесать: зубья летят у гребня. А в школе учитель все электричество на ее волосах показывал. Нарвет кучу мелких бумажек и давай их гребенкой собирать...

Пелагея, однако, ходу воспоминаниям не дала — не за тем дожидалась этого борова, чтобы вспоминать с ним, какие у нее волосы были. И она снова повернула разговор к делу. Легко с пьяным-то начальством говорить: сердце напоказ.

— Ладно, подумаем, — проворчал сквозь зубы председатель (головой-то, наверно, все еще был на вечерянке).

А потом — как в прошлый раз: «Отдай за моего парня Альку. Без справки возьмем». Да так пристал, что она не рада была, что и разговор завела. Она ему так и эдак: ноне не старое время, Васенька, не нам молодое дело решать. Да и Алька какая еще невеста — за партой сидит...

— Хо, она, может, еще три года будет сидеть.

Альке неважно давалось ученье: в двух классах по два года болталась.

Потом в психи ударился, в бутылку полез:

— А-а, тебе мой парень не гленется?

— Гленется, гленется, Василий Игнатьевич.

Тут уж Васей да Васенькой, когда человек в кураж вошел, называть не к чему. А сама подумала: с чего же твой губан будет гленуться? Ведь ты и сам не ягодка.

Тоже губан. Помню, не забыла, как до моей косы на вечерянках добирался.

На ее счастье, в это время на крыльце показался Петр Иванович (хозяин — за всеми надо углядеть), и она, подхватив председателя, повела его в комнаты.

Так под ручку с Советской властью и заявилась — пускай все видят. Рано ее еще на задворки задвигать. И Петр Иванович тоже пускай посмотрит да подумает — умный человек!

А в комнатах в это время все сгрудились у раскрытых окошек — молодежь шла мимо.

— Пелагея, Пелагея! Алька-то у тебя...

— Апельсин! — звонко щелкнул пальцами Афонька-ветеринар.

— Вот как, вот как она вцепилась в офицера! Разбирается, ха-ха! Небось не в солдата...

— Мне, как директору, такие разговоры об ученице...

— Да брось ты, Григорий Васильевич, насчет этой моральности...

— Гулять с ученицей неморально, — громко отчеканил Афонька, — но которая ежели выше средней упитанности...

Тут, конечно, все заржали — весело, когда по чужим прокатываются, — а Пелагея не знала, куда и глаза девать. Сука девка! Смалу к ней мужики льнут, а что будет, когда в года войдет?

Петр Иванович, спасибо, сбил мужиков с жеребятины, Петр Иванович налил стопки, возгласил:

— Давайте, дорогие гости, за наших детей.

— Пра-виль-но-о! Для них живем.

— От-ста-вить!

Афонька-ветеринар. Чего еще цыган черный надумал? Вот завсегда так: люди только настроятся на хороший лад, а он глазищи черные выворотит — обязательно поперек.

— Отставить! — опять заорал Афонька и встал. — За нашу советскую мо́лодежь!

— Пра-виль-но!

— За мо́лодежь, Афанасий Платонович.

— От-ста-вить! Разговорчики!

Да, вот так. Встанет дьявол поджарый и начнет сквозь зубы команды подавать, как будто он не с людьми хорошими разговаривает, а у себя на ветеринарном участке лошадей объезжает.

— За всемирный форум мо́лодежи! За молодость нашей планеты!

Вот и сказал! Начали было за детей, а теперь незнамо и за что.

— Пить — всем! — опять скомандовал Афонька. Черной головней мотнул, как ворон крылом. Глазами не посмотрел — прошагал по столу и вдруг уставился на Павла — Павел один не поднял рюмку.

— Афанасий Платонович, — заступилась за мужа Пелагея, — ему довольно, у него сердце больное.

— Я на-ста-иваю!

Подбежал Петр Иванович: не тяни, мол, соглашайся. А тот ирод как с трибуны:

— Я прыцыпально!

— Да выпей ты маленько-то, — толкнул под локоть мужа Пелагея и тихо, на ухо добавила: — Ведь он не отстанет, смола. Разве не знаешь? Да выпей, кому говорят! — уже рассердилась она (Афонька стоит, Петр Иванович в наклон). — Сколько тебя еще упрашивать? Люди ждут.

Павел трясущейся рукой взялся за рюмку.

— Ура! — гаркнул Афонька.

— Ур-ррр-а! — заревели все.

Потом был еще «посошок» — какой же хозяин отпустит гостей без посошка в дорогу, — потом была чарка «мира и дружбы» — под порогом хозяин обносил желающих, — и только после этого выбрались на волю.

На крыльце кого-то потянуло было на песню, но Афонька-ветеринар (вот где пригодилась его команда) живо привел буяна в чувство:

— Звук! Пей-гуляй — не рабочее время. А тихо, тихо у меня!

Следующий заход был к председателю лесхимартели, человеку для Пелагеи, прямо сказать, бесполезному. По крайности за все эти годы, что она пекарем, ей ни разу не доводилось иметь с ним дела, хотя, с другой стороны, кто знает, как повернет жизнь. Сегодня он тебе ни к чему, а завтра, может, он-то и встанет на твоей дороге.

В общем, не мешало бы и к председателю лесхимартели сходить. Но что поделаешь — Павел совсем раскис к этому времени, и она, взяв его под руку, повела домой.

6

— Летнюю-то кухню видел у Петра Ивановича? Сама говорит: рай. Все лето жары в доме не будет.

Павел ничего не ответил.

Пелагея рассказала мужу о своем разговоре с председателем сельсовета насчет сена и справки. При этом она не очень-то огорчалась, что председатель опять крутил насчет справки. Альке учиться еще год — в восьмой класс осенью пойдет, — и за это время можно найти ходы. Есть у нее кое-какая зацепка и в районе. Хоть тот же Иван Федорович из райисполкома. После войны сколько раз она выручала его хлебом — неужто ее добро не вспомнит?

Пелагею сейчас занимало другое — та загадка, которую задал ей Петр Иванович. Три года их в забытьи держал, а сегодня позвал — с чего бы это?

Сама она ему не нужна, рассуждала Пелагея, это ясно. Кончилось ее времечко — кто же нынче станет пекариху обхаживать? Давно люди набили хлебом брюхо. Может, на Альку виды имеет?

Слыхала она, что Сергей Петрович на Альку глаза пялит, и намекни ей Петр Иванович: так и так, мол, Пелагея, рановато мы с тобой компанию оборвали, кто знает, еще как жизнь-то распорядится, — да разве бы она не поняла?

Не намекнул.

Она думала: при прощанье шепнет. И при прощанье не шепнул: «Благодарю за уваженье. Благодарю». И все. Иди, ломай себе голову.

Непонятным, подозрительным теперь казалось Пелагее и то, что позвали их к Петру Ивановичу второпях, когда все гости уже были в сборе. Неужто это не от самого Петра Ивановича шло, а от кого-нибудь другого?

От Васьки-губана? (Так по-уличному, сама с собой, называла она председателя сельсовета.)

Может, может так быть, решила Пелагея. Парень у губана жених. Постоянно возле их дома мотается. Да нет, Васенька, больно жирно. По зубам кусок выбирай. Топором-то нынче жизнь не завоюешь, а что еще твой сын умеет? Смех! В город ездил, два года учился, а приехал все с тем же топором. На плотника выучился.

Павлу вечерняя свежесть не помогла. Он, как куль, висел у нее на руке.

Она сняла с него шляпу, сняла галстук.

— Потерпи маленько. Скоро уж. У меня у самой ноги огнем горят.

Да, чистое наказанье эти туфли на высоком каблуке. Кто их только и выдумал! В третьем годе они справили всю эту справу — и шляпу, и галстук, и туфли с высокими каблуками. Думали: с культурными да образованными людьми компанию водят, надо и самим тянуться. А и зря: за три года первый раз в гости вышли.

У Аграфениной избы остановились — Павел совсем огрузнел, и тут, как назло, — Анисья. Выперла на них прямо из-за угла, да не одна — с беспутными Манями.

Павел только увидел дорогую сестрицу, закачался, как подрубленное дерево. А она, Пелагея, тоже поначалу ни туда ни сюда, будто ум отшибло.

И еще одну глупость сделала — клюнула на удочку Мани-большой.

Та — шаромыжина известная:

— Что, Прокопьевна, вольным воздухом подышать вышли?

— Вышли, вышли, Марья Архиповна! Сам лежал, лежал на кровати: «Выведи-ко, жена, на чистый воздух...»

А как же иначе? Не у себя дома — на улице: хошь не хошь, а отвечай, коли спрашивают.

Об одном не подумала она в ту минуту — что бревно стоячее тоже иной раз говорит. А Матреха — мало того что бревно, еще и глуха — просто бухнула, а не заговорила:

— Почто врешь? Вы у Петра Ивановича были...

Вот тут и пошло, завертелось. Анисья — шары налила — давай высказываться на всю улицу: «Вы признавать меня не хочете... вы сестры родной постыдились... ты дом родительский разорила...» — это уж прямо по ее, Пелагеиной, части. Каждый раз, когда напьется, про дом вспоминает.

Ну, понятное дело, Пелагея в долгу не осталась. А как же? Тебя по загривку, а ты в ножки кланяться? Нет, получай сполна. И еще с довесом...

А тут Павлу сделалось худо, его начало рвать. А из окошка выглянула Аграфена — длинные зубы: дождалась праздничка, есть теперь о что клыки поточить;

Толя-воробышек прилетел... В общем, не надо в кино ходить. На всю улицу срамоту развели.

И только одно успокаивало Пелагею — не было поблизости хороших людей. Не было. А раз не было — пыль эта, поднятая у Аграфениной избы, до первого дождя.

7

— Ты как золотой волной накрывшись... Искры от тебя летят...

Так плел ей, рассказывал Олеша-рабочком про свою первую встречу с ней, про то, как увидел ее у раскрытого окошка за расчесыванием волос. А сама она из той встречи только и запомнила, что резкую боль в голове (лапу в волосы запустил, дьявол) да нахальные, с жарким раскосом глаза. И уж, конечно, никак не думала не гадала, что ихние дороги когда-нибудь пересекутся. Какой может быть пересек у простой колхозницы с начальником заречья? Шел мимо да увидел молодую бабу в окошке — вот и потешил себя, подергал за волосья.

А дороги пересеклись. Недели через полторы-две, под вечер, Пелагея полоскала белье у реки, и вдруг опять этот самый Олеша. Неизвестно даже, откуда и взялся. Как из-под земли вырос. Стоит, смотрит на нее сбоку да скалит зубы.

— Чего платок-то не снимаешь? Не холодно.

— А ты что — опять к волосам моим подбираешься? Проваливай, проваливай, покамест коромыслом не отходила! Не посмотрю, что начальник.

— Ладно тебе. Убыдет, ежели покажешь.

— А вот и убыдет. Ты небось в кино ходишь, билет покупаешь, а тут бесплатно хочешь?

— А сколько твой билет?

— Иди, иди с богом. Некогда мне с тобой лясы точить.

И в третий раз они встретились. И опять у реки, опять за полосканьем белья. И тут уж она догадалась: подкарауливал ее Олеша.

— Ну, говори, сколько твой билет стоит? — опять завел свою песню.

— Дорого! Денег у тебя не хватит.

— Хватит!

— Не хватит.

— Нет, хватит, говорю!

— А вот устрой пекарихой за рекой — без денег покажу.

Как уж ей тогда пришло это на ум, она не могла бы объяснить. И еще меньше могла бы подумать, что Олеша эти слова примет всерьез.

А он принял.

— Ладно, устрою. Показывай.

— Нет, ты сперва денежки на бочку, а потом руки к товару протягивай. — И тут Пелагея, к своему немалому удивлению, как бы рассмеялась и эдак шаловливо прискинула платок — дьявол, наверно, толкнул ее в бок.

И Олеша совсем ошалел:

— Ежели дашь мне выспаться на твоих волосах, вот те бог — через неделю сделаю пекарихой. Я не шучу.

— А и я не шучу, — ответила Пелагея.

Через неделю она стала пекарихой — сдержал свое слово Олеша. Со скотного двора ее вырвал, все стены вокруг разрушил — вот как закружило человека.

Ну и она сдержала слово — в первый же день на ночь осталась на пекарне. А под утро, выпроваживая Олешу, сказала:

— Ну, теперь забудь про мои волосы. Квиты. И не вздумай меня снимать. Я кусачая...

Сколько лет прошло с тех пор, сколько воды утекло в реке! И где теперь Олеша? Жив ли? Помнит ли еще зареченскую пекариху с золотыми волосами?

А она его забыла. Забыла сразу же, как только закрыла за ним дверь. Нечего помнить. Не для услады, не для утехи переспала с чужим мужиком. И если сейчас этот топляк, чуть ли не два десятка лет пролежавший на дне ее памяти, вдруг и вынырнул на поверхность, то только потому, что, распуская на ночь свой хвостик на затылке — вот что осталось от прежнего золота, — она вспомнила про свой давешний разговор с Васькой-губаном.

Павел уже спал, похрапывая. Пелагея, как всегда, поставила кружку с кипяченой водой на табуретку, положила таблетки в стеклянном патроне и наконец-то легла сама. На перину, разостланную возле кровати, — чтобы всегда быть под рукой у больного мужа.

Она привыкла к храпу Павла (он и до болезни храпел), но нынешний храп ей показался каким-то нехоро-

шим, будто душили его, и она, уже борясь со сном, приподняла свою отяжелевшую голову. Чтобы последний раз взглянуть на мужа. Приподняла и — с чего? почему? — опять ее, второй или третий раз сегодня, откинуло к прошлому.

Она подумала: догадался или нет тогда Павел насчет Олеши? Во всяком случае, назавтра, утром, когда она пришла домой, он ничем не выдал себя. Ни единого попрека, ни единого вопроса. Только, может, в ту минуту, когда заговорил о бане, немного скосил в сторону глаза.

— У нас баня сегодня, — сказал ей тогда Павел. — Когда пойдешь? Может, в первый жар?

— В первый, — сказала Пелагея.

И в то утро она два березовых веника исхлестала о себя. Жарилась, парилась, чтобы не только грязи на теле — в памяти следа не осталось от той ночи.

Но след остался. И мало того, что она сейчас совсем некстати подумала о том, знал или не знал Павел про ее грех. Это еще пустяк — кому важно теперь то, что было столько лет назад. А как быть, ежели время от времени, глядя на свою дочь, ты начинаешь думать об Олеше, по-матерински высчитывать сроки?

Не спуская глаз с тяжело дышавшего мужа, Пелагея и сейчас была занята этими вычетами. На пекарню она поступила в сентябре, 11 числа. Алька родилась 15 апреля... Восемь месяцев... Нет, с облегчением перевела она дух, восьмимесячные не рождаются, рождаются семи месяцев, да и то еле живые. А про Альку этого не скажешь. Алька, как кочан капустный, выкатилась из нее. Ни одной детской болезнью не болела.

Однако закравшееся в душу подозренье — не сорняк в огороде, который вырвал с корнем, и делу конец. Подозренье, как мутная вода, все делает нечистым и неясным. И сколько ни доказывала себе Пелагея, что Алька никакого отношения не имеет к Олеше, полной уверенности в этом у нее не было.

Конечно, восьмимесячные не рождаются, да и какая мать не знает, кто отец ее ребенка, но откуда у девки такая шальная кровь? Почему она смалу за гулянкой гонится? Раньше, до нынешнего дня, она не сомневалась: в тетушку Анисью Алька, от нее кипяток в крови, потому и невзлюбила ту, а сейчас и этой уверенности не было.

Пелагея полежала еще сколько-то, повертела подуш-

ку под разгоряченной головой и встала. Все равно не заснуть теперь. До тех пор не заснуть, пока не взглянет на Альку.

8

Белая ночь была на исходе. Уже утренняя заря разливалась по заречью. А праздник был еще в полном разгаре. Наяривала гармошка в верхнем конце деревни (неужели все еще у председателя лесхимартели гуляют?), голосили пьяные бабы (эти теперь ни в чем не уступят мужикам), а на дороге, у Аграфениного дома, и совсем непотребное творилось: ребятишечки сопленосые в пьяных играли. Друг за дружку руками держатся, головенками мотают, что-то верещат — не то матюкаются, не то песни поют. Совсем как папы и мамы...

Пелагея пошла полем: не дай бог нарваться на пьяного. Заговорит. Домой потащит. А то и лягнет — не теперь сказано: пьяному море по колено. Правда, за себя она не опасалась — даст сдачи. А что делать, когда дочь начнут в грязи валять?

Первый раз Пелагея накрыла Альку за шалостью, когда та училась еще в пятом классе. Зимой, в женский день. В тот день как раз случилась у них беда — Манька, корова, заболела. Ветеринара дома нету — в районе. Что делать?

Вспомнили про молодого зоотехника — все больше понимает, чем они сами.

И вот с этим-то молодым зоотехником Пелагея и накрыла свою дочь. Целуются! В хлеву у коровы. В то самое время столковались, покамест матерь за пойлом выходила. И добро бы только парень Альку лапал, а то ведь нет. То ведь Алька, как травина, оплела парня. Привстала, на цыпочки приподнялась, чтобы понадежнее к губам припасть, да еще обеими руками за шею ухватилась. Вот что поразило тогда Пелагею.

С зоотехником разговор был короток. Зоотехника заслали в самую распродальнюю дыру в районе — в силе она в ту пору была. А дочь родную куда сошлешь?

Била, говорила по-хорошему — все напрасно. Кого где не видели под углом да за огородой, а Альку обязательно. И если бы сейчас, к примеру, Пелагея натолкнулась на нее с парнем возле бани или амбара, она бы не подняла крик от неожиданности...

У клуба стоном стонала земля — такого многолюдья она давно уже не видела в своей деревне. А со стороны подгорья подходили все новые и новые люди. С лесопункта, из-за реки, из других деревень — моторы, начавшие завывать на реке с полудня, все еще не смолкли, — и были гости из района.

Тихонько и незаметно перебравшись через жердяную огороду, она хотела так же тихонько и незаметно подойти к крыльцу, возле которого танцевала молодежь, да не тут-то было!

— Сватья, сватьюшка! Ух, как хорошо! А я ведь к тебе собралась. Где, говорю, у вас Прокопьевна? Куды вы ее подевали?

Пелагея готова была разорвать свою сватьюшку, сестру жены двоюродного брата из соседней деревни, — так уж не к месту да не ко времени была эта встреча! А заговорила, конечно, по-другому, так, как будто и человека для нее дороже на свете нет, чем эта краснорожая баба с хмельными глазами.

— Здорово, здорово, сватьюшка! — сказала нараспев Пелагея да еще поклонилась: вот мы как свою родню почитаем. — На привете да на памяти спасибо, Анна Матвеевна, а худо, видно, к нам собиралась. Не за горами, не за морями живем. За ночь-то, думаю, всяко можно попасть...

В общем, сказала все то, что положено сказать в этом случае, и даже больше, потому что та дура пьяная кинулась обнимать да целовать ее, а потом потащила в круг.

— Посмотри, посмотри на свою дочерь! Я посмотрела — глазам легче стало. Вот какая она у тебя красавица!

Так Пелагея и въехала в молодежный круг в обнимку со сватьей-пьяницей. Не закричишь: «Отстань, дура пьяная», когда народ кругом. А через минуту она сама, по своей доброй воле, обнимала сватью. Не думала, не думала, что у нее в таком почете Алька.

Антонида Петровна с высоким образованием, а где? На закрайке. С родным братцем топчется. А другая горожаха, председателя лесхимартели дочь, тоже ученая, та и вовсе не при деле — на выставке, а попросту сказать, со стороны смотрит.

А ее-то Алька! В самой середке, на самом верховище. Да с кем? А с самим секретарем комсомольским из заречья. Какая еще характеристика требуется? Разве

станет партийный человек себя марать — с худой девкой танцевать?

Но и это не все. Только Савватеев отвел Альку к девкам — офицер подошел. Тот самый, которого они видели давеча из окошек у Петра Ивановича. Молодой, красивый, рослый. Идет-выгибается, как лоза. А уж погоны на плечах горят — за десять шагов жарко.

— Солнышко, солнышко на кругу взошло!

Ну, может, и не солнышко, может, и через край хватила сватья, а не одна она, Пелагея, засмотрелась. Вся публика стоячая смотрела. И даже молодежь: три раза Алька с офицером круг обошли, только тогда вышло еще две пары.

А Антонида Петровна так и осталась на бобах. Стоит в сторонке да ноготки крашеные кусает. И вот как все одно к одному — Петр Иванович подошел. Не усидел в гостях, захотелось и ему на свою дочь посмотреть.

Смотри, смотри, Петр Иванович, на своего ученого воробья (чистый воробей, особенно когда из-за толстых очков глазки кверху поднимет), не все тебе торжествовать. А я буду на свою дочь смотреть.

И Пелагея смотрела. Смотрела, высоко подняв голову. И как-то сами собой отпали все заботы и недавние тревоги. Ее дочь! Ее кровинушка верх берет!

Танец кончился быстро — короткий век у радости,— и Пелагея знаком подозвала к себе Альку: Петр Иванович стоит рядом с дочерью, а ей нельзя?

Алька подбежала скоком — глупа еще, чтобы девичьей поступью, но такая счастливая! Как если бы автомобиль выиграла по лотерейному билету.

А может, и выиграла, подумала Пелагея и незаметно для других скосила глаза на круг: где офицер? Что делает?

Офицер шел к ним. Шел не спеша, вразвалку и слегка обмахивая разогретое лицо белым носовым платком.

— Аля, познакомьте меня с вашей мамой.

Пелагея протянутую руку пожала, а чтобы сказать нужное слово — растерялась. Замолола что-то насчет жары. Жарко, мол, нынче. И работать жарко, и веселиться жарко.

— Ничего, — сказал офицер, — мы свою программу выполним. Верно, Аля?

Алька разудало тряхнула головой: какое, мол, может быть сомнение. Выполним!

Пелагея еще не успела собраться с мыслями: как ей посмотреть на Алькину выходку? не пожурить ли для ее же пользы? — подошла Антонида Петровна.

— Аля, Владислав Сергеевич, не хотите ли чаю? У нас самовар готов...

Пелагее показалось чудным: с каких это пор у Петра Ивановича по ночам самовары стали греть? А потом сообразила: да ведь это Петр Иванович ради своей дочери старается.

— Нет, нет, Антонида Петровна, — быстро ответила за дочь Пелагея. — К нам милости просим. У нас гостья не поена, не кормлена — вот где пригодилась сватьюшка! — Алевтинка, чего стоишь? Приглашай молодежь. Будь хозяйкой.

Все это Пелагея говорила с улыбкой, а у самой земля качалась под ногами: что задумала? На кого руку подняла? И до самой школы не смела оглянуться назад. Шла и затылком чувствовала разгневанный взгляд Петра Ивановича.

9

Раньше, до войны, дома в деревне стояли что солдаты в строю — плотно, почти впритык друг к другу, по одной линии. А чтобы при доме была баня, колодец, огород — этого и в помине не было. Все наособицу: дома домами, колодцы колодцами, бани банями — на задах, у черта на куличках.

Пелагея Амосова первой поломала этот порядок. Она первая завела усадьбу при доме. Баня, погреб, колодец и огород. Все в одном месте, все под рукой. И под огородой. Чтобы ни пеший, ни конный, никакая скотина не могла зайти к ней без спроса.

Позже, вслед за Пелагеей, потянулись и другие, и сейчас редкий дом не огорожен.

Но сколько она вынесла понапраслины! «Кулачиха! Деревню растоптала! Дом родительский разорила!..» Ругали все. Ругали чужие. Ругала Павлова родня. И даже в Москве ругали. Да, да, нашелся один любитель чужих домов из столицы. Пенял, чуть не плакал: дескать, какую красу деревянную загубили. Особенно насчет крыльца двускатного разорялся. Что и говорить, крыльцо у старого дома было красивое, это и Пелагея понимала. На точеных столбах. С резьбой. Да ведь зимой с этим красивым крыльцом мука мученская: и воду и дро-

ва надо как в гору таскать. А в метель, в непогодь? Суметы снежные накладет, да так, что и ворота не откроешь.

Владислав Сергеевич, даром что молодой, сразу оценил усадьбу.

— Шикарно, шикарно живешь! — сказал он, когда они шумной гурьбой подошли к дому.

Да, есть на что взглянуть. Углы у передка обшиты тесом, покрашены желтой краской, крыша новая, шиферная (больше двухсот рублей стоила), крылечко по-городскому, стеклом заделано — да с таким домком и в городе не последним человеком будешь. А уж привольно-то! Ширь-то кругом!

В сельсовете, когда Пелагея попросила пустырь за старым домом, ее на смех подняли: чудишь, баба. Даже Петр Иванович, при всем своем уме, усами заподергивал — не сумел на пять лет вперед заглянуть. А она заглянула. Разглядела на месте пустыря лужок с душистым сеном под окошками. И теперь кто не завидует ей в деревне!

За рекой всходило солнце, когда она с гостями вошла на усадьбу. И, боже, что тут поделалось! Все засверкало, заиграло вокруг, потом, как в волшебной сказке, все стало алым: и лица, и крыша, и белые занавески в окнах.

Владислав Сергеевич то ли по недомыслию — городской все-таки человек, — то ли ради шутки схватил у крыльца железную лопату и начал загребать сено. Гам, визг поднялся страшный. А тут еще жару подбросила сватья. Сватья зачерпнула ковшом воды в кадке у крыльца, подбежала к Владиславу Сергеевичу: водой их, водой! И через минуту-две ни одного человека сухого не было. Все были мокры. И сено было мокро. Его сваляли да вытоптали хуже лошадей. Но ничего ей не было сейчас жалко. Душа расходилась — сама смеялась пуще всех.

Смеялась... А в это время совсем рядом, за стеной в избе, без памяти лежал Павел, и смерть ходила вокруг него...

Нет, нет! Она не снимала с себя вины. Виновата. Нельзя было оставлять больного мужа без присмотра. Нельзя ходить по гулянкам да офицеров в гости зазывать, когда муж хворый. Ну, а с другой стороны, спрашивала себя Пелагея потом, много позже, что было бы тогда с Павлом, не окажись в ту минуту рядом Влади-

слав Сергеевич? Алька перепугалась насмерть, у самой у ней ум отшибло, фельдшер пьяный, без задних ног лежит у себя на повети... А Владислав Сергеевич будто только тем всю жизнь и занимался, что помогал таким бедолагам, как они.

— Петренко! Тащи фельдшера к колодцу и до тех пор полощи, пока он, сукин сын, в себя не придет. Федоров! Бери машину и на всех парах в район за доктором. Живо!

А кроме того, он и сам не сидел сложа руки, пока не подоспела к Павлу медицина. Ворот у рубахи расстегнул, впустил в избу свежий воздух, все окна приказал раскрыть и еще капли Павлу в рот влил — да разве бы она, Пелагея, догадалась до всего этого?

Нет, нет, хоть и судачили, перемывали ей потом бабы косточки за этого офицера, а надо правду говорить: тогда, в то утро, если кто и спас от смерти Павла, так это он, Владислав Сергеевич.

10

Нынешняя болезнь Павла поначалу казалась Пелагее погибелью, крахом всей ее жизни.

Немыслимо, невозможно одной управиться и дома и за рекой. Надо прощаться с пекарней. А без пекарни какая жизнь? Залезай, как улитка, в свою скорлупу на задворках да там и захорони себя заживо.

Но, слава богу, пекарню она удержала за собой. Выручила Анисья. Она с Алькой встала к печи.

Быстрее пошел на поправку, чем раньше думала, и Павел. Попервости районный доктор, как обухом, оглушил Пелагею: «Паралич. Не видать тебе больше мужа на своих ногах...» А Павел поднялся — на пятнадцатый день в постели сел, а еще через три дня, опираясь на жену, вышел на крыльцо. В общем, устояли на этот раз Амосовы.

Днем и ночью две недели подряд сидела Пелагея возле больного мужа. Да вдобавок еще уйму всяких дел переделала: окучила картошку, лужок у Мани-маленькой выкосила... А корова и поросенок? А вода и дрова? А стирка? Это ведь тоже не сердобольные соседушки за нее делали. А вот какой ужас эта пекарня — отдохнула! Как в отпуску побывала. Во всяком случае, так ей казалось, когда она после трехнедельного перерыва отправилась за реку.

Все внове было ей в тот день. И то, что она идет на пекарню среди бела дня, порожняком. Идет не спеша, любуясь ясным, погожим деньком, и то, что в поле пахнет уже не сеном, а молодым наливающимся хлебом. И внове ей была она сама — такая бодрая и легкая на ногу. Как будто добрый десяток лет сбросила. Единственное, что время от времени перекрывало ей радость, были сетования Анисьи на Альку. Анисья, возвращаясь с пекарни, чуть ли не каждый вечер заводила разговор об офицере. Зачастил, мол, в день не один раз заходит на пекарню. Нехорошо.

— Да что тут нехорошего-то? — возражала ей Пелагея. — Он ведь заказчик наш. С нашей пекарни хлеб для своих солдат берет. Почему и не зайти.

— Да не для заказа он ходит. Алька у него на уме.

— Ну уж, тетушка, осудила племянницу. Не осуждай, не осуждай, Онисья Захаровна. Чужие люди осудят. А хоть и пошалят немного, дак на то им и молодые годы дадены. Мы с тобой свое отшалили...

— Все равно не дело это — с сеном огонь рядом, — твердила свое Анисья.

И вот в конце концов Пелагея собралась на пекарню, решила своими глазами посмотреть, из-за чего разоряется Анисья.

Река встретила Пелагею ласково, по-матерински. Оводов уже не было — отошла пора. Зато ласточек-береговушек было полно. Низко, над самой водой резвились, посвистывая.

Остановившись на утоптанной тропке возле травяного увала, Пелагея с удовольствием наблюдала за их игрой, потом торопливо потрусила к спуску: у нее появилось какое-то озорное, совсем не по возрасту желание сбросить с ног ботинки и побродить в теплой воде возле берега, подошвами голых ног поласкать песчаный накат у дресвяного мыска.

Однако вскоре она увидела Антониду Петровну, или Тонечку, как Пелагея привыкла называть про себя дочь Петра Ивановича, и к реке сошла своим обычным шагом.

Тонечка загорала. На подстилке. С книжкой в руках.

Подстилка нарядная — большая зеленая шаль с кистями, которую зимой носила мать, — книжка, как огонь, в руках красная. А вот сама Антонида Петровна будто из войны вынырнула. Худенькая, тоненькая и белая-белая, как сметана, — не льнет солнце. Правда, гла-

за у Тонечки были красивые. Тут уж ничего не скажешь. Ангельские глаза. Чище неба всякого. Но сейчас и они были спрятаны под темными очками.

— Что, Антонида Петровна, — спросила Пелагея, — все красу наводишь? Солнышко на себя имашь? Имай, имай. По науке жить надо. Только что уж одна? На картинках-то барышни все с кавалерами загорают...

Ужалила — и пожалела. Обоих детей у Петра Ивановича легко обидеть. И Антониду и Сережу. Бог знает, в кого они — беззащитные какие-то, безответные.

Стараясь загладить свою вину, Пелагея уже искренне, от всего сердца предложила Тонечке поехать за реку.

— Поедем, поедем, Антонида Петровна! Не пожалеешь. Я чаем тебя напою, не простым, с калачами крупитчатыми — знаешь, как в песнях-то старинных поется? А загорать на той стороне еще лучше.

— Нет, нет, спасибо... Мне домой надо... — скороговоркой пролепетала Тонечка.

Пелагея вздохнула и — что делать — пошла к лодкам.

11

Все, все было на месте — и сама пекарня с большими раскрытыми окнами, и сосны разлапистые в белых затесах понизу, и колодец с воротом, и старая, местами обвалившаяся изгородь.

А она поднялась по тропинке к этой изгороди да почуяла теплый хлебный дух, какой бывает только возле пекарни, и расплакалась. Да так расплакалась, что шагу ступить не может.

У крыльца солдаты — дрова пилят — остановились: «Что это, тетка, с тобой?» А разве тетка знает, что с ней?

Всю жизнь думала: каторга, жернов каменный на шее — вот что такое эта пекарня. А оказывается, без этой каторги да без этого жернова ей и дышать нечем.

И еще больше удивились солдаты, когда только что в голос рыдавшая тетка вдруг с улыбкой прострочила мимо них и без передышки взбежала на крыльцо.

А в пекарне — тоже небывалое с ней дело — не с чужим человеком, не с офицером сперва поздоровалась, а с печью, с квашней, со своими румянощекими ребятками — так Пелагея в добрый час называла только что вынутые из печи хлебы — все так и обняла глазами.

И только после этого кивнула Владиславу Сергеевичу.

Владислав Сергеевич, всерьез ли, для собственной ли забавы, стоял у печи с деревянной лопатой. В трусах. Босиком. Но это еще ничего, с этим Пелагея могла примириться: городской человек, а сейчас и мужики в деревне запросто без штанов ходят. Но Алька-то, Алька-то бесстыдница! Тоже пуп напоказ выставила.

— Ты ошалела тут, срамница! — вспылила Пелагея. — Давай уж и это долой! — Она кивнула на Алькин лифчик и трусики из пестрого ситчика.

— Жарко ведь, — огрызнулась Алька.

— А жарко не жарко, да не забывайся: ты девушка!

Еще больше вознегодовала Пелагея, когда присмотрелась к пекарне. Попервости-то, ошалев от радости, она ничего не заметила, ни трех прогорелых противней, брошенных в угол за ведро с помоями (опять начет от бухгалтерии), ни забусевшей стены возле мучного ларя (сразу видно, что без нее ни разу не протирали), ни обтрепанного веника у дверей (какая польза от такого?).

Но самый-то большой непорядок — хлебы.

Одна, другая, третья... Двенадцать подряд буханок «мореных» и квелых, неизвестно где и печенных — не то в печи, не то на солнышке.

Но эти буханки еще куда ни шло: человек печет — не машина, и как совсем брака избежать? Да ведь и остальной хлеб у нее сиротой смотрит.

Пелагея заглянула в миску, из которой она обычно смазывала верхнюю корочку только что вынутой из печи буханки. Смазывала постным маслом на сахаре — уж на это не скупилась. Тогда буханку любо в руки взять. Смеется да ластится. Сама в рот просится. А эта чем смазывала? Пелагея метнула суровый взгляд в сторону Альки. Простой водой?!

— Да разве ты первый раз на пекарне? — стала она отчитывать дочь. — Не видала, как матерь делает?

— Ладно, — отмахнулась Алька, — исть захотят — слопают.

— Да ведь сегодня слопают, завтра слопают, а послезавтра и пекариху взашей!

— Испужали... Нашла чем стращать...

Вот и поговори с ней, с кобылой. На все у ней ответ, на все отговорка.

Нет, хоть и сказано у людей: какова березка, такова и отростка, — а не ейный отросток эта девка. Она,

Пелагея, разве посмела бы так ответить своей матери? Да покойница прибила бы ее. А людям, тем и вовсе на глаза не показывайся. Ославят так, что и замуж никто не возьмет. Раньше ведь первым делом не на рожу смотрели, а какова у тебя спина да каковы руки.

А у Альки единственная работа, которую она в охотку делает, это вертеться перед зеркалом да красу на себя наводить. Тут ее никакая усталь не берет.

Война у Пелагеи с дочерью из-за работы идет давно, считай, с того времени, как Алька к нарядам потянулась, и сейчас, в эту минуту, Пелагея так распалилась, что, кажется, не будь рядом чужого человека, лопату бы обломала об нее.

Все же она сорвала свою злость.

Алька нехотя, выламываясь — нарочно так делала, чтобы позлить мать, — стала натягивать на себя платье-халат.

И вот тут-то и подал свой голос до сих пор помалкивавший офицер.

— Мамаша не бывала в городе? — спросил он учтиво. — А там, между прочим, половина населения сейчас лежит у реки в таком же наряде, как Аля. И представьте, никто за это не наказывает.

— Да ведь то в городе, Владислав Сергеевич, а то у нас... к нам городское житье неприменимо...

Офицер легонько пожал плечами (не мое, мол, дело указывать, не я здесь хозяин), но тоже привел себя в приличный вид — надел брюки.

Алька дулась. Забралась с коленями на табуретку, лицо в раскрытое окно, а матери — зад. Любуйся!

Пелагея быстро замыла забусевшую стену у мучного ларя, прошлась новым мокрым веником по пекарне — сразу пол заблестел, — прибрала на рабочем столе и вдруг подумала, а не зря ли она напустилась на девку. Девка худо-хорошо целыми днями работает. В жаре. В духоте. А главное — Пелагее сейчас страшно неловко было перед офицером — он как раз в то время вернулся с улицы. Офицер-то чем провинился перед ней? Тем, что Павла от верной смерти спас? Или, может, тем, что сейчас вот дрова им помогает распилить?

Пелагея живехонько преобразилась.

— Алевтинка, — сказала она ласковым голосом и улыбнулась, — ты хоть чаем-то напоила своего помощника?

— Когда чаи-то распивать? Не без дела сижу...

— Да с делом ли, без дела, а помощников-то надо напоить-накормить. Ох, Алька, Алька! Захотела нонешних работников на колодезном пиве удержать... — Пелагея еще приветливее, еще задушевнее улыбнулась, потом разом выложила карты: — Ставь самовар, а я за живой водой сбегаю.

12

Пелагея любила чаевничать на пекарне. Самые это приятные минуты в ее жизни были, когда она, вынув из печи хлебы, садилась за самовар. Не за чайник — за самовар. Чтобы в самое темное время — зимой — солнце на столе было. И чтобы музыка самоварная играла.

Бывали у ней на пекарне и гости. Особенно раньше. Кто только не забегал к ней тогда! Но — что говорить — такого гостя, по душе да по сердцу, как нынешний, у нее, пожалуй, еще не было.

Красавец. Образованный. И умен как бес — через стену все видит.

Пелагея не поскупилась — две бутылки белого купила. Думала, пускай и у солдат праздник будет. Заслужили: целую кучу вровень с крыльцом дров накололи. Да потом и то взять: начальнику-то ставь, да и помощников не забывай. Потому как известно — через помощников ведут двери к начальнику.

В общем, сунула стриженым ребятам бутылку. На ходу сунула — никто не видал.

А вот какой у него глаз — увидел.

Только вошла она в пекарню с покупками, а он уж ей пальцем:

— А вот это, мамаша, непорядок! Солдат у меня не спаивать.

Сказал в шутку, с улыбочкой, но так, что запомнишь — в другой раз не сунешься.

Пелагея быстро захмелела. Не от вина — две неполные рюмки за компанию выпила. Захмелела от разговора.

Превыше всех благ на свете ценила она умное слово. Потому что хоть и малограмотная была, а понимала, в какой век живет. Видела, чем, к примеру, всю жизнь берет Петр Иванович.

Но рядом с этим быстроглазым шельмой — так любовно окрестила про себя Пелагея Владика (сам настоял, чтобы по имени звала) — и Петр Иванович не

колокол, а пустая бочка. И все-то он знает, все видел, везде бывал, а если уж словом начнет играть — заслушаешься.

К примеру, что такое та же самая «мамаша», которой он постоянно величал ее?

А самое обыкновенное слово, ежели разобраться. Не лучше, не хуже других. Родная дочь так тебя кличет, потому что родная дочь, а чужой человек ежели назовет — по вежливости, от хорошего воспитания. А ведь этот, когда тебя мамашей называет, сердце от радости в груди скачет. Тут тебе и почтение, и уважение, и ласка, и как бы намек. Намек на будущее. Дескать, чего в жизни не бывает, может, и взаправду еще придется называть мамашей.

Неплохо, неплохо бы иметь такого сыночка, думала Пелагея и, уж со своей стороны, маслила и кадила, как могла.

Но Алька... Что с Алькой? Она-то о чем думает?

Конечно, умных да хитрых речей от нее никто не требовал — это дается с годами, да и то не каждому,— да ведь девушка не только речами берет. А глаз? А губы на что?

Или то же платье взять. Пелагею из себя выводил мятый, линялый халатишко, который натянула на себя Алька. Как можно — в том же самом тряпье, в котором матерь возле печи возится! Или, может, нищие они? Платья приличного не найдется? Она подавала дочери знаки — глазами, пальцами: переоденься, не срамись, а то хоть и вовсе растеляшься. Чего уж париться, раз недавно еще расхаживала в чем мать родила.

Не послушалась. Уперлась как неук. Просто на дыбы встала. Вот какой характер у девки.

Но и это не все. Самую-то неприкрытую дурость Алька выказала, когда Пелагея стала разговаривать с Владиком о его родителях. Простой разговор. Каждому по силам пряжа. И Пелагее думалось, что и Алька к ним сбоку пристанет. А она что сделала? А она в это самое время начала зевать. Просто подавилась зевотой. А потом и того хуже: вскочила вдруг на ноги, халат долой да, ни слова не сказав, на реку. Разговаривай, беседуй матерь с кавалером, а мне некогда. Я купаться полетела. Пелагея от стыда за дочь глаз не решалась поднять на офицера. Но плохо же она, оказывается, знала нынешнюю молодежь! Владик — и минуты не прошло — сам вылетел вслед за Алькой. И не дверями вылетел, а

окошком — только ноги взвились над подоконником. Про все позабыл. Про мать, про отца...

И Пелагея уже не сердилась на дочь. Разве на кобылку молодую, когда та лягнет тебя, будешь долго сердиться? Ну, поворчишь, ну, шлепнешь даже, а через минуту-другую уже любуешься: бежит, ногами перебирает и солнце в боку несет.

И Пелагея сейчас, с тихой улыбкой глядя в раскрытое окно, тоже любовалась дочерью. Красивая у нее дочь. Благословлять, а не ругать надо такую дочь. И ежели им, Амосовым, думала Пелагея, суждено когда-нибудь по-настоящему выйти в люди, то только через Альку. Через ее красу. Через это золото норовистое, за которым сейчас гнался офицер.

13

Пелагея за этот месяц помолодела и душой и телом. Нет, нет, не отросли заново волосы, не налились щеки румянцем, а чувствовала себя так, будто молодость вернулась к ней. Будто сама она влюблена.

Да, обнималась и целовалась с Владиком Алька (как уж не целоваться с таким молодцом, раз для своих, деревенских, рот полым держала), а волновалась-то она, Пелагея. Так волновалась, как не волновалась, когда сама в невестах ходила. Да и какие волненья тогда могли быть? Павел хоть и из хорошей семьи (по старым временам у Амосовых первое житье по деревне считалось), а робок был. Сразу ей отдался в руки.

А этот вихрь, огонь — того и гляди руки обожжешь, и что у него на уме — тоже не прочитаешь. «Мамаша, мамаша...» — на это не скупится, сено помог с пожни вывезти на военной машине, а карты свои не открывает. Ни слова насчет дальнейшей жизни.

Конечно, Альке спешить некуда — другие в это время еще в куклы играют. Да разговоры. Кому это нужно, чтобы на каждом углу трепали девкино имя? А потом — ученье на носу. Не думает же он, что и со школьницей гулять будет?

В общем, думала-думала Пелагея и надумала — созвать у себя молодежный вечер. Уж там-то, на этом вечере, она сумеет выведать, что у него на уме. Молодежные вечера нынче в деревне были в моде. Их устраивали и по случаю проводов сына в армию, и по случаю

окончания детьми средней школы, а то и просто так, без всякого случая.

Всех лучше да памятнее вечера были, конечно, у Петра Ивановича — там уж всякой всячины было вдоволь: и вина, и еды, и музыки. А Пелагея на этот раз решила и Петра Ивановича переплюнуть.

Слыхано ли где, чтобы не было вина белого на столе и чтобы гости были пьяны? А у нее так будет. Пять бутылок коньяку выставит — деньги немалые, коньяк почти в полтора раза дороже белого вина, да чего жадничать? Две-три буханки лишних скормить борову — вот и покрыта разница, зато будет разговоров у людей.

Постаралась Пелагея и насчет закуски. Рыба белая, студень, мясо — это уж ясно. Без этого по нынешним временам не стол.

А как насчет ягодок, Петр Иванович? Раздобыл бы ты, к примеру, морошки, когда ее еще на цвету убило холодом? А она раздобыла. За сорок верст Маню-маленькую сгоняла, и та принесла небольшой туесок, выпросила для больного у своей напарницы по монастырю — та, бывало, в любое лето должна была насобирать морошки для архиерея.

О другой ягоде — малине — Пелагея позаботилась сама. Тоже и на малину неурожай в этом году — по угорам поблизости все выгорело, пришлось ей тащиться на выломки, за Ипатовы гари. И ох же на какую ягоду она напала! Крупную, сочную, нетронутую — сплошными зарослями, как одеяла красные по ручью развешаны.

Она быстро надоила эмалированное ведро, потом — раззадорилась — загнула коробку из бересты, да еще и коробку наполнила.

Домой притащилась еле-еле — дорога семь верст, ноша в три погибели гнет и за весь день сухарик в ручье размочила.

— Отец, Онисья! — заговорила она с порога, через силу улыбаясь. — Ругайте меня, дуреху. Ежели сказать, куда ходила, не поверите...

Ее удивило молчание Анисьи, праздно, без дела сидевшей у стола с опущенной головой. Потом она разглядела мужа. Павел лежал с закрытыми глазами, и попервости она подумала: спит. Но он не спал. Дышал тяжело, со всхлипами, лицо потное, и на сердце мокрая тряпица. Неужели опять приступ?

Пелагея быстро поставила ведро и коробку с ягодами на стол.

— Где Алька? Не за фершалом побежала?

Анисья опять ничего не ответила.

— Где, говорю, Алька? Вернулась с пекарни?

— Нету Альки...

— Н-не-ту-у? — У Пелагеи ноги подкосились — едва мимо стула не села.

Так вот кто ей махал с парохода, когда она вышла из лесу к реке! Родная дочь. А она-то по-хорошему подумала тогда: вот, мол, какая девка у чьих-то родителей — чужому, незнакомому человеку машет.

— С тем, пройдохой, уехала? — спросила глухо Пелагея.

— Одна.

— Одна? Одна в город-то уехала? А тот где?

— Тот еще вчера уехал.

— Отец, отец... — истошным голосом заголосила Пелагея, — чуешь, что дочи-то у нас наделала?

Анисья вывела ее в сени и там окончательно добила: Алька в положении. Так по крайности она сказала тетке и отцу, когда днем, прибежав с пекарни, вдруг начала собираться в город.

14

...То не кустышки в поле расстоналися,
Не кукушица серая на жизнь плачется,
То у нас в селе вдова народилася...

Так, такими бы словами, запомнившимися с детства, хотелось Пелагее выплакать свое горе. А еще больше ей хотелось бухнуть прямо на колени и принародно покаяться перед мужем: «Прости, прости, Павел Захарович! Это я, я довела тебя до могилы...»

Но она не сделала ни того, ни другого.

Она стояла, пошатываясь, возле красного гроба рядом с рыдающей, распухшей от слез Анисьей и крик держала за зубами. Потому что кто поверит ей? Кого тронет ее плач?

Проводить Павла в последний путь собралась вся близкая и дальняя родня. Свои, деревенские, — это само собой, иначе и быть не может, но, кроме них, приехала из города двоюродная сестра Павла, приехал дядя-пенсионер из лесного поселка, прилетел Павлов племянник, офицер...

Не было возле покойного только его родного детища — Альки.

Павел помер на третий день после бегства дочери из дому, и где было ее искать? В городе? В дороге? А в общем, думала Пелагея, может быть, и лучше, что не торчит возле гроба Алька. Она, Пелагея, чувствует себя преступницей, не смеет глаза поднять на людей, а что сказать об Альке? Не хотела Алька смерти отца — это ясно, а все-таки после ее суматошного отъезда помер, она, единокровная дочь, помогла отцу сойти в могилу. И если теперь, в ее отсутствие, до слуха Пелагеи (она стояла в ногах у покойного) то и дело доходил пересудный шепот сердобольных баб: «Вот какие пошли нынче деточки... Живьем готовы закопать в могилу родителя... Ро́сти их, дрожи над ними...» — то что было бы, если бы тут была Алька!

Хоронили Павла и по-старому и по-новому.

Дома все было по-старому. И власти, надо говорить правду, не мешали. Пока старушонки окуривали гроб ладаном да негромко тянули «Святый боже», власти стояли на улице у крыльца и покуривали. Правда, Афонька-ветеринар влетел было по пьянке в избу, закричал, чтобы сейчас же прекратили издеваться над беспартийным большевиком, но его быстро утихомирили. Сами же власти, Василий Игнатьевич да Петр Иванович, просто вытолкали из избы.

Новый обряд начался на кладбище, когда над раскрытым гробом стали говорить речи:

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни на трудовой вахте... Честный... Пример для всех... Никогда не забудем...

И вот тут-то Пелагея дрогнула. Все выдержала: причитания, осуждающие взгляды, пересудные шепотки — не пошевелилась, не охнула. Стояла у гроба как каменная. А начали речи говорить — и земля зашаталась под ногами.

— Беззаветный труженик... С первого дня колхозной жизни... Честный... Пример для всех...

Пелагея слушала-слушала эти слова и вдруг подумала: а ведь это правда, святая все правда. Безотказно, как лошадь, как машина, работал Павел в колхозе. И заболел он тоже на колхозной работе. С молотилки домой на санях привезли. А кто ценил его работу при жизни? Кто сказал ему хоть раз спасибо? Правленье? Она, Пелагея?

Нет, надо правду говорить: она ни во что не ставила

работу мужа. Да и как можно было во что-то ставить работу, за которую ничего не платили?

А вот сейчас Павла хвалили. И ей вдруг жалко стало, что Павел не слышит этих похвал.

А еще, глядя на покойника в гробу, на его неподвижное восковое лицо с закрытыми глазами, на его большие, очень бледные руки, скрещенные на груди, она подумала, что это ведь лежит Павел, ее муж, человек, с которым — худо-хорошо — она прожила целую жизнь...

И тогда она заплакала, заревела во все горло. И ей теперь было все равно, что скажут о ней люди, какую грязь кинут в Альку...

15

Вот и дождалась она долгожданного отдыха...

Утром вставала поздно, не спеша. Не спеша топила печь, пила чай, затем отправлялась в лес.

Грибы да ягоды были ее страстью смалу. И ежели кому и завидовала Пелагея все эти годы, работая на пекарне, так это грибницам да ягодницам. А теперь ей незачем было завидовать. Теперь она сама могла по целым дням ходить по лесу.

И она ходила. Ходила по знакомым с детства холмикам и веретийкам, по мызам, по старым расчисткам, отдыхала у ручейка, у речки, всматривалась в их густую осеннюю синеву, слушала крики журавлей, собачий лай...

Но много ли ей одной надо? Три раза сходила за солехами да два раза за обабками, натолкла ушатик ягод, а зачем еще?

Несколько дней у нее ушло на уборку картошки. Картошка уродилась ядреная, крупная — с двух грядок она набила погреб, а за баней оставалась еще грядка, и ей бы радоваться надо да бога благодарить, а она опять спрашивала себя: зачем? К чему ей столько картошки?

Она изнывала, изнемогала, ожидаючи писем от Альки. А та не писала. Уехала — и ни одной весточки. Как в воду канула. И она кляла, ругала дочь самыми последними словами: «Сука! Зверь бездушный! Мало тебе смерти отца, дак ты и матерь хочешь в могилу свести». А потом ожесточение проходило, и она еще пуще

жалела дочь. Где она теперь? Что делает? В чужом городе... Без паспорта...

Однажды Пелагея, решив засолить для Альки ведерко рыжиков — ведь должна же она когда-нибудь объявиться, — уплелась далеко, верст за пять от дому, и неожиданно для себя вышла на Сургу, к коровьему стаду.

День был сухой, светлый, солнце грело по-летнему, и вообще весь сентябрь был на редкость красивый, словно сам бог решил вознаградить ее за все те годы, что она провела на пекарне.

Сургу она знала вдоль и поперек — семь лет тут возилась с коровами до того, как стала на пекарню. И у нее и в мыслях не было, чтобы спускаться с лесистого ягодного угора вниз к дояркам. Зачем? Чего она там не видала?

Но тут вдруг затарахтел мотор, коровы, как по команде, потянулись к длинному двускатному навесу из белого шифера, под которым их доили, и она заколебалась: что такое эта электродоилка? Уже два года как установлена в колхозе, а она и не видала.

Скотницы встретили ее шутками:

— Дак вот почему мы без ягод да грибов! Вор повадился в наши леса.

— Нет, не потому, — возразил им пастух Олекса Ланин, который, сидя у огонька, попивал чаек, — а потому, что много спите.

— А и верно, что много, — согласились скотницы.

Скотницы смеялись, скалили зубы. И неудивительно: машина доила коров, а они только подмывали вымя да приставляли к соскам резиновые наконечники с длинными шлангами, по которым молоко перекачивалось в морозные алюминиевые бидоны. Вот и вся работа ихняя.

А как они, бывало, работали! Руки выворачивали на этой дойке. А холод-то? А дождь? А каково это каждый день два раза мерить дорогу — от деревни до Сурги и от Сурги до деревни? Грязь страшенная, до колена, — и где уж тут присесть на телегу. Хоть бы бидоны-то с молоком лошадь вытащила. А теперь — машина. С брезентовым верхом. И как тут не смеяться да не точить лясы!

Все, все было сейчас иным, чем раньше, в ее время. Даже коровы и те стали какими-то другими. Бывало, как на живодерню, тащишь буренку на дойку. Глотку

сорвешь, пока подоишь. А сейчас она сама рвется к доильне, потому что там ее соль-лизунец да концентрат ждут.

— От Али новостей нету?

Если бы Лида Вахромеева не заговорила сама, Пелагея так бы и не признала ее. Красавица! Румянец во всю щеку. Да разве это та сопливая девчонка, которая в прошлом году хотела нарушить себя?

Лиде Вахромеевой грамота, как и Альке, давалась туго, в седьмом классе была оставлена на осенние экзамены, и вот отец — чистый кипяток! — распорядился: «В скотницы! Раз человечьей грамоты не понимаешь, коровью учи!»

Лида плакала, умоляла отца, матерь, валялась в ногах у председателя, из города дядю военного призывала — только бы не в навоз, не к коровам. А сейчас — посмотреть на Лиду — и человека счастливее ее нету. Смеется. Во весь рот смеется. От души. А уж одета — картина! Одни сапожки на ногах пятьдесят рублей стоят. Вот какие нынче деньжищи огребают скотницы.

И тут Пелагея с тоской подумала об Альке. О том, что и Алька могла бы работать дояркой. А почему бы нет? Чем это не работа?

Всю жизнь, от века в век, и матерь ее, и бабка, и сама она, Пелагея, возились с навозом, с коровами, а тут вдруг решили, что для нынешних деточек это нехорошо, грязно. Да почему? Почему грязно, когда на этой грязи вся жизнь стоит?

В этот день Пелагея много плакала. Плакала в лесу, когда рассталась с доярками, плакала по дороге домой. И особенно много плакала дома, когда вошла в пустую избу.

16

Болезнь подкралась к Пелагее незаметно, вместе с осенними дождями и сыростью, и она была для Пелагеи мукой. Не умела Пелагея болеть. Она была в мать. Та еще за три дня до смерти просила у нее работы: «Дай ты мне чего-нибудь поделать. Я ведь жить хочу».

Пелагея не думала, понятно, о работе на пекарне, — где уж ей теперь тащить такой воз? — но об одной работе она думала всерьез. На другой день после встречи со скотницами на Сурге, утром, когда она еще лежала в постели, ей вдруг пришло в голову, а почему бы ей

самой не стать снова дояркой. Работа на вольном воздухе, машина в помощниках, мотаться пешедралом не надо — да неужели не справится?

Три дня она жила этой мыслью. Три дня она, что бы ни делала, куда бы ни шла, только и думала о том, какой переполох в деревне вызовет ее возвращение в колхоз.

— Слыхали, что Пелагея-то выкинула?

— Ну и ну!

— Она может. Железная!

А на четвертый проснулась утром — и куда девалось хваленое железо? — не пошевелить ни рукой, ни ногой. И нет дыхания — сперло в груди.

К полудню она все-таки расходилась и даже погреб принялась утеплять, но с этого дня силы ее начали убывать.

Она сопротивлялась болезни, целыми днями делала что-нибудь возле дома: то прибирала дрова, то убирала и жгла мусор, то конопатила чулан — всегда зимой один угол промерзает — и часто-часто выходила на горочки — на угор, откуда хорошо видно пекарню.

Если была сухая погода, она садилась к черемуховому кусту, у которого раньше поджидал ее больной Павел, и подолгу глядела за реку.

О многом думалось тут, в душистом затишье, многое вспоминалось — и хорошее и плохое, — но чаще всего Пелагея возвращалась к первым дням работы на пекарне, к той безрассудной, прямо-таки бесшабашной смелости, с которой она бросилась в бой за новую жизнь.

Нет, не в том она видела смелость, что переспала с чужим мужиком. Припрет нужда да голод — с самим дьяволом переспишь. А уж они с Павлом хватили нужды да голода после войны. В сорок шестом году на глазах у них зачах их первенец, их единственный сын. Зачах оттого, что у матери начисто пересохли груди. И разве могла она допустить, чтобы и второго ребенка у них постигла та же участь?

Смелость свою она видела в другом. В том, что не побоялась пойти против всех. Против председателя колхоза, который рвал и метал, что у него выхватили лучшую доярку, против колхозников («Это за каки таки заслуги такие корма Палаге?»), против Дуньки-пекарихи и ее родни.

И вот одолела. Всех положила на лопатки. Одна. За один месяц. А чем? Какой силой-хитростью? Хле-

бом. Теми самыми хлебными буханками, которые выпекала на пекарне. Их, свое хлебное воинство, бросила на завоевание людей. И они завоевали. Никто не мог устоять против ее хлеба — легкого, душистого, вкусного и сытного.

17

В октябре Пелагею дважды навещала фельдшерица и дважды уговаривала ехать в районную больницу. Но Пелагея в ответ только качала головой. Зачем она поедет туда? Чем помогут ей районные врачи? Да разве и сама она не знает, что у нее за болезнь?

Сколько раз за эти годы перекладывали печь на пекарне! А уж об отдельных кирпичах и говорить нечего — их меняли каждый год. Не выдерживали жары, лопались...

Так ведь то кирпичи — из глины, камень, можно сказать. А что же говорить о человеке? О ней, о бабе, которая за эти восемнадцать лет и одного дня не отдыхала? Вот и развалилась, распалась сейчас, вот и не может по целым дням оторваться от постели...

К Пелагее редко кто заходил. Маню-большую она выставила сама; с Анисьей, золовкой, рассчиталась сразу же после Павловых похорон: свыше сил было видеть ее, свидетельницу собственного позора; Петр Иванович не заглядывал — это само собой. К чему она ему теперь?

Единственно, кто навещал ее в эти холодные осенние дни, — это Лида Вахромеева, Алькина подружка. Та забегала. И воды приносила, и дров, и всякие деревенские новости рассказывала. Но, по правде сказать, Пелагея не особенно зазывала Лиду. Потому что очень уж тоскливо было после ее ухода. Просто белый день сменялся ночью.

Днем Пелагея все помаленьку топталась по избе. Да днем и лежать повеселее. Днем за окошком жизнь. То кто-нибудь проедет на лошади или на тракторе, то соседка пробренчит ведрами, направляясь за водой к колодцу, то, на худой конец, ворона прокаркает — тоже жизнь. А ночью как в могиле. Ночью караул кричи — не докричишься. Только разве Афонька пьяный фарами поиграет на никелированных самоварах, что стоят на комоде.

Афонька, когда переберет, места себе не может най-

ти. Всю ночь, как нечистая сила, разъезжает на мотоцикле. Из улицы в улицу, из заулка в заулок. И, ох же, как выходила из себя Пелагея, когда Афонькины громы середи ночи раскатывались под ихними окошками! Все, какие ни есть на свете, кары призывала на Афонькину голову. А теперь, в эти длинные осенние ночи, только и радости у нее было, когда на улице появлялся пьяный мотоциклист...

В Октябрьскую Пелагея чувствовала себя не лучше не хуже, чем накануне. Но встала она в этот день задолго до рассвета. Затопила печь, напекла шанежек, ватрушек, пирожков с мясом и изюмом, закатала рыбник, затем подмыла пол, переменила скатерть на столе, принарядилась сама.

Больше всех праздников любила она Октябрьскую.

Целый день, бывало, с раннего утра звенит радость в ихнем доме. Сперва сборы на демонстрацию Павла да Альки, примерка обнов — это уж обязательно: к каждому празднику обнова! — потом, часов с одиннадцати, когда демонстрация появлялась в ихнем околотке, зайцы-сугревники (так Пелагея про себя называла начальство, которое забегало к ней пропустить рюмочку для тепла): Петр Иванович, председатель сельсовета, колхозный председатель... Да каждый тайком, с оглядкой, чтобы разговоров лишних не было. А в избу-то забежали — тоже с потехой. Кто дьячком, кто козой проблеет от порога: «Не согреют ли в этом доме плоть мою промерзшую?»

Весь день просидела Пелагея у окошка, вглядываясь сбоку, из-за занавески, в деревенскую улицу.

Демонстрации в этом году опять не было. Три года назад умерла школьница от гриппа (будто бы ноги во время демонстрации промочила), и с той поры перестали ходить с красными флагами по деревне.

Поглядела-поглядела Пелагея на развеселых мужиков да баб — весь день гужом перли то к Анисье, то от Анисьи, — повздыхала, поплакала и в сумерках, не зажигая огня, прилегла на кровать.

И вот не успела сомкнуть глаз — шаги на крыльце, а потом кольцо брякнуло в воротах.

Она так и привстала с кровати. Кто вспомнил ее в этот день?

Маня-большая. Ее бесовский глаз запылал в темноте под порогом.

Пелагея и раз и два хватила открытым ртом воз-

дух, а сказать — и слов нету: до того поражена она была нынешним приходом Мани. Ведь это же надо: нарочно придумывать — не придумать такого оскорбленья!

Наконец она собралась с духом.

— Не ошиблась адресом? — спросила она не своим, а чужим словом, запавшим ей в голову от кого-то из прежней компании. Потом, подумав, что до Мани такое не дойдет, хватила как обухом по голове: — А может, богатством Христовым пришла похвастаться? Обновками? Как сборы-то ноне?

Христово богатство — это платки, полотенца, одежонка некорыстная, отрезы ситцевые, шерсть овечья и даже кое-какая мелочишка из денег — в общем, все то, что верующие по обету вешают и кладут у «моленных» крестов.

Эти «моленные» кресты стали появляться возле деревень, в лесу, еще в военную пору. Устройства они самого простого. Тесаный и врытый в землю крест — редкость. А чаще всего так: срежут у нетолстой ели или сосны ствол этак метра на два, на три от земли, пролысят, как кряж, предназначенный на дрова, затем набьют поперечную перекладину — жердяной обрубок, бросят зачем-то к комлю несколько камней — и крест, напоминающий какое-то языческое, дохристианское капище, готов.

Местные безбожники, конечно, не дремали — беспощадно вырубали «моленные» кресты. Но разве вырубишь лес?

Маня-большая уже который год кормилась возле этих крестов. Она, как охотник свой путик, регулярно, под каждый праздник, обегала кресты в округе.

Однако напрасно взвинчивала себя Пелагея — не сорвала свою злость на старухе.

Маня-большая не только не бросилась опрометью вон из избы, как это сделал бы каждый на ее месте. Маня-большая даже не поморщилась. Села на прилавок к печи, сарафанишко поверх матерчатых штанов в белую полоску выше колена вздернула, нога на ногу, да еще и закурила.

Вот эта-то Манина наглость и отрезвила Пелагею, а то один бог знает, что и было бы: у нее хорошие-то люди без спроса не курили в доме, так разве позволила бы она какому-то огрызку!

Нет, подумала Пелагея, что-то у ней есть, не с пусты-

ми руками пришла, коли барыней расселась. И этак издалека — на прощуп — спросила:

— Что в мире-то ноне деется? Какими новостями живут люди?

— Да есть кое-что. Не без того же, — уклончиво ответила Маня.

— Грызут друг друга?

— Пошто грызут? Кто грызет, а кто и радуется.

— Да, да, — вздохнула Пелагея, — верно это, верно. Кто и радуется.

— Давай дак не вздыхай. Ты и сама не без радостей.

— Я? — Пелагея от удивления даже приподнялась.

— Знамо дело.

— Что ты, что ты, плетия... Мужа схоронила, сама не могу...

Маня против этого не возражала.

Значит, об Альке вести, догадалась Пелагея, и так ей вдруг легко стало, будто лето спустилось в избу.

Она быстро встала с постели.

— Вот ведь какое со мной горе! Гостья пришла, а я лежу как бревно. Ты уж прости, прости меня, Марья Архиповна, недотепу, — неожиданно для себя заговорила она своим прежним, полузабытым голосом, тем самым обволакивающим и радушным голосом, против которого никто, даже сам Петр Иванович, не мог устоять. — Все одна да одна, совсем из ума выжила. Нет, нет, Марья Архиповна! Мы сейчас за самоварчик да за рюмочку — праздник сегодня. Да ты кури, кури, Маша, не стесняйся. Я, бывало, когда хозяин в здоровье был, сама покупала папиросы. Да сапожки-то, может, снять, не томи ты свою ножку, я валенки теплые с печи достану...

Новость, которую поведала Маня (конечно, после того, как опрокинула три рюмки, — Пелагея сразу поняла, что насухо из старухи ничего не вырвешь), превзошла все ее ожидания: Альке сельсовет выслал справку на паспорт.

— Да ты не врешь, Маша? Не перепутала чего? — переспросила Пелагея и — не могла удержаться — всплакнула: ведь из-за этой самой справки она жизнь себе укоротила, можно сказать, даже в постель слегла. К губану ходила, колхозного председателя молила, Петра Ивановича жалобила — все без толку. «Не то время сейчас, — сказал ей Петр Иванович. — Поворот моло-

дежи в сторону деревни даден. Подожди». А как же ждать? Девка в городе и без паспорта — да это хуже, чем в глухом лесу заблудиться.

И вот спала гора с плеч — Алька с паспортом.

— Да когда это было-то? — все еще до конца не веря, опять стала допытываться Пелагея.

— Позавчерась.

— Позавчерась? И у тебя хватило терпенья, Марья Архиповна, утаивать такую весть от матери?

— Матерь-та эта еще не знаешь, как и встретит.

— Ну, ну, — живо замахала руками Пелагея, — чего старое вспоминать. На солнце и на то затемненье находит, а наш брат — баба глупая... Говори, говори, Марья Архиповна!

— Да чего говорить-то? Василий Игнатьевич вчерась в лавке сказывал. «Совсем, говорит, уплыла от нас девка. Военная часть справку требует...»

— Ну и дали справку-то?

— Да как не дашь-то? Говорю, армия требует...

— Армия?.. — повторила с раздумьем Пелагея. — Дак ведь это он, Владик, хлопочет... Ей-богу, Маша! Господи! — воскликнула Пелагея и прослезилась. — Вместях, значит? Вдвоем? А я-то все времечко убиваюсь, места не могу себе прибрать...

— Матерь, — многозначительно заметила Маня.

— Хотела бы, хотела бы я на ихнее счастье посмотреть, — мечтательно разоткровенничалась Пелагея. — Да нет, не ускочишь. Как на привязи сидишь у болезни. А та сука сама не догадается письма написать. Вот ведь какие нынче деточки-то пошли. Матерь вынь да положь, когда припрет, а когда у них все хорошо да ладно, они о матери-то и не вспомянут...

Маня, утешая Пелагею, сказала, что письмо придет, никуда не денется и что раньше Альке и писать было не о чем — только мать расстраивать, раз с паспортом нелады. Потом вдруг предложила:

— А терпежу нету — выписывай командировку. В два счета слетаю.

— Ты? В город?

— А чего? Обрисую положенье. Все как есть.

Пелагея строго поджала губы — это уж всегда, когда ей надо было на что-то решиться. При этом она быстро прикинула, во что может обойтись ей Манина поездка. Рублей в сорок. Дорого. Чуть ли не месячная зарплата на пекарне. А с другой стороны, подумала она,

что деньги? Неужели ее собственный покой ничего не стоит?

— Рублей двадцать пять дам, — сказала осторожно Пелагея.

— За четвертак в город? Шлепай сама! — Маня-большая быстро и деловито начала загибать пальцы: — Билет туда да обратно семнадцать шестьдесят. Так? Пить-исть надо? Фатера да суточные положено? Ну и хоть небольшие северные — на сугрев старухе... — Маня хихикнула.

После недолгих торгов сошлись на тридцати пяти рублях, не считая, конечно, подорожников, которые напечет Пелагея.

18

Маня ездила в город девять дней — на целых три дня больше, чем они договаривались, — и Пелагея последние ночи почти не спала. Все передумала. Самые худые мысли допускала об Альке.

А тут еще завернули морозы. Где старушонка? Уехала в кирзовых сапогах, налегке — не свалило ли в дороге?

Наконец вернулась Маня.

В избу вошла — ни дать ни взять чучело огородное: фуражка военная со светлым козырьком поверх шали-завязухи, рукавицы — с крупного мужика — по локоть, какая-то шубенка драная шерстью наружу... В общем, как догадалась Пелагея, вешала на себя все, что давали сердобольные люди.

Пелагея вмиг преобразила старуху: на ноги теплые валенки с печи, телогрею собственную дала, тоже заранее нагретую на печи, а затем и стопку белой. Как самой дорогой и желанной гостье.

— Ну как она? — нетерпеливо спросила, когда сели к столу. (Самовар уж кипел — третий день с утра до ночи стоял под парами.)

— Хорошо живет. На большой! — ширнула простуженным носом Маня и для убедительности подняла прокуренный палец. — Фицианкой работает.

— Кем, кем?

— Фицианкой, говорю. С подносом со светлым бегает.

У Пелагеи погасли глаза.

— Ох, Алька, Алька! Нету у нас с тобой счастья. Что уж тут хорошего — с подносом бегать...

— А чего нехорошего-то? Там ведь не у нас — чего хватил, и ладно. Под музыку лопают...

— Под музыку?

— Ну! Поедят, поедят, попляшут, чтобы утряску продуктам в брюхе сделать, да снова за стол...

— Дак это она не в том... не в сторани, где мужики выпивают?

Маня коротко кивнула:

— В сторани.

— Ну, а как она из себя-то? Видом-то как? — продолжала допытываться Пелагея.

— А чего видом-то... Работа не пыльная... И деньги лопатой загребает...

— Плети-ко... Кто это там такой щедрый?

— Есть в городах народ. А особенно ежели он выпимши да перед ним задом вертят.

— Задом вертят? И Алька вертит? Да что она, одичала?

— Сторан, — с умственным видом пояснила Маня. — Положено. Чтобы человек, значит, за свои любезные полное удовольствие получил...

— Ну уж это не дело, не дело, — сказала с осуждением Пелагея и, обращаясь не столько к старухе, сколько к себе, спросила: — Да куда Вадик-то смотрит? Он-то как позволяет?

И вот тут-то и посыпалось на Пелагею одно за другим: Владика Маня не видела... На фатере у Альки не была... Как живут молодые — не знает...

— Да чего ты и знаешь-то? — возмутилась Пелагея. — Зачем я тебя посылала? Да ты, может, и в городе-то не была?

Нет, в городе, заверила ее Маня, была. И в «сторани» была. А ежели домой ее Алька не приглашала, то как будешь врать?

— Молодые... — по-своему объяснила Алькино негостеприимство Маня. — Не до старухи дело...

Да, не бог весть как много поведала Маня об Альке и ее городском житье-бытье (даже насчет беременности ничего толком не сказала), а вот что значит материнское сердце — успокоилось немного, и Пелагею снова потянуло на жизнь.

Первым делом она все перемыла да перечистила — самовары, рукомойник медный, таз (любила, чтобы все

в избе горело), — затем принялась за просушку нарядов.

Нарядов — ситцевых и шелковых отрезов, шалей летних и зимних, платков, платьев, юбок — у Пелагеи были сундуки и лукошки, и для нее не было большей радости, чем летом, в солнечный день, все это яркое, цветастое добро развесить по своей усадьбе.

Нынче из-за болезни Павла наряды не сушили. И вот пришлось это делать сейчас, в самое хмурое время, потому что нельзя откладывать до тепла — запросто может все пропасть.

В натопленной избе было жарко и душно, пахло залежалыми ситцами, красками, а Пелагея блаженствовала. Она вынимала очередной отрез из сундука, шумно развертывала его, пробовала на ощупь, на нюх, на зуб, затем вешала на веревку, натянутую под потолком.

А по вечерам у нее была другая радость — приходила Маня-большая пить чай, и они разговаривали. Обо всем. О том, что делается в большом мире, в районе, в своей деревне. Старуха все знала, везде бывала, а уж если начнет топтать да лягать кого — заслушаешься.

Больше всех от Мани-большой доставалось семье Петра Ивановича, ее она терпеть не могла, потому что, как ни старалась, как ни изворачивалась, не нашла лаза в ихний дом, и Пелагея не останавливала старуху. А чего останавливать? Не все в чести ходить Петру Ивановичу, пускай и ему маленько почешут бока. Разговор у них обычно начинался так:

— Ну, видела нашу красавицу? — спрашивала Пелагея.

— Каку?

— Каку-каку... Ясно каку — Антониду Петровну...

Тут темное морщинистое лицо Мани передергивалось, как от изжоги: она почему-то особенно яростно невзлюбила тихую и беззлобную Тонечку.

— Нашла красавицу. Ни рожи ни кожи... Как уклея сухая...

— Нет, нет, Марья Архиповна, — притворно возражала Пелагея. — Не говори так. Неладно. Всем люба Антонида Петровна. Кого хошь спроси...

— Да чего спрашивать-то, когда я сама ощупку сделала! Тут недавно в клуб зашла... Мельтешится с зажигалками.

— С кем, с кем? — переспросила Пелагея.

— С зажигалками, говорю, с девочошками — учени-

цами... И сама-то зажигалка. За пазухой-то небольно. Разве что ватки сунет — какой бугорок подымется...

— Ватки? — удивленно округляла глаза Пелагея.— Вишь ты, мода-то нынче какая. Ватку за пазуху суют... И красиво с ваткой-то?

Маня дальше не выдерживала — вскакивала, начинала плеваться, бегать по избе, а уж насчет речей и говорить не приходится: всю грязь выливала на дочь Петра Ивановича.

Впоследствии, когда Пелагея опять отказала Мане-большой, она частенько и с раскаянием вспоминала эти постыдные разговоры со старухой, и ей все казалось, что именно за это злоязычие наказал ее бог. И как наказал? Через кого? А через ту же самую Тонечку.

Однажды в полдень, незадолго до Нового года, когда Пелагея развешивала у себя в комнате крепдешиновые отрезы — к этой материи она была особенно неравнодушна, — к ней забежала продавщица Окся.

— По плюшевкам скучала — привезли! — с ходу объявила Окся.

Пелагея не знала, как и благодарить Оксю: у всех замужних женщин были теперь плюшевые жакеты, а она три года не может достать. Прошли те времена, когда продавцы сами на дом приносили ей товары.

На улице было холодно, северило, мела поземка, а она бежала легко, без устали, так, как бегала в лавку раньше.

Она любила ходить в магазин. Для нее это был праздник. Праздник красок и запахов, от которых она просто пьянела. Ну, а что касается полок с мануфактурой, то она перед ними готова была простаивать часами.

Народу в магазине не было, и Окся сразу, без задержки выбросила плюшевую жакетку. Из-под прилавка. Так что Пелагея без слов поняла, какое одолжение делает ей Окся.

Жакет был в самый раз, может, разве чуть-чуть ширил плечи, да тут капризничать не приходилось, раз такой спрос на этот товар.

— А для Альки-то не возьмешь? — спросила Окся. — А то уж бог с тобой, разоряй. Подождут другие.

И Пелагея, недолго раздумывая, взяла и для Альки. В ту, бабью, сторону двигается Алька. И жакет пригодится.

— Спасибо, спасибо, Оксенья Ивановна! За мной не

пропадет, в долгу не останусь, — поблагодарила прочувствованно Пелагея и, завязав жакеты в большой плат (нельзя подводить человека, который добро тебе сделал), отправилась домой.

И вот на обратном пути против клуба она и столкнулась с Антонидой Петровной. Идет, сапожками модными поскрипывает, лицо уткнула в белый пушистый воротник — сто рублей, по словам матери, заплачено — и замечталась, ничего не видит.

Пелагея, как всегда, первая поздоровалась, чем страшно смутила Антониду Петровну, а потом — бес ее толкнул в бок! — не удержалась, развернула плат. Смотри, смотри, Антонида Петровна. Да не заносись больно-то. Еще кое-кто считается с нами.

Жакет Антониде Петровне понравился.

— Симпатичный... — протенькала.

— А вы-то купили? Нет? — поинтересовалась Пелагея.

— Нет... Кажется, нет... — замялась Антонида Петровна и глазки отвела в сторону.

Да ведь она, наверно, зимой-то, когда очки обмерзают, совсем ничего не видит, на ощупь ходит, подумала Пелагея, и ей опять, как тогда летом у реки, вдруг жалко стало дочь Петра Ивановича.

На Пелагею доброта нахлынула: не подумавши, выхватила из плата жакет — красиво, росомахой взыграл черный плюш на белом снегу.

— На, забирай, Антонида Петровна! Я, старуха, и без плюшевки проживу. Чего мне надо.

— Нет, нет, спасибо, что вы...

— Да чего спасибо-то! Что ты, Антонида Петровна... Разве я добра не помню? Разве я без сердца? Петр Иванович сколько раз из беды меня выручал... Нет, нет, Антонида Петровна, бери! И слушать не хочу...

Антонида Петровна совсем растерялась. Завертела каблуком, зашмыгала носиком, потом что-то забормотала насчет того, что плюшевки, мол, сейчас не в моде.

— Как не в моде? — удивилась Пелагея. — У нас который год нарасхват...

— То раньше... Вы, пожалуйста, извините меня, Пелагея Прокопьевна, но эти жакеты в магазине висят с лета прошлого года...

Тихо, с запинкой, из мехового воротника пролепетала эти слова Тонечка, а Пелагея пошатнулась от них.

19

Плюшевки все-таки у нее взяли обратно — до самого председателя сельпо дошла.

Но это для нее был удар. Удар страшный. И не то ее повергло в изумление, что ее надули. Нет, об этом она не думала, это она приняла как должное — всегда кто-нибудь кого-то надувает. Покоя ей не давало другое — то, что она так легко опростоволосилась, попала в ловушку к этой Оксе. Значит, говорила она себе, ты уж не в ладах с жизнью, выпала из телеги. А как же иначе? Лейтенант приезжий надул, эта стерва надула... Да как тут жить дальше?

Нет, прошли ее денечки, и Петр Иванович, видно, не зря скинул ее со своего воза. Отстала. Вышла из моды. Как те плюшевки, на которые накинулась сегодня...

Дома на веревках висели яркие пахучие отрезы крепдешина — ее любимой материи, а в раскрытом лукошке еще отреза два было не разобрано. А она сидела у стола, не раздеваясь, в той самой одежде, в которой ходила в магазин, и — ни-ни — пальцем не пошевелила. И даже не поглядела.

Она думала. Думала об этих злополучных жакетах, которые не могла достать три года, думала об отрезах — и о тех, что висели на веревках, и о тех, которые были в сундуках. Думала о прожитой жизни. Господи! На что ушла ее жизнь?

Жарилась, парилась у раскаленной печи, таскала ведрами из-за реки помои, выкармливала поросят, недосыпала, мужу отдыха не давала — и ради чего? А ради вот этих крепдешинов да ситцев, ради всего того, что нынче тряпками зовется... Да, да, тряпками. Зачем себя обманывать?

Пелагея вдруг зло расплакалась. А кто, кто виноват, что эти тряпки застили ей и жизнь, и мужа, и все на свете? Разве виновата она, что треть жизни своей голодала? В тридцать третьем году у кого померли отец и брат с голодухи? А во время войны? А после войны, когда на ее глазах исчах ее сын, ее первенец? И был один во все эти годы товар, на который можно было достать кусок хлеба, — тряпки. Потому что люди в те годы обносились донельзя.

Ну и чему же дивиться, что она, как только стала на пекарню, начала обеими руками загребать мануфактуру? Годами загребала, не могла остановиться. Потому

что думала: не ситец, не шелк в сундуки складывает, а саму жизнь. Сытные дни про запас. Для дочери, для мужа, для себя...

С этого дня Пелагея опять слегла.

20

Всю зиму болела Пелагея. Правда, лежкой лежала немного, все помаленьку топталась, но работать не могла. Да у нее, если говорить откровенно, теперь и сердце к работе не лежало...

От Альки изредка приходили письма. Короткие, неласковые — поклоны да «живу хорошо». А как хорошо? Одна? С Владиком? И сколько ни кричи — не докричишься. Как в глухом лесу.

Как-то зимой, недели две спустя после Нового года, к ней зашел Сережа Петра Ивановича — пьяный, еле на ногах стоит.

Сережа нравился Пелагее — простой, бесхитростный, — и она не ради Петра Ивановича, а ради самого Сережи стала вразумлять его: нехорошо, мол, Сергей Петрович, так за воротник закладывать, рано тебе еще с бутылкой дружить...

— Рано? — вспылил Сережа и задиристо, совсем как заправский пьяница, ударил себя кулаком в грудь. — А ежели у меня настроения нет? А ежели у меня душа со своей орбиты сошла?

— Да чего твоей душе надо? Человек с высоким образованием, у всех на виду, здоровьем, слава богу, не обижен — чего еще пытать судьбу?

— Не понимаешь ты, Пелагея... Не понимаешь...

Да, Пелагея и в самом деле не понимала, из-за чего мучается человек. И добро бы он один, Сережа, а то ведь нынешняя молодежь только и знает, что на настроение жалуется. А почему? Отчего? Нет, ей, Пелагее, в их годы было не до настроений. Дай бог кусок хлеба добыть. Да с ними тогда и не церемонились. Утром в лес не вышел, а к вечеру тебя уж в суд повели.

— Не в отца ты, Сережа, не в отца, — сказала Пелагея. — Нету у тебя отцовской хватки...

— И слава богу! — петухом вскинул голову Сережа.

А чего же петушиться? Отец-то себя и с малой грамотой вон как в жизни поставил. А ежели ему бы да такое образование, как у сына!

— Жениться тебе надо, Сережа, — посоветовала Пелагея. — Да жену бери покрепче себя. Без настроений...

— Не буду я, Пелагея, жениться. Вовек! — наотрез заявил Сережа.

— Ну уж это не дело, Сергей Петрович, не дело... Надо жениться. Тогда и с бутылкой скорее расстанешься...

— Не буду! — опять с пылом вскричал Сережа. — У меня сердце разбито... Вдребезги!

— Да кто его разбил?

— Кто? Эх! — Сережа пьяно замотал головой, потом вдруг вскочил на ноги, забегал по избе, и только по тому, как он со вздохом посмотрел на переднюю стену, где рядом с зеркалом висела увеличенная Алькина карточка, Пелагея поняла, кого он имеет в виду.

Она, конечно, не очень верила Сережиным вздохам, мало ли куда занесет человека во хмелю. Но дочери написала: так и так, мол, Алюшка, дорога тебе домой не заказана. Заходил Сергей Петрович, хорошо говорил о тебе...

А Алюшка на это ответила: «Плевать я хотела на твоего Сергея Петровича!» Да еще добавила: «Хватит с меня и того, что ты всю жизнь на Петра Ивановича молишься...»

После этого Пелагея долго не могла успокоиться. Да что же это такое? — говорила она себе. Как жить дальше? Ведь что бы она ни делала, все невпопад, все мимо...

Но не Алькино письмо сокрушило Пелагею. Сокрушила Пелагею пекарня.

21

Ее давно тянуло на пекарню. Считай, еще с осени, с той самой поры, как заболела.

Думала: стоит только увидеть ей свою пекарню да подышать хлебным духом — и сразу хворь пройдет, сразу прорежется дыханье. И вообще она в жизни ни о чем и ни о ком так не тосковала, как о пекарне. Даже об Альке, родной дочери.

Первый раз за реку Пелагея отправилась было еще в феврале, когда впервые после долгой метели заледенелые окошки вызолотило красное солнышко. Но дальше спуска возле сельсовета не ушла. Из-за стужи. Из-

за снежных заносов. Страхи страшные, что намело. У сельсовета, под угором, на чистом месте лошади по брюхо ныряют — так что же говорить о ней, хворой бабе?

И вот дождалась она первой затайки.

Утром встала ни свет ни заря. Чистая, благостная — вечером накануне специально сходила в баню, будто к богомолью готовилась. Из дому вышла с батожком — тоже как богомолка. И люди попадались ей навстречу какие-то благостные, просветленные.

Антоха-конюх догнал на санях перед самым спуском к реке — когда бы раньше остановился? А тут натянул вожжи:

— Ты ли это, Прокопьевна? — Да мало того, соскочил с саней, руки к ней протянул: — Ну-ко, поедем вместе. Скользко спускаться. — И так по-хорошему улыбнулся.

Пелагею до слез прошибла Антохина доброта. Она поблагодарила его, но на сани не села.

Всю дорогу какая-то незнакомая, но такая славная музыка нарастала в ее душе — так разве оборвет она ее сама?

И она легким осиновым батожком, который специально раздобыла где-то Маня-большая, щупала отмякшую дорогу, ловила губами теплый южный ветер, порывами налетавший из-за реки, и все ковыляла и ковыляла помаленьку туда, к желтому бревенчатому зданию на угоре среди сосен...

Зато уж домой она шла как пьяная, вся в слезах, не помня себя... И хорошо, на реке ей опять повстречалась подвода — на этот раз бригадир из соседней деревни ехал, — а то бы пропадать ей, ни за что бы не добраться до дому.

Огорчения для Пелагеи начались, едва она подошла к пекарне. Помойка. Возле самого крыльца. Две вороны роются...

— Да куда это власти-то смотрят? — возмутилась она. — Почему медицина-то спит? Нет, бывало, особенно в голодные годы, каждую неделю к ней фельдшер наведывался. Или сейчас и фельдшера перестали ходить на пекарню, раз сыты?

Она поднялась на крыльцо, открыла наружную дверь — и того чище: поросенок. Бросился ей под ноги с визгом, будто спасаясь от ножа.

— Да как же так? — опять с недоумением спросила себя Пелагея. Она, бывало, руки выворачивала, таская домой помои, да с опаской, а тут прямо на виду у всех кормят поросенка. И опять она подивилась недосмотру санинспекции. Навоз, грязь, вонь от поросенка — да как его можно терпеть рядом с хлебом?

Но это еще все были цветочки, а ягодки-то пошли, когда она переступила порог пекарни. Господи! Куда она попала? В сарай грязный? В старую башню из-под силоса? В хлев? Все не мыто, засалено, в окошке веник торчит — вот отчего весны на пекарне нету.

Но больше всего Пелагею поразило помело.

Бывало, чтобы хлеб духовитее был, чего только она не делала! Воду брала на пробу из разных колодцев, дрова смоляные, избави боже — сажа; муку, само собой, требовала первый сорт, а насчет помела и говорить нечего. Все перепробовала: и сосну, и елку, и вереск. А тут вместо помела рогожина. Черная, обгорелая рогожина, намотанная на длинную палку и погруженная в грязное ведро с водой...

Улька-пекариха стала угощать Пелагею чаем — только что сама села за стол, управившись с печью, а Пелагею едва не стошнило от одного Улькиного вида. Потная, жирная, волосы немытые блестят, будто она век в бане не бывала.

И Пелагея, так и не присев, вышла. А на нечищеный самовар и рукомойник, на печь грязную, ни разу не беленную после ее ухода, она не посмела бросить даже прощальный взгляд. Потому что все ей казалось, что и самовар, и рукомойник, и печь с тоской и укором смотрят на нее...

22

За окном кипела весна.

Всю зиму смотрела Пелагея на мир через копеечный глазок, продутый в обледенелой раме, а теперь половодье света заливало избу. Жить бы, шагать по оттаявшей земле босыми ногами да всей грудью вдыхать теплый ветер из заречья. А она лежала, и дыхание у нее было тяжелое, взахлеб, с присвистом. Точь-в-точь как у старых дырявых мехов в кузнице.

В доме, как в дни болезни Павла, хозяйничала Анисья. Пришла сама.

Но Пелагея не разговаривала с золовкой и не скрывала, что не любит ее. А за что же ее любить, когда она со всей семьи здоровье собрала? Умер молодым Павел, она, Пелагея, может, при смерти лежит, а этой ничего не деется — все рожа заревом. Нет, если бы Маня-большая была немного почище на руку, она бы и дня не терпела возле себя этой здоровенной бабищи. Да что поделаешь — Маня стала прицеливаться к хозяйкиному добру, когда хозяйка еще на ногах стояла.

Однажды поздно вечером — уже белые ночи на землю пали — к ней зашел Петр Иванович.

Сколько времени прошло с похорон Павла, с того дня, как они последний раз виделись? Года не будет. А Петра Ивановича так укатало, что она едва и признала его. Осел, лицо запаршивело (кто видал его небритым?), в глазах — глянул — тоска волчиная. Но и это еще не все. Петр Иванович был под хмельком — вот что особенно удивило Пелагею. Слыхано ли, видано ли было такое раньше? Тем-то и силен был Петр Иванович, что власти над собой вину не давал. Выпивать, конечно, выпивал, без этого нельзя, раз всю жизнь с начальством, но не качнется — столб железный. А тут от порога шагнул, так и обнесло — кулем шмякнулся на прилавок к печи.

— Зашел проведать. Болеешь, говорят.

— Болею, — ответила Пелагея.

Она попыталась встать: гость пришел, и гость немалый, — но Петр Иванович замахал рукой: лежи, не надо.

Первым словам Петра Ивановича она не придала значения. Петр Иванович, как всегда, заговорил петляво, издалека: о колхозных делах, о том, что в колхозе сейчас жить можно, очень даже неплохо зарабатывает народишко. К примеру, Оська-пастух. Кто когда за человека считал? А ведь в прошлом годе за один сентябрь месяц двести с лишним рублей огреб.

— Да, так вот ноне, — вздохнул Петр Иванович. — А мы с тобой вроде и неглупые люди, а держали когда такие деньги в руках?

Пелагея кивала в ответ головой: все так, все это она и сама не раз передумала за время болезни — большие перемены в жизни — и нетерпеливо ждала, когда же Петр Иванович заговорит о деле. Ведь не за тем же пришел, чтобы обсудить с ней колхозные дела?

— Не вовремя мы с тобой родились, вот что, — продолжал Петр Иванович. — Поторопились маленько. Вот Алька твоя, та в пору... Письма-то ходят?

У Пелагеи часто-часто забилось сердце: куда это он клонит? Не с Алькой ли что стряслось? Но ответила спокойно, не выдавая своего волнения.

— Ходят, — сказала она.

— А домой-то не собирается? Не нажилась еще в городе? Не знаю, я дак не уважаю городскую жизнь. Угоришь там от этого чада да шума...

— Да ведь угоришь не угоришь, — опять спокойно ответила Пелагея, — а надо жить. Не одна теперь, о двух головах.

Петр Иванович похрустел пальцами — знакомая привычка: всегда так, когда на что-нибудь решается. И вдруг хватил ее дубиной по голове:

— Имею сведенье: не живет она с этим военным... Одна живет...

По правде говоря, для Пелагеи это не было полной неожиданностью. Где-то в душе она и сама догадывалась, что у Альки по семейной части не все ладно. Но одно дело ее собственные догадки и другое — когда дочь твою валяют в грязи чужие люди. И она, несмотря на всю свою слабость, как зверь кинулась на защиту родного детища.

— А хоть бы и одна, дак что! — с вызовом сказала Пелагея. — Моя дочь не пропадет. Ина березка и с ободранной корой красавица, а ина и во девичестве сухая жердина...

Намек был страшный — самый тупой человек догадался бы, что она хочет сказать. И она вся внутренне похолодела, даже дышать перестала: лежала и ждала, с какой стороны еще раз оглушит ее Петр Иванович.

А Петр Иванович молчал. Долго молчал. Потом Пелагея приподняла голову и совсем растерялась: у Петра Ивановича в глазу блестела слеза.

Заговорил он тоже необычно: Паладьей ее назвал. По-домашнему, по-деревенски, так, как звал ее когда-то покойный отец.

— Паладья, — сказал каким-то глухим, не своим голосом Петр Иванович. — Я тебя выручал? Не забыла еще?

— Выручал, Петр Иванович... как забыть...

— Ну, а теперь ты меня выручи... Помоги... Ради бога, помоги...

Пелагея едва не задохнулась от удивления. Она еще не знала, о чем ее просят. Но кто просит? Петр Иванович... Ее, Пелагею...

— Парень у меня погибает... — через силу выдавил из себя Петр Иванович.

— Сережа? Да с чего ему погибать-то? С высоким образованием, в почете...

Петр Иванович безнадежно махнул рукой:

— Змий этот зеленый сосет, вот что... — Потом вдруг шагнул к кровати, дрожащей рукой схватил ее за руку. — Ты бы написала Альке... Чего ей там на чужой шататься стороне... Может, и получилось бы дело...

Так вот оно что, поняла наконец все Пелагея, Алькой спастись хочет... Чтобы Алька взяла в руки Сережу... Вот зачем пришел...

Темное, мстительное чувство захлестнуло ее. Она искоса глядела на небритый, вздрагивающий подбородок с ямочкой посредине, на жалкие стариковские глаза, размягченные родительской слезой, и только теперь, только сию минуту поняла, как она ненавидит этого человека. Ненавидит давно, с того самого дня, когда он насчитал на нее пять тысяч рублей.

Господи, она с ума сходила из-за этих пяти тысяч, ночей не спала, чуть ли не в прорубь нырнуть хотела. А он, ирод проклятый, вишь, молодую бухгалтершу проучить решил. Чтобы нос не задирала. А заодно чтобы и хлеб даровой с пекарни получать. Да, да, хлеб! Погрел он руки от нее. Без булки белой за чай не садился. А за что? За какие такие милости? За то, что в компанию свою ввел, с хорошими людьми за один стол посадил? Да пропади она пропадом и компания евонная, и хорошие люди! Всю жизнь она тянулась к этим хорошим людям, мужика своего нарушила и себя не щадила, а чего достигла? Чего добилась? Одна... Насквозь больная... Без дочери... В пустом доме...

И ей хотелось крикнуть в лицо Петру Ивановичу: так тебе и надо! На своей шкуре спознай, как другие мучаются... Но вслух она сказала:

— Ладно, напишу. Может, и послушается.

Пелагея плохо помнила, как ушел от нее Петр Иванович. Ее душил кашель, она задыхалась. И в то же время ей было необычно хорошо. Хорошо до слез, до

знойного жара в груди. И она хватала запекшимися губами избяной воздух и все больше и больше распаляла свое воображение надеждами. Теми радужными надеждами, которые заронил в нее Петр Иванович.

Она не сомневалась — приедет Алька. Ведь не дура же она круглая. Как не понять, что это счастье. Правда, сам Сереженька, может, и не ахти что, хоть и инженер, да зато отец всем кладам клад. Ах ты господи, говорила мысленно себе Пелагея, в одной упряжке с таким человеком шагать... Да ведь это каких дел можно наворочать!

На какое-то мгновение она потеряла сознание, а потом, когда пришла в себя, ей показалось, что она стоит у раскаленной печи на своей любимой пекарне и жаркое пламя лижет ее желтое, иссохшее лицо.

Она задыхалась. Ей было нестерпимо жарко.

На пол, на пол надо, по старой привычке подумала она. Крашеный пол хорошо вытягивает жар из тела...

Так лежащей на голом полу возле кровати и нашла ее наутро Анисья. Она бросилась поднимать ее. И вдруг отшатнулась, встретившись с неподвижным, остекленевшим взглядом.

* * *

Альки на похоронах не было — с открытием навигации она плавала буфетчицей на одном из видных пассажирских пароходов, ходивших по Северной Двине.

Приехала Алька лишь неделю спустя и первым делом, конечно, оплакала дорогих родителей, справила по ним поминки — небывалые, неслыханные по здешним местам. С участием чуть ли не всей деревни.

Потом два дня у Альки ушло на распродажу отрезов на платья, самоваров и прочего добра, нажитого матерью.

А на пятый день Алька заколотила дом на задворках, возложила прощальные венки с яркими бумажными цветами на могилы отца и матери и к вечеру уже тряслась в районном автобусе. Ей не хотелось упустить веселое и выгодное место на пароходе.

1967—1969

АЛЬКА

1

Новостей тетка и Маня-большая насыпали ворох. Всяких. Кто женился, кто родился, кто помер... Как в колхозе живут, что в районе деется... А Альке все было мало. Она ведь год целый не была дома, а вернее сказать, даже два, потому что не считать же три-четыре дня в прошлом году, что на похороны матери приезжала.

И вот тетка и Маня-большая только замолчат, рот закроют, а она уж их теребит снова:

— Еще, еще чего?

— Да чего еще... — пожимала плечами Анисья. — Вот клуб строят новый. Культурно жить, говорят, будем...

— Слышала! Сказывала ты про клуб.

— Ну тогда не знаю... Все, кабыть...

Тут Маня-большая — она тоже немало поломала свою старую голову, чтобы угодить гостье, — догадалась наконец разговор перевести на другую колею.

— Все нас да нас пытаешь, — сказала Маня, — а ты-то как живешь-можешь в своем городе?

Алька блаженно, до хруста в плечах потянулась, почесала голой пяткой гладкий, с детства знакомый сук в половице под столом, потом разудало тряхнула своим рыжим, все еще не просохшим после бани золотом.

— Ничего живу! Не пообижусь. Девяносто рэ чистенькими каждый месяц, ну, и сотняга — это уж са́мо ма́ло — чаевые...

— Сто девяносто рублей? — ахнула Маня.

— А чего? Я где работаю-то? В районной столовке или в городском ресторане? Филе жареное, жиго, люля-кебаб, цыплята табаки... Слыхала про такие блюда? То-то! А подать-то их знаешь как надо? В твоей столовке районной кашу какую под рыло сунули — и лопай. А у нас — извини-подвинься...

Тут Алька живехонько выскочила из-за стола, переставила с подноса на стол все еще мурлыкающий са-

мовар, чашки и стаканы — на поднос, поднос — на руку с растопыренными пальцами и закружилась, завертелась по избе, ловко лавируя между воображаемыми столиками.

— А задок-от, задок-от у ей ходит! — восхищенно зацокала языком Маня. — Кабыть и костей нету.

— А уж это у нас обязательно! Чтобы на устах мед, музыка в бедрах. Нам Аркадий Семенович, наш директор, так и говорил: «Девочки, запомните, вы не тарелки клиенту несете, а радость».

Алька еще раз показала, как это делается, затем, довольная, с пылающими щеками, опустила на стол поднос с чайной посудой (только сейчас стаканы звякнули), разлила остаток вина по рюмкам.

— Давайте за Аркадия Семеновича! Во мужик — закачаешься! Бывало, выстроит нас, официанток, в зале, покамест в ресторане народу нету, сам за рояль и давай команды подавать: «Девочки, задиком раз, девочки, задиком два...», «А теперь, девочки, упражнение на улыбку...» Сняли. За насаждение порочных нравов... в советском быту... Теперь у нас такой зануда директор — выше колена юбку не подними. Не по кодексу. Я, кажись, скоро стрекача задам. К летчикам, наверно, подамся. По городам летать...

— А Владислав-то Сергеевич как? — спросила Маня.

— Чего Владислав Сергеевич?

— Ну, в части препятствий... Жена с молодыми мужиками...

Алька быстро взглянула на густо покрасневшую тетку и сразу все поняла: это она, тетка, скрыла от всех, что Алька не живет с Владиком. Скрыла, чтобы избежать пересудов.

Но Алька не любила хитрить, как ее покойница мать, а потому, хоть тетка и делала ей знаки глазами, рубанула сплеча:

— Не живу я с Владиком. Рассчитала на все сто и даже с гаком.

— Ты? Сама? — У Мани от удивления даже нижняя губа отвисла. Точь-в-точь как у Розки, старой кобылы-доходяги, на которой в последнюю зиму перед болезнью отец возил дрова для сельпо.

— А чего? Он шантрапа, алиментщик заядлый, а я чикаться с ним буду, да?

— Кто алиментщик? Владислав-то Сергеевич али-

ментщик? — еще пуще прежнего удивилась Маня.

— Ну! Да еще алиментщик-то какой! Двойной! Я сдуру-то, когда он от нас удрал, не сказавши, обревелась. Думаю — все: пропала моя головушка. К евонному начальству в городе прикатила — слова сказать не могу: вот какая деревенская дуреха была! А потом как начальник-то сказал мне, хороший такой дядечка, полковник с усами, что у Климашина и так двойные алименты, я дай бог силы. И руками и ногами отпихиваться стала. Сообразила! Он восемнадцать лет ползарплаты платить будет, а мне вприглядку глядеть?

Вдруг голосистая бабья песня ворвалась в избу, от грохота грузовика задрожали стекла в рамах.

Алька кинулась к раскрытому окошку, но машина уже проскочила — только пыль клубилась на дороге.

— Свадьба, что ли, какая? — спросила она у старух.

— Не, то скотницы, — ответила Анисья. — С утрешней дойки едут. С поскотины. Все вот ноне так. Завсегда с песнями.

— А чего им не с песнями-то? — фыркнула Маня. — Деньжища загребают — ой-ой!

— А Лидка Вахромеева, подружка моя, по-прежнему в доярках?

— В доярках. Только теперь она не Вахромеева, а Ермолина.

— Кто — Лидка не Вахромеева? Да чего же вы молчали?

— Да я писала тебе, — сказала Анисья. — Еще зимусь вышла. За Митрия Васильевича Ермолина.

— Чего-чего? За Митю-первобытного? — Алька расхохоталась на всю избу. — Ну и хохма! Да мы, бывало, с ней первыми потешались над этим Митей!

— А теперь не потешается. Теперь — муж. Хорошо живут. Хорошая пара. А уж Митрий-то — золото!

— Да какое золото! — хмыкнула Маня.

— Нет, нет, не хинь, Архиповна, Митрия! — горячо вступилась за Митю Анисья. — Человек весь колхоз отстроил — шутка сказать! А сами-то они коль дружны — ноне-ка такого и не увидишь. Я тут на днях встретила — к реке идут с бельем, Митя сам корзину несет. Ну-ко, кто из нонешних мужиков женке своей пособит? И вина не пьет...

— А все равно недотепа, мозги набекрень, — твердила свое Маня, и из этого Алька заключила, что стару-

ха не сумела пробить лаз к Мите и Лидке — это уж наверняка, раз она с таким усердием поливает их грязью.

2

Алька уже выбегала сегодня на улицу и, как говорится, успела и ноги в утрешней росе прополоскать, и солнышка утрешнего ухватить; а вот как она истосковалась по своей деревне — козой запрыгала от радости, когда спустилась с крыльца.

Ей всюду хотелось побывать сразу: и на горках, за дорогой, у черемухового куста, возле которого она, бывало, с отцом поджидала возвращавшуюся с пекарни усталую мать; и на лугу, под горой, где все утра заливается сенокосилка; и у реки...

Но верх над всем взяла деревня.

Деревни, по сути дела, она еще и не видела. Приехала ночью, в закрытом райкомовском «газике» (чтобы пыли меньше было) — много ли наглядишь? А утром — глаза не успела продрать — Маня-большая. Никто не звал, не извещал — сама приперлась. Просто нюхом своим собачьим учуяла, где задарма выпить можно.

Первый человек, которого встретила Алька на улице, была Аграфена — длинные зубы. Соседка. Через дом от тетки живет. В детстве, случалось, и вицей ее драла — злая, ухватистая старуха. А тут — просто потеха! — не признала. Потыкала, пожевала ее своими оловянными глазищами, а голосу так и не подала. Штаны сбили с толку?

Штаны у нее — шик. Красные, шелковые — прямо огонь на ногах переливается. Да и все остальное, кстати сказать, — первый сорт. Белая кофточка с глубоким вырезом на груди, туфли модные на широком каблуке, сумочка черная, ремешок через плечо — чем не артистка?

Завидев дом Петра Ивановича, — как белопалубный пароход выплыл на повороте дороги — Алька подтянулась. Хоть и никогда она не заискивала и не лебезила перед этой старой лисой, а все-таки и она в Летовке родилась: знала, кто Петр Иванович.

Но, господи, разве обойдешь, объедешь в страдную пору ихнюю Лампу? Вынырнула из полевых ворот с большущим кузовом травы — в небо упирается, как сказала бы мать. Босиком, в бабьем платье до пят, вся

употела, ужарела — ну как тут не признать свою учительницу!

Да, вот так: Гагарин шар земной вокруг облетел и помереть успел, американцы на Луну слетали, она, Алька, бабой стала, а ихняя Лампа без перемен: как шлепала с кузовом травы десять-пятнадцать лет назад, так шлепает и сейчас. Правда, укорять Евлампию Никифоровну за то, что она всю жизнь возится с коровой, может, и не стоит — тяжело, голодно жили после войны. Но ведь сейчас не старые времена. Сейчас колхозники и те не очень-то за буренку держатся, а ведь она учительница — ей ли всю жизнь из навоза не вылезать?

Алька вспомнила про черные очки в белой пластмассовой оправе — Томка перед отъездом навязала — быстро вынула их из сумочки, надела на глаза, напустила на себя строгость и двинулась к Евлампии Никифоровне — та как раз пристроилась к изгороди на передышку, одной рукой кузов с травой поддерживая, а другой по-бабьи, головным платком вытирая свое запотелое лицо.

— Гражданка, вы что это? Ай, ай, ай! Нехорошо!

— Да чего нехорошего-то? Не знаю, как вас звать, величать...

— Траву нехорошо с колхозного луга таскать.

— Да я вовсе и не с луга. Я закраишек у полей маленько покочкала, — начала жалостливо канючить Евлампия Никифоровна. Ну точь-в-точь как деревенская баба, которую поймал с травой председатель колхоза.

Алька кашлянула для важности, нажала на басы:

— Какой пример колхозникам подаете, товарищ Косухина?

— Нехороший, нехороший пример. Это вы правильно сказали. Учту...

— То-то же! А то ведь можно и оштрафовать. Понятно вам?

Тут уж Евлампия Никифоровна начала просто расстилаться перед грозным начальством:

— Понятно, как не понятно. Ну вы-то учтите, уважаемая, — болею я. А травка-то у нас далеконько, а коровушка-то у меня молодая, без травки и не подоить...

— Ладно, товарищ Косухина. Только чтобы это последний раз.

— Последний, как не последний. Все будет сделано, как говорите. Сама не буду ходить и с другими работу проведу...

Больше Алька выдержать не могла — так и схватилась за живот, а потом сняла очки и как ни в чем не бывало сказала:

— Здравствуйте, Евлампия Никифоровна.

Евлампия Никифоровна с минуту, наверно, перебирала своими толстыми, потрескавшимися от жары губами. Наконец разродилась:

— Все безобразничаешь, Амосова. — Она ни разу в жизни не назвала ее по имени.

— Да это я в шутку, Евлампия Никифоровна. Смех, сказал Хо Ши Мин, тот же витамин.

Евлампия Никифоровна потянула воздух носом.

— А напилась тоже в шутку?

— Да что вы, Евлампия Никифоровна... Вот, ей-богу, нельзя уж и привальное справить, да маму с папой помянуть.

— Родителей не так, Амосова, поминают. Родители у тебя труженики были. Пример для всех...

— А я что — не груженица? Тунеядка какая? Не сама хлеб зарабатываю?

Евлампия Никифоровна строгим учительским оком оглядела Альку, задержалась взглядом на ее красных, жарких, как пламя, штанах.

— Моральности не вижу, Амосова. Моральный кодекс строителя... Ну да ты еще в школе не больно честь девическую берегла...

Алька крепко, так, что слезы из глаз брызнули, закусила нижнюю губу, затем живо кивнула на двух работяг из смехколонны — так прозвали у них за пьянство мехколонну, которая еще в ее бытность в деревне начала ставить столбы для электросети, да так до сих пор и ставит.

— Это что, Емлампия Никифоровна, электричество у нас будет?

— Электричество, Амосова, — назидательно сказала Евлампия Никифоровна. — Колхозная деревня за последние годы добилась больших успехов...

— Значит, и у нас скоро будет лампочка Ильича?

— Будет, Амосова. Стираются грани и противоположности между городом и деревней...

Алька простодушно, совсем как ученица, потупила глаза — чего-чего, а сироту она разыграть умела.

— Евлампия Никифоровна, а когда лампочки Ильича у нас зажгутся, что же с лампами керосиновыми будет? В утиль их сдадут але как?

Евлампия Никифоровна так и осталась стоять с разинутым ртом, не больше не меньше как Аграфена — длинные зубы, а она, Алька, еще и задом крутанула: на, получай сполна, святоша!

3

Переживать, травить себя из-за того, что кое-какую припарку Лампе сделала? Нет, Алька и не подумала. Во-первых, Лампа заслуживает. Все девчонки и ребята стоном стонут из-за нее, когда в техникум или училище поступают. Все хорошо сдают — математику, физику, географию, а до русского письменного дошли — и сели. А во-вторых, когда переживать?

Новые дома (штук пять насчитала за хоромами Петра Ивановича), бабы, ребятишки, собаки — все так и навалилось на Альку, едва она отчалила от Лампы.

Пека Каменный, выскочивший из-за угла на колесном тракторе, можно сказать, сразил ее наповал. Давно ли, в прошлом году, наверно, еще за каждой машиной гонялся — подвезите! Дайте проехаться! — а теперь вот и сам за рулем. Рот мальчишечий до ушей — через стекло видны белые редкие зубы, круглое лицо закопчено, как у трубочиста, — иначе какой же ты механизатор! — и веточка красной смородины над радиатором. Для форсу — знай наших!

Увидев ее, Пека высунул из кабины свою счастливую белозубую мордаху, крикнул:

— Чего такие штаны надела? Сожгешь еще деревню-то! — И весело, по-детски захохотал: самому понравилась шутка.

Штаны, между прочим, зацепили и Паху Лысохина, который громко, как все глухие, закричал со стены — дом зятю, рабочему из-за реки, строит:

— Флагом задницу обернула — мода теперь такая, а?

С Пахой Лысохиным Алька с удовольствием бы поточила зубы. Веселый старик. Третью жену недавно схоронил, а по рассказам тетки, уж к Дуне Девятой подбирается. На сорок пять лет моложе себя.

Но до старика ли, до трепа ли было Альке сейчас, когда впереди, напротив школы, замаячил новый клуб под белой шиферной крышей! Про клуб этот она уже знала — тетка и в письмах писала ей и сегодня утром, за чаем, сказывала, а вот что значит собственными гла-

зами увидеть: дух от радости перехватило, сердце запрыгало в груди.

— Сюда, сюда, красуля!

Засмотревшись на большущее брусчатое здание, у которого не было еще ни дверей, ни рам, Алька и не заметила строителей. А они поленницей лежали на дощатом настиле перед окнами — черные, белокурые, рыжие, кто в трусах, кто в плавках, и синий дымок от сигарет плавал над их разномастными головами.

— Загораем, мальчики? — она, как в кино, вскинула руку (привет, дескать), а потом лихо прошила своими красными штанами выгоревший пустырь, отделявший дорогу от стройки.

Строители вскочили на ноги, задробили, заприплясывали, в воздух полетели штаны, рубахи, кеды, и Алька сразу поняла, что это за публика. Студенты. Главная рабочая сила в ихнем колхозе летом.

— Ну, показывайте ваш объект, — сказала Алька. Она еще и не такие словечки знала: не зря два года в городе прожила.

К ней чертом подскочил чернявый студент со жгучими усиками, как сказала бы Томка, Вася-беленький, каких та особенно любила. Он успел уже когда-то натянуть на себя защитную штормовку с закатанными по локоть рукавами и такие же защитные джинсы со множеством светлых металлических заклепок.

— Прошу, — сказал он, шутливо выгибаясь в поклоне, и подал ей согнутую в локте руку.

Алька приняла руку, по сходням поднялась в помещение.

Клуб был что надо. Фойе, зал для танцев, зал для культурно-массовых мероприятий (да, так и сказал Вася-беленький, он был у студентов за старшего), две большие комнаты для библиотеки. Хорошо! Непонятно только, кто будет танцевать и культурно проводить время в этих залах: в деревне зимой студентов и отпускников нету, а свою коренную молодежь по пальцам пересчитать можно.

— Эх, жалко, — вырвалось у Альки, — музыки нету. Не потанцевать в новом клубе.

— Кто сказал, что музыки нету? — воскликнул Вася-беленький.

И тут произошло чудо: рокаха! Самая настоящая рокаха загремела в заднем углу, где были сложены всякие инструменты.

Альку бросило в жар — с детства самая любимая работка — молотить ногами. Ну и дала жизни, обновила половицы в новом клубе. Сперва с Васей-беленьким, потом с другим, с третьим, до десятка счет довела. Студенты выли от восторга, рвали ее друг у друга, но Алька не забывалась: в деревне — не в городе. Скачи да и по сторонам поглядывай, а то попадешь старухам на зубы — жизни не рада будешь.

— Спешу, спешу, мальчики! В другой раз.

Затем прежний, по-киношному, взмах рукой, широкая улыбка для всех сразу — и пошла вышивать красные узоры по выжженному солнцем пустырю.

4

В деревне в страдную пору ежели и есть где жизнь днем, так это на почте. Почту, в отличие от колхозной конторы и сельсовета, ради работы не закрывают, а потому все отпускники первым делом тащатся на почту.

Алька, однако, не добралась в этот день до почты. Ибо только она вышла на земляничный угор к старой церкви, как чаячьими криками взорвался воздух:

— Аля! Аля!

Кричали из-под угора, с луга, кипевшего разноцветными платками и платьями. И не только кричали, а и махали граблями: к нам, к нам давай!

Алька много не раздумывала: туфли на модном широком каблуке в руку и прямо вниз — только камни на тропинке заскакали. А как же иначе? Ведь если на то пошло, она больше всего боялась встречи со своими вчерашними подружками: как-то они посмотрят на нее? Не начнут ли задирать свои ученые носы студентки и старшеклассницы?

Сено на лугу, под самым угором, было уже убрано, и ох же как впились в ее голые ноги жесткие, одеревеневшие стебли скошенной травы. Но разве она неженка? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? В общем, колючую луговинку перемахнула не поморщившись, с ходу врезалась в девичий цветник.

— Аля! Аля! — Десятки рук обхватили ее — за шею, за талию, — просто задушили.

— Девки, девки, где наша горожаха?

А вот это уже Василий Игнатьевич, ихний председатель сельсовета, да бригадир колхоза Коля-лакомка, два старых кобеля, которые всю жизнь трутся возле

девок. Трутся вроде так, из-за своего веселого характера, а на уме-то у них — как бы какую девчонку прижать да облапить.

Девки со смехом, с визгом рассыпались по лугу, ну, а Алька осталась. Чего ей сделается? А насчет того, чтобы осудить ее за вольность, это сейчас никому и в голову не придет. На публике, на виду у всех — тут все за шутку сходит.

Но все-таки она не считала ворон, когда Василий Игнатьевич взял ее в оплет (просто стон испустил от радости) — туфлями начала молотить по мокрой, потной спине. Крепко, изо всей силы. Потому что, если говорить правду, какая же это радость — осатанелый старик тебя тискает?

Возня на этот раз была короткой, даже до «куча мала» не дошло дело. Старухи и женки завопили:

— Хватит, хватит вам беситься-то! Не видите, что над головой.

Над головой и в самом деле было не слава богу: тучки пухлые катались. Как раз такие, из которых каждую минуту может брызнуть. Но тучки еще куда ни шло — ветоишко начал делать первые пробежки по лугу.

Василий Игнатьевич кинулся к своим граблям, брошенным возле копны, — теперь уж не до шуток. Теперь — убиться, а до дождя сено сгрести.

— Девчата, девчата, поднажми! — закричал.

А девчата разве не свои, не колхозные? Неужели не понимали, какая беда из этих тучек грозит? Разбежались с граблями по всему лугу еще до председательской команды.

Коля-лакомка, весь мокрый (два ведра воды девки вылили), на берегу кинул свой пиджак: постели, мол, на сено — мягче сидеть.

Но Алька даже не посмотрела на пиджак. Она быстро надела свои шикарные туфли на широком модном каблуке, схватила чьи-то свободные грабли и давай вместе со всеми загребать сено. Потому что, ежели сейчас рассесться на виду у всех, как предлагает ей Коля-лакомка, разговоров потом не оберешься. Старухи и женки все косточки перемоют, да и девчонки не будут на запоре рот держать.

Василий Игнатьевич дышал, как загнанная лошадь, охапки поднимал с воз и все-таки не успевал копнить все сено. Пигалицы, самая мелкота вились вокруг него, а ковыряли грабельками — росли перевалы.

Ему пыталась подсобить Катя Малкина, внучка старой Христофоровны, такая же совестливая да сознательная, как сама Христофоровна. Да разве это по ней работа?

И вот Алька начала понемногу захватывать сено, так, чтобы поменьше мельтешилась в глазах эта трудолюбивая малявка, потому что охапки носить она не приспособлена сегодня — не та одевка, а во-вторых, с какой стати рвать жилы? Рогатка, что ли, у нее во дворе плачет?

Но бабы, до чего хитры эти бестии бабы!

— Алька, Алька, не надорвись!

— Алька, Алька, побереги себя!

Ну и тут она не выдержала.

Знала, помнила, что подначивают, нарочно заводят, а вот, поди ты, — завелась. Сроду не терпела срамоты на людях.

В общем, колесом завертелось все вокруг. Василий Игнатьевич — охапку, она — две, Василий Игнатьевич — шаг, она — три.

Белая кофточка на ней взмокла (с превеликим трудом достала в одном магазине через знакомую продавщицу) — плевать! По зажарелому лицу ручьями пот — плевать! Руки голые искололо, труха сенная за ворот набилась — плевать, плевать! Не уступлю! Ни за что не уступлю!

И не уступила.

Василий Игнатьевич, старый греховодник, когда кончили луг, не то чтобы облапить ее (самый подходящий момент — такое дело своротили!), даже не взглянул на нее, а тут же, где стоял, свалился на луг.

Да и Коля-лакомка, даром что намного моложе председателя, тоже не стал показывать свою прыть.

5

Три часа, оказывается, без перекура молотили они — вот какой ударный труд развернули!

Это им объявил только что подошедший председатель колхоза — он тоже, оказывается, работал, только на другом конце луга, со старухами.

Председатель был рад-радехонек — много сена наворочали. Девчонки подсчитали: 127 куч *!

---

* Куча — копна.

— Тебя, Алевтина, благодарю. Персонально. Ты свои штаны, как знамя, подняла на лугу.

— Да, да, умеет робить. Не испотешилась в городе.

Бабы снятыми с головы платками вытирали запотелые, зажарелые лица, тяжело переводили дух, но улыбались, были переполнены добротой. Точь-в-точь как мать, когда та, бывало, досыта наработается.

Кто-то к этому времени поднес ведро с водой, и председатель колхоза, зачерпнув кружку, собственноручно подал Альке: дескать, премия. И люди — ни-ни. Как будто так и надо.

В кружке плавала сенная труха — наверняка ведро стояло где-нибудь под копной, в холодке, но она и не подумала сдувать труху, как это бы сделала ее брезгливая мать: всю кружку выпила до дна, да еще крякнула от удовольствия.

Председатель совсем расчувствовался:

— Переходи в колхоз, Алевтина. Берем!

— Нет, нет, постой запрягать в свои сани! Дай Советской власти слово сказать.

Василий Игнатьевич подал голос. Отлежался-таки, пришел в себя. Грудь, правда, еще ходуном и руки висят, но глаз рыжий уже заработал. Как у филина заполыхал. Вот какая сила лешья у человека!

— Нет, нет, — сказал Василий Игнатьевич. — Я первый. Мне помощницу надо.

— Тебе? По какой части? — игриво, с намеком спросил председатель колхоза и захохотал.

Василий Игнатьевич строго посмотрел на него, умел осадить человека, когда надо, иначе бы не держали всю жизнь в сельсовете, сказал:

— У меня Манька-секретарша к мужу отбывает. Так что вот по какой части.

Тут бабы заахали, замотали головами: неуж всерьез?

Сама Алька тоже была сбита с толку. Грамотешка у нее незавидная, мать, бывало, все ругала: «Учим, учим тебя, а какую бумажонку написать — все иди в люди», — кому нужен такой секретарь?

Взгляд Василия Игнатьевича, жадно, искоса брошенный на нее, кажется, объяснил ей то, до чего бы она так и не додумалась.

Э, сказала она себе, да уж не думает ли он, старый дурак, шуры-муры со мной завести? А что — раз ни баба, ни девка — почему и не попробовать в молодой малинник залезть?

Меж тем бабы засобирались домой. На обед.

К Альке подошла тетка — она, конечно, была тут, на лугу. Старая колхозница — разве усидеть ей дома в страдный день?

— Пойдем, дорогая гостьюшка, пойдем. Я баню буду топить. Вон ведь ты как выгвоздалась.

Выгвоздалась она страсть: и кофточку, и штаны придется не один час отпаривать, а может, и вовсе списывать. Так что восемьдесят-девяносто рубликов, можно сказать, плакали.

Э-э, да тряпки будут — были бы мы!

Задор, лихая удаль вдруг накатили на Альку.

— Девчонки, айда на реку!

Девчонки, казалось, только этой команды и ждали. С криками, с визгом кинулись вслед за ней.

6

Малявки поскидали с себя платьишки еще по дороге — это всю жизнь так делается, чтобы без задержки, с ходу в реку, а когда спустились с крутого вала на песчаный берег, быстро разделись и девчонки. Разделись и со всех сторон обступили Альку.

Все ясно, усмехнулась про себя Алька, — какой у тебя купальник? Так уж устроены все девчонки на свете — с рождения тряпичницы.

Есть, есть у нее купальник. Такой, что в ихней деревне и не снился никому, — темно-малиновый, шерстяной, с вшитым белым ремешком, с карманчиком на молнии (зимой три часа на морозе выстояла за ним в очереди). Но разве она думала, что ей придется купаться сегодня?

И все-таки — врете! Не у вас — у меня будет самый красивый купальник! В один миг Алька сбросила с себя все до нитки.

Девчонки ахнули: им и в голову ничего подобного не могло прийти, потому что кто же нынче купается голышом? Трехлетнюю соплюху и ту не затащишь в воду без трусиков.

На ребячьем пляже — рядом — закрякали, застонали, но и там скоро захлебнулись.

Гордо, слегка откинув назад голову, понесла она к воде свое молодое, цветущее тело.

Под ногами певуче скрипел белый песок, жаркий

травяной ветер косматил ей волосы, обнимал полные груди, собачонкой юлил в ногах.

— Альчик, — сказал ей однажды расчувствовавшийся Аркадий Семенович, — я бы, знаете, как назвал вас, выражаясь языком кино? — Он любил говорить красиво и интеллигентно. — Секс-бомбой.

— Это еще что? — нахмурилась Алька.

— О, это очень хорошо, Альчик! Это... как бы тебе сказать... безотказный взрыватель любой, самой зачерствелой клиентуры. Это солнце, растапливающее любые льдины в мужской упаковке...

И это верно. На самую трудную и капризную клиентуру высылали ее. Или, скажем, начальство в ресторан пожаловало, да еще не в духе — кого послать, чтобы привести его в божеский вид? Ее, Альку.

Она попробовала ногой воду — теплая, посмотрела на небо — черной тучей перекрыло солнце, посмотрела на всполошившихся сзади девчонок и побежала вглубь: чего бояться? Разве впервой купаться при дожде?

Реку она переплыла без передышки, вышла на берег, ткнулась в песок.

Девчонки ей кричали: «Аля, Аля!» — махали платьями с того берега (похоже, и в воду не заходили), а она, зарывшись в теплый песок, сжимала руками мокрую голову и молча глотала слезы.

Ее с первого класса в школе считали отпетой, а мать, как она запомнила, только и твердила ей: «Смотри, сука! Только принеси у меня в подоле — убью!» А она, поверит ли кто, до позапрошлого лета не переступала черты. Целоваться целовалась и тихоней, как некоторые, не прикидывалась: гуляю! Сама, ежели надо, на шею парню вешалась. Но ниже пояса — ша! Посторонним вход запрещен. И даже в тот день, когда нежданно-негаданно на пекарню нагрянула мать с ревизией, она не отступила от этого правила. А уж как в тот день не приступал к ней Владик! Просто руки выламывал.

Мать, родная мать, можно сказать, толкнула ее в руки Владика. Влетела в пекарню, глаза горят — что тут выделываешь, сука? За этим тебя сюда послали? А потом вдруг ни с того ни с сего поворот на сто восемьдесят градусов: винцо на стол и чего, Алевтинка, дуешься? Чего кавалера не завлекаешь?

Вот этого-то она, Алька, и не могла стерпеть. Она сказала тогда себе, выскакивая из окошка пекарни:

ежели догонит меня Владик, пускай что хочет со мной делает.

Владик догнал ее у реки, почти на том самом месте, где она сейчас лежала...

7

Дождь хлынул как из ведра — без всякой разминки — и в один миг смыл с нее тоску. Да и некогда было тосковать. Почерневшая река застонала, закипела — страшно в воду войти, а не то что плыть.

На домашнем берегу, когда она, пошатываясь, вышла из воды, не было уже ни одной души: все удрали домой — и девчонки и ребята. Она коротко перевела дух, сгребла в охапку свои шмутки — не до одеванья было сейчас! — и большим белым зверем кинулась в шумящую грохочущую темень...

Гроза начала стихать, когда Алька была уже в поле, на своей Амосовской меже *.

Дождь лупил по-прежнему, будто в пять-десять веников хлестали ее по спине, по ногам, по животу, попрежнему слепила глаза молния, но гром уже уходил в сторону. И вдруг, когда она выбежала из полей на луг, снова загрохотало. Да так, что земля застонала и загудела вокруг.

Ничего не понимая, она остановилась, глянула тудасюда и просто ахнула. Кони, сорвавшиеся с привязи, носились по выкошенному лугу у озерины. От их копыт шел громовой раскат.

Она разом вся натянулась — так бы и кинулась наперегонки! — но одумалась: из деревни увидят, девка с лошадьми по лугу бегает — что подумают? Зато уж в гору она вбежала без передышки — отвела душеньку и на теткину верхотуру влетела — тоже ступенек не считала.

— У-у, беда какая!.. Гольем...

— Да откуда ты, девка? У нас, кабыть, еще середка дни одевку не сымают?

Старухи! У тетки пусто никогда не бывает, а сегодня, похоже, весь околоток собрался. Афанасьевна, Лизуха, Аграфена — длинные зубы, Таля-ягодка, Домахадраная и, конечно, Маня-большая... Шесть старух! Нет, семь.

---

* В данном случае — тропинка, дорожка.

Христофоровна еще в уголку за спинкой кровати сидела.

Бросив к печи, на скамейку, мокрые красные штаны и белую кофточку (она, конечно, была не «гольем», а в лифчике и трусиках), Алька прошла за занавеску, быстро переоделась и выкатила к старухам в коротеньком, на четверть выше колена, платьишке — нарочно, чтобы позлить их.

Но старухи поумнели, видно, покамест она была за занавеской — ни одна не проехалась насчет ее платья; да, по правде говоря, ей и плевать хотелось на их судыпересуды: она так проголодалась за день, что как собака накинулась на уху из мелкой местной рыбешки, которую Анисья уже поставила на стол.

— Ешь, ешь, девка, — одобрительно закивали старухи. — Заслужила.

— Как не заслужила! Двух мужиков до смерти загнала. Василий-то Игнатьевич, сказывают, без задних ног — в гору подняться не мог. На лошади увезли.

— Дак ведь родители-то у ей какие! Что матерь, что отец...

— Да, да! Уж родители-то твои, девка, поработали. У-у, какие горы своротили!

Так ли — от души, от сердца нахваливали ее старухи и добрым словом помянули отца с матерью или лукавили маленько в расчете на легкую поживу — кто их разберет. Только Алька, недолго думая, выкинула на стол десятку: вот вам от меня привальное, вот вам поминки.

Маня-большая вприпляс побежала в ларек, у Аграфены — длинные зубы заревом занялось лошадиное лицо — тоже выпить не любит, и Домаха-драная с Талей-ягодкой не замахали руками. Отказались от рюмки только Христофоровна да Лизуха.

— Чего так? — спросила Алька. — Деньги копить собрались?

— Како деньги. Велика ли наша пензия...

— Староверки! — презрительно фыркнула Маня-большая. — У нас та, дура-то стоеросовая, тоже в ету компанию записалась.

Алька переспросила: кто?

— Матреха. Кто же больше?

— Маня-маленькая? — несказанно удивилась Алька.

— Ну.
— И не пьет?
— Не. По ихней леригии ето дело запретно.
— Для души твердого берега ищут... — какими-то непонятными, не совсем своими словами начала разъяснять тетка, и из этого Алька поняла, что и она где-то в мыслях недалеко от того берега.
— Ладно, — отмахнулась Маня-большая, наливая себе новую стопку, — плакать не будем. Нам больше достанется.

— Ты-то бы помолчала, бес старый! — сердито замахнулась на нее рукой строгая Афанасьевна (она только из вежливости пригубила рюмку). — Сама-то бы ты пей, лешак с тобой! Да ты ведь и ребят-то молодых в яму тащишь. «Толя, засуху спрыснем... Вася, давай облака разгоним...»

В воздухе, как говорится, запахло скандалом — всем известно было, что у Афанасьевны внук спился, и Алька вмешалась.

— Не переживай, — сказала она Афанасьевне. — Береги здоровье. Ноне все пьют. У нас в городе знаешь, кто не пьет? Тот, у кого денег нету, да тот, кому не подают, да еще Пушкин. А знаешь, почему Пушкин не пьет? Потому что каменный — рука не сгибается... — Алька коротко рассмеялась.

Старухи тоже пооскаляли беззубые рты, хотя анекдота, конечно, не поняли: в городе добрая половина ни разу не бывала — откуда им знать про памятник?

Христофоровна — она морщила чаек, вернее, кипяток на черничной заварке — учтиво спросила:
— А домой-то уж не собираешься, Алевтина?
— Чего она дома-то не видала? — с ходу ответила за Альку Маня-большая.
— Да хоть те же хоромы родительские. Я поутру на свое крылечко выйду да увижу ваш домичек — так-то жалко его станет. Невеселый стоит, как, скажи, сирота бесприютная...
— Запела! Нонека деревни целые закрывают да сносят, а она по дому слезу лить... Епоха, — добавила по-книжному Маня-большая и икнула для солидности.

Алька со своей стороны тоже успокоила старуху (хорошая! В детстве всегда подкармливала ее, когда мать задерживалась на пекарне):

— Хорошо живу, Христофоровна. И место денежное, и работа — не заскучаешь. А уж насчет еды — чего хошь. Только птичьего молока разве нету.

Аграфена — длинные зубы не без зависти сказала:

— Чего там говорить. Кабы худо было — не бежали бы все в города.

— Да пошто все-ти? — возразила тетка. — Вон у нас Митрий Васильевич... В городе оставляли — не остался...

— И мой племяш возвернулся, — сказала Лизуха. — Я, говорит, тетка, деревню больше уважаю...

— Не сидят, не сидят ноне люди на месте, — снова вступила в разговор Христофоровна, которая только что закончила пить чай и по-старинному опрокинула свою чашку кверху дном. — Все чего-то ищут. Нашим, деревенским, города не хватает, а тем опять — из города — деревни...

— Каким ето тем не хватает деревни? — усмехнулась Маня-большая. — Я что-то таких не видала.

— Да как не видала. У меня девушки-студентки из города целый месяц жили — разве забыла?

— А, ети ученые-то огарыши...

— Нет, нет, Марья Архиповна, — мягко, но твердо возразила Христофоровна, — нельзя так. Не заслужили. Уж хоть говорится — городские люди шибки, а я того не скажу. Хорошие, уважительные девушки. Без спросу воды из ушата не напьются, а не то чего... Я говорю: чем так у нас пондравилось — третье лето подряд ездите? Смеются: «За живой водой, говорят, бабушка...»

Маня-большая ядовито захихикала — страсть не любила, когда при ней хвалили кого-нибудь, — но Алька так посмотрела на нее, что та живо язык прикусила.

И вот снова летним ручейком побежала неторопливая речь Христофоровны:

— Не пообижусь, не пообижусь на девушек. Уважительные, разговористые. За мной весь день ходят, чуть не по пятам ступают да все, что ни скажу, записывают. Что вы, говорю, девушки? Зачем вам все это? Чего, говорю, вам темная старуха наскажет — ни одного дня в школу не ходила? Вас, говорю, надо записывать, а не меня, вы, говорю, институты кончаете, науку учите. Смеются да целуют меня: еще, еще, бабушка... Да чего еще-то? «Да про эти институты, про науку...»

— Видно, нынешние-то науки послабже против пре-

жних, раз бабку старую теребят, — заметила Аграфена — длинные зубы.

На это Алька решительно возразила:

— Ничего подобного! Наука у нас хорошая, передовая — кто первый спутник запустил? — Она не могла молчать в таком разговоре, ей надо было свою марку поддержать. — А что студенты к вам ездят да всякие сказки записывают, дак это так и надо. Поняли?

— А туески-то им берестяные зачем? — спросила Таля-ягодка. — Ко мне на подволоку залезли — всю пыль собрали, два туеска да старую ложку нашли. Ложка некрашена, большая — не в каждый рот влезет, быват, еще дедко наш ел. Да что вы, говорю, девки, с ума посходили! Неужто, говорю, из такой страховодины исть будете? «Будем, будем, бабушка!» Тоже все на смех...

— А почем иконы-то в городе? — Домаха-драная рот раскрыла. С позевотой. Всю жизнь на ходу спит. Мужик говорят, порол-порол, да так и умер, не отучивши.

— Да, да, — поддержала Домаху Афанасьевна, — был у нас в прошлом году мужик с черной бородой, из каких-то нерусичей. В каждом дому иконы спрашивал.

Насчет икон у Альки не было определенного мнения. С одной стороны, ей с первого класса в школе внушали: религия мрак и опиум, а с другой стороны, правы старухи: блажат в городе. Была она как-то в областном музее — две комнаты больших под иконы занято. И экскурсоводша, очкарик такой на воробьиных ножках, на Тонечку Петра Ивановича похожа, только что не рыдала, когда начала говорить об этих иконах. «Самое ценное сокровище нашего музея... Специальный температурный режим...»

— С иконами надо полегче. Не очень, чтобы... — ответила неопределенно Алька и встала, подошла к окну, за которым заметно посветлело.

Она распахнула старую раму, с удовольствием хватила широко раскрытым ртом свежего пахучего воздуха, потом долго смотрела на искрометные лужи на дороге, на черные, курившиеся паром крыши домов.

— Ягоды-то нынче есть? Нет?

Старухи ей не ответили. Им было не до ягод. У них шел новый разговор — разговор о пенсиях, а это значит: хоть из пушек пали — не отступятся. До тех пор будут молотить, пока не разругаются.

Алька прилегла на кровать.

В пенсиях она, пожалуй, понимала еще меньше, чем в иконах. Старухи эти горы работы переделали, в войну, послушать их, на себе пахали вместо лошади, да и после войны немало лиха хватили, а пенсия у них до последнего времени была двенадцать рублей. И вот эти бывшие «двенадцатирублевки» (придумал же кто-то прозваньице!) отводили душу в разговорах, мочалили тех, кто получает больше, рекой разливались, вспоминая свою прошлую жизнь.

Алька сперва слушала старух с интересом. Просто блеск как отделали Маню-большую — та как «рабочий класс» (двадцать пять лет разламывала на кирпич монастырь в соседней деревне) получала сорок пять рублей, а потом пошли причитания, слезы, и ее сморило.

Последнее, что она запомнила (или это приснилось ей?), были слова Христофоровны. Только уже не о пенсиях, а о живой воде:

— Нельзя, нельзя человеку без живой воды, — говорила Христофоровна. — Вот и ищут ее люди, кто где может. По всему свету шарят...

8

Сперва широкая тележница, уезженная, ухоженная, — полем, светлым березняком; потом Ефремова росстань — темный вековечный ельник, рыжие насыпи муравейников возле толстенных, истекающих смолой стволов; потом туда-сюда — охотничья тропка. Крутила-вертела, прыгала-бежала — по веретейкам, по холмикам, по белым, выстланным оленьим мохом горушкам, хлюп — и увязла в болотине...

Сразу притихшая тетка, совсем как, бывало, мать, сняла с руки ведро, торопливо перекрестилась и пошла кланяться направо и налево. Желтым, янтарным ягодкам, которые, как свечки, горели на зеленом водянистом мху.

А Алька не торопилась. Достала пузырек с жидкостью от комаров (эти дьяволы стоном стонали вокруг), аккуратно намазала лицо, руки.

Она не собиралась идти за морошкой — сроду не любила этого дела, и хоть мать и ругала ее и даже била не раз, сделать из нее ягодницу не смогла.

Сбила Альку тетка. Тетка за утренним чаем стала напевать: надо бы пройтись по материным местам, покойницу вспомнить...

Морошки в лесу было мало. За два часа броженья по сырой раде* Анисья кое-как прикрыла дно своего ведра, а Алька еще ни одной ягоды не кинула в посудину — все в рот. Сладка, медом тает во рту зрелая морошка, а та, которая не совсем дошла (на краснощекую девку похожа), та еще лучше — на зубах хрустит.

Анисья конфузилась.

— Не знаю, не знаю, куда подевалась ягода, — говорила она. — Мы, бывало, здесь ходим с твоей матерью да с отцом — ступить негде. Как, скажи, шалей желтых настлано.

По ее настоянию они двинулись вправо, к просеке, — может, на светлых местах повезет больше? Капризная ягода эта морошка — каждый год на разных местах растет. Но возле просеки и на самой просеке не только морошки — морошника не было.

— Вот какая из меня вожея, — еще пуще прежнего приуныла Анисья. — Я ведь все перепутала. Нам не сюда надо было идти, а как раз наоборот. Это ведь Екимова ворга** кабыть... Але Максимова?

Альке было все равно: Екимова так Екимова. Максимова так Максимова. Она бросила пустое ведро наземь и побежала к мостику — двум березовым кряжикам, переброшенным через ручей, — все во рту пересохло.

Но не так-то просто, оказывается, напиться с мостика: хлипкий. Тогда она решила зачерпнуть воды с берега — пригоршней, стоя на корточках.

— Постой, постой, — закричала Анисья, — тут ведь где-то посудинка должна быть.

Она ткнулась к одной ели, к другой, к третьей и вдруг вышла сияющая. С берестяной коробочкой в руке.

— Чья это? Как тут оказалась? — спросила Алька.

— Отцова. Отец это делал для твоей матери.

— Отец?

— Отец. А кто же больше? И мостик — он. Матерь ведь у тебя знаешь как ходила? Широко. Круто. Вся раскалится, зажарится — пить, пить давай. У ей завсегда, и до пекарни, жажда была. Как, скажи, огонь горит внутри. Я такого человека в жизни не видала...

С коробочкой напиться было нетрудно — только черпай да черпай.

---

* Рада — лесистое болото.

** Ворга — охотничья тропа.

Вода пахла болотом, торфом, но не зря отец в каждом ручье устраивал водопой — усталость как рукой сняло.

Тетка тоже напилась и даже сполоснула лицо, а потом повесила коробочку у мостика на самом видном месте: пускай и другие попользуются.

Они поднялись в угорышек, сели на сухую еловую валежину. Мокрая берестяная коробочка зайчиком играла на солнце.

— Папа маму любил? — спросила Алька и задумчиво, как бы заново посмотрела по сторонам.

— Как не любил! Кабы не любил да не жалел, не наделал бы везде мостиков да коробочек. Пойди-ка по лесам-борам вокруг. В каждом ручье коробочка да мостик.

— Что же он, нарочно ходил или как?

— Коробочки-то когда наделал? Да в ту пору, покуда отдыхаем. Долго ли умеючи мужику бересту содрать да углом загнуть!

Вверху, в голубых просветах, тихо покачивались глянцевитые макушки берез. Шелестели, искристо вспыхивали.

Алька долго не могла понять, чей голос напоминает ей этот березовый шелест, и вдруг догадалась: материн.

Не все, не все ругала да сторожила ее мать. Бывала и она с ней ласкова, особенно после удачной выпечки хлеба. Тогда она как воск — проси, что хочешь. Первые свои часы — в двенадцать лет — Алька выпросила в такую минуту.

— Тетка, — сказала Алька тихо, — я чего у тебя хочу спросить... Поминала меня мама перед смертью?

— Как не поминала... Родная матерь, да чтобы не поминала... Уж очень ей хотелось, чтобы у вас все ладно да хорошо было. Гордилась, что ейная дочь за офицером. А как река-то весной пошла, велела кровать к окошку подвинуть да все на реку глядела. «Вот, говорит, скоро пароходы будут, гости к нам наедут — это ты-то да Владик — здоровья мне привезут...»

— Так и говорила: «здоровья привезут»?

— Так. — Анисья вдруг всхлипнула, уткнулась лицом в ладони. — А ты, вот видишь... девка не девка и баба не баба... С таких-то лет... Да еще вчерась утром начала выхваляться, при Мане все выкладывать. Разве не знаешь, что у той во рту не язык, а помело? Уж по всему свету растрезвонила. Вчерась та, Длинные зубы,

закидывала петли, пока тебя с реки не было. «Что, говорит, Алевтина не могла зауздать офицера? Прогнал?»

— «Прогнал», — рассердилась Алька. — Я ведь тебе писала — сама отдубила...

— Плохо рубить, когда сама ворота настежь раскрыла. Уж надо притираться потихоньку друг к дружке...

— Это к нему-то притираться? Да он двойные алименты платит! Мозгов, что ли, у меня нету — его кисели расхлебывать...

— И насчет своей работы тоже бы не надо трубить на каждом углу, — продолжала выговаривать Анисья. — Что за работа такая — задом вертеть? Да меня золотом осыпь, не стала бы себя на срам выставлять...

«Так вот зачем позвала ее тетка в лес! — подумала Алька. — Для политбеседы. Чтобы уму-разуму поучить. А у самой-то у ней есть ум-разум? Всю жизнь мужики обирали да разоряли — хочет, чтобы и племянница по ейным следочкам пошла?»

— Ну, насчет работы давай лучше не будем! — отрезала Алька. — Мы, между прочим, тоже за коммунистическую бригаду боремся. А та бы, длиннозубая, взвыла, кабы день с нами поробила. Задом крутить! Нуко, покрути. Повертись с утра до ночи на ногах да поулыбайся ему, паразиту пьяному... А один раз у меня курсанты удрали, не заплативши, — с кого тридцать пять рублей получить? С тебя? С Пушкина?

— Да я ведь к слову только, Алюшка... — залепетала, оправдываясь, Анисья. — Люди-то судачат...

— Люди! Ты все как мама-покойница: дугой согнись, а лишь бы люди похвалили. А насчет мужиков, тетка... — Алька улыбнулась. — Свистну — сегодня полк будет!

— С полком-то жить не будешь, — опять насупилась Анисья. — Надо к берегу приставать, пристань свою искать...

— Подождем! — К Альке окончательно вернулось хорошее настроение, и ей захотелось немножко поскалить зубы. — «Чего жалели, берегли, на то налог наложили...» Слыхала такую частушку? Ну дак в городе, тетка, за это теперь не держатся. У Томки, моей подружки, один знакомый морячок в Германии Западной был — знаешь, как там делают? До женитьбы живут. Да открыто. Без всякой утайки.

— Господи, какой ужас!..

— Чего ужас-то? А у нас, думаешь, не так? Мой благоверный — это Владик-то — знаешь, как мое девичество оценил? «Я думал, ты современная девушка... Надо было предупредить по крайней мере...» Не вру!

Анисья решительно не понимала, о чем говорит племянница, и Алька, дурачась, закричала на весь лес:

— Подъем, Захаровна!.. Политбеседу мы с тобой провели знатно — пора и за дело.

9

Еще час-полтора помесили мокрую болотину, поныряли в старых выломках, в пахучих папоротниках, еще раз прополоскали горло из такой же точно берестяной коробочки, из какой пили в Екимовом ручье, а потом вдруг заблудились. Кружили, шлепали по темной раде — в ту сторону, в другую подадутся, а выйдут все к одному и тому же месту — к старой, поваленной ветром ели.

Солнца наверху не было, оно, как назло, село в облако, чахлые елушки да ельники они читать не умели — не каждому дается лесная грамота. Что делать? Кричать? Огонь разводить?

Выручил их... трактор.

Вдруг, как в сказке, зачихало, зафыркало где-то слева в стороне, тетка помертвела: нечистая сила, ну, а Алька с распростертыми руками кинулась навстречу этой нечистой силе.

И вот десять минут не пробежала — старый осек*, а за осеком — покружила, поерзала меж осин и березок — зеленая полевина.

Она с лицом зарылась в душистую, нагретую солнцем траву, громко расхохоталась. От радости. От изумления. Господи, они измучились, из сил выбились, таскаясь по болотам, по выломкам, думали, забрались невесть куда, а оказалось — у самых на́вин** бродят.

Анисья — она только подошла с двумя ведрами, — со своим и Алькиным — от стыда не знала, куда и глаза девать: это ведь она в трех елях запуталась, и разговор перевела на траву.

---

* Осек — лесная изгородь.

** Навины, или новины — поля, отвоеванные у лесов. Во многих северных колхозах они составляют большую часть пахотного массива.

— Смотри-ко, как жизнь повернула. Бывало, здесь травинки не увидишь — все унесут, а тут лето уж усыхать стало — полно травы.

— Маму бы сюда, — сказала Алька.

— Да, уж мама твоя с травой побилась. Мы с Христофоровной тело обмывать стали — господи! Во все правое плечо мозоль. Затвердела, задубела, как, скажи, кость.

— Неужели?

— Вот те бог. Христофоровна тогдась только головой покачала. Сколько, говорит, на веку живу, такой страсти не видела.

— А маме все завидовали: хорошо живешь...

— Хорошо. Почто не хорошо-то? Только многие ли так робили, как твоя мама? Бывало, с пекарни придет, близко к осени, уж темно, а она кузов на плечо да за травой, да еще по сторонам оглядывается — как бы кто не поймал. А теперь-то чего не жить. На трудодень сено дают, и так подкосить можно. Не хотят с коровой валандаться. У Егорковых животину нарушили, Петр Иванович молоко в лавке покупает — все каждое утро с ведерышком ходит...

— Что ты говоришь? — воскликнула Алька.

Сено да корова — всегда первый разговор в деревне, и она, конечно, слушала тетку. Не забыла еще, как сама дугой выгибалась под кузовом. Но вскоре у нее скулы стало воротить от тоски, потому что тетка — известно — опять начала наставлять ее на путь истинный: дескать, оставайся дома, не езди никуда. Дом у тебя — поискать таких, и за ум возьмешься — взамуж выйдешь...

Синий дымок клубами взлетал в низинке за кустарником, раскаленный мотор распевал свои железные песни... Кто там работает? Как выглядит тот, который выручил ее из беды?

Алька встала.

— Насчет жизни в другой раз поговорим, а теперь пойду на трактор взгляну.

— Пойди, пойди, — живо согласилась Анисья (она всегда и раньше поощряла интерес племянницы к деревенским работам). — Это, вишь, кто-то под рожь пашет.

В крохотном родниковом ручейке под березой Алька старательно умылась, расчесала свою рыжую гриву, пе-

ресыпанную хвойными иголками, и на поле выскочила — держись, тракторист! Настроение такое — проглочу и выплюну!

А через минуту она чуть не каталась от смеха. Потому что кто же сидел за рулем трактора? Кого она собиралась проглотить и выплюнуть? Пеку Каменного. Его улыбающаяся черномазая мордаха высунулась из пропыленной кабины.

— Ты чего это ходишь? — спросил Пека, подъезжая к ней. — На природу интересуешься, да?

— На природу.

— Ну дак ты вот что... знаешь-ко, куды сходи? К Косухину полю. Там толсто черемухи — я вчерась весь объелся. Сладкая-сладкая...

— Ладно, схожу, — Алька поставила ногу на железную, до блеска надраенную сапогами подножку, ради любопытства заглянула в кабину. Жарко, душно, воняет керосином — чему только всегда радуется этот парнишка? — А это? Это еще что такое? — воскликнула Алька, с удивлением всматриваясь в угол кабины, густо залепленный головками красоток из цветных журналов.

— Это мы так... С Генькой-напарником... От нечего делать... — пробормотал Пека.

— Сказывай-сказывай! От нечего делать... Так я тебе и поверила. Когда в армию-то?

— Через год вроде.

— Не хочешь, поди?

— Куда — в армию-то не хочу? — Тут уж Пека с насмешкой посмотрел на нее. — Ничего-то скажешь! В армию не хочу...

— Ну а из армии куда? Домой, да?

— Не знаю. Чего сейчас загадывать...

— Как не знаешь? А колхоз? А земля и подъем сельского хозяйства? — назидательно сказала Алька. В общем, показала, что она в курсе.

На Пеку, однако, это не произвело решительно никакого впечатления. Он широко, по-ребячьи открыл свой редкозубый розовый рот и даже сострил:

— Земли-то теперь хватает... Чего об земле беспокоиться... С Луны начали возить...

— А тебе серьезности не хватает. Каменный, вот что! — обрезала его Алька. — Все знают, что в деревне сейчас стало хорошо, а ты отрицаешь...

— Ничего не отрицаю...

— Сколько в месяц зарабатываешь?

— Я-то?
— Да.
— Нонека, наверно, сто пятьдесят выйдет...
— Ого! — Алька спрыгнула с подножки на поле. — Дак чего ты ухмыляешься?
— Дак ведь это только когда пашем, — уточнил Пека. — А зимой-то, когда на ремонте, по двенадцать рублей.
— Но ты согласен, что жить стало лучше? — допытывалась Алька.
— Согласен. Только насчет лета согласен...
— Как это насчет лета?
— Как... Зимой-то снегом все занесет, к нам и не попадешь. Разве ты забыла? У нас у отца на рождество сердце прихватило, не могли «Скорую помощь» вызвать. Думали, помрет...
Разговор становился неинтересным.
— Ну, желаю, — сказала Алька и пошла на дорогу.
Пека ее окликнул:
— Слушай-ко... А ты долго ли у нас будешь?
— Поживу. А что?
— Ну дак ты вот чего... знаешь-ко... Научи меня дрыгаться, ладно? Ты, говорят, мастак по этой части...
— Как это дрыгаться?
Пека, как бисером, осыпанный потом, тут просто закрутил головой:
— Ну, танцевать... Видала, какой у нас клуб отгрохали?
— Лады, — сказала Алька, — научу тебя дрыгаться. А ты мне трактором дашь поправить.
— Тебе? Трактором? — Пека от возмущения замахал обеими руками. — Ничего-то скажешь! Трактор-то техника. Права надо иметь.
Но Алька не привыкла, чтобы ей в чем-либо отказывали. Живо забралась в кабину — поехали!
Два раза они околесили поле. Пека на удивленье уверенно орудовал рычагами и педалями, а она, конечно, не брыкалась: трактор не игрушка, и ей жить еще не надоело. Сидела, поглядывала в окошечко да на механизатора: ужасно важный стал. И не то чтобы улыбнуться или слово сказать, головы не повернул в ее сторону.
Прежним стал Пека, когда они подъехали к дороге и она выскочила из кабины.
— Ну, имеешь теперь представление, да?

— Имею. Приходи вечером, так и быть, научу дрыгаться. А ежели еще вымоешься, то и целоваться научу.

Алька захохотала, размашистым шагом пошагала домой, и долго, до тех пор пока не вышла из полей, не слышала сзади себя привычного рокота мотора.

10

Аркадий Семенович, ежели начистоту говорить, так самый первый человек в ее нынешней жизни. В ресторан устроил, комнатенку — худо-бедно — для них с Томкой схлопотал, подарок к празднику — обязательно... Ну и что из того, что лысый да женатый? Подумаешь, раз-другой в месяц кудри евонные расчесать!

А она переживала, никак не могла вытравить из себя, как говорит ей Томка, деревенской дури...

Вот и сейчас: едва поднялась к тетке на верхотуру да увидела пустую избу — сроду не терпела одиночества — да вспомнила давешние теткины слова («доколе будешь жить не бабой, не девкой?»), и заскребло, засосало на сердце...

Спасибо солнышку — оно вовремя вылезло из-за облака, заплясало, заиграло во всех окошках. А при солнышке какая печаль?

Быстро вскочила на ноги, платье с себя долой, в таз эмалированный воды, и начала, как рыбина, плескаться на всю избу...

А потом Алька стояла перед зеркалом и с удовольствием разглядывала свои зеленые бесшабашные глаза, свой жаркий ненасытный рот, полный крепких зубов, свои высокие литые груди...

После крынки топленого с румяной корочкой молока, выпитого с белой шаньгой, Альке нестерпимо захотелось нырнуть в теткину кровать под белым кружевным покрывалом, но она тотчас же подавила в себе этот соблазн. На почте еще не была, в магазин не заходила, Лидку с первобытным не видала — ей ли дрыхать середи дня?

А потом что-то надо было делать с Васей-беленьким. Вечор, по рассказам тетки, больше часу вертелся возле ихнего дома.

«А может, крутануть?» — вдруг подумала Алька. Чего это она решила из себя монашку корчить? Кто поверит? Святош на этом свете и без нее хватает, а ей,

когда приедет в город, будет, по крайности, хоть что Томке порассказать.

Она тщательно оделась (еще в городе порешила: каждый день выходить в новом) и не забыла, конечно, про свой малиновый купальник с вшитым белым ремешком и кармашком с молнией. Врете! Не застанете больше врасплох.

11

Старушонку, ползающую в косогоре возле черемухового куста, Алька заметила, еще когда с теткиной верхотуры смотрела на реку.

Думала, гадала: кто бы это? Что делает? Землянику собирает? Но земляника растет в косогоре пониже, а во-вторых, не так уж у них и густо этой земляники, чтобы на одном месте целый час топтаться.

И вот, когда она вышла из дому, — первым делом за изгородь: серый клетчатый платок все еще нырял там.

Христофоровна. Траву серпом собирает.

— Не могу далеко-то ходить, — заговорила Христофоровна, с превеликим трудом разгибая свою старую спину. — А все еще скотинку держу — овечка есть. Вот и кочкаю по своей вере — кое серпом, кое руками. А ты куда пошла? Не к реке? Обмойся, обмойся. Вода теплая-теплая. Ноне все лето до потовины жарит. У меня девушки из городу жили — больно ндравилась наша водица. Такой, говорят, воды, бабушка, и на свете нету. Все вон по Паладьиной меже бегали.

— По Амосовской, — поправила старуху Алька.

— А нет, по Паладьиной, — сказала Христофоровна. — То раньше Амосовской-то звали, а теперь Паладьиной зовем. Даже мы, старые, так говорим.

Христофоровна тяжело перевела дух — жарковато было на верховище, как сказала бы Алькина мать про вершину горы.

— У меня девушки все выспрашивали: как, говорят, с чего такая перемена? Это насчет межи-то — почему Паладья всех Амосовых покрыла. А я говорю, за труды, видно. Двадцать лет женка кажинный день мяла эту межу, да еще не один, а два да три раза на дню. Никто, говорю, как деревня стоит, не прошел по ней, сколько она прошла. Ну дак уж они меня извели: расскажи да расскажи про Паладью.

— И ты рассказывала?

— Как не рассказывала, раз просят. Все записали да в город увезли.

— А чего им мамина жизнь далась?

— А вот интересуются. Как да за что такая почесть. Очень им это удивительно, что межу к нынешнему человеку привязали. Это, говорят, бабушка, все равно что памятник. Памятники, вишь, в городах большим людям ставят. Каменные. Видала?

— Видала. Есть.

— Ну вот видишь. А я думала, может, маленько и подшутили над бабушкой. Любят посмеяться-то, любят. Хоть и уважительные.

Дальше, по всему видать, разговор у Христофоровны опять пошел бы о полюбившихся ей девушках из города, и Алька с ней рассталась.

Но пошла не на деревню. Пошла под гору — материной тропой.

Шла, опустив голову, смотрела на плотно утоптанную дорожку, искала материны следы и не находила. Давно смыло их дождями и вешними водами — редкий год у них река не выходит из берегов. А все равно дорожку и межу называют Паладьиной. И так будут называть долго, даже тогда, когда уж ее, Альки, не будет на свете...

И еще она думала о том, что рассказывала студентам о матери старая Христофоровна.

Она не сомневалась: добрая старуха до небес расхваливала мать. Работящая. В любую стужу и дождь за реку шастала. Одна за трех человек на пекарне чертоломила... А была ли счастлива мать? Какие радости она видела в своей жизни? Неужели же испечь хороший хлеб — это и есть самая большая человеческая радость?

А у матери, как запомнила Алька, не было другой радости. И только в те дни добрела и улыбалась (хоть и на ногах стоять не могла), когда хлеб удавался. И не только улыбалась, а и ораторствовала — любила поговорить: «Да у меня самая заглавная должность на земле, ежели на то пошло. Да я хлеб пеку, я саму жизнь делаю...»

Паладьина межа... Межа родной матери...

Не часто, ох, не часто бывает такое, когда дочь шагает тропой, которая называется по имени ее матери...

12

Всю дорогу, от деревенской горы до угора за рекой, где под старыми разлапистыми соснами стоит пекарня, настраивалась Алька на благочестивый лад и не могла настроиться.

Нет, не любила она пекарню. И хоть ей и приятно было снова вдохнуть в себя знакомый хлебный дух (он всегда и раньше тут заглушал запах смолы), встретиться глазами с большими окнами в белых наличниках, из которых она любила когда-то смотреть на теткину верхотуру за рекой, но разве могла она забыть, что эта пекарня в могилу свела ее мать? А потом — хлебнули с этой пекарней немало горюшка и они с отцом. Мать пришла из-за реки еле живая — на ком сорвать злость? На них с отцом. У людей грибы-ягоды наношены, а у них ни обабка, ни ягодины нет — кто виноват? Они с отцом. А дрова, а вода — будь они прокляты! Сколько из-за них всегда ругани, реву?

Алька недолго стояла под соснами в глазах у пекарни — ей все казалось, что вот-вот с треском раскроется окно и оттуда закричит мать: «Чего стоишь — ворон считаешь? Дела тебе нету?!» И она машинально, по старой привычке, одергивая коротенькую юбку (никак не думала, что сюда занесет), торопливо двинулась к крыльцу.

Замок. Большущий, старинный замок, который еще завела когда-то ее мать.

Хотела, хотела она побывать во владениях матери, специально отправилась за реку, растроганная задушевным словом Христофоровны, а раз двери на замке — чем она виновата?

Ноги живо-живо вынесли за пекарню на большую дорогу, а там раз-раз и поселок. Летовский лесопункт.

Было время, побегала она с пекарни в этот поселок — и за сладостями к чаю (мать у них любила покатать во рту дешевенькую конфетку), и просто так, ради веселья. А потом, когда подросла, начала строчить с деревенскими девками в клуб, на танцы.

Был обеденный час, когда Алька вошла в поселок. Работяги по случаю получки (самый большой праздник!) косяками шатались по пыльной песчаной улице, и временами она чувствовала себя как в ресторане: так и жгли, так и калили ее и словом и взглядом со всех сторон.

Зинка-тунеядка, узнав ее, бросилась ей на грудь, а потом, как всегда, захлебываясь пьяными слезами, начала показывать карточку своей дочери-школьницы, которая, по ее словам, будто бы живет с отцом в Ленинграде.

Попалась ей на глаза и Маня-большая — эта, видать, специально приперлась из-за реки, чтобы поднакачаться дарового винца. Увидела ее, глаз угарный запылал, и с распростертыми объятиями навстречу: дескать, в дым, в доску люблю тебя, Алевтинка.

Но Алька еще из ума не выжила, чтобы с каждым пьяным огарком среди бела дня обниматься. Она зыркнула на старуху рассерженным взглядом — проваливай! С глаз моих убирайся! — и свернула к магазину.

Из-под сосен, от склада, ей кричали какие-то пьяные парни, звали к себе («Курносая, шлепай к нам!»), а она уж ни о чем не могла думать: магазин был перед глазами.

Страсть к магазинам ей передалась от матери. Как для той, бывало, не было большего праздника, чем зайти в магазин, так и для нее. В городе, к примеру, когда у нее выпадало свободное время, она не в кино первым делом бежала, в магазин, в пестрое и пахучее царство шелков, шерстяных тканей, ситцев.

В общем, Алька, как на крыльях, влетела на крыльцо, кинулась к дверям и вдруг нос к носу столкнулась с Сережей.

Сережа выскочил из магазина пьяный — ее так и опахнуло водочным перегаром, а в руках у Сережи было еще по бутылке, а из кармана робы тоже торчала бутылка.

Ее, конечно, узнал — глаза выдали, так и метнулись за толстенными стеклами очков, но вид сделал: чужая. А потом и вовсе ваньку начал ломать: ныром, чуть ли не на бровях пошел с крыльца.

— Дэвочку, дэвочку прихвати! — загоготали под соснами.

В ответ Сережа выкрикнул какую-то похабщину и лихо потряс бутылками, высоко поднятыми над головой. И Алька смотрела на эти сверкающие на солнце бутылки, на его лохматую светлую голову, на длинную, нескладную фигуру в мешковатой, затертой мазутом и смолой робе, на его большие пропыленные и стоптанные сапоги, и ей просто не верилось, не хотелось верить, что это Сережа. Тот самый Сережа, из-за которо-

го она еще совсем недавно, каких-нибудь три года назад готова была выцарапать всем глаза.

Ах, как нравился ей тогда Сережа! Да и только ли ей одной. Все девки были без ума от него, а Аня Таборская, ихняя первая красавица, даже учиться после десятого класса не поехала. Устроилась счетоводом на лесопункте за рекой, только бы на глазах у Сережи быть — он как раз в то лето кончил институт и начал работать инженером.

И вот, как-то раз придя на танцы, Алька сказала себе: мой будет. Со мной из клуба пойдет.

Три года назад это было, целых три года, а у нее и сейчас, только от одного воспоминания, перехватило дыхание. Потому что кто она была три года назад против девок, против той же, скажем, Ани Таборской? А соплюха нахальная, малолеток, брыкающий ногами от радости, что он живет и дышит. У нее даже туфли были еще на низком каблуке. А главное — сам-то Сережа не замечал ее. Весь вечер танцевал то с одной, то с другой, а на нее и не взглянул.

Алька, однако, не растерялась. Дамский вальс! Сама заказала Геньке Хаймосову и чуть ли не бегом к Сереже — чтобы никто не опередил ее.

Сережа усмехнулся: что, мол, за малявка такая? Из какого детсада? Но встал, сделал одолжение. А через минуту-две уже с любопытством сверху вниз смотрел на нее.

Она сказала ему:

— Я с девчонками побилась об заклад, что ты меня пойдешь провожать. Пойдешь ведь, да? Не струсишь?

— А у тебя есть разрешение от мамы?

Сережа и дальше в таком же духе острил и хорохорился, но из клуба они вышли вместе: побоялся спраздновать труса. Она знала, за что его зацепить.

Но, боже, как он стеснялся! За всю дорогу не сказал ни единого слова, а если кто попадался им навстречу — сгибался пополам.

И вот когда они подошли к Аграфенину амбару (на самой дороге торчит, каждый пеший и конный натыкается), она сказала:

— Свернем за угол, у меня в туфлю песку напопадало.

— Можно, — сказал Сережа.

А когда свернули, она живо приподнялась на носки, обвила ему руками шею и крепко поцеловала в губы.

— Это для храбрости, — сказала она со смехом.

...Продавщица, старая знакомая, как только Алька вошла в магазин, выбежала из-за прилавка.

— Аличка, вот чудеса-ти! А я смотрю в окошко: кто, думаю, такая? Инженерова жена из города приехала? Который уж день ждет. А то вон кто — ты.. — И Настя, так звали продавщицу, всплакнула.

Алька недолго пробыла в магазине. Она разговаривала с продавщицей, смотрела на полки, заваленные мануфактурой, а из головы не выходил Сережа: что он делает сейчас? Неужто до того докатился, что уже возле магазина пьет?

Нет, ни Сережи, ни его приятелей, когда она вышла из магазина, под соснами не было.

Там, на ящиках, лежала только смятая газета.

13

Сосны, сосны красные...

Сколько их, этих сосен, вдоль дороги по обеим сторонам от поселка до перевоза? Может, двести, может, триста, а может, вся тысяча — кто считал? И чуть ли не под каждой сосной они целовались с Сережей.

Она закрутила и заворожила Сережу насмерть. Каждый раз, когда она появлялась на пекарне у матери, он поджидал ее в сосновом бору.

Но робел и стеснялся он по-прежнему. Пуще коры сосновой краснел — никак не мог забыть, что она ученица.

Ее веселило, забавляло это, у нее голова кружилась от сознания собственной силы: вот какая она! Главным инженером лесопункта вертит, как хочет, Аню Таборскую до сухотки довела... А потом настало время — до слез, до бешенства стала изводить ее Сережина стеснительность. Ну, что это за кавалер, который боится сам тебя поцеловать? Кто из них девка — она или он?

Сосны, сосны красные... Белый мох-ковер... Жаркий смоляной дух, такой знакомый и радостный, бил ей в лицо, в нос, злые слезы вскипали в ее зеленых беспечных глазах.

Ей жаль было прошлого, своей полузабытой лесной любви. И еще она никак не могла забыть своей недавней встречи с Сережей. Господи, до чего опустился, на кого стал похож!

Тетка и мать ей писали, что он запил, что его с инженеров сняли, но нет, она и подумать не могла, что он в такое болото нырнул. Ведь ежели правду сказать, что он делал, когда она столкнулась с ним на крыльце магазина? Каким делом занимался? А на побегушках у дружков-собутыльников был...

Из-за поворота дороги вышли навстречу три незнакомые женщины с алюминиевыми ведерками — за молоком в деревню ходили, остановились, таращa глаза: кто такая? Что за невиданная птица появилась в ихних краях? А за этими тремя женщинами стали попадаться еще люди — подвыпившие мужики, парни, подростки, а там вскоре и Саха-перевозчик подал свой голос:

Из-под тоненькой беленькой рубашечки
Поднималась высокая грудь...

Не менялся пьяница Саха. Как пять, десять лет назад тосковал по красивой нездешней любви, так и теперь...

14

Какой все-таки длинный день в деревне!

В городе, когда в ресторане крутишься, и не заметишь, как он промелькнет. А тут — в лес сходила, за реку сходила, с дролей своим бывшим встретилась, у Сахи-перевозчика посидела — и все еще четвертый час.

Поднявшись в деревенский угор, Алька направилась к колхозной конторе, а точнее сказать, к Красной доске. Доска большущая, с портретом Ленина... — кого прославляют?

Доярок. Одиннадцать человек занесено на доску, и шестая среди них — кто бы вы думали? — Лидка. Ермолина Л. В. 376 литров надоила за июнь.

— Надо же! — пожала плечами Алька. — Лидка стахановка!

Дом Василия Игнатьевича, Лидкиного свекра, совсем близко от колхозной конторы, и она решила завалиться к Лидке — надо же посмотреть, как она со своим Первобытным устроилась.

Митя-первобытный, то есть муж Лидки, которого так расхваливала ей тетка, начал баловаться топором чуть ли не с пеленок (бывало, когда ни идешь мимо, все что-то в заулке тюкает), а потом и вовсе на топоре помешался. После десятилетки даже в город, на потеху всем, ездил. Специально, чтобы у тамошних мастеров плотничь-

ему делу поучиться. И вот не зря, видно, ездил. Во всяком случае, Алька просто ахнула, когда дом Василия Игнатьевича увидела. Наличники новые, крыльцо новое — с резными балясинами, с кружевами, с завитушками всякими, скворечня в два этажа с петушком на макушке... В общем, не узнать старую развалину Василия Игнатьевича — терем-теремок.

Лидка, когда увидела ее в дверях, слова сперва не могла сказать от радости.

— А я ведь думала, Аля, ты ко мне и не зайдешь. В красных штанах ходишь — до меня ли?

— Выдумывай, — сказала Алька, — к подружке да не зайду! — Но от Лидкиных объятий (та даже слезы распустила) уклонилась.

Комната — ничего не скажешь — обставлена неплохо. Кровать никелированная, двухспальная, под кружевным покрывалом, диван, комод под светлый дуб — это уж само собой, нынче этим добром никого не удивишь. Но тут было и еще кое-что. Был, к примеру, ковер во всю стену над кроватью, и ковер что надо, а не какая-нибудь там клеенка размалеванная, был приемник с проигрывателем, этажерка с книгами, со стопкой «Роман-газеты»...

— Это все Митя читает, — сказала Лида, и в голосе ее Алька уловила что-то вроде гордости. — Страсть как любит читать. Я иной раз проснусь, утро скоро, а он все еще в свою книжку смотрит.

Да, прибарахлилась Лидка знатно, отметила про себя Алька снова, наметанным взглядом окидывая комнату, — избой не назовешь. Зато уж сама Лидка — караул! Ну кто, к примеру, сейчас в деревне шлепает в валенках летом? Разве что старик какой-нибудь, выживший из ума. А Лидка ходила в валенках. И платьишко-халат тоже допотопной моды, с каким-то немыслимым напуском в талии.

— Постой, постой! — вдруг сообразила Алька. — Да мы уж с накатом. Быстро же ты управилась! — она подошла к швейной машинке, рядом со столом (Лидка как раз строчила на ней, когда она открыла двери), покрутила на пальце детскую распашонку.

— Я, наверно, в маму, Аля! — пролепетала Лидка, вся, до корней волос, заливаясь краской. — Мама говорит, с первой ночи понесла...

— Сказывай, сказывай! В маму... Мама, что ли, за тебя в голопузики с Митей играла...

Тут Лидка заплела уж совсем невесть что, слезы застлали ей голубенькие бесхитростные глаза, так что Алька не рада была, что и разговор завела. И вообще ей, Альке, надо бы помнить, с кем она имеет дело. Ведь Лидка и раньше не ахти как умна была. Ну кто, доучившись до шестого класса, не знает, отчего рождаются дети? А Лидка не знала. Прибежала как-то к ней, Альке, домой — вся трясется, белее снега.

— Ой, ой, что я наделала...

— Да что?

— С Валькой Тетериным целовалась...

— Ну и что?

— А ежели забеременею?..

Оказывается, мать ей с малых лет крепко-накрепко внушала, что нельзя с ребятами целоваться, можно пузо нагулять, и вот эта дуреха до шестого класса верила этому...

Лида немного пришла в себя, когда они присели к столу и Алька стала выспрашивать ее про Сережу (никак с ума не шел!), но вскоре та опять огорошила ее — ни с того ни с сего заговорила про войну:

— Аля, ты в городе живешь... Как думаешь, будет война?

— Война? А зачем тебе война?

— Да мне-то не надо. Я этой войны больше всего на свете боюсь. Страсть как боюсь...

— А чего тебе бояться-то? — резонно заметила Алька. — У нас покамест пузатых баб на войну не берут.

И вот тут Лидка и брякнула:

— А ежели у меня не девочка, а мальчик будет...

В общем, разговор у них, как поняла Алька, так или иначе будет вращаться вокруг Лидкиного пуза или в лучшем случае вокруг коров и надоев молока — а что еще знает Лидка? Чего видела? — И Алька начала поглядывать по сторонам.

— Да посиди ты, посиди, Аля! Сейчас Митя придет, чай будем пить...

Лида не просила ее — упрашивала. Глядя на нее с восхищением, с обожанием («Ты еще красивше стала, Аля!»), и Алька осталась. А потом, что ни говори, — забавно все-таки взглянуть и на своего бывшего поклонника.

Митя, когда она еще в пятый класс ходила, объявил ей: «Амосова, я решил любовь с тобой заиметь». Объ-

явил, не поднимая глаз от земли, и тут же убежал прочь.

И вот сколько лет с тех пор прошло, а Митя каждый праздник присылал ей поздравления — цветные открытки с воркующими голубками и розами: Первого мая, в Октябрьскую, на Новый год, Восьмого марта... Один-единственный парень в деревне. И только с позапрошлой осени, с того самого времени, как она уехала в город, выбросил ее из головы.

Митины причуды — а без них у него не бывает — начались еще на подходе к дому: петухом прокричал. А когда влетел в комнату да увидел Лидку, и вовсе ошалел. Сгреб в охапку, поднял на руки, закружил.

В комнате сильно запахло свежим деревом, смолой, и Алька про себя съязвила: плотник женушку свою обнимает. Но на этом, пожалуй, ее злословие и кончилось. Потому что она вдруг поймала себя на том, что с удовольствием вдыхает в себя крепкий смолистый запах, который распространял вокруг Митя. Да и сам он теперь вовсе не казался ей смешным. А чего смешного? Сила лешья, ноги расставил — хоть на телеге езжай, и шея — столб. Красная, гладкая, в белом мягком волосе — как стружка древесная, завивается. Лида звонко молотила Митю по широкой спине, не дури, мол, хватит. Но молотила одной рукой и со смехом, а другой-то грабасталась за эту шею, и видно было, что делает она это не без удовольствия.

Ее Митя заметил в ту самую минуту, когда ставил свою женушку на пол. Голову резко откинул назад, будто грудью на кол напоролся, и ни слова. Только глазами зверовато завзводил.

«Да что с ним? Какая блоха его укусила?» — подумала Алька. Она даже растерялась малость — так не вязалась с добряком Митей эта внезапная, ничем не прикрытая ненависть и злость.

Догадка озарила ее, когда Лида, как гусыня, переваливаясь в своих растоптанных валенках, пошла собирать на стол.

«Да ведь он это женушки своей застыдился, — подумала Алька. — Разглядел, какая она краля, когда увидел других».

И тут на Альку нашло. Она нарочно, чтобы еще больше разозлить Митю, подобралась и своей игривой, ресторанной походкой прошлась по комнате: на, гляди! Кусай себе локти!

Разъяснилось все через две-три минуты, когда с другой половины пришел Василий Игнатьевич.

15

Василий Игнатьевич пришел по-домашнему, в подтяжках, — на чай к снохе. Ее, не в пример своему полоумному сыну, заметил сразу.

— А, опять пути-дороги пересекаются!

Но больше и все. Никаких шуток. Сидел, попивал чаек из гладкого стакана с красным цветочком и все поглядывал на Лидку, а когда та, угощая его, называла папой, просто таял. Просто не узнать было старого похабника.

Митя очень важно, по-хозяйски надувшись, завел разговор насчет Лидкиной работы.

— Я считаю, папаша, — сказал Митя как на собрании, — пора подвести черту...

— Пожалуй, — согласился Василий Игнатьевич. — Доярок сейчас хватает. Зачем рисковать?

— Это может отразиться... — опять как-то по-ученому выразился Митя, на этот раз обращаясь уже к жене.

У Альки не хватило больше терпения — она так и прыснула со смеху. А чего на самом-то деле? Сидят да разоряются насчет Лидкиного пуза, когда и пузо-то еще в микроскоп рассматривать надо.

— Не слушай их, Лидка... Работай, знай, до последнего. Потом легче распечатываться будет...

И вот тут-то все скобки и раскрылись, Василий Игнатьевич с испугом взглянул на сноху, как если бы на ту зверь накинулся, а Митя... Митя, тот с яростью засверкал своими светлыми пронзительными глазищами.

В общем, она поняла: Лидку тут оберегают. С Лидкой носятся тут как с писаной торбой. Чтобы ни одна пылинка на нее не упала, чтобы ни одно худое слово не коснулось ее уха.

Гордость вздыбилась у Альки, так что в глазах потемнело.

Ах вы, паразиты несчастные! Лидка паинька, вокруг Лидки забор вознесем, а с ней, с Алькой, все можно, она, Алька, огни и медные трубы прошла... Нет, постойте! Она еще своего слова не сказала. А может, может сполна всем выдать. И тому, Первобытному, — ишь корчит из себя строителя-новатора с книжечкой, и са-

мому Василию Игнатьевичу — давно ли к ней свои старые лапы протягивал да на службу к себе заманивал? Ну, а Лидке, своей подруженьке, она тоже лекцию прочитает. Довольно из себя детсадовку разыгрывать...

Ничего из Алькиной затеи не вышло. Под окошками зафурчала, загудела машина с доярками, и все — и Митя, и Василий Игнатьевич — кинулись собирать Лидку...

16

Дома, у тетки на верхотуре, все то же: старухи, пересуды... Внове для нее была разве Маня-маленькая — темная гора посреди избы.

— Пришла на горожаху поглядеть, — сказала она, как всегда, напрямик. — Говорят, в штанах красных ходишь.

— А чего ей не ходить-то? — угодливо ответила за Альку Маня-большая.

Тетка стала ее потчевать морошкой — целая тарелка была выставлена на стол, сочной, желтой, как мед. Нашла-таки! И по этому случаю лицо Анисьи сияло.

Алька сбросила с ног туфли у порога, подсела к столу, но не успела рукой дотянуться до тарелки — Маня-большая подлетела, ткнулась на стул рядышком, нога на ногу, да еще и лапу ей на плечо — чем не кавалер!

— Не греби! Все равно больше других не получишь.

— Чего ты, Алевтинка?

— А то! Не притворяйся! Думаешь, не знаю, из-за чего из кожи вон лезешь?

— По части веселья хочу...

— Веселье от тебя! Не знаю я, что у тебя на уме.

Все сразу примолкли — не одной Мане в глаз попало. На той платок материн, на другой кофта, на третьей сарафан — кто в прошлом году на помин дал?

Анисья, добрая душа, чтобы как-то загладить выходку племянницы, перевела разговор на ее ухажеров.

— Не видела молодцов-то на улице? — сказала она. — Посмотри-ко, сколько их. Всяких — и наших, и городских.

Да, за окошком, куда указывала тетка, маячил Вася-беленький с товарищем, а дальше, у полевых ворот, мотался еще один кавалер — Пека Каменный. Вымылся, в белой рубашке пришел — давай «дрыгаться».

— Каждый день вот так у нас, — сказала тетка. — Как на дежурство являются.

Сказала с гордостью. На похвал: вот, мол, какая у меня племянница! А на кой дьявол племяннице эти кавалеры? И вообще, ей кричать, выть хотелось, крушить все на свете...

Всю дорогу от дома Василия Игнатьевича до дома тетки ломала она голову над тем, что произошло у Лидки, и до сей поры не могла понять. Да и произошло ли что? Ну, сидели, ну, пили чай, ну, Василий Игнатьевич глаз со сношеньки не сводил, каждое слово ей сахарил. Ну и что? Сахари! Ей-то какое дело? И в конце концов плевать ей и на тот переполох, который в доме поднялся, когда машина с доярками подъехала. Ах, какое событие! Скотница на свидание с рогатками собирается. Один кинулся в сени за сапогами, другой — Василий Игнатьевич — полез на печь за онучами... Пущай! Дьявол с вами! Бегайте как угорелые, ползайте по горячим кирпичам, раз вам нравится...

Но вот чего никогда нельзя забыть — это того, что было после. После Лидкиного отъезда.

Василий Игнатьевич — это уж на улице, когда машина с доярками за поворотом дороги скрылась, — вынул из кармана трояк, подал Мите: «Бежи-ко к Дуньке за причастием, засушили гостью...» И куда девалось недавнее благообразие!

Глаза заиграли засверкали — прежний гуляка! Можно! Теперь все можно, раз Лидки рядом нету. Это ведь при Лидке надо тень на плетень наводить, а при Альке — чего же? Она — Алька, не в счет... Крепко, до боли закусив нижнюю губу, — она всегда в ресторане так делает, когда капризный клиент попадается, — Алька решительно мотнула своей рыжей непокорной гривой: хватит про Лидку да про ейного плотника думать, больно много чести для них! И потребовала от тетки бутылку — пущай старухи горло смочат.

Маня-большая — золотой все-таки характер у человека! — скокнула, топнула и бесом-бесом по избе, а потом как почала мести-скрести длинным язычищем — со всех закоулков сплетни собрала.

К примеру, Петр Иванович, Алька все хотела спросить тетку: где теперь эта старая лиса? Почему не видать? А он, оказывается, на дальний лесопункт со своей Тонечкой подался. Вроде как в гости к своему шурину, а на самом-то деле — нельзя ли как-нибудь ученые косточки пристроить — Маня так и назвала Тонечку, потому как в своей деревне охотников до них нету.

— А ухажера-то своего видала? — вдруг спросила Маня.

— Какого? — спросила Алька и рассмеялась. Поди попробуй не рассмеяться, когда она на тебя свой угарный глаз навела.

— Какого-какого... Первобытного!

Аграфена — длинные зубы: ха-ха-ха! На другом конце деревни слышно — заржала. А Маня-маленькая, как всегда, — переспрашивать: про кого? Как в лесу живет — никогда ничего не знает.

— Про Митю Ермолина, — громко прокричала ей на ухо Маня-большая. — В школе, вишь, все руками, как немко, учителям отвечал, а не словами. Вот и прозвали Первобытным. В первобытности, говорят, так люди меж собой разговаривали. Верно, Алевтинка?

Тут тетка, как всегда, горячо вступилась за Митю, ее поддержала Маня-маленькая, Афанасьевна, и началась перебранка.

— Нет, нет, — говорила Анисья, — не хули Митю, Архиповна. На-ко, весь колхоз человек обстроил, все дворы скотные, постройки все — все он... И не пьет, не курит...

— А все равно малахольный! — стояла на своем Маня.

— Да пошто ты самого-то нужного человека топчешь?

— А пото. В девятом классе на радиво колхозное летом поставили, отцу уваженье дали, а он что сделал? Бабусю на колхозные провода посадил?

Алька захохотала. Был такой случай, был. Митя крутил-крутил приемник — все надо знать, да и заснул, а по избам колхозников и запричитала лондонская бабуся. Самому Мите, конечно, за возрастом ничего не было, а Василию Игнатьевичу всыпали.

— Да ведь это когда было-то? Что старое вспоминать? — сказала тетка.

— А можно и новенькое, — не унималась Маня. — Весной Лидка на сестрины похороны в район ездила — не вру? Два дня каких дома не была, а он ведь, Митято, ошалел. Бегом, прямо от коровника прилетел к почте да еще с топором. Всех людей перепугал. А Лидкуто встретил — не то чтобы обнять да поцеловать, а за голову схватил да давай вертеть. Едва без головы девку не оставил...

Алька улыбнулась. Похоже, очень похоже, все это на Митю! Но чего тут смешного? Чего глупого?

А Маня-большая, приняв ее улыбку за одобрение, разошлась еще пуще: Митю в грязь, матерь Митину в грязь (только не Василия Игнатьевича, того не посмела), а потом и Лидку в ту же кучу: дескать, не бисер лопатой загребает — навоз.

Алька не перебивала старуху, не спешила накинуть на нее узду. Пущай! Пущай порезвится. Какую оплеуху закатил ей недавно Василий Игнатьевич, а Лидку — не тронь? Лидка принцесса?

Только уж потом, когда Маня добралась до Лидкиного брюха (кажется, все остальное ископытила), она сделала слабую попытку остановить старуху.

— Хватит, может. Ребенок-то еще не родился.

— И не родится! — запальчиво воскликнула Маня.

— Да не плети чего не надо-то! — Тетка тоже вспылила. — Понимаешь, чего мелешь?

— Огруха, — воззвала к свидетелям Маня, — при тебе Лидку в район отправляли? В больницу?

— Ну дак что?

— Как что? Кабы здорова была, не возили каждый месяц на ростяжку.

— Хватит! Хватит, говорю! — Алька сама почувствовала, как вся кровь отхлынула от ее лица — до того ей вдруг стало стыдно за себя. Потом она увидела растерянное, угодливое старушечье лицо («Чего ты, Алевтинка? Разве не для тебя старалась?»), и уже не стыд, а чувство гадливости и отвращения к себе потрясали все ее существо. И она исступленно, обеими руками заколотила по столу:

— Уходите! Уходите! Все уходите от меня...

17

Алька плакала, плакала навзрыд, во весь голос, но Анисья и не подумала утешать ее. Закаменело сердце. Не бывало еще такого, чтобы из ее дома выгоняли гостей! Только уж потом, когда Алька начала биться головой о стол, подала голос:

— Чего опять натворила? Я не знаю, ты со своими капризами когда и образумишься...

— Ох, тетка, тетка, — простонала Алька, — не спрашивай...

— Да пошто не спрашивай-то? Кто будет тебя

спрашивать, ежели не тетка? Кто у тебя еще есть, кроме тетки-то?

В ответ на это Алька подняла со стола свое лицо, мокрое, распухшее, некрасивое (никогда в жизни Анисья не видала такого лица у племянницы) и опять уронила голову на стол. Со стуком, как мертвую.

И тогда разом пали все запоры в Анисьином сердце. Потому что кто корчится, терзается на ее глазах? Кого треплет, рвет в клочья буря? Разве не живую ветку с амосовского дерева?

Она подсела к Альке, крепко, всхлипывая сама, обняла племянницу.

— Ну, ну, не сходи с ума-то... Выскажись, облегчи душу...

— Тетка, тетка, — еще пуще прежнего зарыдала Алька, — пошто меня никто не любит?

— Тебя? Да господь с тобой, как и язык-то повернется. Тебя, кажись, когда еще в зыбке лежала, ребята караулили...

— Нет, нет, тетка, я не про то... Я про другое...

И Анисья вдруг замолкла, перестала возражать. И это ее молчание стопудовым камнем придавило Альку.

Всю жизнь она думала: раз за тобой ребята гоняются, глазами тебя едят, обнимают, тискают, — значит, это и есть любовь. А оказывается, нет. Оказывается, это еще не любовь. А любовь у Лидки и Мити, у этих двух дурачков блаженных...

И самое ужасное было то, что она, Алька, верила, завидовала этой любви. Да, да, да! Она даже знала теперь, какой запах у настоящей любви. Запах свежей сосновой щепы и стружки...

— Может, чаю попьешь — лучше будет? — спросила Анисья.

Алька махнула рукой: помолчи, коли нечего сказать. Потом встала, хотела было умыться и не дошла до рукомойника — пала на кровать.

Анисья быстрехонько разобрала постель, раздела ее, уложила в кровать, как ребенка, и, купаясь вместе с нею в мокрой зареванной подушке, стала утешать ее похвальным словом — Алька с малых лет была падка на лесть:

— Ты посмотри-ко на себя-то. Тебе ль реветь-печалиться с такой красой. Девок скольких бог обидел, чтобы тебя такую сделать...

Алька мотала раскосмаченной головой: нет, нет, нет! Так и она раньше думала — раз красивая, значит, и счастливая. А Лидку взять — какая красавица? Но, господи, чего бы она не дала сейчас, чтобы хоть один день у нее было то же самое, что она видела сегодня у Лидки.

Да, да, да! Лидка растрепа, Лидка дура, у Лидки с детства куриные мозги — все так.

И, однако ж, не от кого-нибудь, а от Лидки узнала она про другую жизнь. И не просто узнала, а еще и увидела, как эту другую жизнь оберегает Василий Игнатьевич. Стеной как самый драгоценный клад. И от кого оберегает? А от нее, от Альки. И Алька билась, выворачивалась из рук тетки, грызла зубами подушку и, кажется, первый раз в своей жизни задавала себе вопрос: да кто же, кто же она такая? Она, Алька Амосова! И какой такой свет излучает эта дурочка Лидка, что все ее в пример ставят?

18

— Алька, Алька, вставай...

Голос был не теткин, а какой-то тихий и невнятный, похожий на шелест березовой листвы на ветру, да тетка и не могла ее будить: она лежала на полу, на старом ватном одеяле, раскинутом возле кровати (чтобы в любую минуту наготове быть, ежели она, Алька, позовет), и тихо посапывала.

«Да ведь это мама, мама зовет! — вдруг озарило Альку. — Как же я сразу-то не догадалась?»

Она тихонько, чтобы не разбудить тетку, встала, накинула на себя платье-халат, по старой скрипучей лестнице спустилась на крыльцо.

Утро еще только-только начиналось. Их дом на задворках, с белой шиферной крышей, сиял как розовый шатер, и много-много юрких ласточек резвилось вокруг него.

Ласточки для нее были внове — раньше они держались только вокруг теткиной верхотуры. Да и вообще Алька недолюбливала свой дом на задворках: невесело, в стороне от дороги, и хотя они с теткой сразу же, в первый день ее приезда, содрали с окошек доски, но жить-то она стала у тетки.

По узенькой, затравеневшей тропинке — никто теперь не ходит по ней, кроме тетки, — Алька выбежала на задворье, уткнулась в ворота — большие, широкие,

с железным певучим кольцом, которое как собака заливается, когда брякнешь.

Ворота эти были гордостью матери — ни у кого во всей округе таких ворот не было, а не только в ихней деревне. А поставила она их, по ее же собственным словам, в видах Алькиной свадьбы — чтобы к самому крыльцу могли подъехать на машинах гости.

Лужок перед домом на усадьбе, который так любила мать, тетка недавно выкосила (всегда по два укоса за лето снимали), но красные и белые головки клевера уже снова рассыпались по нему, и Алька едва сделала шаг от калитки, как жгучей росой опалило ее босые ноги.

К крыльцу она подошла на цыпочках, крадучись, точь-в-точь как бывало, когда о восходе возвращалась домой с гулянки. Постояла, прислушиваясь (ах, если бы и на самом деле сейчас загремела в сенях рассерженная мать!), потом перевела дух и, взойдя на крыльцо, уперлась глазами в увесистый замок.

Без всякой надежды она сунула руку в выемку бревна за косяком и страшно обрадовалась: ключ был тут. В том самом месте, где его хранили при матери и отце.

Полутемные сени она проскочила чуть ли не с закрытыми глазами: с детства боялась темноты. Зато уж, перешагнув за порог избы, она вздохнула свободно, всей грудью.

Все тут было как раньше, как год и два назад: крашеный пол намыт до блеска, окна наглухо завешены кружевным тюлем, к которому так неравнодушна была мать, в углу фикус-богатырь — его тетка перенесла от себя на другой же день ее приезда... Только пусто как-то, жилого духа нет. И еще, конечно, страшно было от вида голой железной кровати, на которой умерла мать.

— Мама, я пришла...

Алька подняла глаза к белому потолку, под которым жалобно плеснулся ее голос.

Нет, не так, дрожа от утрешнего озноба, не полураздетой и не в мертвый дом хотела она прийти. Она хотела нагрянуть к живой матери, нагрянуть внезапно, шумно, с гордо поднятой головой. Смотри, смотри, родимая! Вот твоя дочь. Приехала в чужой город, одна, без паспорта, тот подлец самым распоследним негодяем оказался — ну-ко, кто бы на ее месте не согнулся? А она не согнулась. Она паспорт себе выхлопо-

тала и на работу устроилась, да вдобавок еще того подлеца проучила — из армии выперла...

— Мама, чуешь ли, я пришла... — опять сказала Алька и обмерла: из сеней, за дверью, донеслось царапанье.

Она никогда особенно не верила в старушечьи россказни про нечистую силу, но все-таки самообладание вернулось к ней только тогда, когда за дверью мяукнуло.

— Бусик, Бусик!

Она распахнула дверь, и точно — он: Бусик, их пушистый кот-великан.

Занавески на окнах цвели алыми кустами иван-чая, уже на белой простыне, которой был укутан самовар на комоде, заиграли солнечные зайчики, а Алька все сидела с Бусиком на коленях у стола, гладила, прижимала его к себе и жадно вслушивалась в жалобное мурлыканье.

О чем он поет-плачет? На что жалуется? На одиночество? На тоску свою? А может, он пытается на своем кошачьем языке рассказать ей про то, как умирала мать, какие она наказы передавала дочери перед смертью?

Слезы текли по пылающим Алькиным щекам. Да как же это так? Кошка, зверь дикий верен хозяйке, даже после смерти ее из дому не уходит, а она, дочь родная, бросила родительский дом, на город променяла...

— Мама, мама, я останусь. Слышишь? Никуда больше не поеду...

Утреннее солнце заливало комнату. Бусик распевал какую-то новую песню. И, странное дело, в ней самой начала расти и подниматься песенная радость.

Больше она не могла сидеть. Выбежала на улицу, широко раскинула навстречу солнцу свои руки и уже не по тропинке, не с покаянно опущенной головой, как входила еще недавно в свой дом, а напрямик по росистому лужку построчила к тетке.

— Тетка, тетка, я остаюсь!

Она налетела на сонную Анисью, как вихрь, как буря, и та сперва никак не могла взять в толк, о чем говорит племянница.

— Да где ты хочешь остаться-то? Где? Чего еще выдумала?

— Дома, дома, тетка! — твердила Алька и чуть ли не приплясывала от радости. — Я все, все, тетка, об-

думала. Вдвоем жить будем. И мамина и папина могилы рядом — всегда можно сходить. Верно, тетка?

19

Решительности Альке было не занимать — у нее был материн характер, и она, конечно, в тот же день отправилась бы в город за расчетом и вещами, да ее удерживали деньги.

Деньги — пятьсот рублей — остатки от распроданного родительского добра — она в день своего отъезда отдала Томке с тем, чтобы та послала их ей дней через пять в деревню: то-то у людей будет разговоров, когда она получит такие деньжищи!

И вот из-за этой-то своей затеи она и должна была сидеть на якоре.

Впрочем, времени зря Алька не теряла.

Первым делом она перебралась в свой родной дом на задворках. И, боже, сколько радости она испытала, когда по утрам сама топила печь, сама мыла пол, сама грела самовар. А какое это было наслаждение ходить босиком по чистому, намытому дому!

Дом был просторный, светлый, и она сама удивлялась своей глупости, своей слепоте. В городе они с Томкой снимали какую-то темную конуру, на окраине, а тут в это время пустовал целый дворец.

Да и вообще, все чаще и чаще задавалась вопросом Алька, что она нашла в городе? Ради чего бросила отца с матерью, дом родной? Ради того, чтобы пьяных мужиков ублажать в ресторане, пятаки из них выколачивать? Или, может, ради Аркадия Семеновича?

Да, да, говорила себе Алька, буду жить в деревне, у себя дома. По-новому. Совсем, совсем иначе, чем раньше. И она уже, по существу, жила этой новой жизнью: днем вместе с колхозниками работала на лугу, а по вечерам, как и положено хорошей, самостоятельной девушке, сидела дома за шитьем (в жизни никогда не шила!) или что-нибудь делала по хозяйству на улице.

Мане-большой эти Алькины выкрутасы (иначе она их не называла) были нож по сердцу — не выпьешь, да, пожалуй, и Анисья не очень-то радовалась. Во всяком случае, она с тревогой и даже с каким-то страхом присматривалась к столь круто переменившейся племяннице.

Альку это забавляло, трогало до слез, и у нее еще пуще разжигались честолюбивые помыслы.

Работать только в колхозе — это она решила твердо. И обязательно дояркой. Как Лидка! Да, да! Только дояркой. Про официанток кто когда в газетах писал? А про доярок пишут постоянно, с портретами. Доярка по нынешним временам первый человек в деревне. И неужели же она кому-нибудь уступит? Неужели ей не обставить хоть ту же Лидку-растяпу или Верку Девятую! Врете! Заранее заказывайте орденок, а то и звездочку золотую. Ее мать — Пелагею Амосову — все железной называли, а разве она не дочь своей матери?

В буйно разыгравшемся воображении сама собой сложилась и будущая семейная жизнь. И опять же как у Лидки. С таким же любящим свекром и с таким же преданным и покорным мужем. Правда, второго Мити Ермолина на свете не было — тут хоть лопни, ничего не поделаешь, да Алька недолго из-за этого горевала.

Ей вдруг пришла на ум сногсшибательная идея — сделать человека из Сережи. А что? Разве не из-за нее, не из-за Альки пропадает Сережа? Разве не писала ей еще мать, что Сережа готов в любое время ее, Альку, за себя взять? Да в этом она и сама на днях убедилась, когда нос к носу столкнулась с ним у магазина за рекой. Ну-ко, стал бы парень смываться с ее глаз, уводить своих дружков-приятелей, ежели бы не любил?

Дни шли за днями. Алька упивалась своей новой ролью — ролью благообразной и непорочной невесты. И она даже взгрустнула малость, когда от Томки пришел перевод.

20

Жуть все-таки, что это такое город! Народу на одной пристани раз в сто больше, чем во всей ихней деревне. И, помнится, когда два года назад, в это же самое время, она впервые с парохода увидела это пестрое, гудящее многолюдье — у нее ноги к палубе приросли — до того ей вдруг стало страшно затеряться в этом муравейнике.

Зато сегодня — фигушки!

Первой сбежала по сходням, первой, как ящерица, заныряла в расщелинах толпы. «Извиняюсь», «Не на-

рочно», «Спешу» — и всем улыбка. А кое-где и локотком подсобляла.

На белых мачтах по случаю какого-то праздника полоскались яркие, разноцветные флаги, подвыпившие мужики и волосатые мальчики откровенно пялили на нее глаза, и, вообще, город был прекрасен. И — чего крутить — вздохнула Алька. Жалковато ей стало всего этого великолепия, с которым не сегодня завтра надо расстаться.

На веселом, гремучем, трамвайчике, разукрашенном красными и синими флажками, она быстро добралась до своей Зеленой улицы, а там пять-семь минут скачек по деревянным разбитым мосткам возле старых, давно уже приговоренных к сносу развалюх, и ихняя с Томкой дыра. Комнатенка в одно окно, да и то в сарай с дровами упирается, зимой холод собачий, и весь год крысы. Иной раз ночью такой стукоток в коридоре поднимут — не то что выйти, в кровати пошевелиться страшно. Аркадий Семенович самое расчестное слово дал им с Томкой — этой осенью обязательно переселить в новый дом, а теперь, когда его сняли, на что рассчитывать?

Ох, да чего о жилье беспокоиться, усмехнулась про себя Алька, открывая калитку. На все теперь ей плевать с высокой колокольни — и на новую квартиру, и на самого Аркадия Семеновича. Со всем развязалась. Напрочь!

Томка была дома — окошко настежь и проигрыватель на всю катушку. Неужели с хахалем? (Томка любила крутить любовь под музыку.)

Но раздумывать было некогда. Во-первых, она, Алька, страсть как соскучилась по Томке, а во-вторых, велика важность, ежели и хахаль. Слава богу, за два года они повидали кавалеров — и она у Томки, и Томка у нее.

С бьющимся, прямо-таки скачущим сердцем Алька взлетела на шатучее деревянное крылечко рядом с уборной, вихрем пронеслась по темному коридорчику, с силой дернула на себя дверь — иначе не откроешь, и вот Томка, ее золотая Томка. Сидит на диванчике, нога на ногу (это уж завсегда — длинные ноги напоказ), и в руке сигаретка.

— Я, между прочим, так и знала, что ты не выдержишь больше двух недель в своей распрекрасной деревне...

В общем, заговорила, как всегда, с подковыром, свысока: на пять лет старше. А потом, стюардесса международных линий, по-английски лопочет — как же перед официанткой нос не задрать? Но в душе-то Томка была добрющая, как тетка: последнюю рубашку отдает, если попросить. А потому Алька, не обращая внимания на воркотню, с пылом, с жаром начала обнимать ее.

— Ну, ну, не люблю телячьих нежностей. Давай лучше про подъем сельского хозяйства... Как там двинула свой колхоз?..

Алька села рядом на диванчике.

— Не смейся, Томка... Я все... Я в деревню решила...

— Вот как! Какой-нибудь механизатор-передовик предложил тебе свое сердце и буренку впридачу? Так?

— Да нет, Томка, я всерьез. Я насовсем...

— А позволь тебя спросить, если не секрет, что ты там собираешься делать? В этом самом — сельском раю?..

— Работы в колхозе найдется... — Алька почему-то постеснялась сказать, что она хочет идти в доярки.

— Ну, ладно, — Томка встала, — о твоих сельскохозяйственных планах мы еще поговорим, а сейчас поедем на вечеринку. Я уж и так опаздываю.

— На какую вечеринку?

— Во, вечеринка! — Томка от восторга щелкнула пальцами. — У Гошки день рождения сегодня — представляешь, какой сабантуйчик будет? Достали катер, так что на ночь вниз по матушке по Волге, куда-то на луг сено нюхать... Представляешь?

Алька представила. Была она в компании Томкиных дружков-летчиков. Весельчаки! Анекдоты начнут рассказывать — обхохочешься. А танцевать какие мастера! Особенно этот Гошка-цыган... Но нет, покончено со всем этим. Завязано!

— Не дури, Алевтина! — повысила голос Томка. — Между прочим я говорила с начальством насчет твоей работы. Примут. Ну, а если ты еще сегодня кое-кому там задом крутанешь — железно выйдет.

— Нет, Томка, — вздохнула Алька, — чего ерунду говорить. Какая из меня стюардесса — языка не знаю...

— Балда! Она языка не знает... Мужики, если хо-

чешь знать, во всем мире только один язык и понимают — тот, на котором глазом работают да задом вертят. Да, да, да! А ты этим международным языком владеешь — будь спок! И потом, на самолете не одна стюардесса. Моя напарница, например, Ларка, как тебе известно, ни в зуб ногой по-английски, на русском-то языке не всегда поймешь, что говорит, а тарелки этим мистерам и сэрам куда как ловко подает...

Тут Томка, словно для того, чтобы еще больше растравить Альку, которая еще недавно взасос мечтала о работе в аэропорту, начала надевать на себя новенькую летную форму: синюю мини-юбочку, синий кителек с золотыми крылышками на рукаве и синюю пилотку. Летная форма очень шла Томке. Она как-то смягчала ее сухую, долговязую фигуру, делала женственней.

— Ну так как? — сказала Томка, подрисовывая красным карандашом губы перед зеркалом. — Поехали? Имей в виду, что жрать у меня нечего, так что тебе все равно придется в магазин топать...

— Ладно, Томка, иди...

— Чего ладно? На вечер нельзя? Да ты, может, там в своей деревне в секту какую записалась? Нет? Понятно, понятно. У тебя сегодня вечером свидание со своим кучерявым папочкой... — Томка так называла Аркадия Семеновича. — Ну что ж, желаю!

Она дошла до дверей, обернулась:

— Если надумаешь все же приехать, адрес — Лесная, тридцать два. Помнишь, в прошлом году Май встречали? У Васильченки, Гошкиного друга? В общем, координаты известны.

Сердито процокали каблуки в коридорчике, брякнуло железное кольцо в воротах (совсем как в деревне), потом два-три приглушенных тычка на деревянных мостках, и Томка вылетела в сияющий, праздничный мир.

Алька встала. Она хотела завести проигрыватель и вдруг со стоном, с ревом бросилась на кровать. Ну что же это такое? Куда девалась ее решительность? Разве она не дочь Пелагеи Амосовой? Она плакала, ругательски ругала себя, а сама неудержимо тянулась к Томкиным друзьям, к ихнему бездумному веселью.

21

Два года цветным дождем сыпались на Анисью открытки — голубые, красные, желтые, зеленые с диковинными, нездешними картинками, с короткими Алькиными приписками: «Ау, тетка!», «Привет, тетка!», «Хорошо на свете жить, тетка!..»

— Да чего ей на одном-то месте не сидится? — сокрушалась Анисья. — В кого она только и уродилась?

— Пущай! — говорила Маня-большая. — Мать нигде дальше района не бывала, бабка всю жизнь у печи высидела, ты весь век на привязи... Да она, может, за всех вас, за весь род свой отлетать да отъездить хочет...

— А жить-то она думает, нет? Когда и вить свое гнездо, как не в ее годы? Але ждет, когда дом совсем развалится?

Дом на задворках ветшал и дряхлел на глазах. Он вдруг как-то весь скособочился, осел, а в непогодь, сырость просто сил не было смотреть на его заплаканные окна: так и кажется, что он рыдает.

И, однако, все эти Анисьины тревоги и переживания были сущими пустяками по сравнению с той грозой, которая разразилась над ней однажды осенью.

От Альки пришло письмо. Короткое, без объяснений. Как приказ: дом на задворках продать и деньги немедля выслать ей.

За всю жизнь Анисья ни разу не перечила ни Алькиной матери, ни ей самой. Все делала по их первому слову, сама угадывала их желания. А тут уперлась, встала на дыбы: покуда жива, не бывать дому в чужих руках. Не для того отец твой да матерь жизнь свою положили, муки приняли...

В общем — не дрогнула. Высказала все, что думала. А слегла уже потом, когда отнесла письмо на почту.

Осенний дождик тихо, как мышь, скребся в окошко за кроватью, железное кольцо чуть слышно позвякивало на крыльце...

Знала, понимала — не Алька там, ветер. А вот поди ты, в каждый шорох со страхом вслушивалась, ждала: вот-вот откроется дверь и на пороге появится беззаботная, улыбающаяся Алька.

— Тетка, а я ведь нашла покупателя. Ну-ко, собирай скорей на стол, обмоем это дело.

1971

БЕЗОТЦОВЩИНА

1

Грибово — единственное место по Черемшанке, где не держится комар. Высокий, широко расползшийся холм, как шляпа гриба-великана, поднимается над зелеными лугами. В погожие страдные дни там никнет трава от жары, а с тонких говорливых осинок, угнездившихся по скатам холма, все лето не сходит загар. По вечерам же с лугов тянут сквозняки. Словом, как ни хитри комар, а зацепиться тут не за что.

Именно поэтому, выбирая место для новой избы на здешнем покосе, облюбовали Грибово. Изба, сложенная из крепкого, все еще сочащегося слезой сосняка, получилась добротная, просторная. Только на одних нарах, опоясывающих стены, может разместиться десятка полтора людей, а если еще застлать пол сеном, то живи хоть всем колхозом.

Днем, когда люди на пожне, у избы остаются Володька да Пуха.

С обязанностями своими Володька справлялся походя. Присмотреть за пятью-шестью лошадьми, согреть утром и вечером чайники, нарубить дров для костра — разве это работа для пятнадцатилетнего крепыша? Правда, он мог бы спуститься на пожню — лишние грабли там никогда не помеха, тем более что в горячие дни приходилось специально подбрасывать из деревни домохозяек и голосистый актив — молоденьких девушек из контор, студенток-отпускниц, школьниц, но Володька предпочитал другие занятия. Целыми часами бродил он с удилищем по отлогим ссотистым берегам Черемшанки, валялся в избе, дурея от сна и скуки, а то опять заберется на каменный лоб, круто нависший над речкой, и сидит неподвижно и окаменело, как ястреб-рыболов, высматривающий добычу.

В последнее время Володька нашел для себя еще одно занятие — подглядывать за купальщицами. По вечерам, когда машина с домохозяйками и активистками возвращалась домой, Петька-шофер на не-

сколько минут делал остановку напротив избы за рекой — по просьбе девчонок, которые, выскочив из кузова, со смехом наперегонки бежали к плесу.

Впрочем, смотреть, как шумно и бестолково хлопается, трется о камешник мелюзга, ему не доставляло никакого удовольствия. Но вот когда на яме показывалась светлая головка Нюры-счетоводши, сердце его схватывало непривычным холодком. Облитая розовыми лучами солнца, она, как семга, играла в кипящей воде, а потом по-мальчишески, без брызг, выгребала саженками.

Сегодня Володька напрасно лежал, затаившись в кустах, — машина, то ли потому что было уже поздно, то ли еще по какой причине, не останавливаясь, прогромыхала к броду.

Володька встал, уныло побрел к избе. Пора было разжигать огонь, кипятить чайники. Пуха, обогнав его, с лаем бросилась отгонять от избы гнедуху, немолодую, но еще довольно резвую кобылу, которая из-за любви к хлебной корке вечно торчала около жилья.

— Стой, стой! — закричал вдруг Володька.

В несколько прыжков он подбежал к гнедухе (она всегда ходила в узде), с разбегу закинул на нее свое небольшое цепкое тело, спустился с холма и галопом понесся к броду.

Машина уже проскочила речку и с воем брала пригорок.

— Девки, девки! — закричали женки, заметив Володьку под кустами. — Смотрите-ка, разбойник!

Володька с силой поддал каблуками в бока гнедухе — и началась потеха.

Машину трясло, подбрасывало на кочках и выбоинах, девчонки и женки мотали головами, визжали, когда полуторку заносило на поворотах, — кто от страха, кто от удовольствия. Володька распластавшейся птицей летел за машиной. И если в ручьевинах ему удавалось догнать ее, он начинал отчаянно работать плеткой, стараясь добраться до какой-нибудь зубоскалки. Потом грузовик отрывался от него, и он, мокрый, распаленный игрой, опять скакал за ним.

Больше всего ему хотелось дотянуться до Нюры-счетоводши — она смеялась всех громче. Но поди достань ее: забилась в самую гущу — только голова, как подсолнух, мотается. И все-таки на последнем повороте, где дорога круто забирает в лес, он сумел до-

браться и до Нюрочки, да так славно вытянул, что она захлебнулась от боли, а сидевшая рядом с ней Шура, бледная, недавно родившая молодуха, которой, видимо, тоже попало, заругалась:

— Дурак бестолковый! Разве так за девушками ухаживают?

Машина въехала в рослый березняк, завизжала, захлопала на корневищах, переходя на третью скорость, затем, выскочив на прогалину, последний раз махнула цветастой россыпью платков.

Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющемуся смеху девчонок, — то-то перемывают сейчас ему косточки — потом вдруг вспомнил, что ему давно пора быть у избы, и резко повернул кобылу. Пуха, казалось, только этого и ждала: вырвалась вперед и, как клок пестрой шерсти, подхваченный ветром, бесшумно покатилась по влажной от росы тропинке.

В низинах уже свивался туман, было свежо в отсыревшей рубахе. На ближайшем плесе, как всегда об эту пору, закрякала утка, скликая своих детушек, — глупая, никак не может понять, что их убил Володька еще в первый день приезда на сенокос. Пуха моментально насторожила уши, но он с раздражением махнул рукой, и она послушно засеменила по тропинке.

Володька поторапливал гнедуху и ругал себя ругательски.

Люди теперь наверняка вернулись к избе, и нагоняя ему не миновать. Да нагоняй что! Ну поворчит, поразоряется Никита — так, для видимости больше, потому что бригадир; ну вцепится еще эта ехидина Параня — баба злющая, как все старые девы... Но в конце концов у него тоже не тряпка во рту, да и среди баб найдется заступница. Нет, не предстоящая головомойка беспокоила Володьку. Его тревожило другое: приехал или нет Кузьма?

Володька не то чтобы побаивался или как-то особенно уважал Кузьму. По правде говоря, он даже презирал его, презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить, извернуться, где надо. Ну не дурак ли в самом деле? Где хуже да труднее работа — туда и его. На Шопотки, например, сроду никто с косилкой не езживал — дорога туда грязная, с выломками, зимой едва добираются, — а этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильевич, выручай, — кроме тебя, никто не проедет», — Володька сам слы-

шал этот разговор в правлении. Кузьма Васильевич и раскис.

И все-таки ему сейчас, ох, как не хотелось позориться перед Кузьмой.

«Хоть бы он заболел, хоть бы в яму какую свалился по дороге», — думал Володька.

Напрасная надежда! Едва он выехал на луг, опоясывающий холм, как тотчас же увидел лошадей Кузьмы. Высоко на холме, будто под самым небом, жарко горел огонь, и отблески его алой попоной пламенели на белой Налетке, стоявшей рядом с рослым угольно-черным Мальчиком. Колхозницы, сгрудившись вокруг костра, готовили ужин, а один мужчина, потряхивая светлой большой головой, — это был Кузьма, — рубил дрова.

Володька призадержал лошадь, мучительно соображая, как ему поступить: то ли подъехать с повинной головой, то ли, напротив, подкатить этаким чертом, которому все нипочем.

Верх взяло последнее. Пропадать — так уж пропадать с музыкой!

На вечерней заре громом раскатился топот копыт. Перепуганные лошади, бродившие по лугу, ошалело всхрапывали, шарахались в стороны. Холодный ветер — откуда только взялся — резал лицо, расчесывал волосы.

У избы, едва не сбив какую-то женщину, Володька на всем скаку осадил гнедуху, лихо спрыгнул наземь.

А дальше, как и следовало ожидать, открылся целый митинг.

— Это тебя где черти носят? — кричал, наседая, Никита. — Кто за тебя чайники греть будет?

Володька огрызнулся:

— А если у меня гнедуха убежала?

— У тебя гнедуха-то особенная — за девками бегает, — поддела Параня.

— Я не согласен. Ежели он за кашевара, то чтобы к моему приходу все было в аккурат.

Володька метнул свирепый взгляд в сторону Кольки. Чистенький, волосики влажные, причесаны, уже и переодеться успел: белая рубашка с коротким рукавом, на ногах тапочки. Как же, воображает себя рабочим классом, культурно отдыхающим после трудового дня!

— Что глазищами-то завзводил? — накинулась Па-

раня. — Правду парень говорит. На год тебя старше, а за взрослого робит.

И пошло, и пошло. Манефа, Устинья, кривой Игнат, даже старик Егор, молчун по природе, и тот что-то прошамкал...

Володька едва успевал поворачиваться — так и рвали со всех сторон, как худую собачонку.

Наконец бригадир Никита, медлительный, с обвислыми, как у медведя, плечами и весь заросший черной щетиной, как бы подводя итог, обратился за сочувствием к Кузьме:

— Беда с этим парнем. И работенкой-то, кажись, не неволим, а совсем от рук отбился. Одно слово, безотцовщина...

Володька с вызовом уставился на Кузьму — ему даже пришлось приподнять подбородок, чтобы встретиться с его глазами, — дуракам всегда везет на рост. Пускай только вякнет. Он такое ему врежет — век будет помнить. Нет, ежели ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу — это Володька хорошо усвоил за свои пятнадцать лет.

Но Кузьма — вот уж не от мира сего — словно спал, словно не слышал того, что тут творилось.

— Сведи лошадей. Да Налетку на веревку — понял? А то уйдет — бедовая кобыленка.

И все. Володька, приготовившийся было сорвать свою злость на Кузьме, с удивлением и нескрываемым презрением усмехнулся, а затем не спеша, нарочно подчеркивая свою независимость, отвязал от косилки лошадей и повел вниз, на луг.

Когда он вернулся к избе, люди уже сидели за столом — кто, обжигаясь, ел кашу-огневицу, кто подкреплялся похлебкой, а кто по привычке северянина нажимал на чай.

Володька прошел в сенцы, отсыпал из своих пожитков муки в миску и, пройдя к огню, начал приготовлять еду для Пухи.

— Вот как хозяин-то настоящий, — усмехнулась Параня и кивнула Кузьме, — сперва собаку, а потом уж сам.

— Да не в собаку корм, — лениво поморщился Никита. — Ну что Пуха — Пуха и есть. Осенью шкуру содрать — рукавицы не выйдут.

Володька отлично понимал, к чему гнет Никита. Обычное дело — как вечер, так и потеха над Пухой.

И ему, конечно, лучше бы промолчать, но разве стерпишь такую обиду?

— Ты своего Лыска обдирай, он весь в лишаях, а я осенью охотиться буду.

— Это с Пухой-то охотиться? Нет, парень, с котом и то больше толку. По крайности мышь какую добудешь.

Все захохотали.

Колька, подлаживаясь к начальству, съязвил:

— Твоя Пуха только соро́к гонять.

— А белку не при тебе облаяла?

— Белку? — Колька вытаращил глаза. — Это когда же?

Эх, и влепил бы ему Володька, будь они наедине, — небось сразу бы вспомнил!

— Ешь! — прикрикнул он на Пуху.

Пуха, как нарочно, вся перемокла в росе, когда они водили лошадей на луг, и теперь, мокрая, со свалявшейся на спине и боках шерстью, с пугливо поджатым хвостом, казалась еще меньше. И начала она лакать похлебку тоже не по-собачьи: с краешка миски, неуверенно, то и дело поглядывая своими черными блестящими глазами то на Володьку, то на людей.

— Он пять раз на дню ее кормит,— завела опять Параня,— все думает откормить.

— Балда ты, Володька,— сказал Никита,— маленькая собачка до старости щенок. Вишь ведь, глаз-то у нее хитрый, старый.

— А сколько этой Пухе? — спросил Кузьма.

— Беспачпортная,— услужливо разъяснил Колька.— Умные люди на улицу такое добро выбрасывают, а дураки подбирают.

Пуха, видимо догадываясь, что разговор идет о ней, все чаще отрывалась от еды, вопросительно посматривала на Володьку и наконец тихонько скрылась с людских глаз.

— Да, парень, — сказал Кузьма, вставая из-за стола, — если ты всерьез охотиться думаешь, собаку надо искать не на улице.

— А я говорю, что она белку и сейчас берет!..

Но Володьку уже никто не слушал. На землю незаметно спустилась ночь — короткая, страдная, и надо было отходить ко сну. Женщины начали наспех ополаскивать посуду. Из открытых дверей повалил дым: каждый раз на ночь — для воздуха — в избе курили сеном.

Володька, допивая остывший чай, морщился от дыма

и нет-нет да и поглядывал на Кузьму и Никиту, уединившихся в стороне у косилки. О чем они толкуют? И почему Колька вертится как на угольях? В руках газета для маскировки, а сам шею вытянул, глазами ест бригадира. Ага, понятно, Кузьма помощника себе просит.

И Володька со злорадством посмотрел на Кольку. Поезжай-поезжай! Девчонки на Шопотки не приедут. Живи вдвоем, как в берлоге.

Но черт бы побрал этого тугодума! Ни да ни нет. И за что только в бригадирах держат?

Ежели такая сушь, мне без Николая тоже не управиться...

Володька, не допив, выплеснул из кружки чай.

В этот вечер долго не спали. Никита в который раз начал рассказывать, как он впервые увидел спутник на небе. Потом оказалось, что спутник видели и Параня, и Колька, и даже кривой Игнат. Брешут, конечно. Небось, ежели бы видели, рот на замке не держали. А то будто специально Кузьмы дожидались.

— А вы, Кузьма Васильевич, видели? — Это Колька. На «вы», по-культурному.

Володька, лежа на полу недалеко от дверей, приподнял голову. Кузьму послушать интересно — в городе человек жил, по партийной мобилизации, говорят, в колхоз прислали.

— Нет, не приходилось.

Слава богу, нашелся хоть один человек, который, как и он, Володька, не видел спутника! Но зато, как выяснилось, Кузьма досконально знал, что за звезды вокруг Земли и сколько до них расстояния.

— А правда, что скоро на Луну полетят? — спросила Параня.

— Скоро не скоро, а полетят. А пока собак в космос запускают.

На нарах заворочался Никита:

— Володька, ты бы свою Пуху пожертвовал, а то хороших собак переводят.

— Для науки... — захихикал Колька.

Нет, не вышел номер. Кривой Игнат давно уже раздувал свои старые мехи — тяжко, старательно, словно и во сне продолжал махать косой. Тихо, невнятно что-то бормотал себе под нос вечно молчаливый Егор — людей послушать, так это он разговаривать учится. Кто его знает, может, перед смертью и разговорится. Вскоре сон подкатил и к остальным.

Володька встал тихонько, вышел на волю.

Густой туман заволок все кругом. От росы щиплет босые ноги. На огневище чуть-чуть тлеют головешки.

Заслышав шаги хозяина, из-за угла тотчас же выпорхнула Пуха, теплая, с былинками сена в шерсти. Она лизнула Володькины ноги и робко и заискивающе подняла к нему лисью мордочку с черным пятачком.

Володька долго разглядывал ее. Потом он достал из кармана веревочку, присел на корточки.

Пуха съежилась.

— Стой как следует, — с угрозой прошипел Володька.

Подросла ли сколько-нибудь? Не поймешь. Вроде и подросла, а вроде и нет. Во всяком случае, узелок на веревочке, как и три дня назад, по-прежнему тонул в Пухиной шерсти.

2

Утром проспали — обычная история, когда к избе приезжает свежий человек. Пока умывались внизу, на ре́чке, кипятили чайники, солнце съело росу. Чай пили второпях — вот-вот, с минуты на минуту, подгонит лошадей Володька. Но напились чаю, прибрали посуду, а Володька не появлялся. Где Володька?

Стали кричать на разные голоса: «Володька, Володька!» — ответа не было.

— Порядочки, — покачал головой Кузьма.

Всем понятно было, почему нервничает Кузьма. Другим только спуститься под гору, перейти речку — и пожня, а ему надо попадать на Шопотки, куда и без машины не каждый заедет.

— Николай, — сообразил наконец Никита, — бежи за лошадями.

Колька вскоре вернулся верхом на гнедухе.

— Нету лошадей — ушли! — весело, точно радуясь, отрапортовал он.

Кузьма побагровел:

— Как нету? Я же ему что сказал? Связать?

— Ну да, там и веревками-то не пахло.

— Ах, сукин сын, сукин сын! Навязали мне ирода на шею. Николай, выручи...

— Ладно, — Колька покровительственно кивнул бригадиру. — Лошади сейчас будут.

Но что это? Бах, бах..

— Вот он дьяволенок, — торжествующе сказал Никита, указывая рукой на лес. — Ружьичишком забавляется, а мы жди...

Поднялась страшная ругань: сколько еще терпеть? До каких пор этот прохвост будет измываться над ними! В трудколонию его — там живо шелковым сделают... Да, многое прощали Володьке: сирота, без отца растет. Но должен же быть предел!

...Сначала, как и положено, появилась Пуха, а потом уже следом за ней, раздвигая кусты, вышел охотник. На минуту он остановился, победно оглядывая людей, затем высоко поднял правую руку, и все увидели в ней рыжего зверька с белым окровавленным брюшком. Володька шел не спеша, вперевалку, в такт шагам покачивая светлой взлохмаченной головой. За плечом ружье, вокруг пояса широкий брезентовый патронташ — самый заправский охотник.

А Пуха? Что творилось с Пухой? Она юлой кружилась вокруг своего хозяина, забегала вперед, на секунду останавливалась, глядя на него своими маленькими блестящими глазами, затем поворачивала ласковую, торжествующую мордочку к людям: да посмотрите же, посмотрите на него! Ведь это Володька, Володька...

Сияло солнце, птицы пели на каждом кусте...

И вдруг все померкло. Большой, громадный человек тучей надвинулся на Володьку, выхватил у него белку. Раз, раз — и прямо по лицу. На скулах у Володьки показалась кровь.

Пуха завыла.

Никто не ожидал такой развязки. Женщины зароптали:

— С ума сошел! Свет перевернется — на час опоздал.

— Нехорошо, Кузьма Васильевич! Не своего бьешь — сироту.

Кузьма отбросил белку в сторону, круто обернулся к бабам:

— Какой он, к черту, сирота! Меня отец в его годы драл как сидорову козу.

— Дак то отец...

— А мой отец, ежели напакостил, одинаково драл и своих и чужих. И мне наказывал. Понятно? — и Кузьма широким, размашистым шагом пошагал к косилке.

Внизу, за избой, раздался топот, веселый захлебывающийся крик — это Колька поскакал за лошадьми.

Володька, бледный, закусив губу, водил зелеными округлившимися от злости глазами вокруг себя. Он одинаково ненавидел сейчас и тех, кто ему сочувствовал, и того, кто так жестоко обидел его. Возле него виновато терлась Пуха со злополучной белкой в зубах. Володька в ярости отбросил ее пинком. Пуха перевернулась в воздухе и, жалобно взвизгивая, покатилась по выкошенной пожне.

Колхозницы, еще несколько минут назад выказывавшие ему сочувствие, замахали руками:

— Дурак! Худо тебе попало!

— Собачонка вокруг него так и эдак, а он куражится.

— Чего набычился? Вытри рожу-то — не на спектакле.

В самом деле, глупо было стоять вот так, у всех на виду. Володька прошел в сенцы, скинул с плеча ружье, снял патронташ и, войдя в избу, бросился на постель.

За стеной, на улице, разговаривали, смеялись бабы, стучал ключом Кузьма, выверяя косилку перед отъездом, время от времени подавал голос Никита: «Николай!» А Володька, уткнувшись лицом в старый, заскорузлый и провонявший пóтом ватник, одновременно служивший ему подушкой, молча глотал слезы, скрипел зубами. Временами он забывался — сказывалась бессонная ночь, потом внезапно просыпался и снова, истерзанный бессильной яростью и усталостью, проваливался в зыбкую, как болотный мох, дрему...

Что случилось? Откуда топот, ржанье? Ах, да, Колька привел лошадей...

Он поднял отяжелевшую голову, сел. Как быть? Выйти на улицу или уж лучше обождать, когда все уберутся на пожню? Нет, черт подери, он выйдет! Выйдет! Хотя бы только для того, чтобы увидеть, какая кислая рожа будет у Кольки, когда его попрут на Шопотки.

Володька вскочил на ноги, отыскал на окошке осколок зеркальца, перед которым наводила красу Параня, начисто стер с лица следы беличьей крови.

Возле избы, как всегда перед отъездом на работу, взнуздывали лошадей, прилаживали к спинам войлоки — хоть и близко до пожни, а на лошадях лучше, по крайней мере, ноги не замочишь, перебираясь через речонку. Кузьма с помощью Никиты запрягал Налетку — дрянь кобыленка, ни секунды не постоит спокойно. И лишь Колька, картинно развалясь у стола и по-

пыхивая папироской, не принимал участия в общей суматохе. Как же, герой! Что, мол, ему пустяками заниматься. Он свое дело сделал... Ладно, посмотрим, как запоешь сейчас!

Володька, до сих пор поглядывавший на людей сквозь щель в сенцах, подался к проему раскрытых дверей.

— Кузьма Васильевич, а Кузьма Васильевич! — живо воскликнул Колька. — А Володьку не хочешь? Он на тебя уж час смотрит влюбленными глазами.

Ну, гад, погоди! Дорого ты заплатишь за это! И Володька, трясясь от бешенства, шагнул через порог.

Он был уверен, что и на сей раз все кончится злой шуткой, но, к его великому удивлению, Колькины слова приняли всерьез: надо сначала с Грибовом управиться, а потом уж наваливаться на Шопотки. Пускай сперва Кузьма один едет, а для веселья хоть Володьку возьмет — не все ли равно, где тому хлебы переводить?

Кузьма подумал, коротко сказал:

— Уговорили.

— Не поеду! — отрезал Володька. Он давно уже ждал этого момента.

Его стали упрашивать, уламывать — один Кузьма ни слова.

— Сказал, не поеду. Чего пристали?

— Пристали? — Кузьма вдруг выпрямился во весь свой громадный рост, повел бровью: — А ну, живо! Забирай свое барахлишко!

Володька с ненавистью посмотрел ему в лицо, потом плюнул себе под ноги и, сопровождаемый тревожными и по-собачьи преданными взглядами Пухи, пошел в сенцы.

3

От Грибова до Шопотков считается пять верст. Но кто хоть раз попытался установить, что такое крестьянская верста!

Впрочем, дорога вначале как дорога — даже радуешься, попадая с солнцепека в лесную прохладу.

Внизу — Черемшанка: всплеснет, взыграет на дресвяных перекатах и снова нырнет в густой, непролазный ольшаник. Иногда в отлогом берегу увидишь песчаные

размывы с лунками, с помятой травой вокруг и порыжелыми обломанными ветками — не иначе как зверь выходил на водопой. Хороша и правая сторона дороги: высокий сосняк, прошитый белой березой, и, куда ни глянь, всюду россыпи голубики — будто небеса спустились на землю. Но так только вначале. А вот переедешь мокрую ручьевину, сплошь заросшую собачьей дудкой да кустистым лабазником, и начинается черт-те что: замшелый ельник, сырость, комар разбойничает...

Володька, ворочаясь, ерзая на мослаковатой хребтине, бился, как на муравейнике. Но вскоре стало и того хуже: на голову надвинулись еловые лапы, и ему пришлось раскланиваться чуть ли не с каждой елью. И всякий раз, когда он разгибался, глаза его натыкались на одно и то же — на ненавистную спину Кузьмы. Крепкую, широкую, окутанную серым облаком гнуса. Но тот хоть бы рукой пошевелил. Качнется, когда колесо косилки наскочит на корень или колодину, и снова как пень. Неподвижный, молчаливый.

И это каменное спокойствие и невозмутимость больше всего бесили Володьку. Как будто так и надо — съездил человеку по морде — и радуйся. Конечно, он, Володька, виноват: надо было эту кобыленку связать, раз она такая прыткая. Но если правду говорить, для кого он торопился к избе? Может, Никиту да Параню не видал?

А всю ночь не спал, за белкой гонялся?

И чем больше он распалял себя, тем с большей изощренностью обдумывал будущую месть. Поджечь дом, изувечить корову — пусть-ко он без коровы с ребятишками помается... Нет, не то. Не по-мужски. Уж если сводить счеты, то сводить с ним самим. Подкараулить, например, ночью и камнем из-за угла или залезть на крышу и чурку на голову...

Так думал Володька, качаясь под низким навесом ельника и отбиваясь от комаров. Иногда он доставал сухарь, грыз сам, бросал Пухе, семенившей сбоку, — ведь они с утра ничего не ели — и снова, наткнувшись взглядом на широкую, несокрушимую спину Кузьмы, возвращался к мыслям о мести.

Миновали еще один ручей с высокой, жирной, годами не выкашиваемой травой, потом переезжали небольшое болотце. Лошади проваливались, колеса косилки вязли. Кузьма рубил ольховые кусты, елки — все, что

попадало под руку, бросал под колеса. Помогать? Нет, Володька и не подумает.

За болотцем снова ельник и снова поклоны направо и налево. Когда же это кончится?

А кончилось неожиданно: впереди вдруг распахнулись синие ворота неба, дорога покатилась вниз, и они выехали к речке. Кузьма остановил лошадей перед самым спуском к воде, слез с косилки, расправил занемевшие плечи — с наслаждением, до хруста. Прислушиваясь, сказал:

— Слышишь, журчит? Тут ключи со дна бьют, дресва шевелится — вот и похоже на шепот. Верно?

Володька, не отвечая, хмуро смотрел по сторонам. Шепот-то есть, а где же трава? Действительно, кроме маленькой и то наполовину затянутой ивняком пожни, на которой они сейчас стояли, вокруг не было никаких покосов. Справа — лес, слева — лес, и на том берегу, за кустами, тоже лес.

Кузьма, похрустывая галькой, спустился к Черемшанке, перешел ее вброд — вода была чуть-чуть повыше щиколотки.

— А ну, давай сюда.

Чего давать? Ехать? Пешком идти? Володька поехал.

— Сейчас начинается самое трудное, — сказал Кузьма. — Попробуем сперва без машины.

Раздвигая кусты, он пошел вперед. Володька — за ним. Замелькали просветы, потом показался калтус — зыбкая болотина, затянутая реденькой осокой и лопушкой.

Кузьма ступил на калтус — начал проваливаться.

— Вишь что делается. — Он выбрался на твердую почву, поковырял носком сапога трухлявую валежину из березы — такие валежины, как белые кости, из конца в конец покрывали калтус.

— Тут раньше настил был — вон туда, на кусты. Ну-ко, толкни коня.

Володька «толкнул». Валежины хрупнули, и конь провалился до брюха.

— Да, задача... — Кузьма, задумавшись, почесал затылок.

Чеши, чеши! Надо было раньше чесать. А в общем, какое ему дело? Не он затеял эту прогулку на Шопотки. И Володька с подчеркнуто безучастным видом продолжал горбиться на коне.

— Ладно, — сказал Кузьма, — двигай к избе. Ты бывал на Шопотках? Нет? Тут она близко. Калтус да кусты проедешь — и изба. Никита говорил, что в сенцах коса должна быть. В общем, обживайся, а я что-нибудь стану соображать.

Да, помирать будет Володька, а и тогда вспомнит этот калтус. Качалось небо, качался лес — все ходило ходуном. Конь натужно, с храпом выбрасывал передние ноги, хлопался мордой в жидкую грязь, отфыркивался и снова месил болотину. У Володьки несколько раз мелькало в голове — все, конец, не выбраться, и он уже намеревался сползти с коня или как-нибудь завернуть его обратно, и он бы сделал это, если бы не Кузьма. Унизиться перед заклятым врагом, признать себя побежденным — вот, мол, без тебя никуда не попал — ну, нет! Лучше издохнуть в этом калтусе! И, чувствуя, как его до слез прожигает новый прилив ненависти, он стискивал зубы, рывком бросал свое тело вперед, чтобы помочь коню...

Когда он выбрался из трясины, у него не было сил, чтобы оглянуться назад. Да и не все ли равно, смотрит на него Кузьма или нет...

Вид избушки окончательно доконал его. Старая, скособочившаяся, она со всех сторон заросла высоким ельником крапивы — непременной спутницы всякого запустения. На обомшелой крыше грелись ящерицы, и, когда он бросил на землю заплечный мешок, они с сухим треском зашуршали по тесницам.

Он заглянул в сенцы (для этого пришлось ползком пробираться через обвалившийся проход) — крапива; заглянул в избу — зеленый полумрак, комары всхлипывают. На рухнувших нарах дотлевает сенная труха, вместо каменки — груда камней...

Надо было, однако, что-то делать. Коса, о которой говорил Кузьма, оказалась не в сенцах, а на потолке избушки. Заржавела, косье свело: кто-то, видно, вырубил елку, обстругал, кое-как приладил к пятке и бросил — ни себе, ни людям.

Но как попала сюда коса? В этом году Никита не был на Шопотках — Володька знал точно. Может быть, прошлым летом кто заезжал? Ведь уж который год идут разговоры: надо взяться за Шопотки. А вот охотников не находилось — дошлый народ! Поджидали, когда этот Кузя из города приедет.

Володька выкосил крапиву в сенцах, около избы, отгреб. Кузьма не подавал о себе никаких вестей.

Палит солнце. Мрачный ельник стеной упирается в небо. Лупоглазые ящерицы смотрят с крыши... И такая тоска вдруг взяла его, что он не выдержал — закричал. Никто не ответил ему. Даже эхо, хоть маленькое эхо, и то не откликнулось на его призыв.

Он откинул ногой полость свернувшегося войлока, пал на него ничком. И за каким дьяволом он поехал сюда? Девок испугался — засмеют, бедного. Ну и что? Разве от смеха умирают? Губы пересохли, хотелось пить.

Он сходил к речке, напился.

Где Кузьма? Неужели все еще «соображает»? Люди глупее его были — калтус мостили. А он, поди, особенный, по воздуху на машине проскочить хочет...

Сморенный жарой, усталостью, Володька незаметно для себя задремал. Во сне ему снилось раздольное Грибово, девчонки, со смехом купающиеся на плесе, Нюра-счетоводша в красном купальнике и почему-то в больших меховых рукавицах, вывернутых наизнанку шерстью, бегала за ним по лугу...

Вот оно что! Пуха, сатана, привалилась. Володька с досадой оттолкнул ее от себя, сел. Ему показалось, что в кустах, у реки, справа, будто что-то треснуло. Пуха, поджав хвост, настороженно смотрела туда. Неужели зверя чует? А что, вылез к реке пить, а тут конь на лугу... И, холодея, Володька невольно скосил глаз на избу. Без дверей...

— Но-но!.. — вдруг отчетливо услышал он человеческий голос.

Да ведь это Кузьма!

Володька вскочил на ноги, побежал к речке. Верхушки кустов над речкой качались, треск, шум — будто жернова ворочают. Как он туда залез? Под ногами обрывистый спуск к воде... Володька не раздумывая прыгнул на дресвяный берег...

Невероятно! Рекой... Прямо рекой ехал Кузьма! Точно водяной на своих рысаках — Володька видел где-то картинку: старик с длинной седой бородой, на голове корона, в руках вилы...

Володька кинулся в воду, закричал:

— Давай, давай! — Потом, сообразив, что надо делать, зашлепал вверх по реке. — Сюда, сюда! — опять

закричал он, увидев впереди, за поворотом, отлогий берег.

Лошади, навьюченные мешками, корзиной, вышли на берег, пошатываясь. С них ручьями стекала вода.

Кузьма отжал подол рубахи, штаны, шумно как конь, отряхнулся. Глаза его, залитые потом, возбужденно блестели.

— В одном месте все-таки нырнул. Хлебы, наверно, подмокли.

Володька готов был слушать до бесконечности. Черт знает что! Из реки дорогу сделать... Надо же придумать такое! Но Кузьма коротко бросил:

— Поехали.

У избы сняли мешки, корзину, распрягли лошадей.

Кузьма заглянул в сенцы, заглянул в избу.

— Ты что, на курорт приехал?

Все вернулось к старому. И Володька, сразу помрачнев, буркнул:

— Ты сказал, у избы выкосить...

— А сам-то не понимаешь, что надо? На крапиве спать будешь? Разжигай огонь.

Пухе явно была по душе трудовая суматоха. Она покрутилась возле пылающего, как вызов, брошенный дремотным небесам, костра, побывала у лошадей, бродивших по брюхо в тучной траве, и даже осмелилась заглянуть в кусты — туда, где, будоража эхо, гремел топором этот непонятный и страшный для нее человек.

Кузьма вышел из кустов с огромной ношей свежих лесин, с грохотом бросил у избы.

— Давай подновим ее маленько.

Он выбрал еловую лесину, подал Володьке. Потом, став на колени, подвел свое плечо под осевший угол сенцев и начал приподыматься. Угол и крыша дрогнули и медленно поползли вверх.

— Ставь.

Володька, обхватив обеими руками стойку, поставил. Угол сел на стойку.

— Так, — сказал Кузьма, разгибаясь и вытряхивая из-за ворота гнилушки. — Одно есть.

Вслед за тем выбросили прогнившие нары из избы, перебрали каменку, затопили избу. Густой белый дым, поваливший из дверей, дымника, окошек, стал медленно расползаться по вечерней земле.

— Вот теперь можно и себя привести в божеский

вид, — сказал Кузьма, не без удовлетворения оглядывая свое новое жилье.

Он развязал мешки, достал белье, кожаные тапочки и начал не спеша раздеваться. Снял рубаху, скинул сапоги, стащил порванные на одном колене штаны — остался в одних трусах.

Володька, ставя чайник на огонь, искоса посматривал на него. Здоровый, черт!

Кузьма вскинул на руку полотенце, белье, взял мыло.

— Тебе бы тоже не мешало. Посмотри, на кого похож.

— Мы не городские, — съязвил Володька. — Это в городе к одиколону привыкли. — Слово «одеколон» он нарочно произнес на простецкий лад.

— Дурак, — сказал Кузьма и направился к речке.

Он шел осторожно, непривычно ступая босыми ногами по смятой траве и заметно припадая на левую ногу — ниже колена она была сплошь исполосована глубокими рваными рубцами.

«На войне был», — подумал Володька и тут же довольно усмехнулся: Кузьма, подстегиваемый комарами, вынужден был перейти на бег. Сначала качнул одним плечом, потом другим и закачался, как лось на разминке, — лениво, нехотя выбрасывая длинные ноги.

В предзакатной тишине слышно было, как он плещется в воде, шумно отфыркивается. Пуха, томимая любопытством, раза два приближалась к прибрежным кустам, но спуститься к речке не решилась.

Вернулся Кузьма посвежевший, с мокрыми, зачесанными назад волосами, в белой чистой рубашке, заправленной в легкие матерчатые штаны, на ногах тапочки — совсем как с прогулки. Выстиранную рабочую одежду развесил на кольях около огня.

— У тебя что из харчей? — спросил он, роясь в своей корзине.

Володька промолчал. Какое ему дело до его харчей? И, глядя, как Кузьма засыпает в котелок пшено, подумал, что неплохо было бы и ему что-нибудь сварить, хотя бы трески — валяется где-то в мешке звено. Но тут же мысленно махнул рукой: не привыкать — и чаю похлещет.

Чайник давно уже вскипел, но Кузьма затеял еще точить косу. Как будто нельзя подождать до утра! Володьку мутило от голода, ноздри щекотал вкусный

аромат пшенной каши, булькающей в котелке, и, вращая брызжущее искрами точило, он на все лады клял этого бесчувственного чурбана.

Когда они сели наконец за ужин, солнце уже закатилось. Холодная сырость наползала из кустов.

Володька достал из мешка бутылку с постным маслом, налил в кружку, запустил туда ржаной кусок.

— Единоличниками будем? — сказал Кузьма, снимая с огня котелок с кашей.

Володька ниже наклонил голову к кружке. И какого черта ему надо? Может, еще, как жрать, учить будет?

Кузьма поставил дымящийся котелок на середину стола, положил в него огромную ложку топленого масла.

— Ешь.

— У меня свое есть, — проворчал Володька.

— Ешь, говорю. — Кузьма сел напротив, подвинул к нему котелок. — Насмотрелся я вчера на вас на Грибове — тошно... Каждый уткнулся в свой котелок... Ну? — Кузьма нетерпеливо повел бровью.

Володька полез в мешок за ложкой. «Хрен его знает, что у него на уме. Тяпнет еще ни за что ни про что. Ладно, пущай мне хуже будет, — решил он, подумав. — У меня сухари да треска — немного поживишься».

— А Пуху-то мы и забыли! — Кузьма встал, кинул несколько ложек каши на газету, положил на землю сбоку стола. — Надо будет корытце ей вырубить.

Пуха, облизываясь, несмело подошла к каше, вопросительно уставилась на Володьку.

— Ладно, чего уж... — Володька отвел взгляд в сторону, и Пуха бойко захлопала языком.

После этого Володька думал, что Кузьма начнет извиняться, оправдываться — так и так, мол, погорячился давеча. На Грибове всегда так делали: сначала прикормка, а потом примирение.

Ничуть не бывало!

Поужинав, Кузьма молча поднялся, сам вымыл посуду на речке и стал устраиваться на ночлег. Володька собрался было вязать лошадей.

— Не надо, — сказал Кузьма. — Сегодня намаялись — никуда не уйдут. А вот от зверя, пожалуй, что-нибудь надо.

Он сходил в лесок, зажег старый муравейник.

В избе легли на полу — окошки и дымник заткнули

травой, вместо дверей подвесили парусиновую мешковину.

Тихо, темно, как в погребе. Где-то над головой пищит одинокий заблудившийся комар. За стеной бродят, похрустывая травой, лошади.

Володька достал папироску, закурил.

— Ну вот что, — сказал Кузьма, — этого я не люблю. Хочешь — выходи на улицу.

Володька, чертыхаясь про себя, нащупал сбоку траву, вдавил папироску. Ну и жизнь — дышать скоро по команде. И тут ему опять вспомнилось житье на Грибове — вольготное, бездумное, с шутками, с разговорами. Нет, удирать надо, удирать. А то зачахнешь, дикарем станешь в этой берлоге.

Он прислушался к дыханию Кузьмы. Спит. Не выйдет! Задобрить, прикормить хотел... И новая вспышка ненависти опалила Володьку.

Первый раз так обидели его и даже не сочли нужным оправдываться.

4

— Вставай, вставай, соня!

Володька продрал глаза. Полость в дверях откинута, светло. Он нащупал рядом с собой сапоги, натянул на ноги. На улицу вышел заспанный, злой.

Солнце еще только-только отделилось от кромки леса. Густая роса, как крупная соль, крыла траву. Жарко трещит огонь.

Увидев Кузьму, Володька остолбенел. Кузьма без рубахи, голышом сидел за столом и брился. Для кого это он старается? Кобыле, что ли, хочет понравиться?

— Пошевеливайся, — сказал Кузьма, не оборачиваясь.

Когда Володька вернулся к избе, Пуха ела вчерашнюю кашу. Он с презрением посмотрел на нее: продалась, подхалимка!

Попили чаю.

Володьку разморило. Шею, спину пригревало солнцем. Сладкий дымок муравейника, все еще тлеющего в леске, приятно дурманил голову. Облокотившись на стол, он угрюмо, исподлобья поглядывал на Кузьму, запрягавшего лошадей в косилку. И за каким дьяволом он встал ни свет ни заря? А еще в городе жил. У них в деревне и то понимают, что к чему. На Грибове сей-

час изба трещит от храпа. Но сам он — пускай. А зачем его-то будить? Добро бы лошадей привести надо, а то тут они — от избы не отгонишь.

— Ну, ты готов?

Куда еще готов? Володька нехотя поднялся.

— Поехали! — Кузьма вскочил на косилку, пружины сиденья жалобно охнули.

И опять, как вчера, торчит перед ним спина — широкая, необъятная, только на этот раз в белой рубахе. Что же он, так и будет изо дня в день любоваться этой спиной?

Проехали узкий перешеек, заросший ивняком.

Мать честная, мыс! Большой, опоясанный Черемшанкой мыс. Как на Грибове. А за мысом еще мыс, а за тем мысом тоже мыс. А трава? Пырей самолучший, по пояс.

Володька подивился: сколько добра каждый год пропадает, а коровы весной от бескормицы дохнут.

Кузьма натянул вожжи, опустил пальчатый брус.

— Учти, — сказал он, оборачиваясь к Володьке, и улыбнулся. Первый раз улыбнулся за два дня. — Учти, — повторил Кузьма, — момент, можно сказать, исторический. До нас здесь никто с машиной не бывал.

Дрогнула, рассыпала дробь косилка. Лошади, помахивая головами, — нелегко тащить такую телегу по брюхо в траве, — пошли вдоль речки, тесно прижимаясь к кустам.

Правильно, подумал Володька, надо сперва от кустов откосить, а потом только кружи. Но зачем его-то сюда было тащить? Момент исторический запоминать?

Он сбил сапогом росу с пласта травы, сел, закурил. Пуха, привстав на передние ноги, внимательно смотрела в сторону Кузьмы.

— Не видала, как косят! — Володька схватил клок травы, запустил в Пуху.

Меж тем Кузьма сделал круг:

— Хочешь попробовать?

Володька пожал плечами, встал. Чего пробовать? Неужели он думает, что Володька круглый идиот? На сенокосе третье лето живет, да чтобы такой техникой не овладеть?

Володька решительно подошел к косилке, взгромоздился на сиденье. Попробовал ножные педали — порядок, попробовал ручной рычаг — порядок. Пуха просто расцвела. Любит, глупая, всякие машины.

Володька околесил мыс, подъехал к Кузьме.

— А ну, дай еще круг.

Володька дал еще круг.

— Так что же ты молчал? Я все утро ломаю голову — машина будет простаивать... Давно косишь?

Предательская краска залила лицо Володьки. По правде говоря, его и близко не подпускали к машине — разве так, нахрапом проедешь у Никиты, потому что больно уж задается Колька. Но, с другой стороны, нечего и прибедняться: трава-то одинаково свалена что Кузьмой, что им. И потому, слезая с косилки, он уклончиво ответил:

— Приходилось.

— Ладно, — сказал Кузьма. — Я пройдусь по пожням. Тут весной топит — хламу, наверно, пропасть. — И пошел, пошел, как двухметровку, переставляя ноги.

У Володьки перехватило дыхание. Так что же это? Ему косить? Так надо понимать?

— Заело чего-нибудь? — спросил, оборачиваясь, Кузьма.

Как бы не так! Володька живо вскочил на сиденье. Огромный сияющий мир, расцвеченный утренним солнцем, закачался перед его глазами. Блестит, переливается зернистая роса на траве, высокие ели с поднебесья смотрят на него...

Ну, Колька, берегись! Нос-то теперь поопусти маленько. Да и Нюрочка: «Привет колхозному конюху». Придется новые словечки выучить. А Никита, Параня? Глаза на лоб вылезут, когда увидят его на косилке. И в правленье — руками разведут: «Вот тебе и Володька! Слыхали, что, стервец, делает? На косилке на пару с Кузьмой строчит».

Все эти мысли, набегая одна на другую, разом пронеслись в голове Володьки. Глаза его щурились от непривычной улыбки, от солнца. Рядом по свежескошенной траве семенила Пуха, мокрая, но очень довольная, постоянно поглядывая на него сбоку. Изредка хлопал топор — это Кузьма расчищал от хлама пожню. И когда он нес на плече валежину, поднимая из травы ноги, на каблуках его мокрых сапог слепяще вспыхивали шляпки железных гвоздей.

«Подковался, как конь», — подумал Володька.

Но вот и Кузьмы нет — перебрался на соседний мыс. Володька остался один — один на целом покосе. Полный хозяин! Вот как жизнь обернулась. А потом

приедут люди, будут сгребать сено — сено, накошенное им. Надо только почище косить. Чтобы не говорили: «Володченко тут, бес, чертил. Что с него взять?» А вот так не хотите! «Ну и золотые руки у косильщика — дай ему бог здоровья! Грабли сами бегают». И когда на взгорбинах, на поворотах или на кротовых холмиках коса шла юзом, подминая траву, Володька терпеливо поднимал пальчатый брус, очищал его от земли, пятил лошадей назад и снова прокашивал.

Один за другим ложатся травяные ряды. Лошади уже в мыле — густая трава, да и жара. Ему приходится время от времени слезать с косилки, щупать под хомутами. Не хватало еще, чтобы лошади у него сбили плечи... Паршивая эта кобыленка Налетка — все время, тварь, хитрит. Мало ему из-за нее досталось, так нет, и тут номера выкидывает: то мордой в траву зарывается — будто век не жрала, то в сторону норовит, а то опять из хомута назад вылезает — тащи, Мальчик, один. Володька хлестал ее ременкой, приговаривал:

— Вот тебе, вот тебе! Я тебя выучу.

Душно, пот одолевает. Сыромятные вожжи в руках раскисли. Пуха — тоже бестия не последняя — забралась от жары в траву. А все-таки чувствует, что к чему. Раз хозяин работает, то и она по своей собачьей вере трудится: ползет сбоку, путает траву.

Ах, ежели бы выкупаться... Мысль эта появлялась у Володьки каждый раз, как он приближался к речке, но он тотчас же отгонял ее, как надоедливого овода. А ну увидит Кузьма? Хрен его знает, как он посмотрит. Все же Володька догадался снять верхнюю рубаху — стало немного легче...

Когда из-за кустов показался Кузьма, мыс был выкошен наполовину.

Володька еще издали увидел в руке Кузьмы порядочную щуку — пожалуй, не меньше топорища, — болтающуюся на прутике, но подъехал к нему внешне спокойный, никак не выказывая своего удивления. Во-первых, Володька сам немало ловил щук на Грибове, а во-вторых, пусть-ко он удивляется.

И Кузьма удивился.

— Порядочно сдул, — сказал он, оглядывая мыс.

— Ничего, лошаденки тянут, — уклончиво, тоном опытного косильщика сказал Володька.

— Отдыхал? Надо давать передышку. — Кузьма пощупал под хомутами, вытер о траву руку.

Володька все же сказал, указывая глазами на щуку:

— Большая дура. Килограмма на полтора будет.

— Щука-то? — Губы Кузьмы, обветренные, в трещинах, расползлись в довольной улыбке. Он приподнял полосатую рыбину, словно пробуя на вес. — На мели зарубил. Харчи у нас неважнецкие — придется на довольствие к реке вставать.

— Можно, — сказал Володька.

Кузьма поправил топор на ремне, кивнул:

— Ладно, покрутись еще с часик, а потом я сменю.

Большой, высокий был Кузьма, но до чего же все у него складно! Даже топор на ремне не отвисает, как у других, — влип в железную скобу, как маузер. И сапоги — обыкновенные кирзовые сапоги, не лучше, чем у Володьки. Но тоже как-то по-особому выглядят — может быть, оттого, что немножко голенища отогнуты?

«А волосы-то у него, как у меня, светлые», — вдруг подумал Володька, провожая глазами шагающего по лугу Кузьму, и это неожиданное открытие немало удивило и в то же время обрадовало его.

Вскоре над кустами, там, где была изба, задрожал прозрачный дымок.

Интересно получается, думал Володька, он косит, а начальство кашеварит. Ежели сказать кому, не поверят. Но сам-то он находил это в порядке вещей. Не удивляются же на Грибове, когда Никита лежит, а Колька косилку мозолит. А почему он, Володька, не может?

Кузьма явился с Тузом — таким же, как Мальчик, рослым и ступистым мерином рыжей масти.

— Ну, отдыхай, — сказал Кузьма. — Заработал. Там тебя щука ждет.

Володька связал на веревку Налетку, с достоинством, не спеша, все еще расправляя занемевшую спину, подошел к избе. Культурненько! Стол накрыт газетой, в миске под зеленым лопухом — полщуки, ровно полщуки. Вот человек — поровну делит!

Ему страшно хотелось есть — щука рассыпчатая, в больших желтых крапинках коровьего масла, но он скинул сапоги и, раздевшись до трусов, побежал к речке.

Все хорошо — и купанье, и еда. Володька мог поклясться: никогда еще в жизни не ел такой щуки! Какая-то особенная!

Он сидел у избы один. Березы, сморенные жарой, не шевелили ни единым листышком. Но осинки лопотали, тихо, но лопотали. Пуха, похрустывая, продолжала еще перебирать щучьи кости.

«Надо будет и мне заарканить щуку, — подумал Володька. — Долг платежом красен. На ночь можно крючки лягухой наживить, а сейчас пройдусь с блесной».

В кустах напротив избы он срезал немудреное удилище, приладил к нему жилку с блесной. Отправляясь на рыбалку, он нарочно решил пройти мимо Кузьмы — пусть посмотрит: и мы умеем расплачиваться.

Кузьма докашивал мыс — только маленький островок травы оставался посредине. Завидев его, окликнул:

— Куда?

Володька солидно, становясь на равную ногу, ответил:

— Да вот, не могу ли щучонка какого зацепить.

— Я же тебе что сказал? Отдыхай! Носом клевать будешь! — И Кузьма, считая вопрос исчерпанным, погнал лошадей.

Володька постоял-постоял и, покачав головой, повернул обратно. Ну, отдыхать так отдыхать. У избы, поставив к стене удилище, он опять задумался. Смехота! Отдыхать...

Пуха сунулась было за ним в избу, но Володька строго на нее посмотрел:

— Твое дело какое? Сон хозяина охранять. Поняла?

В избе прохладно, пахнет продымленным сеном. Сквозь окошки, заткнутые травой, просачивается зеленый свет, и кажется — ты нырнул на дно реки, заросшей водорослями. Но Володька все еще не мог свыкнуться с мыслью об отдыхе. То есть в том, что он лежит сейчас в избе, не было ничего особенного. На Грибове иной раз до того долежишь — бока одеревенеют. Но тут. Тут другое. Тут прямо тебе говорят: отдыхай. Вот, мол, поработал — и отдыхай. И Кузьма там знает, что его напарник не просто лежит, а отдыхает.

Да, так среди бела дня — по всем правилам — и отхрапел Володька часа два, пока не явился Кузьма и не разбудил его.

Кузьма был мокрый от пота, дышал тяжело, как лошадь, только что выпряженная из косилки. Сидя у сто-

ла и отирая ладонью мокрое, блестящее лицо, он поделился своими огорчениями:

— Тяжело. Кроты землю изрыли — коса все юзом.

— Это на новом мысу? — посочувствовал Володька.

— На новом.

— Надо косу поднять, — сказал Володька.

— Подымал — не помогает. И колеса вязнут. Земля тут рыхлая. — Кузьма натянуто усмехнулся. — Бог, наверно, когда делал эти Шопотки, не рассчитывал, что тут на машине будут ездить. А мы забрались.

Володьке очень нравилось, что с ним вот так, по душам, на полном серьезе, ведут деловой разговор, и он не без внутреннего сожаления сказал, принимая подобающую позу:

— Пойду поскребу сколько-нибудь.

— Погоди. — Кузьма тяжело поднялся. — Коса засеклась — надо поточить.

Володька взял косу, стоявшую у стены, с готовностью протянул Кузьме.

— Давай ты, — сказал Кузьма и взялся за ручку точила.

Володька покраснел:

— Я не умею.

— А я вчера точил, ты глазами хлопал? И посуду тоже мыть надо, — жестко добавил Кузьма, кивая на стол. — Няньки здесь не положено.

Черт знает что за человек! Начали было жить по-человечески, так нет — обязательно настроение испортить надо.

Володька уходил на покос мрачный, насупленный. Но, поразмыслив дорогой, он должен был признать, что Кузьма, пожалуй, прав. На самостоятельность бьет. Чтобы он, Володька, значит, по всем линиям... Ох и хитер мужик!

И когда он сел на косилку, жизнь снова гремящим, многоцветным праздником заиграла вокруг него.

Ему повезло, по-настоящему повезло. То ли оттого, что та часть пожни, на которой он косил, была меньше изрыта кротами, то ли потому, что он был намного легче Кузьмы и лошади шли свободнее, или оттого, что сам он был ловчее Кузьмы, — и такая мысль приходила ему в голову, — но как ни гадай, а за этот упряг он обскакал Кузьму. И Кузьма, когда увидел скошенный им участок, просто ахнул:

— Здо̀рово! Крепко выдал, Владимир.

Да, так и сказал — «Владимир».

Шуршит под ногами подсохшая за день трава. Огромные, богатырских размеров тени шагают рядом с ним и Пухой. И, глядя на эти качающиеся, распростершиеся по всему лугу тени, Володька чувствовал себя большим и сильным, круто повзрослевшим за один день.

«Вот где в рост пошел! На Шопотках!» — думал он, приближаясь к избе. То-то он в последнее время каждую ночь летает во сне.

Закат угасал медленно. Воздух еще не остыл, а в низинах уже ночь расстилала белые холсты туманов. Ожили, заговорили ключи на речке. О чем они шепчутся, бормочут?

В тот вечер, сидя у избы (надо было дать лошадям передышку), они разговорились.

— Кузьма Васильевич, — спросил Володька, — а целина — это только там, в Сибири? Больше уж нигде нету?

Кузьма, подтягивая гужи у хомута, озадаченно поднял голову.

— Ну вот здесь, у нас, на севере... Не может быть этой целины? Или надо, чтобы трактора, комбайны?..

— А, ты вот о чем! — Кузьма улыбнулся. — Думаешь, что и мы с тобой целину подымаем? Подходяще бы! А в общем-то не совсем. Русь-матушку расчищаем. Раньше тут под каждым кустом выкашивали — ужас сколько сена ставили...

— Интересно, — сказал Володька. — А на собраньях — все подъем да подъем...

— Ну и что! Дела-то в колхозе пошли лучше. — Кузьма помолчал, пытливо присматриваясь к Володьке. — А у тебя шарики шевелятся. В каком классе шагаешь?

— Отшагал... В шестой ходил.

— Что так? Науки не по нутру?

Володька напыжился, сказал:

— За дисциплину. С учительницей общего языка не нашел.

— Ничего! Жизнь припрет — найдешь. Я тоже не последний балбес был. А вот видишь, нашлись добрые люди — обломали.

Володька, сдерживая дыхание, весь подался вперед. Неужели и его выперли из школы?

Но Кузьма — непонятный все-таки человек — встал, накинул хомут на плечо.

— Хватит — посидели. Никита нагрянет, а у нас задела нет. Придется поднажать.

И они поднажали. Как следует поднажали! Косили днем и ночью. Ночью — хорошо, прохладно. А днем — чистое наказанье: зной, дышать нечем, жгут оводы, и Володька, как на жаровне, крутился на железном сиденье. Кончив смену, он добирался до избы, выпивал кружку кислого чая и замертво сваливался на постель.

Кузьма оброс рыжей щетиной, лицо его стало кумачово-красным, и, когда он открывал черные, запекшиеся губы, белые зубы его блестели нестерпимым блеском.

— Лошадей, лошадей смотри! Чтобы плечи не сбили, — постоянно твердил он одно и то же.

К вечеру четвертого или пятого дня их житья на Шопотках — все перепуталось в голове у Володьки — на западе засинело.

Кузьма забеспокоился:

— Что же они, проклятые, не едут? Зарядит дождь — все наше сено кобыле под хвост.

«Действительно, — возмущался Володька, — чего они там копаются? Ведь и работы-то оставалось от силы на три дня».

За ужином Кузьма, тяжело ворочая негнущейся шеей, сказал:

— Ну, корежит меня — сил нет. Неужели погода сломается?

За ночь погода не сломалась, а вот Кузьма — Кузьма сломался.

Утром, когда Володька проснулся и вышел из избы, он увидел его возвращающимся с речки. Шел Кузьма вялым стариковским шагом, по-стариковски сгорбившись и вытянув вперед шею, обмотанную белым вафельным полотенцем.

— Чирьи вскочили. Наверно, оттого, что с жары выкупался.

— Бывает, — посочувствовал Володька.

Нет, это невероятно! У такого мужика заклепки сдали, а он, Володька, хоть бы что. Как кремень!

Гордость распирала его. Вот если бы сейчас кто-нибудь его увидел! Каково! Кузьма лежит у избы, а он, Володька, накручивает за двоих.

Но никто не видел его. Даже Пуха сегодня не пле-

тется рядом с косилкой — прошла круга три и забилась в траву — жарко. Но что же спрашивать с Пухи, ежели сам Кузьма не выдержал.

На этот раз Володьку не ждал готовый обед. Заслышав его шаги, Кузьма буквально выполз из избы. На четвереньках. Как раненый зверь.

— Устал?

— Есть немного, — признался Володька.

— Сено как? Все пересохло?

— Еще бы! По валку идешь — труха.

— Вот народец! Ну, я до этого Никиты доберусь.

Скрипнув зубами, Кузьма сел на чурбак, начал разматывать полотенце на шее:

— Посмотри-ко, нельзя ли их к чертовой матери?

Крутая загорелая шея Кузьмы чудовищно распухла, налилась нездоровой краснотой. И из этой красноты злыми пауками проглядывали фурункулы — черные головки их угнездились у самого основания шеи — знали, где выбрать место.

— Ничего не выйдет, — сказал Володька. — Подкожные.

Невесело почаевничали, посидели за столом. Потом Кузьма встал, посмотрел на запад:

— Чего зря траву переводить. Отдыхай.

Вдруг Пуха подняла голову, настороженно уставилась на кусты, скрывавшие калтус.

Кузьма и Володька переглянулись.

— Вроде треск какой, — сказал Володька, прислушиваясь.

Конечно, треск. А вот и крик. Едут!

Кузьма облегченно вздохнул:

— Беги за водой — пои гостей чаем!

Володька схватил чайник, сломя голову побежал к речке. И зря, совершенно зря, потому что вместо гостей из кустов выехал Колька...

Завидев Кузьму и Володьку, он помахал им рукой:

— Привет колхозным трудягам!

«Ну и задавала! — подумал Володька, вглядываясь в бледное, но улыбающееся лицо Кольки. — Сам еле на коне сидит, а делает вид, что ему все нипочем».

Подъехав к избе, Колька спрыгнул с коня, небрежно поддал ему сапогом под зад:

— Иди подкрепись.

— Где остальные? Сзади? — спросил Кузьма.

Колька не спеша сощелкал пальцем комки грязи со своей полосатой рубашки, причесал мокрые волосы.

— Дорожка, однако. Как вы машину протащили? Я смотрел-смотрел — следов-то нет.

Володька решил поддержать авторитет Кузьмы:

— Кузьма Васильевич новую трассу проложил...

— Ладно, не в трассе дело, — нетерпеливо оборвал Кузьма. — Почему долго не ехали? Ждете, когда дождь грянет?

— Экий ты быстрый... У нас актив два дня носа не показывал, а ты захотел...

— У вас и без актива делать нечего, — опять вмешался Володька. Его до глубины души возмущал тот снисходительный, небрежный тон, каким Колька разговаривал с Кузьмой.

— Твоя забота, знаешь, — поел и на бок.

Володька не удостоил Кольку ответом. Что ему расписывать себя! Пускай Кузьма скажет.

Но Кузьма — странное дело — промолчал.

— Грабли одни, двое везете? — спросил он у Кольки.

— Завтра те и другие будут.

— Завтра? — Кузьма, закусив губу, попытался разогнуться.

— А тебя здорово, друг, скрутило. Чирьи?

Кузьма недобрым взглядом уставился на Кольку:

— Я говорю, почему завтра, а не сегодня?

Колька деланно усмехнулся, но марку выдержал:

— Чудак человек. Сено-то огородить надо? И потом — смотри, как парит. Умные люди говорят, к дождю.

— Так, — сказал Кузьма. — Дождичка ждете? А на Шопотках навоз разводить будем? Ну вот что, передай Никите: ежели он завтра — слышишь? — ежели он завтра утром не пригонит грабли, я из него душу вытряхну. Так и скажи.

— Скажу. — Колька, еще не веря своим ушам, пролепетал: — Так мне, значит, на сто восемьдесят?

— А чего тебе здесь делать? Нам грабли нужны!

Через минуту Колька уже сидел на коне. К нему снова вернулась прежняя уверенность. Глядя сверху на согнувшегося Кузьму, он спросил тоном начальника:

— Сводка готова?

— Какая сводка, завтра бригадир приедет.

Колька нахмурил брови:

— Не одобряю. Нынче насчет дисциплинки, знаешь?

Кузьма поморщился:

— Езжай. Да лучше рекой — мы рекой ехали.

— Нет, ты серьезно? — Колька даже привстал от удивления. — А что? Это подходяще.

Уже спускаясь к Черемшанке, он оглянулся, крикнул:

— Володька, там бабы по тебе убиваются. Говорят, заели комары бедного. Что сказывать? — Колька громко рассмеялся и въехал в кусты.

— Паскудный растет парнишка, — сказал Кузьма.

В другой бы раз эти слова несказанно обрадовали Володьку, но сейчас он не придал им никакого значения. Страшное подозрение закралось ему в душу. Как же так? Он работал, работал, как прòклятый работал, а на поверку выходит все по-старому. И там, на Грибове, по-прежнему думают, что он, Володька, дурака валяет. А что? Докажи, что ты не верблюд. И почему Кузьме было не сказать Кольке: так и так, мол, Владимир выручает. А то как воды в рот набрал. Нет, это неспроста. Ты ишачь, а трудодни дяде. Ловко придумано. Многовато заработаешь, Кузьма Васильевич. Нет, поищи другого. Мы тоже не из лаптя щи хлебаем.

И остаток дня Володька работал спустя рукава. Стали лошади — пусть стоят. Захотелось выкупаться — пошел выкупался.

Пуха с явным неудовольствием посматривала на него. «Ох, Володька, — казалось, говорил ее взгляд, — смотри, Кузьма узнает...»

— Да пошла ты к дьяволу! — взрывался Володька. — Шкуреха продажная! Прикормили кашей.

Вечером он пришел к избе угрюмый, подавленный, избегая встречаться глазами с Кузьмой.

— Что невесел? — спросил Кузьма.

— Голова болит.

— Плохо дело, не хватало еще, чтобы ты раскис. Пей чай да ложись — может, за ночь и отлежишься.

Нет, за ночь Володька не отлежался. Утром он вышел из избы сгорбившись, болезненно морщась от яркого света и шумно дыша — что-что, а разыгрывать сироту Володька умел как следует.

— Не полегчало? — с беспокойством спросил Кузьма.

Володька покачал головой.

Пополоскали кишки чаем. Солнце калило вовсю —

только по краям, над кромкой леса, кое-где клубились легкие бурачки.

— А погодка-то разгулялась, — сказал Кузьма. — Вот наказанье. Приедут с Грибова, а мы оба на больничном.

Да не приедут, дурак ты эдакий, — хотелось крикнуть Володьке. Завтра ильин день — все к вечеру укатят. Специально тянут, чтобы поближе домой ехать. Он, Володька, например, еще вчера догадался, когда Колька начал дипломатию разводить. «Сено огораживать надо...» А от кого? Скот-то сейчас не на отгуле. Нельзя подождать? То-то и оно. Как ильин день, так людей на цепях не удержишь на сенокосе. Но с конюха спрос маленький, мысленно махнул рукой Володька. Чего он будет просвещать его? Грамотный. Должен понимать.

Меж тем Кузьма поднялся на ноги:

— Пойду. Может, сколько покошу. А то скоро нагрянут — задел у нас небольшой.

И он, согнув обвязанную полотенцем шею, пуще обычного припадая на раненую ногу, заковылял к лошадям, связанным на колу за избой. Чтобы отвязать веревку, он опускался на колени, потом медленно, точно поднимая стопудовую тяжесть, выпрямлялся. Снять веревки с лошадей ему все-таки не удалось, и они, извиваясь, ослепительно вспыхивая на солнце, поволоклись сзади лошадей.

Долго ни единого звука не было слышно в той стороне, куда ушел с лошадьми Кузьма. Но вот утреннюю тишину, как строчка пулемета, разорвал стрекот косилки.

«Поехал, значит», — с облегчением вздохнул Володька. Он представил себе, каких мук стоило Кузьме запрячь лошадей в косилку, как качает его на каждой кочке и в каждой ложбинке и как судорожно, до темноты в глазах, ворочает он распухшей шеей, и ему стало не по себе.

Но он не сдвинулся с места. Пускай. Раз он так, то и ему так. «Дурак, идиот! — ругал себя Володька. — Тебе на глазах у всех в рожу заехали, а ты разнюнился, сочувствие выказываешь. Как мог забыть?»

Он вслушивался в далекий стрекот косилки, невольно вспоминал, как еще вчера сам лихо разъезжал по лугу, и с тоской думал о том, что уже никогда не повторится то, что он пережил в эти дни. Он чувствовал

себя обкраденным, униженным. И слепая ярость, отчаяние душили его...

Смахивая слезу, он посмотрел на Пуху, которая, приподняв голову, внимательно прислушивалась к звукам, доносившимся с мыса, и вдруг разразился неистовой бранью:

— Паскуда! Сума переметная! Думаешь, не замечаю, как ты к нему липнешь! — Он схватил со стола кружку, швырнул в Пуху.

Пуха увернулась и вдруг пулей бросилась по тропинке на покос.

Володька позеленел, затопал ногами:

— Смотри, убежишь — все!

И Пуха, одумавшись, повернула назад.

После этого он сходил к речке — в самый бы раз искупаться, но не искупался, полежал в избе, потом снова вышел на воздух.

С запада угрожающе надвигалась темень. Солнце перекрывало рваными облачками. Их полосатые тени медленно скользили по искрящейся листве деревьев, по сникшей траве на пожне, изнывающей от жары. Вокруг избы тучами носились оводы.

«К дождю беснуются, проклятые, — подумал Володька. — А тот косит, ни черта не замечает».

Вопреки его ожиданиям Кузьма вернулся с покоса веселый, возбужденный, довольно свободно поворачивая голову.

— Разработался. Ну, сначала гнет — каюк, думаю. А потом ничего — прорвало... А их все нет? Ну и народ! Это они не иначе к Илье собираются.

Володька презрительно скривил губы: дошло. Раньше-то не мог догадаться.

Кузьма с тревогой глядел на небо:

— Неужели не пронесет? А как у тебя? — Он дотронулся рукой до Володькиного лба. — Плохо, брат. Жар вроде. Ну ничего, мы сейчас тебя немножко подлечим, а потом посмотрим.

Он сходил в сенцы, вынес оттуда четвертинку. Водки в ней было примерно с половину.

— Это у меня энзэ — на крайний случай. Иной раз так скрючит ногу — хоть караул кричи. Пьешь? — спросил он Володьку.

Володька угрюмо молчал. Придумает же, о чем спрашивать. Но нет, дешево хочешь откупиться. Сначала маслом да щукой задабривал, а теперь водкой...

Кузьма налил в кружку подогретого чая, всыпал песку — много песку, ложек пять, потом вылил водку — всю вылил, размешал.

— Выпей!

— Не хочу.

— А ты через «не хочу». Средство верное. Это мы на фронте так лечились. Даже девушки пили.

Володька махнул про себя рукой: играть, так уж играть до конца. Поздно теперь отступать.

— А ты парень с опытом, — заметил Кузьма, когда Володька опорожнил кружку.

Володька не успел собраться с ответом, как вдруг тугой порыв ветра налетел из-за кустов, вихрем взметнул сухую щепу вокруг них. С крыши с грохотом полетела тесница.

— Буря идет! — крикнул Володька, давясь от ветра.

Все кругом стонало, ухало. Огромная иссиня-черная туча вздыбилась над их головой, заслонив солнце.

Молча, не сговариваясь, они кинулись к столу и начали перетаскивать вещи в сенцы. Раздался оглушительный треск. Володька, ослепленный жгучей вспышкой, покачнулся, но тотчас же большие, крепкие руки подхватили его, втащили в сенцы.

— С тобой ничего? — Кузьма, мокрый, шумно дыша, воскликнул: — Ах, черт побери, какое сено упустили! А мы-то жали — ни себя, ни лошадей не жалели.

Косой дождь хлестал в сенцы через порог. Опять слетела тесница с крыши.

— Может, пройдет... — сказал нетвердо Володька. — Больно круто началось.

— Да, без всякой артподготовки. Сразу в штыки. Ты не вымок? — Кузьма пощупал Володькину рубаху. — Иди ложись. Пропотей хорошенько.

Володька, вспомнив про свою роль, вздохнул, поплелся в избу.

— Неужели это они домой навострились? Хоть бы за сводкой заехали, — все еще сокрушался Кузьма.

Лежа в избе, Володька видел, как он достал из корзины тетрадку, надел очки в железной оправе и, пристроившись к корзине, начал писать.

«Сводку пишет», — решил Володька.

Томительное беспокойство овладело им. Кто же повезет сводку? Ах, нечистая, слишком он перегнул, пожалуй. А то бы сейчас поехал на Грибово, а оттуда до-

мой. И его воображению живо представилась картина сегодняшнего гулянья в деревне. Песни, пьяные — со всех сенокосов люди выедут. А в клубе-то веселье. Да, начнут гулять, не дожидаясь Ильи. Да и кому этот Илья нужен?

Володька сглотнул сухой комок, подкативший к горлу, встал, прислонился к косяку дверей. Голова у него кружилась.

— Что, не лежится? — спросил Кузьма, поднимая очки на лоб. — А ты прав, посветлее стало. — Он снова опустил очки. — А мне придется, пожалуй, махнуть на Грибово. С этим праздником у них сейчас мозги набекрень... Уедут без сводки. Да и тебе порошки надо.

— Давай я поеду, — вдруг неожиданно для себя бухнул Володька.

— Где тебе! Едва на ногах держишься. Лежи.

— Чего лежать-то? Хватит, вылежался, — Володька схватил со стены узду, выбежал из сенцев и под проливным дождем побежал к лошадям.

Он не помнил, как отвязывал коня, как, настегивая его поводом, бежал рядом с ним по мокрой траве, но когда он, приблизившись к избе, поднял голову и увидел перед собой Кузьму, то вдруг все понял.

Кузьма стоял громадный, несокрушимый, широко расставив ноги. По бледному, перекошенному лицу его ручьями стекала вода.

«Сейчас ударит», — подумал Володька. Но больнее всякого удара хлестнули слова:

— Дрянь! Я с тобой, как с человеком... А ты?.. Убирайся к чертовой матери! И чтобы духу твоего здесь не было!

5

Шумит дождь. С еловых лап сочится вода, стекает за ворот. Вокруг темно, как осенним вечером. Один раз у самой дороги, тяжко хлопая крыльями, взлетел старый глухарь. Пуха с бешеным лаем погналась за ним.

Он равнодушным взглядом посмотрел за дорогу и снова закачался под ельником. И снова, как прежде, перед глазами вырос Кузьма — громадный, с бледным, перекошенным лицом. Лучше бы уж он ударил его — все не так обидно. А то вот, мол, даже руку о тебя пачкать противно.

Ну почему, почему у него все через пень-колоду? — задавал себе Володька все один и тот же вопрос. Только начнет взбираться в гору — хлоп и в луже. Неужели все оттого, что контрабандой на свет заявился?.. Да, у других отец дак отец — железный. Ежели в живых нет — на войне погиб. А у него? Сколько раз он допытывался у матери! Затвердила одно: шофер Максим из леспромхоза. А что за Максим? Такого, говорят, и слыхом не слыхали. Но отец — черт с ним! — и без отца прожить можно. А вот как на люди теперь показаться? В правленье головомойка — это уж как пить дать. Девки на смех поднимут. И Колька, вражина, начнет расправлять крылья... Удирать, удирать надо, вдруг решил Володька. А куда удирать? В леспромхоз? На целину податься? В ремесленное? Но везде нужна бумажка. А кто ему даст бумажку?

На Грибове, как и следовало ожидать, никого не было. Возле избы неприкаянно стояли конные грабли, и о них глухо выстукивали капли дождя.

«Специально выставили, — подумал Володька. — Вот, мол, собирались, да дождь помешал». А в общем, не все ли равно ему теперь?

Он снял в сенцах с крюка свое ружье с патронташем, забрал свой чайник. Кажется, ничего не забыл. А удилища? Два тонких удилища, белевших под крышей, ему попались на глаза, когда он уже садился на коня. Эти удилища он специально срезал, чтобы увезти домой. Длинные, гибкие — их ни за какие деньги не купишь. Но на черта ему теперь удилища? Ну, оставь Кольке — спасибо скажет.

Володька кинулся в сенцы, выхватил из натопорни чей-то топор — и через минуту от удилищ валялись одни палки.

«А это тебе на память — из-за тебя все началось». Он скинул с плеча дробовик и почти в упор выстрелил в старую кепку Никиты, висевшую на гвозде над входом в сенцы.

Вот теперь все. Прощай, Грибово...

Конь, как только вышел на твердую песчаную дорогу, перешел на рысь. И Пуха — хвост колесом — заработала ногами, как наскипидаренная. Дом почуяла! Ну, а он куда спешит? Нет, он не забыл про сводку. Кузьма уже что-то перед самым отъездом дописал в нее. Размашисто, с остервенением. А потом зашил в бересту дратвой — не прочитаешь.

И вот эта проклятая береста всю дорогу шаркает у него за пазухой.

Что он там настрочил? Эх, если бы не сводка! Потерял — и дело с концом. А сводку... сводку нельзя. Сводку всегда ждут. Ждут в правлении, ждут в районе. За сводкой нарочного среди ночи на сенокос гоняют.

Но и везти бумагу, в которой тебя как последнюю сволочь расписали... На всю жизнь срамота! «А-а, это Володченко, который с пожни на себя доносы возил».

Поравнявшись с густой развесистой сосной, под которой свободно мог разместиться цыганский табор, Володька резко повернул коня.

Он вытащил из-за пазухи бересту, вспорол ножом швы. Мокрые, назябшие руки не слушались. Темно. Тогда он вырвал из лапы над головой клок сухой шасты — так называют древесный лишайник на Пинеге, — намотал ее на сухой сук и поджег.

Сводка
о ходе сенокошения на участке Шопотки.

Всего скошено...

Так, это не то... Он лихорадочно перевернул листок. Ага, вот и выработка по дням... Фролов, Фролов... Что такое? Его фамилия в ведомости. Не может быть!

Хватая ртом воздух, он вытер мокрым рукавом лицо, начал читать сверху.

29 июля

1. Антипин К. В. — 2,3 га.
2. Фролов В. М. — 1,8 га.

30 июля

Опять Фролов рядом с Антипиным, и опять цифры... А это? Ну, уж это черт знает что!

Антипин — 2,9 га, Фролов — 3,4 га.

Или это в тот день, когда он обскакал Кузьму? Было такое — сам Кузьма говорил...

1 августа

Погас огонь. Володька дул в дотлевающую шасту, дул до слез, чиркал отсыревшие спички — все напрасно. Тогда, страшно волнуясь (не прочитает самого главного), он сунул в обуглившуюся массу весь коробок. Целая вечность прошла, пока вспыхнуло пламя.

1 августа

1. Антипин К. В. — болезнь.

Правильно! Болел Кузьма. Вот человек — все начистоту, без утайки.

2. Фролов В. М. — 1,2 га.

Сбоку крупно: *«С полудня валял дурака».*

Что ж, вздохнул Володька, и это правильно.

За последний день против его фамилии стояли два слова: *«Злостная симуляция!»*

Внизу подпись: *К. Антипин.*

Потом приписка: *«Т. председатель! Сено гниет. Срочно гони бригадира с гуляками».*

И больше ничего. Ни единого слова!

6

Володька въехал в деревню вечером. В домах на всю улицу светились огни, из раскрытых окон летели песни, веселые голоса. В теплых новорожденных лужах, нежась под мелким сыпучим дождиком, плескались ребятишки. Заслышав топот коня, они лягушатами рассыпались по сторонам.

Володька, насквозь мокрый, ни на секунду не выпуская руки из-за пазухи — в ней он держал самое дорогое сокровище на свете! — проскакал к правлению колхоза. Лихо вбежав в контору, он выпалил с порога:

— Я сводку привез от Кузьмы Васильевича!

— Сводку? Ты бы еще ночью привез. Передай Антипину: в следующий раз за такие дела по партийной линии взгреем. Понял?

И председатель, даже не взглянув на сводку, которую бережно положил перед ним на стол Володька, схватился за ручку телефона.

«В район звонит, — подумал Володька. — Видно, начальство крепко намылило шею». Эх, много бы он дал сейчас, чтобы хоть одним глазком посмотреть, какое лицо у председателя будет, когда он сводку начнет читать! Но нельзя же, в конце концов, быть таким мальчишкой! И Володька, в последний раз взглянув на грязный, измятый листок — поаккуратнее надо было, — вышел.

На крыльце перед доской показателей он остановился.

Справа — общие цифры по бригадам, а елева по-

именно выписан каждый косильщик. Почетно! Недаром председатель на собрании назвал косильщиков сенокосной гвардией. И вот в эту гвардию завтра впишут его. А ну-ко, потеснитесь маленько. Дайте человеку встать на свое место...

Вдруг где-то совсем близко вспыхнула задорная частушка. Володька птицей взлетел на коня.

Нюрочку он узнал сразу — по лакированным сапожкам, блеснувшим в освещенной луже.

Поравнявшись с девушками, Володька вздернул коня на дыбы.

— Нюра, я там сводку привез!

— Чего? — рассмеялась Нюрочка, показывая свои белые зубы.

— Я говорю, сводку привез.

— Вот обрадовал. Не видала я сводок.

«Ничего, Нюрочка, — мысленно шептал Володька, провожая ее глазами. — Посмотрим, что завтра запоешь». Прибежит к председателю: «Тут ошибка, Евстигней Иванович. Антипин все перепутал. Володьке свое приписал». Э, нет, Анюточка, не ошибка. Ничего не поделаешь, придется тебе в свои книги вписывать, да еще и на стенку вывешивать. И это даже хорошо, что в сводке про лодырничанье сказано. По крайности, поверят.

— Володченко, ты ли это?

Володька оглянулся. К нему, выписывая пьяные восьмерки, медленно приближался Никита. Рубаха распояской, ворот расхлестнут...

— Никита, я сводку привез! — с прежним задором крикнул Володька.

— Сводку? А я думал, водку, — пьяно сострил Никита.

Володька разъярился:

— Это почему вы не приехали? Смотри, старая киса́, мы тебя с Кузьмой Васильевичем выведем на чистую воду. Ты у нас еще попляшешь...

Никита так и остался стоять с разинутым ртом посреди дороги.

— А что, в самом деле, — горячился Володька, погоняя коня. — Там сено гниет, а он гулянку развел. Нет, с этими порядочками надо кончать. Вот общее собрание будет, и он первый шумнет: хватит, побригадирил. Антипина предлагаю.

Собственно, заезжать к жене Кузьмы было незачем.

Кузьма ничего не наказывал. Но как это? Напарник приехал с сенокоса — и мимо. Не годится!

Марья, жена Кузьмы, худая черноглазая женщина на сносях, подтирала тряпкой пол. На полу были расставлены тазы, и в них с потолка капала вода.

Ребятишки — славненький такой бутуз, весь в Кузьму, и заплаканная девчушка — сидели на печи.

Володька подмигнул мальчику, сказал:

— Марья, Кузьма Васильевич поклон наказывал. Посмотри, говорит, как там мои...

— Поклон? — Марья тяжело выпрямилась. — Черт ли мне в его поклоне! Лучше бы он вместо поклона избу перекрыл. Утонули — живем.

— Понимаешь, — начал разъяснять Володька. — Он партийный...

— А партийному-то дом не нужен? Все — как люди, а он... Ну уж, я ему задам...

— Ну, ты губы-то не очень!..

— Что!

— Я говорю, губы-то подожми. Муха залетит. Мужик у тебя золото, а ты против него ворона бесхвостая. Понятно?..

Дома матери не было. На столе записка, крынка молока и граненый стакан, прикрытый ячменной лепешкой.

Володька приоткрыл стакан, понюхал: вино.

«...Ешь, пей, отдыхай, а это от меня праздничное. Меня вызвали на ночное дежурство...»

Володька скомкал записку. Знаем это ночное дежурство. Как праздник, так и ночное дежурство... Но спасибо и на том, что о праздничном вспомнила.

7

Когда он вышел из дому, дождь все еще моросил и был тот самый час, когда пьяное веселье, уже не вмещаясь в домах, вываливается на улицу. То тут, то там разнобойно горланили песни...

Возле клуба кипела людская мешанина. Всем хотелось попасть в помещение. Но старенький клубик не мог вместить и половины желающих. И вот толпа со смехом, с задорными, поощряющими друг друга выкриками, штурмом брала узкий проход на крыльцо. Давили, жали, откатывались и снова, развлекаясь и улюлюкая, устремлялись вперед.

Володька попал в самую середку толчеи, и его буквально на руках внесли в помещение.

В клубе, несмотря на то что все окна были раскрыты настежь, жара стояла не меньше, чем на покосе. И трудились тоже по-страдному. Пьяные бабенки, обливаясь пóтом, выколачивали пыль из каждой половицы. Некоторые резвились даже на сцене.

— Коля, Коля, быстрей! — выкрикивали плясуньи.

Володька, зажатый в углу у печки, с недобрым чувством смотрел на Кольку. То, что Колька сидел развалясь в цветнике девчат, — понятно. Гармонист. Но откуда у него взялась эта кожаная куртка? С молнией, с замочками на грудных карманах. Брат прислал из города?..

«Бабий час» кончился так же неожиданно, как и начался. Поскакали, повытрясли из себя дурь и валом хлынули вон.

В клубе стало просторнее. Уборщица Аксинья побрызгала на пол из графина. Кто-то за сценой завел патефон.

Танцы!

У девчонок от удовольствия заблестели глаза. Что ж, это им надо. Без разминки не могут.

К Нюрочке подошел высокий сутуловатый Гриня-левша. Володька не слышал, что сказала Нюрочка, но, судя по тому, как Гриня-левша, еще больше ссутулившись, попер на выход — «курить», как говорилось в этих случаях, был отказ.

Ах, если бы он умел танцевать! Мог бы пригласить. Конечно, мог бы. А почему нет? Вон какая морошка топчется, а он как-никак с самим Кузьмой тягается. И плевать, что ростом не вышел. Гриня-левша — каланча перед ним, а ушел несолоно хлебавши.

Пары кружились, а Нюрочка все еще сидела на скамейке. Нижнюю губку закусила, левый глаз прищурен — всегда так, когда не в духе.

Может, подойти ему? Неужели это такая хитрая штука перебирать ногами? И вдруг он увидел, как Нюрочка, разом просияв, вскочила на ноги...

«Надо уйти, надо уйти, — твердил себе Володька. — Чего он еще ждет?» Но он не уходил. К нему оборачивалась стоявшая впереди женщина, разъяренно шептала:

— Не дуй ты мне в шею. И без того жарко...

А он все стоял и стоял...

Нет, не то было обидно, что Нюрочка любезничает. Пускай — все девчонки такие. Но с этим типом? Неужели она не понимает, что это за дрянь? Колька наклонялся к ее раскрасневшемуся лицу, что-то шептал ей на ухо, и она визгливо на весь клуб смеялась...

Впоследствии он с трудом припоминал, как все это вышло. Кажется, когда кончился танец, он шагнул вперед, схватил Кольку за грудь, за эти блестящие замочки, которые все время звенели у него в ушах. Кажется, их окружили ребята. Единственно, что он хорошо запомнил, — это крик Нюрочки:

— Хулиган! Чудо горохово! Гоните его вон!

И именно в тот момент, когда он оглянулся на Нюрочку, его сбили с ног...

8

Пуха не любила праздников. Она не понимала, почему люди вдруг ни с того ни с сего начинали орать на всю деревню, падать, кататься по земле, а то и дубасить друг друга. Кроме того, в такие дни ей часто попадало и от людей и от злых собак, да и Володька почему-то не в меру сердился, когда она показывалась ему на глаза.

Но как отпустить одного Володьку?

И Пуха, не спуская глаз с него, бежала стороной, а если он останавливался где-нибудь, она прижималась к постройке, изгороди и оттуда наблюдала за ним.

В тех случаях, когда Володька заходил в клуб, она устраивалась в кошачьем лазе. Лаз этот, прорубленный в дверях зерносклада, был очень удобным местечком. В нем сухо, безопасно, а главное — из лаза видно крыльцо клуба.

Сегодня лаз оказался закрытым. Она понюхала доску, поскребла по ней когтями и задумалась. Не вернуться ли ей домой? Ведь она не такая уж молоденькая, чтобы мокнуть целую ночь под дождем, да и устала она сегодня очень.

Но в следующую минуту Пуха уже обнюхивала ближайший угол.

С крыши капало, хлопали двери на крыльце...

И все время, пока она усталым, прижмуренным глазом смотрела на входящих и выходящих людей (а вдруг появится Володька), ее не покидало какое-то смутное, тревожное беспокойство.

И вот случилось. На рассвете три здоровых парня вытащили Володьку из шумного дома и с руганью сволокли с крыльца. Пухе хотелось завыть от горя, броситься на обидчиков. Но она не посмела сделать ни того, ни другого. Кто знает, как посмотрит на это Володька? О, она знала, как непонятен бывал Володька. Кажется, старается, старается она, а он вдруг начинал зверель. И все-таки никогда еще так не жалела Пуха, что бог не дал ей волчьих зубов.

Прижавшись к стене, она с тоской следила за растрепанным, молча поднимающимся с земли Володькой.

Что он еще сотворит? Шел бы лучше домой.

И Володька, словно сообразуясь с ее желанием, побрел на главную улицу. У изгороди он остановился, сел на бревно, схватился руками за голову.

Вот теперь, наверно, можно и ей подать голос. Она оглянулась вокруг — одни они с Володькой на улице — и, приподняв кверху мордочку, тихонько тявкнула.

— Пуха, Пуха! — вскрикнул Володька и протянул к ней руки.

Его прорвало слезами, бурными, облегчающими. Нет, нет, он не один на свете. Есть же хоть одна животина, которая любит, понимает его. Он прижимал к себе присмиревшую, вздрагивающую Пуху и плакал, плакал, не стыдясь своих слез...

Утреннюю тишину взрывали охрипшие голоса запоздалых гуляк, последний жар вытряхивала гармошка в клубе. Но, странное дело, сейчас ему безразлично было, с кем танцует Нюрочка. Нет, он не раскаивался в том, что сцепился с Колькой. Глупо, конечно, ужасно глупо. Подумают еще, из-за этой Нюрочки... Но Колька — подлец, и он еще докажет это!

И как только он подумал об этом, ему вдруг припомнились слова Кузьмы: «Паскудный парнишка растет». И это было для него сейчас так неожиданно, так ново, что он вздрогнул.

Ах, какой он болван, какой болван! Как же он мог забыть про Кузьму! Весь вечер, всю ночь из-за какой-то ерунды разорялся, а о Кузьме, о Кузьме забыл...

Он вскочил на ноги и изумленными, широко раскрытыми глазами стал всматриваться в далекую неподвижную кромку лесов.

Там, где-то за этой кромкой, были Шопотки. И там сейчас вставало солнце.

Что делает теперь Кузьма? Спит? А может, вышел на воздух и так же вот, как он, смотрит на солнышко? Гниет сено, а он один... Да, да, надо ехать, сейчас же ехать!

По спящей деревне гулко затопали сапоги.

Володька миновал колхозную контору, взбежал на пригорок. У крыльца магазина валялся какой-то мужик.

Неужели Никита? Он. Нажрался, боров, храпит на всю улицу, а кругом хоть потоп...

Володька подошел к Никите, начал его расталкивать:

— Вставай! Бока-то еще не отболели?

Никита что-то промычал, пропахал землю носом и снова захрапел.

— Вставай, говорю. Не подрядился лежать-то!

Володька, стиснув зубы, тряс его за рубаху, задирал ему голову, переворачивал с боку на бок, как кряж, — все без толку.

— Нет, черта с два! — все более ожесточался Володька. — Я тебя заставлю встать. Ты думаешь, что... Так вот и будешь прохлаждаться, а там Кузьма... Сено...

Мокрый, тяжело дыша, он разогнулся, обежал глазами крыльцо, пустые ящики вдоль стены. Чем бы еще пронять этого дьявола?

И вдруг он увидел перед собой чугунный противопожарный брус, висевший на железных крючьях между двумя деревянными столбами. И, прежде чем он подумал, что делает, он подбежал к столбам, схватил железную палицу и, подпрыгнув, изо всей силы ударил.

Чугунный брус тяжело охнул и набатом загремел на всю деревню...

1961

МАМОНИХА

1

Приезд гостей застал тетку Груню явно врасплох — она выбежала на крыльцо босиком, без платка, в старом-престаром сарафанишке аглицкого ситца, какой, бывало, надевала по великим праздникам.

— О, о, кто приехал-то! — запричитала она по-родному, окая, врастяг. — А я ведь думала, уж и ты передумал.

Мокрый от старушечьих поцелуев и слез, Клавдий Иванович шагнул в желанную прохладу нетопленой избы (тридцать градусов в одиннадцать утра было!), и тут все разом разъяснилось: брат и сестра не приедут — тетка две телеграммы подала ему. На Никодима, как было сказано в телеграмме, неожиданно свалилась важная командировка, а у Татьяны — тоже неожиданно — заболел сын.

Клавдию Ивановичу обидно было до слез. Ведь договаривались же, списывались: нынешним летом собраться под родной отцовской крышей — больше десяти лет не виделись друг с другом. А потом, надо было что-то решать и с самим домом — тетка Груня в каждом письме плакалась: разорили охотники да пастухи ваше строенье, одни стены остались, да и тех скоро не будет.

У Клавдия Ивановича было отходчивое сердце, и сам он быстро справился с собой. Ну не приедут и не приедут — что поделаешь? Чего не бывает в жизни? Но жена.... Как все это объяснить, втолковать жене?

Полина последние три месяца, можно сказать, только тем и занималась, что шила платья да всякие там женские штуковины — не хотелось ударить лицом в грязь перед столичными. И сколько она денег на это добро извела, так это страшно и выговорить. И вот нá тебе — все зря.

Первые минуты за столом сидели как на похоронах. Всех — и тетку, и грузную соседку Федотовну, которая приплелась посмотреть на дальних гостей, и, ко-

нечно, самого Клавдия Ивановича, — всех замораживал мрачный вид Полины.

Оттаяла она немного лишь после того, как пропустили по второму колокольчику.

Тут сразу с облегчением вздохнувший Клавдий Иванович скинул теснившие ногу туфли, снял запотелые носки и начал босиком расхаживать по некрашеному, льняному полу — сколько уж лет не чувствовал под ногой певучей деревянной половицы!

— Походи, походи, Клавдий Иванович, — одобрительно закивала тетка. — Вишь вот, ты в отца ногой-то. У того, бывало, нога не терпела неволи. В чей дом ни зайдет — в свой, в чужой, а первым делом долой сапог да валенок, иначе ему и жизнь не в жизнь...

— Да ведь не зря босым и звали, — подковырнула Федотовна.

Тетка стеной встала за покойного брата. Дескать, верно, босым звали — у кого раньше прозвища не было, да не босым жил. Ну-ко, кто такое житье имел? Кто в колхоз столько добра сдал? Корову, быка-двухлетка, да кобылу в самой поре, да жеребца выездного, да трои сани, да две телеги...

— Нет, нет, — отрезала тетка, — не по прозвищу величали Ивана Артемьевича, а по фамилии. А фамилья у нас, Устинья Федотовна, сама за себя говорит: Сытины. — И вдруг горько расплакалась. — Все, боле, Клавдя, нету нашей Мамонихи. Одни медведи теперека живут да еще Соха-горбунья мается.

— Соха-горбунья? Она жива?

— Жива, жива. Всю зиму, бедная, из халупы не вылазит, как в берлоге сидит.

— Давай дак не рыдай, — строго заметила Федотовна. — Нашла о ком плакать. Мало у ей помощников-то...

— Это у Сохи-то помощники?

— А чо? Всю жизнь лешаки да бесы служат, вся погань, вся нечисть у ей на побегушках.

— Не говори чего не надо-то. Всего можно на человека наговорить.

— Да ты где, в каких краях-то выросла?

Разговор становился шумным, крикливым: обе старухи — и тетка, и Федотовна — всю жизнь вот так, ни за что не уступят друг дружке, и Клавдий Иванович с тревогой начал поглядывать на неплотно прикрытую

дверь на другую половину, куда незадолго до этого ушла передохнуть Полина с сыном.

Тетка на это чуть заметно покачала головой: не нравилось ей, что племянник под пятой у жены, да, похоже, и Федотовна кое-какую зарубку в своей большой мужикоподобной голове сделала — больно уж сочувственно поглядела на него. Но Клавдий Иванович и ухом не повел. Пускай себе думают, что хотят. Разве они знают, сколько мук приняли Полина и Виктор за дорогу! Целые сутки парились-душились в поезде, да сутки без мала сидели на областном аэродроме, да этот районный автобус, будь он неладен: жара, духота, давка, пылища — рот затыкает...

Спасение пришло от какой-то сопленосой девчушки. Девчушка вдруг закричала под раскрытым окошком:

— Федотовна, чего расселася как баржа! Коза у тебя в огороде благим матом орет, вокруг кола запуталась.

— Манька? — Старуха живо вскочила на ноги. — Да пошто запуталась-то? Я токо-токо была у ей. — И вскоре уже, шумно дыша, затопала под окошками.

Когда она наконец выгреблась из заулка, тетка со вздохом сказала:

— Тепере по всему Резанову расславит. Наплетет с три короба.

— А чего ей плести-то?

Тетка обиженно поджала губы: мол, чего в пряткито играть. Не знаешь разве Федотовну? И разговор перевела на дом:

— Продавать вам надо свою вотчину, покудова пастухи да охотники не спалили. Я весной была — огневище в передней-то избе. Сколько-то камешков, кирпичиков на пол брошено, а на них уголье.

— Да разве печи в избе нету? — вознегодовал Клавдий Иванович.

— А в печи-то неинтересно. А тут бутылка в хайло и огоничком припекает. Как на курорте. Злыдень, злыдень пошел народ. Совсем образ потерял. — И тетка опять принялась толковать про продажу дома.

— А покупатели-то найдутся? — спросил Клавдий Иванович. — Я от райцентра сюда ехал — этого добра, домов нежилых-то, в каждой деревне навалом.

— То старье, дрова. А которые получше да покрепче, те подбирают. У нас Геннадий Матвеевич большие деньги загребает. Сколько уж домов на станцию да в

район свез. Был тут как-то. Напиши, говорит, своим умникам, это вам-то: сколько, говорит, еще дом будут мурыжить? Але ждут, когда по ветру пустят? Да он сам и пустит — рука не дрогнет. Знаешь ведь, какого роду-племени.

— Чего-то я, тета, не пойму, о ком ты... — пожал плечами Клавдий Иванович.

— Давай дак чего понимать-то! — загорячилась старуха. — Геха-маз. Матюги-быка сын.

— Да ну! Геха-бык здесь? — Клавдия Ивановича прошибло слезой, и он не стыдился ее: вместе на одной улице росли, вместе в одну школу бегали, вместе в армию в один день призывались... Да разве все перечислишь?

— Здесь, здесь, — сказала тетка. — Только быком-то ноне не зовут — сам прозвище себе заробил. На грузовике ездит, МАЗ называется — страсть какой зверь. Мимо-то идет-едет — у меня дом дрожмя дрожит от страху. Вот «маз»-от этот и переборол отцовскую кличку. Нынче про «быка»-то никто и не вспомнит.

Тетка, слегка прищурив глаза, вытянула старую белую шею в сторону раскрытого окна.

— В деревню-то въезжали — видел дворец-то каменный, там, где ране дом лесничего был? Ну дак то Геннадия Матвеевича владенья. Да, ни у кого отродясь в Резанове каменных хором не бывало, да и в других деревнях не помню, а он вот, на-ко, построил. Самого лесничего, барина, переплюнул, а про кулаченых, я про тех уж и не говорю — голяки против его. Всех, всех под себя подмял. И людей, и леса. Машинный человек, вся жизнь у его в руках.

— Надо будет как-нибудь заглянуть, — сказал Клавдий Иванович.

— Да не как-нибудь, — возразила тетка, — а сегодня же, сию минуту, ежели хочешь поскорей домой попасть. А то уедет на сенокос але еще куда — ищи его тогда.

2

Резаново для Клавдия Ивановича было второй родиной. К тетке Груне его начали возить чуть ли не с пеленок, и мог ли он сейчас, выйдя на улицу, удержаться от того, чтобы не обежать деревню, хотя бы ее верхний конец?

Не далеко, не далеко ушагало Резаново от тех деревень, которыми они сегодня проезжали. Нового дома — ни одного на весь конец, а старые разваливались на глазах. Один клюнул наперед, другой скосило набок, у третьего крыша провалилась — верблюд, да и только, а четвертый без окон, без дверей — как сарай... И где бывалошные огороды при домах? Где овцы, которые всегда в жару серыми да черными валунами лежали под окошками, в тени у старых бань, пропахших дымом да банным листом?

Но особенно не по себе стало Клавдию Ивановичу, когда он свернул на задворки да увидел развороченные, распиленные на дрова дворы, в которых раньше держали скот... В сорок седьмом он пастушил в Резанове — сорок три коровы было в верхнем конце у колхозников, а теперь сколько? Неужели ни одной?

Тучи, собравшиеся на сердце, немного разогнала тетка Груня. Старинной выделки человек! Долго ли он огибал верхний конец деревни? Минут десять-пятнадцать, ну от силы двадцать, а старуха уж тюкала косой в своем огородишке на задах.

— Коса-то налажена? — весело окликнул ее Клавдий Иванович.

Аграфена Артемьевна не отозвалась. Она вся была в работе. И как для истинно набожного человека во время молитвы ничего не существует вокруг, так не существовало сейчас ничего и для нее.

Знакомой-презнакомой тропинкой Клавдий Иванович обогнул остатки старой конюшни, прорысил мимо зернотока, и вот он, белокаменный домина на отшибе, который давеча из автобуса он принял было за новую больницу.

Место Клавдию Ивановичу было хорошо знакомо. Тут раньше был баринов сад, дремучие заросли черемухи и рябины, и осенью они, школьники, бегали сюда каждую перемену — невпроворот было сладкой да кислой ягоды.

Сейчас от старого сада остались разве старые развесистые березы, да и те были на задах, а спереди дома ни единого деревца, и голые окна ярко, как прожектора, полыхали на солнце.

Клавдий Иванович прикрыл ладонью глаза, бегло скользнул взглядом по машинам (на виду, под самыми окошками, и трактор, и грузовик) и просто ахнул, когда

увидел въездные ворота слева — высокие, окованные, выкрашенные зеленой краской, с козырьком.

Да неужели это он все сам сделал? Когда же у него прорезались такие таланты?

Отец Гехи, Матюга-бык, был лодырь, каких свет не видал. Слыхано ли, к примеру, чтобы в деревне, где лес тебе на каждом шагу на пятки наступает, без дров жить? А быки жили. И Клавдий Иванович хоть и совсем сопленосым ребятенком до войны был, а запомнил, как Маша-ягодка, мать Гехи, однажды утром приперлась к ним со слезной мольбой: дайте охапку дров — печь затопить нечем, ребята замерзают.

Геха по части лени, может, и уступал сколько-то отцу, но по части упрямства наверняка обскакал родителя. После войны, бывало, бригадир чем-либо не угодит — и день, и два, и три дома лежит. Ничем не своротишь. Ни уговорами, ни силой. Да по силе ему из молодняка и равных в Мамонихе не было. Как только встал на ноги, так и начал гвоздить сверстников направо и налево: неси пирога, неси яиц, ежели жить хочешь. А с годами он и вовсе обнаглел — даже со старух подать взыскивал. Закатится это середь бела дня в избу, сядет к столу: «Екимовна, у тебя морковка ничего растет?» — «Ничего чур быть». — «Ну дак нынешней ночью ребята вытопчут». — «Да пошто вытопчут-то? Што я им худого исделала?» — «А уж не знаю чего. Только разговор такой был. А ежели не хочешь, чтобы вытоптали, неси крынку молока. Я покараулю». И Екимовна — что делать — несла.

Хозяин выскочил из дома, когда Клавдий Иванович еще и близко к дому не подошел: пес залаял. Выскочил, крикнул черно-белому, чуть ли не с теленка кобелю: брысь, сатана! — и пошел навстречу, широко, на целую сажень раскинув руки.

— Клавдюха, да неужто ты? А я гляжу из своего овина, — вялый, с напускной пренебрежительностью кивок на дом, — кто бы это, думаю? Идет и во все глаза глядит на мой сарай. А потом: да ведь это же из Мамонихи, нашенский — вишь, ухи красные и оба с дыркой.

Тут Геха хохотнул — целая пасть желтых, прокуренных зубов, один крепче другого, взыграла на солнце.

— Ну, ну, здорово! Поминала тут как-то Грунька: гостей жду...

На мгновение у Клавдия Ивановича перехватило

дух — по-медвежьи, обеими руками, облапил, приподнял над землей.

— Так, так, приехал, значит? Это ж сколько же лет ты не заглядывал в родные края? Ну и сердце у тебя... А я слабак, слабак! Я три года отмолотил в Германии — и шабаш. Никакие города-разгорода не надо. Домой! Ко своим куликам на болото. А ты, поди, там, в южных краях, как на курорте живешь? Груши, виноград, всякая разлюли-малина... Так? Самим немцам перо в мягкое место вставил? А?

— Виноград у нас не растет. Да и вообще... — Клавдий Иванович махнул рукой. — Какой там курорт, когда цементный завод под боком! Огородишко и тот еле-еле дышит...

— Да ну! — страшно удивился Геха и тотчас же самодовольно заулыбался. — Тады, — он явно косноязычил, — пойдем, ежели не возражаешь, на мою бедность глянем.

Взбрякала железная щеколда — Геха пропустил вперед гостя. И тут новая собака, точно такой же масти, как первая, гремя цепью, кинулась на Клавдия Ивановича.

Геха пинком отбросил ее в сторону.

— Сволочь! Нашла время усердие показывать! Не видишь — с хозяином?

— Сколько же их у тебя? — спросил Клавдий Иванович, когда немного пришел в себя.

— Собак-то? Три. Есть еще одна для охоты. Балуюсь иной раз. А это так, для бреха.

Клавдий Иванович кивнул на дырявую алюминиевую миску, в которой валялись остатки собачьей еды — две старые картофелины, нечищеные, без всякой приправы.

— Она от голоду у тебя на людей кидается. Неужели ты ее одной картошкой старой кормишь?

— Голова! Накорми ее не старой-то, она лежать будет. А мне надо, чтобы она волком голодным рыскала. Чтобы ни один ворюга сюда не сунулся. Усек? — И тут Геха горделивым, хозяйским движением руки описал перед собой широкое полукружье.

Клавдий Иванович ахнул. Сад! Да еще и сад-то какой! Яблони, груши, сливы, кустарники со всякой ягодой...

— Тянемся помаленьку! — сказал Геха. — Так сказать, наглядный пример по сравнению с довоенным. У барина тут что было? Одна ерундистика. Так? А кли-

мат, между прочим, позволяет. Я в Прибалтике и Германии служил — не так чтобы сто очков нам. Может, зима только помягче. Хорошо. Мы зимой шубы носим, а почему для яблони нельзя какую-нибудь лопотину обмозговать? Мало соломы да тряпья всякого?

Геха не спеша водил его от одного плодового дерева к другому, показывал кусты крыжовника, черноплодки, малины, смородины, таскал по грядкам с клубникой, огурцами и помидорами, и Клавдий Иванович не мог скрыть своего восхищения. Везде, во всем образцовый порядок! Ни единого сорняка, ни одного клочка пустующей земли. Все разделано, разрисовано — руками, граблями, солнцем, известью — не сад, а картина.

Но самой большой гордостью хозяина была пасека — штук пятнадцать ульев в виде крохотных разноцветных домиков, расставленных на задах сада вдоль высокого забора.

С довольной ухмылкой вслушиваясь в пчелиный гул, Геха заметил:

— Ничего поют, а? Ну, возни много. Особенно зимой. Но оправдывает. В цене у нас медок.

Клавдия Ивановича — он, задрав голову, вглядывался в буйно цветущие липы вдоль забора — вдруг озарила догадка.

— Так это ты специально и липы для пчел посадил?

— А то! Барин тут, бывало, натыкал черемух да рябин, а какой в них толк? Ну, пахнут, ну, мусорят. А мне надо, раз я скотинку с крылышками задумал, чтобы корм под рукой был. Но корм кормом, — сказал Геха и подмигнул, — а я еще одну нагрузку для липы дал. В общем, как говорится, сразу два хомута надел.

— Два хомута? — переспросил Клавдий Иванович.

— А как же! В этом-то вся и штука. Так сказать, рационализация по первому классу. — Геха подвел его к ближайшей липе. — Пчелок она кормит, это ты усек — так? А кто же забор держит?

Да, да, да! Высоченный забор из островерхих досок, обвитых колючей проволокой, держался на стволах лип и тополей. В общем, такого живого забора Клавдий Иванович еще в жизни своей не видал, и от удивления он только головой покачивал.

Геха торжествовал:

— Одобряешь, значит, мое рацпредложение? Подходяще? Ха-ха! Помнишь, у нас, бывало, Оська-копыто

все хотел медведя с коровой случить. Чтобы зимой, значит, без корма скотина жила. Ну дак я по его стопам пошел.

Хорошо было в саду! Пятнистая тень, солнце и воздух — не надышишься. Но пора было подумать и о деле. Куда там! Геха и слышать не хотел ни о каких делах. Столько-то лет не виделись, да что он, турок какой, чтобы своего земляка да еще корешка так отпустить из дома!

Одним словом, пошли в дом. И тут новый начался смотр. Просторная веранда с крашеным полом, вместительные сени с кладовкой, прихожая, кухня, передние комнаты....

Хоромы барина, стоявшие на этом месте, сожгли местные сопливые революционеры еще в гражданскую войну, задолго до появления на свет Клавдия Ивановича, но были ли они лучше и богаче Гехиного дома — это еще вопрос. По крайней мере, Клавдий Иванович в этом не был уверен.

— Я, — высказался сам Геха по этому поводу, — решил крест на дереве поставить. А что? У немцев вон все дома каменные, а мы, победители, в каких-то деревянных хлевушках живем. Нет, пора кончать с деревянной Русью — правильно я говорю?

— Правильно-то правильно, — сказал Клавдий Иванович, — да ведь кирпич-то каких денег стоит. Да и где он у нас?

— А это уж поворачиваться надо. Будешь поворачиваться, и кирпич будет. И копейка не из кармана, а в карман покатится.

Хозяйка, не в пример мужу, худющая, неразговорчивая, с каким-то постным лицом, тем временем схлопотала закусить, и Клавдий Иванович, как только пропустили по стопке, опять заговорил о своем деле, то есть о машине.

На этот раз Геха выслушал его до конца.

— Нет, — коротко качнул головой, — сегодня не могу. Сегодня ко мне из района начальство обещалось приехать, а может, еще и из области кое-кто будет. На рыбалку везти надо. А вот завтра-послезавтра в любое время. Да чего ты в эту дыру рвешься? Погости у нас. Ежели у тетки не нравится, давай ко мне. По-моему, у меня жилплощадь позволяет, а?

— Первую ночь хочу в отцовском доме ночевать.

Геха снисходительно улыбнулся.

— Эх, ты, голова два уха! Ничему, вижу, жизнь не научила. Ну, ну, валяй! Комары там давно скучают по тебе.

3

Клавдий Иванович надумал добираться своим ходом.

Для вещишек у тетки в сарае нашлась старая двухколесная тележка, на каких еще в его времена колхозники возили для себя дрова, сено и всякую всячину. А сами они разве без ног? Да это же одно удовольствие пробежаться по лесу в такую сушь, как нынешняя!

Правда, Полина, когда он заговорил об этом, взвилась было на дыбы. Как! Мало они натерпелись за эти дни, так еще по лесам, по болотам, пробежки делать! Да пропади пропадом и вся ваша Мамониха, коли на то пошло!

Но тетка быстро вразумила ее.

— Я не знаю, Полина Фоминишна, — сказала строго и чинно тетка, — может, в ваших местах и принято на мужиках ездить, а у нас уж ты, матушка, потерпи. У нас, у Сытиных, мужик всему голова. И ты ежели не ради самого мужа, дак ради людей не срами его. Приехал из-за тридевяти земель и на-ко — семь верст до родительского дому не дошел. Да что люди-то скажут?

И вот выступили в поход. Полина и Виктор, понятно, налегке, а он с тележкой. Легко впрягся, даже с каким-то интересом. Ну-ко вспомним старые времена. Бывало, лошади в колхозе не допросишься, по месяцам ходишь в оглоблях.

Но Полину именно тележка-то пуще всего и выводила из себя. Потому что какой же порядочный человек впряжется сегодня в колымагу! Да будь с ними Никодим, они бы не просто на машине ехали, а еще бы и с почетом — в сопровождении самого директора совхоза, а то и покрупнее шишки.

Клавдий Иванович из кожи лез, чтобы хоть немного развеселить жену. Он то и дело кивал на залитый солнцем сосняк, которым шла дорога («Смотрите, смотрите! Как в кино красота!»), рассказывал о том, как бегал по этой дороге, когда учился в резановской семилетке, соблазнял жену и сына земляникой («Ну-ко, подайтесь немножко в сторону! Разве не чуете, как пахнет?») — все бесполезно. Полина шагала впереди, ни разу не

обернувшись к нему, — красивая, полнотелая, рыжие волосы вразброс по широкой, с желобом спине, а Виктор, тот, похоже, совсем раскис. Десять лет парню, собачонкой бы надо бегать да виться вокруг, а он — пых-пых. Употел, ужарел — хуже старика. А все мамочкины пончики. Сколько раз он говорил: нельзя закармливать ребенка. В школе ест, дома ест, к матери в садик придет — есть, вот его и развезло...

По сторонам стали попадаться первые ели и березы, первые комарики заныли над головой — приближались сырые места.

— Тут маленько дорога помягче будет, — предупредил Клавдий Иванович, — но это ничего, сухо сей год.

Молча, как неживые, перевалили за Тошкин холм, где когда-то зимой, по рассказам, замерз пьяный мужик из Мамонихи, и уперлись в густой темный ельник.

Полина и Виктор остановились как вкопанные.

— Ну чего там еще? — бодрым голосом крикнул шагавший сзади Клавдий Иванович. — Медведя увидели?

Он с удовольствием выпустил из горевших ладоней рукоятки тележки и, на ходу заправляя рукой потные, растрепавшиеся волосы, подошел к жене и сыну,

Грязь. Черная, крутая, как вар, — во всю дорогу.

— Теперь ты понял, почему у твоей сестры срочно заболел ребенок, а брата твоего в срочную командировку угнали?

Клавдий Иванович, избегая сердитого взгляда жены, виновато сказал:

— Раньше тут в это время никакой грязи не было. Это, вишь, трактор дорогу размял.

— Спасибо, утешил! — фыркнула Полина и начала снимать туфли.

Виктор захныкал:

— Мам, неужели туда пойдем?

— Эх ты, герой! Да тут и грязи-то с гулькин нос, а ежели обочиной, то как по асфальту. Смотри ведь, какая сушина.

Все это, понятно, Клавдий Иванович говорил не столько для сына, сколько для жены, но разве Полина когда слушала его?

Туфли в руку и прямо в грязь.

— Ма-ма-а! — заорал на весь лес Виктор.

А мама — знать никого не хочу! — хлоп-хлоп по середке дороги. Как перегруженная лошадь. В теле баба.

И в конце концов Клавдий Иванович подхватил на

руки орущего, насмерть перепуганного сына перенес его по боковой тропке за грязь (сухо было, как он и думал, даже туфель не замочил), а потом перетащил вещишки, переволок тележку.

Дорога, слава богу, опять мало-помалу наладилась, начались пахучие воронихинские папоротники, а затем и сам Воронихин ручей голос подал. Как журавлик весенний прокурлыкал — радостно, взахлеб: узнал, наверно.

На зеленом, ласковом бережку они сели передохнуть — тут исстари все, кто идет из Резанова, отдыхают. Напились, умылись, обмыли ноги. Полина и Виктор даже с едой разобрались. А ему не шла на ум никакая еда. Он как услыхал этот с детства знакомый говор ручья, так больше и думать ни о чем не мог.

«Домой, домой!» — выговаривал ручей, и в конце концов Клавдий Иванович не выдержал, вскочил на ноги.

— Вы не торопитесь. Идите потихоньку — тут рядом Мамониха, а я покамест разведку боем сделаю.

И вот — неслыханное дело — бросил посреди незнакомого леса жену с сыном, а сам вперед, вперед. Как мальчишка, как самый распоследний дурак.

Опомнился, когда вкатился в первые поля Мамонихи, а вернее, в осинник.

Да, лежат на земле остатки въездных ворот, ходят, как прежде, высоко в небе во все крыло распластанные ястребы, а где поля, где пашни, которые он когда-то пахал и боронил?

Полей нет. На полях шумит и лопочет густо разросшийся осинник.

4

У Сытиных был заведен обычай: родился в семье ребенок — сажай дерево под окошками.

Так в разное время были посажены кедр Никодим, березка Татьяна, рябина Марья, черемуха Анна (последние обе умерли в детстве), и только оскребышок, то есть Клавдий Иванович, остался без зеленой отметины на земле. Потому что он появился на свет в тридцать третьем году, когда люди умирали с голоду, и до игры ли, до забавы ли было отцу?

Упущение хозяина исправила мать, когда Клавдий Иванович был уже в армии. Незадолго до своей смерти

мать написала ему, что у него теперь тоже есть свое дерево возле родительского дома — тополек.

И вот первое, что увидел сейчас Клавдий Иванович, подходя к родному дому, был тот самый тополек. Вымахал, разросся, всех задавил: и кедр, и березу, и рябину, и черемуху. Просто зеленый богатырь над домом — рокотом, тополиной песней встретил их.

Зато уж сам дом не сразу и признаешь. Боковой избы, в которой зимой жили, когда морозили тараканов, нет, хлев и сарай порушены, крыша с крыльца сорвана. А что делалось внутри дома! Он думал, ради красного словца давеча шерстила тетка пастухов. Нет, правда: черное огневище посреди избы. Не поленились — кирпичи притащили с улицы, на полу очаг выложили. Потому что в печи-то дрова запалить и дурак сумеет, а ты вот догадайся без печи избу вытопить!

Мать, бывало, в самые трудные времена, когда с голоду пухли, выгребала на каждую пасху грязь из избы. Надраит, наскоблит сосновый потолок и сосновые стены — в самую непогодь в избе солнце. А сейчас изба как черная баня: все просмолено, все в черной саже.

Несколько привлекательнее выглядела другая половина. Тут уцелела старинная никелированная кровать, на которой спал еще дед Артемий, стол, и еще сразу бросилось Клавдию Ивановичу в глаза железное кольцо в потолке. Кольцо, в котором висел березовый очеп с его зыбкой.

— Вот как отец-то у тебя, Виктор, рос... В зыбке качался... — начал было объяснять Клавдий Иванович сыну и вдруг всхлипнул.

Полина рассудительно заметила:

— Может, сперва делом займемся, а потом про зыбки-то рассказывать.

Да, да, да, спохватился Клавдий Иванович. Дел у них невпроворот. Четыре часа пополудни, а сколько им надо перелопатить всякой всячины!

Перво-наперво выгребли самую большую грязь из избы да затопили печи — веселее, даже в жару веселее, когда жилым в доме пахнет. Потом Клавдий Иванович принес от зарода (рядом, за домом стоял) охапку сена. Для постелей. Сено свеженькое, душистое, нынешнего укоса — эх, хорошо будет спать!

— Не носи покуда в дом-то, — встретила его у крыльца жена с ведром в руке (где только и раздобыла), с подоткнутым подолом.

— Да ты никак полы мыть надумала?

— А то. Неуж в грязи будем жить? — И пошагала к колодцу.

Колодец у них был с журавлем, про какие в Полининых степных краях и слыхом не слыхали, и Клавдий Иванович крикнул:

— Подожди, я помогу!

Но Полина и не подумала ждать его. С ходу обеими руками ухватилась за шест и давай, и давай загружать деревянное ведро.

— А мне что делать? — весело, с задором крикнул Клавдий Иванович. Крикнул только для того, чтобы поскорее в семье водворилось окончательное согласие.

— А ты траву выкоси! — миролюбиво сказала Полина.

— Есть траву выкосить!

Клавдий Иванович схватил стоявшую возле крыльца, еще давеча отысканную на повети и наточенную старую косу, и пошел гвоздить направо и налево.

На траву не смотрел (сроду в ладах с крестьянской работой) и на Виктора, захныкавшего где-то сзади, не обращал внимания. Равнение только на жену!

5

У Клавдия Ивановича на работе — а он пятнадцать лет без мала бригадирил в тепличноовощном хозяйстве завода — частенько заходили разговоры: надоела старая заигранная пластинка, хорошо бы вспомнить молодость, приударить за свеженькой. И ударяли. После выходного то один, то другой, то третий выхвалялся своими встречами на стороне.

Клавдий Иванович этого не понимал. Для него в жизни не было большей радости, чем видеть свою жену, смотреть, как она управляется с домашними делами: варит, стряпает, моет полы, шьет, а когда он, вернувшись домой позже обычного, заставал ее в постели — румяную, разогретую, с рыжими, распущенными по белоснежной подушке волосами, он просто возносился на небеса.

В дом Полины он попал вместе со своим сослуживцем Борисом Огаровым, и, помнится, когда они первый раз оказались у нее в комнате — чистой, светлой, с цветами, с белой, как рождественский сугроб, кроватью, над которой висел вышитый коврик — олениха с оленен-

ком, — у него захватило дух: ничего в жизни краше не видел. И уж, само собой, насчет молодой хозяйки он никаких планов не строил. Куда там — такая красавица! Да и у Бориса губа не дура — сразу стал чертом увиваться. А что он перед Борисом? Мешок с картошкой, цыпленок против орла!

Нет, нет, он уж и тем доволен был, что в те нечастые дни, когда получал увольнительную, мог заходить в этот дом, посидеть в этом раю.

Правда, сидел-то он немного. Борис каждый раз еще дорогой предупреждал его: «Создай мне обстановочку». То есть поменьше торчи возле них с Полиной. А потом, ему и самому как-то неловко было сидеть без дела. Мать у Полины больна, брат да сестра малые, сама Полина на части разрывается, чтобы заработать лишнюю копейку — всегда с шитьем, всегда с вязаньем, а ведь было еще хозяйство: огородишко, поросенок, куры, дрова. И вот у них с Борисом быстро распределились обязанности: Борис с Полиной в комнате — развлекает ее, зубы заговаривает, а он, Клавдий Иванович, то с дровами возится, то в огородишке копается, то хлев для поросенка ладит, то еще чего. И Полину он обычно только и видел, когда заглядывал в дом перед уходом да еще когда она выходила к нему, чтобы взглянуть на его работу.

Однажды, примерно за месяц до демобилизации, Борис сказал Клавдию Ивановичу:

— Поработай сегодня над своим видиком. Я Полину на арбордаж брать буду.

Ну что ж, подумал Клавдий Иванович, так оно и должно было все кончиться — ихней свадьбой. Ведь это же круглым идиотом быть надо, чтобы упустить такую девку!

Пошли. Взяли две бутылки вина (одну даже шампанского), торт, цветы.

Борис, едва зашли в дом, с ходу: так и так, мол, дорогая Полина, один хомут скоро сымаю, хочу надеть другой, то есть выходи за меня замуж.

Полина на это усмехнулась, потом вдруг вся посерьезнела и покачала головой:

— Нет, Борис, за тебя замуж не пойду, а вот за Клавдия пошла бы.

Свадьба была скромная, тихая. Брат Никодим и сестра Татьяна не приехали, а родственникам Полины Клавдий Иванович не понравился. И он понимал поче-

му: больно уж жалок, больно уж невзрачен был он в своей новой, не по росту длинной солдатской гимнастерке по сравнению с пышной, как яблоня в цвету, красавицей невестой.

Полина под конец, видно, тоже одумалась, и когда они остались вдвоем, разревелась навзрыд. И это была самая ужасная минута в его жизни. За все без мала сорок лет.

6

Быстро, за каких-нибудь три часа привели дом в божеский вид. Во всяком случае, на первое время было где прислонить голову, укрыться от дождя и от комаров. А это — главное. Все остальное образуется постепенно.

Довольные, счастливые (даже Виктор перестал скулить) Сытины сели за свой первый ужин в Мамонихе.

— Ну как, Виктор, — пошутил Клавдий Иванович, — хорошо ест тот, кто хорошо поработает?

— Ага, — ответил Виктор, с аппетитом, за обе щеки уминая свежий огурец — из тех, что дала тетка Груня.

Сам Клавдий Иванович тоже ел с удовольствием, но в мыслях давно уже был на деревне (это ведь бог знает что — сколько уже часов на мамониховской земле, а в самой Мамонихе еще и не был), и в конце концов вскочил, даже не допив стакана чая.

— Вы как хотите, а я больше не могу. Должен пробежаться по деревне.

Виктор, к немалому удивлению его, тоже увязался за отцом.

Усадьба Сытиных стояла на отшибе, и на деревню раньше вела торная, хорошо наезженная дорога. А сейчас? Клавдий Иванович сунулся туда-сюда — нет дороги. Повсюду какая-то реденькая, худосочная ржица вперемежку с жирным, уже остаревшим пыреем. «Наверно, тут поле раньше было, а это самосев», — подумал Клавдий Иванович и побрел напрямик к первому дому.

Первый дом принадлежал Павлу Васильевичу, Лидиному отцу, и Клавдий Иванович, как только увидел старинные двухэтажные хоромы с белыми кружевными наличниками, слегка подрумяненными вечерним солнцем, так сразу и забарахтался в заводях прошлого. Все вспомнил. Вспомнил, как в детстве они с Лидой

наперегонки — зимой, босиком — бегали друг к другу в гости, вспомнил, как позднее он был влюблен в Лиду и как Лида зло высмеивала его в частушках...

После войны всех парней из Мамонихи взяли в армию — кривых, косоглазых, беспалых, кого не в строевые войска, так в железнодорожные, в стройбаты, а его забраковали. Недомерок. Ростом не вышел.

И Лида первая запела:

Ой, ребята-кавалеры,
Отодвиньтеся от нас:
Мой миленок всех пониже,
Мне не видно из-за вас.

А как потешалась, как издевалась та же Лида над ним, когда его отправили на откормочный пункт! Были такие после войны для призывников. Специально ставили на откорм тех, кого особенно ушибла война, кто не вышел телом. Подобно тому как в колхозах ставили на откорм телят, которых нужно было сдать в госзакуп.

Но дело, конечно, не в унижениях, не в позоре, который он пережил тогда, — все это теперь в прошлом. А что стало с Лидой? Где она сейчас? Как сложилась ее жизнь? Ведь та же самая Лида, когда он уже кончал службу в армии и был женихом Полины, какое письмо прислала ему?

«Клавдя, я до краю больше дожила в этой Мамонихе, скоро весь свет белый прокляну. А у тебя паспорт теперь будет, вывези меня, бога ради, отсюда — хоть женой, хоть так — я на все согласна».

Дом Павла Васильевича был еще сносный, вполне годявый для житья, но что поразило Клавдия Ивановича — незаколоченные окошки с выбитыми стеклами. И он живо представил себе, как уезжала Лида из родного дома. До того, видно, все опостылело, все обрыдло, что даже окон не заколотила.

— Пап, — тихо и оробело заговорил Виктор (должно быть, и ему не по себе стало при виде пустых, черных глазниц), — а чего это растет? — Он указал на крапиву, которая высокой стеной, как ельник, окружала крыльцо.

— Крапива.

— А у нас дома не такая.

— Поменьше, хочешь сказать? Так ведь эта крапива, знаешь, что тут делает? Вход в дом злым людям преграждает.

— Да? — Виктор внимательно посмотрел на отца и взял его за руку.

С этой минуты они так — рука в руке — и шли по мертвой Мамонихе. Шли вдоль домов высокой, слегка выброженной и присохшей травой.

И молчали. Негоже болтать на кладбище (это, видно, понимал даже Виктор), а нынешняя Мамониха похожа была на кладбище.

И даже тополя вверху над крышами, многие почему-то с посохшими верхушками, пели как-то скорбно и заунывно, совсем-совсем не в духе этого жизнерадостного, жизнелюбивого дерева.

7

Хуже подворья, чем у Сохи-горбуньи, в Мамонихе не было. Избушечка на задах, со всех сторон подперта подпорами, оконенки допотопные, в аршин, да и те вкось, а по нынешним временам, когда все кругом порушено да задичало, и Сохина развалюха — жилье.

К ней приятно было подходить. Тропка с обеих сторон обкошена, заулок тоже начисто выкошен, и столько на лужайке возле ветхого, но чистенького крылечка кипело всякой пернатой мелочи, что ветер заходил вокруг, когда она тучей взмыла вверх.

Клавдий Иванович не очень верил во всякие россказни насчет Сохи-горбуньи, но, берясь за скобу, все-таки подбодрил себя шуткой:

— Ну, Виктор, не робей! Сейчас саму Бабу Ягу увидишь.

Натужно прошаркала по старым половицам одна осевшая дверь, прошаркала другая, а дальше все было как в сказке: старуха горбатая, кот, курочка-ряба с выводком желтых попискивающих цыпляток...

— Ну, спасибо, спасибо, Клавдий Иванович, что зашел... А я гляжу, дымок у Ивана Артемьевича над крышей закурился — кого бог дал...

Клавдий Иванович обнял старуху, прослезился, а Виктор, тот вдруг выпалил:

— Здравствуй, Бабушка Яга!

Клавдия Ивановича в пот бросило от такой бойкости сына, но баба Соха — так по-новому окрестил для себя старуху Клавдий Иванович — и не думала обижаться.

— Яга, Яга, милый. Как не Яга. Хромая, горбатая, бывалошная, вся мохом обросла. Так, так, родимушко.

— А колдовать вы тоже умеете, бабушка? — еще больше осмелев, спросил Виктор.

— А вот насчет колдованья-то, дитятко, я неважная Баба Яга. Кабы колдованье да знахарство ведала, я бы что первым делом сделала? А ногу да горб себе вылечила, а то вишь вот, всю жизнь на одной ноге скачу да людей пугаю...

Баба Соха жила по старинке и начала с угощенья. Все выставила на стол, чем богата была: свежепросольные рыжики, маленькие, копеечные, какими всегда славилась Мамониха, спелую, красную землянику (полнехонькую крынку!), северный мед — янтарную морошку...

У Виктора при виде этой свежей, благоухающей лесовины просто ноздри заходили, да и Клавдий Иванович не стал отказываться: сколько уж лет ничего этого не было во рту.

— Ну вот, — сказала довольная баба Соха, когда они все зачистили до последней ягодки, до последнего грибка, — теперь можно и гостей пытать-спрашивать.

— Можно, можно, баба Соха. Приехали вот навестить родные палестины.

— Ну, узнал вотчину, узнал Мамониху?

— Да как тебе и сказать... От старого-то разве что один ястреб в небе остался... Все заросло, все задичало.

— Все, — кивнула старуха. — Береза да осина разбойничают — на крыши уж лезут. Поминать, видно, деда Прокопья. Тот, бывало, когда деревню после пожара заново отстраивали, все говорил: «Зря, мужики, надрываетесь. Не жить Мамонихе. Не от огня, дак от куста погибнет».

— Так и говорил?

— Так.

— А я вот что заметил: возле иных домов тополя сохнут.

— Сохнут, — опять кивнула старуха.

— А чего им надо?

— Тополям-то? А кто их знает чего. Может, по хозяевам своим тоскуют, которые их сажали.

— Это деревья-то тоскуют?

С улицы донесся крик — не иначе как там Виктор гонял птичек, но Клавдий Иванович даже в окошко не посмотрел. Пускай забавляется. Чего ему томиться в духоте. И он, осторожно пошевелив ногами, которые щекотно поклевывали попискивающие цыплятки, опять подался глазами к бабе Сохе.

— А ты-то как тут? Все одна да одна...

— А что поделаешь, Клавдий Иванович? Так уж мне на роду написано. Тяжело, тяжело зимой-то. Снегом занесет, засыплет с окошками — не знаешь, что и на свете деется, — не то ночь, не то день. По неделям из избы не выходишь. Тут который год снежно было, пензию из сельсовета принесли, двадцать рублей дадено, и попасть ко мне не могли. Так и ушли обратно. Ну, а ты-то как, Клавдий Иванович? В теплых краях, говорят, живешь, — поди, и насчет дровец стараться не надо?

— Не надо. Углем топим. Каменным.

— А-а, вишь как ты устроился. На городах, значит. Все ноне перемешалось. Не поймешь, куда утка, куда селезень. Бывало, у меня брат-покойничек в Ярославле жил — уж на что при деле при хорошем был. Старший приказчик у купцов Красулиных. Нет, прощай, злато-серебро, прощай, хоромы каменные, — в Мамониху, в леса родные поеду. А нонека все на сторону, все в города думают попасть. Где посытнее да повольготнее. Не видал там, на городах-то, Лидию Павловну?

— Это ты про Лиду Павла Васильевича? — живо переспросил Клавдий Иванович.

— Про Лиду. Про соседку твою. Тоже в ту сторону подалась за счастьем. Не знаю, чего у ей получилось, нет.

— А чего не получилось-то? У людей получается, а у ее нет...

— Да ведь она с кем в город-то уехала? С Котей Курой.

— С Котей? Это с печником-то, который в районе печи клал?

— С ним. Пьяница забубенный, чуть не в два раза старше ей...

— Да что она, с ума спятила?

— А от ейной жизни, пожалуй, спятишь. Сперва матерь разбило параличом, а потом тетку. Тетку за матерью-то ухаживать привезла из района, а тетка — подумай-ко — полугода не выстояла на ногах, тоже бок отнялся, тоже колодой слегла. И вот девка-то у меня взвыла. Все бегут, уезжают из Мамонихи, а она как привязанная. У ей колхозны телята на руках — целый двор, до́ма — одна колода лежачая, другая... И вот, смотрю, у меня Лидия Павловна уж в бутылку заглядывать стала, да, курить почала, худым словом кидаться... Нет, нет, — вздохнула старуха, — я нисколешень-

ко не сужу. Ну-ко, девять лет мучиться — не жить. Это в ее-то годы! Ну-ко, девять лет кажинный день из-под двух старух навоз выгребать. Да она до того, бедная, домаялась, что самой жизни не рада стала. Ко мне напоследок прибежала: «Баинька, — все меня баинькой звала, — баинька, говорит, я ведь с Котей Курой в город собралась». Что ж, говорю, матерь да тетку успокоила. Теперь сама знаешь, как жить. А чего буду отговаривать? Двадцать девять лет девке — чего тут высидишь? Какой королевич к тебе залетит? Вот так и уехала у нас Лидия Павловна. «Мне, говорит, пачпорт бы только схлопотать, а там-то я знаю, что делать...» Не знаю, не знаю, как там ей теперь. Подфартило, нет на новых-то местах...

8

Клавдий Иванович вышел от бабы Сохи, когда уж догорал день. Красное, раскаленное солнце село в темный ельник за ихним домом, и, казалось, там, в еловой чаще, затаилась сама сказочная жар-птица. Да тот ельник, бывало, так и звали у них: жаровец.

Клавдия Ивановича пошатывало. Он сам попросил у бабы Сохи какой-нибудь выпивки, потому что такая тоска вдруг навалилась на него, так жалко вдруг стало Лиду, что хоть криком кричи.

Лида Мамонова была у них первая красавица, первая ученица в школе. Евстолия Васильевна, старая учительница по математике, когда ставила им очередные двойки, вздыхала: «Что поделаешь, картошка глупее хлеба. То есть я не ругаю вас, ребята. Понимаю, из-за чего на ровном месте буксуют у вас мозги. Из-за того, что картошкой да травой питаетесь». И как радовалась, как молодела та же самая Евстолия Васильевна, когда дело доходило до Лиды! «Нет, нет, ребята, — говорила она, — у меня в классе такого умного и хлеба никогда не бывало, как эта картошка. Вот помяните мое слово: картошка эта прославит и себя и всех нас». И вот прославила... За Котю Куру вышла...

Клавдий Иванович не был виноват в Лидиной беде — ну что он мог поделать, когда уж был женихом Полины? Ведь именно тогда пришло то страшное письмо от Лиды. И все-таки, все-таки... может, и он виноват?..

Выйдя с задворок, на деревню, он запел:

Бывало, вспашешь пашенку,
Лошадок уберешь,
А сам тропой знакомою
В заветный дом идешь...

Хотелось песней, любимой песней отца встряхнуть себя, взбодрить свой дух перед встречей с женой, которую он оставил одну в чужом доме.

— Полинушка, Виктор! Вы не ругайте меня, ну? Я маленько нос прищемил... Понимаете, ха-ха?

Клавдий Иванович перевалил за порог избы, прошел на другую половину и в сумерках увидел жену и сына — как голубки в обнимку сидят на кровати.

От умиления его прошибло слезой.

— А я, ребятки, вам огонька принес от бабы Сохи. С огоньком-то повеселее будет, верно? — И он полез в карман за свечкой, которой разжился у старухи.

— Па-па-а...

В голосе Виктора Клавдию Ивановичу послышалась капризная плаксивость, и он тотчас же напустил на себя строгость:

— Сын! Будь настоящим человеком...

— Да помолчи ты, бога ради, со своим настоящим человеком! — вдруг расплакалась Полина. — Разве не чуешь, что с сыном-то делается?

И тут, словно в подтверждение слов матери, Виктор удушливо закашлял, натужно задышал.

Клавдий Иванович вмиг отрезвел. Неужели, неужели опять то же самое, что было три года назад? Три года назад летом они отдыхали в деревне, недалеко от ихнего поселка. Все было хорошо: купались, загорали, валялись на песке, на свеженькой травке, и вдруг раз вечером, дня за два до возвращения домой, с Виктором стало худо — просто на глазах стал задыхаться ребенок. Они с Полиной перепугались насмерть, думали, им и до поликлиники его не довезти. Но довезли, отходили парня. А вот что это за болезнь была, отчего она — они так толком и не узнали...

— Чего стоишь-то как пень? Ждать будешь, когда ребенок задохнется? Ходишь, ходишь по всяким колдуньям — может, она отравила его?

— Да не говори ты ничего-то, Поля. С чего баба-то Соха будет нас отравлять? Баба Соха огонька ему послала.

Клавдий Иванович зажег свечу, укрепил ее в стеклянной банке из-под компота.

— Ну вот так, так, сын. Со светом-то повеселее, а? Со светом-то, скажи, можно жить...

— Па-ап-а-а...

Клавдий Иванович сунул банку со свечой на стол, выбежал на улицу. Он еще надеялся попервости: какая-нибудь ерунда у Виктора, сама собой пройдет, но крик был такой хриплый, такой умоляющий, что сомнений больше не оставалось: прежнее удушье, то самое, что было тогда в деревне.

На улице меж тем густела темнота. Он кинулся бежать по дороге в Резаново, но вскоре одумался. Семь верст до Резанова — когда же он обернется? Да и что он найдет в Резанове? Одна бригада совхозная — в лучшем случае медсестра есть...

Он решил бежать на станцию. До станции дальше, десять километров, но там наверняка найдется врач.

Солнце уже окончательно закатилось, туман легким парком расползался по полям. Клавдий Иванович, путаясь в повлажневшей траве, пробежал ложбину, выбежал к дому Павла Васильевича и начал одолевать травяную реку, то есть деревенскую улицу.

Трава на улице была в пояс — жирное тут место, но темные массы домов еще можно было различить, а за деревней темнота накрыла его как мешком. И куда податься? Как тут идти на станцию?

9

Сперва он стучал в наружные двери — руками, ногами, поленом, потом начал стучать в окошко, которое с трудом, на ощупь отыскал в темноте, а потом уж стал просто умолять:

— Баба Соха, открой... Баба Соха, открой...

И вот только на слово отозвалась старуха.

— Баба Соха, баба Соха, помоги! С ребенком, с сыном худо...

— Да что с ним, с сыном-то?

— Не знаем. Второй раз уж так. Дышать не может... Задыхается... Пойдем скорее... — И Клавдий Иванович нетерпеливо схватил в темноте старуху за руку.

— Нет, нет, — сказала старуха. — Не помощница я. К врачам надоть.

Клавдий Иванович чуть не разрыдался.

— Да где они, врачи-то? На станцию бежать надо. А болезнь-то не ждет.

— Ну и от меня пользы не будет.

— Да почему? Раньше-то помогала. Я сам помню.

— То раньше. Раньше-то у меня сила была.

— Да ты понимаешь, нет, баба Соха? — уже криком закричал Клавдий Иванович. — Ребенок у нас задыхается. Понимаешь это?

И, не слушая больше старуху, он силой поволок ее за собой.

До деревни добрались легко: по дорожке. А дальше, когда кончилась дорожка, начали тыкаться в темноте, как слепые котята. Уверенность появилась лишь после того, как впереди из темноты вдруг подал голос его, Клавдия Ивановича, тополь — птичьей стаей взыграла взъерошенная ветром листва.

Полина пришла в ужас, когда на пороге увидела горбатую старуху.

— Не дам, не дам ребенка! — закричала дурным голосом. — Я куда посылала-то тебя? За врачом. А ты кого привел?

Но тут уж баба Соха сказала свое слово:

— Загунь! Не пугай ребенка-то.

А когда подошла к Виктору (тот тоже попервости насмерть перепугался), заговорила ласково-ласково. Как летней водой начала окачивать.

— Не бойся, не бойся, золотко. Бабушка тебе здоровья принесла. Где у тебя болит-то? Горлышко... Дыханья нету... Будет, будет дыханье, родимый...

Слабо, как далекий вздох, как утренний ветерок в листве, прошелестели давно знакомые слова: «Стану я, раба божья...», и Клавдий Иванович подумал, может, и права была старуха, когда наотрез отказывалась идти к ним? Может, и в самом деле из нее ушла сила? Но он в тот же миг подавил в себе эти сомнения, потому что кто еще, как не она, может сейчас помочь Виктору?

И удивительно: голос старухи тотчас же стал наливаться силой, и слова пошли такие, что в дрожь, в озноб стали кидать его:

— Исполохи, переполохи, порчи, уроки, всякие прикосы... Идите в пенье, в коренье, в грязи топучи, в ключи кипучи... Там вам вариться, там вам кипятиться, под осиновый кол уйти, камнем накрыться, землей завалиться, мохом-травой зарасти...

Клавдий Иванович посмотрел на жену. Может, все это только ему кажется? Может, все это только далекие детские страхи, которые вдруг ожили в нем?

Нет, и Полина была во власти этих слов, во власти трубного голоса старухи. И она, как околдованная, не дыша, широко раскрытыми глазами глядела на нее.

Три раза читала баба Соха, три раза заклинала хворобы и боли, тихонько водя темной рукой по горлу и груди Виктора, и тот, похоже, уже не хрипел, не задыхался, как прежде.

— Пи-ить, — вдруг подал он слабый голос.

Клавдий Иванович бросился на другую половину за водой, но Полина еще раньше запаслась питьем.

Виктора напоили.

— А тепере, — сказала баба Соха, — ты, отец, выйди за дом, сруби осиновый кол с топорище длиной да тот кол забей в землю вместе с хворобами. Да чтобы тот кол никто никогда не вытащил.

Клавдий Иванович понимал, что тут уже начинается какая-то чертовщина, но что не сделаешь ради своего ребенка! Да и баба Соха — как с ней спорить? Все была ветошная, беспомощная старушонка и вдруг разрослась, расползлась по всей стене, как туча в бурю...

Он думал, в темноте ему во веки веков не выбраться за дом. Но выбрался. И даже в кустарнике, густо разросшемся за домом, отыскал осинку — по горьковатому запаху коры, по лакированным, вздрагивающим в темноте листьям. В общем, сделал все так, как приказала старуха.

И вот награда, вот счастье: Виктор, когда он, весь перемокший, вошел в дом, был уже в безопасности. Он понял это, еще не видя его. Понял по лицу жены, такому счастливому и доброму, какое он, может быть, видел у нее только один раз в жизни — когда пришел в родильный дом поздравлять ее с долгожданным сыном.

10

Старуха еле-еле, опираясь на батог и на Клавдия Ивановича, добрела до своего подворья, а на крыльцо и подняться не смогла — села.

— Ну, выручила, выручила ты нас, баба Соха. Спасибо! — Клавдий Иванович уже с короб наговорил этих спасиб старухе, а они так и набегали, так и набегали на язык. — А то ведь я давеча — хоть караул кричи. Виктор задыхается, врача нету, и ты уперлась — с места не сдвинешь.

— Не занимаюсь я ноне этими делами.

— И зря. У нас — три года назад вот так же случилось — врачи целую ночь возились с Виктором, а ты вон как: руками поводила, сказала слово, — и здоров.

Клавдий Иванович по старинке, на всякий случай сплюнул за левое плечо и, уже совсем расчувствовавшись, сказал с легкой усмешкой:

— Давай, баба Соха, выкладывай свои диагнозы. Ну что за болезнь такая? Как ее вышибать? А то ведь эти ученые только руками разводят. Аллергия не аллергия, обмен веществ... Не поймешь.

Старуха вздохнула в темноте, но ничего не ответила.

— Чего молчишь? Я ведь тебя спрашиваю ради ребенка, а не ради того, чтобы у тебя секреты выуживать.

— А что я скажу тебе, Клавдий Иванович? Много ли я знаю? Молитва, да травка, да наговорное слово — вот и все мое леченье.

Старуха уклонялась от прямого разговора, это ему было ясно, и он начал подбираться издалека, с напуском эдакого туманца:

— А интересно, баба Соха, где это ты все вызнала? Ну это самое... руду-кровь заговаривать, переполохи снимать, присухи... У нас, к примеру, сейчас курсы разные, техникумы. На шоферов, на тех же самых фельдшеров. Так? А вот ты, к примеру? Где ты всю эту премудрость выучила?

— Меня, парень, нужда заставила. В жизнь-то меня выпихнули горбатой да хромой, отец пьяный еще ребенком на пол с рук уронил, а чем кормиться, чем от людей борониться? Люди не любят уродов да калек. Одни ребятишки по глупости заклюют, каменьем закидают. И вот сжалился надо мной, убогой, один добрый старик, Васей-килой звали.

— Это колдун-то который? — Клавдий Иванович с внезапной робостью посмотрел в темноту перед собой. Он не застал уже в живых Васю-килу, но в детстве для него ничего страшнее не было этого имени.

Баба Соха слегка оживилась:

— Я сама больше всех на свете его боялась. Раз хожу в лесу, ягоды собираю — только мне и жизни было, только мне и отрады, что в лесу, дерево да куст не изгиляются, — и вдруг из-за ели старик. Вася-кила. Весь белый, весь косматый, клюка в руке. Я так и села от страха. А он подошел ко мне да рукой по голове, как малого ребенка: «Что ты, говорит, глупенькая? Чего испугалась? Хочешь, говорит, чтобы тебя люди не обижа-

ли, надо, говорит, чтобы не ты людей боялась, а люди тебя. Страх людской, говорит, твой корм и оборона».

— Это как понять?

Старуха словно не расслышала его.

— Поучил меня маленько дед Василий. И слову наговорному поучил, и травкам. Знающий был человек. А теперь — все боле. Нету силы. Из Мамонихи ушла сила и из меня ушла.

— Как, как? Что ты сказала? Из Мамонихи ушла сила и из тебя ушла?

— Так. Покуда Мамониха в силе была, и я в силе была. А как начали из Мамонихи кровь выпускать, так и я ни на что гожа не стала.

— Вот как! А я думал, это ты про старость говоришь. От старости силы не стало.

— Старость не радость, кто не знает, а не приведи бог видеть, как на твоих глазах родная деревня умирает. Сперва один дом пустеет, потом другой, потом третий... Да сами-то дома, еще бог с ними. А то ведь дом умирает, и хозяин иной раз умирает. Василия-то Егоровича помнишь?

— Это в верхнем-то конце который жил?

— В верхнем. Нету больше. В прошлом году приехал с женой, как ты, об эту пору. «Уж так хорошо, так хорошо живем! Свой дом, свой сад. Дети все ученые, большие деньги зарабатывают! Я, говорит, и жизни в Мамонихе не видал, только сейчас на старости лет и увидел». Ну ладно, две недели пожили, стали в дальнюю дорогу собираться, где-то далеко живут. Вот к воротам-то полевым вышли, за деревню, Василий-то Егорович и говорит жене: «Марья, — говорит, — я ведь, — говорит, — вьюшку в трубе не закрыл». — «Ну и бог с ней, с вьюшкой-то, — говорит Марья. — Дом погибает, а ты о вьюшке думаешь». — «Нет, — говорит, — надо закрыть вьюшку». Убежал — полчаса нету, час нету. Марья не знает, что и подумать. Пошла домой: где у меня мужик-то? А мужик-то у ей в избе висит.

— Повесился?

— Повесился.

— Да, — сказал Клавдий Иванович, — веселую ты сказку рассказала.

— За веселыми-то сказками нынче едут на сторону, а в нашей деревне какие теперь сказки? Деревни, парень, без сказок помирают. Это сказки-то сказывают да песни поют, когда строятся, когда жизнь заводят заново.

11

Это было самое счастливое утро в его жизни. Проснулся, открыл глаза, а в потолке железное витое кольцо, в котором когда-то висел березовый очеп с его зыбкой. А когда встал да вышел на крыльцо — и того краше картина: жена. Развалилась, растеляшилась на красном одеяле посреди заулка — рыба белая играет на солнышке. А в небе прямо над Полиной коршун. Чертит и чертит круг за кругом, — должно быть, тоже залюбовался.

— Виктор где? — весело крикнул Клавдий Иванович, сбегая с крыльца.

— Тут где-то был. — Полина нехотя оторвала от подушки рыжую голову с черными очками во все лицо, повела туда-сюда: — Виктор, Виктор...

— Я здесь, мам! Малину ем.

Виктор кричал на задах, в кустарнике, и Клавдий Иванович сиганул туда — напрямик, через дикие заросли собачьей дудки, буйно разросшейся на бывшем капустнике, — земля тут жирная, каждый год унаваживали.

— Ну как, сынок? Здоров? Ничего не болит?

Виктор не ответил, а промычал: ему было не до разговоров. Он, как медвежонок, дорвавшийся до лакомой ягоды, с треском, с жадностью нагибал одну ветку за другой.

Клавдий Иванович рад был за сына, рад, что Виктор снова полон жизни, снова выказывает свой отменный аппетит. Только вот как привыкнуть ко всему этому — к этой малине, к этому ольшанику и осиннику за своим домом? Ведь ничего этого двадцать лет назад и в помине не было. И Клавдий Иванович, переводя взгляд с кустарника на родные хоромы, невесело подумал: пропал, пропал дом. Ежели даже люди пощадят, лес задавит. Лес, который стеной со всех сторон наступает на Мамониху...

— Пап, пап! — Виктор подавал голос уже где-то у Вертушихи.

— Ну что еще?

— Иди, иди скорей! Я домик нашел.

— Какой домик?

Раздвигая руками не просохший еще от росы малинник, Клавдий Иванович вышел к речке и увидел сына возле их старой бани, черной, насквозь продымленной,

с малюсеньким окошечком без рамки, с деревянным держаком в дверях вместо скобы.

— Да ты что, Виктор? Какой это домик? Это же баня!

— Баня?..

Ну, сын! Ты как иностранец в отцовской деревне...

А в общем-то что же удивляться? Откуда Виктору знать, что такое старая деревенская баня, когда он видит ее впервые?

Клавдий Иванович открыл перекосившиеся, на деревянной пяте дверцы (Ах, знакомая музыка! Коростели запели вокруг), заглянул в сенцы, заглянул в баню — все еще попахивало прежней горечью — и вдруг загорелся:

— А знаешь что, Виктор! Давай-ко мы с тобой раскочегарим эту старушку, а?

Быстро, как по щучьему веленью, появились дрова в каменке, взбурлила вода в котле — рядом речка.

— Сынок, ты тут хозяйничай, посматривай за всем, а я сбегаю в лес за свежим веником.

— А я тоже с тобой, папа.

— Нет, нет, я один. С тобой в другой раз. Обязательно пойдем.

Клавдий Иванович скатился по недавно натоптанной тропинке к Вертушихе, перешел ее вброд — невелика у них и река, в засушье ворона перебредет, не замочив крыла, — и в еру, дремучие заросли ольшаника и осинника, первые леса своего детства, где в те далекие времена видимо-невидимо было всякой нечисти и чертовщины и где он ставил свои первые петли на зайцев.

Раньше у них березняк был далеконько, за добрую версту ходили за вениками, а сейчас он из еры вышел — и жуть сколько этого ласкового куста — все Поречье, все покосы завалило. И вот Клавдий Иванович завязал с ходу два веника и куда побежал? Домой, восвояси? Вперед.

Рядом Пахомкова гарь — веселые, поросшие пружинистым вереском горушки и веретейки, где когда-то еще ребенком собирал грибы да ягоды, — так неужели не посмотреть, что там сейчас деется, неужели не побывать?

А раз на Пахомковы горы поднялся (и так называли в Мамонихе это урочище), в Мамину зыбку — хочешь не хочешь — свалишься. Эдакая лесная перина из зеленого мха в котловине — да тут держать не удер-

жать! А за Маминой зыбкой вынырнула Антохина раскопка — тоже есть чем вспомнить, хороший хлеб родился! А за Антохиной раскопкой Вырвей, лесной ручей песни распевает, а Вырвей перешел — сразу три дороги, три росстани. Как в сказке. Не знаешь, по какой и идти.

И вот так скок-поскок — где дорожкой, как в старину, кипящей трудолюбивыми мурашами, где травой, где моховиной Клавдий Иванович и утянулся в глуби мамонихинские.

Все заросло кустом, все задичало, от прежнего, иной раз казалось, только и остались разве что имена да названия. Зато какие имена, какие названия! Для каждого бугорка, для каждого перелеска и тропки у стариков нашлось свое имя, свое название. Любили люди свою землю, свои родные места. Пахомкова гарь, Мамина зыбка, Поречье, Антохины раскопки — вкусно выговорить!

А нынче? Ихний поселок, к примеру, взять. Не последний населенный пункт в стране, в города скоро, говорят, выйдет, а что за народ живет? Три озера в окрестностях, три озера, в которых худо-бедно рыбу удят, а как зовут эти озера? Карьер № 1, карьер № 2, карьер № 3. По тем временам еще, когда тут песок да щебенку для цемента добывали. И также с дорогами. Асфальтом залиты, яблонями обсажены, весной как невесты в белом цвету, а имен для них у людей не нашлось. Тоже по номерам зовут.

Пора, однако, было образумиться, повернуть назад — Виктор и так заждался его. Клавдий Иванович свернул направо, к Михееву усу — то же расстояние, да зато новые места. И вот эта-то жадность его и подвела.

Посекло Михеев ус. Где видно тропинку, нащупаешь ногами, а где начисто затянуло мхом, кустарником. А потом еще одна напасть вскоре объявилась — пошли Гехины дороги, широкие просеки, проложенные трактором посреди леса.

Клавдий Иванович запрыгал, как козел, от одной колеи к другой, начал тыкаться туда-сюда, и кончилось тем, что заблудился...

12

Мамониха была рядом. Он это знал, чувствовал — не мог же за какие-то двадцать-тридцать минут укатить бог знает куда, да и места́ вокруг вроде знакомы

были. А на тропу не попасть — моховина, болото, травники. И ели такие густые да высоченные, будто тут уже сумерки.

Его разбирал смех: надо же, в трех елях запутался, а с другой стороны, и беспокойство мало-помалу стало закрадываться в душу. Что там с Виктором? Догадается ли Полина проведать его?

Наконец какая-то твердь появилась под ногами, а потом и еще один компас — просветы меж деревьев.

Клавдий Иванович рванул на эти просветы — и вот тебе на — Поречье. Мыкался, путался в траве, обливался потом, и все это, как он и думал, рядом с Поречьем, рядом с Мамонихой. В прежние времена непременно сказали бы: нечистая сила закружила, а то еще бы и бабу Соху приплели. А теперь кого винить?

С деревни в это время докатился какой-то непонятный треск и вой, похожий на шум работающего мотора.

«Кто-то из Резанова, верно, приехал», — подумал Клавдий Иванович и прямо травяной целиной порысил к знакомой сухой березе, которая стояла неподалеку от Вертушихи, напротив ихнего дома.

Однако не успел он и десяти шагов сделать, как страшный грохот сотряс землю.

Перепуганный насмерть («Где Полина? Где Виктор?») Клавдий Иванович с ходу взял речушку, одним духом взлетел на крутой берег и просто ахнул: тополь, его тополь лежит на земле.

— Стой! Стой! — закричал он мужику, орудовавшему бензопилой в палисаднике.

Опоздал: кедр грохнулся на землю.

Вытирая со лба пот (с головы до ног взмок), он подошел к дому и кого же увидел? Геху-маза. Все деревья в палисаднике — тополь, черемуха, рябина, кедр — все лежат повержены, все распяты, а он стоит. Стоит как заново выросшее дерево, — огромный, в резиновых сапогах с длинными голенищами, натянутыми до пахов, и улыбается.

— Ты что это делаешь? Кто тебе разрешил?

— А чего я делаю? Свет людям дал. Я зашел в избу, как в могиле у вас.

— Это не твое дело! Дома хозяйничай. Виктор, — Клавдий Иванович только сейчас заметил в сторонке приунывшего сына, — а ты-то куда смотрел? Ведь я же тебе рассказывал, что это за деревья. Дядя Никодим, тетя Таня...

Виктор заплакал.

— Давай, давай, поплачьте оба вместе. Ах, бедненькие... Ах, кустиков жалко!.. — Геха захохотал.

— Да чего ты ржешь-то? Эти кустики-то, знаешь, кто садил? Отец еще. До войны.

— А теперь какая команда у нас насчет этих кустиков? Не знаешь?

— Будет, будет вам, петухи! — К ним подошла Полина. — Чего за кусты держаться, раз дом продаем? С собой не возьмем, хоть золотые бы они, эти кусты все были.

— Понял, как умные-то люди на это смотрят? — Ухмыляясь, Геха поднял с земли бензопилу, сказал, глядя веселыми глазами на Полину: — Может, еще чего сделать? Хочешь, Невский проспект проложу к Вертушихе? Чтобы по утрам, когда на водные процедуры пойдешь, не колоть свои белые. Давай, покуда сердце горит. Для тебя всю Мамониху распушу.

— Нет, нет, не надо, — сказала Полина, но слова Гехины понравились: блеском взыграли глаза.

— Ну как хошь. А то я своего конягу взнуздаю, — Геха кивнул на могучий гусеничный трактор, густо, до половины кабины заляпанный грязью, — моменталом сделаю.

13

Геха выставил две бутылки «Столичной» — остатки, как он сказал, от ночного заседания с начальством, то есть от рыбалки, с которой он прямо, не заезжая домой, заявился к ним, но и Полина не ударила лицом в грязь — тоже бутылкой хлопнула.

Где, когда она раздобыла это добро — на аэродроме, в райцентре, покуда он бегал к знакомым, Клавдий Иванович не знал, да разве и в этом дело? Главное, что спесь сбили. А то ведь на стол свои бутылки начал метать, будто тут нищие живут.

И еще Полина сразила Геху нарядами. Все по самому высшему классу: красные штаны в струночку, белые туфельки на высоком каблуке, белая кофточка с золотым поясом змейкой. Ну, прямо артистка вышла к столу.

По правде сказать, у Клавдия Ивановича не было большой охоты бражничать с Гехой, но как же было уклониться, ежели тот сам первый предложил? Что ни говори — гость. Да и Полина сразу загорелась: ведь надо же кому-то хоть раз показать свои наряды!

Расположились на вольном воздухе, на свежевыкошенной поляне за колодцем, под молоденькой рябинкой.

— Ну, как говорится, будем здоровы, — сказал Геха и легко, как воду, опрокинул в себя стакан водки. Затем сплюнул, ничем не закусывая, и начал торг без всякого подхода.

— Косых три, пожалуй, за эти дрова дам, — сказал он и пренебрежительно, не глядя, кивнул в сторону дома.

Полина (она, конечно, взялась за дело — бухгалтер, всю жизнь имеет дело с материальными ценностями) спокойно улыбнулась:

— Ну, а насерьез, без трепа?

— Чего насерьез? Мало сейчас дров валяется по деревням!

— Дров-то много. Да таких домов, как наш, один. На станцию отвезешь — сколько возьмешь?

— Сколько? — ухмыльнулся Геха.

— А тысячи две с половиной — самое малое.

— Тю-тю! Сдурела баба...

— Ладно, ладно, зубы-то не заговаривай. Не таких видали.

— А мы вот таких не видали, — сказал Геха и хлопнул Клавдия Ивановича по плечу. — Эх, и везет же чувакам! Да откуда ты только такую и выкопал?

Клавдий Иванович, горделиво улыбаясь, только головой покрутил. Не уважал он Геху, ни теперь, ни раньше не уважал, но слова его елеем пролились на сердце.

— Ладно, — сказал решительно Геха и трахнул своей пятипалой кувалдой по ихнему хлипкому столику — фанерному ящику из-под конфет, — пей мою кровь! Еще сотнягу накину. Только ради тебя, ради твоих симпатичных глазок.

— Девятьсот, — сказала Полина.

Пошли страсти-мордасти, пошел торг. Геха, все время игравший в парня-рубаху, начал горячиться, он даже выматюкался, и Полина, хотя и по-прежнему улыбалась, тоже мало-помалу стала накаляться — красные пятна пошли по лицу.

Наконец она и вовсе сорвалась:

— А ты чего сидишь как именинник?

Клавдий Иванович напустил на себя деловой вид:

— Думаю, действительно надо...

— Да чего надо-то? — еще пуще распалилась Полина.

Геха захохотал во всю свою широкую, жарко горевшую на солнце пасть, а Виктор вдруг завопил от радости:

— Бабушка Яга, бабушка Яга!

Клавдий Иванович глянул на деревню — баба Соха. Вывернулась из-за дома Павла Васильевича и к ним. Как старая лошадь, мотает головой. И белый платок так и играет над ржищем. Видать, по всем правилам в гости собралась, во все праздничное вынарядилась.

Но что это? Старуха вдруг повернула назад.

Клавдий Иванович закричал:

— Баба Соха, баба Соха, да куда же ты?

— Не надрывайся, не придет, — сплюнул Геха.

— Да почему?

— А потому, что там, где я с МАЗом, — ей дороги нету. Нечисть всякая терпеть не может железа да бензина.

— Не говори ерунду-то.

— Ерунду? Да ты что — в Америке родился? Не знаешь, сколько она, стерва старая, народу перепортила? Тому килу посадила, того к бабе присушила, у того корову испортила... А нынче людей нету, дак она что сделала? На птице да на звере вздумала фокусы свои показывать. Пойди-ко послушай охотников. Стоном стонут, которые этим живут. Пера не найдешь за Мамонихой. Всю птицу разогнала. Чтобы ни тебе, ни мне.

— А по-моему, дак это твоя работа. Я недавно Михеевым усом прошелся — весь бор перерыт-перепахан, весь лес провонял бензином. Дак с чего же тут будет птица жить? Кусты-то и те скорчились. Листы, как тряпки, висят...

— Ай-ай, опять слезы по кустикам. Дались тебе эти кустики. Мне тут одна книжечка попалась — ну, в каждом стишке плач по этим кустикам. Особенно насчет березы белой разора много. Береза — ах, березонька, стой, березонька, свет очей... А мы от этого света слепнем, мы из-за этой березоньки караул кричим. Все поля, все пожни, сука, завалила! А ты — кустики...

— Да я не о кустиках, а о Мамонихе. Вон ведь ее до чего довели. Посмотри!

— А кто довел-то, кто? — резко, в упор спросил Геха.

— Кто, кто... Думаю, разъяснений не требуется...

— А ты разъясни, разъясни. Молчишь? Ну дак я разъясню. Ты!

— Я? Я Мамониху-то до ручки довел? Да я двадцать лет в Мамонихе не был!

— Во-во! Ты двадцать лет не был, да другой двадцать, да третий... Дак какая тут жизнь будет? Критиковать-то вы мастера... Ездит вашего брата — каждое лето. Ах-ох, то худо, это худо... Геха-маз загубил... Да ежели хочешь знать, так только благодаря Гехе-томазу тут и жизнь-то еще пышет! Та же твоя тетка да Федотовна... Да не привези я дров, зимой как тараканы замерзнут...

— Ну, ну, будет, — воззвала к миру Полина. — Худо вам — под рябинкой сидим?

— Нет уж, выкладывать — дак выкладывать все, — с прежним запалом заговорил Геха. — Не от первого слышу: Геха как в раю живет. А я каждый день на трактор-то сажусь как на танк. Как на бой выхожу. Баба провожает — крестит: вернусь аль нет. Толька Опарин из Житова в прошлом году заехал в эти березки белые, а там яма, чаруса — теперь там лежит. Понятно, нет, о чем говорю?

— Понятно, понятно! — сердито сказала Полина. И у нее кончилось терпенье. — В одной деревне выросли, а кроме лая, ничего от вас не услышишь.

— А и верно, мы не в ту сторону потащили, — моментально сдался Геха и протянул свою темную ручищу: — Ну дак что — ударили? А то ведь я могу и передумать.

— Чего передумать? — переспросил Клавдий Иванович.

— Да насчет твоих дров.

— Папа, папа, не продавай!

Выкрик сына словно вздыбил Клавдия Ивановича, и он с неожиданной для себя решимостью сказал:

— И не продам. Об этих дровах, может, у отца последняя дума была, когда умирал на фронте, а я Иуда?

В наступившей тишине вдали, у дома, шумно взыграли тополиные листья, по которым пробежал ветерок, и стихли.

— Дак что же — отбой? — спросил Геха, обращаясь к Полине.

Полина вопросительно посмотрела на мужа, но Клавдий Иванович, почувствовав новую поддержку сына (тот крепко, изо всех сил сжимал его руку), не пошатнулся.

И тогда Геха сказал:

— Ну что ж, не захотели взять рубли, возьмете копейки.

14

Полина объявила бойкот. Это всегда так, когда чуть что не по ней: глаза в землю, язык на замок и никого не слышу, никого не вижу.

Клавдий Иванович землю носом рыл, чтобы угодить жене. Он истопил баню, сбегал на станцию за свежими огурцами и помидорами, даже две курочки раздобыл в соседней деревушке, а уж о своей лесовине и говорить нечего: грибы да ягоды у них не переводились. Нет, все не в счет, все не в зачет.

И вот какой характер у человека — даже своего любимчика не жаловала. И на бедного, растерянного Виктора жалко было смотреть: и мать от него стеной отгородилась, и к отцовскому берегу пристать решимости не хватало.

Самому Клавдию Ивановичу душу отогревать удавалось у бабы Сохи.

Утром он выйдет из дома, вроде как в лес, за подножным провиантом, а сам перейдет Вертушиху и к старухе. Задами. Заново натоптанной тропкой.

С бабой Сохой можно было разматываться на полную катушку — все поймет, не осудит. И он разматывался. Обо всем без утайки говорил: о своем житье-бытье с Полиной, о Лиде, о Гехе.

Но вот что было удивительно. Как только он заводил речь об отцовском доме — а ведь именно из-за дома весь нынешний сыр-бор разгорелся, из-за дома у него война в семье, так баба Соха отводила в сторону глаза.

Клавдий Иванович горячился:

— Я что-то не пойму тебя, баба Соха. Неужто ты хочешь, чтобы я своими руками раскатал отцовский дом? Да я, может, еще в Мамонихе-то жить буду! Сама же рассказывала, как брат у тебя на старости лет домой вернулся.

— Дак ведь то когда было-то.

— Не важно. Сейчас команда на подъем всей русской жизни. Чтобы все земли, какие заброшены да заросли кустарником, снова пахать да засевать. Это тут у вас умники объявили: Мамониха кончилась, Мамониха неперспективна. А сейчас — стоп! Сдай назад. А то ведь эдак всю Россию можно неперспективной сделать. Правильно говорю?

— Не знаю, не знаю, Клавдий Иванович, — вздыхала старуха. — А только не советую тебе срываться с насиженного места.

— Почему?

— А тяжело нынче жить в деревне.

— Тяжело... А дедам нашим легче было? Одной лопатой, да топором, да сохой раскапывали здешние поля. А нынче сколько техники всякой, машин!

— Много, много нынче машин, — соглашалась старуха, — да люди нынче другие. Балованные. Легкой жизни хотят.

— Ничего, — стоял на своем Клавдий Иванович, — и нынче всякие люди. Мы с тобой, к примеру, всего хлебнули: и войны, и голода, и холода. Забыла, как после войны тошнотики ели — колобушки из картошки, которую собирали на полях весной? А в чем ходили — помнишь?

Однажды Клавдий Иванович, который уже раз в душе оплакивая судьбу Лиды, признался старухе:

— А я все не могу понять, баба Соха, как это она с Курой-то связалась. Как подумаю, так и голова кругом.

— А что ей было делать-то? Ты из армии не вернулся.

— Я? Да я-то при чем?

— Ждала она тебя.

— Лида? Лида меня ждала? — Клавдий Иванович перестал дышать.

— Парато ждала. Все говорила, бывало: «Вот Клавдя вернется, и мы заживем». Она так и Гехе сказала, когда тот замуж ее звал.

— Геха звал... Лиду?

— Звал. Приступом приступал. Думает: я Лиду от его отвела, потому и жизни мне от его нету, а я уж словечушка поперек не сказала. Сама. Сама. Ни в какую: «У меня, говорит, Клавдя есть. Я, говорит, Клавдю жду».

Клавдий Иванович, как во сне, вышел от старухи.

Лида, Лида его ждала... Ихняя принцесса, первая ученица школы, девочка, с которой они еще детьми бегали зимой от дома к дому: наперегонки — кто быстрее да проворнее. И он представил себе, чего стоило гордой, своенравной Лиде написать ему отчаянное, унизительное письмо, в котором она предлагала ему себя...

В тот день он долго, предаваясь воспоминаниям, бро-

дил по невыкошенным пожням Поречья, по заросшим полям, по ягодным ручьям и горушкам — по всем местам, где бывал с Лидой. Затем вспомнил, как они подростками вместе с мамониховскими ребятами и девчонками бегали на вечеринки в окрестные деревушки — ни голодуха, ни работа, ничто не могло убить в них молодость, нараставшую жизнь — и уже под вечер отправился в окрестные починки, хутора, деревни.

Густо стояли селенья в их лесном краю, по душе пришлась дедам и отцам поднятая из-под корня землица, и был, не был достаток в дому, а названия селеньям давали сытные, хлебные. Ржаново, Овсянники, Ржище, Калачи...

Калачи и раньше не бог весть какой населенный пункт был — на пальцах двух рук пересчитаешь дома, и Клавдий Иванович не очень удивился, когда на месте деревни нашел только один заколоченный дом. Давно заколоченный, может быть, еще в пятидесятые годы, потому что не только крыша сгнила — доски, которыми были забиты окна, выгорели, истлели да выкрошились. Но Ржаново его поразило. Большая по ихним местам деревня, в двадцать пять — тридцать домов — и богатая без дураков. После войны в самое голодное время тут можно было на тряпку хлеб выменять. И меняли. Мать Клавдия Ивановича всю оставшуюся от отца одежонку сносила в Ржаново.

Но сейчас не было жизни и в Ржанове. Да и самого Ржанова, считай, не было. Два домишка в верхнем конце, дом посредине, три в нижнем — да разве это Ржаново? Да и дома-то уцелевшие были не из лучших, так что сразу было ясно: хорошие перевезли. Либо на центральную усадьбу совхоза, либо на станцию, в райцентр. И тут, надо полагать, дело не обошлось без Гехи.

Но нет, в Ржанове жизнь все же была. Сперва Клавдий Иванович услышал звук топора — самой желанной музыкой рассыпался в нежилой тишине — вот как пустой-то деревней шагать, а затем увидел и человека. На обочине, у самого выезда из деревни, там, где бежал знакомый проселок, над которым теперь густым розовым облаком клубилась пыль — должно быть, только что проехала машина.

Человек брусил топором толстое бревно, наверняка сухостойное, накрепко просмолевшее, потому что топор не ухал, а звенел, да и щепа, отлетевшая в сторону, была мелкая.

— Чего-то не пойму, ради чего пот проливаем? — сказал Клавдий Иванович вместо приветствия.

Человек разогнулся. Немолодой уже, пожалуй, даже пенсионного возраста, но еще в силе — дышал ровно, и такие добрые, такие хорошие глаза были у него.

— А я, думаешь, понимаю? — легонько воткнул топор в бревно, посмотрел на деревню, вернее, на то, что осталось от деревни. — Думка-то у меня — память оставить о Ржанове.

— Так это вы что же — памятник в честь Ржанова хотите сделать?

— Памятник не памятник, а что-то вроде поминальника. На этот вот столб хочу щит, обтянутый алюминием, набить, а на щите коротко все данные о Ржанове: когда, кем основано, сколько жителей было, кто на войне голову сложил...

Роман Васильевич — так звали мужика — постучал слегка носком окованного башмака по бревну и спросил:

— Как думаете, пару десятков лет постоит?

Бревно было лиственничное, из прочнейшей древесины, и Клавдий Иванович, тоже для порядка постукав его ботинком, живо воскликнул:

— Как не постоит! Лиственница. Все пятьдесят выстоит.

— Пятьдесят не надо. Это я на то время, пока эта канитель с укрупнением да разукрупнением сел идет. А то ведь будущие люди, которые сюда придут, не будут знать, кто тут жил. История исчезнет.

— А вы думаете — Ржаново возродится? — волнуясь, спросил Клавдий Иванович.

— Возродится. Обязательно возродится. А как же? К двухтысячному году, ученые подсчитали, население планеты удвоится, в два раза вырастет, а тут, что же, кустарник выращивать будут?

Роман Васильевич оказался рассудительным, знающим человеком (шутка сказать: тридцать два года инженером на больших или великих стройках, как их раньше называли, проработал), и Клавдий Иванович, всю жизнь тянувшийся к образованным людям, всласть наговорился — простой был человек, не задирал нос.

Домой он пришел уже в потемках. Виктор уже посапывал в своем углу, а Полина — бог ее знает — может, тоже спала или дулась на него. Во всяком случае, никак не прореагировала на его возвращение.

Ему хотелось есть, весь день ничего, кроме ягод, во

рту не было, но он не решился разбираться с едой. Быстренько разделся, быстренько растер тело руками (чтобы не застудить жену) и лег к ней с краешка. На него сразу же дохнуло как из духовки — ужасно раскалялась в постели Полина, и у него по привычке возникло желание с ходу, бесшабашно броситься в этот жар. Но он сдержался — жена не любила мальчишества. А вскоре он и вовсе забыл про нее и начал перекатывать в мыслях сегодняшний день.

Семь дней прошло со времени его приезда в Мамониху, а что он сделал? Побродил по деревне, прошелся по окрестностям... Нет, нет, не то. Тот же Роман Васильевич что надумал? Ржаново увековечить. Эх, надо и ему об этом самом поминальнике подумать. Мамониха — разве не деревня? Разве у нее нет своей истории, своего прошлого?

Как, как он сказал? — пытался припомнить Клавдий Иванович мудреные слова Романа Васильевича. «Как бы за нашими перестройками русская история не исчезла... И русский ландшафт... Да, да, — говорил Роман Васильевич, — будет, будет новое поле. Будут рожать и Мамониха, и Ржаново, и Калачи... Но я хочу, чтобы у этого нового поля было русское лицо...»

Под конец, когда уж у Клавдия Ивановича начали путаться мысли в отуманенной сном голове, он опять вспомнил о Лиде. И это было впервые, впервые за все семнадцать лет их совместной жизни он подумал о другой женщине.

15

Виктор первый проснулся от дождя.

— Мама, мама, что это на меня капает?

Клавдий Иванович торопливо зажег лампу: с потолка струей лилась вода. Он выбежал на крыльцо: жуткий ливень. Шагу нельзя ступить в сторону.

С этой минуты они уже больше не спали, а утром, едва начало светать, он полез на крышу.

Лазал, латал дыры под проливным дождем — тут, там, а что толку? Вернулся в избу — потоп.

— Ну, видишь теперь, почему дом продавать надо?

Три дня лютовал, не переставая, дождь, три дня нельзя было высунуть носа из дому. Виктор заскулил, да и Полина все чаще начала раздувать ноздри.

Но это были еще цветки. А ягодки-то начались, ког-

да у них вышел хлеб. Надо было идти на станцию или в Резаново, но куда же в туфельках по нынешним хлябям? А они по легкомыслию (и тут уж виноват был исключительно сам Клавдий Иванович) не захватили с собой даже резиновых сапог.

Их выручила баба Соха. Сама под проливным дождем приковыляла с целым коробом всякого печева, теплого, только что вынутого из печи и завернутого в мешковину.

Но долго ли будет нынешний человек жить на одном хлебе? А тем более такой избалованный человек, как Виктор? День прожил нормально, а назавтра новый скулеж: «Мяса хочу. Масла...»

Тетка заранее писала Клавдию Ивановичу, что ежели привык, хочешь уедно исть, все вези с собой, а нет, посылай наперед себя посылки — так ноне в деревню-то ездят. Но он как-то не придал значения теткиным словам, можно сказать, мимо ушей пропустил, и вот попробуй теперь — растолкуй ребенку, почему у них в поселке можно разжиться мясом и маслом, а тут нет.

Клавдий Иванович стал подумывать об эвакуации. А что было делать? Дожди не проходили, в избе было сыро, и это несмотря на то что он с утра до ночи калил обе печки, а потом и вовсе дело дрянь — Виктор закашлял, да и Полина начала носом ширкать.

Тут Клавдий Иванович сразу решился — идти в Резаново на поклон к Гехе. Другого выхода не было.

Геха явился сам.

Утром, сразу же после чая, Клавдий Иванович начал было снимать штаны — после таких дождей полдороги придется грязью выше колена брести, и вдруг под окном железный гром и грохот.

Виктор и Полина пулей вылетели на улицу — про дождь, про непогодь, про все забыли.

А вскоре в избу ввалился и Геха.

— Ну что, господа-туристы? Как оно на второй-то целине? — спросил он и захохотал.

Гехе легко было хохотать. Сапоги резиновые, дождевик непромокаемый, парусиновый, чуть ли не до пят, толстый ватник — это снаружи, а изнутри спиртной подогрев.

Но Полина и Виктор издевку в расчет не принимали. Они смотрели на него как на бога-избавителя и готовы были обнимать и целовать.

— Дяденька, дяденька, вы это за нами, да? — не

один раз спросил Виктор, все еще не веря в подкатившее счастье.

— За вами, за вами, — добродушно похохатывал Геха. — Это ведь только он думает: Геха — зверь, — добавил он, кивая на Клавдия Ивановича.

Отъезд походил на бегство.

Быстро скидали в кузов вещички, Полина с Виктором сели к Гехе в кабину, а Клавдий Иванович полез в открытый кузов.

— Дождевик дать или закаляться будешь?

— Закаляться! — со злостью бросил Клавдий Иванович. Все-таки не мог совладать с собой, хоть и крепился изо всех сил.

— Давай, давай! — опять с каким-то добродушием, похожим на издевку, сказал Геха и пошел к кабине.

Клавдий Иванович вспомнил про бабу Соху.

Он сбросил с себя холодный, задеревеневший дождевик (Геха в последний момент бросил), забарабанил в мокрое, выпуклое железо кабины:

— Подождите с полчасика, я с бабой Сохой попрощаюсь!

— А это уж ты у хозяйки спрашивай, — сказал, высовываясь из окна кабины, Геха. — А я что — извозчик.

— Не выдумывай! Я вся замерзла, зуб на зуб не попадает. А о сыне-то ты подумал?

Клавдий Иванович не стал настаивать. В конце концов баба Соха все поймет, не осудит его.

МАЗ, загремев мотором, качнулся вправо, качнулся влево и пополз на дорогу. Из мутной завесы дождя последний раз вынырнул большой отцовский дом и тотчас же растаял, а потом справа, над рощей мокрого осинника, по которому уныло барабанил дождь и который, показалось Клавдию Ивановичу, еще более буйно разросся за эти дни на здешних полях, темной, бесформенной кучей всплыла Мамониха.

Мокрым глазам его стало горячо.

Не много, не много радостей отвалила ему Мамониха, чаще злой мачехой оборачивалась, но это была его родина. И он знал: что бы с ним ни случилось дальше, где бы он ни оказался, куда бы ни забросила его жизнь, а самое дорогое, самое святое для него место на Земле, во всей Вселенной тут, в Мамонихе, в этом задичавшем лесном краю.

1972—1980, 1981

ЖИЛА-БЫЛА СЕМУЖКА

Северная сказка

1

Ее звали Красавкой.

Это была маленькая пестрая рыбка, очень похожая своей золотисто-палевой, в красных пятнышках, расцветкой на гольянов — самую нарядную рыбешку северных рек. Вот только голова у Красавки была большая, непомерно толстая, и, наверно, поэтому те же самые гольяны — их семейка жила рядом, в тихой заводи у берега, — никогда не заглядывали к ней на быстринку.

Быстринка — маленькая веточка-протока, оторвавшаяся от пенистого порога. От главной речной дороги, по которой гуляют большие рыбы, ее отделяет серый ноздреватый валун. Сверху валун густо забрызган белыми пятнами — на нем постоянно вертятся трясогузки, а под валуном — промоины, спасительные промоины с холодной ключевой водой. Жарко — ныряй в промоины, разразилась буря-непогодь — и опять выручают промоины. А самое главное — где бы она укрывалась от врагов?

Врагов много. Враги со всех сторон. Зубастые щуки, рыскающие в прибрежной осоке, огнеперые разбойники-окуни, налимы-притворщики, наподобие серых палок залегшие у камней, и даже ерши. Ужасные нахалы! Подойдут скопом к быстринке, развернутся, как для нападения, и стоят — неприступные, ощетинившиеся, выпучив большие синие глазищи.

Поэтому Красавка — ни на шаг от своей быстринки. С утра она ловила букашек и пауков, которых приносило течением, а затем, если было солнечно, играла: то подталкивала носиком искрометные камешки на дне, то прыгала за изумрудными стрекозами, снующими над самой водой, а иногда, ради забавы, даже кидалась на какого-нибудь зазевавшегося малька.

Но особенно она любила наблюдать за большими

рыбами. Она часами могла смотреть на пляску проворных хариусов в шумном пороге, на стремительный бег красавцев сигов, которые, подобно серебряной молнии, прорезали темные глубины плеса — огромной ямины, начинающейся сразу за валуном.

В общем, ей нравилось житье на веселой быстринке.

Но вот наступили темные, хмурые дни, с дождями, туманами, и Красавка затосковала.

Солнце теперь показывалось редко, сверху все время сыпались листья, лохматые, разбухшие, и на быстринке было неуютно и сиротливо. А по ночам к валуну стал наведываться обжора-налим. Скользкий, безобразно голый, морда с усищами, он подолгу шарил под валуном, принюхивался, тяжело сопел. Красавка еще глубже забивалась в промоины и до самого рассвета дрожала от страха. И так ночь за ночью.

Что делать? Куда податься?

Однажды утром, в который раз размышляя над своей горестной судьбой, она вдруг увидела слева от валуна, на плесе, там, где пролегала главная дорога к реке, огромную, незнакомую ей рыбу. Рыба неторопливо плыла вниз по течению, и, когда она изредка взмахивала хвостом, от нее расходились волны. А как она красива была, эта рыба! Тело длинное, сильное, в розовых и золотистых пятнах, могучие темные плавники с оранжевой каймой...

Едва проплыла эта удивительная рыба, как вслед за нею показалась стайка пестряток — таких же цветастых рыбок, как сама Красавка, но только побольше ростом. И что поразительно: пестрятки бежали весело и беззаботно, словно по меньшей мере они находились под покровительством этой рыбы.

Недолго раздумывая, Красавка поплыла им наперерез.

— Скажите, пожалуйста, — очень вежливо обратилась она к ним, — что это за рыба прошла мимо?

— Как? — удивились пестрятки. — Ты не знаешь свою родственницу семгу?

— Родственницу? — пролепетала изумленная Красавка. — Значит, и я буду такой же сильной рыбой?

— Ну а как же... Вот еще дуреха! — расхохотались пестрятки. — Да откуда ты взялась?

— Я... я тут, с быстринки...

— Ах, да она сеголеток, — разочарованно сказали

пестрятки, — и ни черта еще в жизни не видала. Хочешь с нами на порог?

— А что вы там собираетесь делать?

— Спрашиваешь! Когда семга икру мечет, что́ делают?

Грубость и высокомерная развязность пестряток покоробили Красавку. Но почему бы ей не присоединиться к ним?

На дресвяном приплаве у грохочущего порога творились странные вещи. Большая семга, работая плавниками, разрывала мелкую цветную гальку, а рядом с ней хлопалась еще одна семга, поменьше — розоватая, с длинной костлявой головой и уродливым хрящеватым отростком на кончике нижней челюсти. Это, как сказали Красавке, был самец, которого называли Крюком.

— А что они делают? — тихо спросила Красавка, с любопытством присматриваясь к семгам.

— Они роют коп — яму, куда откладывается икра.

Пестрятки обошли стороной большую семгу и начали спускаться в шумный, пенистый порог.

— Ой, я боюсь, меня унесет! — закричала Красавка, отчаянно работая хвостиком.

— Да не бойся ты, глупая. Разве такие бывают пороги!

Впрочем, Красавку напугал не столько сам порог, сколько то, что она увидела за горловиной порога. Там, под густыми шапками пены, толпилась крупная рыба: темноспинные хариусы с оранжевыми плавниками, крутолобые, поблескивающие слизью налимы. Зачем же она полезет к ним в пасть?

Красавка прибилась к стайке пестряток, задержавшихся у небольшого валуна, сбоку стремнины, и стала ждать, что будет дальше.

Тускло мерцало оловянное солнце. В горловину порога со стуком скатывались камешки, выворачиваемые плавниками.

Вдруг вода вокруг — семги уже наполовину зарылись в яму — забурлила, закипела ключом. Семги неистово били хвостами, извивались, с яростью терлись брюхом о дресву.

Пестрятки насторожились.

— Что они делают? — шепотом спросила Красавка, кивая на коп.

— Ну и бестолочь! Милуются...

— А зачем?

— Зачем, зачем...

Из-под хвоста большой семги выскользнули веселые оранжевые горошинки — и тотчас же от брюха самца отделилось белое мутное облачко...

Пестрятки стремительно бросились на эти горошины. Красавке тоже удалось схватить несколько штук.

— Ну, как, хороша семужья икра? — спросила ее одна из пестряток.

— Вкусна. Очень вкусна. — Красавка от удовольствия даже помахала хвостиком. — Я еще ничего подобного не ела.

— То-то же!

Меж тем икринки все выкатывались и выкатывались из-под хвоста семги, янтарной цепочкой растекались по течению. Их хватали пестрятки, заглатывали налимы, за ними охотились хариусы. И так продолжалось день и ночь.

Красавка наелась до отвала.

Она была очень благодарна большой семге и решила хоть на словах выразить ей свою признательность.

— У вас очень вкусная икра, — сказала она, осторожно приближаясь к ней сбоку.

— Ты пожирательница своего рода, — прохрипела семга. Глаза у нее были мутные, осовелые, она с трудом ворочала плавниками, и по всему чувствовалось, что страшно устала.

— Что это значит?

— Я мечу икру — и из каждой икринки должна вырасти семужка. А ты пожираешь своих сестер и братьев.

— Боже мой! Неужели? Простите, пожалуйста. Я не знала.

Несколько секунд Красавка растерянно смотрела по сторонам, затем бросилась усовещевать пестряток:

— Стойте! Остановитесь! Знаете ли вы, что делаете? Вы поедаете своих сестер и братьев.

Пестрятки рассмеялись:

— Чистоплюйка! Вздумала мораль читать. Сама налопалась, а другие не моги...

Красавка, опечаленная, вернулась к семге:

— Они меня не послушали.

Семга ничего не ответила. Она выбиралась из копа. Крюка уже не было.

Красавка, влекомая любопытством, подплыла к кромке копа, заглянула в него. Там, на дресвяном дне, кое-где посеребренном чешуей, лежала горка веселых

оранжевых икринок. И казалось, они улыбались, точно радуясь своему появлению на свет. Неужели это правда, что из этаких вот крохотулек вылупятся рыбки?

Вдруг в яму посыпались камешки, песок. Красавка с испугом отпрянула в сторону. Большая семга, работая хвостом и плавниками, засыпала коп.

— Послушайте, — вне себя закричала Красавка, — что вы делаете? Ведь икринки погибнут под дресвой.

— Не погибнут, — ответила семга. — Вот если бы я их не засыпала, тогда бы они погибли. Их пожрали бы рыбы. А так икринки будут лежать до весны. Большой водой размоет коп, и из них к тому времени вылупятся маленькие рыбки. Поняла?

— Но почему, — допытывалась Красавка, — вы позволили рыбам поедать икру? Почему вы не отогнали их? Ведь вы такая большая и сильная.

— Ах, ты еще ребенок и ничего не понимаешь. Вот когда ты станешь матерью, ты узнаешь, каково рожать детей. Я измучена, у меня нет сил. Я с трудом двигаю плавниками. А мне еще надо идти в море.

— В море? А это что такое?

— Море. — У семги на мгновение блеснули глаза. — Море — это далеко, очень далеко. И ты еще узнаешь его в свое время.

Выгибая хвост, семга начала разворачиваться. На нее было больно смотреть. Тело ее похудело, высохло и стало плоским, как доска. На брюхе появились кровоточащие ссадины.

Быстрая стремнина подхватила семгу и понесла в пенистую горловину порога.

— Счастливого пути! — крикнула вдогонку Красавка.

Ей никто не ответил. Ревел порог. На месте недавней ямы-копа, где лежала семга, бугрился маленький холмик, отмываемый струйками воды. Пестрятки, отяжелевшие от еды, медленно поднимались вверх по течению.

«Как странно и непонятно устроена жизнь... — думала Красавка. — Зачем пошла семга в море? И что такое море?»

2

С этим вопросом Красавка обращалась ко многим рыбам. Но никто из них: ни ельцы, ни сиги, ни хариусы, ни тем более такая глупая и нахальная рыбешка, как

ерши, — никто из них ничего не слыхал про море. Может быть, о нем знают щуки и окуни? Но как подступиться к этим живоглотам? Ни одна рыба не может без страха пройти мимо их урочищ, а тут добровольно плыть на верную гибель...

Ночи стали еще длиннее и тоскливее. Сверху целыми днями сыпались белые хлопья. На реке выросла мохнатая ледяная шуга. Куда девалось солнце?

Вокруг поговаривали, что так бывает каждый раз, когда от них уходит семга.

Неужели она унесла с собой солнце? О, это было бы жестоко, слишком жестоко!

Рыбы присмирели, притихли, стали вялыми и неподвижными. Многие из них перекочевали к порогу — там еще играла вода и было легче дышать.

Но вот и порог заковало льдом. В реке воцарилась сплошная ночь.

— Что же это такое? — со страхом спрашивала у рыб Красавка.

— Это пришла пора большой духоты — самое тяжелое для нас время.

На яме — зимней стоянке рыб — великая теснота. Сюда перебрались все обитатели реки, большие и малые. Душно. Темно. В нижних слоях день и ночь разбойничает налим, у которого, по разговорам, в это время начинаются свадьбы, и оттуда часто доносятся вскрики очередной жертвы.

Красавка, стоявшая у какого-то камня на выходе к порогу, была ни жива ни мертва. Она задыхалась. Ей не хотелось ни есть, ни двигаться. Только бы глоток свежей воды. Один-единственный глоток! А потом ей стало все безразлично. На нее напала спячка, длинная и тягучая...

Избавление, как это ни странно, пришло от щуки, так, по крайней мере, говорили в реке. Будто разозлилась однажды щука, ударила хвостом по ледяному панцирю, и тот распался.

Ах, какое это счастье — снова вволю дышать, двигаться, ловить личинок, вдоволь есть!

По всему плесу, празднуя свое освобождение, рыбы водили брачные игры. Целыми днями в берегах клокотали щуки, бесновались в курьях окуни, распуская серую кисею икры, весело рассекали мутную воду косяки хариусов, и даже голубоглазые ерши, воинственно ощетинив перья, без передышки пировали в тихих заводях.

Потом заговорили, запенились пороги, зазеленели подводные луга — излюбленные пастбища рыб летом, а потом... потом в реку спустилось солнце и золотыми искрами рассыпалось по каменистому дну.

Ура, к нам идет семга!

Красавка лишилась сна и покоя. Она постоянно прислушивалась ко всем звукам и всплескам, выплывала на плес и часто, хотя и украдкой, смотрелась в блестящие камешки — очень уж ей хотелось быть посолиднее да покрасивее. Что ж, кажется, она подросла немножко, а платье ее стало еще цветастее. Наконец, не выдержав, она перебралась поближе к порогу. Ведь оттуда, из этой кипящей пучины, должна прийти семга. И кто же, как не она, Красавка, должна встретить ее?

Был ранний час. Рыбы еще только-только просыпались. И вдруг по всему плесу прокатился невероятной силы грохот. Пошли волны. Это царь-рыба извещала плес о своем возвращении.

...Вот она, вот! Серебряным клином прорезает темную яму. Яростный взмах хвостом — и тело ее в брызгах и пене взлетает над водой...

Тихо и жутко стало в реке, когда она кончила свою пляску. Рыбы, и малые и большие, затаились в своих тайниках.

Красавка смело поплыла к семге. Чего ей бояться? Ведь это ее старая знакомая.

— Здравствуйте. Вы узнаете меня?

Семга хмуро посмотрела на пеструю пигалицу.

— Ну как же? — с живостью подсказала Красавка. — Прошлой осенью на копе. Помните, я еще провожала вас в море?

— Ты путаешь, девочка. Я не была в прошлом году здесь.

— Вот удивительно! Ну точь-в-точь такая же была семга — только платье на ней было другое. Розоватое, с желтыми блестками. И она еще хотела рассказать мне о море.

— Море? — У семги зажглись глаза. — Море — это хорошо. Там сейчас много солнца. А какие штормы, волны...

— Ах, как бы я хотела в море! — с жаром воскликнула Красавка.

— Тебе еще рано. Но через год, — семга оглянула ее более приветливо, — ты увидишь море. А теперь посторонись. Я хочу пройтись по плесу.

Короткий взмах хвостом — и в темную глубь реки побежала веселая, сверкающая белыми и желтыми камешками дорожка.

Жить стало очень интересно. Щуки теперь не решались высунуть носа из травы, налимы, разморенные жарой, отлеживались под корягами. А как завидовала Красавке всякая мелкота! Еще бы — дружить с самой семгой! Ни одна рыба не смеет гулять по семужьим тропам, а Красавка гуляет каждый день. А кто осмелится запросто подплыть к семге, когда та отдыхает солнечным днем в травнике, и завести с ней разговор о море?

Но больше всего Красавка любила те минуты, когда семга водила свои утренние и вечерние пляски. Бух-бух — гулко разносится по плесу, и где-то в сторонке, у бережка, беззвучно, как от дождинки, расходятся маленькие кружки. Это Красавка учится семужьим пляскам.

Да, многому научилась она у семги. И все-таки сколько еще было в жизни старой семги такого, что казалось совершенно непостижимо для Красавки! Красавка, например, ни разу не видела, чтобы она ела.

— Мы, семги, — был ответ, — совсем не едим в речной воде. И ты в свое время будешь обходиться без пищи.

Или вот еще диковина. Семужье серебряное платье вдруг ни с того ни с сего потускнело, стало приобретать мутный, розовый отлив.

— А вы здорово загорели, — сказала однажды Красавка, стараясь доставить удовольствие семге.

Та в ответ слабо улыбнулась:

— Нет, это не загар. Это приближается время нереста, время брачных игр, и мы, семги, надеваем новые платья — яркие, радужные...

— Рассказывайте, рассказывайте дальше!

— Ты еще маленькая, и тебе рано об этом знать.

Наконец наступило время, когда семга перестала плясать. Ее теперь все больше тянуло на лежку, бросало в дрему.

— Вам невесело со мной, да? Или я что-нибудь не так сделала? — с горечью допытывалась Красавка.

Старая семга обычно отмалчивалась, но однажды вдруг рассердилась:

— Отстань! Надоела ты мне со своими расспросами.

Как знать, может быть, на этом и кончилась бы ее дружба с семгой — насильно мил не будешь, но тут неожиданно свалилась беда, которая круто перевернула всю рыбью жизнь.

На реке появились люди — самые опасные враги, как сказали о них рыбы. Они, эти люди, походили на деревья, что росли возле речки. Но только деревья эти двигались, издавали страшный шум и грохот. Они толкли воду длинными кольями, распускали коварную паутину по реке.

Рыбы как оглашенные носились по взбаламученному плесу.

Вечером, когда все затихло, Красавка отправилась разыскивать свою родственницу. Боже, что творилось на плесе! Не плещутся больше веселые хариусы в порогах за серым валуном, на стоянке у жирных ельцов пусто. Пусто и в доме приветливых сигов.

А семгу, великую семгу, Красавка нашла в невероятном месте — в темной яме у берега под обомшелой корягой!

— Они ушли? — спросила семга.

— Да, их нету.

— Но они придут, придут, — сказала с мрачной убежденностью семга. — Они не оставят меня в покое.

И точно, в последующие дни опять приходили люди и опять гремели кольями, опутывали плес своей паутиной.

Семга теперь по целым дням не выходила из своего укрытия. Ерши злорадствовали при встрече с Красавкой:

— Ну что твоя тетка? Струсила? А нам хоть бы что! Нам сам черт нипочем.

Обнаглели щуки, пользуясь безнаказанностью.

Красавка умоляла семгу:

— Уходите, уходите. Мне очень, очень скучно будет без вас. Но вам нельзя здесь оставаться. Вас могут поймать.

— Нет, мне нельзя уйти отсюда, — отвечала семга. — Ты еще маленькая и ничего не понимаешь.

Дни потекли серые и однообразные. Дожди. Ненастье. Мутные, затяжные рассветы по утрам. Красавка «сбилась с ног»: ей надо было и добывать для себя еду, и остерегаться речных хищников, и навещать семгу.

И вот случилось так, что однажды пришла Красавка к убежищу семги, и там ее не оказалось.

День и два бегала Красавка по плесу, искала свою родственницу. Шел дождь. Качались валы. Рыбы сиротливо жались к корягам и камням. И никто из них не знал, куда девалась семга.

В конце концов Красавка отыскала ее на приплаве у нижнего порога. И все тут было точь-в-точь как в прошлом году: в дресвяной яме, тяжко ворочаясь, лежала семга, над ней, самозабвенно извиваясь, колдовал розовый Крюк, распуская белый шлейф, а внизу, в пороге, с разинутыми пастями толклись налимы, юркие хариусы, пестрятки.

— Ах, как я рада, что снова вижу вас! — сказала Красавка, подплывая к семге. — А я так волновалась, так волновалась. Почему вы ушли, ничего не сказав мне?

Семга молчала. Красавка из деликатности отошла в сторонку. А потом, когда семга вылезла из копа и стала зарывать его дресвой, она снова подплыла к ней:

— Вы сейчас в море? Возьмите меня с собой.

— Тебе еще рано. У тебя не хватит сил. О, это далекий-далекий путь. И я сама боюсь его.

— Ну та: оставайтесь здесь. Я бы все-все стала делать для ва.

— Не говори глупостей. Я задохнулась бы в этой речонке.

Развернувшись, семга устало сказала: «Прощай» — и, подхваченная стремниной, стукаясь головой и телом о камни, покатилась в порог.

Глухая тоска сдавила сердце Красавки. Она смотрела туда, в пенистую горловину порога, в котором только что исчезла семга, и с ужасом думала о том, что ее ждет впереди. Духота, темень, вечный страх перед щукой и налимом... А там где-то море, простор. И солнце, много солнца.

Нет, она не может больше оставаться в реке. Нет, нет!

Красавка напружинила мускулы и очертя голову кинулась в клокочущую пасть буруна.

3

Шумные, рокочущие пороги, широченные плесы, бездонные ямы... И нет им ни конца, ни края.

Старая семга, израненная, изможденная, с растрепанными, измочаленными плавниками, казалось, совсем

обессилела. В бурных порогах ее вертело, как щепку, било о камни. Но она все плыла и плыла...

Самое трудное для Красавки было добывать еду. Впрочем, пока они плыли маленькой речкой, она еще кое-как справлялась с этим: там схватит букашку, тут подцепит какого-нибудь червяка.

Но вот они вошли в большую реку, и Красавка приуныла. Голод терзал ее. Правда, она ухитрялась иногда свернуть на отмель и схватить какого-нибудь жучка. Но разве это еда?

Однажды, когда они шли угрюмым, глубоким плесом, старая семга вдруг обернулась:

— Идешь все-таки?

Красавка смутилась — она ведь думала, что старая семга до сих пор не заметила ее.

— Ты храбрая девочка, — сказала семга. — Но я советую тебе вернуться домой. Скоро начнется новая река, и там ты совсем не найдешь еды. Вернись. Ты еще успеешь добраться домой до наступления большой духоты.

Красавка, пригорюнившись, молчала.

— Слушай же ты, глупая! — повысила голос старая семга. — Знаешь ли ты, сколько нас гибнет на этом великом пути? Твое время еще не пришло. Семужья молодь скатывается в море весной. Поняла?

Слова старой семги совсем пришибли Красавку. Она-то теперь понимала, как безрассудно поступила, отправившись в это путешествие. Но что ей делать?

Скоро они вошли в новую реку. Боже, какая черная вода! Темень, глубь. И хоть бы одна отмель на пути. От постоянного недоедания у нее кружилась голова, плавнички стали вялыми и непослушными. Она плакала, завидовала старой семге, которая так долго может не есть.

Как-то раз, когда ей совсем стало невмоготу, она не выдержала, взмолилась:

— Остановитесь же немножко. Я не могу больше без еды. Постойте здесь, я сплаваю к берегу.

— Мне нельзя останавливаться, — прохрипела старая семга. — Я хочу есть. Я вся высохла. От меня остались одна кожа да кости.

— Так давайте поплывем вместе к берегу.

— Ты забыла, что я не могу есть в пресной воде. Для меня здесь нет пищи.

— Ну можете же вы минутку обождать? — И Кра-

савка, полагаясь на сознательность старой семги, поплыла к берегу.

У берега был лед. Но ей все-таки удалось разыскать несколько червяков. Повеселевшая, воспрянувшая духом, она поспешила назад. Семги на старом месте не оказалось. Красавка кричала, бегала вокруг, потом, сообразив, что семга могла уйти вперед, кинулась догонять ее. Она плыла-плыла, долго плыла, а семги все не было. Ужас и отчаяние охватили ее. Что же с ней будет теперь?

На ее счастье, в это время показалось несколько семог, плывущих одна за другой сверху. Красавка несказанно обрадовалась:

— Вы куда? Не в море?

— Да, мы идем в море.

— Вот хорошо-то! Мне тоже в море.

— Тебе в море? — устало рассмеялись семги. — Да как ты вообще попала сюда?

— О, я издалека. Сначала мы со старой семгой плыли маленькой речкой, потом большой, а потом заплыли в эту...

— А-а, — семги переглянулись, — она, верно, из того рода, что каждое лето уходит в верховье Юлы.

— Да, я слыхала, наша речка впадает в Юлу. А вы откуда? — Красавка рада была отвести душу с этими разговорчивыми и еще довольно сильными рыбами.

— Мы? Мы не такие глупые, как в вашем роду. У нас дом ближе. И мы меньше устаем. Но все-таки, — снова спросили семги, — как ты оказалась здесь? Это неслыханно! Ты еще совсем глупая девчонка!

— Да, наверно, глупая, — с печалью в голосе согласилась Красавка. — Так мне и старая семга говорила.

— И она глупая. Еще глупее тебя. Разве можно было брать с собой сопливую девчонку? Посмотри, ты ведь даже из детского платьишка не вылезла. А тоже в море собралась...

Что ж, пускай смеются. Только бы не гнали ее. И снова путь. И снова голод. Снова бесконечная угрюмая река — без берегов, без дна...

Наконец однажды на рассвете семужья стая вышла на песчаную отмель. Впереди что-то грохотало, ухало. Мутно-зеленая вода, накатывавшаяся волнами, отдавала соленой горечью.

Красавка, прислушиваясь к грохоту, робко спросила:

— Что это такое?

— Это море, глупая. Море! Как хорошо!

Семги лежали на песчаной отмели, как на перине, страшно усталые, изможденные, тихо покачиваясь на зыбкой волне. Зубастые пасти их были широко раскрыты, и они с наслаждением вбирали в себя соленую, горьковатую воду, от которой у Красавки кружилась голова.

— Что, мутит? — спросила ее ближняя семга. — Это морская болезнь. Но она скоро пройдет. Тебе повезло, малютка. Ты первая в этом возрасте достигла моря.

Семги еще полежали немного и вдруг с неожиданной силой взмахнули хвостами. Красавка кинулась вслед за ними, но внезапно налетевшая волна отбросила ее назад.

— Постойте, постойте! — закричала она. — Подождите меня.

— Не робей, детка! — донесся поощряющий голос из глубины. — Тебе только перескочить вал, а здесь тихо, спокойно.

Море бурлило, ревело, выворачивало со дна песок. И долго еще, как щепку, кидало Красавку из стороны в сторону, пока она наконец не достигла глубины, где стояли семги.

Темно, мрачно. Наверху качаются громадные белые льдины...

И это море, море, о котором она так мечтала! Нет, не таким она представляла себе море. Оно казалось ей большой светлой рекой, вечно залитой солнцем. Или ей наврали про солнце, которое уносят из реки семги? Где оно, это солнце? Она ни разу не видела его за всю дорогу.

Но еще больше разочаровали ее сами семги. Когда сбоку в зеленой толще воды показалась стайка серебристых рыбок, похожих на уклеек, семги с криком «Сельдь, сельдь!» набросились на них. Началась дикая, отвратительная бойня. Трепещущие рыбки одна за другой стали исчезать в зубастых пастях.

Красавка с ужасом смотрела на это пиршество. Так вот зачем они ходят в море!

Когда было покончено с сельдью, семги, отрыгивая, с довольным видом поглядывая друг на дружку, сказали:

— Ну, кончился наш великий пост. Теперь-то мы поедим вдоволь.

— А ты чего глаза таращила? Не проголодалась? — кивнула Красавке одна семга.

— Но я ем только червяков и рачков.

— Э-э, нет, — сказала семга, — червяки и рачки — это не семужья еда...

— Но я не понимаю, как можно глотать живых рыб. Ведь им же больно.

Семги расхохотались:

— Запомни, детка. Море — это вот что: либо ты съешь, либо тебя съедят. И с червяком в брюхе не много нагуляешь по морю. Море любит сильных.

— И еще запомни, — сказала другая семга: — Держись подальше от нас. Мы ведь не всегда разбираем, кто попадает нам на зубы. Поняла?

И семги, дугой выгибая хвосты, лихо побежали вперед.

4

Ушли... Одна в целом море... Что же будет теперь с нею? Бежать, догонять их? Но она вспомнила предупреждение семги, и сердце у нее сжалось от страха. Все — враги. Даже на семог нельзя положиться...

По сторонам мелькали какие-то загадочные, пугающие тени, внизу — черная, непроглядная пучина. Голод выворачивал ей внутренности.

Она поплыла к берегу. Там есть дно — и должна же она найти хоть какого-нибудь червяка?

Но в тот день ей не суждено было раздобыть еды. Едва она начала различать иловато-песчаную желтую россыпь дна, как оттуда стремительно вынырнула большая красноперая рыба. Красавка из последних сил кинулась в сторону...

И скоро все стало так, как было когда-то в реке. Она лежит у большого валуна, прижимаясь своим вздрагивающим тельцем к песку. Голодная, одинокая. Так зачем же она пошла в это море?

Ночь была длинная, темная. Вокруг ползали какие-то красные и голубые огоньки. Камень вздрагивал от ударов льдин, ворочался. В черные прогалины воды заглядывали далекие, но такие колючие звезды. И всю ночь, не смея отойти от камня, не смыкала глаз голодная Красавка.

К утру камень оброс льдом. Сквозь него начал слабо пробиваться розовый рассвет. Потом постепенно вы-

желтилось песчаное дно, голое, неуютное. Где же червяки? Где рачки? Неужели ей помирать голодной смертью?

Вдруг она увидела, как неподалеку от нее зашевелился крохотный песчаный холмик. Из холмика проклюнулся сначала остренький носик, а затем, извиваясь, выскользнула узенькая полосатая рыбка. Это была песчанка, которая на ночь зарывается в песок. Красавка, не помня себя, бросилась на рыбку... А потом она заглатывала эту рыбку и плакала. Плакала оттого, что она оказалась такой же хищницей, как все остальные семги...

5

Ранней весной у берегов Северной Норвегии скопляются громадные косяки сельди. Тут ее нерестилища. Бухты и отмели, забитые сельдью, похожи на гигантские котлы. Воздух рвется, раскалывается от крика ненасытных чаек. Трещат лебедки рыбачьих траулеров. А со стороны моря на беззащитную сельдь вихрем налетают семужьи стаи.

В одной из таких бухт жировала и наша Красавка. Но кто бы теперь узнал ее. Прошло всего полтора года, а маленькая пестрая рыбка, едва достигавшая размеров среднего пескаря, превратилась в полуметровую рыбину со сверкающей серебряной чешуей. Правда, по сравнению с другими семгами она все еще была недоростком, но зато выносливости и проворности ее могла позавидовать любая старая семга.

Она не знала расслабляющей усталости. Ее не страшили ни бури, ни штормы. Она могла целыми днями гнаться за крылатыми тенями, скользящими по поверхности воды, потому что чайки — главные поводыри семги в море. И они рано или поздно наведут ее на новый косяк сельди.

И еще одно отличало Красавку — необыкновенная прожорливость. Соленая вода вызывала у нее бешеный аппетит, а кроме того, у Красавки были еще другие причины «нажимать» на еду. «Море любит сильных!» О, она хорошо запомнила этот урок.

У нее не было времени, чтобы месяцами приспосабливаться к новым условиям, как это делает семужья молодь, скатывающаяся в море весной. Она должна

была пройти этот курс в спешном порядке. Да еще глубокой осенью. И она прошла его.

Почти месяц Красавка провела у берегов Северной Двины. И весь этот месяц она беспрерывно ела и ела. Скорее вырасти! Скорее стать такой же сильной, как семги!

И вот настал день, когда она почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы присоединиться к последней семужьей стае, уходящей в открытое море.

У нее дух захватывало от новизны. Необыкновенные подводные луга из красных и бурых водорослей, новые неведомые рыбы, медузы, гигантские чудища — акулы, тюлени, которые, подобно бревнам, выскакивают из черной морской пучины...

Много врагов в море. Каждую секунду будь начеку. Но какой простор! Какая ошеломляющая ширь и свобода!

Сотни, тысячи километров проходит беломорская семга, чтобы попасть к берегам Норвежья — своим извечным морским пастбищам. И тут начинается для нее настоящий праздник — сплошное, непрерывное пиршество.

Красавка с быстротой молнии налетала на беззащитную рыбу. Еще плывут где-то сзади старые семги, прицеливаясь к своим жертвам, а она уже яростно вонзает свои молодые зубы в добычу. Хруст рвущейся рыбы — и она снова летит вперед. Нельзя задерживаться! Старые семги не будут разбирать, кто ты — их родственница или селедка.

Шли недели и месяцы. Над буйным Баренцем встало немеркнущее солнце. Начиналось любимое рыбами время года. Но что это происходит с семгами? Они все медленнее и медленнее продвигаются вперед, часто принюхиваются к воде, наконец однажды семги собрались в стаю и повернули назад.

Красавка немало была удивлена этим.

— Послушайте, — сказала она, догнав хвостовую семгу, — почему вы повернули обратно? Разве вам мало здесь пищи?

— Как? Ты забыла, что мы в эту пору возвращаемся на родину?

— На родину? Это что? Новое море?

Семга удивленно выпучила глаза, затем громко расхохоталась, так что остановились другие семги.

— Нет, вы послушайте! Она не знает, что такое родина. Она называет родину морем.

Семги окружили со всех сторон Красавку и с возмущением заговорили:

— Какой позор! Какой стыд! Она забыла родину!

— И тебя не тянет, несчастная, домой?

— Ты забыла, откуда пришла в море?

Красавка искренне пыталась припомнить, что такое родина, откуда она пришла в море, но в памяти ее смутно всплывала какая-то духота, тяжкий и мучительный путь.

— Ты самая несчастная из всех семог, — устрашающе заговорила самая большая семга. — Ты забыла родину, ты забыла великий закон наших предков.

— Простите, пожалуйста, — сказала Красавка. — Но почему вы так враждебно разговариваете со мной? Может быть, я виновата. Но я действительно плохо помню то, что вы называете родиной, — ведь я совсем маленькой пришла в море, и я совершенно не слыхала о великом законе предков.

— Нет, это бог знает что! — с негодованием восклицали семги. — Какая молодежь пошла нынче! Она не слыхала про великий закон предков! А про что же ты слыхала?

Красавка вспылила:

— Вы бы лучше объяснили мне, чем орать. Что же в том плохого — ведь я честно признаю, что не слыхала про великий закон предков. Не хотите же вы, чтобы я лгала?

Нашлась, однако, одна рассудительная семга, которая заговорила с ней спокойно и деловито:

— Так ты говоришь, не слыхала про великий закон предков? Но разве ты уже не исполняла его? Разве ты еще не возвращалась на родину?

— Нет, я приплыла в море откуда-то совсем маленькой.

— Это поразительно, — заговорили семги, переглядываясь друг с дружкой. — Ей надо объяснить великий закон наших предков.

— Ну, так слушай же, — торжественно начала рассудительная семга, — и постарайся запомнить навсегда.

Давно, давно это было. Наши предки тогда постоянно жили в реках и мало чем отличались от других рыб, тем более от таких, как наши родственники сиги

и хариусы. Как сиги и хариусы, они довольствовались лишь тем, что ходили от устья до вершины реки и собирали пищу. Пищи было мало. Наши предки часто голодали, росли хилыми и вялыми, и мясо у них было белое, как у других речных рыб. А потом наступала зима, и им совсем становилось худо. Они задыхались под ледяным панцирем, гибли. Их притесняли щуки, налимы... И так было до тех пор, пока в семужьем племени не родился один юноша, по имени Лох. Это был необыкновенный юноша. Сама природа отметила его. На нижней челюсти у него вырос крюк — потому-то с тех пор всех мужчин в нашем роду зовут еще крюками. О смелости Лоха слагали легенды. Он не кланялся ни налиму, ни окуню и даже злой щуке не уступал дороги. И вот однажды, когда стало приближаться время большой духоты, Лох начал подбивать самых молодых и отважных:

«Нам нельзя больше жить по-старому. Наш род вымирает, гибнет от злых щук, гибнет от тесноты и духоты. Пойдемте искать новые во́ды».

Услыхали эти слова старики и призвали Лоха к ответу. Много было споров на том сборище, дело не раз доходило до драки. Но в конце концов умные старики рассудили.

«Что ж, — сказали они Лоху, — в твоих словах много правды. Наш род действительно хиреет с каждым годом. Бери самых сильных и иди — ищи новые реки. Но прежде чем отправиться в поход, ты должен поклясться, Лох: ты не забудешь родину отцов — ты будешь носить ее в своем сердце. И ты вернешься домой. Иначе тебе не будет удачи».

Лох со своими смельчаками дал клятву и ушел.

Долго Лох и его товарищи не подавали о себе вестей. И все думали, что они погибли. Над семгами смеялись налимы и окуни, а злые щуки совсем обнаглели, в любое время нападали на семужьи стаи. Но вот однажды, когда миновало время большой духоты и в реку вернулось солнце, в нашей реке появились необыкновенные рыбы. Их было немного — всего несколько, но зато какие это были рыбы! Большие, сильные! И тело их было словно отлито из серебра. Они шли серединой реки, и тогда все разбегались по сторонам, а когда они начинали резвиться, подпрыгивать кверху, даже щуки замирали от страха.

Наши предки, убоявшись их, кинулись бежать вме-

сте с другими рыбами. И вдруг громовой голос прокатился по реке:

«Куда же вы бежите от нас? Ведь мы же ваши сыновья и братья. Разве вы забыли своего Лоха?» Да, это был Лох, наш великий Лох... Он говорил на нашем семужьем языке. И тогда наши предки повернули навстречу этим молодцам. И была радость великая и ликование в семужьем племени.

«Где ты пропадал, Лох? Откуда явился? Как ты стал таким великаном, в то время как мы едва не умерли от духоты?»

И Лох рассказывал, рассказывал, какой путь он проделал со своими товарищами, как много их погибло на этом пути, а потом он стал петь гимны морю, морю, где рождаются богатыри. Там необыкновенные просторы, говорил Лох, там много еды, так много, что он, Лох, и его товарищи могут ничего не есть все лето. Подойдите ко мне поближе, говорил Лох, потрогайте мои мускулы, мой хвост. И это все мне дало море. Я на всю жизнь просолел морской солью, и тело у меня стало красное, как закат.

И тогда наши предки, воспламененные его речами, воскликнули:

«Веди нас в море, Лох! Мы хотим стать такими же крепкими и могучими, как ты и твои товарищи».

«Хорошо, — сказал Лох, — я отведу вас в море. Но отведу не раньше, чем настанет время большой духоты. А пока я хочу насладиться вдоволь пресной водой, порезвиться в родной реке, ибо только мысль о ней давала нам силы в борьбе с морской стихией».

— С тех пор, — заключила семга, — мы и стали жить по закону великого Лоха. Когда наступает время большой духоты, мы идем в море, а когда оно проходит, мы возвращаемся на родину предков.

Красавка слушала как зачарованная. Так вот какой тайной окружен ее род! Так вот зачем семги ходят в море! А она-то, глупая, думала только о жратве, о своих собственных удовольствиях. И ей стало нестерпимо стыдно за свою мелочную, эгоистичную жизнь.

— Скажите, — спросила она, — а что же сталось с великим Лохом?

— Великому Лоху за его подвиг природа даровала бессмертие.

— И он жив сейчас? — воскликнула Красавка.

— Да, он живет среди нас.

— Боже мой! И я увижу великого Лоха?!

— Нет, — сказала семга. — Ты никогда не увидишь его. В твоем сердце не живет закон великого Лоха. Ты забыла родину. А великий Лох выбирает в подруги только ту из нас...

— Вот как, — перебила Красавка, — с великим Лохом можно даже дружить! Ах, как бы мне хотелось стать его подругой!

— Нет, — сказала семга. — Ты никогда не станешь его подругой. Он выбирает из нас самую достойную и самую смелую, ту, что превыше всего чтит его закон.

Красавка, опечаленная, задумалась. Как жаль, что она никогда не увидит великого Лоха, не станет его подругой! Но разве она не смелая? Разве старые семги не говорили ей когда-то, что еще не было в их роду такой безрассудной девчонки, которая бы рискнула в ее возрасте отправиться в море?

Красавка сразу повеселела. Ей хотелось спросить, где и когда великий Лох выбирает себе подругу, — должна же она попытать своего счастья — но стая семог, словно забыв про нее, была уже далеко.

Красавка кинулась догонять их. Да, она выполнит закон великого Лоха. Она пойдет в родную реку, и, может быть, однажды великий Лох, прослышав о ней, сам придет к ней.

Долго шли семги бурным морем. Шли мимо каменных гряд, шли бездонными глубинами, шли песчаными отмелями.

Красавка часто вырывалась вперед. Как знать, может быть, откуда-нибудь со стороны на них смотрит сам великий Лох, и она должна быть на виду.

Как-то раз у песчаной косы они наткнулись на большой косяк крупных семог. У Красавки сладко забилось сердце. Ей подумалось, что, наверное, это и есть то место, куда со всего моря стекаются семги и где им устраивает смотр великий Лох. Но семга, к которой она обратилась за разъяснением, презрительно скривила губы:

— Это морянки. Их не уважает великий Лох.

— Почему?

— Потому что они плохо соблюдают его закон. Они начинают свой ход в родные реки только осенью и осенью же скатываются в море.

Красавка решительно отвернулась от этих негодниц. Она ничего общего не желает иметь с ними, раз они наполовину изменили великому Лоху. Она легко бежала

вперед и первой бросалась навстречу грохочущей волне: великий Лох любит смелых!

Потом был незабываемый момент, когда она вкусила пресной воды. Старые семги, расслабленно покачиваясь на мелкой волне, не стесняясь, плакали.

— Здравствуй, родина, — тихо и молитвенно шептали они.

— Я чую запах своей реки! — раздался радостный возглас.

— И я! И я!.. — закричали семги.

У Красавки трепетало сердце от счастья. Ей тоже казалось, что в рот ее бьет какая-то томительная, волнующая струйка воды. И тут случилось невероятное: в памяти ее начала оживать далекая-далекая речка с певучими порогами.

«О, как хорошо, как хорошо!» — шептала про себя Красавка. Нет, нет, не правы те, кто говорил, что в ее сердце не живет закон великого Лоха. Он живет. Она знает теперь путь на родину своих предков. Тоненькая струйка родной воды, как нитка, поведет ее вперед.

Путь был нелегок. Бешеное течение, ледяные заторы, какая-то преграда из бревен во всю реку. Но что ей теперь эти препятствия, если жизнь ее наполнена великим смыслом!

— Вот мы и дома, — сказали однажды семги, останавливаясь на широком плесе. — Слышите, как приветствует нас родная река?

Издали доносился глухой шум воды.

— Это гремят наши пороги, — пояснила одна из рыб, с которой часто плыла рядом Красавка. — Ах, какие у нас пороги! А вода — чистая, ключевая. Пойдем с нами, — вдруг предложила она Красавке. — Ты хорошая товарка. Мы славно повеселимся в нашей реке. Мы тебя научим нашим танцам. А какие у нас молодцы лохи!

— Нет, нет, — сказала Красавка. — Я должна идти в свою реку. Разве ты не знаешь закон великого Лоха?

Немного спустя от семужьего косяка отделилась еще одна семья, затем отделилась другая и третья, а Красавка с поредевшей стаей все продолжала двигаться вперед. Плохо, конечно, что у нее так далеко родина, но родину не выбирают.

Их было всего лишь несколько рыб, когда однажды на утренней заре они вошли в родную реку. Но боже, как они радовались, вступая в нее! В горловине устья звонко журчала вода, прыгая с камня на камень. На-

верху ходили туманы, и молодое, розовое солнце с любопытством подглядывало за большими серебряными рыбами, плескавшимися в пороге.

— Вот это водичка, — говорили семги, блаженно замирая под щекочущей струей. — Такой реки, как наша, на целом свете не сыскать.

Омывши дорожную грязь, они вышли на ближайший плес и начали свою первую пляску в реке — так приветствовали родину еще их предки, возвращаясь домой из далекого странствия.

Красавка, по общему признанию, прыгала выше всех. И ей очень приятна была похвала опытных подруг.

Затем наступило ни с чем не сравнимое путешествие по родной реке. Целыми днями искрится галька и песок, поют пороги. И тишина, ласковая тишина малиновых зорь... Мечется в панике разная мелочь. Ельцы, ершишки, хариусы — все разбегаются по сторонам. Глупые! Ну чего же вам-то бояться! А вот злодеек щук — тех следовало бы проучить. Хватит, поразбойничали на своем веку. Но где они? Неужели те колючие огоньки, время от времени зло вспыхивающие в зеленой прибрежной осоке, — их глаза? Ага, струсили, проклятые?

Постепенно вода в речке начала падать. Семги одна за другой стали вставать на плесы — места, где они выросли. И каждая из них предлагала Красавке свой дом, но Красавка наотрез отказывалась. Разве можно нарушать закон великого Лоха? Нет, нет, она пойдет в свой плес.

И вот, оставшись одна, она еще долго шла вверх по речке. Порой ее охватывало отчаяние. Речка от порога к порогу становилась все у́же и мельче. Ей часто приходилось прыгать через кипящие буруны, со всего маху падать на острые камни, и когда она наконец вошла в свой плес, то не знала, радоваться ей или плакать. Такое вокруг все было маленькое, невзрачное. Сонный плес по краям зарос лопухом. Пороги — как она боялась их в детстве! — шепелявили, как беззубые старики. А ее быстринка, светлая быстринка, на которой она провела столько радостных и тревожных дней! Вялая, жиденькая струйка воды, сиротливо жмущаяся к серому валуну. Какая-то пестрая рыбка, завидев ее, с испугом юркнула в водоросли. Неужели и она когда-то была такой же крохотулей?

Да, ни одна рыба не вышла ей навстречу. Море навсегда отделило ее от речных обитателей. Она здесь го-

стья, недолгая гостья. И все-таки она сейчас была рада, что снова у себя на родине. Семги живут по закону великого Лоха — и она исполнит его.

6

Лето стояло жаркое, знойное. Белые ночи, короткие и легкие, как вздох, не освежали воды, проросшей зеленой тиной. Дышать было трудно. Вдобавок Красавку точил морской клоп, и она уже не могла смыть его в обмелевших порогах.

Тем не менее она мужественно переносила все испытания. По утрам она плясала, кидалась на щук, если те осмеливались выйти на плес. Пусть дохнут с голоду в своей поганой траве. Ведь защита слабых — это тоже исполнение закона великого Лоха. Он, великий Лох, не может быть несправедливым...

...Помутнели, погасли белые ночи. Над рекой заклубились густые туманы. Потом разразился дружный и благостный ливень. Река моментально вздулась. Зарокотали пороги. Это хорошо. Это река расчищает путь великому Лоху.

Красавка во сне и наяву грезила о нем. В черные осенние ночи она почти не спала. Вот сверху падает звезда, и ей уже чудится, что это сам великий Лох в звездном сиянии идет к ней. А что там за шум на пороге?

Плывут, кружатся листья по реке. Вот и солнце уже редко стало заглядывать на плес. А Лоха все нет и нет...

Как-то рано утром на плес заявился темно-розоватый запыхавшийся крючок.

— Пойдем на коп. Я уже который день ищу себе подругу.

— С тобой на коп? — Красавка едва не рассмеялась, так смешон и самонадеян был этот маленький нахал. — А что я там не видела?

— Как? Неужели тебя не тянет на коп? Все семги гуляют в это время на копах.

— Мне нечего там делать. Я жду великого Лоха.

— Великий Лох, великий Лох... — обиделся крючок. — Подумаешь, зафорсила.

Бедный дурачок! Он даже не понимает, о каком Лохе идет речь.

В следующие дни еще приходили крюки — малень-

кие, уродливые заморыши с длинными костлявыми головами. И все они звали, умоляли ее пойти с ними на коп.

— О, какая ты бессердечная! — в один голос стонали они. — Зачем ты мучаешь нас?

Нет, она не хотела мучить их. Но что ей поделать с собой, если ее не тянет на коп? И потом, разве затем она пришла сюда, чтобы поиграть с этими молокососами на дресве?

Сыплет белой крупой сверху. По утрам ледяная корка вырастает у берегов. А великий Лох все еще не подает вестей о себе. Может быть, он забыл о ней? А может, она слишком самонадеянна? Кто сказал, что именно к ней, а не к другой семге придет царственный Лох.

Однажды, лежа на дне плеса и прислушиваясь к речным звукам, она вдруг почувствовала странное, незнакомое томление во всем теле. Ее неудержимо потянуло на дресву, на мелкий рассыпчатый галечник.

Она взмолилась:

— О великий Лох! Я старалась жить по твоему закону. Я долго ждала тебя. Почему же ты не идешь?

Немо и пусто вокруг. Ни звука не услышала она в ответ. «А может быть, я провинилась в чем-нибудь? — пришло ей вдруг в голову. — Может, я прогневила великого Лоха тем, что отказалась пойти на коп с его сыновьями? И он наказывает меня за гордыню? Но где, где они, эти крюки? Куда подевались?»

Она бегала взад и вперед по плесу, спускалась за пороги. Крюков не было.

Наконец, совершенно измученная, вся охваченная нестерпимым желанием, она приткнулась в дресве на приплаве у порога.

Была кромешная ночь. Плыли, сшибаясь в темноте друг с дружкой, мохнатые льдины. Хрустела дресва, скатываясь в порог.

Красавка рыла коп. Рыла неистово, безрассудно, повинуясь всесильному инстинкту продолжения рода. А потом, когда яма была готова, она обессиленно свалилась в нее и снова — в который раз! — зашептала горячо и призывно:

— О великий Лох! За что ты караешь меня? Ну пусть я недостойна тебя. Пускай забыл ты обо мне. Но ведь у тебя много сыновей. И что тебе стоит прислать одного из них. Ну хоть самого-самого захудалого крючка...

И только произнесла она эти слова, как в горловине порога послышался звон и грохот, а затем все вокруг

задрожало от яркого, ослепительного света, точно само солнце заполыхало в ночи.

Ничего подобного не видела она в своей жизни. Это Лох, сам великий Лох идет к ней. Кто же еще может ходить в таком громе и лучезарном сиянии? Вот оно, счастье, вот награда за все страдания и муки, которые она претерпела в реке.

Сладостная истома волнами заливала ее тело. Она лежала на своем ложе притихшая, завороженная необыкновенным, сказочным сиянием, и ждала...

Удар был меток и беспощаден. Стальные зубья остроги попали ей в затылок. Она еще билась, хлестала хвостом, когда ее втащили в лодку...

— Семга! — ошалело и радостно закричал с кормы молодой здоровый парень, который шестом удерживал лодку.

— Тише ты, падло! — прохрипел бородатый мужик, с испугом озираясь по сторонам. — По штрафу заскучал... Живо к берегу!

Лодка качалась. Пламя козы — железной решетки с горящим смольем, укрепленной на носу, — шарахалось из стороны в сторону. В черное небо летели искры...

Вот и вся невыдуманная история одной семужьей жизни.

1962

РАССКАЗЫ

В ПИТЕР ЗА САРАФАНОМ

Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями — от амбаров, от изгороди, от поленницы, — светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кащеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета.

Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом (старик держал козу), и занимались мы самым обыденным делом — разговором.

Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца — в избе было душно и жарко, — выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память! Павел Антонович хорошо помнил седые предания о «белоглазой чуди», некогда жившей у нас, на Пинеге, до прихода новгородцев и москвитян, живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за пятнадцать верст из одного холодного ручья, знал о пустынях в глухих чащобах по Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты, а вот когда заходила речь о гражданской войне на Севере — он сам был участником ее, — память ему частенько изменяла.

Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами.

— Да ведь ты опять, дедо, не в те сани сел, — с легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне: — Пишите, пишите! Нынче вся жизнь на бумаге.

По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала:

— Все вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить. У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя человек... — И тут же воскликнула: — Вот она, легка на помине!

Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу, и вскоре услышал шорох веника на крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-те».

До чего же это была маленькая да ветхозаветная старушоночка!

И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворенками. Впрочем, одета она была по-современному: стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые, а от прошлого разве что полинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед.

— Что, Филиппьевна, в гости? — спросила хозяйка, подавая ей табуретку.

— Какó в гости? Середь бела дня в гости! Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рожденье свое узнать.

— Ох ты господи! — всплеснула руками Марья Петровна. — Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рожденья.

— Завтра? То-то мне не сидится сегодня. Куделю пряду ноне. Председатель просит: «Выручи, Филиппьевна, без веревок сидим, никто не хочет престь». А как Филиппьевны-то не будет, к кому, говорю, пойдешь?

— Бабушка, — подал и я свой голос, — а сколько вам лет?

— Кто у вас в гостях-то? Худо вижу — весь свет в дыму. — Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам, и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону. — Молодец кабыть? Откуда?

— Дальний, бабушка. — Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом.

— Чую, что дальний. У нас говóря-то кабыть потише, — с легким подковыром сказала старуха.

— Из Ленинграда, бабушка. Слыхала такой город?

— Она не только слыхала. Она бывала там, — не без удовольствия ответила Марья Петровна.

— Почто бывала-то? — с притворной сердитостью возразила Филиппьевна. — Я в Питере бывала-то.

— Так ведь это одно и то же, бабушка, — рассмеялся я.

— Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала.

— Пешком?

— Пешком.

— Отсюда, из Ваймуши? — Это деревня километрах в четырех от Пинежского райцентра.

— Подальше маленько. Верст десять еще прибавь. Из Шардомени.

Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды... Свыше полутора тысяч километров! И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами...

Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер — за чем бы вы думали? — за сарафаном...

— Правда, правда, — горячо заверила меня Марья Петровна. — Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще?

— Как забыть-то... Мне еще тогда говаривали: ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер. И верно: как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу.

— Это, Филиппьевна, годы выходят, — посочувствовала Марья Петровна.

— Да ведь мои годы еще что. Восемьдесят четвертый пойдет, а ма́тенька у меня в девяносто лет за морошкой хаживала.

Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову:

— Про ма́тенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Ранше, бывало, только об этом и трещала. Питербуркой звали.

— Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то что? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу.

Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам.

— Вишь, родитель-то у меня из солдатов был, бедный, — издалека начала она, — а нас у его пять девок. А мне уж тогда пятнадцатый год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у их посылка от сына пришла — в Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре — я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми — как теперь вижу... Ну, скоро праздник престольный подошел — богородица. Вышли мы с Марьюшкой — это дочь-то суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым — сама соткала — подпоясалась. Смотрю, и робята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего, приглядна была. А Марьюшка, прости господи, тюря-тюрей — губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане нарасхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю: мне бы такой сарафан! — боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей не богато. Братьев нет. Вижу, самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские — дак робята-то не так кидаются. Ну и порешила: пойду в Питер за сарафаном. Сходила...

— Эка ты, — подосадовала Марья Петровна, — да как ходила-то, рассказывай!

Филиппьевна вытерла темной рукой глаза.

— Мама, как услыхала, что я в Питер надумала, заплакала. «Что ты, говорит, Олюшка, умом пошатилась?» А тата-покойничек, из солдатов был, крутой на руку. Икону с божницы схватил: «Моя, говорит, девка! Иди, Олька. Люди же, говорит, ходят». Ну, ма́тенка непривычна была перечить — не нонешнее время. Назавтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос, суседи прибежали: куда да куда девку собираете? А тата молчит, подхватил меня как перышко в сани и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было... Верст тридцать, до Марьиной горы, родитель подвез. Дал мне на прощанье рупь медью.

— На-ко, девка, иди с рублем в Питер, — всхлипнула Марья Петровна.

— Дак ведь деньги-то не трава — в лесу не растут.

А дома-то у нас еще четверо по лавкам... Ну, дал мне родитель денег, перекрестил: «Иди, говорит, Олька, ищи свое счастье». А я как увидела, что он в сани садится, заревела: «О та́тонька, та́тонька, не уезжай. Не надо мне и сарафана». — «Нет, говорит, Олька, иди. Проходу тебе в деревне не будет, питербуркой звать станут».

Филиппьевна опять вытерла глаза.

— А все равно — и сходила в Питер, а прозвище приросло. Питербуркой и помирать стану.

— Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась. — Марья Петровна прослезилась.

У меня тоже что-то защекотало в горле.

— Так и осталась. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил... Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду, только головами машут да охают. «Полезай ты, говорят, скорее, дитятко, на печь». А иной раз и подвезут, а то опять когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Дак уж его в деревне ругали. «Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы». А так что́ — грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было — голодный тогда год был...

— Давай дак, не все приветили, — поправила Филиппьевну Марья Петровна. — Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала?

— Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила.

— Верно, верно, до заплаток-то ты еще к лету шла.

— Хошь не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?

— Ну-ну, — с готовностью согласилась Марья Петровна. — Рассказывай. Про журавлей-то не забудь.

— Вишь вот, она и про журавлей помнит, — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж дорого было ей это воспоминание. — Были, были журавли, — вздохнула она. — Я из дому-то зимой отправилась, а на Двину-то вышла — щука лед хвостом разломала. «Иди, говорят, прямо на весну». Вот и иду на солнышко. Тепло. Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так

мне стало тоскливо. К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру: «Журавушки-журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива». Тата уж помирать собрался, вспомнил: «Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку?»

— Пишите, пишите, — наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний.

— Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну да про революцию надо, — вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал...

— Чего писать... — рассердилась Марья Петровна. — Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть — почище всякой сказки будет. Ну-ко, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? — И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне.

— Это уж, девка, близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. «Что, говорит, глупая, лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки некорыстные — только заплаты поставить надо». Ну, я без памяти рада. «Ладно, говорит, дам я тебе сапоги, только уговор — за каждую заплату ты мне день с робятами поводишься».

Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась:

— Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила.

После этого старуха не без помощи Марьи Петровны припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения, а затем, направляемая все той же Марьей Петровной, вошла наконец в Питер.

— Дома большие, каменные, и столько окошек в каждом доме — у нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, господи, как воды льет. Лошадей-то скачет... А я с белым мешочком за спиной, батожок в руках, босиком, на само Невсько — главный пришпект — выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невсько вышла — и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в

эдакой муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Даже догадалась: постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. А тата мне наказывал: «Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай — скорее скажут». А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди — все господа да барыни. Ну, нашелся один кавалер, сам прочитал. «Тебе, говорит, девушка, на Васильевский остров надо. Иди, говорит, все по Невскому пришпекту, там цярьский дворец будет». — Филиппьевна подняла голову. — Видела. И цярьский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне? — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством. — Вишь ты, все еще стоит, — покачала она головой. — Да и как не стоит. Каменной — чего ему деется.

Морщась, Филиппьевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу.

— Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталась. Люди всю жизнь смеялись: «Стопталась, говорят, за дорогу».

— Ты про Питер-то расскажи, — опять начала подсказывать Марья Петровна.

— Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Робятки что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают.

— В няньках бабушка жила, — пояснила Марья Петровна. — Год у немца выжила.

Меж тем Филиппьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой.

— Это гостинцы тебе. Ко дню рожденья, — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филиппьевне.

— А про главное-то и не сказала, — вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. — Сарафан-то как?

— Купила, — с досадой ответила старуха. — Все Невсько обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила.

— Ну, и подействовал сарафан на ребят? — Павел Антонович, видимо, заранее зная ответ, захохотал.

— Подействовал. До пятидесяти годов в девках сидела.

Марья Петровна с непритворной сердитостью зама-

хала на мужа руками — не растравляй ты, мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул:

— Не тот сарафан, наверно, купила.

Филиппьевна не сразу ответила, и бог знает, чего больше было в ее словах — неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой:

— Меня уж после люди надоумили. Не сарафаном, говорят, взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного пять голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной.

Выйдя на крыльцо, Филиппьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо.

— Это не солнышко смотрит, — сказала со вздохом Марья Петровна. — Сколько, думает, зря просидела. Старорежимная бабушка!

Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улице старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол.

Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек.

Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоет время и самое Филиппьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей.

Да, хорошо это — оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям.

1961

СОБАЧЬЯ ГОРДОСТЬ

Лет двадцать назад кто не клял районную глубинку, когда надо было выбраться в большой мир!

Северянин клял вдвойне.

Зимой — недельная мука на санях, в стужу, через кромешные ельники, чуть-чуть озаренные далекими мерцающими звездами. В засушливое лето — тоже не лучше. Мелководные, порожистые речонки, перепаханные весенним половодьем, пересыхают. Пароходик, отмахивающий три-четыре километра в час, постоянно садится на мель: дрожит, трется деревянным днищем о песок, до хрипоты кричит на весь район, взывая о помощи. И хорошо, если поблизости деревня, — тогда мужики, сжалившись, рано или поздно сдернут веревками, а если кругом безлюдье... Потому-то северяне больше полагались на собственную тягу. Батог в руки, котомку за плечи — и бредут, стар и млад, лесным бездорожьем, благо и ночлег под каждым кустом, и даровая ягода в приправу к сухарю. Не то сейчас...

Я люблю наши сельские аэродромы. Людно — пассажир валит валом; иной раз торчишь день и два, с бессильной завистью наблюдая за вольным ястребом над пустынной площадкой летного поля: кружит себе, не связанный никакими причудами местного расписания...

А все-таки хорошо! Пахнет лугом и лесом, бормочет река, оживляя в памяти полузабытые сказки детства...

Так-то раз, в ожидании самолета, бродил я по травянистому берегу Пинеги, к которой приткнулся деревенский аэродром. День был теплый, солнечный. Пассажиры, великие в своем терпении, как истые северяне, коротали время по старинке. Кто, растянувшись, дремал в тени под кустом, кто резался в «дурака», кто, расположившись табором, нажимал на анекдоты.

Вдруг меня окликнули. Я повернул голову и увидел человека в белой рубахе с расстегнутым воротом. Он лежал, облокотившись, в траве, под маленьким кустиком ивы, и смотрел на меня какими-то тоскливыми, измученными глазами.

— Не узнаешь?

Человек поднялся, смущенно оправил помятую рубаху. Бледное, не тронутое загаром лицо его было страшно изуродовано: нос раздавлен, свернут в сторону, худые, впалые щеки, кое-где поросшие рыжеватой щетиной, стянуты рубцами...

— Ну как же? Егора Тыркасова забыл...

Бог ты мой! Егор Тыркасов... Да, мне приходилось слышать, что его помяла медведица, но... Просто не ве-

рилось, что этот вот худой, облысевший, как-то весь пришибленный человек — тот самый весельчак Егор, первый охотник в районе, которому я отчаянно завидовал в школьные годы.

Жил тогда Егор по одной речке, на глухом выселке, километров за девяносто от ближайшей деревни. Леса по этой речке пока еще не были вырублены, кишмя кишели зверем и птицей, а сама речка была забита рыбой. Каждую зиму, обычно под Новый год, Егор выезжал из своего логова, как он любил выражаться, в большой свет, то есть в райцентр. Никогда, бывало, не знаешь, когда он нагрянет. Вечер, ночь ли — вдруг грохот под окном: «Ставьте самовар!» — и вслед за тем в белом облаке, заиндевевший, но неизменно улыбающийся Егор. И уезжал он также неожиданно: загуляет, пропьется в пух и в прах — и поминай как звали. Только уж потом кто-нибудь скажет: «Егора вашего видели, домой попадает».

— Да, брат, — сказал Егор, когда мы уселись под кустом, — с войны вернулся как стеклышко. Хоть бы царапнуло где. А тут медведица — будь она неладна... А все из-за себя, по своей дурости. Подранил — хлопнуть бы еще вторым выстрелом, а мне на ум шалости... Так вот, не играй со зверем! — коротко подытожил Егор, как бы исключая дальнейшие расспросы.

Я понял, что ему до смерти надоело рассказывать каждому встречному все одно и то же, и перевел разговор на нейтральную, но всегда близкую для северянина тему:

— Как со зверем нынче? Есть?

— Есть. Куда девался. Люди бьют. — Егор натянуто усмехнулся: — Для меня-то лес заказан. На замке.

Я понимающе закивал головой.

— Думаешь, из-за медведицы? Нет, после того я еще десяток медведей свалил. Руки-ноги целы, а рожа... Что рожа? На медведя идти — не с девкой целоваться. Нет, парень. — Егор глубоко вздохнул. — Утопыш меня сразил. Так сразил... Хуже медведицы размял... Пес у меня был, Утопышем назывался.

— Да ну?!

— Лучше бы об этом не вспоминать. Беда моей жизни...

Но в конце концов, повздыхав и поморщившись, Егор уступил моей настойчивости.

— Ты на нашем-то выселке не бывал? Речку не зна-

ешь? Рыбная река — даром что с камня на камень прыгает. Утром встанешь, пока баба то да се, ты уж с рыбой. Ну вот, лет, наверно, семь тому назад иду я как-то вечером вдоль реки — сетки ставил. А осень — темень, ничего не видно, дождь сверху сыплет. Ну иду — и ладно, в угор надо подыматься, дом рядом... Что за чемор, — Егор, как человек, выросший в лесу, очень деликатно обращался в разговоре с водяным и прочей нечистью, — что за чемор? Плеск какой-то слышу у берега. Щучонок разыгрался или выдра за рыбой гоняется? Ну, для смеха и полоснул дробью. Нет, слышу опять: тяп-тяп. Ладно. Подошел, чиркнул спичкой. На, у самого берега щенок болтается, никак на сушу выбраться не может. А загадка-то, оказывается, простая. У соседа сука щенилась — пятерых принесла. Ну, известно дело: одного, который побойчее, для себя, а остальных в воду. Я уж после это узнал, а тогда сжалился — больно эта коротыга за жизнь цеплялась! Дома, конечно, ноль внимания. Какой же из него пес? Я даже клички-то собачьей ему не дал. Митька-сынишко: «Утопыш» да «Топко», и мы с женой так. Иной раз даже пнешь, когда под ногами путается. И вот так-то — не помню, на охоту, кажись, торопился — занес на него ногу. А он — что бы ты думал? — цоп меня за валенок. Утопыш — и такой норов! Тут я, пожалуй, и разглядел его впервые. Сам маленький — соплей перешибешь, а весь ощетинился, морда оскалена — чистый зверь. И лапа широкая — подушкой, и грудь не по росту.

«Дарья, — говорю, это женке-то, — да ведь он настоящий медвежатник будет. Корми ты его хорошенько».

Ну, Дарья свое дело знает. К весне пес вымахал — загляденье! Только ухо одно опало — дробиной тогда хватило. А у меня в ту пору медвежонок приведись — для забавы парню оставил. Сам знаешь, на выселке пять домов — ребенку только и радость, когда отец с охоты придет. Ну вот, вижу как-то, Митька медвежонка дразнит, палкой тычет. У меня голова-то и заработала. Давай псу живую науку на звере показывать. У самого сердце заходится — зверь беззащитный, на привязи, а раз надо — дак надо. И до того я натаскал пса — лютее зверя стал, люди не подходи... Да, этот пес меня озолотил. Десять медведей с ним добыл. Пойду, бывало, в лес — уж если есть зверь, не уйдет. Башкой к тебе

или грудиной поставит — вот до чего умный пес был! И еще бы сколько зверя с ним добыл, да сам, дурак, пса загубил...

— Эх, винище все!.. — вдруг яростно выругался Егор. — Баба иной раз скажет: «Что уж, говорит, Егор, ученые люди до всего додумались, к звездам лететь собираются, а такого не придумают, чтобы мужика на водку не тянуло». Понимаешь, поставил я зимой капкан на медведя. Из берлоги пестун вышел, а может, шатун какой. Бывают такие медведи. Жиру летом из-за глиста, верно, не наберут и всю зиму шатаются. Да в том году все не так было: считай, и медведь-то по-настоящему не ложился. Ну, поставил, и ладно. Утром, думаю, пока баба обряжается, сбегаю, проверю капкан. Куда там. Еще с вечера на другую тропу наладился. Вишь ты, вечером соседка с лесопункта приехала. На лесопункте, говорит, вино дают. А лесопункт от нас рукой подать — километров двенадцать. Как услыхал я про вино — шабаш. Места себе не найду. Месяца три, наверно, во рту не было. Баба глаз с меня не спускает — при ней соседка говорила. Знает своего благоверного. Слава богу, четвертый десяток заламываем. Как бы, думаю, исделать так, чтобы без ругани? И бабу обидеть тоже не хочется. А бес, он голову мутит, всякие хитрости подсказывает: «Что, говорю, женка, брюхо у меня разболелось. Эк урчит — хоть бы до двора добежать». Ну, вышел на крыльцо. Мороз, небо вызвездило. Да я без шапки в одной рубахе и почесал. А баба дома в переживаньях: «С надворья долго нету, заболел, видно». Это она уж после мне рассказывала. Вышла, говорит, на крыльцо: «Егор, Егор!..» А Егор чешет по лесу — только елки мелькают. Ладно, думаю, двенадцать верст не дорога, часа за три обернусь. Ноги-то по морозцу сами несут. Ну, а обратно привезли... Дорвался до винища, нашлись дружки-приятели, день и ночь гулял. Баба на санях приехала, суд навела. Я как выпью — смирнее ягненка делаюсь. Ну, баба в то время и наживается, славно счета предъявляет. А когда тверезый — тут по моим законам. Языком вхолостую поработает, а чтобы до рук дойти — нет. «Я, говорит, пьяного-то, Егор, не тебя бью, а тело твое поганое». Ну, а тогда обработала, я назавтра встал — себя не узнаю. Инó, может, и дружки-приятели подсобили. Ладно, встал — смотрю, а в избе как пусто. Все на месте, а пусто... Дале вспомнил: где у меня Утопыш-то?

А так пес завсегда при мне. «Дарья, говорю, где пес-то?»

«За тобой, наверно, ушел. Как сбежал ты со двора, он тут повыл-повыл ночью, а утром пропал».

Тут меня как громом стукнуло. Вспомнил: ведь у меня капкан поставлен! Бегу, сколько есть мочи, а у самого все в глазах мутится. Следов не видать — пороша выпала. Ну, а дальше плохо и помню... Подбежал к капкану, а в капкане заместо зверя мой Утопыш сидит... Вишь ты, ночью-то он хватился меня: нету. Повыл-повыл и побежал разыскивать. А где разыскивать? Собака ху́да о хозяине не подумает. Разве ей может прийти такая подлость, чтобы хозяина у водки искать? Она труженица вечная и о хозяине так же думает. Ну, а след-то у меня к капкану свежий. Она, конечно, туда... Увидел я пса в капкане, зашатался, упал на снег, завыл. Ползу к нему навстречу... «Ешь, говорю, меня, сукина сына, Топко...»

А он лежит у капкана — нога передняя переломана, промеж зубьев зажата и вся в крови оледенела. А я тебе говорил: пес у меня зверее зверя был, на людей кидался. Баба и та боялась еду давать. Зимой и летом на веревке держал и забыл тебе сказать: я ведь в тот вечер, когда гули-то подкатили, тоже на веревку его посадил. Дак он веревку ту перегрыз, ушел, а капкан, конечно, не перегрыз...

Ну, приполз я к нему. «Загрызай, пес! Сам погубил тебя».

А он знаешь что сделал? Руку стал мне лизать... Заплакал я тут. Вижу — и у него из глаз слезы.

«Что, говорю, я наделал-то, друг, с тобой?»

А он и в самом деле первый друг мне был. Сколько раз из беды выручал, от верной смерти спасал! А уж работящий-то! Иной раз расхлебенишься, на охоту не выйдешь — сам за тебя план выполняет. То зайца загонит, то лису ущемит. А то как-то у нас волк овцу утащил. Три дня пропадал. Пришел — вся шкура в клочьях — и меня за штаны: пойдем, обидчик наказан. Вот какой пес у меня был, и такого-то пса я сам загубил. Кабы он на меня тогда зарычал, бросился — все бы не так обидно. Стерпел бы какую угодно боль. А тут собака — и еще слезы надо мной проливает... Видно, она меня умнее, дурака, была — даром что речь не дадена. Уж он бы меня сохранил, до такой беды не допустил. Ну, вынул я его из капкана, поднял на руки, по-

нес... Что́ — нога зажила, а не собака. Раньше на людей кидался, а тут сидит у крыльца, морду задерет кверху и все о чем-то думает. Я уж и привязывать не стал...

Ну, а у меня заданье — план выполнять надо. Охотник — не по своей воле живу. Что делать? Купил я на стороне заместителя. Ладный песик попался, хоть и не медвежатник. Но белку и боровую дичь брал хорошо, это я знал. И вот тут-то и вышла история... Привел я нового пса домой, стал собираться в лес. Вышел на крыльцо. «Ну, старина, — говорю, это Утопышу-то, — отдыхай. Больше ты находился на охоту».

Молчит, как всегда. Морда кверху задрана. И только я стал уходить, с новым псом со двора, как он кинется вслед за мной. У меня все в глазах завертелось. Гляжу, а новый-то песик уж хрипит — горло перекушено... Знаешь, не вынес он — гордый пес был. Как это чужая собака с его хозяином на охоту пойдет? Не знаю, денег мне жалко стало — пятьсот рублей за песика уплатил — или обида взяла, только я ударил Утопыша ногой. Ударил, да и теперь себе простить не могу. Опрокинулся пес, потом встал на ноги, похромыкал от меня прочь. А через две недели подох. Жрать перестал...

Не знаю, может, я жилу какую ему повредил, когда пнул, да не должно быть. Здоровенный пес был — что ему какой-то пинок? Бывало, сколько раз под медведем был, а тут от пинка. Нет. Это, я так думаю, через гордость он свою подох. Не перенес! Видно, он так рассуждал: «Что же ты, сукин сын, меня в капкан словил, да меня же и бьешь? Сам кругом виноватый, а на мне злобу вымещаешь. Ну, так ты меня попомнишь! Попомнишь мою собачью гордость! Навек накажу». И наказал... Как умер, дак я уж больше собаки не заводил. И с охотой распрощался. Без собаки какая охота, а завести другую не могу. Не могу, да и только. Баба ругается: «С ума ты, мужик, сошел. Без охоты чем жить будем?» А я не могу. Да дело дошло до того, что я дома лишился. Выйду на крыльцо, а мне все пес видится. По ночам вой его слышу. Проснусь: воет.

«Дарья, — тычу ее в бок-то, — чуешь ли?» — «Нет», — говорит. А у меня в ушах до утра вой, и до утра глаза не закрываются. Стал сохнуть, с лица почернел. Ну, баба видит такое дело — надо мужика спасать. Дом на выселках продали, в деревню большую

переехали. А я вот, — Егор развел руками, — рыбок у рыбзавода караулить подрядился.

Он снова закурил.

— Напрасно только баба старалась. Тоска одна с этими рыбками. Рыбки... Разве рыбки заменят охотнику лес? А в лес ступить не могу. Утопыш перед глазами стоит. Так вот и мучаюсь... В прошлом году в Архангельск к профессору ездил. Куда там! Все проверил, ринген наводил, анализы все снял. «Здоров»,— говорит. По-ихнему здоров, а я жизни лишился. Вот теперь к старичку одному — под Пинегой живет — собрался. Слово, говорят, такое знает — от всего лечит...

Егор замолчал, отвел глаза в сторону.

— Как думаешь, поможет? — спросил он меня.

Я пожал плечами. Да и что я мог ответить ему, жаждущему немедленного исцеления?

1961

ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но, когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасенье — немедленно отправиться в лес.

В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень: сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь...

Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога раскисла — приходилось жаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону... Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах.

Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? (Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам.)

К счастью, мои опасения скоро рассеялись.

Хутор — два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками — стоял

на широком холме, и я еще издали увидел знакомую картину: на зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же — домашние гуси.

Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше пяти лет.

При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленький, худенький, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел, по-воробьиному нахохлившись, и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглое ненастье. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошками.

— Ты что тут делаешь, малыш?

— Мамку жду, — тихо, не поднимая головы, ответил ребенок.

— А где твоя мамка?

— В поселок ушла.

Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая гулена — новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые.

— А где Зина?

— К телятам ушла.

За стеной, в помещении, услыхав наши голоса, залаяла собака.

— Это Динка, — сказал мальчик. — У ней морду псы раскусали.

Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ, открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала! Она лизала мое мокрое лицо, закоченевшие руки, виляла от удовольствия хвостом и, пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня.

В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и застлан пестрыми домашними половиками, на плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда, а из сумрака горницы, сверкая никелированными шарами, как ладья, выплывала высокая двухспальная кровать, накрытая белоснежным покрывалом.

Маленький Сережа — так звали мальчика — не подавал ни звука. Он сидел недалеко от порога на низенькой, будто специально для него сделанной скамеечке и, казалось, никак не реагировал на то, что попал в тепло. Только немного позже, когда собака, израсходовав на меня всю свою ласку, задела его хвостом, он негромко сказал:

— Динка, не балуй.

И опять все та же недетская оцепенелость и погруженность в себя.

— Сережа, хочешь сахару?

— Нет, — машинально, безразличным голосом ответил мальчик.

Но когда я, нагнувшись, протянул ему два белых куска, он вдруг приподнял голову, посмотрел на меня внимательно своими большими черными немигающими глазами и, тихо прошептав: «Спасибо», — взял.

Меж тем явилась Зина. Деловито и неторопливо вытерев ноги, она привычным взглядом хозяйки окинула кухню и только тогда сказала:

— Здравствуйте.

Ее тяжелая, нахолодавшая рука, на секунду задержавшись в моей, не ответила на пожатие. Зина здоровалась по всем правилам учтивости, обязательной для самостоятельных, уважающих себя девиц.

— Что ж ты, Зинаида, — начал я с укором, — ребенка на такой сырости оставила!

— А ну его. Звала на телятник — не пошел. «Мамку ждать буду». Ну и жди. Ее дождешься. Она — как кукушка. В одном гнезде обогреется — в другое летит. Все чего-то ищет, как потеряла. А нынче моду взяла: каждую субботу — в поселок. Мало ей здешних мужиков...

Мальчик вдруг поднялся со скамеечки и молча, опустив голову, постукивая калошками, пошел к двери.

— Сережа, Сережа, куда ты?

Я хотел остановить его, но мальчик с неожиданной силой оттолкнул мою руку и упрямо, не оглядываясь, продолжал двигаться к порогу.

— Это ему не понравилось, что я о матери заговорила. Иди, иди, да больше не приходи. Вишь какой! Я его кормлю, пою, а ему слова не скажи... Ладно, не задерживайте, — кивнула мне Зина. — Пришла та, выжига.

— Ну зачем ты так, Зинаида? — заговорил я, как

только за мальчиком захлопнулась дверь. — Разве можно так о матери при ребенке?

— Она еще не того заслуживает, — сердито заметила Зина. — Муж весной помер — деревом замяло, без памяти ее, тварь, любил. А она, говорят, и при нем гуляла... Сережка-то неизвестно еще чей. Мужики, как с ума посходили. Нашли тоже ягодку... Она живет, как птица небесная. Уж вот не вру: спроси у нее, что завтра исть будет, — не скажет. В том месяце пенсию за мужа получила. Триста рублей — деньги! А она как распорядилась? Сережке коня с хвостом купила — двести рубликов выкинула. А у самой платья переменить нету. Ох, да что о ней говорить, — Зина махнула рукой, — увидите. Прибежит. Она свежего-то мужика, как собака зверя, за версту чует.

Все это говорила Зина, ни на секунду не забывая о деле. Через каких-нибудь пять минут в кухне уже, весело завывая и распространяя малиновое тепло, горела плита.

На Зину приятно было смотреть. Крепкая, румянощекая, она легко ворочала чугуны, сливала пахучую, настоявшуюся на сене воду, давила вареную картошку, глубоко запустив голые руки в ведра, потом, слегка пружиня широкой спиной, несла их скотине. Сырость и холод для нее не существовали. Она выходила на двор разогретая, в одной ситцевой кофточке, и возвращалась оттуда неторопливо, удовлетворенная, с мокрыми розовыми руками.

Перед ужином она переоделась. В кухню вышла нарядная, с гладко зачесанными, напомаженными волосами, в черных лакированных лодочках со скрипом.

— Зинаида, да что с тобой сегодня? — пошутил я. — Ты как жениха встречаешь.

— А может, и жениха, — спокойно, без всякого смущения, с рассудительностью двадцатипятилетней девицы ответила Зина. — Есть тут один на примете. Ничего бы парень — с профессией. Тракторист. Да только еще ветреница не прошла. Столько зарабатывает, а кроме мотоцикла да приемника — шаром покати. Пальта себе завести не может. Ну да ничего. Отец у нас такой же был, а мама прибрала к рукам. Нынче рюмки без спроса не возьмет...

— И ты приберешь, Зиночка, — поспешил я заверить ее.

На лице Зины проглянула улыбка.

— Надо. Вашего брата не прибрать — всю жизнь маяться.

Так, полушутя-полусерьезно переговариваясь, мы собрали на стол, но, поскольку вот-вот должен был появиться жених, я предложил подождать его.

Жених действительно скоро пришел, но пришел не один, и Зина, еще в сенцах заслышав топот и смех, недовольно заметила:

— Опять с дружками. Каждый раз веселье надо.

Из трех парней, шумно ввалившихся в кухню, я сразу же узнал жениха.

Товарищи его — два двоюродных брата, оба кряжистые, краснолицые, в одинаковых ватных пиджаках до колена, в резиновых сапогах с прямыми голенищами — мне были знакомы.

В доме Зины их звали Иванами-пастухами (они и на самом деле работали в колхозе пастухами). Не знаю, понимали ли они всю безнадежность своего ухаживанья за Зиной, но вот уже в течение двух лет регулярно каждую субботу по вечерам давили скамейку в этой кухне, а затем, словно отбыв холостяцкую повинность, исчезали на целую неделю.

Аркадий — жених Зины — выгодно отличался от своих товарищей. Это был высокий белокурый парень, явно смахивающий на того красавца тракториста, каким нередко изображают его в кино: светлый взлохмаченный чуб во весь лоб, коротенький засаленный ватник нараспашку и щеголеватые хромовые сапоги. У него и характер был под стать озорноватому киногерою. Еще переступая порог, он неожиданно навел на Зину карманный фонарик, и, когда та, жмурясь и отмахиваясь руками, что-то недовольно заворчала, Аркадий весело рассмеялся, показывая белые, крепкие зубы.

Вид бутылки «Столичной», которую я достал из рюкзака, сразу же вызвал у ребят повышенное настроение. Но только я налил в рюмки и открыл рот, чтобы сказать что-нибудь по случаю нашего знакомства, в сенцах снова зашуршал веник.

— Идет, без нее уж не обойдется, — сказала Зина и строго поглядела на жениха, живо обернувшегося на стук.

Два Ивана, не расставаясь с рюмками, хмуро глянули на порог.

В кухню вошла женщина:

— Не помешала?

Никто не отвечал ей. Зина демонстративно уткнулась в вязанье, которое предусмотрительно захватила, садясь за стол. Два Ивана, очень недовольные оттяжкой начатого дела, тяжело вздохнули.

Откровенно говоря, я тоже не обрадовался непрошеной гостье. В памяти моей все еще свежа была встреча с заброшенным ребенком. Но надо же было как-то разрядить возникшую неловкость. Поздороваться по крайней мере.

И женщина, словно угадав мои намерения, первой протянула мне руку, когда я подошел к ней.

— Шура, — сказала она робко.

Помню, меня покоробила тогда эта «Шура», отдающая каким-то скороспелым, уличным знакомством. Я даже подумал, что у нее, наверно, и на руке-то наколота эта самая «Шура», — видал я таких. Да и вообще весь ее облик никак не вязался с тем, что говорила о ней Зина. Маленькая, худенькая, невзрачная. На голове пестрая шерстяная косынка, как повязка, стягивающая щеки при зубной боли. (Слава богу, такие косынки, еще несколько лет назад захламлявшие многочисленные ларьки промысловых артелей, теперь стали исчезать.) Ну чем тут соблазниться?

— Зиночка, я на минутку. Стирального порошка у тебя нету? Я со стиркой разобралась.

Зина подозрительно покосилась на гостью.

Я ради приличия пригласил ее к столу.

— Не знаю, разве что за компанию, — неуверенно сказала она и бросила выжидательный взгляд на хозяйку.

В руках у Зины с треском заходили вязальные спицы.

— Давай, давай — подождет твоя стирка, — сказал Аркадий.

— А и правда, успею. Ночь-то длинная.

Шура живехонько скинула резиновые сапоги, сняла косынку, пальто. В коротеньком бордовом платьице (Зина, пожалуй, была права насчет ее гардероба), в простых нитяных чулках в резинку, вероятно, приобретенных в детском отделе, она показалась мне еще невзрачнее, а когда села за стол напротив величественной, полногрудой Зины, то и вовсе потерялась.

Мне так и не пришлось произнести тост.

Два Ивана стремительно, точно боясь, что может возникнуть еще какая-нибудь заминка, чокнулись. Вслед за

ними выпили и остальные, за исключением Зины, которая только пригубила. Потом так же поспешно выпили по другой: всех, по-видимому, угнетало угрюмое молчание хозяйки.

Аркадий раза два наклонялся к ней, что-то шептал на ухо, но складка над переносьем у Зины даже не дрогнула. Тогда Аркадий, тряхнув светлым чубом, решительно схватил Зинину рюмку и опрокинул себе в рот.

Все было рассмеялись, но, встретившись с помрачневшим взглядом хозяйки, опять примолкли.

Шура первой нарушила молчание, обращаясь ко мне:

— Вы, наверно, к нам на охоту?

— Да, на охоту.

Я сказал это таким тоном, что у всякого другого пропало бы желание вести дальнейший разговор (ведь надо же было как-то успокоить Зину!), но Шура как ни в чем не бывало продолжала:

— О, и лѝс у нас развелось! Красные, как собачонки, бегают. Ко мне повадились — два гуся унесли...

— Так будешь смотреть — и последнего унесут, — вдруг вставила свое слово Зина.

— А что мне делать с этими гусями, Зиночка? На веревочке водить? Я и так каждый день пуляю...

Я с нескрываемым любопытством смотрел на Шуру.

И как я раньше не обратил внимание на эти большие, простодушные, по-летнему ласковые глаза? Пышные с рыжеватым отливом волосы хорошо промыты, и на них все еще отсвечивает дождевая пыль... Странно, меня не раздражала даже дешевенькая красная ленточка, кокетливо проглядывавшая в волосах, — единственное украшение, которое было на ней.

Я сразу повеселел.

— Ну и как? Много вы «напуляли»? — Мне очень понравилось это слово!

— Лис-то? Ни одной! — Шура беззаботно тряхнула головой. — Сережка утром с улицы прибежит: «Мама, опять лиса подбирается». Где, какая лиса? Страсть ведь интересно, как она по земле-то ползет. Ну, а лиса, наверно, не любит, когда на нее полыми глазами смотрят. Хвостом махнет — только и видали. Я уж потом, когда она за угорышек скроется, выстрелю. У вас не богато порохом? — запросто обратилась ко мне Шура. — У меня один патрон остался.

— Это она чернобурку завести хочет, — опять подала голос Зина.

— Почто, Зиночка, чернобурку? На нашем телятнике и без чернобурки утонешь.

— Не утонешь. По субботам-то не много бываешь на телятнике.

Шура медленно покачала головой:

— Ох, Зиночка, Зиночка... Ты всегда вот так обо мне. По субботам-то я... — и вдруг охнула, схватилась руками за голову и громко разрыдалась.

— Ну еще, — фыркнула Зина, — то песни, то слезы. Нам одно что-нибудь.

Лицо Аркадия стало белым как полотно. Наверно, с минуту не дыша он смотрел на Зину, потом устало махнул рукой:

— Дура. По субботам-то она, знаешь, какие песни поет? На могиле у мужа... Еду я сегодня с дровами...

Шура резко подняла голову:

— Не надо, не надо...

Под порогом спросонья заворочалась собака, щелкнула зубами, видно, роясь в своей шубе, и затихла.

— Вот ведь я какая, — с виноватым видом сказала Шура. — Нагнала на всех тоску.

Губы у нее все еще подергивались, но мокрые глаза уже лучились.

— Ладно, давайте лучше про охоту. У меня Сережка страсть любит, когда про зверей рассказывают. Охотником, наверно, будет.

— Шурочка! Вот за это люблю... — воскликнул, загораясь, Аркадий. — Терпеть не могу плаксивых! Хочешь, я тебе дам пороху? — предложил он и с каким-то восторженным выжиданием уставился на Шуру.

Два Ивана тоже расщедрились:

— Порох и у нас имеется. Можем!

Затем все трое наперебой начали давать Шуре советы, как лучше изловить коварную лису. Потом советы сменились охотничьими историями, и тут неожиданно выяснилось, что каждый из них охотник, да и притом не последний охотник. Впрочем, пока они расправлялись с зайцами, лисами, енотами и другой подобной мелочью, можно было еще слушать, но когда они переключились на медведей...

Зина, не расставаясь с вязаньем, откровенно зевала, я тоже заметно скучал — слишком уж смело обращались охотники с хозяином леса. Зато Шура слушала

с величайшим удовольствием. Ее большие доверчивые глаза были широко раскрыты. Она переводила их с одного рассказчика на другого, иногда по-детски простодушно вскрикивала: «Ох!», «Правда?» — и Аркадий, и два Ивана, поощряемые ее вниманием, забирали все выше и выше. Было даже неловко, что Аркадий совсем забыл о своей невесте и сидел, повернувшись к ней спиной.

Не знаю, как долго продолжалось бы эта потеха, если бы Зина трезво не заметила:

— Вы хоть бы врали, да поменьше дымили. А то сидим, как в свине...

...Бутылка «Столичной» давно уже была допита. Да и что такое пол-литра на четырех мужиков?

Кто-то (кажется, Аркадий) неуверенно предложил:

— Зинаида, ты теперь раскошеливайся.

— Вот еще! Вы хоть ведро выхлещете!

Мы с Аркадием переглянулись. Нет, у обоих пусто в кармане. На достатки Иванов тем более рассчитывать не приходилось.

— А знаете что? — вдруг сказала Шура. — У меня соседка гуся торговала — тут близко... Все равно лиса утащит.

— Не выдумывай! Сережке жрать нечего.

Да, конечно, Зина права. Черт знает, куда может завести эта водка!

Все как-то сразу почувствовали, что пора расходиться.

Шура поднялась первой.

— Ох, батюшки, время-то... А у меня еще белье замочено.

— И есть же такие дуры на свете! — сказала Зина, едва замолкли шаги в сенцах. — Уши развесила — сидит, а вы, бесстыдники, наворачиваете.

Ей никто не ответил.

Аркадий смотрел в темное окно. Два Ивана, кисло морщась, сосредоточенно докуривали папироски, а затем, не сговариваясь, потянулись к кепкам.

— Ну вот, ушли! — с облегчением сказала Зина и вдруг вся совершенно преобразилась: ни холодной степенности, ни раздражительности, которые не покидали ее весь вечер.

А впрочем, что же удивительного? Ведь девушка, наверно, весь день только и думала о том, чтобы вечером остаться с женихом. А тут нелегкая принесла

меня, потом — Иваны, потом — Шура, потеснившая ее в собственном доме.

В кухне стало светлее — Зина подвернула фитиль в лампе. Дым, разгоняемый платком, как в трубу, устремился в раскрытые двери.

— Хотите, чаем напою? — предложила Зина.

Раскрасневшаяся, улыбающаяся, поскрипывая лакированными лодочками, туго обжимавшими ее полные ступни, она подошла к Аркадию, который все так же задумчиво сидел у стола, подперев голову рукой, потрепала его по светлому чубу:

— Ну чего пригорюнился? Хочешь, подвеселю? У отца где-то в бутылке оставалось.

Аркадий вяло отвел ее руку, посмотрел на нее потухшими, отнюдь не жениховскими глазами.

— Нет, не хочется. — Он встал. — Пойду, что ли. Завтра рано на работу. Председатель торф затеял возить на поля.

— В выходной-то день? — Зина обернулась ко мне за помощью.

Аркадий вышел, не попрощавшись. Мы долго молчали.

— Ничего, — сказала, крепясь, Зина, — одумается. Завтра прибежит как миленький. Еще каяться будет.

Первым делом она сняла лакированные лодочки, тщательно протерла их ватой, а потом, переодевшись, стала убирать со стола.

Работа ее всегда успокаивала, но все же размолвка с женихом взволновала ее не на шутку, потому что она несколько раз заговаривала:

— Это все та бесстыжая... Куда ни зайдет — все вверх дном.

— Зина, — спросил я, — а откуда эта Шура взялась?

— Калининская. Тут на Карельском все разные. Брат после смерти мужа приезжал, звал. Не поехала. Еще бы! Тут в лесу-то ей самое раздолье. Блуди — никто не видит...

И все мои попытки хоть сколько-нибудь побольше разузнать о Шуре кончались одним и тем же: ожесточенными нападками Зины на соседку.

Что это? Откуда у нее такая неприязнь к Шуре? Ревность? Или ее, такую хозяйственную и самостоятельную девицу, оскорбляло само существование Шуры?

Дело было к ночи, Зина босиком, полураздетая (меня она не стеснялась) пошла закрывать наружные двери. Я тоже решил подышать свежим воздухом перед сном.

Сырости не было и в помине. Подмораживало. В небе играла луна. На мгновение она скрывалась в темном облаке, потом неожиданно разрывала его, и тогда все кругом покрывалось дрожащими лунными бликами. С крыши на обледенелые ступеньки крыльца со звоном срывались сосульки.

Зина косо посмотрела на крохотный огонек, светившийся в окне соседнего дома:

— Зажгла свою лампаду.

— Зиночка, да она стирает.

— Стирает... Пусть кому другому морочит голову... — И вдруг Зина, не договорив, с несвойственной ей живостью схватила меня за рукав. — Смотрите-ка, смотрите, — зашептала она, вытягивая вперед руку. Кто идет-то там?

Далеко внизу на дороге, залитой лунным светом, неторопливо двигалась одинокая черная фигура. И кругом было так тихо, что мне казалось, будто я даже слышу хруст шагов. Или это сосульки шелестят, срываясь с крыши сарая?

Но вот и черная фигура растаяла в темном перелеске. Зина облегченно вздохнула.

— Аркашка это. А я-то подумала, он у той шельмы... Чуете, чуете, — вдруг горячо зашептала она, — сосульки на ночь играют. — Зина тихо и радостно засмеялась: — Это, говорят, к счастью.

Мне от всей души хотелось верить в Зинино счастье, но я вспомнил весь этот нынешний вечер и ничего не сказал.

1961

СОСНОВЫЕ ДЕТИ

1

Мы ехали молча. Шофер, сцепив зубы, со злостью выворачивал баранку. Дорога, вдрызг разбитая, размятая бульдозером, шла свежей гарью. Черный пал с обгорелыми соснами еще дымился, и в кабине лесовоза было жарко и душно.

В то лето, необыкновенно засушливое, полыхавшее сухими грозами, Пинегу замучили пожары. На лесопунктах срывались планы. Люди, грязные, изможденные, не спавшие по суткам, валились с ног. Мой шофер тоже только что вернулся с пожара. И уж он не церемонился со мной. «Ах, тебе захотелось в Шушу! Не мог подождать пока я отосплюсь. Ну так получай!»

Я качался, как на качелях, подскакивал, бился о дверцу. Но вот кончилась дымная гарь. Машина выехала к Шуше — веселой порожистой речке в красных крутых берегах с зелеными лиственницами, и шофер, то ли сжалившись надо мной, то ли сам устав от тряски, сказал:

— До-ро-жка...

Я охотно поддержал его: где-где, а уж у себя под боком лесопункт мог бы иметь дорогу получше.

Не тут-то было! Шофер неожиданно повернул на сто восемьдесят градусов:

— А за каким она лядом! В Шуше лес-то когда заготовляли? А у нас и рабочие-то дороги... матом выстланы. Понял?

Пожарище осталось позади. Дышать стало легче. Высокие сосны с курчавыми макушками заслонили солнце. А потом снова пекло. Ни лесинки, ни кустика. Только пни. Бесконечная россыпь свежих лобастых пней. Злое солнце плясало на их желтых, заплывших смолой срезах, и казалось, тысячи прожекторов бьют тебе в глаза.

Все это было так дико, так чудовищно — вырубить лес возле самой реки! — что я невольно посмотрел на шофера, ища у него сочувствия.

Шофер даже бровью не повел.

— Да кто это догадался? — не выдержал я.

— Кто? — Шофер усмехнулся, сверкнув металлическим зубом. — Кто... А план-то выполнять надо? Зима в нынешнем году, считай, до января к нам попасть не могла — одна слякоть, а потом как зарядили метели... Ну-ко попробуй лес возить за двадцать километров! А люди? Им исть-пить надо? А кубиков нема — и грошей нема. Так у нас... Ясное дело, без штрафа не обошлось. Дробышеву, начальнику лесопункта, дали прикурить. Ну, а потом, как лесопункт план перевыполнил, другое запели. Тот же самый леспромхоз премию отвалил. Получай — раз план перевыполнил...

Под колесами запрыгали, прогибаясь, мостовины-кругляши, перекинутые через пересохший ручей. Машина с воем поползла в пригорок. На пригорке стоял столб с вывеской: «Шушольское лесничество», а еще подальше, почти у самого леса, вдоль дороги было выложено белым известняком: «Миру — мир!»

— Гошка Чарнасов забавляется, — скривил запекшиеся губы шофер. — В газетах хоть нас, грешных, агитируют, а тут кого? Сосны. А все от дурости. Потому что у лесника какая работа? Зимой лежка, и летом тоже пот не прошибет. Пройтись там раз в неделю по лесу да у речки покемарить...

Он помолчал немного и вдруг неожиданно заключил:

— Сука человек!

— Это почему же? — спросил я не сразу.

— Почему? А наверно, потому, что практику в лагерях прошел. Он, гад, лося зверю скормит, а человека не выручит.

— Но ведь лося бить нельзя. Есть закон.

Под красными, обожженными скулами у шофера заходили желваки.

— Закон, говоришь... А в магазинах ни хрена — это тоже закон? Какие-то там очковтиратели наврали, а наш брат рабочий расплачивайся своим брюхом. Попробуй поишачь каждый день без смазки. Закон... А сколько этого лося волк давит, подсчитали? По лесу идешь, как по кладбищу. Нет, мы лучше волку скормим, а человек не смей. Закон это?

Я промолчал. И тогда шофер, окинув меня быстрым и подозрительным взглядом, спросил:

— Да вы сами-то кто? Начальство Гошкино? А может, родня?

Я не знал, что и сказать. Признаться, что мы с Игорем старые друзья и что я еду к нему в гости? Но друзья ли мы? Двадцать пять лет мы не виделись друг с дружкой. Четверть века... Не зря ли я затеял эту поездку? Сумеем ли мы преодолеть разделяющий нас поток времени?

Игорю шел шестнадцатый год, когда он выкрал револьвер у отца и бежал из дому. Рассказывали, что в какой-то деревне он ограбил сберкассу, потом будто видели его в Архангельске, потом прошел слух, что он уже на Кавказе, — в общем, загулял мальчик...

О самом Игоре у нас не горевали — с малых лет бандюгой рос, туда ему и дорога! — а вот отца его жалели.

Это был удивительный человек. Увидишь, бывало, его зимой на улице, высокого, худого как жердь, крупно вышагивающего в длинной кавалерийской шинели и черной косматой папахе, которая чуть ли не вровень с крышами, и замрешь от страха и восхищения. Скрипят, визжат сапоги на морозе (Антон Исаакович в самые лютые морозы ходил в сапогах), что-то вроде ветра, бури надвигается на тебя, и ты по-пионерски вздрагивающей рукой салютуешь красному партизану. Но Антон Исаакович не замечает тебя. Глаза его, какие-то неземные, полыхающие, устремлены вдаль...

Самой большой страстью Антона Исааковича были революционные праздники. Ни одно здание в деревне — ни сельсовет, ни школа, ни нардом — не украшалось так красочно, как его почта. Тут ему не было равных. Антон Исаакович еще задолго до Первого мая и Октябрьской годовщины начинал закупать керосин (тогда давали его по спискам), красить белые лоскутья и простыни, обтягивать красной материей фанерные ящики. Бабы в эти дни лишались сна и покоя: «Спалит! Всю деревню спалит. Только один пожар и на уме».

И вот наступал долгожданный вечер. На здании почты — бывшем поповском доме — вспыхивали огненные транспаранты. Их отсветы, как северное сияние, рассыпались по небу. И мы, мальчишки, загипнотизированные страстными, хватающими за сердце призывами: «Да здравствует мировой пожар Октября!», «Смерть буржуазной гидре!» — часами простаивали около почты...

...Машина вдруг резко остановилась. Я и не заметил, как мы выехали из леса.

— Вот что, друг, — сказал шофер, избегая встречаться со мной глазами, — тут до Чарнасова рукой подать. Видишь вон домину под красной щельей, с садом, как у помещика? К нему и правь. А мне еще дровишек пособирать надо.

Громоздкий, мохнатый от пыли МАЗ развернулся и с грохотом стал удаляться.

Я остался один.

2

Шуша — старый заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах. Пять-шесть бараков, осевших, скособочившихся, с черными провалами окон, из которых торчит трава, уныло доживают свои дни на солнцепеке у речки. За речкой — красная щелья с дрожащими в мареве березками, а по эту сторону — вырубки. На километр, на два тянутся заросли иван-чая и шиповника. И ни единого стоящего дерева!

Тем отрадней в этой лесной пустыне видеть жилой дом с зеленой гривой молодых топольков, задорно искрящихся на солнце. Дом стоял несколько в стороне от бараков, такой же приземистый, неуклюжий, грубой, на скорую руку, кладки, но выгодно отличающийся от них своей молодцеватостью: стены тут и там подновлены свежими лесинами, окна покрашены белилами, а маленькое светлое крылечко сбоку, под навесом, еще пахло смолой.

Двери в сени и в комнату были раскрыты настежь. Я поднялся на крыльцо, миновал просторные сени и... Что за чудеса? Куда я попал? Огромное помещение — не то сарай, не то зал — и всюду березовые кусты. Кусты вдоль стен, от пола до потолка, кусты в простенках между окнами и даже самые окна наполовину заставлены кустами. Из окон тянуло сквознячком, и листья на кустах шевелились, как на воле.

Однако, осмотревшись, я стал замечать признаки человеческого жилья. Направо от двери, у окна, единственного на этой стене, стоял стол с тремя некрашеными табуретками. Напротив стола, прикрытая кустами, белела массивная печь. Потом у дальней стены, погруженной в зеленый сумрак, я разглядел ситцевую занавеску — там, очевидно, спали...

С улицы, запыхавшись, вбежала босоногая, светловолосая женщина в белом платье. Это была Наташа, жена Игоря.

— Вот как гостя встречаем! Пришел, и дома никого. Ну, сами виноваты — не надо было обманывать. Мы ждем-ждем, целую неделю ждали, а сегодня я не выдержала — с утра Игоря в лес прогнала. Сколько же, говорю, ждать? Кругом пожары...

Все это Наташа выпалила единым духом, как будто мы с ней были старые-старые знакомые, а затем, шурша босыми ногами по веткам березы, разбросанным по

полу, прошла к окнам, раздвинула кусты. В комнату хлынуло солнце.

— Это зверюшник-то мы от жары устроили. Все лето в кустах живем. Окна-то вон какие. Как ворота. Тут раньше пекарня была.

Вдруг из березок, которыми была прикрыта ситцевая занавеска, что-то прыгнуло и шлепнуло на пол — я даже вздрогнул от неожиданности. Заяц! Серый лопоухий заяц с подергивающимися губами.

Наташа с притворной сердитостью затопала ногой:

— Васька-дурак! Опять на постели валялся.

Заяц юркнул в кусты.

Наташа рассмеялась, повернула ко мне круглое, очень милое и простодушное лицо с большими темными глазами.

— Это заяц-то у нас с прошлого лета, — сказала она, внимательно приглядываясь ко мне. — Игорь в лесу нашел. Маленький, хромыкает, говорит, по полянке, — лиса или кто другой хватил. Да он, дурак, прижился — не прогонишь. А зимой белый-белый, как снег...

Наташа предложила мне на выбор — чай пить или в бане сначала помыться с дороги — «баня у нас светлая, чистая», но я сказал, что лучше подождать Игоря, тем более что, по ее словам, он вот-вот должен быть.

Мы сели к столу. Наташа, заслонив рукой лицо от солнца и по-прежнему присматриваясь ко мне, спросила:

— Как же это вы подъехали, я даже не слыхала? Стираю у реки белье и вдруг вижу, какой-то дяденька стоит у крыльца. Я-то, правда, сразу догадалась, что за человек.

Я рассказал, как добирался до Шуши.

— Вот оно что, — сказала Наташа и нахмурила брови. — Это с Пронькой Силиным вы ехали. Бесстыжая рожа, небось побоялся сюда подъехать. Я бы ему сказала... Первый браконьерщик он тут в лесопункте. Нынче зимой такого быка свалил, вон рога-то — от того лося, — она указала рукой на стену. — Вот и злится теперь. Как напьется, так и кричит на весь лесопункт: «Я, говорит, из-за Гошки штраф заплатил, а Гошка жизнью мне заплатит...»

Наташа поглядела в окно.

— Не знаю, где он запропал. Ушел с утра, и без хлеба... Вам, может, отдохнуть с дороги? А то хотите

ягод? У нас малина в садике ранняя, на некоторых кустах уже поспела.

Жара все еще не спала. Тугой знойный воздух переливался над огородиком, в котором, зарывшись в картофельную ботву, дремала белая коза. От речки тянуло смородиной, и там, в кустах, как глаз совы, полыхало низенькое оконце бани.

Садик, сонно лепетавший тополиной листвой, примыкал к глухой стене дома с летней стороны. В отличие от огородика, он был обнесен частой плетеной изгородью, калитка сбита из мелкой, гладко выструганной доски — словом, садик был в почете у хозяев. Но вот я перешагнул за калитку и прямо-таки ахнул. Маленькие подрумяненные клены, желтая акация, сирень нескольких сортов, жасмин, барбарис, боярышник, бузина... А что это? Яблоньки... Вишенки... У нас, на Пинеге, чуть ли не под самым Полярным кругом!

Наташу, казалось, не тронули мои восторги.

— Подумаешь, — сказала она с некоторым вызовом. — Кусты-то каждый посадить может. А вот я что вам покажу...

Осторожно раздвигая руками малинник, густо осыпанный крупной, кое-где уже покрасневшей ягодой, она повела меня в дальний угол садика.

— Узнаете?

Я сперва ничего не заметил, кроме тоненьких играющих на солнце топольков, а потом, вдруг почувствовав нежный смолистый аромат, повернул голову налево к плетню. Кедрачи! Иссиня-черные, длинноиглые, помедвежьи угрюмые и неприветливые.

Наташа потрепала ближайшего крепыша.

— Ох и капризное дерево! Ну повозились же мы с ним. Туго растет — даром что, как сосна, ершистое.

Она на секунду задумалась, а потом вдруг застенчиво — даже краска выступила на ее бледных щеках — улыбнулась:

— Он меня этими-то кедрачами и взял.

— Кто? — не понял я.

— Кто? Игорь. Разве бы я за такого гопника пошла? Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел — старый да страшный. А я что — против него совсем девчонка была. Мне еще восемнадцати не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись... — Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача. — Ей-богу. Еду как-то осенью на пароходе. Народу

много. И он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него. У меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю: чего он все в корзину заглядывает? Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет — лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты господи! Сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Канашева, учительница, со мной ехала. «Нет, говорит, Наташа, это не сосны, это кедры». Да эти кедры мне по ночам стали сниться. Ей-богу! Всю зиму снились. Ну а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу. Кедры смотреть. За тридцать километров! Вот какая глупая была. — Наташа, закусив губу, покачала головой. — Было у нас делов-то! Мама узнала, что я с гопником старым связалась, — в слезы. Брат приезжал за мной. А на лесопункте-то сколько разговоров было!.. Ладно, — сказала она, резко обрывая себя, — клюйте ягоды. А мне надо белье развесить да козу прибрать.

3

Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переоделась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался. А Игоря все не было.

— Не знаю, разве из ружья выстрелить, — уже не первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня.

Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваливала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь.

Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посвежело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В лощине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера — комар...

Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. За-

видев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе.

— Черт сумасшедший! — вздохнула Наташа и встала. — Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди.

За баней, окутанной розовым облаком мошкары, дрогнули, затрещали кусты: Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он грабастает, обнимает меня — весь горячечно-красный, насквозь пропахший смолой...

Нет, я представлял его иначе. Крупнее, шире в кости и, пожалуй, помоложе — без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких волосах... Вот разве только глаза не изменились: пронзительно светлые, по-чарнасовски шальные и диковатые...

— Где тебя лешаки носят? Мы ждем-ждем — все глаза проглядели...

Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену, с ведром воды спускавшуюся с крыльца:

— Вот как у меня домашняя НКВД! Сразу в работу... — Он провел рукавом рубахи по запотевшей голове. — Технорука лесопункта в лесу встретил. Опять высматривает, где бы поближе к реке делянку отхватить. — Игорь страдальчески наморщил лоб, повернулся ко мне: — Беда, Алексей. Все только и норовят в запретную зону. Видал, что с нашей Пинегой сделали? Раньше, бывало, все лето пароходы ходят. А теперь реку раздели — как сирота, голая стоит...

— Ладно, давай, Алексея-то можно не агитировать! Грамотный. Снимай рубаху.

Игорь послушно начал стягивать с себя потную, испачканную смолой рубаху. Все тело его, сухое, меднокрасное, под цвет сосны, было размалевано синей тушью: на груди орел с устрашающе распластанными крыльями, на коричневых руках в светлом волосе — якоря, грудастые русалки.

Явно сконфузившись передо мной, он тем не менее лихо ткнул себя в грудь:

— Этапы большого пути...

Наташа со всего маху окатила его водой.

Когда мы сели за стол, солнце уже лежало на горе. Лежало, как на перине, усталое, обессиленное — немало

потрудилось за день, и лучи его, кроткие, ласковые, тихо догорали на подоконнике. Наташа едва успевала подавать нам. Мы с Игорем, оба голодные, ели молча, по-мужицки. Но вот где-то неподалеку прокричали журавли, и Игорь, прислушиваясь, сказал:

— На работу собираются. Нынче жара такая — вся жизнь у птицы по ночам. По лесу идешь — птички не услышишь.

Помолчал и добавил:

— Вот так и живем, Алексей: под журавлей ложимся, с журавлями встаем.

— Что уж наше житье, — сказала Наташа. — Век в лесу. Кина̀ не видим.

— Ничего, — возразил Игорь, — у нас свое кино. Вот зимой встанешь, снега навалило по самые окна. А там, у речки, лоси. Стоят как вкопанные, и зорька на шерстке играет... Зорьку нам в подарок принесли... Я даже сено для них, Алексей, ставлю. Видишь, вон стог у речки? В долгу мы у этого зверя. Сколько его, бедного, перебили...

Наташа покачала головой:

— Ты как ребенок. А вечера-то зимние забыл? Ей-богу! Сидит-сидит иной раз да вдруг скажет: «Хоть бы леший в гости зашел...»

Игорь смущенно крякнул.

— Ты раньше рисовал, — сказал я. — Забросил?

— Забросил? — Игорь загадочно усмехнулся, и вдруг глаза его вспыхнули. — Да я землю хочу разрисовать. Питомник мой видел? А кедрачи? Вот погоди — революцию зеленую сделаю. По всей Пинеге пущу...

— Ну, понес Антон Исаакович, — снисходительно улыбнулась Наташа.

Да, да, в эту минуту Игорь поразительно напоминал своего отца!

— А что, Алексей, — воскликнул он, снова загораясь, — посмотри, какая у нас дикость! Почему бы, к примеру, кедр не развести? Разве худо орешки? А видал ты у наших домов ягодники? Какая-то ненависть у нашего мужика к лесу. Живет, черт худой, на хлебе да на картошке, а чтобы под окном малину, другую ягоду заиметь... Как нечистой силы куста боится. А поселки на лесопунктах? Сперва лес под корень вырубят, а потом уж за стройку примутся. Ну и чихают все лето пылью. Вот Шуйга, например, повыше Суры. На весь поселок один кустик у школы. Нет, я на опыте хочу до-

казать, что у нас на Пинеге все ягоды растут. И даже яблони и вишни. Вот только в стороне я. Поближе бы к людям выбраться. Чтобы питомник мой в глазах у них стоял...

Наташа хмыкнула:

— Выберешься! Со всем начальством переругался...

Игорь с виноватой улыбкой поднял глаза на жену, покрутил головой.

— Да, Алексей, есть такое дело. Маленько не того... Заметил по дороге свежую вырубку? Это нынешней зимой нашествие было. В мои леса тоже ломились, уж за ручей было перешли. Да я на дыбы. Ружье схватил. Стой, говорю, ребята, порешу! Целую неделю в шалаше жил, а лес отстоял. С этого у меня и пошли нелады с Дробышевым. Крутой мужик. «Я, говорит, тебя к месту приставил, а ты мне палки в колеса...» А тут еще с директором леспромхоза конфузия вышла. Это уж по другой части. Из-за семги...

— Вот тут-то бы тебе нисколько не надо встревать, — сказала Наташа и строго посмотрела на мужа.

Игорь замолчал, и меня немало удивила эта несвойственная Чарнасовым покорность.

— Да как же! — возмущенным голосом заговорила Наташа, обращаясь за поддержкой ко мне. — Осенью тут целая война из-за этой семги. В него уж раз стреляли. Лыска отравили — теперь без собаки живем. Нет, ему все неймется.

— Ничего, — сказал Игорь. — Собаку я заведу. Без собаки в лесу нельзя.

В комнату заглядывала белая ночь. Над головой попискивали комары, и было слышно, как за печью грызет ветку заяц.

Наташа закрыла окна, потом открыла двери и, размахивая платком, стала выгонять комаров.

Мы с Игорем, прихватив подушку и простыню, отправились за сеном: меня решили устроить на ночлег в бане — там и комар не пищит, и зайчишко, как выразился Игорь, не будет беспокоить.

Сено хранилось под старым навесом за баней. Я еще днем, когда ходил купаться, обратил внимание на странные железяки, лежавшие под навесом. Одна из них — тракторная гусеница метра четыре в длину с наваренными шипами, другая — массивный стержень с кронштейнами, похожий на ежа. И вот сейчас, снова увидев эти железяки, я спросил об их назначении.

— Не догадываешься? — Игорь усмехнулся, бросил на сено подушку и простыню. — Это моя техника. Лес которой сажаем. Это вот, — он указал на тракторную гусеницу, — бороной-змейкой называется — легкий моховой покров сдираем, а то опять еж. Для зеленомошника. Не густо?

Я вспомнил, с какой техникой выходят на лес в лесопунктах. Трелевочные тракторы, бульдозеры, могучие лесовозы, лебедки. А нынешняя бензопила «Дружба»? Ими, словно косами, выкашивают леса!

— Да, не много навосстанавливаешь лес такой техникой, — сказал я, с грустью разглядывая эти неуклюжие, примитивные орудия, сделанные в местной кузнице из железного лома.

Игорь, однако, не согласился со мной.

— Можно, Алексей, можно! И с такой техникой можно. Была бы только охота. Да и мотыгой дедовской можно. Я вот тебе завтра на примере покажу: тут недалеко, за Шушей, сосняк мотыгой сделан.

Он опасливо посмотрел на крыльцо: там светлело платье Наташи.

— А то хочешь сейчас? — зашептал горячо Игорь. — Какого лешего! Разве ты спать сюда приехал?

Откровенно говоря, за день я намотался немало. С раннего утра толкотня на аэродроме в ожидании самолета, потом сам полет до лесопункта на вертлявом допотопном «кукурузнике», который все еще в ходу на периферии, потом эта дорога на Шушу, да и сосняк, слава богу, не новость для меня, выросшего в лесном краю. Но, с другой стороны, мне не хотелось и обижать Игоря. Я только сказал:

— А Наташа не заругается?

— Наташа? — Игорь улыбнулся широкой, во все лицо улыбкой. — Женка у меня хорошая. Это она при тебе меня песочит, психику свою показывает. А так мы душа в душу... — Игорь перешел на шепот: — Я даже боюсь, Алексей... Не приснилось ли мне? За что мне такое счастье? Она ведь молодая еще. На четырнадцать лет меня моложе. Ну-ко в такой глуши? Я сам иной раз на лесопункт посылаю — там у нее мать с братом. Пойди, говорю, Наташа, погости у матери. Кино хоть посмотришь. Нет, смотришь, на другой день явилась.

Тишина. Бормочет, плещется вода в Шуше. Легкие пряди тумана висят над кустарником в лощине. Сильно пахнет смородиной...

На крыльце скрипнула дверь. Это Наташа, управившись по хозяйству, ушла в комнату. Игорь, казалось, только и ожидавший этого звука, моментально преобразился:

— Поехали! Теперь мы вольные казаки, Алексей.

4

Ну не глупо ли, черт побери, ночью — пускай она белая, пускай светлая как день — переходить вброд по колено речку, снимать и натягивать сапоги, карабкаться в гору — и все это ради того, чтобы взглянуть на сосны, которые с детства намозолили тебе глаза!

На горе, в пахучем березняке, Игорь выломал пару веток, протянул мне: отмахивайся от комара.

Вечерняя заря еще не погасла. Далеко на горизонте чернела зубчатая гряда леса. И над этой грядой то тут, то там поднимались багряные сосны — косматые, похожие на вздыбленных сказочных медведей.

Под ногами похрустывают сухие сучки. Лопочут, шлепая прохладной листвой по разгоряченному лицу, беспокойные, не знающие и ночью отдыха осинки. Игорь в белой рубахе, окутанный серым облаком гнуса, как олень, качается в кустах. Матерый опытный олень, безошибочно прокладывающий свою тропу.

Ле́са еще не видно, но в воздухе уже знойно и остро пахнет сосновой смолой. А вот и сам лес.

Мы стояли на опушке осинника, и перед нами простиралась громадная равнина, ощетинившаяся молодым сосняком. Вдали, на западе, равнина вползала на пологий холм, и казалось, что оттуда на нас накатывается широкая морская волна. И самые сосенки, то иссиня-черные, то сизые до седины, то золотисто-багряные со светлыми каплями смолы, напоминали нарядную, пятнистую шкуру моря.

Игорь сказал:

— Ну, не жалеешь, что пошел?

А потом вдруг обхватил руками ближайший садик сосенок — они росли купами, — ткнулся в них лицом:

— Вот мои ребятишки!

— И ты говоришь, все это сотворил одной мотыгой? — спросил я, снова и снова оглядывая равнину.

— Да, Алексей. Мотыгой — нашим пинежским копачом и вот этими руками! — Игорь выбросил кверху

небольшие темные руки, сжатые в кулаки. — Я приехал сюда зимой. Тогда и в помине еще не было, чтобы лес восстанавливать. А я думаю — шалишь! Не на лежку сюда приехал. Раз ты к лесу приставлен — оправдай себя. Самая загвоздка, конечно, была в семенах. Ну я смикитил. Мальчишек на лесопункте кликнул — целый шишкофронт открыл. Им это в забаву по соснам лазать, а мне польза...

Вдруг Игорь задумался, тяжело вздохнул.

— Ну и Наташе, конечно, досталось. Это уж после, когда эти сопляки на цыпочки поднялись. Жара была, Алексей, они у меня начали сохнуть — как котята без молока. Ну, я копач в руки и давай махать с утра до ночи. И вот, понимаешь, Наташа тогда в положении была. Зачем же вот ей-то было за копач браться? Недоглядел, Алексей. Нескладно у нас получилось. Врачи говорят: конец вашим детям...

Белая ночь проплывала над нами. Над ухом жалобно попискивали комары. Игорь с опущенной головой, белый, как привидение, стоял до пояса погруженный в колючий потемневший сосняк.

— Ничего, — заговорил он сдавленным шепотом. — Ничего! — И вдруг опять уже знакомым мне, каким-то по-отцовски широким и щедрым объятием обхватил сосенки. — Вот мои дети!.. Наташа плачет, убивается, а я говорю: не плачь; кто чего родит — одни ребятишек с руками да ногами, а мы, говорю, с тобой сосновых народим. Сосновые-то еще крепче. На века. Согласен, Алексей? — И вдруг Игорь, не дождавшись моего ответа — решенное дело! — громко и раскатисто, да так, что эхо взметнулось над притихшим сосняком, рассмеялся.

Надо было возвращаться домой. Но как же не хотелось расставаться с этим сосняком! Или это потому, что теперь уж эти сосенки-подростки для меня не просто молодой соняк, а Игоревы дети?

— А ты видал, Алексей, как сосна всходит? — неожиданно спросил Игорь.

Я улыбнулся: наивно все-таки спрашивать о таких вещах человека, который вырос в лесу.

— Ни черта ты не видал! Все мы так. Бродим, бродим по лесу, топчем все с краю, ну, еще черемуху, когда в цвету, обломаем, а вот как рабочее дерево из земли поднимается, не знаем. Хочешь посмотреть? —

В голосе Игоря зазвучала соблазнительная, так хорошо знакомая мне с детства загадочность. — Интересно! Сосны двух недель от роду. А?

5

И вот опять мы, два полуночника, идем в белую ночь. Над головой таинственное, притушенное серенькой дымкой небо, а в ногах сосны. От сосен веет дневным жаром. Сосны цепляются смолистыми иглами за одежду, кусают голые руки.

Игорь довольно замечает:

— Смотри, какие зубастые. Как щенята, огрызаются. Крепкие дерева будут!

Белая ночь творит чудеса. Исчезло время. Мы снова мальчишки. И снова, как в те далекие годы, Игорь ведет меня...

Темный, заросший молодым ельником ручей, словно корабль, плывет нам навстречу.

Послышался свист, тоненький, похожий на хрупкий лучик вечернего солнца, и погас.

— А ведь это рябишко, Алексей, — сказал Игорь и остановился. — Забавно. С чего бы ему об эту пору?

Он еще некоторое время удивляется странному поведению рябчика, а потом говорит:

— У меня тут, Алексей, полно всякой птицы. Любит она здешние места. На Сысольских озерах даже орлы живут, во как! А вообще-то *нервная* пошла нынче птица... Да и как ей не нервной быть, ежели по всему северу железный гром стоит! Скажем, журавль, к примеру. Весной это летит с юга, день и ночь крыльями машет. Ладно, думает, вот прилечу на родину — отдохну. А прилетел — негде сесть. На гнездовьях-то уж люди.

Придерживаясь за ветки березы, мы стали спускаться в ручей. Густые, по пояс, папоротники, трава, слегка отпотевшая за ночь, и даже сырой холодок понизу. Но засуха добралась и сюда. Воды в ручье не было. Каменистое, из мелкого галечника дно проросло пышными подушками зеленого мха. Мох мягко пружинит под ногами. Вдруг справа от нас — это всегда бывает вдруг — вспорхнул рябчик и низом-низом, фурча, как пропеллер, крылышками, потянул в еловую глушь. Было слышно, как он сел на сучок. Игорь улыбнулся.

— Сейчас мы вступим с ним в переговоры. — И, раздвинув губы, сухие, в трещинах, свистнул.

Рябчик отозвался, но как-то вяло, неохотно.

Игорь опять улыбнулся:

— А знаешь, что он мне ответил? «Не пойду, говорит, хочешь — иди сам».

— Ну уж так-таки и «не пойду»?

— Вот те бог, Алексей. У них, у этих рябишек, три зова для своих товарищей: «лечу», «иду на ногах», «лети сам». Не веришь? Ну а как же бы они в лесу-то разыскивали друг дружку, в особенности во время токов? Охотники хорошие знают их наречье, так и мано́к настраивают. Ежели «лечу» — не двигайся, сам прилетит. И по сигналу «иду пешком» тоже дождаться можно. Не скоро — велик ли у ряба шаг — приковыляет. А вот ежели «лети сам», тут уж не жди. Хоть как его ни зазывай, не прилетит. С характером птица, даром что маленькая.

За ручьем опять вырубка — трухлявые пни в кустиках сморщенной, подгоревшей на солнце земляники, редкие елки иван-чая с сонно ворочающимися на метелках пузатыми шмелями, потом опять ручей — горький ольшаник вперемежку с березой, и вот мы поднимаемся на холм.

Под ногами тундра — чистейший, белее снега курчавый ягель, а там вверху — я задираю голову — макушки сосен...

Я смотрю на этих неохватных, в седых космах великанов, смотрю на их темные вершины, потрепанные вековечными ветрами, и то они мне кажутся былинными богатырями, чудом забредшими в наши дни, то опять начинает казаться — чего не делает белая ночь, — что ты сам попал в заколдованное царство и бродишь меж задремавших богатырей. Уж не белые ли ночи и сосны навеяли эту сказку нашим предкам?

Вздох Игоря — он рядом — возвращает меня к яви.

— Эти сосны еще Петра помнят. Вот какая краса тут была! А теперь один островок остался. И то потому, что лошадями лес заготовляли. Взять нельзя было. А если бы нынче — сокрушили. Трактор хоть черта своротит...

Игорь опять вздыхает:

— Раньше, бывало, в лес-то зайдешь — оторопь берет. Под каждой елью леший сидит. А теперь этих ле-

ших в сырые суземы загнали — чахнут, бедные, нос высунуть боятся... Ладно, пошли. Тут близко. Версты не будет.

Но Игорева верста, видно, меряна еще той древней дедовской клюкой, о которой говорится в присказке. Мы бредем вырубками, то совершенно сухими, то заглушенными жирной травой с пышными белопенными зонтами тмина, — они похожи на легкие облачка, опустившиеся на землю, огибаем маленькое, с черной, как чай, водой озерко, курящееся паром, — «черти баню топят», — шутливо замечает Игорь, пересекаем просеки — лесные коридоры, топчем похрустывающий олений беломошник, путаемся в упругих зарослях можжевельника. И Игорь рассказывает — рассказывает, рассказывает обо всем, что попадается на глаза, — то приглушенным шепотом (и тогда он, в белой распущенной рубахе, с темным, прокопченным лицом, на котором шевелятся неестественно белые брови, напоминает старого лесного ведуна), то голос его переливается, как ручей.

Он рассказывает о елях, о их необыкновенной чувствительности — «десятиметровую ель можно убить одним ударом обуха», о хвойной скользящей под ногами подстилке — «мудро устроен, Алексей, лес: сначала кормом себя обеспечит, а потом уж на отдых уходит», жалуется на нахальную березу — и это странно мне слышать, но у него свой счет к березе — «сорняк дерево, она да осина на вырубках первые гостьи», плетет какой-то доморощенный сказ о древней птице глухаре, которого мы подняли в травниках...

Я присматриваюсь к Игорю, вспоминаю его «лагерные университеты», и мне все чаще приходит в голову, что я совершенно не знаю этого человека.

Он был силен, по-прежнему силен и неутомим, как все Чарнасовы, и так же размашисто мечтателен и одержим, как его отец, — «зеленую революцию пущу», но откуда у него эта удивительная любовь и жалость, русская жалость ко всему живому? Нет, отец его, беспощадно прямой, мысливший мировыми категориями, не страдал этим. Профессия лесника наложила на него свою печать?

По вершинам сосен красной лисицей крадется утренняя заря. Что-то вроде ветерка, похожего на легкий вздох, пронеслось по лесу. Или это белая ночь, прижимаясь к земле, уползает в глухие чащобы?

6

— Вот, пришли, — говорит Игорь.

Я смотрю перед собой и ничего не вижу, кроме черной бескрайней гари с хаотическим нагромождением коряг и сучьев. На их обугленной, потрескавшейся коре — алые отсветы зари, и кажется, пожар еще дышит, живет.

Опять загадка?

Игорь, довольный, смеется. Сухое, загоревшее лицо его с белыми бровями пылает, как сосна.

— Да ты не туда смотришь. В борозды смотри.

В самом деле, гарь прорезана песчаными бугристыми бороздами. Их много. Они, как желтые змеи, расползлись по гари.

Я наклоняюсь к первой борозде. Рваные, обгоревшие корни по краям, следы тракторной гусеницы, потом замечаю крохотный, сантиметра в два, пучок темно-дымчатой травки, за ним другой, третий... И вот уже пучки сливаются в жиденький, кое-где искрящийся ручеек, робко крадущийся по песчаному дну борозды.

Ручеек необычный. От ручейка пахнет смолой.

Неужели так вот и начинается сосновый бор?

Игорь советует мне вырвать отросток: все равно им всем не жить, придется прореживать.

Ого! Травка колется, липнет к пальцам, а глубинный корень вдруг выказывает цепкость и упорство сосны.

Странно это — держать на ладони дерево с корнем...

Я стою, склонившись над этим младенческим лесом, вдыхаю его первозданный запах, и мне кажется, что я присутствую при рождении мира, подымающегося на утренней заре...

Игорь мягко кладет мне на плечо руку.

— Это тракторная работа. Ровно месяц назад с Санькой Ряхиным сеяли. На совесть мужик работал. А нынче как-то встретил на днях, спрашиваю: «Будем еще, Саня, старые грехи замаливать?» — «Нет, говорит, Игорь. Хорошо лес сеять, нравится мне эта работа, а больше не жди». Понимаешь, Алексей, копейка мужика затирает. У него семья, ребятишки, а тут хоть лопни — тарифная ставка. Не перепрыгнешь. Почему так? Кто лес валит — тому прогрессивка, и премиальные, и еще там всякая всячина. А кто лес сажает — на сознательность переведен. Почему так?

Мы идем узенькой, хорошо утоптанной тропинкой.

В лесу полно птах. Пищат, посвистывают, тенькают — все спешат управиться со своими делами до жары. А вот и дробный перестук дятлов.

— Это мои помощники, — говорит Игорь. — Мало только их нынче. Надо бы их как-то увеличить. В книжках ничего не читал об этом?

А потом он снова возвращается к своим обидам лесника. Нет, он не о себе. Ему с Наташей немного и надо. Да его хоть золотом осыпь, от леса не оторвешь. А как же на их зарплатишку жить тому, у кого семья? Вот и идут в лесники инвалиды да всякий сброд. А если какой подходящий мужик заведется, так от него все равно толку мало. Он все лето для коровы своей сено ставит. А сколько у лесника работы? Охрана леса, лесокультурные работы, расчистка просек... А семена заготовлять? Египетский труд! Каждую шишку надо ладонями обмять. А противопожарные канавы возле дорог прорыть?..

Игорь качает головой:

— Ни черта я тут не пойму. Каждый год пожары. А нынче весь север горит. В Архангельске от дыма, говорят, не продохнешь. Космос, что ли, решили отапливать? Во что это государству влетает? А люди на лесопунктах по неделям не работают? А колхозников с пожара на пожар гоняем? И никто почему-то не хочет одну штуковину сделать — лесную охрану увеличить. Знаешь, у меня какое лесничество? Двести сорок тысяч га! Мне за год не обойти это царство. Да что там за год! Я так и помру, а в каждом квартале не побываю. Мы, лесники, кричим: добавьте охраны! Меньше пожаров будет. И все без толку. Миллиарды в огонь бросаем — не жалеем, а вот лишнего лесника нанять — экономия... Почему так, Алексей? Я и в райком писал, и в область писал, и в Москву писал... Куда еще писать?

7

Обратная дорога оказалась прямой и короткой. И я понял, что Игорь не без умысла водил меня по лесу. Да он и сам не скрывал этого.

— Ну, теперь ты получил сосновое образование, — сказал он с ухмылкой, когда мы вышли в окрестности поселка.

Я поражался, глядя на него. Человек целый день выходил на ногах, потом эта бессонная ночь с кружением по ручьям и вырубкам, а ему хоть бы что. Он был свеж

и бодр, как утренний лес. Может, только морщины резче обозначились на его сухом узком лице да на жилистой, дочерна загорелой шее.

Восход солнца мы встретили, сидя под суковатой развесистой сосной — могучим чудищем, вымахавшим на приволье. Старые шишки, ворохом лежавшие на росохах закаменевших корней, окрасились алым светом.

— А я, Алексей, можно сказать, тоже от сосны начал жить,— заговорил Игорь. — Лес меня человеком сделал. Ну, про то, как я в тюрягу попал, рассказывать нечего. По молодости, по глупости... Вот ты ученый, Алексей, книжки пишешь. А можешь объяснить, что тогда произошло со мной, какой заворот в моих мозгах образовался? Почему мне дома не сиделось? Все мои ровесники при деле: ты учишься, те работают. А меня так и тянет, так и тянет куда-то. Как журавля в небо. Почему так? И ведь героем себя считал — во как. Ну а война началась, тут меня прошибло. Кровавыми слезьми умылся. Братья на фронте, отец от рака умирает, а я за колючей проволокой. Работаю, конечно, всему гопью в лагере войну объявил, а все равно в лагере. Да разве мне, сыну Антона Чарнасова, та́к воевать надо!

Игорь хрустнул сцепленными в замок пальцами.

— Сейчас из заключения выходят, у ворот его встречают. Все для него, на работу устраивают — будь только человеком. Упрашивают. А я после войны вышел — хлебнул горюшка. Я с чистым сердцем, я жить хочу, работать хочу — я ведь еще не жил, семнадцати лет за решетку попал, — а от меня как от прокаженного шарахаются. Я вкалываю, вкалываю, по тридцать кубиков земли лопатой вынимаю — это когда еще дорогу строили,— рубаха на мне от пота не просыхает, сам седой от соли. А чуть что случилось в поселке — воровство какое, пропажа — Игорь-бандит. На него косо смотрят. Как это переносить, Алексей?

И вот только в лесу себя человеком чувствуешь. Никто тебя не спрашивает, кто ты. Пташка сядет рядом. Сосна-трудяга... Стоит — день и ночь смолу качает. Ей некогда пустяками заниматься. На ней вся планета держится...

Это было неуместно, нехорошо, но я не мог сдержать улыбку: так неожиданно и широко было обобщение Игоря.

— Ей-богу, Алексей! Ну, а как же? Поживи-ко здесь до зимы — сам на практике все поймешь. Ветры студе-

ные задуют — из Арктики, аж от самого полюса, — кто им заслоном служит? Сосна. Да ежели бы не сосна, так эти ветрищи до Черного моря добрались, сквозняк на всю Россию устроили. А летом, когда засуха, все кругом выгорело? Березы и те от жары сомлели. А эта — черт те что. Пыхтит, обливается смоляным потом, а дело свое делает. И вот ведь какая несправедливость! Про березу в песнях поем, черемуху на каждом шагу вспоминаем. А что они против сосны? Иждивенцы! Только и живут потому, что сосна на свете есть...

— Ну ты уж слишком, — возразил я, обидевшись за другие деревья.

— Да я их всех люблю, Алексей. Я после лагерей какой-то жалостливый стал. Ну, а все-таки им против сосны... Не то. Характер не тот! — решительно сказал Игорь. — Вот, к примеру, ель. Нужное дерево — ничего не скажешь. А хитрить-то зачем? Ох, хитрое дерево! Я эту ель насквозь вижу. Вся ушла в суземы. Ну-ко, доберись до нее. Надо железную дорогу тянуть, болота мостами выстилать. «Сама на корню сгнию, а человеку не дамся». Вот какое дерево! А в сырость я прямо глядеть на нее не могу. И так-то жить тошно, а тут еще она слезу точит... Вот осина еще на нервы действует. И все-то она дрожит, все-то дрожит. Больно о себе много думает...

Сверху к нашим ногам упала прошлогодняя шишка. Мы оба подняли головы. Могучие, узловатые, переплетенные друг с другом сучья, и в них, как в колодце, маленькое оконце голубого неба, осиянного солнцем.

— Вот какая сила, Алексей! Не согнешь! — зашептал восхищенно Игорь. — Люблю, когда сосна шумит. Она не то что ель. Та в непогодь как по покойнику воет. А эта... Ноги в земле, голова в космосе, да как затянет свою «дубинушку» — аж землю в дрожь бросает. Вот какое это дерево сосна, Алексей! Да мы ей в ноги должны поклониться. За службу верную. За то, что на переднем крае всегда. Не хитрит. Не ждет никакой награды!..

Солнце уже припекало, когда мы вернулись в поселок. В утреннем воздухе попахивало горьковатым дымком — значит, опять пожары...

Игорь не захотел тревожить Наташу. Он лег вместе

со мной в бане и тотчас же заснул. Заснул крепким сном рабочего человека. А я еще долго лежал с открытыми глазами и думал о своем товарище, о его отце, о соснах...

1962

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА

1

Ну, слава богу, он дома...

Матвей кое-как высвободил ноги из оледенелых, поскрипывающих на морозе ремней, поставил к стене лыжи и натужно, с передыхом, хватаясь руками за перила, поднялся на крыльцо.

Ворота из сеней ему открыла Марья — под стать мужу, такая же крупная и широкая в кости.

— Пришел, горе мое. Зачем же вот было ходить?

Матвей молча прошел в избу. Идол — черный, с желтыми кустистыми надглазницами пес, развалившийся посреди избы, — поднял было голову и снова опустил.

Марья приняла от мужа ружье, обила голиком низкие валенки с суконными голяшками, натянутыми до пахов, помогла снять промерзший ватник. Она не спрашивала, как прошел день. Ей достаточно было взглянуть на его лицо — темное, угрюмое, с редкими, словно картечины, отсвечивающими оспинами.

— Давно он пришел? — кивнул Матвей на пса.

Марья посмотрела на стенные ходики.

— Да уж боле часу — я баню закрывала.

Что ж, пес не виноват. Какая же собака будет мерзнуть весь день в лесу, ежели хозяин, как улита, ползет по лыжне!

Матвей тяжело опустился на прилавок возле печи, вытянул длинные и прямые ноги, мохнатые от инея. Ноги ныли и гудели, как провода на погоду.

Что делать с этими ногами? Давно ли он еще целыми днями без устали гонялся за зверем, а теперь чуть пройдет на лыжах — и хоть посреди леса ложись: бастуют, окаянные! А вечером, когда начнет разуваться, страшно взглянуть: распухли, жилы нарвало, как у беременной бабы. И вот уже два года он не выходит на свою охотни-

чью тропу. Пустуют где-то по ручьям и лесам занесенные снегом избушки, срубленные его руками, ржавеют капканы и волчьи петли, а он в ожидании, когда окрепнут ноги, бродит с ружьишком по мелколесью да по старым вырубкам. Бесполезно, по привычке бродит, можно сказать, тешит себя, как малый ребенок, потому что какой же зверь вокруг деревни?

Осенью прошлого года райзаготконтора премировала его мотоциклом.

«Давай-ко механизируйся, — сказал завконторой Сысоев. — А то срам — скоро в космос полетим, а в нашем деле все ни тпру ни ну».

Матвей без радости принял нарядную, сверкающую черным лаком машину. За что же его награждать? За то, что за год семь куничек да две лиски добыл? Правда, было время — гремел Лысцев, на всю область гремел. По четыре-пять медведей в сезон убивал. А волки? «Матвей, — накажут, бывало, люди, — на Пюлу волк вышел». А Пюла, где она, эта Пюла? На краю света. На лошади скакать — и то пять дней надо. И Матвей на лыжи и напрямик — через суземы, через холмы, через болота. Передохнет, обсушится у костра и снова мнет снег, снова пробирается сквозь чащобу ельника, ныряет в котловины ручьев и речушек... Нет, никакая машина не заменит охотнику ноги. Да и легче, пожалуй, на Луну слетать, чем придумать такой вездеход, чтобы по нашим суземам колесить...

— Исть будешь але в баню сперва? — спросила Марья.

— Погоди, надо еще разуться.

Ноги в тепле немного успокоились,— на полу натаяли лужи. Мокрые суконные голяшки, перехваченные ремешками под коленкой, искрились мелкими льдинками.

Матвей положил руки — большие, обветренные руки рабочего человека — на колени и начал легонько растирать их, словно задабривая.

Марья покачала головой:

— И зачем же вот каждый день бродить? Ведь уж раз ног нету, какой из тебя охотник!

— Опять за свое? — Матвей исподлобья взглянул на жену.

— Да как? Самим исть-пить надо, и Саньке который месяц не посылаем. Стипендия-то у девки невелика.

Матвей поморщился. Да, Саньке, старшей дочери,

своей любимке (она учится в техникуме в Архангельске), он за три месяца не послал ни копейки. Но где у него деньги? Выпил ли он хоть раз за этот месяц?

— Матюша, — вдруг ласково заговорила Марья и дотронулась рукой до его круглой, коротко остриженной головы, — а может, мотоцикл-то продать? Вот бы и заткнули дыры. Спрашивал у меня опять кладовщик. Хорошие, говорит, деньги дам.

— Скажи ему, что премиями Матвей Лысцев не торгует.

— Матвей Лысцев, Матвей Лысцев! — неожиданно взорвалась Марья. — Форсу-то сколько! Ну, пусть Санюшка с голоду мрет. Отец премиями не торгует, «сторожем на скотный двор не хочу»...

— Да ты что, рехнулась? В сорок-то лет хвосты коровьи сторожить!

— А ты на что надеешься? — У Марьи угрожающе выпятился живот, она ходила на сносях. — С твоей-то грамотой не больно разойдешься. В контору не сядешь...

Матвей судорожно, до хруста сжал пальцы.

— Венька где? — спросил он немного погодя усталым и примирительным голосом.

— Я ему про Фому, а он про Ерему!

Марья, тяжело шлепая валеными опорками, заковыляла к занавеске. Поравнявшись с Идолом, она на ходу ткнула его ногой в бок. Пес зарычал, оскалил морду.

— Потише ты — развоевалась.

За занавеской грохнул ухват, со звоном покатилась кастрюля.

Матвей вздрагивающей рукой нашарил на припечном брусе банку с махоркой, свернул цигарку.

Да, надо на что-то решаться. Хватит с него этой музыки. Каждый день одно и то же. Конечно, она права. Хуже, чем они живут сейчас, некуда. Но, боже ты мой, у него вся жизнь вразлом, а она хоть бы посочувствовала!

На крыльце гулко затопали ноги. Завизжали ворота — давно надо смазать медвежьим жиром, — и в избу ввалился Венька, весь в снегу, как березовый.

— Папа, мы волка видели!

— Волка? — Матвей вяло усмехнулся: Венька, истый сын охотника, любил заправлять арапа. — Может, хоть собаку?

— Ну вот еще, что я, не знаю! Полено тянет... Такой дедко — как жеребенок, качается...

Идол насторожил уши, шумно потянул воздух. Матвей в бессильной ярости скрипнул зубами. Вот времена настали! Зверь под боком ходит, а он ни с места.

— Мы это катаемся с ребятами с горы, — продолжал рассказывать, размахивая красными руками, Венька, — а он как выскочит из кустов да по дороге на реку... Ружья у меня не было, а то бы я...

— Будет вам! — оборвала сына Марья. — Вечно они со своим зверьем! Ешьте, да в баню пора.

Матвей встал — все-таки отпустили немного ноги, шагнул к столу и вдруг, прихрамывая, кинулся к ружью.

— Венька, живо заправляй мотоцикл!

— Матвей, Матвей, не сходи с ума! — закричала Марья. — Куда же ты на вечер глядя? И не ел весь день...

Матвей круто повернул голову к жене — и этого было довольно: Марья поспешила на помощь мужу.

2

Матвею ни разу не доводилось ездить на мотоцикле зимой, но дело пошло на лад. Он вихрем пронесся по деревенской улице, затем вылетел на открытый луг, по которому наискось пролегал вывешенный зимник, то есть обставленный с обеих сторон елочками. Скосив слезящиеся, в заиндевелых ресницах глаза — ветер резал лицо, — он зорко всматривался в желтую, хорошо накатанную дорогу. Следов не было. Не было их и на реке. Неужели Венька подшутил?

За рекой зимник двоился. Одна росстань — берегом — вела в райцентр, другая — направо, вдоль ручья с низкорослым кустарником в начесах сена, — в верхнюю часть района.

Матвей свернул направо. Зверю — не на заседание. Зачем же он попрется в райцентр?

Росстань — несчастные женки, которые возят по ней сено! — приворачивала к каждому кусту. Мотоцикл качало, подбрасывало, заносило в ухабах — и он взмок, пока выбрался на большак. Но и тут никаких следов. Дорога заледенела — хоть целая стая пройди по ней, не заметишь.

Он поглядел в одну сторону, поглядел в другую.

Хмурые сосны, навьюченные снегом. Телеграфные столбы с провисшими мохнатыми проводами. И дорога, пустынная дорога, тускло поблескивающая санной колеей.

Нет, надо, видно, поворачивать назад. По крайней мере в бане успеет вымыться, а после бани всегда ногам лучше. Ну а вдруг, пока он тут рассусоливает, волк преспокойно чешет себе большаком? Куда же еще ему податься? Зверь, как и человек, зимой держится дороги.

Приглушенный мотор снова взревел. И снова терзающая ноги тряска. Снова полощет его ледяным ветром.

Он проехал пять, проехал семь километров. Волк как сквозь землю провалился.

Когда за поворотом показалась Матушкина ручьевина, густо заросшая березняком, Матвей сказал себе: хватит. Напротив матерой лиственницы (прошлой осенью, еще по чернотропу, свалил тут глухаря) он остановился, заглушил мотор. У него стучали зубы, закоченевшие руки, когда он снял суконные рукавицы и попытался содрать ледяную коросту с небритых щек, плохо слушались.

Вечерело. В морозной прозелени неба уже проклюнулись первые звезды.

Он потоптался, помахал руками, чтобы согреться, затем, на ходу доставая охотничий нож, болтавшийся на ремне сбоку, направился к спуску. Продавщица сельпо давно просила его сделать пару метел. Все-таки деньги — хоть на табак не придется клянчить у женки.

Он подошел к спуску и остолбенел. По ту сторону ручья в гору подымался волк — серебряными искрами играла заиндевелая шерсть.

Ружье, где ружье? Какой дьявол надоумил снять его! Ну и конечно, пока он бегал за ружьем к мотоциклу, зверь ушел. Матвей едва не заревел от горя. Шестьсот рублей упустил!

Спуск в ручьевину заледенел еще больше, чем дорога. Мотоцикл накатывался на него, как воз на лошадь. Он упирался больными ногами, падал. Потом с остервенением пихал машину в гору. Наконец вылез из чертовой ручьевины.

Мохнатые сосны, ели. Звезды сыплются колючей крупой. Еще газу, еще! Мотоцикл с бешеным воем и треском вынес его на поляну — и тут он опять увидел волка. Он резко затормозил. В морозной тишине гро-

мом прогрохотал выстрел. Волк исчез за поворотом дороги. Через минуту он снова выстрелил и снова промазал. Что за чертовщина? Руки у него трясутся или мушка сливается в сумерках с дулом?

Матвей включил фару. Ослепить, сбить зверя мотоциклом! Давят же шоферы лисиц и зайцев колесами, а почему не попытать счастья ему? Зимняя дорога заполыхала заревом. Косматый лес, как стадо мамонтов, с оглушительным ревом полетел ему навстречу.

Это был большой, на редкость большой зверина — прав Венька! — пожалуй, ни один из убитых им волков не шел в сравнение с этим. В желтой слепящей полосе долго, наверно с минуту, качался обвислый зад с прямым, сверкающим изморозью хвостом, который охотники называют поленом, потом свет скользнул по вздыбленному загривку, по морде, окутанной паром...

Матвей сжался пружиной. Сейчас, сейчас он собьет серого дьявола...

Внезапно дорога выгнулась дугой. Слепящие лучи фары веером рассыпались по верхушкам пушистого березняка... Постой, постой, да ведь тут где-то взвоз — крутой спуск к реке... Он изо всех сил нажал на тормоза, но было уже поздно. Машина подпрыгнула и неудержимо полетела вниз...

Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса, взбивая снежную пыль, а он лежал в придорожном сугробе, с головой зарывшись в снег, и на все лады клял себя. Так все шло хорошо, ладно. Волк был уже, можно сказать, в руках — и надо же было ему, олуху, забыть про взвоз! Сотни, тысячи раз он ходил и ездил по этой дороге, а тут забыл...

В затылке тупо болело и даже подташнивало — наверно, стукнуло ружьем, когда падал.

Выбравшись из сугроба, Матвей стряхнул с себя снег, пнул с горя заглохший мотоцикл и безнадежно, с тоской посмотрел на зимник, уходящий вверх по реке. На километр, на два просматривалась прямая, светлая, как слюда, дорога — и хоть бы одна тень пятнила ее. Где же волк? Не мог же он за каких-то пять минут проскочить два километра?

Он повернул голову направо: там от спуска на реку есть росстань — по ней иногда ездят за сеном на тот берег. Но все же то, что он увидел, походило на чудо. По снежной равнине, залитой лунным светом, шел волк, вернее не шел, а плыл, как темный челнок, толч-

ками двигаясь к тому берегу. И он был всего в каких-нибудь ста метрах от него!

Матвей скинул из-за спины ружье, выстрелил. Туча снежной пыли взметнулась на реке...

Он выстрелил еще раз и побежал по дороге, к росстани. Ох, ноги, ноги! Вот когда окончательно сдали. Он брел по волчьим следам, глубоко, до пахов проваливаясь в рыхлый снег — давно не ездили по росстани,— и ему казалось, что к ногам его привязаны колодки.

Ничего, ничего, утешал он себя, самое трудное позади, а на дорогу он как-нибудь вытащит зверя... И вдруг — он уже чуял запах псины — черная туша на снегу зашевелилась.

Ах, сволочь! Хитрить, притворяться! Плохо тебе попало?

Одеревеневший палец (наверно, отморозил) долго не мог зацепить спусковой крючок. Осечка. Он снова взвел курок — и снова щелчок. Вот уж не повезет так не повезет. Он отчаянно дергал затвор, тер суконной рукавицей — все напрасно.

Пятнадцать-двадцать шагов отделяло его от волка! На том месте, где только что отлеживался раненый зверь, снег был в черных пятнах. Это кровь, волчья кровь. И, словно собака, подхлестнутая запахом свежей крови, он двинулся вперед.

Он спотыкался, падал, зарывался лицом в снег, — но как упустить такую добычу! Зверь тяжело ранен — это ясно, и стоит дотянуться прикладом до его башки, как все будет кончено.

На подъеме в берег — росстань тут начисто замело — он выронил ружье. Черт с ним и с ружьем — все равно не стреляет. Ему хватит и дубины, а возле стога всегда найдется жердь. На худой конец у него еще есть нож, большой охотничий нож. Главное сейчас — выбраться из этой проклятой трясины. Он месил, загребал руками снег, цеплялся за кусты, подтягивался и долго, как лошадь, бился в рыхлом сумете.

Наконец из-за пригорка показалась зеленоватая, высветленная луной шапка стога. Матвей, опираясь на руки, поднял голову, поискал глазами волка.

Так, все идет так, как он задумал. Волк подползал к зароду сена. Вот уж он в проломе низкой мохнатой изгороди, вот уж черная шкура зверя слилась с темным приземистым стогом...

А-а, сволочь, попался! Тут тебе и капут, тут тебе и

решка. Дальше ты не уйдешь. Кончилась росстань...

Темное крыло тени, отбрасываемое стогом, почти касалось кустов, в которых лежал Матвей. Наступала решающая минута. На мгновенье в мыслях его всплыла теплая изба, Марья и Венька, измученные ожиданием... Ничего, потерпите еще немного. Дайте отцу собраться с силами...

Он жадно, по-собачьи хватил губами снег, встал.

Мысленно, шаря глазами по изгороди, он уже прикидывал, как выхватит сейчас жердь, а затем со всей яростью обрушит ее на волка. А пока что рука его судорожно сжимала рукоятку ножа — на тот случай, если зверь бросится на него из засады. И вдруг — или это померещилось ему — на светлой, лунной полосе за стогом он увидел темное пятно. Пятно ползло, двигалось к лесу... Одним рывком Матвей достиг изгороди. Волка у зарода не было. Все ясно: обхитрила подлая тварь, отлежалась и ушла...

Навалившись грудью на изгородь — ноги, как подкошенные, тянули вниз, — он обвел глазами голую бережину, холодную, безжизненную, отливающую зеленым блеском, потом посмотрел на реку. Нечего и думать о возвращении обратно — ему не дойти до большой дороги, не выбраться из этих снегов.

Холодная дрожь прошибла его. Ему вдруг вспомнилось то, что случилось прошлой зимой в Пихтеме. Борька Шумилов, молодой мужик, силища — двухпудовкой крестился и справа и слева, — вот так же, как он, вскочил под вечер на лыжи и налегке побежал на деревенский луг — там бабы видели лису-огневку. Разыгралась метель. Дома ждут Борьку весь вечер, ждут всю ночь. Назавтра вышли искать всей деревней. Ни одного следа на лугу — все загладило снегом. И только весной, когда начало таять, ребятишки откопали беднягу под Пихтемской горой. Замерз у самой деревни.

Матвей стиснул зубы, навалился на жердь — надо наломать дров, скорее развести огонь, пока еще не поздно. Жердь выгнулась, но не треснула. Тогда он принялся за колья. Левая рука, как мертвая, скользнула по колу. Он стащил зубами заледеневшую рукавицу и начал оттирать кисть сухим снегом. Пальцы не двигались. Правая рука тоже немела. Задубелый ватник звенел, как железный...

Матвей взглядом обреченного человека посмотрел

вокруг. Блестит, каленой искрой переливается снег. В небе луна — ушастая, в дымном угаре. На холод... Неужели здесь, в этом проклятом снегу, подыхать ему? Неужели это капкан, в который его заманил волк? На войне не подох, а тут, в трех шагах от жилья... Нет, черта с два!

Он нащупал на груди коробок со спичками и, вдруг резко оттолкнувшись от изгороди, заковылял, качаясь, к зароду.

3

Отшумела полая весенняя вода, оттрубили журавли и откричали чайки — районная больница была на окраине селенья, подле озера, в долине которого всю весну, до самого отлета на гнездовья, жирует перелетная птица, потом пришла благостная тишина зеленого лета с белыми прохладными ночами, с хмельным запахом цветущей черемухи... И вот настал наконец день, когда Матвея выписали из больницы.

Марья, завидев его с березовой деревягой, закусила губу, и это отравило ему всю радость выхода на волю. А затем еще камнем на душу лег деревенский праздник по случаю окончания сева. Весь деревенский люд, от мала до велика, высыпал на улицу, и как же ему не хотелось сейчас показываться на глаза землякам! Но тут, спасибо, догадалась Марья — свернула на задворки. Так, тихо, крадучись, как воры, и подъехали к дому.

В заулке у крыльца, на белом разогретом песке — давно привезли песок от реки, еще тогда, когда была ползунком Санька, — лежал Идол. Потревоженный скрипом телеги, пес нехотя встал, сонно зевнул, потягиваясь, и поплелся к хлеву — грязный, неряшливый, со всклокоченной шерстью на боках.

— Идол, Идол, — с укором позвала Марья. — Что ты, дурак, ведь хозяин домой вернулся.

Идол даже ухом не повел.

Пропала собака, подумал Матвей. Ну и пусть. Отдавать пса в чужие руки — мясо живое от себя отдирать, а с него, Матвея, хватит. За то время, что он лежал в больнице, его посвежевали немало. Сначала отхватили пальцы на правой ноге, потом оттяпали левую ступню, а потом принялись за стрижку почерневших пальцев на руках. И осталось у него два пальца —

большой да указательный на правой руке. Ровно столько, чтобы самому подносить ложку ко рту да застегивать штаны...

Марья хотела было взять мужа на руки — она раздобрела после родов, налилась румяным здоровьем, да и тяжел ли он был теперь, кругом укороченный, наполовину высохший? — но Матвей воспротивился. Нет, в свою избу он войдет сам.

Глухо хрустнула, зарывшись в песок, новехонькая, вытесанная из березы, окольцованная по низу деревяшка. Матвей, поддерживаемый женой, поднялся на вымытое, застланное половиком крыльцо, передохнул, глядя на солнечную реку в зеленых берегах.

В избе было тоже намыто. Сладко пахло молодой березой, раскиданной по углам, по матице. На глазах у Матвея показались слезы.

Марья, обняв его, помогла ему сесть на прилавок у печи — так он всегда делал, когда возвращался с охоты. И все тут было по-прежнему: на печном брусе раскрытая банка с желтой махоркой, стопка нарезанной газеты, спички. Хорошая у него баба. Можно на такую положиться.

Тем временем с другой половины — из летней избы — Марья вынесла ребенка, заспанного, с мокрыми от жары волосенками.

— А это Олена Матвеевна. Отца пришла встречать. Не видали таких?

У Матвея перехватило в горле. Комкая цигарку, он протянул обрубки рук к дочери.

Девочка заплакала.

— Ну еще, — рассердилась Марья. — Как отца-то встречаешь?

Она села рядом с ним, горячая, сильная, с обветренным лицом и белой напотевшей шеей. На одной руке ребенок, жадно прильнувший к полной груди, а другой рукой она обнимала мужа. Обнимала и уговаривала:

— Ничего, Матюша, проживем. Санька кончает ученье, и Венька исть не просит (Венька за неделю до выхода отца из больницы уехал в ремесленное), — и у тебя пензия.

Под вечер с бутылкой водки заскочил Ванька-шофер. И тоже утешения. А по поводу двух Матвеевых пальцев, цепко закрючивших граненый стакан, сострил:

— Ну, дядя Мотя, считай, что одну профессию ты уже освоил. С такими крюками, как твои, на нашем фронте, — он кивнул на бутылку, — воевать можно.

Нет, черта лысого! Воевать — так уж воевать по-другому.

Перво-наперво он принялся за дровяной сарай. Гладкие сосновые поленья на растопку — это не трудно. Крюки, оказывается, могут держать не только стакан, а и нож. Затем, поразмыслив, он прибил к топорищу темляки из парусины и попробовал колоть дрова. Неважно, с мозолями, но и это получалось. А что, если и тесать попробовать? Два березовых полоза с позапрошлой осени валялись у него в сарае. Ведь если дело пойдет на лад, его завалят работой. Топор, сблинтив по затвердевшему дереву, распорол опорок...

Марья, увидав кровь, перепугалась насмерть и, сколько он ни доказывал, что это простая оплошность, не унялась, пока он совсем не забросил топор.

Подошла страда. Раньше он мог хоть сбродить к соседям (с тем посмолит за компанию самосада, с другим раздавит маленькую — все дело) или соседи заглянут к нему. А теперь караул кричи — не докричишься. Глушь. Безлюдье. Все на дальних сенокосах. И кажется, один-единственный звук на всю деревню — это Матвей, отлежав бока, скрипит своей деревягой, ковыляя по заулку. И каждый день одно и то же: грязный ребенок, ползающий в песке, да пес, обалдевший от жары. А по вечерам возвращалась с луга Марья и, присев на крыльцо, красная, разгоряченная, с налитыми молоком грудями, начинала жаловаться:

— Ох, уже я передохну. Вся-то я устала, мужик. Когда и страда эта кончится?

Он стискивал зубы, чтобы не раскричаться, не ударить жену. И в эти минуты он люто ненавидел ее. Как она не понимает, что именно этой устали, дела не хватает ему!

Но страда — это еще ничего, терпеть можно. А вот когда пали первые утренники, он взвыл, как подраненный зверь. По утрам на озимях, за деревней, трубили журавли, воздух стонал от утиного крыла. А что творилось в лесу! Пальба с утра до ночи — стрелял и старый и малый. Ванька-шофер, сваливший двух глухарей, потерял голову: «Все! Последнюю осень баранку кручу».

Заехал Сысоев — в черной скрипучей коже, пере-

крещенной ремнями, пухлая полевая сумка, бинокль и совершенно трезвый, — одним словом, по всей форме. Сысоев открывал охотничий сезон. Повздыхал, поразводил руками, косо посматривая на Матвееву деревягу, и укатил ключить договора в верховье Пинеги.

И еще был удар: однажды утром исчез Идол. День-два не было пса, а на третий день пришел искусанный, отощавший, снова похожий на собаку. Пришел, поглядел на своего хозяина, понюхал деревяшку и отвернулся...

Матвей запил.

Марья, опять беременная, проклинала свою судьбу, и он, опухший, с налитыми кровью глазами, подпрыгивая на деревянной ноге, коршуном налетал на нее, — вот где пригодились мослаковатые, стянутые розовыми рубцами культи!

В двадцатых числах сентября у Лысцевых на одной неделе зверь задрал корову и овцу. Черт с ними! Пропади все пропадом. Ежели он, Матвей, подыхает заживо, дак что такое коровешка и овца!

По деревне — всех удивило, как это зверь и в тот, и в другой раз выбрал из всего стада Матвееву скотину, — пошли разговоры: «Лесовик это на Матюгу рассердился. Припомнил, сколько он кровушки на своем веку пролил». Потом газу подбавила набожная старуха Феоктистовна, которая клятвенно уверяла всех: «Видела. Своими глазоньками видела. И страхи чистые! О трех ногах. Как есть оборотень».

Матвею хотелось кричать: «Врешь, старая рухлядь! Никакой не оборотень. Волк — по повадке вижу. И ничего тут особенного нет. Просто попалась зверю моя корова, а второй раз — моя овца. Погодите! Дойдет очередь и до вас».

Очередь снова пала на него. Как-то вышел он рано утром до ветру и вдруг видит: у крыльца с распоротым брюхом лежит Идол.

Суеверный страх напал на Матвея. А что, если и в самом деле зверье мстит ему? У кого еще такое бывало?

Два дня он не пил, не ел. Сидел истуканом. Глаза в землю. Черная ощетиненная голова, как солью, осыпана сединой...

Марья телеграммой вызвала дочь и сына: с отцом худо. Те приехали на последнем пароходе, на всякий

случай прихватили валенки: может, обратно придется возвращаться пешком. И тут их ожидала новая беда: отца нет. Отец пропал.

4

Охотничьи угодья — глухие урочища по суземным речкам, ягодные места вокруг лесных озер и болотин, богатые шишкой ельники — с незапамятных времен закрепились за отдельными семьями. Там, где промышлял отец, промышляет его сын. И упаси бог ступить на чужую тропу, на чужой путик! Знахари нашлют нечистую силу — так закружит в лесу, что не выберешься, а то еще хуже — посадят провинившегося на муравейник.

Последняя война поломала этот неписаный закон. Многие угодья остались без хозяев. А кроме того, в военное лихолетье на Пинеге появились волки — они пришли из тундры вслед за стадами диких оленей.

Матвей Лысцев едва ли не первый из охотников начал петлять по всему району. На триста, на четыреста километров делал заходы. И вся Верхняя Пинега знала его, в каждой деревне у него друзья-приятели. К ним-то, к этим друзьям-приятелям, и махнул Матвей, воспользовавшись подвернувшейся подводой. И перво-наперво, конечно, в Усолье — к своим спасителям. Тогда, зимой, когда случилась с ним беда, именно в Усолье заметили столб пламени, поднявшийся среди ночи у взвоза. И вот, благодаря усольцам, наткнувшимся на него возле догорающего зарода — он был уже без памяти, — Матвей и остался в живых.

Бесшабашно, хмельным угаром задымилась Матвеева жизнь — пропадать, так уж пропадать с треском! Сегодня с одним, завтра с другим, охотничьи разговоры, охотничьи воспоминания — худо-бедно можно дышать.

Но вот что скоро стали замечать люди: едва только заявится в деревню Матвей, как вдруг начинает лютовать зверь. Тут зарежет жеребенка, там залезет в овечий хлев, там прикончит собаку... Опять поползли слухи о каком-то трехногом страшилище-волке, причем добро бы звонили бабы. Иные мужики поддакивали им. А в Заозерье нашлись олухи, которые будто бы даже стреляли в него.

Матвей выходил из себя. Трусы! Сволочи! Распусти-

ли кругом волков и выдумывают черт-те что. Ну-ко, кто убил хоть одного серяка за последний год?

Однажды вечером он допоздна засиделся в чайной. Трещала с похмелья голова. В карманах хоть шаром покати — медяк не звякнет. Зотька Постников, бывший агент заготконторы, выгнанный оттуда за пьянку — шакальной породы человек, — не приходил.

Заведующая чайной, молоденькая девчонка, ретиво исполняющая свои обязанности, уже раза три дотрагивалась пустой стопкой до графина: пора, мол, и совесть знать, торговая точка работает по плану. Но Матвей делал вид, что не слышит этих коммерческих призывов, и продолжал сидеть за столом в темном углу.

Вошли два древних старика, Фотей и Мина. Матвей с надеждой воззрился на них. Может, от них перепадет какая капля! Было время — кто в Заозерье не пил за его счет!

Нет, старые хрычи начали отогреваться чаем.

Слово за слово — и у них разговор про волков.

— Надо быть, к войне, — глубокомысленно прошамкал плешивый Фотей. — Мы с татей-покойничком, бывало, месяц на Устье-Юрове живем. И скажи, маета одна. Ходим, ходим, а нет зверя. А зверь-то это весь к домам выполз. На ерманьскую войну...

— Матю́ги Лысцева не стало — вот что, — возразил Мина.

— Ну, это так, — согласился Фотей. — Был бы Матюша — он бы, зверь-то, чувствовал... Гроза есть...

Так, похоронили, значит. Был Матюга и нет Матюги. А то, что он тут, в двух шагах от них... это не он. Это так, видимость одна. Ветошка. Черт побери, а что же такое он?

Матвей хмуро посмотрел на свои обрубки. Неужели он, Матвей, это только руки? Те восемь пальцев, которые отхватили ему в больнице? Да, все остальное — голова, глаза, сердце — все это чепуха. Так, придача к пальцам... Вот оно как обернулось. Были руки-ноги целы — человек. А теперь каждый сопляк свысока на него смотрит.

Он с силой стукнул культями по столу и встал.

Ночь была морозная, месячная. Только что выпавший снег — сразу на четверть — по-зимнему заскрипел под сапогами.

Куда идти? К прохвосту Зотьке — дом его тут, рядом? Или к Никону Мерзлому? Никон — мужик непьющий и, хоть сдохни, вина не даст. Но и Зоткину рожу видеть сейчас... Матвей пошел к Никону.

Деревяга месила мягкий снег, вязла, скользила по льду на взъемах. Он шел ночной деревней и клял все на свете. Клял подлеца Зотьку, который так бессовестно надул его, клял местные власти, которые ничего лучше не могли придумать, как открыть чайную на краю деревни, и заодно клял Никона — надо же дураку дубоголовому забраться на самое болото!

Наконец он доплелся до ручьевины. У Мерзлых еще не спали — в боковой избе мигал огонек.

Спустившись в ручей, Матвей уже начал было сворачивать с большой дороги на тропинку, ведущую к дому Никона, как вдруг ему почудился какой-то шорох сзади. Он оглянулся. Шагах в десяти от него стоял волк, громадный, с поднятой кверху мордой...

Только на секунду, даже меньше, задержался его взгляд на звере, но он сразу узнал его. Тот самый...

Матвей закричал что есть силы, бросился с палкой на волка. Окольцованная деревяга со звоном скользнула по наледи... А когда он поднялся, вокруг было уже пусто...

Холодный пот прошиб его. Что за чертовщина! Привиделось ему, что ли? Неужто хмелевик начался?

Он прохромыкал на дорогу. Следы, волчьи следы... Широкие петли, залитые синевой, резко выделялись на белой, еще не езженной дороге. Они уходили туда, к старой, заброшенной конюшне, которая громоздко чернела в полях у леса.

На усадьбе Никона с отчаянным воплем металась собака. Сам хозяин раза два кричал с крыльца: «Эй, кто там? Проходи. Чего торчишь?»

Матвей не двигался. Он стоял, как обугленный пень, на высветленной месяцем дороге и не сводил суженных глаз с конюшни. Да, бабы не врали. Волк ходит. Тот самый волк... Но чего он хочет от него, проклятый? Волчья месть? Но разве мало того, что он сожрал у него корову, овцу, пса? Хочет с ним самим разделаться? Так какого лешего медлит? Вот он тут, безоружный калека, рядом с ним был...

И вдруг Матвей понял: он или волк. Жить им вдвоем на земле нельзя.

5

На другой день утром, незадолго до рассвета, Никон Мерзлый подогнал к своему дому косматую, заиндевевшую кобыленку, запряженную в розвальни.

У крыльца его уже поджидал Матвей — в полушубке, в ушанке из мохнатой собачины, на здоровой ноге валенок. Поскрипывая деревягой, он залез в розвальни, лег. Никон положил рядом с ним двустволку, тулуп, берестяную коробку с едой, затем принес связанного по ногам барана, теплого, пахнущего овечьим хлевом, и тоже положил в розвальни. Потом он прикрыл Матвея и барана соломой и выехал со двора.

Старая конюшня, как все конюшни первых колхозных лет, размещалась в гумне. Лошадей было много — безлошадники в северной деревне были наперечет, — где ж и сгуртовать их, как не в гумнах? Теперь от былой конюшни остались стены да несколько тесниц сверху. Все остальное: стойла, настил, двое дощатых ворот — одни на дорогу, другие на поле — давно уже растащили на дрова или приспособили для других надобностей. Пробовали сокрушить и стены — то тут, то там вгрызался в бревна топор, но, видимо, налетчики, действуя на собственный риск, опасались поднимать большой шум, а у колхозных властей тоже руки не дошли прибрать гумно.

Стоя в конюшне чуть ли не по колено в снегу, Матвей минут пять молча и сосредоточенно оглядывал стены, вдоль которых, колеблемые предрассветным ветерком, тихо и сонно шуршали черные будылья чертополоха, смотрел в белесый проем боковых ворот, к которым вплотную подступал запорошенный снегом мелкий кустарник, буйно разросшийся на здешних полях за послевоенные годы. За кустарником темной стеной вырастало чернолесье — и там где-то сейчас отлеживался зверь...

Матвей обернулся к стоявшему сзади Никону, кивнул на старые подсанки, приставленные к придорожной стене:

— Поставь сюда.

Никон поставил подсанки так, как велел Матвей, — вдоль стены, напротив ворот в поле. К среднему вязу подсанок прикрепил веревкой ружье так, чтобы, повернув его, под обстрелом оказались и те ворота, ко-

торые выходят на дорогу, и те, что обращены к чернолесью.

— Н-да, — покачал головой Никон, — охота...

— Давай животину.

Барана привязали на веревку в углу за подсанками, — снегу разгребли, настлали соломы. Бедный баран с перепугу заметался, заблеял, но, получив сено, успокоился.

«Кажется, все как надо, — подумал Матвей. — Въехали в конюшню незаметно. А ежели зверь и следил откуда из кустов — обыкновенная подвода с соломой».

Глухо стукнув деревянной ногой, он лег на солому к прикладу ружья.

Светало. На бледной замети снега, присыпанной махорчатыми семенами чертополоха, отчетливо выступила голубая цепочка горностаевых следов. Заснеженные ветки кустарника торчат, как оленьи рога, и кажется, там, за воротами, сгрудилось оробелое стадо и чутко и настороженно прислушивается к предрассветной тишине.

Никон сказал полушепотом, зябко прикрывая рукой рот:

— Барана смотри не заморозь. А то моя баба... Знаешь...

Ни звука в ответ. Хрустит сено на зубах у барана, да на дороге позвякивает удилами кобыла.

Никон с какой-то непонятной робостью поднял голову к зимнему небу, перекрытому мохнатыми, в белой кухте тесницами, посмотрел еще раз на Матвея, неподвижно лежащего у ружья, нацеленного в холодную хмарь чернолесья, и пошел к лошади.

6

Никон Мерзлый жил как медведь: в будни колхозная работа с утра до вечера, в редкие праздники лежка на своем болоте: либо в избе, либо на сеновале — смотря по погоде. И никаких мужичьих развлечений: ни выпивки, ни курева. А все потому, уверяли люди, что жену его звали Улей-ягодкой. Маленькая, худущая, вечно жалующаяся на болезни, она как оса кружилась вокруг своего мужика-великана: и то не так, и это не так.

Мужики советовали:

— Задай ты ей хоть раз сабантуй — небось сразу придет в чувство.

— А-а, ладно, — отмахивался Никон. — И без того шуму на земле хватает.

И самое большое, на что отваживался он, когда уж совсем невтерпеж становился зуд жены, это ронял два-три слова:

— А-а, отстань, ржавчина...

В тот самый час, когда Никон выезжал с Матвеем со двора, Ульяна доила корову. Барана она хватилась днем.

— Никон, Никон! — ворвалась она с криком в избу. — Барана волк унес.

Никон по случаю воскресенья законно лежал на кровати: босые разлапистые ноги на спинке (мала была старая отцовская кровать для его саженного тела), руки за курчавой головой, а маленькие зеленые глазки в младенческой опуши светлых ресниц нацелены на сук в потолке — верный признак того, что Никон думает.

— Чего лежишь, боров? Кому говорю? — взбеленилась Ульяна. — Барана, говорю, волк унес.

Никон нехотя сел на кровать, почесал за воротом.

— Ты того... может, в углу где недосмотрела...

— Что ты, лешак глупый! Хлев-то не лес, баран не иголка. Я уже знала, не к добру пришел вчера тот пьяница...

В конце концов Никон признался, где баран.

Ульяна, наверно, с минуту, а то и больше таращила на него острые, округлившиеся глаза, а потом ее прорвало, как худую плотину:

— Дуролом! Безмозглая образина! Да где это слыхано, чтобы на волка с бараном ходили! Да тот босяк выманил его, чтобы пропить со своими пьянчугами!

Никон сидел перед женой, как провинившийся школьник, не подымая головы. В том, что Матвей не надул его, он не сомневался. Но, с другой стороны, слова жены немало смутили его, тем более что ему самому не очень серьезной представлялась затея Матвея.

К вечеру даванул мороз. Никон сходил за дровами, затопил маленькую печку.

— Вот как, тепла захотелось! — съязвила Ульяна. — А там-то как? Смотри, лешак, замерзнет тот пьяница — засудят тебя!

Назавтра утром, придя с надворья, Ульяна стала приготовлять пойло.

— Неси, — сказала она мужу. — Баран-то ревом ревет — пить хочет.

— Эка ты, баба... — развел руками Никон. — Да молчаливый-то баран зачем ему? Надо, чтобы зверь чуял.

— Чуял, чуял! Согнал бы со всей деревни собак — еще бы лучше учуял.

Никону нечего было сказать. И в самом деле, почему Матвею не взять было собаку вместо барана? Или на такую приманку, как овца, скорее зверь попадется?

Ульяна взялась за шайку сама — разве сдвинешь с места этого дьявола? — но Никон вдруг с такой силой пнул шайку, что Ульяна вплоть до ужина — первый раз в жизни! — не раскрыла рта.

В тот день Никон не пошел на работу. Лег на кровать — глаза в потолок — и не пошевелился до вечера.

— Может, и жрать разучился? — спросила Ульяна за ужином.

Никон встал, снова затопил печку и сел к огню.

На печи заливалась сонным свистом Ульяна; собака, впущенная на ночь в избу, ворочалась, урчала, выщелкивая зубами блох...

Когда погасли в печке угли, Никон накинул полушубок, вышел на улицу. Мороз все густел. Звездное небо волчьими глазами сторожило закоченевшую землю.

Никон прошел по тропинке на дорогу и долго смотрел на черные — в мглистом сиянии — развалины конюшни. Что там сейчас делается? Жив ли Матвей? Может, замерз уже?

Весь день его неотступно преследовали эти мысли. Ему хотелось броситься в конюшню, разом оборвать эту несуразную затею — ведь нельзя же погибать человеку из-за какого-то волка! Но он хорошо запомнил слова Матвея: «Не приходи, пока не услышишь выстрелов». И еще он запомнил его глаза в ту самую ночь — глаза человека, приговорившего себя к смерти...

Томясь от неизвестности, от сознания собственного бессилия, Никон медленно бродил вокруг своего дома, то и дело поглядывая в сторону конюшни.

Под утро он замерз, зашел обогреться в избу.

Выстрелы один за другим прозвучали на рассвете. Но их не слышали ни сам Никон, спавший сидя на скамейке у печки, ни сладко похрапывающая на печи Ульяна. Только пес вдруг вскочил и громко-громко залаял на всю избу.

7

Утром к дому Никона Мерзлого сбежалась чуть ли не вся деревня: ребятишки, мужики, женки, старики.

Волк лежал посреди заулка на плотно умятом снегу. Он был страшен и сейчас, этот серый разбойник. Клыкастая морда оскалена, седая шерсть торчком стояла на короткой толстой шее. И слухи о хромоногом страшилище тоже имели под собой почву: одна передняя лапа была без подушки.

Но волк был мертв, и его сейчас никто не боялся.

Мальчишки, ухватившись за толстый негнущийся хвост, переворачивали его с боку на бок, тянули за ноги, тыкали пальцами в оскаленную пасть, при этом визгливо вскрикивая и пятясь от страха назад. Но особенно лютовали женки. Они пинали волка ногами, плевали в него, били палками.

— Уу-у, душегуб проклятый! Задрал у меня овцу...

— А где моя телушечка? Где?

— А у нас-то, у нас в позапрошлом году...

— Давай, давай! — подзадоривали женок мужики. — Забыли еще: до войны корова была задрана.

И мертвому волку снова и снова предъявляли счет. Все припомнили: и те злодеяния, которые совершил он, и те жертвы, в которых были повинны его родичи.

Потом, досыта натешившись мертвым зверем, толпа вдруг вспомнила о Матвее.

Матвей тяжелым, мертвым сном спал на печи, укрытый шубами. Но все же голоса, загудевшие под порогом, разбудили его.

— Проснулся?

— Ну, Матюша, крепко ты его подкосил! Эдакий дьявол — страсть!

— Как ты и додумался-то? Герой, герой!

— Талан. От бога, — философски заключил Фэтей. — Мы на днях с Миной сидим в чайной. Вся надежда, говорим, на Матюгу...

— Ульяна, жадина, что ты ему подушки-то хорошей под голову не дашь?

От кровати по рукам пошла красная, в сером пуху подушка, за ней другая.

Матвей, угрюмо прищурив темный глаз, сверху вниз смотрел на разношерстный вал, запрудивший избу. Радостные, сияющие лица, улыбки... Что за народ? Еще вчера все воротили от него нос, шарахались, как от чумы. Переночевать не выпросишься... А сегодня... Что переменилось? Ну, убил он волка... Да разве мало он убивал их раньше? А если бы не убил?

Странные, самому еще не вполне понятные мысли ворочались у него в мозгу. И он сейчас вдруг каким-то новым, обостренным взглядом, взглядом человека, пережившего те две страшные ночи, присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам...

Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зотька Постников, улыбающийся, с красными, разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей.

— Эй, хозяева! Посудину!

— Надо, надо, — раздались одобрительные голоса. — Угости Матвея. Заслужил.

Радужно сверкая, забулькала водка.

Зотька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный, с краями налитый стакан.

— Уйди, червяк! — спокойно сказал Матвей и повернулся на другой бок.

Зотька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкнувшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал:

— Э-эх! Пропал человек...

1962

ПРОЛЕТАЛИ ЛЕБЕДИ

1

Когда у Авдотьи Малаховой заметили брюхо, пересудам, казалось, не будет конца. Как! Это на сорок-то третьем забеременеть? Да что она — с ума сошла? Без зубов, руки и ноги ревматизмом разворо-

чены — да ей впору об инвалидном доме думать, а не рожать... А главное — каким ветром надуло? Неужто это Василий памятку о себе оставил, перед тем как отправиться на тот свет?

Сама Авдотья, по правде говоря, не очень-то прислушивалась к этим пересудам. Пускай стрекочут — на то бабам и язык дан. А вот сумеет ли она благополучно разродиться? Не слишком ли поздно пришло к ней это счастье, о котором она мечтала всю жизнь?

Местная фельдшерица Дина, осмотрев ее, замахала руками:

— Не выдумывай. Поезжай в райбольницу. Может, еще не поздно...

И вот в это нелегкое время нашелся в деревне один человек, который поддержал Авдотью, — Манефа, одинокая гулящая Манефа, года на три моложе ее.

— Рожай, Дуня. Не слушай никого. Им — что? — Она имела в виду баб. — У них лавки ломятся от ребят. А я бы вот хоть какую муку вытерпела, смерть бы приняла... — И, не договорив, расплакалась.

Вскоре Манефа опять заявилась к Авдотье, на этот раз с подарком, который купила в райцентре на базаре.

— Вот, наглядное пособие тебе привезла, — весело сказала она и развернула блестящий лакированный коврик.

На коврике была щедро выписана полная румяная красавица с рыжими распущенными волосами и большими холмообразными грудями, с которых была приспущена нижняя сорочка. Красавица сидела, облокотясь, у раскрытого окна какого-то островерхого терема, похожего на старую заброшенную силосную башню, и томно смотрела вниз. А внизу, на озере, целовались два желтоклювых лебедя.

— Хороша картинка? Есть на что поглядеть? — прищелкнула языком Манефа.

— Да что и говорить. Баско, — согласилась Авдотья.

— Ну раз баско, владей.

И Манефа сама прибила коврик к стене над кроватью — и в сумрачной низкой избе вроде посветлело.

Прощаясь, она сказала:

— Вот поглядывай почаще на эту картину — таких же лебедушек родишь.

— Двух? — поперхнулась Авдотья. — Господь с тобой! Да мне лучше и картинки не надо.

Но картинка осталась на своем месте. И позже, когда Авдотья уже не могла ходить и часами лежала на кровати, она подолгу смотрела на двух желтоклювых целующихся лебедей.

А что ей еще оставалось делать? Шить в руках у нее не держалось, ее замучили головные боли, бабы все на работе, Манефа тоже из виду пропала — опять, говорят, утянулась в город за каким-то хахалем, а разглядывать картинку все-таки было развлечением.

И в конце концов все вышло так, как предсказала беспутная Манефа: Авдотья, к всеобщему удивлению, родила двойню — девочку и мальчика.

Девочку назвали многообещающим именем Надежда. Хорошая подмога будет матери: крепкая, голосистая — с улицы слышно, как орет. Ну, а над именем мальчика и раздумывать было нечего: синюшный, как ни назови, все равно помрет. Это был общий приговор всех соседок, собравшихся на крестины. И потому, когда под окошком закачался знакомый облезлый заячий треух Паньки-пастуха, здорового придурковатого мужчины, кто-то спохватившись, сказал (надо же было все-таки назвать как-то ребенка, хотя бы для того, чтобы записать в сельсоветской книге):

— А вот Паисий идет. Чем не имя?

Так и назвали мальчика по имени придурковатого пастуха Паньки.

2

За четыре года Авдотья извелась начисто — совсем старухой стала. И все, конечно, из-за Паньки, потому что сил не было смотреть на ребенка. Голова большущая, лопоухая, а тельце хилое-хилое, каждое ребрышко наперечет. И все лежит, все лежит — никак не может оторвать свою голову от подушки.

— Панюшка, скажи-ко, родимый, что у тебя болит?

Вздрогнет Панюшка, откроет беззубый рот, а через минуту, смотришь, опять глаза закатил — как будто он все время к чему-то прислушивается. Только уши одни и живут. Торчком стоят.

— Умрет, видно, у нас Панька-то, — сказала однажды Авдотья дочери.

Надька в слезы, в крик и до того зашлась — насилу успокоила мать.

— Не умрет, не умрет твой Панька — водись только хорошенько.

И верно, с того дня не отгонишь Надьку от брата. Кличет, часами разговаривает, тормошит так и эдак: вставай, вставай, Панька. А спать ложится — горе: надо непременно с Панькой, да еще в обнимку — не потерялось бы это золото во сне.

И что бы вы думали? Была ли, нет какая польза от Надькиных стараний, а ребенок-то ведь начал оживать: и ручками, и ножками задвигал, и голову от подушки оторвал, а потом настал такой день — и на ноги встал.

Ох, уж этот-то день запомнила Авдотья!

Было это в троицу, как раз в ту пору, когда в деревне начинают первые веники резать. Ну и Авдотья не захотела отставать от людей. Утром сходила в лес за прутьем, а днем, управившись на скотном дворе, села вязать веники.

Тепло. Солнышко так славно припекает, ласточки разыгрались — под самым носом шныряют. А на озере-то шуму и гаму! (Дом Авдотьи стоял возле небольшого озерка, и ребятишки с ранней весны до поздней осени не вылезали из воды.)

Да, сидела вот так Авдотья на крыльце — бездумно, с коленями зарывшись в пахучий березовый лист, сидела, вязала веники — и вдруг крики:

— Смотрите, смотрите! Бегемотик идет!

Она живехонько обернулась и — боже ты мой! Панька-то, Панька-то у нее — на ногах! Головенка белая качается, сам весь качается — как одуванчик, выгибается под ветром, а ухватики свои все заносит, заносит — ковыляет к зеленому бережку.

Ребятишки повыскакивали из воды — и для них чудо немалое (все любили Паньку):

— Давай, давай, Бегемотик!

Но тут вырвалась вперед Надька, и она купалась в озере, схватила брата в охапку и кошкой на ребят:

— Не дам! Не дам Паньку! Мой Панька! Мой!

— Надеха! Надеха, глупая! — закричала Авдотья. — Не съедят твоего Паньку. Дай ты ему с ребятами-то поиграть.

Куда там! Надеха распалилась — близко никто не подходи: «Мой! Мой!» — да и только.

«Ну и характер у девки! — подивилась Авдотья. — И в кого она такая единоличница? Отец, бывало, последнюю рубаху готов отдать, сама она тоже завсегда всем делилась с бабами...» Но затем, поразмыслив, она успокоилась. Может, это и к лучшему, что Надька так привязана к своему брату. А что? Случись с ней, с матерью, что-нибудь, — на кого он обопрется в жизни?

3

К шести годам Надька выросла на загляденье. Краснощекая, зубы во весь рот, и вся как на пружинах — ни минутки не посидит на месте.

А уж сметливая, работящая! И все-то она знает, все примечает: и кто у кого родился, и кто куда пошел, и что в магазине дают. И дома пол подметет, и посуду вымоет, и самовар в грозу закутает — взрослый не всяк догадается.

И часто-часто, любуясь дочерью, Авдотья со вздохом переводила взгляд на сына. Нет, не то тревожило ее, что мальчик рос хилым да слабым. В конце концов, рассуждала она, нынче не старое время. Хлеб рукам не дается — головой добывают. А вот что за голова у этого ребенка? Почему у него все навыворот?

Купила как-то Авдотья коробку цветных карандашей да бумаги.

— Нате, ребята, рисуйте. Привыкайте к ученью смала.

Надька — глаза загорелись — сразу за стол.

— Чего, мама, нарисовать?

— Чего-чего. Чего увидите, то и рисуйте. Вон хоть корову Матренину — видите, хвост задрала, по огороду бегает.

Надька взглянула в окошко, раз-раз — и нарисовала: дом с трубой, из трубы дым валит, а у дома корова — как полагается, с рогами, с хвостом.

— Так, мама?

— Так, наверно, — сказала Авдотья уклончиво. — Не больно-то много понимает твоя мама. Три зимы в школу ходила.

Затем она подошла к сыну: ну-ко, Панька, старанья много — сидишь, сопишь, карандаш слюнявишь — что у тебя?

Взглянула — и хоть плачь, хоть смейся: корова не корова, жук не жук, шесть ног торчит.

— Что ты, глупый! Сколько у коровы-то ног? Разве шесть?

— Так ведь она это бежит, — сказал Панька.

— Бежит, бежит, — передразнила Надька брата.— Ноги-то на бегу не растут, да, мама?

В другой раз послала Авдотья сына за травой. Надька в ту пору как на грех ногу гвоздем рассадила, а овца ревмя ревет в хлеву — только что объягнилась. И самой некогда — с мытьем разобралась.

— Давай-ко, Панька, выручай мать да сестру. Надо и тебе к работе привыкать.

Вот ушел Паисий за травой. Час ходит, два ходит — куда девался парень? Авдотья все бросила, побежала разыскивать. А Паисий, оказывается, дошел до первого куста, птичку какую-то увидел, да и все — и трава, и дом — все из головы вылетело. Забыл, зачем и пошел.

И таких случаев Авдотья могла бы порассказать немало. Но она, конечно, помалкивала. Какая же мать будет выставлять свое детище на позор! Придет время — люди еще насмеются.

4

Весна в том году пала ранняя, дружная — снег сошел за одну неделю, и в озере вода стала прибывать не по дням, а по часам. Правда, само по себе это мало кого беспокоило: озеро не река. Ну, а вдруг на помощь к озеру да река придет? Что тогда? Ведь за озером, в низине, все богатство колхозное: скотные дворы. И потому, не ожидая, когда начнет показывать свой норов река, решили с заречной стороны соорудить заплот.

Народу собралось людно. Весело работать всем миром. Телеги, тачки. Детвора, как мураши, разбрелась по свежему песку. И вот под вечер, когда уже кончали насыпь, вдруг кто-то закричал:

— Лебеди, лебеди летят!

Где, какие лебеди? Это ведь в старину лебеди запросто летали, а сейчас разве только на картинках увидишь. Может, оттого и развелись эти коврики с лебедями чуть не в каждом доме?

А в вечернем небе и в самом деле пролетали лебеди. Высоко-высоко забрались лебедушки. Как две лодочки белые качаются в синем раздолье. А как стали

к лесу-то приближаться, клич дали: принимай, земля. Целый день крыльями машем, пора и нам отдохнуть. И потянули, потянули к дремучему ельнику, туда, к Лебяжьим озерам, где кумачом разливалась заря.

— Ну, редкие гости прибыли. Что-то они принесли, — заговорили люди, когда лебеди скрылись за лесом.

— Надо быть, к холодам, — сказал старик Зосима. — Раньше так бывало: снег с лебединых крыльев сыпался.

К старому человеку как не прислушаться — и пока шли домой, только и думали-гадали: надолго ли зазимок? Сколько еще скотину взаперти держать?

За этим невеселым разговором (у кого весной с кормом не поджимает?) Авдотья и позабыла про Паньку. Все время парня держала на глазах, а тут стали к крыльцу подходить — одна Надеха за руку держится. Эту хлебом не корми, а дай послушать, что говорят взрослые.

— Тетеря глупая, где парень-то?

— Панька, Панька! — закричала Надька.

Она ревела, плакала навзрыд: никогда в жизни еще такого не было, чтобы Панька от нее хоть на шаг отстал — все вместе. Но тогда, в первые минуты, Авдотье было не до жалости, и она готова была прибить эту разиню. А ну что с парнем случилось? Кругом вода — вешница, — долго ли до беды?

Авдотья сломя голову кинулась к насыпи.

— Паня, Паня...

И слава тебе господи, беду на этот раз пронесло! Стоит Панька на насыпи, как Иванушко-дурачок стоит. Кругом темень собирается, солнце уже село, вода внизу ярится (вышла река из берегов!) — взрослому не по себе. А он стоит, как к земле прилип. Ушанка на макушку съехала, сам как пенек маленький на ровном месте, и только личико белеет в потемках.

На что же это он так засмотрелся? Чем заворожил его этот красный лоскут зари над черным ельником, что он и глаз оторвать от него не может? Разве не видал он зари?

Боже ж ты мой, вдруг догадалась Авдотья, да ведь это он по лебедям сохнет. Их высматривает. И как она сразу не догадалась! Парень и раньше-то был помешан на птичках («Надя, постой, птичка села»; «Мама, подо-

жди, птичка вон»), а тут — подумать только! — лебедей живых увидел.

— Панюшка, Панюшка, — стала уговаривать Авдотья, — пойдем, родимый. Лебеди давно пролетели, а ты все стоишь. Разве можно так?

Ручонки холодные, штаны мокрые, под носом светит, а сколько бы еще стоял вот так на насыпи, ежели б не мать?

5

Вечером в тот день поужинали, попили чаю — все честь по чести, потом легли спать. Спали на полу. Кровать всех троих не умещала, а спать по отдельности дети не хотели, да и самой Авдотье как-то поспокойнее было, когда они были под боком.

Вот легли спать. Надька за день убегалась — как в воду нырнула. Хоть за ноги на улицу вытаскивай — не проснется. А Панька не спит. Лежит, затаился, как мышонок, меж сестрой и матерью, а не спит — Авдотья по дыханию чует.

— Панька, ты не замерз? Залез бы на печь.

Молчок.

— Ну раз не замерз, спи. Завтра рано вставать, на скотный двор пойдем.

— Мама, — вдруг услыхала она под самым ухом, — а куда они полетели?

— О господи, все-то на уме у него эти лебеди! — Авдотья широко зевнула (она уже засыпала), повернулась к сыну.

Лежит — и глаза настежь. Может, луна ему заснуть не дает?

Она встала, занавесила окошко шалью.

— Спи. Ночью-то спать надо, а не разговоры разговаривать. Глаза-то закрой, и я закрою — скорее заснем.

— Мама, а где они делают гнезда?

Нет, видно, не отступится, пока не расскажешь.

— На озерах. Раньше-то они тут, говорят, на Лебяжьих озерах гнездовали. А сейчас, наверно, передохнут за ночь да дальше полетят.

— Да-альше? А почему?

— Полетят-то почему? Да они, может, и рады бы остаться — крылья-то у них не железные, намахаешься целыми-то днями махать, да житье-то для них больно худое стало. Лес вырублен, люди кругом.

— А они людей не любят?

— Чудной ты, Панька! Воробей дурак и тот — фыр-фыр, а то ведь лебеди. Ладно, спи теперь.

— Мама, а ты видела их на озерах?

— Лебедей-то? — Авдотья задумалась, вздохнула. — Раз видела. Я еще девчушкой тогда была. Отец — твой-то дедушко — за клюквой повел меня. Рано вышли из дому. Я иду, глаза слипаются, как в потемках бреду. А дедушко вдруг остановился, за рукав тянет: «Дуня, Дуня, смотри-ко, вон-то что». Я попервости со сна-то думаю — льдина белая по озеру плывет. Примелькалось бело-то еще дорогой. Во́дяно было. Там снег под елью, тут снег. А они, лебеди-то, как увидали нас, всполошились, закричали, крыльями по воде забили, а потом как поднялись да прямо к солнышку. А солнышко об ту пору, как я же, только еще просыпалось, из-за елей выглядывало. Баско, красиво было, — закончила нараспев Авдотья и опять зевнула.

Панька вздохнул.

— Ладно, давай не вздыхай. Вырастешь — увидишь. Никифор-охотник говорит: каждую весну видаю.

— Мама, — опять спросил немного погодя Панька, — а эти озера, где ты была с дедушкой, далеко?

— Да нет, недалеко. Гумно-то старое за скотным двором знаешь? Ну дак от того гумна три версты считается. Дорога все лесом-лесом, по холмикам да по веретейкам. Грибные, ягодные места. Вот уже лета дождемся — пойдем. И Надьку, и тебя возьму.

Авдотья подтянула к груди одеяло, поправила бумазейный плат на голове — худая, застуженная у нее была голова, и она всегда спала в платке.

— Спишь, Панька?.. Ну и ладно, спи, — сказала она, не дождавшись ответа.

Затем осторожно, чтобы не потревожить сына, расправила ноющие в коленях ноги — на погоду, видно, разболелись.

Ну, слава богу, утихомирился.

И это было последнее, что она могла припомнить потом, вспоминая этот вечер.

6

Паньки хватились утром, а нашли только вечером. А между утром и вечером был день, длинный угарный день, насквозь прореванный и проплаканный Авдотьей и Надькой.

Они звали Паньку в два голоса.

— Паня, Паня, иди домой, — голосила со своего крыльца Надька.

А в это время с тем же истошным криком металась по лесным дорогам Авдотья.

За ночь резко похолодало, задул сиверко, ельник расшумелся-разохался. Она кричит: «Паня, Па-а-анюушка». А ей в ответ: «У-у... у-у-у...»

И ни единого следочка на дорогах. Земля затвердела, как камень.

Авдотья сбегала до Лебяжьих озер — нету, проколесила наполовину Болотницу (не одна дорога зачинается за старым гумном) — тоже не видать. И снова, в который раз, вышла к старому гумну.

Нет, видно, надо подымать народ, одной не найти, — подумала она и вдруг увидела пастуха Паисия.

Паисий, громыхая топором, разбирал на дрова развалины старого гумна.

Авдотья горько расплакалась. Этот немтун-горемыка был страшно привязан к Паньке. Он, как дитя малое, обрадовался, когда узнал, что в деревне появился второй Панька, и уж не жалел для него ни рук, ни ног. И зайца живого в лесу поймает, и ягоду первую принесет, и игрушки разные мастерит... Кажется, не было такого дня, чтобы Паисий, возвращаясь с поскотины, не принес бы для ребенка какую-нибудь дудочку, берестяной шаркунок или коробочку.

— Что же ты, Паисьюшко, топором-то машешь? — заговорила, захлебываясь слезами, Авдотья. — Где у тебя тезка-то?

Паисий выкатил свои светлые кругляши, заулыбался, дурак.

— Пень бестолковый! — рассердилась Авдотья. — Разве улыбаться надо? Панька-то, говорю, где? Пропал Панька-то, ночью в лес ушел. Может, где сидит сейчас под деревом, замерзает, а ты зубы скалишь.

И спасибо Паисию. Нашел-таки немтун Паньку. Сколько раз пробегала она мимо озерины, разлившейся между Болотницей и Озерной, и не догадалась туда свернуть, а ребенок-то, оказывается, сидел там, под елью, в какой-нибудь версте от гумна.

Панька был в бреду. Его раздели, растерли спиртом, укрыли всеми одеялами, какие были в доме. И он лежал под одеялами, тяжело, открытым ртом дыша, весь горячечно-красный.

— Паня, Паня, не умирай, — охрипшим голосом умоляла его Надька.

И один раз, казалось, Панька приходит в себя.

— Надя, Надя, я их видел...

А потом снова удушье. Мутные, налитые жаром глаза его стали закатываться под лоб.

Авдотья пала на колени, протянула руки к скорбному лику богородицы, тускло мерцающему в переднем углу.

— Царица небесная, яви чудо. Это я, я завела ребенка в лес. Сама ему дорогу указала.

Но чуда не произошло. Под утро, на рассвете, Панька умер.

7

Жизнь маленького Паньки, как весенний ручеек, прошелестела по деревенской улице. А велик ли след оставляет весенний ручеек? У кого удержится в памяти? И Паньку забыли, забыли чуть ли не на другой же день после похорон.

Снова вспомнили о Паньке через три месяца, когда умерла Надька...

Нет, не то поразило всех, что за малое время смерть второй раз заглянула в Авдотьину избу — для этой старухи дороги не заказаны. Поразило всех другое — непонятная, загадочная болезнь ребенка. Девка здоровущая, краснощекая, язык, как колокол, подвешен — кому и жить, как не ей! А она, как схоронили братца (будь он не к вечеру помянут, заморыш), начала сохнуть-сохнуть, и ни врачи (из района привозили), ни старухи знающие — никто не мог помочь. Так и засохла, как травинка при дороге.

Вот об этом-то больше всего и было разговоров в день похорон. Что за болезнь у ребенка? Какая такая немочь источила девку? Тоска по брату? Верно, замечали, и Авдотья жаловалась: тоскует девочка. Кажинный день сидит у окна и все смотрит-смотрит на улицу, а потом и заговариваться стала: «Паня, Паня, иди домой».

Да, может быть, и тоска — знакома людям эта сухотка. А все-таки плохо верилось, чтобы в ее-то годы да умирали от тоски.

1963—1964

МОГИЛА НА КРУТОЯРЕ

1

Помню деревенское кладбище в жарком сосняке за деревней. Помню мать, судорожно обхватившую песчаный холмик с зеленой щетинкой ячменя. Помню покосившийся деревянный столбик с позеленевшим медным распятием и тремя косыми крестами, которыми мой неграмотный отец обозначил свои земные дела и дороги.

И, однако, не эта, не отцовская могила видится мне, когда я оглядываюсь назад.

Та могила совсем другая.

Красный деревянный столб, красная деревянная звезда, черные буквы по красному:

БЕЛОУСОВ АРХИП МАРТЫНОВИЧ,

Ты одна из жертв капитала!
Спи спокойно, наш друг и товарищ.

Сколько лет прошло с тех пор, как я впервые прочел эти слова, а они и сейчас торжественным гулом отзываются в моем сердце. И перед глазами встают праздники, те незабываемые красные дни, когда вся деревня — и стар и мал — единой сбитой колонной устремлялась к братской могиле на крутояре за церковью. По мокрому снегу, по лужам, спотыкаясь и падая на узкой тропе. И во главе этой колонны — мы, пионерия, полураздетая, вскормленная на тощих харчах первых пятилеток.

Но кто из нас посмел бы застонать, захныкать! Замри, стисни зубы! Ты ведь держишь экзамен. Экзамен на мужество и верность. Самый важный экзамен в твоей маленькой жизни...

Речь на могиле держал старый партизан.

Коряво, нескладно говорил. И я ничего не помню сейчас, кроме выкриков: «Смерть буржуазной гидре!», «Да здравствует мировой пожар Октября!» Но тогда... Как будоражили тогда эти выкрики ребячью душу!

Не было солнца, валил мокрый снег или хлестал дождь — в наших местах редко бывает тепло в октябрьские и майские праздники, — а мы стояли не шелохнувшись. Мы стояли обнажив головы. Как взрослые. И мы не замечали ни мокрого снега, ни дождя. Нам сияло свое солнце — красная могила, осененная приспущенными знаменами. Не нынешними — пышными бархатными полотнищами, расшитыми сверкающим золотом, а теми за-

бытыми — узенькими полосками дешевого красного ситца, прикрепленными к некрашеному древку.

Митинг завершался пением «Интернационала». А после «Интернационала» самое восхитительное для нас, ребят, — салют. Салют из дробовиков и наганов.

И, вздрагивая от грохота, всматриваясь восторженными глазами в распластавшийся дым над головами, мы, казалось, воочию переносились в те далекие вихревые годы, вместе с Архипом Белоусовым скакали в атаку...

Дома, едва переступив порог, я залезал на печь.

В щелях потрескивали тараканы. Ругалась мать, укрывая меня овчинным полушубком и растирая мои заледеневшие ноги. Но я был счастлив. Во мне звучала музыка революции. И мысленно я видел Архипа Белоусова, не живого и не мертвого, а эдакого былинного богатыря, на время заснувшего в своей могиле. И весь он с головы до пят покрыт знаменами, и красное сияние исходит от тех знамен, бьет мне в глаза...

2

Долго, годы и годы не был я в родных местах. И позади у меня пол-Европы, исхоженной в солдатских сапогах. И казалось бы, что могло уцелеть во мне от того наивного и восторженного юнца, каким я отправлялся когда-то в большую жизнь из нашей лесной глухомани!

А помню, когда стал подходить к могиле на крутояре, я, как прежде, замедлил шаг. И, как прежде, сухая и горячая волна перехватила мне горло...

Сосны на крутояре разрослись. Деревянная оградка почернела. Но где же звезда? Почему я не вижу красной звезды?

Я подошел поближе к могиле, и сердце у меня упало.

Торчит порыжевший столбик над плоским холмиком, похожий на обрубок соснового ствола, а звезды нет. Звезда приставлена к подножию столбика, и черные буквы уже не прочитать.

Я обошел оградку. Деревянные рейки кое-где сорваны с гвоздей, изрезаны буквами, и в одном месте была даже надпись, вычерченная гвоздем: «Володя+Надя»...

Из-за сосен слева, там, где виднелась начальная школа, шумно выскочили два босоногих мальчугана с деревянными автоматами у живота, бросили подозри-

тельный взгляд на меня и построчили и дальше. А на могилу Архипа Белоусова даже и не взглянули...

Вечером я пошел в сельсовет — днем он по случаю страды был закрыт.

Председательница, уже немолодая, целый день проработавшая на лугу баба — от нее так и несло жаром, — сперва не поняла меня. О чем это я так разоряюсь? О могиле? Да до покойников ли сейчас, когда чуть ли не из каждого окошка война зубы скалит? Потом помолчала и, вздохнув, сказала:

— Да и не больно-то нынче ходим на крутояр. Это, бывало, как праздник, дак всем скопом к Архипу Белоусову, а нынче — нет, не ходим.

— Почему?

— А дорога-то туда, забыл, какая? Снегом да водой брести надо. Половина деревни гриппом переболеет. А народишко-то нынче и без гриппа качает. Да ежели правду говорить, — высказала еще одно соображение председательница, — и ораторов-то подходящих у нас нету. Много ли у нас политически-то подкованных красных партизан? Тут который год доверили Егору Ивановичу — слезой изошел. Всех расстроил. А настоящий момент не осветил. И правильно указал нам райком, — вдруг самокритично и в то же время назидательно, как бы цитируя решение райкома, закончила председательница, — нельзя революционные праздники превращать в панихиду...

Мне очень хотелось заново водрузить красную звезду на нашем крутояре, но где взять плотника? Шла третья послевоенная страда. На весь колхоз, как горько шутили, было три с половиной мужика. И единственно, что я тогда сделал, это кое-как приладил старую звезду к столбу да очистил холмик от хлама.

Года через два после этого, когда я второй раз приехал на родину, могила была приведена в порядок. Но как?

Звезды не было вовсе. Стоял синий приземистый столб, а на столбе доска, тоже синяя, и надпись белилами:

На сем месте погребен красный партизан
Белоусов Архип Мартынович.
Спи спокойно, дядя, мы тебя не забудем

Мне не надо было спрашивать, кто это сделал. Феоктист, племянник Архипа Белоусова, которому когда-то

отчаянно завидовала вся наша школа. Ведь в праздники этот самый Феоктист имел право стоять в оградке, в святая святых, держа в руках приспущенное над могилой школьное знамя, в то время как мы, его товарищи, за счастье почитали, если нам удавалось пробиться к оградке.

«Да что с ним произошло? — спрашивал я себя. — Да как он, сукин сын, мог так надругаться над дорогой могилой?»

За звезду я его не винил — не у всякого держится в руках топор. Но почему он заменил старую крылатую надпись? Неужели он мог забыть ее? А этот синий мертвящий цвет... Красной краски не оказалось под рукой?

В деревне Феоктиста не было, он жил и работал на лесопункте, и кого же я мог «взять за жабры», как не председательницу сельсовета, все ту же старую знакомую, усталую, вконец заезженную бабу, которая и на этот раз принимала вечером, после работы на поле.

По въевшейся за эти годы привычке она начала было с самокритических признаний, едва я раскрыл рот.

— Есть, есть у нас недостатки... Имеются... — закивала она головой, придавая своему лицу очень серьезное выражение. Потом вдруг взглянула на меня быстрым проницательным взглядом и, верно, признав наконец, кто сидит перед ней, улыбнулась просто, по-бабьи: — Да что же это я, батюшко, все недостатки да недостатки... У нас ведь нынче с этими партизанскими могилами слава богу. Каменные памятники скоро будут. Да, да, как в городе. Объявляли весной на районной сессии: в области заведенье такое открывают. Чтобы для всех районов наделать...

Это было в сорок девятом году, в июле месяце. А каменный памятник на нашем крутояре появился в июне шестидесятого. Через одиннадцать лет. И председательницы сельсовета к тому времени уже не было в живых...

3

Первый каменный памятник, который я увидел в нашем лесном краю, меня не очень обрадовал. Уж больно неказист и невзрачен. Пирамидка низенькая, меньше чем в человеческий рост, и — главное — из какого материала? Из серого цемента с мраморной крошкой. В общем, из того самого материала, из которого в ту

пору начали отливать для новых городских домов лестничные марши и площадки.

Но председатель райисполкома, с которым я ехал в машине, решительно не согласился со мной.

— Материал крепкий. На века! — сказал он уверенно.

Настроение у председателя было отличное. Дела в районе шли неплохо, сам он был здоров и на хорошем счету у областного начальства, и ежели и раздражало что его в эти минуты, так это разве шляпа, теплая велюровая шляпа, которую он постоянно снимал со своей гладко выбритой головы. Шляпы в то время еще только входили в моду у районного начальства, и председатель, всю жизнь проносивший полувоенную фуражку цвета хаки, не без труда осваивал новый головной убор.

— Прошлое надо уважать, — говорил мне председатель. — Вот от этих самых героев ведем родословную. — И при этом не преминул подчеркнуть, что кампания по упорядочению партизанских могил — он так и выразился — в его районе завершена раньше, чем у соседей.

Я молчал. Я слушал председателя, смотрел на его оживленное вспотевшее лицо и со страхом думал: неужели на других могилах увижу то же самое?

Увы, мои опасения оправдались.

Мы проезжали одну деревню за другой — большие, средние, маленькие — и везде, решительно везде стояли одинаковые пирамидки из серого цемента с белой крапиной. Низенькие, безликие и унылые. Как верстовые столбы на благоустроенной шоссейной дороге. Наш крутояр, конечно, тоже не был исключением. Его будто обезглавили.

Бывало, с какой стороны ни подходишь к деревне, откуда на нее ни глядишь, а уж красную звезду заметишь. Ее не минуешь глазом. А сейчас — пусто, голо на крутояре, и серую верхушку каменной пирамидки, чуть-чуть возвышающуюся над деревянной оградкой, я начал различать только тогда, когда поднялся на крутояр.

Целое кладбище выросло за эти годы на нашем крутояре. Антон Аншуков, Тихон Аверин, Павел Быстряев, Ефим Мерзлый, Кузьма Федоров...

Всех этих партизан я знал с детства. И были они, как мне казалось, не лучше и не хуже других мужиков. Такие же земные и грешные: работать так работать, гулять так гулять. И не потому ли сейчас, оглядывая их

могилы, простые песчаные бугорки, густо засеянные рыжей, нападавшей с сосен хвоей, я не испытывал того восторга и трепета, который всякий раз охватывал меня, когда я стоял перед могилой Архипа Белоусова?

Медленно и бесшумно ступая по выстланной дерном дорожке, я подошел к ограде, открыл калитку.

Что такое? Где могила Архипа Белоусова?

Шесть фамилий выбито на лицевой стороне пирамидки, и только третьей среди них, совсем затерявшись в этом списке, — фамилия Белоусова...

Все так же, как в далеком-далеком детстве, за соснами полыхал багряный закат — казалось, сама вселенная склонила свои знамена над нашим крутояром, а могилы Архипа Белоусова не было. На месте ее торчал серый, унылый столбик, точь-в-точь такой же, как на десятках других могил.

И я смотрел на багровый закат, смотрел на этот столбик, густо исписанный ровными подслеповатыми буквами, и чувствовал себя так, будто меня обокрали.

4

В деревне оставался последний красный партизан — Лазарь Павлович Подшивалов. Человек по нашим местам знаменитый: в гражданскую войну был уездным комиссаром.

Я на всю жизнь запомнил тот день, когда Лазарь Павлович приезжал к нам в деревню. Был какой-то праздник — не то богородица, не то Петров день — и мы, мальчишки, с утра дежурили у дома его брата.

— Тише, тише! Сейчас выйдет!

И вот он вышел, молодцеватый, сверкающий, весь в кожаных поскрипывающих ремнях. А на груди у него — за бои с Юденичем — орден Красного Знамени с красным бантом.

И мы, мальчишки, первый раз видевшие орден, завороженными глазами смотрели на него.

А потом Лазарь Павлович играл с мужиками в рюхи. Палки были огромные, с хороший чурак, и вся деревня, собравшись поглядеть на редкого гостя, дивилась его силе и ловкости.

И еще я запомнил, как провожали Лазаря Павловича. По улице мчалась, словно выкованная из красной меди, пара рослых лошадей, а мы, мальчишки, неслись сзади в пыли, падали, вскакивали и снова бежали.

С тех пор я больше не видел Подшивалова. Он жил в краевом центре, занимал видную должность, потом работал в Москве, на новостройках, потом долгие годы о нем ничего не было слышно...

И вот сидит сейчас передо мной одинокий старик, приехавший умирать на родину. Последний красный партизан в нашей деревне.

Меня поразила скромность и даже убогость его жилья. Стол накрыт газетой, деревянная койка застлана серым солдатским одеялом. Как будто тут были все еще двадцатые годы. И портрет Ленина на передней стене — известная фотография вождя, читающего газету, — был украшен тоже в духе того времени — двумя еловыми ветками, перевитыми красной ленточкой.

Ветки были зеленые, свежие, от них хорошо пахло смолой, и передо мною сразу же воскресли наши далекие красные праздники, и я без всяких предисловий заговорил о том, что меня мучило. Я так и сказал:

— Лазарь Павлович, что же это с могилой-то Архипа Белоусова сделали?

— А что? По-моему, неплохо. Был я недавно.

— Неплохо? Ну, знаете, свалить в одну общую кучу со всеми!.. — И тут я стал запальчиво говорить о том, что значила для меня, для моего поколения могила Архипа Белоусова.

Лазарь Павлович спокойно выслушал меня, сказал:

— Зря вы так. Зря. Ведь и те пятеро, которые нынче с ним, тоже проливали свою кровь за Советскую власть.

Я был согласен: историческую справедливость восстановить надо, тут я, что называется, обеими руками «за». Но разве это дело, что список красных партизан, выбитый на пирамидке, возглавляет Антон Аншуков? Неужели Лазарь Павлович не знает, в каких отношениях с зеленым змием был этот человек?

— Ну, насчет того, что Антон Аншуков правофланговым на памятнике оказался, я думаю, это правильно, — сказал Лазарь Павлович. — Он в те годы тоже на правом фланге был. Помню, раз послали его за языком в тыл к белым, в родную деревню, так он что сделал? Отца своего, старика, привел, потому что ни одного мужчины в деревне не было, кроме отца, — все в лес убежали. Да, вот такой был этот Аншуков. А это он уж после на других поворотах забуксовал...

— Но при чем же здесь Архип Белоусов?

Лазарь Павлович снисходительно посмотрел на меня, улыбнулся:

— А при том, что Архип тоже человек был. И человек не шибко грамотный. Помню, за винтовку в ведомости расписаться надо, что, думаешь, поставил Архип? Крест. Вот и толкуй после этого, как бы он повел себя дальше в жизни — на крутых подъемах и перевалах. Подростком, мальчиком, можно сказать, погиб...

Я во все глаза смотрел на старика. Архип Белоусов — мальчик? Да еще неграмотный?

Лазарь Павлович смахнул с глаза слезу и стал рассказывать, как он, тогдашний военком, отправлял Архипа на войну.

— Зима была, стужа лютая, а он, гляжу, в старом полушубочке, в валенках стоптанных, с чужой ноги. Своих-то парень еще и не нашивал — худо жили, вечно в нужде. И только всего и нового на нем, что красный лоскут на папахе. Партизан. Доброволец. Вот, думаю, за Советскую власть парень идет помирать, а нам и обуть и одеть его не во что... Ну, у меня перчатки теплые были, кожаные, снял с руки, отдал. Так уж он радовался! Рукава у полушубка длинные — нарочно закатал, чтобы все видели евонные перчатки... Да только мало поносил. Через неделю привезли обратно. Мертвого. Лежит на санях в том же полушубчонке, в тех же валенках с заплатами. Смерзся, посинел, маленький, как ребенок. Только по волосам и признаешь — светлые, хмелиной вились. И тоже обмерзли, заиндевели. Как будто поседел он...

Лазарь Павлович после этого долго и старательно откашливался.

В окна глухо постукивал косой дождь. Темные дорожки бежали по верхним незанавешенным стеклам, и лицо у старика тоже было мокрое.

Я тихонько встал и вышел на улицу.

На деревне было темно, как в глухую осеннюю ночь. Ни одного огонька не было в окнах: видимо, всех сегодня ненастье застало врасплох.

Я брел в темноте по мокрой дороге, оступался, залезал в лужи и все пытался представить себе Архипа Белоусова таким, каким он был в жизни.

Дождь не утихал. На открытых местах выл и свистел ветер.

В такую непогодь я любил, бывало, стоять под соснами у партизанской могилы. Сосны шумели, охали и

стонали. А мне все казалось, что это стонет и охает Архип Белоусов, у которого разболелись в ненастье старые раны.

И когда впереди, в бледных вспышках молний, верблюжьим силуэтом обозначилась старая церковь, я машинально, по давней привычке, свернул с дороги и зашагал к крутояру...

1963—1968

ДЕЛА РОССИЙСКИЕ...

1

Ох, уж эта медвежья охота! Ведь, кажется, заранее знаешь: опять ни черта не выйдет, опять только зря ноги намнешь... А все равно: услыхал про медведя — и где твои зароки?

На этот раз получилось так. Познакомили меня с Капшиным, директором районного Дома культуры, а в кабинете у него, перед столом, — косматая шкура, хвастливо выставленная напоказ. Где, кто убил? Сам. На овсах.

На овсах? В поле? Я знал, как обкладывают медведя в берлоге, знал, как ставят на него капканы и петли из железного троса, темными осенними ночами мне раза два приходилось подстерегать этого хищника в поскотине у задранной коровы, но охота на овсах... Нет, такой вид охоты для меня, выросшего под Полярным кругом, был внове.

Из райцентра мы выехали вдвоем на попутной машине, но скоро нас было уже трое. По дороге к нам присоединился Захар Воденников, председатель промартели. Много их, служилых людей, пылит по субботам от райцентра. Кто на велосипеде, кто на мотоцикле, кто на грузовике. С коробьями, с пестерями, с ведрами. И все катят в колхозные леса, с тем чтобы подзаправиться даровым провиантом на зиму. Потом, когда мы приехали в Ширяево (дальше надо было топать «на своих»), к нам в компанию стал напрашиваться еще один человек — старый учитель-пенсионер Евлампий Егорович, у которого мы остановились. Капшин — добрая душа — принял и его: шире фронт.

Короче говоря, на Корнеевский починок мы отправились целой бригадой, а точнее сказать — инвалидной командой: Евлампий Егорович по-стариковски с палкой; у Захара Воденникова одышка и мясистый затылок до того раскалился — хоть спичку зажигай; а у меня своя беда — раненая нога подвертывается в грязи. Один Капшин из нас был здоровяк, да и тот, как я вскоре убедился, не охотник. Идет, горланит на весь лес — демонстрирует нам свои таланты: и зайцем гукнет, и лисой проверещит, и филином расхохочется, а если вспорхнет где рябчик или прошмыгнет под елями красноперая кукша — сразу за ружье. И бух-бух из двух стволов.

Но еще больше я приуныл, когда мы вышли к самому починку. Я-то себе представлял этот починок так: маленькое-маленькое поле с овсом, этакий желтый лоскуток, сдавленный со всех сторон дремучим ельником, — словом, починок так починок. А тут, гляжу — поля, поля... Изгородь со столбовыми воротами... Коршуны плавают в небе... А там что сереет вдали, за кустами? Похоже на крышу дома. Неужели дом?

— Дом, — спокойно подтвердил Капшин. — Тут их раньше девятнадцать было.

У меня буквально глаза на лоб полезли. Как? В деревне на медведя охотиться?

— Да, может, вы не верите, что и медведи тут есть?

Капшин, решительно шагая, повел нас вдоль кромки овсяного поля, густо обросшего молодым березняком.

— Ну? Что это, по-вашему?

Овес по краю смят, выброжен — это верно. Но почему именно медведем? Сколько-нибудь четкого следа на песчаном поле не было.

— Ладно. Пойдем дальше.

Мы прошли еще немного в сторону леса, и вдруг Капшин остановился, молча ткнул пальцем в землю.

Огромная куча черного помета!

Да, тут был медведь — сомнений у меня больше не оставалось. И был недавно, не раньше как дня два-три назад: помет еще «живой», густо мошкарой облеплен.

Сразу все приумолкли, посерьезнели. Тут же, не отходя от медвежьей кучи, устроили короткий совет. Лучше всего, конечно, было бы залечь в том, дальнем, углу, где овсяное поле скатывается в еловое сыролесье. Самое подходящее место для выхода зверя. А в нашей сторо-

не сухо, березы на опушке. Но времени у нас было в обрез — солнце вот-вот начнет хвататься за вершины. А кроме того, там, в сыром углу, сегодня, по мнению Капшина, наверняка будут охотники — в прошлую субботу, как он выяснил в Ширяеве, были. Короче говоря, решено было остаться здесь.

Не теряя времени, мы перезарядили ружья «жаканом» и стали намазываться жидкостью от комаров — избави боже шевельнуть рукой, когда ты будешь на ла̀базе!

2

Охотник без веры — не охотник. И, может быть, поэтому все охотники опьяняют себя разными небылицами. И мне тоже хотелось верить в удачу.

Вот сижу я на березе, на ерундовой дощечке, прикрученной ржавой проволокой к сучьям, это и есть ла̀баз, сооруженный каким-то легкомысленным охотником до меня, — сижу окаменело, с двустволкой на коленях (курки взведены), и под ногами у меня вызолоченный вечерним солнцем овес, до которого так охоч медведь, и кругом тишь первобытная — с комарами, с дымком тумана, которым уже закурилась березовая опушка над полем. И почему бы, думается, вместе с этим туманом — хорошее прикрытие — не выйти из лесу медведю? Ведь вышел же он в прошлом году к Капшину. И вот я приеду в Ленинград, и в кабинете у меня будет лежать такая же косматая шкура, что и у Капшина.

Но вслед за тем я смотрю на дальние кусты, на тесовую крышу дома — она розовая от заката, — и мне становится не по себе. И все опять неправдоподобно, все как во сне: и эти овсяные поля, дымящиеся красным туманом, и этот Евлампий Егорович, вон, как старый филин, затаившийся в черной разлапистой ели, и я сам, окутанный комариным облаком, похож на лесную нечисть...

Проверещала сорока где-то неподалеку слева, веером брызнула от меня, осыпая сухие листья, пернатая мелочь, и опять все замолкло.

А туман все гуще и гуще. Погасла крыша в кустах — и там теперь тоже туман, густой, белый: так и кажется, что в деревне по случаю субботы затопили бани.

И еще приходит на мысль: вот увидит оттуда меня

мужик, крикнет зычным голосом на все поле: «Слезай, дурак! Будя, посмешил людей-то».

Но никто не кричит оттуда. Глухо. Мертво. Виснет туман над озябшим полем, да первая звезда одичало смотрит на меня с вечернего неба...

3

Не знаю, выходил ли в тот вечер и в ту ночь медведь на овсы, но все равно мы бы не смогли его взять. Туман был такой плотный и так высоко поднялся над землей, что мы едва не заблудились в полях, отыскивая дом. Спасибо Евлампию Егоровичу. Здешние места знакомы ему с детства, и он каким-то собачьим нюхом угадал жилье. У предусмотрительного Захара Воденникова оказалась сухая береста (каждый по-своему пригодился), в темноте на ощупь отыскали дрова.

Когда разгорелся огонь, я сперва увидел мокрую рябину с обломанными нижними ветвями и красными кисточками ягод, потом пламя стало ярче, и за рябиной проступили бревенчатые стены. Рам нет — черные провалы вместо окон.

А слева от нас, за травянистым проулком, был тоже дом и тоже без окон, и такой же густой туман окутывал его.

Капшин, задумчиво похрустывая сухарем, посмотрел в черноту августовского неба.

— Да, два доходяги осталось. А раньше тут целая деревня была, девятнадцать домиков... Скоро и этих не будет. Прошлой весной охотники спалили один дом. Додумались, суки, у огонька в избе погреться.

— Ну, а хозяева?

— Что — хозяева? Разбрелись. Кто на лесопункт — тут недалеко, километров шесть, кто подальше тягу дал, а кто в Ширяево. Евлампий Егорович, сколько к вам переехало?

Старый учитель подумал:

— Пятеро.

— Ну, вот видишь. Не захотели в большое село переезжать. А почему? Чего они здесь видели? Ни кина, ни клуба. И детям в школу за девять верст... — Капшин, держа над огнем отсыревший ватник (мы все сушились), покачал головой. — А между прочим, в лесу, в лесу жили, а народишко ничего был — сознательный. Я в райкоме работал. Заем, скажем, или хлебопостав-

ки, — у нас с этим починком никакой волокиты. Раз надо, так надо. Жили, правда, они подходяще. Можно сказать, в масле купались.

— Так ведь их сметанниками и звали, — уточнил Евлампий Егорович. — Бывало, дегтя нету — на сметане едут. Все меньше ось горит. Дед Корней мастак был на такие штуки. У него и первая изба тут была на свой манер. Околенки маленькие, под самой крышей...

— Вот как! — удивился Капшин. — Вы, Евлампий Егорович, и первую избу помните? А я-то думал — этому починку лет сто, не меньше.

— Нет, меньше, — ответил старый учитель. — На моей памяти дело было. Помню, хорошо помню первую корнеевскую избу. Раз пошли мы с мамой по ягоды. А мама у меня ходок в лесу была неважный — заблудились. И вот кружим, кружим по лесу. Я, ребенок, плачу, мама плачет — далеко зашли. И вдруг видим — в лесу изба. Новая. И дым из трубы. «Ну, слава богу, — говорит мама, — теперь-то, Евлашка, не пропадем, к Корнеевой избе вышли...» Я как теперь вижу эту избу... — Евлампий Егорович поводил вокруг стариковскими глазами, словно отыскивая то место, где стояли Корнеевы хоромы, помолчал. — Да, занятная была изба. Бревна толстые-толстые, в обхват, а окошечки малюсенькие, ну, прямо как в бане. И я еще, помню, спросил тогда у мамы: зачем, говорю, такие маленькие окошечки? «А затем, говорит, что стекла меньше надо. Корней заново строится, каждая копейка вперед рассчитана. А еще говорит, комар не так поползет в избу». Страсть тут комара было. Лешье царство... А потом недалече от избы мы и Корнея увидели. Лес с сыновьями корчует...

— Крепкий старик был?

— Крепкий. Росту — не скажу чтобы большого. Среднего. Даже чуть поменьше. А медвежья сила была у человека. Ведь это все его руками разворочено. — Евлампий Егорович для наглядности сделал рукой полукружье. — Бульдозеров тогда не было. Правда, семейка у него была соответственная. Семеро детей, и все семеро — мужики. Сам Корней на волос был темный, а сыновья не в него — в мать. Все, как один, светловолосые и росляки парни.

— А это точно, — с улыбкой кивнул мне Капшин, — весь починок тут был светловолосый. Помню, бывал.

— Нет, не весь, — деловито поправил его Евлампий Егорович. — После Корней сманил к себе двух мужиков из соседней деревни — те другой породы были... Совсем другой...

— Ладно, ладно, — живо перебил старика Капшин, видимо, как и я, боясь, что он со свойственной ему обстоятельностью переключится сейчас на этих мужиков. — Давай про Корнея. Как вас принял Корней?

— А чего принимать? На расчистке пни с сыновьями корчует — до нас ли ему? Подошел, поздоровался с мамой и прямо к делу: «Вот что, говорит, Аграфена. Отдай, говорит, за моего Петруху Тоньку». А Тонька — это моя сестра, на пятнадцатом году. Какая еще невеста? «Ничего, говорит, годик подождать можно». — «Нет уж, — отвечает мама, — тебе, Корней Иванович, работницу надо, а Тонька у меня слабая. Не отдам свою дочь вам на муки. Одна она у меня». — «А это, говорит, верно ты сказала, Аграфена. Не на сладкую жизнь возьмем твою Тоньку. Видишь, говорит, сколько у меня дела. Мне, говорит, девка нужна такая, чтобы спереди была баба, а со спины — лошадь». Запомнил я эти слова. «Да чтобы каждый год по мужику рожала. А Тоньку твою, говорит, я видел в работе. Подойдет. Готовься, говорит. Осенью приедем».

— Вот черт! — с чисто детским восхищением воскликнул Капшин. — Так и сказал?

— Да, так и сказал. Но Антонину, мою сестру, в то лето дядя в Вологду увез, в прислуги определил — тем и спаслись. А если бы не дядя — быть бы мне сродником Корнея Ивановича. Корней Иванович от своего слова не отступался. Раз определил, что девка для его семьи подходяща, — все. Приедет в деревню, посватается, честь соблюдет. Идет девка своей волей — хорошо. А нет — и так возьмет. Нагрянет это своей лесной ордой, девку в сани, в телегу — только и видели. Главное ему было высмотреть. Чтобы девка подходяща была. Ежели надо, и за тридцать, и за сорок верст скачет. Один раз мужики его за эти выходки едва не убили.

— Да ну?! — воскликнул Капшин.

— Точно. В Петров день дело было. Мы с ребятами бегаем на улице, и вдруг крик на всю улицу: лесовики Маньку Прохора Кузьмича увезли. А народ о празднике, сами знаете, шальной, пьяный. Топоры, ко-

лья похватали да на починок. А на починке тоже не спят. Коренята-бородачи стеной стоят. И тоже с топорами. Ну, Корней Иванович нашелся. Из ружья выстрелил и с медалью к народу вышел. Медаль ему за расчистки была пожалована. «Что вы, говорит, дураки, — это мужикам-то. — Опомнитесь! Я, говорит, российское дело делаю, землю из-под леса добываю. А вы на меня войной. Уйдите, говорит, ради бога, от смертоубийства...» Ну, Прохор Кузьмич, отец Маньки, видит такое дело, — на попятный: девка все равно ославлена. Поздновато кулаками махать. Раньше надо было меры принимать. Корней подавал ему сигналы. Предупреждал насчет Маньки...

— Да, — задумчиво сказал Капшин, — характер. «Российское дело делаю...» А что, пожалуй, что и так. Не сама же Россия распахивалась. Кто-то ее расчищал от лесов, от дебрей. В старину, сказывают, не то что у нас, на Севере, под Киевом леса непроходимые были. Илья-то Муромец там Соловья-разбойника словил. Так ведь, Евлампий Егорович?

Евлампий Егорович молча кивнул, с сухим шелестом потер свои стариковские руки над огнем. Захар Воденников, все время слушавший его с полуоткрытым ртом (он был туговат на ухо), глубоко вздохнул и достал пачку «Севера». Но закуривать раздумал.

Капшин положил на огонь новую валежину — косяк от дверей с железным пробоем. Возле пробоя в косяке небольшие ямки. Это от рук, от их многолетнего касания к дереву...

Я посмотрел на дом с рябиной. Крыльца нет. Наружных дверей в сени нет. К порогу приставлена плаха, и по ней теперь поднимаются в избу.

И вдруг я услышал:

— А я этого Корнея в тридцатом году раскулачивал.

Капшин, сидевший со мной рядом на бревне, вздрогнул и дико уставился на Захара Воденникова.

— Да, повозились мы тогда с этим починком, — сказал Захар Воденников. — Главная загвоздка у нас в том вышла, под какую статью подвести. Старик на законы все напирал. «Вы, — говорит, — сперва докажите, что я эксплуатировал...» Дошлый старик был...

Евлампий Егорович начал подыматься.

— А что, ребятушки, не пора ли нам на покой?

Мы встали.

Захар Воденников, прежде чем расстаться с огнем,

вытащил из-за пазухи две заранее приготовленные ватные затычки и заткнул уши.

— От командировок у меня это, — пояснил он, встретившись со мной взглядом. — В командировках здоровье растряс. Считай, с тридцатого, с того самого, на руководящей... На передовой линии...

4

В ту ночь мы долго не спали. Едва наша компания разместилась в избе, на полу, у порога, как снаружи, под окошком, раздались голоса.

— Охотники, — сказал Капшин. — Это те самые, которые в том сыром углу сидели. Помните, я говорил?

Гулко, с топотом забухали сапожищами в сенях, снова завизжала неподатливая дверь, которую мы едва открыли.

— А, так вот кто нам охоту испортил! — сказал весело один из охотников, освещая нас спичкой.

— Подходил медведь? — спросил Капшин.

— Подходил. Ко мне подошел вплотную. Ну, извернуться не́как было. С тыла, сволочь, вылез.

— Будет тебе заливать-то, Пашка. Все равно никто не поверит.

— Не верь. А я возьму. Измором возьму. Сегодня овса не поел, вчера не поел, а завтра выйдет.

— Балда ты, Пашка. Пропадет медведь в лесу без овса.

— А вот посмотрим.

Шурша в темноте сеном, охотники поставили ружья в угол печи, начали устраиваться — на полу, рядом с нами.

— Окна-то бы, ребятки, не мешало чем прикрыть. Хоть бы в головах. К утру продует, — рассудительно заметил один из охотников, по голосу тот, который осаживал Пашку.

— Ну уж это пускай Иван, — огрызнулся Пашка. — А я на ощупь не могу.

Из избы вышел какой-то человек, наверное, тот самый, которого звали Иваном. За дверью скрипнули половицы, и там все смолкло.

— Ловко ему в своем доме, — сказал Пашка. — Не надо фонаря. Вишь ведь, как летучая мышь в темноте.

Капшин, толкнув меня, привстал.

— Это что у вас за Иван? Не хозяин здешний?

— Он. Корнеев внук.
— Вот как! Иван Мартемьянович?
— Да вроде бы. А ты кто? Откуда его знаешь?
— Ну как же, — взволновался Капшин. — Я к ним сюда по займу приезжал. И он еще моему коню подкову поправил.
— Он и сейчас кузнечит.
— Где? На лесопункте?
— На лесопункте. Вот переночуем — и на работу.
— Так, так, — с философским глубокомыслием заключил Капшин. — На лесозаготовках, значит. А брательники его Мирон да Михей живы?
— Померли.

Тем временем в избу вернулся Иван. Два боковых окошка прикрыл ставнями. Мне очень хотелось взглянуть на этого человека, но я не решился зажечь спичку. В темном углу зашуршало сено. Глухо стукнули сапоги о пол. Потом вздох. И все стихло. Иван улегся.

— Ну как, Иван, на родительских-то пуховиках? Мягко?
— Брось, Пашка! Ты опять за свое? Опять начинаешь травить человека. Вот бы я посмотрел, как ты на его месте. Ежели бы это твой дом...
— Хэ, — беззаботно рассмеялся Пашка. — У меня сроду своего дома не было. И не будет. Что я — дурак? Руки, ноги есть, а казенная фатера найдется.
— Дурак ты, Пашка! Ох, дурак! В тридцать лет пора бы и шариками шевелить.
— А я что — не шевелю? Лежит тут, сопит под боком. Развздыхался. А кто ему велел на лесопункт драпать? Я, скажи? Небось в Ширяево не переехал. Ну? Какого хрена, говорю, не переехал?
— А расчет? — отозвался глухой голос. И я понял: это Иван. — Девять верст туда да девять верст сюда. Поля-то с собой не захватишь.
— Расчет, расчет... Все у вас расчет. А без расчета не можешь?

Тут в избе поднялся спор. Спор чисто по-русски — без начала, без конца. Про Ивана, конечно, сразу же забыли. Крупно, российскими масштабами заворочали.

Капшин с неожиданной для меня яростью стал доказывать, что такие глухие деревушки, как этот Корнеевский починок, обречены самой историей. И при этом, как и давеча, упор делал на культуру. Чем тут дышать человеку в век космоса? А молодежь? Будет нынешняя

молодежь жить той первобытностью, которой жил дед Корней со своими сыновьями?

Ему стал возражать рассудительный товарищ Ивана. Без культуры нельзя. Культура нужна. А как же с землей? Сколько таких деревушек заброшено по всей России?..

Спорили еще долго. И так, и эдак прикидывали — не развязали узла.

Пашка, тяготясь затянувшимся разговором, опять стал приставать к Ивану. Иван не ответил. Тогда Пашка накинулся на Захара Воденникова, который давно уже изводил нас своим храпом, похожим на бульканье и клокотанье нерестующих весной лягушек. Но разве пробьешься к нему сквозь ватные затычки?

Вскоре Пашка запосвистывал и сам. Капшин, прыгнув ногой, тоже начал поддувать мне в затылок. А мне не спалось. У меня сна не было.

На улице за стеной потрескивает, дотлевая, костер. Красные отсветы дрожат в щелях боковых окошек. А что там, в переднем углу? Кто все время шуршит и скребется? Мыши развозились? Или это Иван не спит?

5

Я проснулся от холода.

Светало. Зевластая печь смотрит на меня. Но не гремит, не возится возле печки хозяйка. Не подает голоса со двора скотина. И мужики не торопятся в поле. Лежат, храпят, раскидавшись по всей избе...

Я тихонько поднялся и вышел на улицу. Боже, какой туман! Все заволокло — ни земли, ни неба.

По мокрой седой траве я срезал заулок и вышел напередки соседнего дома.

Углы дома обшиты тесом, на тесе следы давнишней краски, фундамент из толстых просмоленных стояков — основательно, надолго строили...

Потом, подняв голову кверху, я увидел грудастый конек-охлупень. Глядит, смотрит на меня из тумана деревянный конь. С конька свешивается веревочка с остатками засохшей и почерневшей рябины — такие связки, или садки, как их еще называют, по всему Северу раньше вывешивали на домах. Вкусна, сладка примороженная рябина, и от угара — первое средство...

Вдруг мне показалось, что в глубине дома кто-то ходит. Что за чертовщина? Не домовой же бродит по

пустому дому? А шаги все отчетливее, все ближе — тяжелые, с шарканьем. Вот скрипнула половица, вот что-то упало, по звуку — в сенях.

Я завернул за угол и выжидающе уставился на крыльцо.

Вышел человек — высокий, светловолосый. В ватнике. Голенища резиновых сапог отогнуты.

«Наверное, это Иван», — подумал я и, когда человек подошел ко мне, спросил:

— Что, не спится?

— Привычка. Раньше мы, бывало, рано вставали.

Так вот она какая, корнеевская поросль!

Я вспомнил ночной разговор в избе.

— Который же все-таки ваш дом?

— Мой? А оба мои. Тот вот, в котором ночевали, моего отца, а этот — отца Марьи, моей жены.

— Интересно...

— Что — интересно? Что оба дома пустуют?

— Да нет, — смешался я под пристальным взглядом Ивана. — Редко все-таки сосед на соседке женится.

— А у нас так. Нас окрутили с Марьей, когда еще дома эти строили. Ребятами, считай. Давай, говорят, счастье к счастью.

— Давно это было?

— А-а, что про это вспоминать, — отмахнулся Иван и опять пристально посмотрел на меня.

Затем прошел к своему дому, снял со стены ведерко из белой жести.

— Ежели умываться, то за мной.

Туман все еще плотно висел над землей, но кое-где уже всплыли верхушки кустов. Идти неприятно, мокро. Старая раскисшая трава бьет в колени, а сапоги у меня с короткими голенищами.

— Что же здесь? Не косят теперь?

— Не успевают, — ответил, не оборачиваясь, Иван. — Вот только с некоторых полей убирают. Да и то разве это хлеб? У нас, бывало, тут рожь такая — поляжет, бабы стоном стонут.

Неожиданно, так, что я едва не натолкнулся на него, Иван остановился. Посмотрел на ольшанинку, вынырнувшую из тумана перед самым носом, посмотрел вокруг.

— Вот как она, сука, уже на пожню вылезла.

Скулы у него побелели. Он потянулся рукой к ремню, видимо, по крестьянской привычке за топором —

нету, ударил ногой. Ольшанинка хрупнула. Иван рванул ее на себя, отбросил в сторону, затем отвернулся от меня, стал вытирать о ватник руки.

Стало слышно, как внизу, в тумане, рокочет ручеек.

Я направился было прямо, но Иван окрикнул:

— Вода на питье повыше. А там раньше коней поили.

Спуск к ручейку выложен булыжником, с боков перильца березовые, еще довольно крепкие. А внизу, в зарослях ивняка и смородины, как бы чаша: по краям крупные темные камни с зелеными косами, а серединка чистая, прозрачная, с песчаным донышком, с похрустывающей дресвой, — бьют ключи.

Иван зачерпнул пригоршней воды, отпил.

— Зуболом вода. В войну где ни был, а такой воды не встречал.

— Тянет, значит, домой?

— Меня-то? Сам-то бы я ничего. Обжился. А вот женка у меня...

Он наполнил водой ведерко, плотно закрыл его крышкой.

— Это вот для нее, для Марьи. Лежит пластом, ноги отнялись. А как попьет своей воды — вроде полегче, вроде оживет немного...

Уже на обратном пути, раздумывая о судьбе этого человека и его жены, я спросил, почему же он не сделает, как другие, не перевезет дом на лесопункт. Ведь так же пропадет. Да и Марья, должно быть, в своем доме не так будет скучать.

На это Иван ответил:

— Хотел было. Жена не хочет. Думает все как-нибудь тут, на починке, умереть.

Помолчал и добавил глухо, провожая прищуренным глазом ворону, неуклюже слетевшую со старого прясла:

— Вот и у ней, видно, такая же думка. Человек жилье бросает, и ворона бросает. А эта не улетела...

Туман заметно опал. За домами красным пятном вставало солнце.

Когда мы вышли в заулок, там уже снова потрескивал огонь и все были на ногах. Товарищи Ивана стояли с ружьями. Один из них — постарше — подал Ивану ружье, а другой, Пашка, прощаясь с нами за руку, бесшабашно острил:

— Чур, только нашего медведя не убивать. Наш-то приметный, — у него два уха на голове...

Булькнула вода в жестяном ведерке. Иван, по-крестьянски сгорбив плечи, зашагал на задворки.

Пашка крикнул:

— Фу, полоумный! Опять повел новой дорогой! — И кинулся догонять товарищей.

И вот зашлепали, зашаркали резиновые сапоги в тумане. А людей не видно. Людей нет. Только раз на каком-то пригорке вспыхнула светлая, вся в солнечных искрах, голова Ивана и погасла.

А мы все стояли-стояли и глядели туда, в ту сторону, куда ушли охотники. И все мне казалось, что я слышу какой-то странный щемящий звук, похожий на бульканье воды в жестяном ведерке.

С крыш, кустов капает? А может, это оттуда, снизу, — родничок взывает к нам?

1963—1964

КОГДА ДЕЛАЕШЬ ПО СОВЕСТИ

В пятьдесят втором году, после окончания ветеринарного института, Аркадия Стрельникова направили на Новгородчину старшим ветврачом зоны МТС.

Время было трудное — послевоенное лихолетье! — многие колхозы дышали на ладан, а у него, ветврача, одна присказка, один разговор: сдавай мясо! Да мясо товарное — говядину.

Однажды Стрельников приехал в колхоз — председатель сидит за столом, по уши зарывшись в бумаги.

— Что за новая игра в бумажки? По мясу всех обскакал? — Стрельников, несмотря на свой возраст, умел страх нагнать — быстро «поставил голос».

— Эти бумажки — смертный приговор колхозу, — вздохнул председатель.

— Смертный приговор?

— Да. Заявления от колхозников. Коров да телок просят. — И тут председатель, как-то беспомощно, беззащитно взглянув на него, взмолился: — Понимаешь, какое дело-то. Не дать коров колхозникам — разбегутся, без коровы на сотки не проживешь, а дать — ты же

первый крик поднимешь: почему у тебя молочное стадо сократилось?

— Ты мне лазаря-то не пой! — начал было Стрельников с привычной фразы (не впервой приходится вправлять мозги) и вдруг прикусил язык, ибо председатель, как бы защищаясь от него, поднял руку, и вместо руки у него оказался пустой рукав.

Стрельников сел и долго сидел, со стороны, сбоку приглядываясь к худому, нездоровому лицу председателя.

— Слушай, — спросил он наконец, — а у колхозников, которые просят коров да телок, есть в личном хозяйстве свиньи да овцы?

— У кого есть, а у кого нету.

— А нельзя так сделать: вместо крупного рогатого скота сдать в госзакуп мелкий?

— Нельзя. По плану: говядина. Разве только ты как старший ветврач бумагу выдашь: колхоз, дескать, сдал то, что надо.

Стрельников выдал бумагу, а через день его вызвали на бюро райкома. Заявление: старший ветврач Стрельников разрешил отдать коров колхозникам, а государству вместо высококачественной говядины всучил какую-то свинину и недозрелую баранину. Одним словом, обман, антигосударственная практика! (Кстати, заявление, как потом выяснилось, накатал один из колхозников, которому не досталось коровы.)

Секретарь райкома темной тучей навис над молодым ветврачом: отвечай! И от членов бюро несло крещенским холодом. И Стрельников в первую минуту перепугался насмерть, а потом вдруг вспомнил председателя с обрубком вместо руки и просто озверел:

— Это накормить-то крестьянских детишек молоком антигосударственная практика? Да зачем же нас с вами сюда прислали? Разве не для того, чтобы крестьянские дети молоко ели? Или вам наплевать на крестьянских детей, поскольку сами получаете молоко с базы? Нет, то, что я сделал, это не антигосударственная практика, а единственно государственная и народная практика!

Сказал — и не вышел, а вылетел вон.

Члены бюро уставились на первого секретаря: что сделает он? Сейчас, сию минуту, позвонит куда следует или покамест распорядится, чтобы заготовили приказ о снятии Стрельникова?

А первый сидел-сидел, смотрел-смотрел в стол и вдруг сказал:

— Будем считать, что никакого заседания бюро у нас сегодня не было.

Прошло, наверное, с полмесяца. Многие сослуживцы перестали разговаривать со Стрельниковым — на всякий случай, чтобы не погореть заодно с ним. А сам Стрельников назло всем ходил по передней улице мимо райкома. Смотрите! Не боюсь!

И вот однажды, когда он так среди бела дня напоказ рысил мимо райкома, оттуда вдруг вышел секретарь со своим синклитом.

— Стрельников, чего не здороваешься?

— А чтобы не подумали, что подлизываюсь к вам, — с вызовом ответил Стрельников.

— Вот как! — усмехнулся секретарь. — Ну, коли ты не хочешь подойти, я сам к тебе подойду. — И на виду у всех через грязную дорогу пошлепал к Стрельникову.

Подошел, протянул руку:

— Правильно выступил. Мы действительно подзабыли, для чего живем. Я, брат, из беспризорников и знаю, что такое голод. Работай. Но серость свою не показывай. Со старшими надо здороваться.

1969

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ

Ни одного не осталось, все там... А какой лес был! Петя, Ваня, Павел, Егор, Степа... Пять мужиков! Я, бывало, время рожать подходит, не про то думаю, как их всех прокормить да одеть, а про то, как за столом рассадить. Стол-то, вишь, у свекра был небольшой, на себя с хозяйкой да на сына делан, а меня в дом взяли — засыпало ребятами.

Ну, о старших я уж не говорю — тех война съела. На одном году три похоронки получила — вот как по мне война-то проехалась. И Егор тоже через войну нарушился — в плену у германца был. А Степа-то! Мизинец-то мой желанный! Тот уж на моей совести, того я сама упустила... Вот и не просыхаю. Какой уж — двадцать семой пошел, а я все точу себя, все думаю:

ох, кабы спохватилась ты тогда пораньше, Офимья, не куковала бы теперь одна на старости. Ложусь и встаю с тем.

Ты когда из дому-то уехал? До войны еще? В тридцать восьмом? Ну, дак Степу-то и не помнишь. Я его в тридцать четвертом на беду родила. Все дети у меня хорошие были — ни на одного не пообижусь, а такого не было. Чистое золото! Сколько ему — девяти годков не было — помер, а мы с девкой не знали дров да воды. Все он. За скамейку станет — самого не видно, только пила зыкает. И за грибами там, за ягодами — не надо посылать, сам бежит...

Вот это-то его старанье и сбило меня с толку. Я уж тогда на него глаза раскрыла, когда он кровью заходил. Как-то раз вышла утром за хлев — не знаю, из-за чего дома до бела света задержалась, так-то все и на работу и с работы в потемках, ребят в лицо по неделям не видишь — вот как мы в войну-то робили, а тут не знаю чего — задержалась. Смотрю — на, господи, снег-то в отхожем месте за хлевом весь в крови, и на бревнах тоже кровь намерзла.

Я в избу:

— Ребята, кто сичас за хлев бегал?

Молчат. И девка молчит, и парень.

— Признавайтесь, говорю, неладно ведь у вас. К дохтуру надо.

Тут Степанушко у меня и повинился: «Я, мама».

А я уж и сама догадалась, что он. Парень уж когда, с самой осени, небаской с лица. И день в школу сходит да три лежит. А раз прихожу домой — по сено ездила:

— Мама, говорит, ко мне сегодня птичка прилетала. Я лежу на лавке, а она села на стволочек рамы да клювиком в стекло тук-тук и все смотрит, смотрит мне в глаза. Чего ей от меня надо?

— То, говорю, замерзла она, в тепло просится. Вишь ведь, говорю, стужа-то какая — бревна рвет.

А птичка-то не простая — смертная. С предупрежденьем прилетала: готовься, мол, скоро по твою душеньку прилечу.

В те поры, когда он, Степа-то, про эту птичку рассказывал, я и в ум не взяла: вся устала, примерзла — до птички ли мне? А вот когда я кровь-то за хлевом при белом свете увидела, тут я и про птичку вспомнила.

Побежала к бригадиру.

— Так и так, говорю, Павел Егорович, у меня па-

ренъ порато болен — дай лошади в район к дохтурам съездить.

А бригадир, царство ему небесное — помнишь, наверно, Паху-рожу, — нехороший человечишко был, через каждое слово матюк:

— В лес, в лес, мать-перемать!.. Чтобы через час духу твоего здесь не было!

— Нет, говорю, Павел Егорович, кричи — не кричи, а повезу парня в больницу. Ты, говорю, и правов таких не имеешь, чтобы меня задерживать.

Павел Егорович стоптал ногами, войной меня гнуть: «Я, что ли, войну выдумал?», — а потом видит, война не помогает — бух мне в ноги:

— Что ты, говорит, Офимья, опомнись! Парень твой как-нибудь недельку промается, а мне ведь, говорит, за то, что лошадь в простое, — решка...

Я пришла домой, плачу.

— Ребята, говорю, что мне делать-то? Бригадир в лес гонит...

А ребята — что! Разве можно в таком деле ребят спрашивать?

— Поезжай, мама! Надо помогать братьям.

В ту пору у нас еще все живы были: и Петя, и Ваня, и Паша, и Егор. Ну, поехала. Как не поедешь. Тогда ведь не просто робили — деньгу в лесу зашибали, а лесную битву с врагом вели. Так у нас про лесозаготовки внушали — и взрослым, и школьникам... Терпите! Помогайте нашим сыновьям и братьям на фронте...

Ох, что пережито! Теперь начнешь вспоминать, не всяк и верит. Как, говорят, можно целую зиму прожить, и чтобы без хлеба? А мы не видали в ту зиму хлебного — все до зернышка на войну загребли. Да и картошки-то было не досыта. Одного капустного листа было вволю. Вот Степа-то у меня через этот капустный лист и простудился, на нем здоровье потерял. В покров прибегает из школы — как раз в ту пору затайка исделалась, на полях снег водой взялся.

— Мама, говорит, люди на колхозном капустнике лист собирают. Нам бы, говорит, тоже надо.

— Надо бы, говорю, парень, да матерь-то у тебя из упряжки не вылезает.

А вечером-то с работы прихожу — на, изба у меня полнехонька листу. Анка сидит с лучиной, в корыте моет. А кто наносил, не надо спрашивать — Степа. Лежит

на печи — только стукоток стоит, зуб на зуб не попадает, начисто промерз. Сам знаешь, каково на осеннем капустнике по воде да по грязи бродить. Да в нашей-то обутке.

И вот сколько у меня тогда ума было. В лесу два сухаря на день давали — радуюсь. Ладно, думаю, нет худа без добра. Я хоть Степу немножко поддержу. Может, он у меня оттого и чахнет, что хлебного не видит... А вернулась из лесу — Степа-то у меня уж совсем худ. Я сухари на стол высыпала: Степа, Степонька родимый! Ешь ты, бога ради, сколько хочешь. Хоть все зараз съешь... А Степа за сухарь обеими руками ухватился, ко рту поднес, а разгрызть и силы нету.

— Я, говорит, мама, в другой раз.

Ну, я и лошадь не отводила на конюшню. Судите, хоть расстреляйте на месте — повезу парня в больницу!

Не довезла... Одну версту не довезла... Спуск-то перед районом знаешь? Большущая лиственница стоит, комель обгорелый. Ну дак у этой вот лиственницы Степина жизнь кончилась.

Стужа была, мороз, я все одежки, какие дома были, на него свалила, а тут, у листвы, немного приоткрыла.

— Степа, говорю, к району подъезжаем. Можешь ли, говорю, посмотреть-то?

А он сам меня просил: «Мама, скажи, когда к району подъезжать будем». Ребенок ведь! Нигде не бывал дальше своей деревни — охота на белый свет посмотреть.

И вот Степанушко у меня голову приподнял:

— Мама, говорит, как светло-то. Какой район-то у нас красивый...

Да и все — кончился. Так на руках у матери дух и испустил. Не знаю, не знаю, что бы тогда со мной было, наверно, заревелась бы тут, у лиственницы, а не то замерзла — страсть какой холодина был. Да хорошо, на мое счастье или несчастье, Таисья Тихоновна попалась, председатель сельсовета. Из района домой попадает. Пешочком. Так председатели-то тогда ездили. На своих. Лошадей-то на весь колхоз три-четыре оставляли, а остальных в лес, на всю зиму.

Хорошая у нас была председательница. Бывало, поблажки от ей не жди — в лес там, на другую какую работу сама гонит, а у кого горе в доме, похоронка,

чего другое — там уж она завсегда. Первая причитальщица. Бывало, так и говорила: «Нечем мне вам, бабы, пособить, ничего сейчас у Советской власти нету, кроме слез да жалости». Ну и плакала, не жалела себя. А в другой раз, видит, слезой да жалостью человека не пронять, и поругает, побранит. Меня тогда не один день жучила.

— Сколько, говорит, еще реветь будешь? Сыновья на фронте, голодные, холодные, может, — рев им твой надо? Не забывай, говорит: ты матерь, да и над тобой мать есть. Всем матерям мати...

Ох, Таисья, Таисья Тихоновна... Сколько годов минуло! Самой уж лет двадцать в живых нету. Скоро после войны свернуло, надорвала, видно, на нашем горе сердце, а я все с ней разговариваю — вслух, по ночам. Анна, дочи, проснется:

— Что ты, старуха дикая! Сказано тебе: война Степу съела.

— Да, может, и не война, говорю. Над старшими, говорю, мати не вольна, а малой-от возле меня был. Я недосмотрела.

— Да когда тебе было досматривать-то? Ты в лесу была.

— А что бы, говорю, случилось, кабы я на день, на два позже в лес выехала?..

Анне сказать нечего, да и утром вставать рано (скотницей робит), заорет:

— Да дашь ли ты мне спокоя? Когда у нас это кончится?

Я замолчу — беда, нервенный народ стал, все в крик, все в горло, а про себя думаю: никогда не кончится. До скончания века не кончится. До той поры, покуда материнское сердце живо...

1969

ИЗ РАССКАЗОВ ОЛЕНЫ ДАНИЛОВНЫ

В дачку Туркиных я влюбился сразу.

Домик, правда, неказистый, щитовой, под цвет густой зелени, так что издали не скоро и разглядишь, зато все остальное — благодать.

Я в жизни не видел столько пернатой мелочи.

Воробьи, синички, зяблики, малиновки, скворцы — этих не пересчитать. Эти носились стаями. Да там жил и такой закоренелый индивидуалист, как дятел. Утром откроешь окошко, рано еще, туман не осел на землю, а он уж за работой — трясет сухую ольшанину за дровяным сараем, только розовая труха летит. А дрозды-рябинники, любители сырого густолесья? Разве они вьют гнезда чуть ли не на песке — на пружинистой лозе пахучего жасмина? А у Туркиных вили.

Поначалу я думал: причиной тому лес, который на задах подступает к самому забору, но Вовка, ласковый шестилетний мальчуган с крутым завитком льняных волос спереди, забраковал мое объяснение.

— Не, — замотал он головой. — У нас бабушка колдунья. Она их приманивает.

— Ай-яй-яй, Владимир! — Олена Даниловна как раз в это время спускалась с крылечка. — И не стыдно тебе понапраслину на бабушку возводить. Наслушался всяких глупостей от соседей, вот и повторяешь, а разве не знаешь, чем твоя бабушка божью тварь к себе завлекает?

Олена Даниловна, высокая тучная старуха с черными веселыми глазами, в чистейшем белом платке, повязанном по-деревенски, концами наперед, повела меня по усадьбе.

Батюшки! Черепки с подсолнечником, с гречей, с пшеном, с льняным и конопляным семенем, баночки с водой, тарелочки... Повсюду, чуть ли не под каждым кустом.

— Вот ведь каким колдовством твоя бабушка птичек приманивает, — мягко выговаривала Олена Даниловна своему внуку. — Тем, которым в магазинах торгуют...

Потом, сидя на скамейке напротив дома, Олена Даниловна стала рассказывать, как она еще смолоду, живя послушницей в монастыре, полюбила птах и всякую живность.

— Строго было в монастыре, молодых нету, одни старухи монахини, а мне тринадцать лет. Меня отец по обету отдал. Лошадь у нас, вишь, подыхать стала — Гнедко. Исправный конь был. И вот по-теперешнему бы к ветеринару побежали, а в старое время какой ветеринар? Отец Николу-чудотворца на помощь призвал: дескать, яви, святой угодник, чудо, а уж я тебе отплачу — Оленку на пять лет отдам.

Ну, Гнедко, к нашей радости, выздоровел, а меня в монастырь — надо держать обет, раз дан. Ох! Ну, света белого я невзвидела, хуже темницы всякой. Правда, работой меня попервости не томили. Я при матери-казначейше состояла, ей засыпать помогала. Тяжелая, сырая старуха была, такая же, как я. Работящая, а сон туго давался — часами ворочается, бывало. И вот позовет меня: «Оленушка, почитай-ко, пощебечи на ухо». Ну, я и почитаю. Много всяких стишков знала. И Пушкина, и Некрасова, и Кольцова. Смотришь, у меня мать-казначейша и захрапела.

А я-то как? На меня кто сон нагонит? Меня кто из темницы вызволит? И вот только тем и спасалась, что выбегу в сад да с птичками поговорю. Птички, птички! Слетайте к нам на подворье да разузнайте, как там наши. А на другой день опять спрашиваю у птичек. какие новости принесли, с чем прилетели. Так вот и жила со старухами за каменной стеной. А потом, когда па волю вышла да свой угол завела, я уж этих птичек да зверюшек отовсюду домой несла.

— Бабушка у нас доктор Айболит, — восторженно сказал Вовка.

— Да уж, бессловесная тварь на меня не пообидится, — не без гордости сказала Олена Даниловна. — Грача — лапка была сломана — выходила, больше месяца костылик носил, скворчишек, тех за свою жизнь без счета спасала, может, десятка два или три, журка — хромой был — тоже на ноги поставила...

— А зверюшек-то, бабушка, забыла? — напомнил Вовка.

— Ну, про тех что и говорить. Тех и вспоминать не вспомнить. У меня дома всегда свой зоопарк был. Да и здесь не одни с Владимиром живем...

Тут Вовка, не дожидаясь, пока кончит бабушка, нетерпеливо потянул меня к колодцу в кустах смородины — там жила Василиса Прекрасная, большая пучеглазая лягушка с забинтованной задней лапкой.

— Это на нее ворона напала, когда она через дорогу переходила, — объяснил Вовка. — Мы как раз с бабушкой из магазина шли...

Потом Вовка показал мне черепаху по имени Марья-торопыга, которая грелась на теплом песочке под окошком, потом минут десять мы ползали по колючему малиннику у дровяного сарая, в надежде, что наткнемся

на Ежа Ежовича, и, наконец, вечером, за ужином, Вовка познакомил меня с Борькой-бурундуком, который выскочил к нам на веранду на стук грецких орехов.

Я прожил на даче у Туркиных четыре дня, и за это время каких только рассказов и историй не наслушался от Олены Даниловны. Некоторые из них я записал.

КАК ОЛЕНА ДАНИЛОВНА В НЯНЬКАХ ЖИЛА И ПОПА УЧИЛА

— Я рано в работу пошла. У отца нас шестеро было, а землицы одна душа — как тут жить? И вот не знаю, было мне шесть-то полных, когда меня в няньки отдали. Сперва в родную деревню — ничего, а через год и на чужбину, за четыре деревни от своей. Вот тут я взвыла. Всю дорогу плачу, угорела от слез да рёву, и в каждом ручье тоску с меня смывали. Вода холодная, весной дело было. А все равно не смыли. Я попервости как елушечка в сырую погоду — сижу у окошка вся в слезах. Сижу да поджидаю: скоро ли Карюха Егорушкина покажется.

А Карюха — соседская кобыла, уголь барину каждый день возила. Старая, костлявая, страшная, с бельмом на глазу, а Егорушка — тоже не заглядишься — с головы до пят черный да грязный. А мне они всех дороже да всех милее. И долго так сижу да провожаю их глазами. До тех пор провожаю, покамест в полях оба не растают...

Ну, хозяева попались мне нехудые. Оба еще молодые — и сам, и сама. А уж работящие-то! А на мне двое: зыбочный ребеночек да Федя, трех лет мальчик. Меня няней называет, а няня такая, что не сразу и поймешь. кто кого нянчит. После до чего дело дошло — ой! Этот-то самый Федя да пришел меня сватать.

— Да ну?

— Вот те и ну! Крест святой. Рослой, красивой парень вырос. Ну, пришел: «Отдайте за меня няню».

— Так и сказал?

— Вот то-то и оно, что так. Может, скажи он как по-другому: отдайте Лену или Олену Даниловну — я бы еще подумала. На три-четыре года старше — ничего. Бывает и больше — живут. И дом хороший, родители хорошие. А уж он-то сам золото. С рюмкой на голове пройдет — вина не расплещет. Вот какой был Федя!

Ну, а как сказал он — няня-то — ой! Как же, думаю, я за воспитанника-то своего пойду. Нет, ни за что! Заплакала, упросила маму. А Феденька, бедный, так у меня и не женился. Может, двадцать лет холостяком жил. А потом на войну взяли — и не вернулся. Вот ведь как бывает...

— А как же вы, Олена Даниловна, в шесть-то лет с двумя ребенками управлялись?

— Нет, не в шесть ведь. Семь мне было. Год уж стажу у меня нянишного было, когда меня в чужую-то деревню отдали. Да вот, управлялась. Бывало, сам и сама уйдут в поле затемно, да в потемках и придут. А я с ребятками. Да еще что-нибудь приготовлю им поисть — самой-то не до разносолов в страду. Ну, да это все ничего. Привычка. Не я одна, и другие в няньках жили. А вот как я штаны-то Феденьке сшила — ой! Такого ни у кого не было. И смех и горе.

Феденька, скажу вам, запущенный был ребенок. Родители работают — света белого не видят. Дом хороший, все хорошее, а Феденька без штанов бегает. Бывало, бедный, прибежит с улицы — весь задок выколет, на камешках да на деревах сидючи. А тут как раз я в сарай пошла за чем-то да на подволоку и залезла. Смотрю, а там грязные брюки лежат. Хозяина. Ну, я и смекнула: сошью-ка я из этих брюк Феденьке штанки. Куда это годится — ребенок весь задок исколол.

Вот взяла я эти брюки, сходила на речку, выстирала, высушила, каталкой выкатала да давай шить. Сшила. С карманами, с помочами. У меня Феденька оделся — картинка. Хозяева вернулись с поля и ребенка своего не узнали. Чей это у нас франт? А франт и есть. Я отмыла его, в божеский вид привела, причесала. Да еще в штанки одела. Нет, говорю, этот франт не чужой, а Феденька. А брючки, говорю, я сшила сама.

Ой! Я думала, хозяин обрадуется, а хозяин-то у меня побелел. «Ты, говорит, из чего их сшила?» Это брючки-то. А я говорю — из твоих. Из тех грязных, что на подволоке лежали. Ой! «Что ты, говорит, ведь это мои выходные, праздничные брюки. Я, говорит, от женки их спрятал».

Я тут так и присела.

А дело-то было так. Хозяину незадолго до моего прихода справили праздничные брюки. Хорошие, дорогие. Вот он и пошел в церковь. Все ладно было. В церкви

побывал, богу помолился, нет ли, а отъявился, показался на глаза попу — строгий батюшка был. Ну а обратно — мужики, известно: зашел в кабак да выпил, да домой-то уж на четвереньках приполз. А жена у него строгая — как в таком виде показаться? Вот он и переоделся в сарае да новые-то грязные брюки и забросил на подволоку, чтобы жене на глаза не попали. Да и забыл за работой-то. А мне они попадись на глаза...

— Строго взыскал хозяин?

— За брюки-то? Нет. Ничего, обошлось. Меня не притеснял. Поплакал только. Жалко брюк-то было. Новые, дорого заплатил. Да и жены боялся — говорю, строгая жена была.

Вот так я жила в няньках-то. В школу на десятом году пошла, две зимы ходила, а у меня, по-нонешнему взять, уж рабочий стаж был три-четыре года. А двенадцать-то лет мне стукнуло, я уж попа учила.

— Попа?

— Ой, порассказать — дак ухохочешься. Далеко, за пятнадцать верст, к попу отдали. Хозяйство большое, пять коров. Попадья больна, после родов в постели лежит. Дети. И сам поп такой неприспособленный — ничего не умеет. Коровы не доены, ревом ревут — вымя от молока рвет. Сено не кошено, и исть нечего: всего в доме полно, а поп ничего не умеет.

— А что же он работниц не догадался нанять?

— Говорю, попишко непутевый был. Да и страда у людей. Работницы которые уже подрядились, которые нейдут — дома полно работы. А я с коровами сама не могу, я худющая — подойник не удержать. Вот я и говорю батюшке: «Батюшка, говорю, надо тебе самому доить». — «Да как, говорит? Я сроду не умею». — «А научу, говорю. Тут, говорю, хитрости нету, только бы сила была в руках». А коровы-то... Милые! Как баржи, стоят во дворе. Большие, высокие.

Ну, батюшка вошел во двор — ошалели. На рога готовы поднять. Я и смекнула. «Батюшка, говорю, надень платок. Они к бабам привыкли, потому и кидаются на тебя».

Батюшка сделал по-моему, подоил коров.

Потом позвал работников: страда, косить надо. И опять у меня батюшка за голову: чем кормить? А дом у самого полон всякой всячины. Ну, я говорю: «Все будет хорошо, батюшка. Ты только делай, что я скажу».

Ну, наварила я каши, супу, ватрушку спекла, масла сбила. Да у меня работники едят — не нахвалятся: ну уж, ну уж, батюшка! Кто у тебя такая мастерица? А батюшка и указывает на меня: «А вот моя, говорит, мастерица. Ей, говорит, всем обязан». Да я у батюшки приделала все дела и попадью на ноги поставила. И хлеб, кабы не я, начисто сгнил. Сырое лето было. Жито пьяное — из поля, как из бочки, несет. Батюшка у меня пригорюнился: «Оставаться мне в этом году без хлеба». — «Не тужи, говорю, батюшка, можно этому горю пособить. Надо, говорю, только мужику хорошую еду положить да денег не жалеть — тогда он сам прибежит». Вот когда еще бабка Олена насчет материальной заинтересованности понимала. В одиннадцать-двенадцать годов. А у нас после войны до чего мужика довели — из деревни побежал.

А все-таки я у батюшки только одно лето прожила. Выгодное бы место, и хорошо кормили, да крыс боялась.

— Крыс?

— Крыс. По всему дому бегали. Ну, летом-то я с лампой спала да на сеновале. А осень подошла, я и взревела. Что же, я ведь по-нонешнему совсем ребенок была — двенадцать лет...

НЕСМЫШЛЕНЫШИ

В это утро мы с Вовкой славно поработали. Выкосили траву под окошками, засыпали семена и крупу в многочисленные тарелочки и черепушки для птиц, сменили воду в баночках и, сверх того, еще пропололи грядку клубники.

Олена Даниловна, как истая крестьянка, была довольнехонька.

— Ну уж, ну уж какие у меня работники! — говорила она. — Чем только мне с этими работниками и расплачиваться. Разве что пирог со свежей капустой закатать...

— Не надо, бабушка, пирога, — сказал Вовка. — Ты лучше чего-нибудь расскажи.

— Да чего же я вам расскажу?

— А про бельчат, бабушка.

— На-ка, выдумал — про бельчат. А почему не ты? Ты ведь тоже знаешь. — Олена Даниловна хитровато подмигнула мне своим черным глазом: — Давай не стесняйся. В школу пойдешь, что будешь делать-то, ко-

гда учительница спросит? Бабушки рядом не будет. Ну, как? Жили-были...

Вовка застенчиво прижался ко мне. Его маленькое сердечко воробьем запрыгало под моей рукой.

— Ох ты зайчишка, зайчишка... Ну, жили-были две белки, у них родились деточки... Так?

— Не так, бабушка. Неинтересно так.

— Давай как интересно.

— А ты сама знаешь как.

— Вот не любит сказок, — со значением заметила Олена Даниловна. — Все надо, чтобы по жизни было. А по жизни рассказывать, полдня надо положить. Все в строку лезет: и птичка, и сучок, и каждый чих. Люди-то увидят, что скажут... Бабка Олена с утра, скажут, языком мелет.

— А ты поближе к кустикам сядь, тогда и не увидят, — посоветовал Вовка.

— Да уж разве что к кустикам... Ну тогда так, Владимир, вместе будем. — Тут Олена Даниловна опять многозначительно подмигнула мне: дескать, ты уж извини меня, старуху, пожалуйста, а мне нельзя иначе, мне надо внука подучивать.

Вовка, однако, подучиваться при мне не захотел, и Олене Даниловне пришлось скоро от этой затеи отказаться.

— Ох, Владимир, Владимир, — для порядка пожурила она внука, — ведь знаешь, с чего все началось. Когда мы первый-то раз белок увидели?

— Весной.

— Вот видишь, все помнишь. Весной, весной мы первое знакомство свели с белками. Отец у нас в командировке, мати в больнице, а кто участок вскапывать? Земля-то не ждет. Ну, я на все запреты докторские махнула — поедем, Вова. И вот им, белкам-то, видно, интересно стало, чего это старый да малый все земле кланяются, — пойдем-ка, посмотрим. Ну, из лесу выскочили да вон на ту елушку. — Олена Даниловна указала рукой на пушистое, густо усыпанное розовой шишкой дерево рядом с дровяным сараем. — Вылезли, смотрят на нас, и, видно, уж понравились мы им с Владимиром — они и обгнездились на той елушке.

— Бабушка! — воскликнул Вовка. — А кто первый их увидел?

— Бельчат-то? Ты, ты, Вова. Ох, что было! — Олена Даниловна всплеснула руками. — Утром вбегает ко

мне на кухню — я как раз крапиву чистила, крапивник надумала варить: «Бабушка, бабушка, там котятки на елушке!» Где, какие котятки? Почто на елушке? А то, что это бельчата, у нас с Владимиром и в мыслях ни у которого нету. И вот ведь как тайно белки жили — мы даже и не знали, что у них там гнездо. Две недели, а то и три уж на даче жительствуем, а их и в глаза не видели. Ну, я бегу за Вовкой, да ох же! — бельчата. Три сразу, четвертый-то больной был, уж после на глаза попал...

— Нет, — вдруг тяжело вздохнула Олена Даниловна и нахмурилась, — не приведи господь, чтобы они еще раз к нам заявились. Я за прошлое лето извелась. И мои спокоя не знали.

— А что так? — Меня удивил этот крутой переход от детской радости и воодушевления к суровой озабоченности.

— А то, что горе с ними, маета одна. Я с ребятами со своими столько не переживала, сколько с этими бельчатами. Вот те бог.

— У них мать была нехорошая, — сказал Вовка. — Сбежала.

— Да, сбежала, — не очень уверенно подтвердила Олена Даниловна, затем послала внука зачем-то в дом и, когда тот хлопнул дверью, сказала: — Это мы ему говорим, что сбежала, чтобы не расстраивать — очень уж расстроистый, а на самом-то деле съел кто-то ихнюю матерь — собака или кошка. А отец у бельчат нынешней породы вертихвост, — пошутила Олена Даниловна, — не видали при детях.

Вовка обернулся быстрее ветра, в доме все было в порядке, и Олена Даниловна, похвалив его, повела рассказ дальше:

— Хлебнули, хлебнули мы горюшка в то лето. Перво дело — люди. Весь поселок к нам переходил, каждый день экскурсии — все грядки у нас стоптали. Да грядки ладно — у отца у нашего и не топтать — одна трава, да ведь им охрана, присмотр надо. Ну-ка, мало в поселке собак да кошек, а они глупые, несмышленыши, сами в пасть лезут. И никто не подучит — сироты, нету родителей.

Ну днем мы с Владимиром начеку. То он, то я — всегда глазами там. А ночью-то как? Ночью-то кто их удозорит?

— А ночью, — нетерпеливо выпалил Вовка, — мы Василия Ивановича заставляли. Да, бабушка?

— Да, да, Василия Ивановича. Как хошь, говорю, Васенька, а придется тебе ночной досмотр на себя взять.

(К этому времени я уже знал, кто такой Василий Иванович, или Васенька. Кот. Большой сибирский кот, который, по словам Олены Даниловны, был самой умной животинкой на свете и которого по старости — отнялись ноги — нынешней весной пришлось усыпить в больнице.)

— Выручал, выручал Василий Иванович. Я ночью проснусь, выйду, а он уж у ели — сидит да на ель смотрит. А то опять вдоль забора похаживает, чтобы кошка чужая на усадьбу не забежала.

Ох, да сколько всего с этими бельчатами было — не пересказать. Хоть про ту же еду вспомнить. Попереживали мы с Владимиром. Матери нету — с голоду помрут. Мы уж и грибков-то сушеных на елушку навешали, и баночку-то с молоком под ель ставили, а потом, когда увидели — молодые побеги грызут, отлегло от сердца. Ладно, грызите, ребята. Ель у вас большая, надолго хватит. А одной ели мало — лес рядом.

— Бабушка, а как они ползать учились, помнишь?

— Как не помню. Не по веткам — по сердцу твоему ползают. Ножишки слабые, расползаются, коготки жиденькие, не багрят — смотришь, один покатился, другой, — вот-вот на землю шмякнутся...

— А про грозу, бабушка, забыла? — еще про один случай напомнил Вовка. — Ты еще папу уговаривала лестницу поставить.

Олена Даниловна, к этому времени начавшая было заметно остывать, снова воспламенилась.

— Ну, это мертвый номер в цирке, — по-современному выразилась она. — Детсад на качелях. Вон с елью-то рядом видишь клен? Так вот, ель свою оползали — на клен пойдем. А что из этого получится, разве такие дурахи думают? Ну, на клен просто — здоровый сук в ель упирается. А как с клена на ель попасть? Веток у клена много, поди угадай, которая к твоему дому, которая от него, а прыгать еще не можем — не научились. И уж они тычутся! Туда-сюда, по той ветке, по другой, по третьей — заблудились. И вот раз на этом-то самом клену их и застала буря. Страшная. С грозой, с молоньей. Мы с Владимиром на другой день в лес пошли — вот такие ели вповалку лежат. Ну, три-то, которые посиль-

нее да побойчее, быстро домой попали, а четвертый-то, горемычный, и остался. Ой! Уж так его полоскало да мотало, мы думали, живого места не останется. Дождь, по-бывалошному сказать, в вожжу, розы у нас растерзало начисто, а на грядках такие дыры навертело — кротам не навертеть...

— Бабушка, а ему после этого дождя лучше стало, да?

— Бельчонку-то? Лучше. Дождь первый помощник у жизни. У нас, бывало, в деревне всегда ребенка на дождь выставляют. Бежи, скажут, на улицу, подрасти немножко. А эти после дождя просто басурманами стали. Ой, что тут делалось! Ведь они мало того, что с дерева на дерево прыг-скок, на землю спустились. Утром в окошко глянешь — что за огоньки из травы выскакивают? А то они возле своей ели играют. А то опять сядешь на скамейку — на, прибежали. Согласны по тебе бегать...

Олена Даниловна посмотрела на небо — там было сине. В воздухе сильно пахло подсохшей травой. Птицы в саду примолкли.

— А ведь к дождю дело-то идет, — сказала она озабоченно и начала вставать.

Мы с Вовкой быстро сносили траву в сарай. Сама Олена Даниловна отправилась в дом, чтобы на случай грозы укрыть на кухне светлую посуду. Однако грозы на этот раз не было. Дождь тоже пронесло стороной, так что через каких-нибудь полчаса мы снова оседлали скамейку, правда без Вовки. Вовка с плетеной корзинкой пошел рвать заячью капусту для черепахи. Я хотел было тоже пойти с ним — веселее вдвоем ребенку, но Олена Даниловна меня остановила:

— Ничего. Пускай идет один. И так самостоятельности не хватает. Я, бывало, в его годы хлебы уже себе зарабатывала.

Олена Даниловна была чем-то явно недовольна. Я попытался вернуть ее к нашему недавнему разговору о бельчатах — мне все-таки интересно было знать, что с ними стало, заявлялись ли они весной на усадьбу или нет. Но старуха и на это откликнулась без прежней живости.

— Нет, не заявлялись, — сказала она сухо. Потом вдруг черные глаза ее гневно сверкнули, и она добавила: — Мудрено им было заявляться-то, когда их еще осенью загубил Васька Шиш. Есть тут у нас в поселке

один горький пьяница — все от него стонут. Уж каждый день, каждый день пьяный. Женка бедная во все газеты писала: заберите от нас пьяницу, погибаем. Не берут. Сам мне признался. Весной встречается на дороге, рот до ушей: «Спасибо, Даниловна, за выручку. Я, говорит, на твою пушнину два дня газовал...»

Олена Даниловна старательно поправила белый платок на голове, поглядела в сторону леса, куда ушел внук.

— На моей совести эти несмышленыши. Я виновата.

— Да почему же, Олена Даниловна?

— А потому что не то воспитанье дала. Ведь они звери, им в лесу жить, а я их к человеку приучала. Вот и приучила. Тот Шиш их без ружья осенью взял. Сам похвалялся...

— Нет, не всякое, видно, добро впрок, — философски заключила Олена Даниловна и опять устремила взгляд на зады. — Добро-то, оказывается, тоже надо делать умеючи.

ПРО ВАСИЛИЯ ИВАНОВИЧА

Из всего зверья, перебывавшего у Олены Даниловны за ее долгую жизнь, больше всего она любила, как я уже сказал, Василия Ивановича.

Про него она могла рассказывать часами — живо, с подробностями, и послушать ее, так на свете, честное слово, и среди людей-то немного таких умниц, как этот кот.

— А как же, — говорила Олена Даниловна, — бельчат по ночам кто у нас стерег? Разве кошачье это дело? Я начну кому рассказывать — врешь, бабка. А за грибами — слыхано, чтобы кот ходил? А Василий Иванович ходил. Да, да, да! Мы с Владимиром в лес — и он за нами. В сторонку отбежит: мяу-мяу. Иду, иду, Васенька. И так и знай: белый. Других грибов — козлят ли, моховиков — не признавал.

А пьяниц взять. Отец у нас — Олена Даниловна так называла своего зятя — с мокрым рылом родился. Иной раз домой придет — зашумит, а уж Василий Иванович ему лапой: не смей! А ежели еще пьянчуг-друзей приведет — беда! Готов глаза выцарапать...

— Бабушка, а расскажи, как Василий Иванович клубничку воровал, — подсказал Вовка.

Олена Даниловна затряслась от смеха.

— Было, было такое дело. Проштрафился у меня Василий Иванович...

Так начался один из многих рассказов про мудрого кота.

— С Амиком они этот номер выкинули. Собачка тутошная, песик — вон тех соседей.

Мы тогда приехали на дачу с Васенькой вдвоем — Владимира еще на свете не было. Ну, мне дела не занимать: кирку в руки, и хоть весь день маши. А Василий Иванович, вижу, как не в себе, вроде как в растерянность впал. Ходит за мной да все мяу-мяу: где мы? Куда приехали? Городской, не приспособлен к природе.

— Ну, я ему мозги вправляю: что же ты, говорю, Василий Иванович, все за мной да за мной? Куда это годится? У каждого в жизни свои интересы должны быть. — Тут Олена Даниловна бросила на внука один из своих воспитательских взглядов. — Самостоятельность, говорю, должна быть, — еще определеннее выразилась она. — А что же это получится, если все будем ходить друг за дружкой? Ты бы, говорю, хоть друзей-товарищей завел себе. Оглянись, говорю, хорошенько, есть тут кошачий народ.

Нет, со своим братом компанию не свел, а с Амиком снюхался. Тут, на углу, у них свиданья-то происходили. — Олена Даниловна указала на травянистую полевину за калиткой, густо расшитую белоголовыми ромашками. — Правда, Амик и к нам на дачу заходил, а Василий Иванович — нет. Гордость не позволяла: в гости не хожу. Хочешь — ты приходи ко мне, а не хошь — как хошь. Беда, важный был. Покамест Васильем Ивановичем да Васенькой не назовешь, и не откликнется. Ей-богу.

Ну, Амик, тот попроще был, голову высоко не нес. Все, смотришь, прибежит. Наш его встретит у калитки, обнюхает, а то и по травке покатает — тот песик вежливый, лапки кверху и ничего: катай себе на здоровье. А потом и до проказ дело дошло, из-под контроля вышли. — Олена Даниловна кивнула на каменный особняк за крепким высоким забором слева от своей дачи: — Вот у них, у тех куркулей, стали плантации проверять да клубничку выбирать.

— Кот и собака — клубничку?

— Ну. Форменными ворами стали. Потому что не

теперь сказано: чужая ягода слаще. — Олена Даниловна сказала это и сразу же спохватилась, видимо, вспомнив про свои воспитательские обязанности. — Да, да, — сурово поджала она губы, — бесконтрольность почувствовали. Решили, что все им можно. Я раз гляжу, где Василий Иванович, другой гляжу. Так все на глазах, все с Амиком со своим, а тут никоторого нет. Потом смотрю — чего трава у забора шевелится, а то они выкатывают. С налета. Амик бесхитростный, ничего в себе не держит: гав-гав, там, за забором, были. А мой-то даже не глядит на меня. Старый гусь, хитрющий — только головой водит да усами подергивает.

Ох, думаю, плутяга, погоди у меня, дознаюсь, что там делаешь, выведу тебя на чистую воду. А сама ничего уж не сказала: ни ласки, ни встряски. Как так и надо.

Ладно. На другой день я начеку. Затаилась за кустом, поджидаю ихнюю встречу. А они встретились, обнюхали друг друга да не долго думая — к забору. Впереди Василий Иванович, сзади Амик. Привычное дело! Не первый раз занимаются — в траве у них уж тропка своя протоптана.

Вот к забору-то они подошли, и я за ними. Батюшки! Василий-то Иванович у меня на грядке клубничку кушает, а Амик где? А Амик в дозоре — на дорожке сидит да на дом посматривает.

— Ну уж и посматривает?

— Вот те бог! — со всей серьезностью побожилась Олена Даниловна. — Чистая правда!

— Бабушка, бабушка, дальше! — закричал возбужденно Вовка.

Вовка был уверен, что все дальнейшее сразит меня окончательно. И оно действительно сразило. Ну а если и не сразило, то, во всяком случае, показалось совершенно неправдоподобным. Ибо дальше было вот что: Василий Иванович, скушав две-три ягодки — так именно выразилась Олена Даниловна, — уступил место Амику, а сам встал в дозор.

— Вот какой у нас ученый кот! — живо прокомментировал Вовка. — Как в «Руслане и Людмиле». Правда?

— Да, да, такой вот проказник, — рассмеялась Олена Даниловна. — Ведь это надо же додуматься — Амика в дозор, а сам ягодкой сладкой лакомиться! Ну уж я пожурила, посовестила тогда Василия Ивановича.

Получил он у меня по заслугам. Это что же, говорю, батюшка мой, получается? Я к тебе со всем моим доверием, а ты себя на хулиганство заводишь да еще и Амика с толку сбиваешь. Каково, говорю, мне из-за тебя краснеть придется? Мне, говорю, за всю жизнь люди худого слова не сказали. Где ни работала, что ни делала, всегда хвалили да на почетную доску вешали. Даже в блокаду, говорю, твоя хозяйка рабочей чести не уронила, ни одного дня в простое не была. Так вот на этом и кончилась у них дружба с Амиком...

— Почему?

— А из-за гордости. Не понравилось, что я его при Амике побранила да посовестила. Вот он и заломил хвост. Амик сколько раз подходил к калитке, гав-гав, а наш — нет, не вышел. А тут вскорости и Амика увезли — из Киева хозяева, там сын соседа проживает. Тем часом и кончилась у них дружба...

Своего любимца, умершего, как я уже говорил, от старости, Олена Даниловна похоронила на усадьбе дачи, возле ели, на которой еще год назад Василий Иванович охранял осиротевших бельчат.

— Я уж не пожалела ничего, — рассказывала она про то, как хоронила кота. Разумеется, рассказывала в то время, когда рядом с нами не было Вовки. — Гроб сделала по нему — ящик из-под конфет в магазине купила, внутри клееночкой выстлала, сверху простынкой белой накрыла... Спи, Васенька, место тут самое красивое. Весной черемуха белая пушится, осенью клен горит, а зимой опять ель зеленая — у Гостиного двора такой не увидишь. Я хоть бы и сама не прочь там лечь...

1969

О ЧЕМ ПЛАЧУТ ЛОШАДИ

Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство — в мир пахучих трав, стрекоз и бабочек и, конечно же, в мир лошадей, которые паслись на привязи, каждая возле своего кола.

Я частенько брал с собой хлеб и подкармливал ло-

шадей, а если не случалось хлеба, я все равно останавливался возле них, дружелюбно похлопывал по спине, по шее, подбадривал ласковым словом, трепал по теплым бархатным губам и потом долго, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок.

Самые сложные, самые разноречивые чувства вызывали у меня эти лошади.

Они волновали, радовали мое крестьянское сердце, придавали пустынному лугу с редкими кочками и кустиками ивняка свою особую — лошадиную — красоту, и я мог не минутами, часами смотреть на этих добрых и умных животных, вслушиваться в их однообразное похрустывание, изредка прерываемое то недовольным пофыркиванием, то коротким всхрапом — пыльная или несъедобная травка попалась.

Но чаще всего лошади эти вызывали у меня чувство жалости и даже какой-то непонятной вины перед ними.

Конюх Миколка, вечно пьяный, иногда и день и ночь не заявлялся к ним, и вокруг кола не то что трава — дернина была изгрызена и выбита дочерна. Они постоянно томились, умирали от жажды, их донимал гнус — в затишные вечера серым облаком, тучей клубился над ними комар и мошкара.

В общем, что говорить, — нелегко жилось беднягам. И потому-то я как мог пытался скрасить, облегчить их долю. Да и не только я. Редкая старушонка, редкая баба, оказавшись на лугу, проходила мимо них безучастно.

На этот раз я не шел — бежал к лошадям, ибо кого же я увидел сегодня среди них? Свою любимицу Клару, или Рыжуху, как я называл ее запросто, по-бывалошному, по обычаю тех времен, когда еще не было ни Громов, ни Идей, ни Побед, ни Ударников, ни Звезд, а были Карьки и Карюхи, Воронки и Воронухи, Гнедки и Гнедухи — обычные лошади с обычными лошадиными именами.

Рыжуха была тех же статей и тех же кровей, что и остальные кобылы и мерины. Из породы так называемых мезенок, лошадок некрупных, неказистых, но очень выносливых и неприхотливых, хорошо приспособленных к тяжелым условиям Севера. И доставалось Рыжухе не меньше, чем ее подругам и товарищам. В четыре-пять лет у нее уже была сбита спина под се-

делкой, заметно отвисло брюхо и даже вены в пахах начинали пухнуть.

И все-таки Рыжуха выгодно выделялась среди своих сородичей.

На некоторых из них просто мочи не было смотреть. Какие-то неряшливые, опустившиеся, с невылинялой клочкастой шкурой, с гноящимися глазами, с какой-то тупой покорностью и обреченностью во взгляде, во всей понурой, сгорбленной фигуре.

А Рыжуха — нет. Рыжуха была кобылка чистая, да к тому же еще сохранила свой веселый, неунывающий характер, норовистость молодости.

Обычно, завидев меня, спускающегося с угора, она вся подбиралась, вытягивалась в струнку, подавала свой звонкий голос, а иногда широко, насколько позволяла веревка, обегала вокруг кола, то есть совершала, как я называл это, свой приветственный круг радости.

Сегодня Рыжуха при моем приближении не выказала ни малейшего воодушевления. Стояла возле кола неподвижно, окаменело, истово, как умеют стоять только лошади, и ничем, решительно ничем не отличалась от остальных кобыл и коней.

«Да что с ней? — с тревогой подумал я. — Больна? Забыла меня за это время?» (Рыжуха две недели была на дальнем сенокосе.)

Я на ходу стал отламывать от буханки большой кусок — с этого, с подкормки, началась наша дружба, но тут кобыла и вовсе озадачила меня: она отвернула голову в сторону.

— Рыжуха, Рыжуха... Да это же я... я...

Я схватил ее за густую с проседью челку, которую сам же подстриг недели три назад — напрочь забивала глаза, притянул к себе. И что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолину, лошадиные слезы.

— Рыжуха, Рыжуха, да что с тобой?

Рыжуха молча продолжала плакать.

— Ну, хорошо, у тебя горе, у тебя беда. Но ты можешь сказать, в чем дело?

— У нас тут спор один был...

— У кого — у нас?

— У нас, у лошадей.

— У вас спор? — удивился я. — О чем?

— О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете, а они подняли меня на смех, стали из-

деваться надо мной... — и тут Рыжуха опять расплакалась.

Я насилу успокоил ее. И вот что в конце концов рассказала она мне.

На дальнем покосе, с которого только что вернулась Рыжуха, она познакомилась с одной старой кобылой, с которой на пару ходила в конной косилке. И вот эта старая кобыла, когда им становилось совсем невмоготу (а работа там была каторжная, на износ), начинала подбадривать ее своими песнями.

— Я в жизни ничего подобного не слыхала, — говорила Рыжуха. — Из этих песен я узнала, что были времена, когда нас, лошадей, называли кормилицами, холили и ласкали, украшали лентами. И когда я слушала эти песни, я забывала про жару, про оводов, про удары ременки, которой то и дело лупил нас злой мужик. И мне легче, ей-богу, легче было тащить тяжелую косилку. Я спрашивала Забаву — так звали старую кобылу, — не утешает ли она меня. Не сама ли она придумала все эти красивые песни про лошадиное беспечальное житье? Но она меня уверяла, что все это сущая правда и что песни эти певала ей еще мать. Певала, когда она была сосунком. А мать их слышала от своей матери. И так эти песни про счастливые лошадиные времена из поколения в поколение передавались в ихнем роду.

И вот, — заключила свой рассказ Рыжуха, — сегодня утром, как только нас вывели на луг, я начала петь песни старой кобылы своим товаркам и товарищам, а они закричали в один голос: «Вранье все это, брехня! Замолчи! Не растравляй нам душу. И так тошно».

Рыжуха с надеждой, с мольбой подняла ко мне свои огромные, все еще мокрые, печальные глаза, в фиолетовой глубине которых я вдруг увидел себя — маленького, крохотного человечка.

— Скажите мне... Вы человек, вы все знаете, вы из тех, кто всю жизнь командует нами... Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала мне старая кобыла? Не обманула?

Я не выдержал прямого, вопрошающего взгляда Рыжухи. Я отвел глаза в сторону, и тут мне показалось, что отовсюду, со всех сторон, на меня смотрят большие и пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня Рыжуха, занимало и других ло-

шадей? Во всяком случае, обычного хруста, который всегда слышится на лугу, не было.

Не знаю, сколько продолжалась для меня эта молчаливая пытка на зеленой луговине под горой, — может, минуту, может, десять минут, может, час, но я взмок с головы до ног.

Все, все правильно говорила старая кобыла, ничего не соврала. Были, были такие времена, и были еще недавно, на моей памяти, когда лошадью дышали и жили, когда ей скармливали самый лакомый кусок, а то и последнюю краюху хлеба — мы-то как-нибудь выдюжим, мы-то и с голодным брюхом промаемся до утра. Нам не привыкать. А что делалось по вечерам, когда наработавшаяся за день лошадка входила в свой заулок! Вся семья, от мала до велика, выбегала встречать ее, и сколько же ласковых, сколько благодарных слов выслушивала она, с какой любовью распрягали ее, выхаживали, водили на водопой, скребли, чистили! А сколько раз за ночь поднимались хозяева, чтобы проведать свое сокровище!

Да, да, сокровище. Главная опора и надежда всей крестьянской жизни, потому как без лошади — никуда: ни в поле выехать, ни в лес. Да и не погулять как следует.

Полвека прожил я на белом свете и чудес, как говорится, повидал немало — и своих, и заморских, а нет, русские гулянья на лошадях о масленице сравнить не с чем.

Все преображалось как в сказке. Преображались мужики и парни — чертом выгибались на легких расписных санках с железными подрезами, преображались лошади. Эх, гулюшки, эх, родимые! Не подкачайте! Потешьте сердце молодецкое! Раздуйте метель-огонь на всю улицу!

И лошади раздували. Радугами плясали в зимнем воздухе цветастые, узорчатые дуги, июльский жар несло от медных начищенных сбруй, и колокольцы, колокольцы — услада русской души...

Первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Конь смотрел на ребенка с крыши родного отцовского дома, про коня-богатыря, про сивку-бурку пела и рассказывала мать, конем украшал он, подросши, прялку для своей суженой, коню молился — ни одной божницы не помню я в своей деревне без Егория Победоносца. И конской подковой — знаком долго-

жданного мужицкого счастья — встречало тебя почти каждое крыльцо. Все — конь, все — от коня: вся жизнь крестьянская, с рождения до смерти...

Ну и что же удивительного, что из-за коня, из-за кобылы вскипали все главные страсти в первые колхозные годы!

У конюшни толклись, митинговали с утра до ночи, там выясняли свои отношения. Сбил у Воронка холку, не напоил Гнедуху вовремя, навалил слишком большой воз, слишком быстро гнал Чалого, и вот уж крик, вот уж кулаком в рыло заехали.

Э-э, да что толковать о хозяевах, о мужиках, которые всю жизнь кормились от лошади!

Я, отрезанный ломоть, студент университета, еще накануне войны не мог спокойно пройти мимо своего Карька, который когда-то, как солнце, освещал всю жизнь нашей многодетной, рано осиротевшей семьи. И даже война, даже война не вытравила во мне память о родном коне.

Помню, в сорок седьмом вернулся в деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по не вернувшимся с войны. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел Карько.

— Нету вашего Карька, — ответил мне конюх-старик. — На лесном фронте богу душу отдал. Ты думаешь, только люди в эту войну воевали? Нет, лошади тоже победу ковали, да еще как...

Карько, как я узнал дальше, свой жизненный путь закончил в самый День Победы. Надо было как-то отметить, отпраздновать такой день. А как? Чем? Вот и порешили пожертвовать самой старой доходягой. Короче, когда Карько притащился из лесу со своим очередным возом, на него сверху, со штабеля, обрушили тяжеленные бревна...

В каждом из нас, должно быть, живет пушкинский вещий Олег, и года три назад, когда мне довелось быть в Росохах, где когда-то в войну шла заготовка леса, я попытался разыскать останки своего коня.

Лесопункта давно уже не было. Старые бараки, кое-как слепленные когда-то стариками да мальчишками, развалились, заросли крапивой, а на месте катища, там, где земля была щедро удобрена перегнившей щепой и корой, вымахали густые заросли розового иван-чая.

Я побродил возле этих зарослей, в двух-трех местах

даже проложил через них тропу, но останков никаких не нашел...

...Рыжуха все так же, с надеждой, с мольбой смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу, под горой — сплошь одни лошадиные глаза. Все, и живые, на привязи, и те, которых давно уже не было, — все лошадиное царство, живое и мертвое, вопрошало сейчас меня.

А я вдруг напустил на себя бесшабашную удаль и воскликнул:

— Ну, ну, хватит киснуть! Хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.

И вслед за тем, избегая глядеть в глаза Рыжухе, я торопливо бросил на луг, напротив ее вытянутой морды, давно приготовленный кусок хлеба, потом быстро оделил хлебом других лошадей и с той же разудалой бесшабашностью театрально вскинул руку:

— Покель! В энтом деле без банки нам все равно не разобраться... — И, глубоко сунув руки в карманы модных джинсов, быстрой, развязной походкой двинулся к реке.

А что я мог ответить этим бедолагам? Сказать, что старая кобыла ничего не выдумала, что были у лошадей счастливые времена?

Я пересек пересохшее озеро, вышел на старую, сохранившуюся еще от доколхозных времен межу, которая всегда радовала меня своим буйным разнотравьем.

Но я ничего не видел сейчас.

Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям. Я ждал, каждым своим нервом ждал, когда же они начнут грызть хлеб, с обычным лошадиным хрустом и хрумканьем стричь траву на лугу.

Ни малейшего звука не доносилось оттуда.

И тогда я вдруг стал понимать, что я совершил что-то непоправимое, страшное, что я обманул Рыжуху, обманул всех этих несчастных кляч и доходяг и что никогда, никогда уже у меня с Рыжухой не будет той искренности и того доверия, которые были до сих пор.

И тоска, тяжелая лошадиная тоска навалилась на меня, пригнула к земле. И вскоре я уже сам казался себе каким-то нелепым, отжившим существом. Существом из той же лошадиной породы...

1973

МИХЕЙ И ИРИНЬЯ

Опять не застал я Михея Кирьяновича. Заходил вчера, заходил позавчера — утром, днем, вечером — все нет старика. Да бывает ли он вообще когда дома?

— А редко бывает,— сказала Иринья Матвеевна.— Нас ведь у его сколько? Я жерновом на шее, Марья, Ульяна руку протягивают...

— Да вашей Ульяне и Марье самим, поди, уж за пятьдесят?

По худому, бледному лицу старухи скользнула чуть приметная усмешка.

— Не слыхал разве, как ноне говорят? Что и за отец, что и за мати, коли до смерти детей своих не докормят? Вот он и бьется как рыба об лед. Да ты посиди, скоро уж он будет. Надо быть, к болоту теперь подбирается. Убрел где-то в Росоху вершу смотреть.

Я мысленно прикинул: до Росохи, лесной речонки, ходу туда и обратно часа два с половиной — три, старик вернулся с дежурства (по ночам он караулит сельповские склады) не раньше пяти-шести утра, а сейчас был девятый час...

— Да что же, он так, не спавши, и покатил за рыбой?

— А привычно ему,— сказала Иринья Матвеевна.— Век ногами кормится. Охотник.

Утреннее солнце, еще мягкое, нежаркое, заливало крыльцо, на котором мы сидели. Крыльцо было старинное, рубленое, некрашеное (чуть ли не единственное во всей деревне сохранившее свой первозданный вид) и пахучее — целебные травы и травки развешаны в пучках под навесом. Под стать крыльцу была и сама Иринья Матвеевна, маленькая, утоптавшаяся, усохшая, в старинном старушечьем повойнике и сарафане.

Иринья Матвеевна была слепая. По ее словам, глаза она выплакала еще в войну, когда они со стариком получили похоронку на своего единственного сына, и с тех пор она крепко-накрепко оседлала крыльцо. Когда, в какую погоду ни идешь мимо, а она уж на своем посту. Сидит, облокотившись на худые руки, поджидает своего вечно занятого старика.

За разговором, за перебором деревенских новостей я и не заметил, как к дому подошел Михей Кирьянович. А старуха угадала приближение мужа сразу. Она вдруг

подняла голову, вся насторожилась, затем облегченно вздохнула:

— Идет. На задворье с песком воюет.

Я прислушался. Ревет движок у маслозавода, трещит и чихает мотоцикл, который с утра гоняет по деревне пьяный Валька Яковлев по случаю своего возвращения домой от тещи, то есть из районной каталажки, куда его на две недели упрятала было собственная жена; железные провода — вся деревня ими опутана — поют свою железную песню... Да где же в этом шуме и стрекоте расслышать отдаленные стариковские шаги? Тем не менее старуха не ошиблась. Не прошло и двух-трех минут, как из-за соседнего дома показался Михей Кирьянович.

Уж, кажется, я привык к нему — чуть ли не каждый день вижу из своего окошка, как он вышагивает по вечерней дороге, отправляясь на ночное дежурство, — в белом, до пят, дождевике, с посохом в руке, не по возрасту прямой и величавый, как библейский патриарх. А нет, я и сейчас без изумления не мог глядеть на этого старика. Восемьдесят пять лет. Ночь не спал, утром рыбачил — ну-ка, поброди десять верст по нашим суземам да лесному бездорожью! — а ведь идет, торит свою дорогу.

Михей Кирьянович был не в духе: плохой улов. С трудом на уху отбил. Да и разве рыба это — васюха да гыч. В берестяной коробке, которую он сунул в колени старухе, и в самом деле было негусто, но Матвеевна, с величайшим удовольствием ощупывая каждую рыбешку, стала утешать его:

— Ладно давай, охота да рыба — не теперь сказано: когда мать, а когда мачеха.

— А нет, баушка, — многозначительно покачал головой Михей Кирьянович, — нету больше матери в наших лесах. Одна мачеха осталась, вот што. — И, так и не присев, пошел в избу.

Мы с Ириньей Матвеевной тоже встали.

Давно, больше тридцати лет, не был я в этой избе, и мне показалось, будто в далекое детство шагнул я с шумной улицы. Все, все тут было как прежде: и голые щелястые стены с черным мхом в пазах, с широко распластанными хвостами от глухарей и тетеревов, и некрашеный пол с поблескивающими на солнце сучьями-луковицами, и деревянная кровать справа у порога, и толстенные лавки вдоль стен. И так же, как прежде, вкусно пахло сетями, травами, стариной.

Михей Кирьянович, сполоснув руки, без промедления занялся печью — в доме еще было не топлено, не варено, а Иринья Матвеевна стала чистить рыбу: сама налила в сенях холодной воды в миску, сама раздобыла где-то доску, на которую вываливают рыбьи внутренности.

Когда в печи запотрескивали дрова и когда, как мне показалось, старик немного поотмяк, я мало-помалу принялся расспрашивать его про гражданскую войну в наших краях, про то, как по заданию красных он два раза ходил на Северную Двину, или, по-нашему, просто на́ Двину.

— Ходил,— без особого энтузиазма сказал старик.

Иринья Матвеевна рассердилась:

— Ходил!.. Да он и без тебя знает, что ходил. Ты сказывай, как ходил-то.

— А чего, баушка, сказывать. Дали пакет — отнеси. Вот я и отнес, куда надобе.

— Господи! — всплеснула руками Иринья Матвеевна. — Зимой две недели пропадал. Лесами, без дороги, в мороз... А летом опять — комары заели. В болото вхряпался — едва и вылез. Неделю на грибах жил...

Михей Кирьянович все это подтвердил и кое-что от себя добавил, но разговора, живого, непринужденного, не получалось, и я подумал, что мне лучше зайти в другой раз, когда старик не так будет измотан работой. Однако Иринья Матвеевна и слышать не хотела о моем уходе.

— Нет, нет, — сказала она, — пока свежей ушки с нами не откушаешь, никуда не пойдешь. — И тут же прикрикнула на старика: сколько, мол, будешь еще копаться?

Свежая рыбешка в чугунке развалилась — ни головы, ни хвоста не найдешь, но я такой ухи, кажется, сроду не едал. Душистая, с острым перчиком, с луком зеленым, с домашним сухарем, который так и похрустывает, так и рассыпается на зубах. А какое удовольствие было смотреть на стариков! Тут знали цену хлебу насущному: ели молча, неторопливо, по старинке — в правой руке ложка, а левая ковшиком у подбородка: чтобы ни одна кроха не упала, не пропала даром.

— Ешь, баушка, ешь, — заговорил Михей Кирьянович. — Может, последний раз свежинка в доме. Худо ноги стали ходить, да и рвать их не из-за чего.

— Рыбы мало стало? — спросил я. — Реки истощали?

— Да реки-то, может, и не истощали, — вздохнул Михей Кирьянович. — Совесть у людей истощала. Что ноне с этой рыбой творят-делают, дак это и страсть. Толью, взрывами взрывают, сетями реки наскрозь перегораживают, лектричество запускают... А сплавы-то все лето, топляки-то! Дно-то у реки деревянное стало але железное. Все в воду: и банку консервную, и бутылку... — Старик безутешно махнул рукой: — А и в лесу не лучше. Я из Росох шел — шесть собак насчитал.

— Беда, беда с этими собаками! — поддержала мужа Иринья Матвеевна. — Ребенок закапризит: папа, собачку хочу. Папа собачку завел: играй, родимое дитятко, тешься. Дитятко поиграло, потешилось, другу игрушку надь, а собачку на улицу. Вот они, бездомные-то, и рыскают, летают, как волки, по лесу, ищут себе пропитание. Птичьи гнезда зорят, птенца давят, зверя беспомощного заедают...

— Строгости ноне нету, баушка, вот где закавыка-то. — Михей Кирьянович не любил празднословия. Он всегда и раньше любил всякому разговору придать хозяйственное направление.

— А раньше больше было строгости?

— Раньше-то? — Старик посмотрел на меня как на неразумного ребенка. — Как не больше! Я, бывало, с Екутина ручья вот в это же самое хлебное время пришел, сено ставил. Татя-покойничек спрашивает: «Как там, Михейко, на бору? Будет, нет нонешной осенью перо?» — «Будет, говорю. Три гнезда на лету видел да одну тетеру на гнезде». Татя глазами захлопал: «Как на гнезде? В это время на гнезде?» — «Да, говорю, на гнезде, на яйцах сидит». — «Ну и что ты, говорит, сделал с этими яйцами?» — «А ничего, говорю, не сделал. Разве не понимаю, говорю, что гнездо нельзя зорить?» Татя-покойничек вспылил: «Эх, говорит, Михейко, Михейко, дурак ты еще, а не охотник. Да ведь из-за этих яйцев, говорит, тетера пропадет. Яйца-то эти у ей бесплодные, мерзлые — весенним морозом прихватило. Бить их, говорит, надо, а то она, бедная, до полного истощения на них сидеть будет, покуда не сдохнет».

— Н-да, — заключил Михей Кирьянович, — вот такой урок мне преподнес родитель. Дак я со стыда сгорел, поел, не поел сколько — опять на Екутин ручей побежал.

— Из-за тетеры?

— Из-за тетеры. С гнездовья снимать. Татя-покойничек смала мне твердит: с лесу бери, да и лесу пособляй. А я вон что наделал. А ведь уж женат был.

— Так, так, — подтвердила Иринья Матвеевна. — Женатый был. Я со вторым в боку ходила. А ты бы про то ему рассказал, — надоумила она старика, — как ты охотничать-то начал, с чего пошел.

— А-а, — вдруг развеселился Михей Кирьянович и тут первый раз улыбнулся, — ты вот про чего, про первого ряба вспомнила. Пять годков мне тогдась, что ли, было, штаны еще с дыркой на заду носил. Бегаем с ребятами, попа гоняем по улице, и вдруг татя — из лесу идет, с ружьем. Увидел меня покойничек: «Ох, Михей, Михей! Бегаешь, головой трясешь, а там, за болотом, ряб тебя ищет».

— Большой ряб-от ране был, — пошутила Иринья Матвеевна, — с корову. Полетит — дак грому-то!

— Да, ряб, говорит татя, тебя, Михей, ищет. За болотом. В шутку, ясно дело. Какие же от пятилетнего ребенка рябы? А мне впалось в голову — думаю, это он меня за безделье ругает. Всё, бывало, Михеем зовет, ежели разговор насерьез. Вот я это вечером-то к нему и подступаю: как да как сило на ряба ставят. Татя показал — рад моему хотенью, да уж и сам кое-чего смекал: отец охотник, дед охотник — только эти и разговоры в доме. Ладно, на другой день встал ранешенько...

— Это в пять-то лет,— заметила Иринья Матвеевна.

— Н-да, встал, пять силышков у тати на погребу взял и в лес. С коробочкой берестяной, вроде как за голублем в болото за деревню. За голублем-то в болото уж ходил, а дальше в ельник — нет. Там лешаки, нечистая сила живет. Туда ходу малым нету, мама-покоенка только, бывало, и стращает: «Смотри не ходи за болото. К лешакам попадешь». Боялись, знаешь: заблудится ребенок. Ну а тут к лешакам надо прямо в пасть идти. Вот сколько лет прошло — восемьдесят, а я и теперь помню, как шел за болото. Босиком. Глаза от страха зажмурил... Ну, пороху хватило только до первой елушки с муравейником. Одной рукой лоб крещу, другой кое-как сило воткнул да бегом домой. Назавтра надо сило смотреть, снова за болото идти — страху еще больше. Подошел к болоту, а там туман ходит, шлепает чего-то, мычит, — коровы, надо быть, бродили, — я насмелиться не могу. Гаврило Александрович, царство ему небесное, помог.

Как раз, на мое счастье, за болото на санях едет — мох на дом возил. Дом новый строил. Ну, я за ним. Свернул за болото-то, где теперь телятник стоит, подхожу к своей елушке — мать честная, да у меня в силу-то ряб! Настоящий! С перьями! Татя-покойничек, уж когда я охотником стал, признался: «Я, говорит, парень, тебе ряба в сило воткнул. Видел твое старанье. Пускай, думаю, смала к охоте привыкат». Ну а тогда у меня радости было! Про всех лешаков, про всю нечисту силу забыл. Бежу по болотнице, и думушки о них нету. Встретил Гаврила Александровича, кричу: «Гаврило, я ряба заловил!» А у мамы-то сколько ахов да охов было (тоже не знала про татины проделки): «Ну, Михейко, ну, хлебы нам от тебя под старость...»

С этого времени в дом вошла сказка, потому что разве не сказка это в наше время — лес, птица, рыба, зверь? И от недавней хмурости и сдержанности Михея Кирьяновича не осталось и следа. Он помолодел. Серый глаз его так и вспыхивал, так и загорался под густым волосяным козырьком бровей. И Иринья Матвеевна, показалось мне, вдруг стала зрячей и всевидящей...

Все вспомнили, обо всем переговорили: и о последних двух лисках, добытых Михеем Кирьяновичем нынешней зимой, и о последнем глухаре, или чухаре, как у нас говорят, которого старик убил прошлой осенью за рекой, и о медведе-шатуне, всю осень безобразничавшем в деревне, — Михей Кирьянович порешил его на пару с Венькой-лесником.

Но чаще всего мы бродили в лесах его молодости, туда его постоянно заносило, да и Иринье Матвеевне сподручней было, как она сама выразилась, шастать по тем тропинкам и тропкам. Весело, шумно было в тех лесах — от зверя красного, от птицы...

— Бывало, идешь угодьем-то своим, ловом-то, где силье стоит,— Михей Кирьянович каждое охотничье понятие терпеливо переводил на понятный мне язык, — бога молишь: о, хоть бы не чухарь, а ряб попал. Угодье-то, путик-то, большое — сорок и пятьдесят верст будет, да суземом не́проходью, а у тебя уж и так лузан-от* набит до отказу да еще мешок плечи мозолит... А с бора-то осенью выезжаешь! На лошади. Воз птицы везешь.

— Ладно давай, — попридержала маленько Иринья

* Лузан — верхняя одежда из сукна с кожаными оплечьями для защиты от холода и сырости. В больших карманах — спереди и сзади — охотники носят хлеб, птицу, мелкого зверя.

Матвеевна не в меру разгулявшуюся фантазию старика, — бывало ведь и бесптичье.

— А редко, баушка. Разве что на ту, на германскую, зеленый год на бору был — я всю осень ни одного чухаря не добыл, да зато тогда засыпало рябом. Я в жизни не видал столько этого питенбура! * Как голубят. Стадами летают — до ста штук и боле.

— К войне это он табунился, ряб-от, — пояснила Иринья Матвеевна. — На войну показывал.

— Так, так, баушка, — авторитетно подтвердил Михей Кирьянович. — К войне перемена в природе але к мору, к голоду. Когда гриба в лесу толсто але, скажем, у птицы, у зверя большой ход — жди беды. Татя тогдась, когда я вот этого ряба с Екутина привез, перекрестился: «Не ладно, не ладно это, осподи. К беде». И точно — через год война с германцем пала.

— И с угодьями пришлось распрощаться?

— Я-то распрощался, под ружье поставили, а угодья у нас и в войну маленько дышали. Баушка шевелила.

— Иринья Матвеевна?

— Лесовала, лесовала баушка. Чухаря с рябом не путала.

От похвалы мужа старуха просто зарделась — у нее было тонкое, легко воспламеняющееся лицо, — а потом сказала:

— Может, и не очень лесовала, а лесовала. Свекор у меня рано обезножел, а боровинки-то охота. Да и работка всласть. Любила я пройтись по лесу. Идешь холмами, веретейками, беломошником — устали не чуешь. Задор берет, особенно когда птица попадает. Правда, до дальних-то ловов я не дотягивала. Там меня Фиклист Петрович выручал. Старичок сосед. С ним наши-то ловы пересекались, рядом затеси шли. Честный, совестливый был старичок. Все до последнего пера отдавал. Вынести-то сам не может — дак придет, скажет: «Женка, у тебя там чухарь на той неделе в сило заполз. В клетку я повесил». Клетка у нас была на Екутином ручью, такой маленький анбарчик на высоких ножках, чтобы мышь да зверь не потравили у́лово.

— Раньше ведь как было, — заговорил наставительно Михей Кирьянович. — Насчет всякой пакости да баловства строго. Это чтобы в чужое угодье залезть але в сило — ни-ни, избави боже.. Бережешься не знай как,

* Рябчиков в прошлом с Севера возили в Петербург.

когда у тебя угодье на чужое угодье налезает. Шагу не ступишь к соседу. А ежели у соседа на пересеках тетера в сило попала, на елку повесишь. На самое видное место. Чтобы сразу сосед увидел, еще до того как подойдет к силу. У меня на Вырде пересеки с одним мужиком из Выхтегры были, всю жизнь охотились бок о бок и ни разу не встречались, а в позапрошлом году в районе, в больнице, встретились. Ну, он и покаялся: «Заметил, нет, говорит, как я твоим чухарем-то попользовался?» — «Заметил», — говорю. А дело-то было еще до той, до германской, шестьдесят лет назад, когда оба мы молодыми были. Чухарь у меня как раз на пересеке попал и вместе с елкой, с гнетом, значит, к нему на угодье ушел. Вот он и соблазнился, Кузьма-то Кокорин. Приласкал моего чухаря. «Прости, говорит, Михей Кирьянович, по молодости, по неразумности вышло». И верно, что по молодости да по неразумности. Мне так и татя-покойничек сказал, когда я ему об этом рассказал: «Погоди, говорит, Михей. Не будем пока ничего делать — долго ли человека погубить. Может, сам одумается». Вот он и одумался. Ни одной потравы больше не было.

— А если бы не одумался?

Михей Кирьянович замысловато усмехнулся.

— Управа ране была. Это ноне ни во что не верят, а в старину — охо-хо! Боялись. Тот же знахарь, скажем. Жизнь твою в кулаке держал. Отворот такой иcделают, что и жизни не рад будешь. Особенно нельзя было дразнить зырян с Вашки. Ух, народ! Сами тебя не изобидят, честная нация, но чтобы и ты к ним с чистой душой. Вон тут с суседом дело было — слыхал, как на муравейник посадили?

— Смутно, — признался я.

— Помнил я Луку Самойловича. И старичонко-то вроде ничего был, мозглявый, а тут поехал в Потему и соблазнился — залез на зырянское угодье, начал вымать чухарей из сильев. Так будтосе было — никто в глаза не видел. А зыряны-то о ту пору на угодье были. Ах, так! Пакостить? И вот допустили до избы, а за избой-то у Лукаши — так все старичонка звали — большой муравейник. Ну-ко, посиди на этом муравейничке, подумай, как жить надо. Пять дней сидел. Ребята, сыновья, значит, приехали на Потему, а он сидит на муравейнике — штаны спущены и встать не может.

— Да, может, проще все было? С головой что-нибудь случилось?

— Нет, словом посажен, — сказал непоколебимо Михей Кирьянович. — Это бывало запросто. Строго наказывали за всякие такие пакости. Ну, привели Лукашу домой — всего изъели мураши, яйки на ниточках легаются. Полгода пожил-нет и богу душу отдал.

Я опять высказал сомнение в колдовской силе. А потом вопрос поставил так: если раньше эта колдовская сила на каждом шагу давала себя знать, то сейчас-то куда она девалась? Почему сейчас-то ничего не слышно о ней?

— А это точно, — согласился со мной Михей Кирьянович, — не слышно ноне насчет знахарских проказ. Да и знатких-то людей — где они? А бывало, ведь сколько их было! Хоть тех же Моховиков в Солоньге взять. Народу перевели-перепортили, дак это и страхи божии. У нас про Калину-то Ивановича, дядюшку моего, слыхал? Как ему эти Моховики запрет на лес наложили? У дяди Калины большущая охота была — тысячи полторы сильев. А капканов-то сколько, ловушек-то всяких! И на ружье мастер был. Бывало, таких охотников, которые выстрелом мех зверю дерут, и не признавал. Векшу иначе как в глаз не бил. А медведя-то сколько на своем веку завалил! И вот однажды видим: осень, а дядя дома. «Не могу, говорит, ребята, дыху нет». А какое — дыху. Разве в дыхе дело? Нечист на руку был дядюшка — вот где закавыка-то. Больно глазами любил по сторонам вертеть, на чужие угодья заглядывать. Вот эти Моховики-то и заперли от него лес. Охотники попросили, с которыми у дядюшки угодья впритык были. Раз ты нечист на руку, нечего тебе и в лесу делать. Лес чистоту любит. Разорили мужика. После того дядя немного и жил. Помер.

— Так, так, — поспешно сказала Иринья Матвеевна. Она словно хотела предупредить мои возражения. — Моховики, знахаря погубили Калину Ивановича.

— Осподи, да кто не знахаря-то?! Татя-покойничек сколько раз, бывало, говаривал: «Погубил себя Калина. Сам себя погубил нечистыми руками».

И тут уж спорить со стариком было бесполезно. Девятый десяток разменивал Михей Кирьянович, но татя-покойничек, который, кстати сказать, умер сорока пяти лет от роду, для него по-прежнему был высшим авторитетом.

Долго еще бродил я со стариками по благодатным лесам родного Пинежья, долго еще быль и небыль сплетались и путались в наших разговорах, а потом Михей Кирьянович вдруг спохватился: солнышко из избы ушло. Заболтались, мол, про дела забыли.

Наступило всеобщее отрезвление. Мы вернулись к жизни.

1974

ВАЛЕНКИ

У Косовых дом разодет, как невеста. На веревках вокруг дома развешаны яркие шелковые платья, задорно переливающиеся на солнце, всевозможные шали, полушалки, платки, ситцевые и шерстяные отрезы, одежда верхняя, обувь, меховые шапки.

По-старинному сказать — это сушка нарядов, от моли, от мышей, но в то же время это и смотр благосостояния семьи, приданого дочерей. И надо ли говорить, что Дарья Леонтьевна, хозяйка всего этого великолепия, сияет с головы до ног! Это ведь она все нажила, своими рученьками нажила — двенадцати лет от родителей осталась.

Я от души радуюсь вместе с Дарьей Леонтьевной и с удовольствием обхожу весь этот пестрый, пахучий парад и вдруг на видном месте, возле самого крыльца, замечаю два старых, растоптанных, без подошв черных валенка.

— А эти молодцы как сюда попали?

Дарья Леонтьевна молодо смеется.

— А от этих молодцов я жить пошла.

— Жить?

— Жить. Мне эти валенки в лесу дали. Первая премия в жизни. И вот жалко, никак не могу выбросить.

Дарью Леонтьевну прошибает слезой.

— Ох, как вспомнишь все свои стежки-дорожки, дак не знаешь, как и на сегодняшнюю дорогу вышла. Мне четырнадцать лет было, когда меня на лесозаготовки выписали. И вот раз прихожу в барак из лесу. «Новый год, говорят, Дарка, завтра у людей». Эх, думаю, и мне надо Новый год отметить. А как? Чем? У нас тогда, в войну, не то что хлеба, картошки-то досыта не было.

А давай, думаю, у меня валенки сухие в новом году будут. Положила в печь, легла на нары. Думаю, полежу немножко, выну. А проснулась утром — в бочку железную бригадир колотит. Я вскочила, к печи-то подбегаю, заслонку открываю, а у меня от валенок-то одни голяшки. Сгорели. Жарко, вишь, топили печь. Стены-то в бараках худые — к утру все выдует, куржак в углах-то, зайцы белые.

Я вся в слезах к начальнику лесопункта. Босиком. По снегу, как сейчас помню, — конторка напротив барака стояла. «Так и так, говорю, Василий Егорович, у меня валенки сгорели, что мне делать?» — «А что хошь делай, а чтобы к утру завтра была на работе. А то под суд отдам».

Пошла домой — восемь верст до дому. Из шубы маминой два лоскута вырезала, ноги обернула да так и иду зимой по лесу. Пришла домой, а что возьмешь дома? Катя, сестренка младшая, в детдоме, изба не топлена, на улице теплее.

Вот я села на крыльцо, плачу. Идет старичок, Евграф Иванович, конюхом робил. «Чего, девка, ревешь? — «Валенки сожгла. Начальник сутки дал, а где я их возьму». — «Ничего, говорит, не плачь. Пойдем ко мне на конюшню, что-нибудь придумаем».

Вот пришли на конюшню, тепло у дедушки, да я только села на пол к печке, прижалась, как к родной мамушке, и уснула. До самого вечера спала. А вечером меня дедушко Евграф будит: «Вставай, говорит. Ладно, нет, я чего скорестил». Я гляжу и глазам не верю: бурки теплые, эдакие шони из войлока от хомутов старых сшил.

Я надела бурки да до самого барака без передышки бежала. В лесу темно, разве звездочка какая в небе мигнет, а я бежу да песни от радости пою. Успела. Не отдадут под суд.

А через полгода, уж весна была, приезжает к нам сам. Секретарь райкома. «Говорите, кто у вас ударник». — «Дарка, говорят. Всех моложе девка, а хорошо работает». — «Чего хочешь? — говорит, это секретарь-то. — Чем тебя наградить-премировать за ударную работу на трудовом фронте?» — «А дайте, говорю, мне валенки». — «Будут тебе валенки. Самолучшие». И вот осенью-то мне валенки черные привез. Опять сам. Верный человек был. Раз уж что сказал — сделает.

Я долго их носила. Бережливо. Первые-то пять лет только как выходные, а потом уж и каждый день. Вот какие у меня эти валенки.

1974

ОЛЕШИНА ИЗБА

1

В лес мы выехали рано, в густом белом тумане, и новой дороги-лежневки, по которой гоняют тяжелые лесовозы, не видели.

Зато сейчас, освещенная вечерним солнцем, она была как на ладони. На пять, на десять километров летят вперед деревянные рельсы, сверкающей стрелой вонзаются в голубое небо на горизонте.

А по сторонам... А по сторонам война прошла. Бессчетные пни-надолбы, ежи-коряги, взрытая, вздыбленная земля, искромсанные, измочаленные ели и березы — вповалку, крест-накрест, как, скажи, поверженные в бою солдаты...

— Вот так строят дорогу-то в тайге, — назидательно заговорил молодой инженер Промойников, вместе со мной всматриваясь в страшный хаос вдоль лежневки, — каждый километр сражение. — И вслед за тем начал сыпать цифрами как из мешка. Все знал назубок: где сколько уложено плах, сколько кубометров вынуто грунта, сколько забито свай.

В автобусе было весело, шумно: молодежь ехала! Целый день валили ельник, целый день по пояс в болоте бродили, а только сели в автобус — и забыли про всякую усталь. Дремала одна лишь Капа-повариха. Она была уж немолода, да и трудно было ей вклиниться в разговор: на высокой волне перекатывался, а часто и без всяких слов, просто на одних выкриках да смехе.

Промойников, когда мы вылетели из угрюмого сыролесья на сосновые просторы — ах, сладкий ветер загулял по автобусу! — принялся было рассказывать про истоки стройки (в леспромхозе гордились дорогой!), но тут шофер вдруг звонко и дробно засигналил, круто остановил автобус и весело крикнул:

— Олешина изба! Перекур десять минут.

Пассажиры с криком, с гиканьем сыпанули вон.

— Давай и мы сойдем, — предложил, улыбаясь, Промойников. — Как же это быть в наших краях — и на Олешину избу не взглянуть.

Место вокруг было сухое, красивое. Кудрявые, пружинистые заросли пахучего можжевельника, розовый иван-чай в рост человека, сосны, старые, разлапистые, словно стадо разбредшихся мамонтов по беломошнику... А где же изба?

— А изба тута, — шутливо и явно дурачась, сказал Промойников.

— Да, да! Найдите-ка избу! — Нас окружили парни, девушки. Сам Пава Хаймусов, эдакий добродушный голубоглазый медведь, в бригаде которого (знаменитой, гремевшей на всю область!) я провел целый день, подошел к нам. С улыбкой — во всю ряху.

Я подумал, разыгрывают меня, ибо не то что избы, самого захудалого сараишка не было вокруг, но тут Промойников сжалился надо мной:

— Вон она, Олешина изба. — И указал на самую высокую сосну, горделиво маячившую на дальнем бугре.

Я вгляделся. Что-то вроде помоста, похожего на охотничий лабаз, бело отсвечивает в сучьях макушки, от помоста вниз вдоль ствола остатки какой-то веревочной лесенки...

— Изба, изба, — заверил меня Промойников. — Человек жил. Олеша Рязанский.

Пава Хаймусов с восхищением и даже с завистью, как мне показалось, сказал:

— Во какие люди были у нас, товарищ писатель! Вместях с облаком да с птицей парили. Вот бы роман написать.

— Не, лучше кино, — поправил его чернявый длинноволосый парень.

— А что, можно и кино, — охотно согласился с ним Пава. — Тут, бывало, два ворона ране жили. Завсегда, когда едешь, по сторонам этой сосны сидят. Как, скажи, все равно на страже.

— Бывало, рабочие в эту делянку утром едут, — раздался еще один восторженный голос, — а он, Олеша-то, только просыпается, только облака с себя сгоняет...

— Кто, кто просыпается?

К нам подлетела Капа-повариха. Вмиг всех растолкала, разметала, парню говорившему кляп с ходу:

— Не плети! Просыпается... Да когда люди-то на работу едут, он уж наробился. Пять норм давал але боле — когда ему было спать-то?

— Да уж когда-то спал.

— Помолчи, коли ничего не знаешь. Когда Олеша-то жил? Ты ведь о ту пору у мамы в брюхе играл, нет, а то же про Олешу речи говорить.

Сконфуженный, поднятый на смех парень рта больше не раскрывал. Да и остальные не перебивали Капу. Зубов нету, всего два клыка спереди, а не переговорить. За обедом в делянке я попытался было вызвать на разговор рабочих — ничего не вышло. Всех под себя подмяла.

— У-у, Олеша-то тут расправлялся с пеньями да с кокорами*, — затараторила снова Капа. — Как леший! Люди машиной, бульдозером — нема дураков жилы рвать, а он — ломом, слегой. «Олеша, не надорвись! Олеша, побереги себя!» Похохатывает только: «У меня застой в крови делается на машинке-то! Я чаду карасинного не люблю!» Один, один пять заданьев вымахивал. А получка-то придет! Денег-то получает! Карманы рвет. В магазин зашел: «Ну-ко мне ящичек вина».

— Ящичек?!

— Вот это аппетит!

— А чего! Што бутылками-то покупать — только ноги наминать. Ему бутылка-то как малому ребенку соска. Видала, как выпивал. Винтом бутылку раскрутит, потом другую, третью, в себя выльет как в ведро, да и пошел. Рюмку ставь на голову — не всколыбается. Как по струночке ходил.

— А говорят, с вина сгорел...

— Кто сгорел? Олеша-то сгорел? Сам-то ты не сгори! Та, курва черноглазая, сгубила. Ксаночка с Украины...

С лежневки уже в который раз доносились нетерпеливые позывные — кончился перекур, и Промойников, видимо, не без влияния Капиных россказней, закричал не своим голосом:

— По коням!

В автобусе нас поджидал уже новый пассажир — плешивый, с рыжей бороденкой старик, сторож склада

* Кокоры — коряги, выворотни.

с горючим, который находился где-то тут поблизости, в старом песчаном карьере. Едва расселись, как он заговорил:

— Ты, Капа, не курсиводом ноне?

— С чего? — удивленно округлила глаза Капа.

Старик хохотнул:

— А я думал, свистишь про Олешу, должность новую дали.

На старика обрушилось со всех сторон: заткнись, мол! Не порти песню.

— У нас так, — сказал мне на ухо Промойников, — Олешу не тронь. — И кивнул эдак небрежно Капе: — Давай, Капитолина, повествуй.

Капа поломалась самую малость. Свыше всяких сил было для нее молчать. А кроме того, с этой Ксаночкой, «курвой черноглазой», о которой она начала рассказывать еще в лесу, у нее наверняка были какие-то личные счеты.

— Помню, как к нам заявилась, — брезгливо сморщила она свое худое носатое лицо. — Приехала за длинным рублем, думала, тут денег-то как щепы — лопатой загребай. А увидела, что надо в лесу мерзнуть да до пояса в снегу бродить, она и запоглядывала по сторонам: кому бы на шею сесть. А тут он, Олеша. Денег мешок, и сам простота. Вот она и давай орбиты вокруг его делать.

— Девка исправна была. Одни глаза чего стоят... — Это опять сторож подал голос.

— Чего исправного-то? Глаза... Да глаза-ти эти, я не знаю, как головешки черные. — У самой Капы глаза были пронзительно светлые, с бутылочным отливом. — Да этими глазами-то, ежели хочешь знать, она его и съела. Все как из погреба темного выглядывает. Уж не скажешь, что у ей на уме... Ну вот, добилась своего: перетащила к себе Олешу. Не надо больше в лес ездить. Сиди у окошечка да пощелкивай орешки. По ей такая работка. А Олеша какой месяц пожил в ейном раю, да дай бог ноги. Шагу ведь не ступи — за каждым поворотом глаз. Не выпить, ни с товарищами пройтись. Вечером она его у машины ждет. Прямо из кузова да под белы руки. Как рестанта под конвоем домой повела. А уж насчет денег и не говори — все до копейки отберет. На курево не оставит. Ну вот, Олеша терпел-терпел да и сбежал. Опять в общежитие ушел. А потом и в лес, на сосны.

— Как на сосны?

— Дак избу-то разве не видел? Чего ему на дереве-то жить, кабы на земле можно? Из-за Ксаночки распрекрасной. Разве от ей в общежитии укроешься? Она в партком, в рабочком, к директору: вернуть! Не имеешь права, раз со мной дело поимел.

Опять встрял старик:

— Ну ты, Капа, и брехать. Да он эту избу-то знаешь когда построил? Когда пни корчевал. Чтобы передох от комара иметь...

— Не плети! Кто это от комара на дереве передох ищет? Все бы лазили. Ксаночка, черные очи, его довела. Говорю, все ходы и выходы знала. Может, еще до Олеши не одного вокруг пальца обвела. Вот он пометался-пометался, туды-сюды кинется: в общежитие, на фатеру к товарищу — все перехват, везде достала. «А ну-ко, достань меня на сосне!»

— Догадался-таки! — Пава Хаймусов радостно пробасил.

Капа хмыкнула:

— Догадаешься — жить захочешь. Ну все равно она и в лес тропку проторила. Прибежит это к сосне, заблеет как коза: «Олеша, пусти меня к себе...» А Олеша наверху только хохочет: «На кой ты мне сдалась!» А то опять закричит оттуда как ворон: «Лезь ко мне на небеси, коли жить без меня не можешь!..»

— Прямо как в былине! — сказал Промойников. — Ей-богу!

За окнами, красными от вечернего солнца, закачалась окраина поселка: знакомая кузница с высокой железной трубой, механические мастерские, первые жилые дома... Потом, откуда ни возьмись, огромный порожний тяжеловоз навстречу, и сразу затемнение — пылью, гарью накрыло наш автобус.

Меня не на шутку заинтересовал Олеша, и в тот же вечер я решил поговорить со старожилами. С теми, кто знал его лично.

2

В наше время на глубинке в большом ходу словечко «образцовый». Образцовая квартира, образцовый дом, образцовый поселок...

Так вот, Семена Михайловича Ковригина я назвал бы образцовым пенсионером. Здоровья отменного, ма-

линового, ни тебе жира лишнего, ни тебе худобы стариковской; вина не пьет, не курит, активист-общественник и труд — основа. Я застал его за уборкой зеленого дворика, который и без того был расчищен и расчесан — травка к травке.

Семен Михайлович, человек в районе известный, привык к вниманию и почестям, и, когда я сказал, что вот я, писатель, интересуюсь Олешей Рязанским, он нисколько не удивился, а спокойным и деловым тоном спросил, какой орган я представляю и как собираюсь освещать данный вопрос.

— Да пока еще не знаю как, — чистосердечно признался я. — Просто по-человечески интересуюсь.

Семен Михайлович явно не ожидал от представителя советской прессы такой несерьезности, и дело, как говорится, взял в свои руки с первой минуты.

— Ну прежде всего, — заговорил он наставительно, — с этим мифом насчет Титкина надо кончать. — Он так и выразился: «с мифом».

— Простите, но меня интересует не Титкин, а Олеша Рязанский.

— А никакого Олеши Рязанского у нас и не было. Олеша Титкин был.

— Как Титкин? — Я и представить себе не мог, чтобы у человека, о котором я столько наслышался сегодня, была такая дурацкая фамилия.

— А вот Титкин. У меня на участке работал—я прорабом был. А это уж после его под Олешу-то Рязанского раскрасили. — Семен Михайлович нахмурился, махнул рукой. — Все у нас через пень-колоду. Настоящих организаторов производства да стахановцев не помним, а пьяницу да хулигана подняли. — Он помолчал и еще более определенно сказал: — Недоработка общественных организаций. Я тут весной ставил вопрос на парткоме, когда меры насчет пьянства вырабатывали. Вырвать, говорю, надо с корнем этот культ Титкина, собрания среди молодежи провести, а то все наши разговоры — пьянству бой — так разговорами и останутся.

Я наконец собрался с мыслями и, защищая Олешу, сказал, что у некоторых старожилов поселка несколько иное мнение об этом человеке.

— У каких это у некоторых? — строго вопросил Семен Михайлович. — А-а, дак это Капочка вас просветила! Когда из лесу ехали. Ну это она может — хлебом не корми, а дай языком почесать. У нее и отец, бывало,

сказками кормился. Все в лес с топорами да с пилами, а он налегке. Евонно дело сказки да побаски по вечерам рассказывать. Первый скоморох по нашим местам был. А Капка эта... Черпаком бы своим лучше работала, а то ведь ейна еда поперек горла. Голодная собака и та подумает, прежде чем ейну котлету в рот взять.

Относительно Капиных обедов Семен Михайлович, пожалуй, был прав, я сам убедился в этом, но я снова возразил Ковригину. Я сказал, что об Олеше Рязанском (я упорно называл его так) есть и другие суждения.

— Например? — опять тоном судьи спросил Ковригин.

— Например, главного инженера Промойникова.

— Валерия Логиновича? По части производственной характеристики воздержусь, поскольку сам, хоть и с техникумом, семь лет инженерил. А в кадровом вопросе товарищ Промойников хромает — на это ему и на парткоме указывали, и в положительном плане я бы характеризовать его не советовал.

— Ну хорошо, хорошо, — начал я уже горячиться. — Промойникова мы покамест оставим в покое. А что же такое Олеша? Вот вы знали его, под началом у вас работал... Пять норм, говорят, давал...

— Давал, — подтвердил Семен Михайлович.

— Значит, производственник что надо?

— Производственные показатели у него были. А моральные? Моральные — минус. А раз моральные не на высоте, — заключил Семен Михайлович, — то и на производственных отражается. — И далее с присущей ему обстоятельностью, с загибом пальцев стал перечислять Олешины грехи: пьяные кутежи, в которые нередко втягивалось все общежитие, скандалы в семье, безобразные выходки в отношении как своих товарищей, так и лиц руководящего состава (выражение Ковригина)...

И я не сомневался: все правильно; все это наверняка водилось за Олешей, но почему-то мне больше не хотелось слушать Семена Михайловича, и, когда он, извинившись, вдруг засобирался в дом, чтобы принять лекарство — время подошло, — я с радостью с ним распрощался.

3

Сколько за последние двадцать-тридцать лет выросло лесных поселков на Севере! Не пересчитать. Но везде одно и то же: окрест, куда ни глянешь, лес синей стеной, а сам поселок — пустыня песчаная: под корень, до единого деревца вырубают сосну и ель, когда начинают возводить дома.

Ропша, к сожалению, не исключение. И когда я вышел за ворота чуть ли не единственного зеленого, благоустроенного дворика, мне показалось, будто я в раскаленное пекло попал — таким жаром дохнула на меня вечерняя улица.

Но я ожил в этом пекле. Я снова задышал полной грудью. И все мне было занятно и любо в этот вечерний час: и яростно наигрывавшая где-то на окраине гармошка, и звучное хлопанье волейбольного мяча, и бездомные, грязные, еще не вылинявшие собаки, валявшиеся возле мостков, по которым я шел. И я шел беспечно, без единой мысли в голове, и так бы, наверное, прошел весь поселок, да меня вдруг окликнули:

— Куда правишь? Поворачивай на перекур!

Я повернул голову на голос — и вот картина: улыбающийся, высветленный вечерним солнцем старик на низеньком крылечке. Нога на ногу, во рту папироска, и дым голубыми лентами. Как из пароходной трубы.

Я не стал дожидаться вторичного приглашения — люблю людей, которым жизнь в радость!

Липат Васильевич, как он сам сказал, наблюдал за чудом природы — за солнцем, которое в это время садилось в пылающий сосняк за поселком.

— Спиримент делаю, — уже более конкретно пояснил он. — Бывает, нет у него стыковка с домом Петруши Лапши. — И вслед за тем старик, как бы приобщая меня к своему занятию, вытянул палец: туда, мол, смотри. Там дом.

— Чего опять выдумываешь? Какой еще спиримент? — Из сеней, громыхая ведрами, вышла старуха, высокая, полная, с миловидным лицом.

— Эка ты баба, — поморщился Липат Васильевич. — Сказано тебе, береги нервные клетки. Не восстанавливаются.

— Не заговаривай, не заговаривай зубы. Лук поливать надо. Небось сам-то кажинный день ешь-пьешь.

Липат Васильевич вздохнул:

— А беда с этим луком. Говорят, у нас наука крепкая. Чего там ученые думают? Взяли да спарили бы этот лук... ну хоть бы с сосной... — Старик захлопал глазами: сам не ожидал такого поворота в своей голове.

— Вот-вот, поливать не надо. А сосну-то грызть будешь?

— Дак, ты думаешь, с какой сосной-то? С деревом? Которое на дрова рубим?

Липат Васильевич глянул туда-сюда, быстрехонько вскочил, вырвал у хлева, напротив, полузасохшую хвощинку — благо там этого добра хватало, — поднес ее к глазам жены:

— Вот с какой сосной-то! Поняла? А ты по своей бабьей дурости хватила... Еще возьми не то телеграфный столб...

Надо полагать, наглядность, с которой разъяснял свою идею Липат Васильевич, сделала свое дело. Во всяком случае, старуха уже без прежней категоричности сказала:

— Плети.

— Да чего плети-то? Люди на Луну забрались, а тут эка невидаль... Мичурина нету, — вдруг озабоченно покачал головой Липат Васильевич, — а то бы он, мужик-то, давно уж курс дал. Ведь это что делается в данный вечерний момент, дак и сказать нельзя. Вся Россия бренчит ведрами на огородах. Как, скажи, в бывалошные времена, при царе Горохе... Ну да ничего, справятся. Новую породу скота потруднее выводить было.

Старуха пытливо посмотрела на старика и недоверчиво спросила:

— Это какую еще новую?

— Молочно-медвежью. Медведя с коровой случили. Чтобы, значит, зимой не кормить, а то сама знаешь: все кормов нету...

— Тьфу, лешак старый! — рассердилась старуха. — Я стою, уши развесила... Кабыть от его, враля, когда путное слово услыхаешь! — И она, подхватив ведра, пошла на огород.

Довольнехонький Липат Васильевич проводил ее взглядом до калитки на задах, а потом со вздохом показал на закат, на алую шиферную крышу, за которой скрылось солнце:

— А спиримент у меня опять не вышел. Ну да ничего, в другой раз подкараулим. Рассказывай. — И на

меня уставились размытые временем, но такие живые, любознательные глазки. — Говори, что на свете деется. Я все тут приемничек маленький крутил — зять весной в отпуску был, оставил, — а теперь батарейки сели — на послушном корму живу, кто чего скажет... Да ты, может, чаю хочешь? — вдруг одумался старик. — У меня моментом это. С чаю надо начинать-то. С угощенья. Так, бывало, гостей на Руси встречали. Сперва напой, накорми, в постель уложи, а потом выспрашивай.

Я от чая отказался и разговор перевел на Олешу.

— Олеша? Был ли у нас Олеша? — Старик оторопело посмотрел на меня. — Да ты спросил еще, Сэсэрэ у нас але Америка.

— По-разному говорят, — уклончиво сказал я.

— Кто говорит? А-а! — вдруг догадался старик и остервенело сплюнул. — Никого-то слушаешь. Ковригина! Да его бы воля, он не то что Олешу, солнышко бы прикрыл. Больно ярко светит.

— А Олеша светил?

— Ну что ты! Вот из того же косья, из того же мяса, да? Естество природы. А радости-то, веселья сколько вокруг его! Бывало, хоть то же пеньё корчевать... Да кто оно рад надрываться, в болоте целый день ползать. А ведь с ним-то, с Олешей, — праздник. И чем кокора страшнее да толще, тем ему лучше. Задора больше. А сосну, ель свалим! Мы втроем да впятером — всем гамозом тащим. А он — один. «Мне бы, ребята, только за дерево взяться да чтобы под ногами твердь была». Как Микула Селянинович...

— Здоровый был?

— Здоровый. Паву Хаймусова знаешь? Ну дак вот, капля в каплю. Только ростику вроде как поменьше был. Да нет, — пренебрежительно махнул рукой Липат Васильевич, — чего я говорю. Нашел что сравнивать — телеграфный столб с мешком картошки! Пава... Чего Пава? Лес-от каждый дурак умеет мять. А ты жизнь проживи с забавой. Людям оставь что вспомнить. А ведь Олеша-то!.. Бывало, дело весной, к Первому маю подходит. Вина нету — все за зиму прикончили. А разве мы не люди — с сухим горлом в праздник? «А давай, ребята, за моря-окияны». И верно, что за моря-окияны. Все разлилось — реки, ручьи, болото. До району двадцать пять верст — лучше и не думай. Все равно проберется. Ничего не удержит. За каку реку на бревне, за каку вплавь...

— Вот из-за вина-то он, говорят, и погиб, — заметил я.

— Кто, Олеша-то из-за вина? Да слушай ты — наговорят. Из-за вина... Ксана Григорьевна его подкузьмила, с ней у парня-то лады не получились.

В эту минуту на задах появилась старуха, и Липат Васильевич, прицокивая, прищелкивая языком, запел, как тетерев на токовище:

— Ну, баба, ты как аленький цветочек у меня, как маргаритка прекрасная! А еще не хотела на вечерний моциён...

— Сиди! — Старуха издали погрозила ему кулаком, но к нам подошла довольная, умиротворенная. — Чего опять заливаешь? Как у него, не знаю, и язык-то не заболит — с утра до ночи молотит.

— А есть, есть, баба, маленькая натуга в языке, это ты верно подметила. Ну только не кончено заседанье, не вся истина выяснена...

— Истина от тебя, — рассмеялась старуха. — Истина-то тебя, как чуму, обходит стороной.

— А вот и не угадала, Марья Тихоновна! Об Олеше толкуем.

— Это об том пьянице? — удивилась старуха. — Ну дак вам об нем ночь толковать не перетолковать.

— Да пошто ты так-то, Марья Тихоновна? Ты ведь у меня золото, а люди подумают — ржавчина...

Шутку старуха, однако, не приняла. Встала, подхватила полнехонькие ведра, с которыми вышла с огорода, прошла в сени. Липат Васильевич все в том же скоморошьем духе крикнул ей вдогонку:

— Так-так, баба! Ставь самовар, а то мы с тобой как нехристи — заморили гостя.

Я опять стал было отказываться от чая, но старик меня успокоил:

— Ладно, насилу за стол не посадим. Я сам весь, как летом в засуху ручей, пересох. А насчет Олеши, — заговорил он без всякого напоминания с моей стороны, — вранье. Когда нам было пить-то? Заданье в те поры — сам знаешь! Одним топором да «лучком» кубиков больше давали, чем теперека всема тракторами да техникой. Раны войны залечивали... Ну, конечное дело, когда доберемся — дадим копоти. А Олеша, он Олеша и есть: во всем первый. Денег наполучает — охапкой несет. Много зарабатывал — пять норм выгонял. Да и получки-то у нас тогда раз в три месяца были — все де-

нег в банке нету. Ну и куда девать такие деньжища? Теперека, к примеру, — телевизер, машину куплю, так? А тогда что? А, давай вино! Ящики накупит, штабеля в общежитии наставит. Ну и начальство не по шерсти: график срывается. Да! Кабы он, к примеру, один за это вино сел — ладно. А то ведь он конпонейский. Я гуляю — и вся бригада гуляй, все общежитие. Простяга человек! Ничего не жалко. Последнюю рубаху с себя снимет.

Вот его и начали прижимать: «Кончай, Олексей». Раз сказали, два сказали, а на третий с милицией: «Выметайся из общежития!» — «Кто выметайся? Я? Да плевать я хотел на ваше общежитие! Да я себе такое общежитие отгрохаю, какого белый свет не видал». Ну вгорячах-то да спьяна-то и махнул в лес — залез на сосну...

— Так все-таки с пьянки все началось? — опять перебил я старика, ибо не сомневался, что вместе с Олешей сейчас же залезет на сосну и он сам, а раз залезет — прощай трезвый разговор.

— Да с чего! — недовольно отмахнулся Липат Васильевич. — С пьянки, с пьянки. Все у них с пьянки. Ясное дело, что не тверезый же полез на дерево, да это так, я думаю, для куражу больше, а главная-то у него несработка с начальством по другой линии вышла. С бензином парень-то общего языка не нашел.

— С бензином?

— Ну! После войны все хребтиной да топором — так? А тут — раз в наши леса трактор. «За руль, ребята!» — команда. А за рулем больно твоя сила нужна? Видно за рулем твою силу? Вот он, Олеша-то, и зашалил. Обида. Привык во всем первым, на самом юру, а тут какая-то сопля, оттого что руль в ту, в другую сторону поворачивает, — на Доску почета. С этого, с этого Олеша пошел под откос.

— А Ксана Григорьевна?

— Чего Ксана Григорьевна? — искренне удивился старик. — А, это насчет неладов-то у них. Были, были нелады. Да ерунда! С коих это пор курица орла заставила кудахтать? Ты ежели насчет этого бабьего вопроса интересуешься, дак пойди ко Климентьевне. К старухе, у которой она жила. Та все тебе как есть распишет.

— А не поздно сейчас?

— Это, ты думаешь, она спит? Да с чего? У ей дав-

ленье в крови, она только ночь-то и жить начинает. Козешку держит — разве ей до спанья? А то скажи, ежели что — от Липата направленье имею, живо откроет. Сродственница мне. Ну только я тебе так скажу: лучше меня тебе никто про Олешу не скажет. Он ведь, бывало, мимо идет, завсегда свист подаст. А в лесу-то, когда на свою сосну заберется! Как соловей-разбойник засвищет... Прямо мурашки по коже, ей-богу...

Хорошо было сидеть с Липатом Васильевичем. Я мог до утра слушать его игривое слово. Но хотелось послушать и других, близко знавших Олешу.

— Ну раз так, — неохотно согласился со мной старик, — иди. Азимут известный: все прямо, прямо по мосткам, до самой закрайки — как раз в хоромы Климентьевны упрешься.

4

Подворье Климентьевны мог назвать хоромами только такой игрун-говорун, как Липат Васильевич.

Все шли дома как дома — одноэтажные, двухэтажные, индивидуальные, коммунальные, щитовые, из бруса — и вдруг избушка на курьих ножках, лужок зеленый вокруг.

Откуда? Из какой сказки залетела сюда?

Все оказалось просто: избушка уцелела от старой деревни, на месте которой вырос поселок. Жители Ропши без всякого сожаления расстались со своими нескладными, обветшавшими за войну постройками, а Климентьевна, одинокая престарелая старуха, — что могла? Вот и торчит по сей день допотопная лачуга на окраине современного поселка.

Белая ночь, уже подрумяненная утренней зарей, застыла над кособокой избенкой, а во дворе, кое-как прикрытом жердяной изгородью, пощипывала травку белая коза. Колодезный журавль, приподняв старую голову, невесело смотрел на меня из-за ветхой тесовой крыши, густо поросшей зеленым мхом...

Климентьевна — точно сказал Липат Васильевич — не спала. Она сидела на утлом крылечке и вязала осиновые веники. Для козы.

Ко мне старуха поначалу отнеслась недоверчиво, да и немудрено: кто из путевых людей ходит в гости по ночам? Я сослался на Липата Васильевича — тоже не

очень помогло. Но стоило мне упомянуть имя Ксении Григорьевны — запоры передо мной пали.

— Передохните не то со старухой. В ногах правды нет. — И старой, задеревенелой рукой разгребла для меня место на крыльце, напротив себя. — А откуль вы Ксану-то Григорьевну знате? — осторожно начала выведывать старуха. И при этом еще и глазами старыми из-под очков, сколько могла, прощупку делала.

Я не стал крутить. Прямо, без всяких обиняков сказал, что собираюсь написать историю здешнего леспромхоза и вот интересуюсь Олешей, о котором тут, в поселке, полно всяких былей и небылиц.

— О, вот вы из каких людей, — сразу потускнела старуха. — В газетах которые пишут. Ну дак тут я вам не помощница.

— Да почему, бабушка?

— А не привыкла, батюшко, на смех-то людей выставлять. Сроду худого слова ни про кого не сказывливала. А Ксана Григорьевна мне заместо андела земного была. Дочи родная такой заботы о матери не имеет...

— Хороший, значит, человек?

— У других, у других, батюшко, пытайте, — опять отклонила мои домогания старуха. — Кто грамотный да головой крепкий.

— Да другие-то знаете что говорят? Ксану Григорьевну во всем винят. Она, говорят, Олешу погубила.

Вот с этой минуты у нас и пошел откровенный разговор. Роднее родни, дороже всех на свете была Ксана Григорьевна для этой горемыки, не имевшей собственных детей, и могла ли она дать ее в обиду?

— Враки, враки все! — обеими руками замахала Климентьевна. — Да у кого только язык повернется такую понапраслину сказать. Уж она-то, бедная, побилась с ним! И лаской, и таской, и не знаю как — всем, чем могла, привораживала. Знаю ведь, на моих глазах было. У меня жили.

— И Олеша у вас жил?

— У меня. По-теперешнему бы сказать: жилье молодым давай — комнату але фатеру. Оба на хорошем счету у начальства: Ксана Григорьевна повар, тот по лесу первый. А в те поры койке в общежитии были рады, семейные за занавеской жили. Ну вот и стали у меня жить. Однежды Ксана Григорьевна прибегает, на танцах была: «Тетечка Груня, — все меня тетечкой зва-

ла, — ставь самовар, я взамуж выхожу». — «За кого, говорю. За Олексея Михайловича?» А Олексей Михайлович из здешних, хороших родителей сын, служащий, в конторе сидел. Все ей провожал. «За Олексея, говорит, да за другого. За того, который всех сильнее да всех красивше». — Что ты, что ты, говорю, девка!» А я сразу догадалась, о ком она, — видала, тоже подхаживал к моему домику. «Этот Олексей, говорю, тебе неровня, у его, говорю, все вино да товарищи на уме будут...» Головой тряхнула: «Ничего, у меня про все забудет — и про вино, и про товарищей». Да шасть двери нараспах. А там уж он, жених, стоит. Ну что, кричать не будешь. Да и кто я ей, кричать-то. Не родная мати. Вот так у меня Ксана Григорьевна и надела на себя хомут...

К крыльцу подошла коза и, вытянув шею, вопросительно уставилась на меня зелеными глазищами.

— Что, Милка, — сказала Климентьевна, — на дядю незнакомого пришла взглянуть? Але про Ксану Григорьевну услыхала — козья душа затомилась? Оченно ндравилась нам Ксана Григорьевна, чуть не за стол нас сажала...

У меня глаза на лоб полезли: да сколько же этой животине лет, ежели ее еще Ксана Григорьевна баловала?

Климентьевна от души рассмеялась:

— Нет, нет, скотинка невековечна. О третьем годе Ксана Григорьевна к нам приезжала, как раз у Милки тогда рожки прорезались, обо всё их вострила... Двадцать лет не бывала. Могилку проведать приехала. Да не одна, а с мужем, с внуком... А у людей язык поворачивается... Вся тут уревелась да уплакалась. «Ой, тетечка Груня, что они, паразиты, с могилой-то сделали?» А чего сделали? Пьют. Всё — и могила, и возле могилы, — всё в битом стекле. Я схожу, сколько могу, поразгребаю, а после воскресенья опять воз битых бутылок. Все поминают того, пьяницу.

— Олешу?

— Кого же больше. — Климентьевна нахмурилась, пожевала беззубым ртом. — Ну, я Ксану Григорьевну тоже не хвалю. Муж уважительный, глаз с ей не спускает, внучек: баба, баба, сама век самостоятельная... А тут нашла о ком горевать. «Хорошо, говорит, тетечка Груня, живу, не пообижусь. Муж не пьет, дети большие, выучены, а я, говорит, оставила в здешних лесах сердце, все Олешу забыть не могу...»

— Любила, стало быть, — заметил я и спросил, нет ли у Климентьевны фотографии с Олешей и Ксаной Григорьевной или хотя бы фотографии одной Ксаны Григорьевны.

Старуха запетляла:

— Была где-то у меня карточка, была. Ну тольки где ей сейчас искать? Может, в анбар вынесла, а может, Поля Васина взяла — всё просила, с Ксаной Григорьевной вместях в столовке робили...

В общем, не хотелось старой показывать фотографию: а вдруг это обернется против ее любимицы, — и я повернул опять к прошлому.

— Жили, попервости ничего жили, худа не скажу. Все до копейки домой приносил. Шафоньер завели, кровать светлую купили, теперь у меня стоит, ему, ей справу справили, матери деньги стали посылать — тоже ведь и он не без матери, с южных краев родиной, а потом раз с товарищами выпил, другой выпил, третий... Да повело, повело, что и домой дорогу забыл. — Климентьевна подумала немного и дала всему этому должную оценку: — Век по общежитиям, воля вольная, вино, товарищи — чего ждать хорошего? Ксана у меня плачет, ночами не спит. Перед людями стыдно, домой ехать надо — родители молодых ждут. А у него на уме пьянки да гулянки. Все, чего нажили, пропил. В одной парусинке остался; даже, скажи, рубахи нету, голое тело... Да... Потом чего-то сделалось — вот ведь вино-то без просыпу пить — в лес убежал. Спанье из досок сделал, на сосну залез... Поезжай, говорю, девка, домой: сосну не согнуть, и тебе Олексея не переделать. Плачет. «Уехала бы, говорит, тетечка Груня, да его жалко, с голоду помрет...» И вот наварит, напарит всего да в лес — Олексея кормить. А Олексей еще изгиляется, на весь лес кричит: «Знать тебя не знаю, ведать не ведаю...» Ксана Григорьевна, андельская душа, и тут его оправдывает: «Это, говорит, не он кричит, а болезь...» Помер к осени. Кто говорит, с сосны пьяный свалился, кто — замерз, а кто — друзья-товарищи пособили. Иван Мартемьянович, охотник здешний, слыхал: всю ночь, говорит, кто-то в той стороне кричал...

Я прожил в Ропше больше недели. По заданию редакции я быстро, за два дня, смастерил очерк о Паве Хаймусове и его бригаде, а все остальное время кружил

вокруг Олеши, расспрашивая все новых и новых людей. И люди, самые разные, даже такие, которые вовсе и не знали его, взахлеб, с восторгом говорили о нем. Как о своей самой большой знаменитости. И, помнится, я тогде, в те дни, ломал голову, да и теперь нередко задумываюсь: почему? Чем так полюбился жителям Ропши этот полуграмотный и не очень праведной жизни парень? Почему именно о нем сотворили легенду?

1975

ЗОЛОТЫЕ РУКИ

В контору влетела, как ветер, без солнца солнцем осветило.

— Александр Иванович, меня на свадьбу в Мурманск приглашают. Подруга замуж выходит. Отпустишь?

— А как же телята? С телятами-то кто останется?

— Маму с пенсии отзову. Неделю-то, думаю, как-нибудь выдержит.

Тут председатель колхоза, еще каких-то полминуты назад считавший себя заживо погребенным (некем подменить Марию, хотя и не отпустить нельзя: пять лет без выходных ломит!), радостно заулюлюкал:

— Поезжай, поезжай, Мария! Да только от жениха подальше садись, а то, чего доброго, с невестой перепутает.

Председатель говорил от души. Он всегда любовался Марией и втайне завидовал тому, кому достанется это сокровище. Красавицей, может, и не назовешь и ростом не очень вышла, но веселья, но задора — на семерых. И работница... За сорок пять лет свои такой не видывал. Три бабенки до нее топтались на телятнике, и не какая-нибудь пьяная рвань — семейные. И все равно телята дохли. А эта пришла — еще совсем-совсем девчонка, но в первый же день: «Проваливайте! Одна справлюсь». И как почала-почала шуровать, такую революцию устроила — на телятник стало любо зайти.

Мария вернулась через три дня. Мрачная. С накрепко поджатыми губами.

— Да ты что, — попробовал пошутить председатель, — перепила на свадьбе?

— Не была я на свадьбе, — отрезала Мария и вдруг с яростью, со злостью выбросила на стол свои руки: — Куда я с такими крюками поеду? Чтобы люди посмеялись?

Председатель ничего не понимал.

— Да чего не понимать-то? Зашла на аэродром в городе в ресторан — перекусить чего, думаю, два часа еще самолет на Мурманск ждать, ну и пристроилась к одному столу — полно народу: два франта да эдакая фраля накрашенная. Смотрю, а они и есть перестали. — И тут Мария опять сорвалась на крик: — Грабли мои не понравились! Все растрескались, все красные, как сучья, — да с чего же им понравятся?

— Мария, Мария...

— Все! Наробилась больше. Ищите другую дуру. А я в город поеду красоту на руки наводить, маникюры... Заведу как у этой кудрявой фрали.

— И ты из-за этого... Ты из-за этих пижонов не поехала на свадьбу?

— Да как поедешь-то? Фроська медсестрой работает, жених офицер — сколько там будет крашеных да завитых? А разве я виновата, что с утра до ночи и в ледяную воду, и в пойло, и навоз отгребаю... Да с чего же у меня будут руки?

— Мария, Мария... у тебя золотые руки... Самые красивые на свете. Ей-богу!

— Красивые... Только с этой красотой в город нельзя показаться.

Успокоилась немного Мария лишь тогда, когда переступила порог телятника.

В семьдесят пять глоток, в семьдесят пять зычных труб затрубили телята от радости.

1976

БАБИЛЕЙ

На этот праздник меня выволокла Евстолия. Подкатила эдакой лисой: «Конь, говорят, у тебя застоялся. Не хочешь до Юрмолы прокатиться? Мне бы к бабушке одной надо, за овечкой наказывала приехать».

Ну и как было отказать? Как сказать: нет? Соседка. За всем тащишься к ней: и за молоком, и за картошкой, и за луком. А грабли, вилы, косу — у кого взять?

На новеньком, еще не обкатанном как следует «Немане», запряженном в двенадцать железных лошадей («ветерок» мотор), мы быстро, за считанные минуты отмахали семь километров, вытащили лодку на песчаный берег — и в деревню.

И вот тут, когда мы вышли уже к баням на зеленый лужок да услыхали в деревне гармошку, Евстолия мне объявила:

— На веселье настраивайся. Не за овечкой ехали — на бабилей.

— На бабилей? На какой бабилей?

— На какой, на какой... Какой бывает, когда человек на пензию выходит.

— На юбилей?

— Ну. Так, наверно, по-ученому-то. Мы у пня выросли, нечто́ и понимам.

Я круто повернул назад: у меня дома работы всякой невпроворот, горы (только что из города приехал), даже трава вокруг дома не выкошена, а она на-ко что выдумала — по каким-то бабилеям ездить.

Евстолия проворно схватила меня за руку, слегка тряхнула (была у нее силенка, хоть на вид и рыхлая баба), затем, явно задабривая меня, с улыбкой сказала:

— Да ты разве сразу-то не понял, зачем я еду? Катерина, двоюродная сестра по мамы, на пензию на той неделе вышла. Пять десятков женке стукнуло. Наказала: приезжай, и никаких, а то и за родню признавать не буду.

И уже совершенно обезоружила, когда, вся полыхая кумачовым румянцем от смущения, неуклюже, переступая с ноги на ногу, повернулась передо мной:

— Смотри-ко, как я вся вынарядилась. Кто в таких нарядах за овцами ездит?

Мы вошли в заулок к Юшковым как раз в то время, когда там плясали под гармошку. Плясали всем скопом, всем застольем: бабы, девки, старухи, мужики, еще не пьяные, вывалившиеся на улицу, должно быть, первый раз. И плясали кто во что горазд. Кто, распарившись, одурев в избяной жаре, просто топтался на

месте, только поворачивался, помахивая платком, чтобы получше обдуло вольным воздухом, кто, наоборот, молотил ногами насмерть, точно он задался целью во что бы то ни стало срыть зеленый лужок в заулке, насквозь пробить в земле дыру, а кто — парни, мужики, которые помоложе, — жеребцами резвились вокруг молодой синеглазой бабенки с гладко зачесанной головой — сразу было видно, что она тут первая красавица.

И именно эта-то бойкая бабенка первой и увидела нас с Евстолией.

Увидела, подбежала, с ходу обняла Евстолию, а затем и меня:

— К столу! К столу! — закричала и, подхватив нас под руки, повела в избу.

— Вот сюда, вот сюда! На самое почетное место!

Столы, расставленные вдоль стен буквой «п», ломились от всякой еды, от печева, от морошки — я в жизни не видал такой отборной, такой зрелой ягоды да еще в таком количестве: тут она была полными тарелками, большими, как тазы, эмалированными мисками.

Как водится, нас заставили выпить по штрафной — дружно, всем застольем навалились, а молодая синеглазая бабенка — она села напротив нас — еще и присказку присказала:

— До дна, чтобы муха ног не замочила.

— А где сами-то хозяева? — спросил я на ухо у Евстолии.

— Чего, чего?

— Где, говорю, юбилярша да Гордя?

Евстолия голову откинула назад, залилась на всю избу.

— Да ведь он не узнал тебя, Катерина! — сказала она молодой бабенке. — Говорит, где хозяйка да Гордя.

— Молчи! — махнула рукой грузная, широколицая старуха в старинном повойнике с ярким парчовым донышком. — Я, суседка, и то не узнала, а ему чего дивья. Много ли он видал ей?

Я видал Катерину, видал не один раз и даже, помнится, леть пять-семь назад чай у них пил, но большая ли радость смотреть на деревенскую бабу, задавленную колхозной и домашней работой, ребятишками, мужем? А Гордя был гроза тот еще: муха не пролети в избе, когда он дома. Сам пьяница, работник — выше караульщика склада на моей памяти не поднимался,

инвалид глупости, как сам иногда подсмеивался над собой (гранатой левую руку еще в школьные годы оторвало), а так сумел поставить себя и в семье, и в Юрмоле, что все старались держаться подальше от него.

— Да, вот как тебя, сеструха, пензия-то подняла! — расчувствовалась Евстолия. — Хоть снова замуж выходи.

— Дак ведь пензия-то у ей не наше горе,— сказала Маланья, та речистая старуха в повойнике с золотым донышком, — не двадцать рубликов. А сто двадцать. Есть разница.

— Заслужила! — трахнул кулаком по столу Виталька-бригадир (крепко уже поднабрался: меня не признал).

— Заслужила, заслужила, Виталий Иванович, — начали со всех сторон соглашаться с Виталькой (дурной во хмелю!). — Знамо, что заслужила. Весь век с телятами.

— А где у тебя сам-то?

Не знаю, просто так, из любопытства спросила Евстолия или для того, чтобы отвести разговор от Витальки, но только при этом все заулыбались.

— А сам на повети! — весело ответила Катерина.

— На повети? Чего там делает? Деньги зарабатывает, пока жена гуляет?

— Молчи ты, — замахала руками Маланья. — С утра вином накачан, чтобы не ширился тут. Знаешь ведь его, слова никому не даст сказать.

— Ну дак вот ты, девка, из-за чего человеком-то стала — от Горди выходной взяла.

— Так, так, Толя. Из-за этого дьявола не видно было Катерины.

— Гордю не трогать! — вдруг опять рявкнул Виталька и пьяно заплакал.

— Не трогам, не трогам, Виталий Иванович, — опять перешла на елейный тон Маланья. — Заботы ей высушили. У тебя сколько их было, Катя?

— Ребят-то? Дюжина рожалась, а в живых семеро осталось.

— У-у, у-у, беда! — стоном простонал стол. — Ноне с одним-то не хотят валандаться, а она — дюжину!

— Да, я уж не видывала Катерину в простое. Все с брюхом!

— И правильно! Посуда не должна быть в простое.

На этот раз глотку Витальке заткнула Евстолия:

— Околей к дьяволу! Затем я семь верст попадала, чтобы твое рявканье слушать?

Катерина разудало крикнула — нарочно, конечно, чтобы не допустить ссоры за столом:

— Девки, мясо на стол!

— Смотри-ко, смотри-ко, сеструха, ты как командёр сегодня. У тебя и голос прорезался.

— В председатели надоть! — поддала жару Маланья. Она, когда выпьет, — гроза-старуха. — А то всю жизнь из-за моря телушку возим.

— Верно-о-о!

Тем временем две дочери Катерины — просто замухрыги невзрачные по сравнению с матерью, просто сухари постные против сдобной булки, хотя и с шестимесячным перманентом на голове, при золотых кольцах — культурные, в городе живут, — принесли с холода накрошенное в маленьких тарелках мясо, и Катерина, все время до этого улыбавшаяся — у нее и рот на удивленье был молодой, полон белых зубов, — вдруг взъярилась:

— Это чего вы принесли? Кошкам исть але людям?

Одна из дочерей с укором покачала головой:

— Красиво, больно красиво налакалась!

— А хоть и налакалась, не на ваши деньги. На свои!

— Мама, да ты с ума сошла! — Это уже другая дочь попыталась утихомирить разошедшуюся мать.

Катерина вскочила на ноги, стоптала ногой:

— Мой, мой сегодня день! Не вам командовать матерью. Живо у меня! В один секунд чтобы все мясо на столе было.

Донельзя изумленные, не привычные к таким выходкам, дочери кинулись исполнять приказание матери, а за столом — Виталька уже спал, зарывшись лицом в тарелку с рыбными объедками, — тоже что-то вроде оцепенения наступило.

Катерина вдруг расплакалась:

— Не дивитесь, не дивитесь, бабы. Я ведь отчаянная в душе-то!

— Ты-то, ты-то отчаянная?

— Ей-богу! Я ведь и Гордю-то сама на себя затащила.

— Что ты, что ты ничего-то мелешь! Это ведь ты своего потаскуна выгораживаешь, а у его в кажной деревне наследники да девки.

— Нет, бабы, не вру, — сказала Катерина. — На войну-то, помните, сколько от нас уходило? А сколько пришло? В очередь стояли. Как теперь в магазин на товары записываемся, так тогда на мужиков. Заявки давали. А уж какой товар, по душе, нет, не до выбора. Лишь бы штаны были. Вот ведь какое время-то было. Ну а я-то скурвилась еще в войну.

— Мама...

— Да чего — мама? — накинулась на дочь Катерины Маланья. — По-твоему, нельзя уж и о жизни сказать? Не человек мама-то? А ты-то сама на кровати чего с мужиком делаешь? Блох имашь? — И вдруг рассмеялась: — Не таись, не таись, Катерина. Я тоже ворота мужику девкой открыла. Вот те бог.

— Ну тогда и меня в свою компанию примайте. Моя крепость тоже осады не выдержала, — призналась Евстолия.

— Шестнадцать лет мне было, когда я по своему Гордеюшку-то сохнуть стала. Шестнадцать. Выписали на подсочку, смолу, живицу собирать, а он, Гордя-то, на участке за старшого. Смотрю, все грабятся за него — и бабы, и девки. А я чем хуже, думаю? Я тоже к тому времени различала, что штаны, что сарафаны. Вот раз встречаю в лесу. «Чего, говорю, ко всем липнешь, а меня стороной обходишь?» — «Да ты соплюха еще». А я и взаправду соплюха против его — двадцать семь мужику. Ну, отступать поздно, заело меня. «А ты спробуй, говорю, какая я соплюха». А он на смех: «Летай, летай, гулюшка».

— Сознательный был?

Катерина не очень весело рассмеялась:

— Сознательный. Шагов-то пятьдесят отошел, нет, от меня, да и назад. А через месяца четыре — чего у меня пояс не застегивается в прежнюю дырочку...

— Мама... — подала опять предостерегающий голос одна из дочерей.

— Да чего ты мне все рот-то затыкаешь? Ты, ты запузырилась у меня в брюхе! Да, вот какая я дура была, женки. Ну уж потом-то, когда поняла, попереживала я. Сережка — в седьмом классе вместе учились — с войны пишет: пришли карточку, другой парень — пришли. А я с брюхом, и меня брать не хотят. Ну тут уж народ, люди за меня вступились: «Что ты, говорят, рожа бесстыжая! Ребенка совратил да еще рыло воротишь». Взял меня Гордя. Второй женой...

На синих глазах разволновавшейся, разалевшейся Катерины навернулись слезы.

— Он ведь, дьявол, с продавщицей жил, с евонной матерью. — Она кивнула на гармониста, белобрысого крепыша в белой нейлоновой рубашке с черным галстуком. — Пять лет мы делили его с ей. У ей приманка надежная — вино, а у меня чего? Мне на какой привязи его держать? Ладно, — круто оборвала себя Катерина, — хватит слезы лить. Сегодня праздник у меня, а не причитанье. — И тут она выскочила из-за стола, лихо топнула ногой: — Играй!

Гармонист заупрямился: не буду, раз так про мою мать.

— Чего? Не будешь? Играть не будешь?

— Валерко, сволота! — Евстолия, добрейшая Евстолия так рассвирепела, что обеими руками вцепилась в братынь с пивом. — Ты кому это отговариваешь? Кто тебе матерь-то?

— Нехорошо, нехорошо, Валерий Гордеевич, — поддержала ее Маланья. — Не та матерь, которая родила, а та, которая вспоила да вскормила. А ты ведь, Валерушко, к Катерине-то начал бегать, как ножками заперебирал.

— Матерь вспомнил! Да твоя матерь только и знала, что за штанами охотилась. Сколько она нашего брата разорила, дак это и страсть.

— Так, так. Погань, а не человек. А ты-то, материн заступник, чего к ей дорогу забыл?

— Да, да! К кому ездишь-то! У кого отдых имешь кажинное лето?

— Да не один еще, а с робятищами!

Пристыженный, под орех разделанный бабами, Валерка нехотя растянул гармонь.

— Не покойника, не покойника провожаем! Играй, дьявол! — все с той же непримиримостью закричала Евстолия.

Затем сняла с головы платок, вытерла распаренное лицо, белую полную шею — душно было в избе, несмотря на то, что все окна были открыты.

— Вздумал за матерь заступаться. Знаем лебедушку — вороньи перья. Да я бы на Катерининном месте ни одного Гординого выб... на порог не пустила. Эта вот вся выставка-то за столом, — Евстолия, ни на каплю не сбавляя тона, очертила рукой широкое полукружье, — думаешь, механизаторы местные? Ни одного в

Юрмоле нету. Скоро всю деревню прикроют. Из города все. Гордина работа за тридцать лет. От пяти але от семи матерей, а то и боле. Добрый батько. Принимай, Катерина, все лето. Пой, корми, ублажай. А они все лето телеса на берегу жарят. Посмотри-ко, когда днем солнышко, лежбище в песку-то выбито. А то опять грибы да ягоды заготовляют. К осени-то в город поедут, со всех сторон обложатся корзинами да ведрами.

Валерку все же растрясли бабы — заиграл. Сперва, правда, — и у татьки дрова, и у мамки дрова, а потом разошелся. Катерина разожгла.

Видывал я за свою жизнь плясунов и плясуний всяких. И профессиональных, и самодельных. Да Катерина, если на то пошло, и вообще не была плясуньей — сразу было видно, в каких она отношениях с половицами: хлоп да скок, да притоп, да картошки мешок. Но столько в ней было молодого задора, такая резвость, такая неутомимость в ногах, во всем теле, так ладно, не по-бабьи выглядел ее стан, перетянутый узким черным лакированным ремешком, какие давно уже вышли из моды, такое счастье, такая синяя радость хлестала из глаз, что все притихли, все залюбовались ею.

— Смотри-ко, смотри-ко, — зашептала мне на ухо Евстолия, — ведь она с дочерями поменялась. Дочерям надо на пензию-то выходить, а не ей.

И это была правда. Старыми, несъедобными обабками выглядели дочери перед матерью, и только руки выдавали ее возраст. Большие, тяжелые крестьянские руки, черные, жиловатые, с обломанными ногтями, руки, которые за всю жизнь переделали видимо-невидимо всякой работы.

Какое-то время Катерина скакала одна, а потом выскочил к ней один пасынок, другой, третий... И стоном застонала изба. И что еще все сразу же заметили: Гордины сыновья так и едят глазами Катерину, так и льнут, так и липнут к ней: кровь взыграла в мужиках.

И в конце концов дочери не выдержали:

— Мама, мама, срамница! Не смеши ты людей-то, бога ради.

Катерина не по-бабьи, по-мужичьи топнула ногой:

— Цыц у меня! Мой сегодня день! Мой! Вы сколько в году-то пляшете, а я, может, первый раз за всю свою жизнь.

— Дуй, дуй, Катька! — выкрикнула Маланья.

И, раззадоренная этими выкриками, Катерина сама уже наддала жару:

— Молчать у меня! А то живо мужиков отобью.

Хохот грянул по всей избе. Проснувшийся Виталька-бригадир дико заорал:

— Протестую! Не имеете права!

Но людям было не до него. Всех захватило бесшабашное веселье, даже я под столом притопывал ногой, а потом, когда высыпали на улицу — невмоготу стало в распаренной, как баня, избе, — началось и совсем черт-те что. Маланья, старая квашня Маланья пошла в пляс.

— Не спи, не спи, гармонист! Заморозишь!

Катерина по-прежнему ни минуты не давала себе передыху. Три гармониста сменились за это время — у Горди все сыновья пилили понемногу, самые здоровые мужики сходили с круга, а эта тончавая бабенка в голубом платьишке, перетянутом черным лакированным пояском, все била и била ногами, и дешевенькое серебряное колечко ярко вспыхивало у нее на черной тяжелой руке.

Пляску прервал рев коровы на задах, которую, надо полагать, пригнали из поскотины.

— Ну, Малька, Малька, — сказала Катерина, тяжело переводя дух, — не дала ты мне досыта наплясаться. Пляшите! Я живо управлюсь.

— Да что ты выдумываешь-то? — сказала Маланья. — Есть у тебя девок-то. Немало. Неуж в такой-то день за матерь не подоят?

Катерина осталась — к корове пошли дочери.

— Играй! Выворачивай меха наизнанку! — распорядилась она.

Гармонист послушно запиликал, но тут уж взмолились все бабы:

— Хватит, хватит, Катя! Землю нам все равно наскрозь не пробить.

— Ну тогда по деревне. С песней! Как бывало.

Вечернее солнце за рекой садилось в тучу. И оттуда, с реки, доносились свои, железные песни — похоже, там с добрый десяток на разных скоростях рыскало лодок с подвесными моторами.

Обнявшись друг с другом, мы шагали двумя рядами по плотно заросшей дерном улице (в Юрмоле редко теперь проедет трактор или телега) и пели любимую Катерины — «Солдат вернется...».

Не радовала глаз Юрмола. Новой постройки ни од-

ной (лет пять уже запрещено всякое строительство), исправные дома тоже наперечет, а общая картина — разорение, распад деревни: заколоченные окна, захламленные, поросшие собачьей дудкой пустыри, на которых когда-то кипела жизнь, и старые-престарые избы с провалившимися крышами, в которых сутками напролет пировала птица мира...

Старая Маланья первая не выдержала — расплакалась:

— Не вернется, не вернется больше солдат в Юрмолу. Кончается родная дере́венка...

И тут все старухи и бабы, еще какую-то минуту назад предававшиеся беззаботному веселью, вдруг заголосили, завыли, как на похоронах.

Я, воспользовавшись всеобщей сумятицей, незаметно нырнул в заулок к знакомому мне дому.

Утром меня растрясла Евстолия:

— Вставай, дезертир! Вчерась бабы спохватились: где у нас писатель-то? А писатель, на-ко, на сеновал уполз — не сыпал бедный.

Я поднялся на великую силу, ибо заснул под самое утро. Одолели комары — три часа, наверно, с ними воевал: поветь была ветошная, дыра на дыре.

Над головой, за старыми вениками, висевшими с прошлого лета, кто-то, показалось мне, вроде как всхлипывал — жалобно, по-ребячьи, и я, натягивая куртку, озадаченно уставился на Евстолию.

— Дождик, дождик, слава богу, — сказала Евстолия.

— Дождик? — переспросил я и первым делом подумал, как мы будем добираться домой.

Умная Евстолия угадала ход моих мыслей:

— Ладно давай, не сахарные. Не размокнем. Надоть дождик-от. Может, хоть картошки сколько подрастут да какой гриб в лесу заведется.

Вскоре, слегка отмякнув под теплой грибной моросью, мы входили к Юшковым: Евстолия и слышать не хотела, чтобы уехать, не попрощавшись: «Что ты, не́люди мы, что ли. Знаешь, ей какая обида будет. Да и голову поправить надо. У меня раскалывается голова, не довезти до дому».

У Юшковых пили чай. Пять мужиков, шесть подростков-акселератов (те же, в общем-то, мужики, только

с пушком на верхней губе да пустыми рыбьими глазами), две дочери, три невестки и сам — на хозяйском месте, сбоку стола. Мрачный, с сивой всклокоченной головой, с пустым, обвисшим, как тряпка, рукавом мятой-перемятой рубахи, расстегнутой на весь ворот.

Подавала на стол Катерина — я узнал ее по серебряному колечку на тяжелой черной руке, а так — что осталось от вчерашней красавицы? Старуха. Какое-то выцветшее, обвисшее на боках платьишко с обтрепавшимся подолом, растоптанные, с обрезанными голяшками валенки на босу ногу, серый, в мелкую клетку платок, низко натянутый на глаза и повязанный вокруг шеи, концами назад.

Эта крутая перемена в Катерине поразила не только меня, но, видимо, и Евстолию, потому что она, такая учтивая, на этот раз позабыла и поздороваться при входе в избу. И только когда Гордя хмуро повернул к нам голову, не очень приветливо сказала:

— Хлеб да соль.

— Хлеба ись, — гаркнул пропитым голосом Гордя и вдруг с надеждой взглянул на меня.

Евстолия разразилась бранью:

— Кой черт глазища-то вылупил? Думаешь, у писателя-то бочки с золотом? Не писатель тебя должен угощать, а ты писателя. Не стращай, не стращай меня своим кощейным-то взглядом! — замахала руками вконец распалившаяся Евстолия. — Не испугалась. Не таких змиев на своем веку видала! Пойдем! — гневно крикнула она мне. — Кончился бабилей. — И, не попрощавшись, даже не взглянув на Катерину, выскочила из избы.

Заговорила Евстолия, когда мы перешли улицу да спустились к баням, от которых густо несло застарелым банным духом — дождь обостряет запахи:

— Ух, коль мне бедно на этого дьявола, дак я не знаю, чего бы с им сделала. Это ведь чего он на тебя глаза-ти распахнул? Бутылку, думал, поставишь. Вот какая он сволота — наскрозь его, гадину, вижу. Ну и ту, дуру, не хвалю. Господи, вчерась была — загляденье, краше-то ей на свете нету. А сегодня опять вехоть под ногами у Горди да у евонных выб...... Это ведь чего, думаешь, она платом-то со всех сторон обвязалась, глаза прячет? Гордя фонарей наставил.

— Ну уж!

— Чего ну уж-то? Не знаю разве. Проснулся ут-

ром — вчерась ящик вина был але два, а сегодня и наперстка нету. Вечор то сучье-то племя все до капли вылакало, такие они, все в Гордю, не успокоятся, покуда все не осушат, а спрос с кого? С Катерины. Ты, мать-перемать, така-эдака...

Дождь разошелся не на шутку. Старенький, неопределенного цвета хлопчатобумажный плащишко на Евстолии потемнел, мокрый подол платья стал оплетать толстые, нездоровые ноги, но разве ей было сейчас до этих пустяков?

— Я не знаю, не знаю, что мы зá люди, — все больше и больше распалялась она. — Весь век на нас какие-то прилипалы да огарыши ездят. Почто? По какому праву? Почто человеками-то мы не можем быть? Катерина вчера с коровушек, с коленей на ноги встала — дак вся природность возликовала. Помнишь, какой денек-то вечор был? Солнышко, кажный листышок играет, кажная птичка жизнь славит. Вот бы рай-то и спустился с неба на землю, кабы мы людями были. А то ведь она раз, один раз за все пятьдесят лет человеком была. А почто? Горди, евонного отродья не стоит? Да они Катерининого-то ногтя не стоят. Вот природность-то и отвернулась от нас. Вишь, как поливает. И солнышко за тучи скрылось. Стыдно ему за нас стало, потому и скрылось. Кой черт, я стараюсь, стараюсь для них, а они сами палец о палец не ударят. Ну вас к дьяволу, надоели вы мне! Ох, кака бы жизнь, кака бы жизнь у нас была, сколько бы этой красы-то на земле было, кабы Катерина набралась смелости да всем этим сволочам вместе с Гордей в рожу плюнула! Хватит! Буде, поездили на мне, а тепере я буду командовать, раз вы ни черта не можете.

К этому времени мы уже подходили к лодке, по металлическим плоскостям которой гулко барабанил дождь, и Евстолия распалилась уже до предела:

— Чего все молчишь? — Это уже за меня она взялась. — Еще писателем называешься. Я не байки сказываю, не потешки пою. Юрмолу-то до чего довели — на ладан дышит. Бабы ко мне о Первом маи заходили, еще тогда говорили: «Нам уж разве писателя просить. Он разве поможет. А то к смерти приговорили: свет не проводят, телят из Юрмолы угнали, а теперь и нас скоро выгонять будут». А писатель, на-ко, посидел, попил да к бабке на поветь, во сена душистые. На отдох. Разве умер бы, кабы с людями поговорил? Вчерась

тебя спохватились: где писатель, где писатель? Ну и я со стыда сгорела, скрозь землю готова провалиться.

Мы не сразу спихнули лодку — нос ее глубоко всосало в разжиженный дождем песок. А потом Евстолия, вся мокрая (я тоже был мокрый с головы до ног), села на скамейку, широкой спиной ко мне, и уже до самого домашнего берега не проронила ни слова.

1976—1980

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Отчего так пакостно на душе, отчего я весь разбит, измочален? Перебрал вчера? Или от вчерашнего словоблудия все еще мутит?

Боже мой, боже мой! Собрались встречать Новый год — веселись, безумствуй, бурли, как шампанское! Так встречают нормальные люди самый прекрасный праздник в году. А мы на всю ночь развели высокоинтеллектуальный скулеж про нашу расейскую бестолковщину, про наши безобразия. И добро бы хоть польза была от него какая, добро бы хоть чувства свои гражданские, что ли, лишний раз отточили, пополнили свои запасы мужества и отваги на предстоящий год.

А то ведь как было? Рассказывали разные случаи, один отвратительнее другого — про бюрократический произвол, про взяточничество и коррупцию, — и ни малейшего протеста, ни единого выкрика возмущения. Свыклись, примирились. И именно в этом был весь ужас, ибо кто собрался, кто сидел за столом? Писатели, художники, ученые — словом, те, кого принято называть наставниками, пастырями духовными.

Долго я, весь разбитый и измочаленный, лежал в постели, снова и снова прокручивая в голове все подробности вчерашнего вечера, унылым взглядом обводил комнату. Массивный, как сундук, телевизор во весь угол, полированный сервант, или стервант, как сказали бы мои деревенские приятели-остряки, заставленный всяким хрустальным барахлом, куклы франтоватых да-

мочек в национальных костюмах, которые я привез из заграничных поездок...

А где же новогодняя елка? Жена с племянницей обычно ставили елочку ко мне в комнату в самый канун Нового года — свежую, морозную, почти без всяких украшений, в своем натуральном наряде, и к утру она заполняла лесным духом всю комнату.

Так вот почему у меня непразднично сегодня на душе, начал я уже по-новому объяснять причины своего дурного настроения, — елки в доме нету. Вчера жена и племянница два часа мотались по городу — не могли достать. А без елки какой же Новый год?

В передней зазвенел звонок — почта, должно быть.

Она. Я узнал Олю-почтальоншу по шепелявому, захлебывающемуся голосу. Оля поздравляла жену с Новым годом, и жена тоже поздравила ее, а затем, как я понял из дальнейшего разговора, хотела немножко, хотя бы десятью рублями, отблагодарить ее за услуги — у нас большая почта, и Оля иной день раз пять наведывается к нам.

— Нет, нет, — услышал я опять торопливый и шепелявый голос, — это наша работа, нам за нее платят. Вы меня обижаете...

«Обижаете»? Это ее-то обижают? Господи, получает каких-то восемьдесят рублей за такой каторжный труд (попробуй-ка на себе потаскать целыми днями пудовую сумку из дома в дом, с лестницы на лестницу), да еще и «обижаете»...

Я пошел на подмогу жене.

Вижу, стоит в передней давно примелькавшаяся мне уже немолодая девушка в теплом платке. Серое дешевенькое, затасканное пальтишко с вытертым кроличьим воротником, старые суконные румынки, зубов спереди нет. А почему нет — гадать не приходится. Не очень-то разбежишься на ее капиталы.

И вот мы уже оба с женой уговариваем Олю принять от нас подарок. И снова: нет, нет.

Я надбавил пятерку — может, теперь будет посговорчивее?

— Вы меня обижаете! — сказала опять Оля. И сказала уже твердым, непререкаемым голосом, в котором, однако, угадывались с трудом сдерживаемые слезы.

И я глядел в ее большие спокойные серые глаза и вдруг понял, что и в самом деле обижаю ее. Покушаюсь

на самое дорогое богатство ее — честность и неподкупность труженицы.

Мне стало стыдно. Стыдно до слез. И в то же время какой свет хлынул в мою душу!

1977

ПОСЛЕДНИЙ СТАРИК ДЕРЕВНИ

Всех знаю в своей деревне — старых, молодых, даже детей, если не по именам, то по обличью. А тут, смотрю, гребется какой-то старичешко от почты по пыльной песчаной обочине. Кто? В сапогах кирзовых, громадных, оттого что высохшие ножонки торчат в стоячих голенищах, как палки, с батогом в руке, сверкающим на солнце.

Подхожу ближе и глазам не верю: Павел Васильевич Савин.

Похудел, высох, глаза завалились, будто с того света смотрят... А борода? Где савинская борода? Еще какой-то год назад взобьет, распушит, расправит — целая копна на груди.

А какой он в молодости был, этот Павел Васильевич! Какая силушка, какая удаль гуляла по земле! Весной у нас, когда схлынет половодье да в Пинегу выпустят лес, самое ухарство — перебежать с багром в руках с одного берега на другой по плывучим бревнам.

Перебегал.

А что за диво, что за картина — я тогда был еще совсем-совсем ребятенком, — когда он ехал за невестой! В жизни не видал такой бешеной скачки допьяна напоенных рысаков в праздничной, жаром горящей сбруе. Мороз, солнце, а он в расписных санках, стоя, в одной кумачовой рубахе, без шапки. Само нетерпенье, сама ярость.

— Павел Васильевич, — спрашиваю,— да ты ли это?

— Я, парень, я. Все боле, на другую фатеру приказано перебираться.

Я стал говорить какие-то слова утешения.

— Нет, нет, не утешай — отгулял свое. На почту это ходил. Деньги на похороны сымал. Было шестьсот рублей накоплено, все снял. Не хочу, чтобы дети на меня разорялись. И хочу проститься с земляками по-хоро-

шему: чтобы все, кто придет, были угощены... Чтобы все запомнили, как последний старик деревни уходит на покой...

Я не удивился словам Павла Васильевича. Оставались еще в деревне три-четыре старика. Но последним-то стариком деревни называли только его — Павла Васильевича. Он был из той уходящей породы русских мужиков, которые умели и жить с размахом, и работать всласть, и чудить.

Павел Васильевич умер в тот же день, под вечер, когда садилось солнце.

Всю весну и все лето лежал на своей старинной деревянной кровати возле дверей, а тут вдруг запросился на пол.

Дети (сыновья и дочери к тому времени уже съехались) исполнили просьбу — разостлали на полу, там где стоял обеденный стол, перину, перенесли отца.

— А теперь Матрена пущай ляжет рядом со мной.

Сыновья и дочери переглянулись: что еще выдумал старик?

— Матерь, говорю, рядом повалите.

Матрена сидела в старом ватнике, прислонившись спиной к теплой печке. Когда-то это была писаная красавица, и Павел Васильевич смертным боем бился из-за нее со своими многочисленными соперниками, да и потом, когда уже был в годах, обожал ее. «У меня Матренка... Моя Матренка... Я с Матренкой...» — это был любимый его разговор, и пьяного, и трезвого.

А сейчас Матрена, когда заговорил о ней муж, даже ухом не повела: она уже года три была не в своем уме.

— Папа, — заговорила старшая дочь осторожно (Павел Васильевич в строгости держал детей), — зачем тебе мама-то? Нехорошо ведь.

— Повалите, говорю, рядом со мной матерь.

Сыновья и дочери опять переглянулись, и что делать, как перечить умирающему отцу?

— Матренка, — сказал Павел Васильевич, когда старуху положили с ним рядом, — обними меня в последний раз.

Матрена, к которой в эту минуту, видимо, каким-то чудом, вернулся рассудок, неловко, суковатыми руками обхватила мужа.

— Вот и ладно, — прослезился Павел Васильевич.— А теперь оставь меня одного, я помирать буду.

И вскоре на глазах у всех умер.

Хоронили Павла Васильевича всей деревней. Все шли за гробом — и стар, и мал. Все провожали в последний путь своего последнего старика.

1980

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ

Нас от отца осталось — полна изба. И все девки. Из мужского-то один Тихон был. А в сусеках горстки муки нету. Ма́тенка день и ночь бьется, потом-кровью обливается, а все ничего, все хлебница пуста.

Ну, долго ли, коротко ли — рассовала нас по́ людям. Брат Тихон в город ушел, а меня, двенадцать лет было, в монастырь свела. Да подумай-ко, я там, в эдаком-то аду, девять лет выжила. Девять лет на волосатых дьяволов стирала.

Разбудят, бывало, в три часа утра да стой-ко у корыта до восьми вечера. Дак уж напоследок-то стираешь — ничего не видишь и не чуешь, в глазах все так и ходит. Руки щелоком разъест до мяса. Красные. Как лапы у голубя. Жалели мыла-то монахи, все на щелок нажимали. А зимой-то в проруби полоскать! Стужа — хозяин собаку из избы не выгонит, а ты идешь на реку да выполощешь двадцать пять кузовов. Да месяц пройдет, тебе за это рубль и отвалят.

Вот как меня в святых-то местах мытарили. Бывало, матенка придет, поплачет-поплачет да так ни с чем и уйдет: не к чему ведь дома-то прийти.

А что вот: как ни жила, как ни мучилась, а молодо дак молодо и есть — подошло воскресенье, и нет-нет да и выйдешь куда. Теперь вот смотри, какая ягодка — собаки пугаются, а тогда, видно, не такой была. Идешь где — работники глазами едят, по коридору ступишь — монах так и норовит за груди щипнуть, да, бывало, как двинешь в рожу-то волосатую — снопом летит.

Ядрена, ядрена была, не обидел бог здоровьем-то, мешки с мукой в шестьдесят лет ворочала, ну а супро-

тив своего старика, тогда-то не старик был, кровь с молоком, не устояла. Поглядом взял. Всех — и монахов, и работников от себя отшвыривала, как щенят, кидала, а тут глазом повел, и делай что хошь — ни рукой, ни ногой не шевельнуть.

Забрюхатела.

Ну что поделаешь, сама виновата. С мамой посидели-поплакали: такая уж судьба. А чтобы Олексею жалиться, слово сказать — это старику-то моему, — мне и в голову не приходило. Из хорошего житья парень, первый жених на деревне — да разве ему с Олениной девкой вожжаться? Бесприданница, да еще и ворота на запоре держать не может. Раньше ведь строго было насчет девьей чести, не то что ноне.

А Олексей узнал, что я забабилась, — к родителям: так и так, отец и мати, кроме Олениной девки, никого брать не буду.

Те его и лаской и таской, и добром и батогом — горячий отец был, ну Олексей на своем: не быть под моей рукой никому, окромя Окульки.

Отец распалился.

— Ах так! — говорит. — Отец-матерь тебе не указ? Ну дак живи как хочешь. Ничего не дам.

И не дал. Мы три года в черной бане жили, три года дымом давились. Первую-то квашню я в чем, думаешь, развела? В шайке, из которой в бане мылись.

Олексей — спать ложиться: «Пой, женка!» Да я, веришь ли, сроду так не певала. Вся деревня выходила на улицу нас слушать. «Окулька-то, говорят, не диво, что поет. Той как не петь, лучше-то не живала, смалу в людях. А Олексей-то чему радуется?»

А мы с Олексеем быстро на ноги встали. Дом выстроили. Одни, всем в удивленье. Я заместо напарника была — и под дерево, и на дерево. Да, бревна вместе с Олексеем подымала, и на углу с топором вместе сидела. И опять, бывало, вся деревня глаза пучит: ведь ни в жизни не видали, ни в сказке не слыхали, чтобы баба с топором управлялась.

Дом построили, хозяйством обзавелись, к нам и свекор-гроза пожаловал.

Старик беспомòщной стал да слепой еще — кому такой надоть? Все три сына отказались. Иди, говорят, теперь к Олексею. Ты у его еще не жил. А как к Олексею-то идти, когда он его из дому выгнал, иголки не дал?

Я утром вышла — кто у нас на крыльце сидит? А то свекор. Колотиться-то не смеет, вот и сидит на крыльце. А холодно. Зима. Самые раскрещенские морозы.

Я старика на руки да в избу, да на печь. А потом напоила, накормила да в бане намыла — его вошь съела. Ну дак уж он как малый ребенок плакал:

— Прости, прости, Окулина. Я не воздал тебе за твою доброту, дак пущай хоть бог воздаст.

И вот не знаю, свекор ли намолил мне счастья (набожный был старик, не то что я, монастырка, так меня в деревне-то кличут), судьба ли у меня такая, а я самый счастливый человек по деревне. На войну четыре человека из моего дома уходило — муж, трое сыновей, и все четверо вернулись. А Олексеевы братья все там остались. Да что говорить? Три с половиной мужика по всей деревне вернулось, а у меня все четверо — это ли не счастье?

1939, 1980

ИЗ КОЛЕНА АВВАКУМОВА

1

Шоферишко попался мне необкатанный, из молокососов, да еще с норовом: я ему — в объезд, он — прямо, я ему — прямо, он — в объезд. Ну и вляпались — сели на брюхо, по самую ось. Да где? На большой дороге возле Пинеги, как раз напротив Койды, там, где на веку никто никогда не застревал.

Если бы у нас был с собой топор, была цепь, лопата, все было бы просто. Бревно, хламину какую под колесо, большую грязь отрыл, откопал и жми на газ. А то ведь у этого сопляка не то что нужного инструмента, самого дрянного ножа не оказалось.

Долго, часа полтора, плясали мы вокруг машины, но что сделаешь голыми руками? И в конце концов, насмерть измученные, грязные, потные, мы сели возле дороги под березы и стали ждать — авось кто-нибудь проедет: не глухой проселок, главный Пинежский тракт.

Но шло время. Я выкурил одну папиросу, другую,

шофер сбегал к реке выкупаться (нынешняя молодежь даром время терять не станет), а подмоги все не было, и по-прежнему ничего, кроме шелеста разыгравшихся на ветру берез, не было слышно.

— Постойте, а какой сегодня день-то у нас? — вдруг осенило шофера. — Не воскресенье?

— Воскресенье.

— Ну дак хоть до самой ночи тут загорай, никого не дождешься. В Койду ехать надо, — сказал он решительно.

Койда была на другом берегу, и попасть туда не составляло большого труда. Но я не спешил. За этой деревней у нас издавна водилась недобрая слава.

Есть на Севере, а точнее сказать, на Пинеге и на Мезени, такая женская болезнь — икòта, которая, правда, сейчас немного поутихла, а еще совсем недавно редкую работную бабу не трепала. Найдет, накатит на бедную — и мутит, и ломает, и душит, и крик и рев на все голоса — по-собачьи, по-кошачьи, и даже самая непотребная матерщина иной раз срывается с губ.

Медицинская наука на эту болезнь обратила внимание лишь в самые последние годы, о ней даже в Большой Советской Энциклопедии нет ни слова, и потому в наших местах доселе считается: икоту садят, икоту насылают лихие, знающие люди — икотники, и гнездом этих икотников является Койда, небольшое старинное селеньишко, отгороженное от большого мира рекой.

Я, конечно, во все эти россказни давно уже не верил, но вот поди ж ты: когда мы в утлой, допотопной осиновке-долбленке переправились на ту сторону да стали подходить к деревне, у меня не то чтобы озноб по телу пробежал, а все какие-то иголки внутри ощетинились.

У шофера в верхнем конце жили дальние родственники, и он предложил мне пойти с ним («Чаишку хоть по стакану выпьем, ежели не будет ничего посущественней»), но я решил пройтись по деревне: кто знает, доведется ли еще когда побывать тут.

Лет десять я не был в Койде, и, конечно, за это время она не стала лучше. Да и как она могла стать лучше, когда была приговорена к сносу. Новой постройки ни одной, а старые, полуразвалившиеся, осевшие дома как старые лошади на лугу — неподвижные, безмолвные, погруженные в какую-то беспробудную дрему.

И мне жалко, до слез жалко было этих деревянных доходяг, но в то же время мне было и хорошо с ними. От них пахло согретым на солнце деревом, зеленая травка подступала к самому крылечку, и небо, вольное деревенское небо над головой. Не то что в моей родной деревне, где все опутано проводами да изрыто и перепахано тракторами и бульдозерами.

2

Старуха была старая-престарая. Она сидела на бревне возле дороги, уткнувшись подбородком в клюку, босиком, в синем старинном сарафане с лямками, и, казалось, ничего не слышала, ничего не замечала. Но, когда я подошел к ней поближе, она вдруг повернула в мою сторону морщинистое лицо и с интересом посмотрела на меня не по годам черными, живыми глазами.

— Что, бабушка, на солнышко погреться вышла?

— Вышла. Дочерь поджидаю. Где-то с утра ушла за хлебом и все нету. За пять верст в Ровду ноне за хлебом-то ходим.

— Далековато. А что, свой-то магазин не работает?

— Не работает. Третей год как лавку у нас прикрыли, а скоро, сказывают, и деревню прикроют. Какие-то порядки пошли — живую землю хоронить... Да ты чей будешь-то — спрашиваешь? Не здешний, видно?

Я назвался приезжим, подсел к старухе и тут же едва не вскочил — так ошарашило меня имя старухи. Соломея! Или Соломида по-нашему. Самая что ни на есть главная икотница Койды.

Я немного успокоился, когда к старухе, часто дыша открытой пастью (жаркий день был, с солнцепеком), подошла молоденькая, недавно остриженная овечка и доверчиво уткнулась ей в колени.

— Что все трешься да трешься возле меня? Не ленись, пощипли травки-то. Ну, иди, иди с богом.

Старуха оттолкнула овечку, перекрестила темной, вздрагивающей от старости рукой, а потом перекрестилась и сама. При этом перекрестилась, как я заметил, двуперстным крестом, и я спросил:

— Старой веры держишься, бабушка?

— Старой. Через все страданья, через все испытанья с двуперстным крестом прошла.

— А много было у тебя страданий и испытаний?

Старуха вдруг всхлипнула, слезы вскипели у нее на

глазах, но так же быстро, как у малого ребенка, и высохли.

— Не обделил, не обделил меня господь страданьями. И с голоду сколько раз помирала, и ноги отнимались, и мужа насмерть убивали, и по тюрьмам, по острогам злые люди водили. А в деревне-то своей я как весь век выжила! Как в пустыне! Никто в гостях у меня не бывал, никто дочерей моих взамуж не взял — все пятеро так на корню и посохли.

Я знал, мне известны были причины старухиных бед, но в эту минуту у меня невольно вырвалось:

— Да за что же тебя так, бабушка?

— А из-за напраслины. Из-за того, что в икотницах весь век хожу. Кто чем ни заболеет, у кого скотина ни падет — всё Соломида-верста виновата (это меня по мужу ругают), она икоту посадила, она порчу наслала. А я, видит бог, — и тут старуха опять истово перекрестилась, — ни делом, ни помыслом не грешна. Всю жизнь божьим словом живу, всю жизнь оберуч, как за веревку, за стару веру держусь. С той самой поры, с того самого время, как в Пустозерье ходила.

— В Пустозерье? В какое Пустозерье?

— Одно Пустозерье на свете, — посуровевшим голосом ответила старуха. — В студеных краях, у Печоры-реки, где лиходеи великого праведника и воителя за истинные веры протопопа Аббакума сожгли.

У меня не было оснований не верить старухе, и все-таки в голове не укладывалось. Ведь это Пустозерье, или Пустозерск, где? За 400—500 верст от Пинеги, куда и ходу-то раньше не было. Летом из-за бездорожья, из-за гнуса — живьем комар сожрет, а зимой опять снега, холода — куда попал?

— Ходила, — вздохнула старуха. — Девкой еще ходила. По обвету. Раз пришла с пожни, далеко у нас покосы были на Вырвее, может, сорок але боле верст будет, да все суземом — сырыми ельниками, а дома у мамы гости: Иван Мартынович с Заозерья с женой да родня из своей деревни. «Что, девка, — спрашивают, — устала?» — «Да с чего устала-то? Нисколешеньки, говорю, не устала. Я еще, говорю, на игрище побежу». И побежала. У самой красные да черные колеса в глазах катаются, а побежала. Девка. Славы хорошей хочу. Думаю, скорее взамуж возьмут. А назавтра утром — мама зовет, шаньги поспели — я и на ноги встать не могу. Не мои ноги. Не стоят, подгибаются — нету ко-

стей. Вот как меня господь-то бог за похвальное слово наказал. Ну, погоревали, поплакали мы с мамой — в самую страду работница обезножела, — да что поделаешь? Так, видно, богу угодно, такова, видно, его святая воля. Стали меня в сенную запарку сажать, стали мурашиным маслом растирать, баню через день топить — все мертвые ноги, все ничего не помогат. А помощь пришла все от того же господа бога. Он милостивец, ноги у меня отнял, он и возвернул.

Была у нас в деревне старушка благочестивые веры, век скоромного не едала. Так и звали — Марья-постница. Вот эта-то Марья-постница меня и наставила: «Брось, говорит, девка, бесов тешить. Никакие тебе запарки-припарки не помогут, а поможет тебе, говорит, вера истинная да обвет». — «О бабушка, бабушка, плачу, да я хоть какой обвет дам, только бы ноги ожили!» — «Тяжелый, говорит, обвет на тебя наложу. Перво-наперво, говорит, на гулянках, на игрищах больше ни разу не бывать. Хватит ли у тебя на то духу?» — «Хватит», — говорю. А сама голоса своего не чую, у самой свет в глазах погас. Понимаю: на гулянках, на игрищах не бывать, да и взамужем никогда не бывать. Ну, второй обвет — в стару веру перейти — ничего, вроде полегче, после первого-то не ноша. Так тогда по молодости-то своим умом рассуждаю. Ну а как третий-то обвет наложила — я и расплакалась. Сходить в Пустозерье к святому великомученику Аббакуму, кресту евонному поклониться. «Да ты, говорю, изгилеешься надо мной, бабушка. Я до ветру на ногах сходить не могу, на коленцах ползаю, а ты о каком-то Пустозерье баишь». — «Будут, говорит, у тебя ноги. Господу богу угоден будет твой подвиг, даст и ноги. А теперь, говорит, шесть ден тебе стоять на коленях на молитве. От восхожего до захожего. И об одном думать, про одно молить господа бога — чтобы силы дал подвиг совершить. За всю жизнь, говорит, как на свете живу, не слыхала, чтобы с Пинеги какой человек ходил в Пустозерье, а ты, говорит, сходишь, тебе, говорит, откроет всевышний пути-дороги в святую землю, где сподобился страдалец наш в муках огненных райский венец приять. Только, говорит, молись с усердием, так, говорит, молись, чтобы ни единого помысла, ни единого вздоха у тебя ни о чем другом не было, чтобы во всем теле жар стоял, ровно как в пещи ты огненной. Шесть ден, говорит, стоять тебе на молитве, с понедельника до суб-

боты. А в субботу, говорит, усни и спи, говорит, сколько можешь, хоть всю ночь и весь день. А как проснешься, говорит, в христово воскресенье, крестом себя истинным, двуперстным осени и вставай на ноги. Крепче, говорит, прежнего, крепче, говорит, дерева и камня у тебя будут ноги».

И все так, как сказала божья угодница, все так и вышло. Вернул господь ноги, доселе верно служат, доселе на зов господен иду. — И тут старуха повернула голову на восток и с признательностью, широко и степенно перекрестилась.

После небольшой передышки я снова начал заворачивать ее на тропы далекого прошлого.

— Ох, родимой, родимой! День рассказывать — не рассказать, как я в Пустозерье-то ходила. Перво дело — где это Пустозерье? В студеных краях, на краю земли, где зимой и дня не бывает, все ночь, а летом опять ночи нету, все день, круглые сутки солнышко. А как туда идти-добираться? Откуда след начинать? Ну, да надоть обвет держать, раз даден. Собрали меня дома в дорогу, котомку с хлебцами за спину, два медных пятака денег дали — иди, ищи Пустозерье. В городе Пинеге Микольская ярманка, со всего царства народ съезжается — может, там скажут. И сказали в городе Пинеге: обозы с рыбой с Печоры-реки есть, с има́, с тема́ обозами, попадать надоть. Четыреста верст але боле тайболой — лесами да тундрой — как одному человеку попасть?

Вот я и увязалась за тема́ обозами. Сподобилась принять крещение морозами да снегами. Страсть, страсть эти хивуса-ти тамошние — метели-то да бураны снежные. Как задует, задует, ни земли, ни неба не видно, по пяти ден из кушни, лесной избы, выбраться не можем. Все угорим, все облюемся —о беда. Але темень-то эта тамошняя. У нас о ту пору, возле рождества, свету немного бывает, а там день-то — как зорька сыграт, а то все ночь, все темень кромешная. Мужики звезды в небе ищут, по звездам едут, а я крестом себе дорогу освещаю. Пальцы в рукавице в крест двуперстный зажала, да так с крестом истинным и прошла взад-вперед. Люди — вернулась — как на диво на какое на меня смотрят. Со всей Пинеги старухи-староверки да старики шли. Начну рассказывать, как ходила, какие муки претерпела, сама не верю себе. Думаю, таких больше на земле и страданьев нет, какие я вынесла.

А нет, страданья-то да муки у меня начались, когда меня в Койду выдали.

Я ведь думала, раз с гулянками пришлось расстаться, век, до гробовой доски в девках коротать, а нет, господу угодно было через новые испытанья свою рабу провести. Перво-наперво у мужа мужской силы не оказалось — обабить меня не может. Год хожу порожняя, другой. Свекор и свекрова смотрят косо, мама родная грызет: доколе срамиться будешь? А я чем виновата? Мне не тошно — два года ни девка, ни баба? И мужика жалко, хороший у меня мужик был. По ночам оба плачем — подушка утонула в слезах. Ну, тут дале вразумил меня господь: се от бога. Он живот тебе дает, он и силу. «Молись, — говорю мужику. — День и ночь молись. И я буду молиться. Господь услышит нас». И господь услышал. Раз ночью будит меня мужик: «Проснись, Соломида, у меня мужская сила появилась». И я проснулась, и мужик сделал свое дело.

Я никак не ожидал такой откровенности от старого человека и, чтобы скрыть свое смущение, закашлял. Старуха, однако, сразу поняла это и все с тем же простодушием и назидательностью сказала:

— Господь бог создал людей, чтобы плодились и населяли землю и господа бога прославляли молитвой и добрыми делами. Нет греха спать со своим мужиком. Грешно прелюбы творить да в страстные дни сходиться, а в остатнее время божий мир любовью держится. Все божьим словом да верой делается. Божьим словом людей на ноги ставят, со смертного одра подымают. Я своего мужа божьим словом из мертвых воскресила.

— Воскресила?

Старуха не сочла нужным как-либо прореагировать на мой изумленный возглас. Она продолжала:

— У меня мужик смалу в ненáвидости у людей был. Раз сказал на похвас, чтобы от ребят оборониться, — бить стали: «Я на вас икот напущу», — да с той поры житья бедному не стало, а потом и мне, евонной жене, и девкам нашим. Вот ведь как к бесам-то взывать, а не к богу-то. Хотел острастку другим дать, а взвалил на себя каменный жернов. Все он, все мы во всем виноваты: кто заболел, у кого скотина пала. А в то лето какой-то мор на корову да на овцу был. Что ни день, то одну, то другую зарывают. И вот уехал мужик к сену, на пожню, я немогу, дома осталась, только что Матрену родила, тяжелы роды были. Настает Ильин день, празд-

ник большой. Все с пожни выехали, старый и малый, а мой где? Пошто моего-то нету? Набожный человек был, все праздники соблюдал. Ох, чует сердце, неладно с ним. Запрягла кобылу — две лошади у нас было, исправно жили, — поехала навстречу. Еду, еду, все не видно мужика. Дале на сосновый бор выехала — чего это там в стороне вороны орут-разоряются? Подошла, а там мой мужик бездыханный лежит, хворостом закидан. Намертво у мужиков забит.

Я пала на колени, молитву господу вознесла. Господи, говорю, ты вдохнул жизнь в глину мертвую, Адама-человека сотворил, а разве я не твое творенье, господи? Разве не твой превечный огонь во мне горит? Господи, говорю, дай мне силы-мочи мужа бесповинного из мертвых поднять. И господь дал силы. Начала я дуть в холодные уста мужу, он у меня и ожил, «ох» сказал. Силой, силой слова господня подняла. Я так, бывало, и животину строптивую укрощала. Конь был у Фокти-барышника, дикой, никак объездить не мог. Пришел ко мне: «Соломида, ты слово знаешь, помоги. Какие хошь деньги заплачу». Лошадник был. «Слово, говорю, знаю одно — господне. И тем словом помогу. А платы мне никакой не надо. Только табачину смолить перестанешь». И перестал, одним табачником меньше в Койде стало. А я лошадь в хомут ввела. Словом божьим. Бо слову божьему все подвластно: и человек, и зверь, и гад ползучий. Святые-то угодники, в пустошах которые жили, какие чудеса в старину творили! Льва и медведя укрощали. И я одним словом божьим мужика убитого воскресила.

Еду, подъезжаю к деревне, в одной руке вожжа, в другой Иван при смерти, а на нас новая смерть — мужики с кольями. На самом въезде в деревню. «Убить, убить!» — ревут. О, беда, о, горе горькое! Прощайте, родители, прощай, дочи-сирота. Тут нам и живот отдать. Некуда деваться. Наутек ехать — догонят. И вперед — порешат. Вспомнила: есть, есть у меня заступа — господь бог. Ежели кто и поможет нам сейчас, дак он, всеблагой, он, милостивец. Взмолилась, жарко: «Господи, говорю, яви чудо! Сколько раз, говорю, в Пустозорье ходила, от смерти спасал, и тут, говорю, спаси. Не за себя, говорю, прошу, господи. Мужу бесповинному не дай помереть, дочерь нашу не осироти». И тут мне голос сверху: «Крестом да огнем, крестом да огнем...» А где огонь, где крест? Стоим на въезде в деревню, на-

род пьяный с кольями, собаки воют. Ну, опять господь бог на помощь пришел. Выдернула я кол из огороды, к колу кнутовище ременки привязала — крест. А огонь... Сарафан (голова у Ивана обмотана была еще там, в лесу с себя сняла) на крест намотала да в туес со смолой — к телеге привязан был. И вот народ с кольем да с палками на нас, а я на них с крестом огненным. В одной рубахе льняной, белой, и заливаюсь молоком. У других от страху молоко в грудях зажимает, а у меня все не как у людей — только в эту минуту молоко и открылось. Как плотину, скажи, прорвало. Вся рубаха вымокла, от ворота до подола. Вот стою я на телеге в одной рубахе белой, а в руках крест огненный. «На колени, говорю, ироды! Поклянитесь, говорю, словом божьим, что никогда больше не тронете мужика, а то — вот те бог! — сейчас всю деревню спалю!» И пали ироды пред божьим крестом да огнем. «Не будем больше, Соломида. Прости». Господь, господь выручил меня. Он, милостивец, пришел ко мне на помощь. Разве у смертного человека хватило бы силы одной на супостатов пойти, крест из кола поднять да огонь из себя родить? Я ведь на них, иродов, в одной рубахе да с крестом горящим как кара божия пала, как архандел Михаил в судный день явился. Откуда у меня о ту пору и огонь взялся. Тогда ведь и спичек не было, все кремешком искру высекали...

— Ну, после этого успокоились земляки, не досаждали больше?

— Ох, милой, милой! Человек бы успокоился, кабы с ним один андел был. А то ведь у нас по праву руку андел-хранитель, а по леву бес-искуситель. Было, было испытаньев мне отпущено. Не оставил господь в праздности. В колхозе робила — все одна на поле, все понапраслина как стена меж мной и людями. Все Соломида всех портит. А начальство, то опять невзлюбило за то, что в христово воскресенье не роблю. Два раза в лагеря на отсидку гоняли. Я говорю: «Дайте мне хоть в три раза больше заданье — сделаю. Только не заставляйте христово воскресенье топтать». Ну, господь не оставил меня. Я и там, за проволокой, божьим словом спасалась. Как развод, бывало, на работу в воскресенье, мне прямо уж объявляют: «Староверка, в карьцер!» За то, что я и там не робила по воскресным дням. Поперьвости в погреб этот впихнут — зуб на зуб не попадат. Руки коченеют. О, думаешь, хоть бы щепиночку какую дали,

я бы и то обогрелась. А потом раздумаю: а слово-то божье мне зачем дадено? Помолюсь, раскалю себя молитвой, вспомню про праведника Аббакума, как его в яме-то, в подземелье гноили да холодами пытали, голой сидел, мне и теплее станет. Словом, словом божьим обогревалась.

В понедельник утром из погреба, из карьцера-то этого, выпустят — шатаюсь, а улыбаюсь. Начальник заорет: «Чего улыбаешься?» — «А то, говорю, улыбаюсь, что страданье дал, дозволил мне с господом богом наедине побыть». И тут еще поклонюсь ему в ноги. «Спасибо», — говорю. И вот мучил-мучил меня — это когда вторым-то заходом я была в лагерях — да и выгнал. «Доконала ты, говорит, меня, бабка. Не хочу, чтобы ты от моих рук смерть приняла. Убирайся, говорит, с глаз долой. Чтобы духу твоего здесь не было».

— Да, бабушка, — сказал я, — не жизнь у тебя, а целое житие.

— Не обделена, не обделена страданьями да испытаньями. И то хорошо, то милость господня. Через страданья да испытанья дорога в царствие божие лежит. Страданья да испытанья освещают нам путь в град всевышний. Ну, об одном прошу, об одном молю, господи, — старуха перекрестилась и вдруг беспомощно, совсем-совсем по-ребячьи расплакалась: — Не дай умереть с коростой клеветы бесовской. Сними понапраслину, сними жернов каменный. Хоть перед самой смертью, хоть в гробу пущай все увидят, кто раба твоя Соломида.

Я не знал, как утешить старуху, и только вздохнул. Между тем она поглядела на солнышко и начала подниматься с бревна.

— Посиди еще, бабушка.

— Нет, Матрены, видно, не дождаться — на молитву пора вставать.

— Успеешь еще, — снова попытался я удержать старуху.

— Не говори так, — строго сказала она. — Молитва — перво дело, изо всех работ работа. Сила да разум каждый день человеку нужны, а без молитвы откуль их взять?

Я понял, бесполезно ее удерживать, да к тому же в это время на дороге раздалась пьяная песня: мой шофер в обнимку с высоким мордастым парнем подходил к нам.

3

На другое лето я, как только приехал на родину, отправился в Койду проведать старуху.

В низкой, на старинный манер избе — без обоев, без белил, без занавесок, одно золотистое дерево — меня встретила дочь старухи, тоже уже старуха, та самая Матрена, которую в прошлый раз, сидя на бревне, поджидала ее мать. Самой Соломеи в живых уже не было — она умерла весной нынешнего года.

— Хорошо померла, — начала рассказывать Матрена, то и дело вытирая слезы со своего простоватого, бесхитростного лица. — Легкая смерть была. Паску встретила, разговелась, а там уж и анделы прилетели, кончились земные страданья.

— Ну а все же, как это было?

— Как умерла-то? А вот сидели тут за столом, разговлялись, она и говорит мне: «Сходи-ко, говорит, за старухами, проститься хочу». — «Что ты, говорю, мама, ничего-то выдумываешь?» — «Иди, говорит, зови да пошевеливайся. Живо у меня!» Еще острастку мне дала. Ну, пришли старушонки. Мама на ноги поднялась, тут вот сидела, на лавке, встала лицом к иконам, перекрестилась. «Вот, говорит, скоро предстану перед господом богом, не грешна перед людями. Через всю жизнь, говорит, со словом господним на устах прошла». А потом — старухи и в себя прийти не успели — легла прямо на пол вот так вот, глазами к божнице, руки на грудь крест-накрест, да и померла. Ну дак уж старухи и бабы потом на коленях ползали перед мамой. «Прости, прости, говорят, Соломида. И нас прости, и всех прости, кто перед тобой согрешил. Мы ведь, говорят, всю жизнь тебя топтали да пинали, детям твоим житья не давали, а теперь, говорят, видим: святая меж нас жила».

Что ты, как не святая. Икотницы-то помирают — по целым дням кричат да корчатся, бесы мучают. А тут ведь как голубок вздохнула. Смертью, смертью мама оправдалась перед всеми. Смертью своей сняла с себя и со всех нас понапраслину.

Под вечер Матрена проводила меня на кладбище, такое же старое и запустевшее, как сама деревня, и я

долго стоял у песчаной могилы со свежим, еще не обветренным сосновым столбиком, на котором не было ни единой буквы, ни единого знака.

1978

НАДЕЖДА

Вышел на улицу, глянул в верхний конец — кто там пылит, клюкой на солнце размахивает?

Федосеевна. И разряжена в пух и прах: в старинном ярком сарафане, который, может, сохранился еще от приданого, в голубой шелковой кофте с белыми нашивками по подолу — тоже прежнего завода.

— Куда это с утра вынарядилась?

— За пачпортом. Из сельсовету вечор прибежали, чтобы за пачпортом в район ехала. Я говорю: что вы с ума-то сходите? Какой мне пачпорт — помирать надоть. Але на том свете ноне порядки новые — без пачпорту и ходу нет? Всем, до последнего человека, говорят, пачпорта получать. Вот и собралась. Надо приказ сполнять.

— А не рано собралась-то? Автобус-то когда приходит?

— Ничего. У почты посижу. Тепло ноне. Не могу дома-то жить. Всюю ноченьку глаз не сомкнула. Все вспомнила, по всей жизни прошлась. И как у отца с матерью в бедности вырастала, и как в колхозе робила, и как войну пережили. Три похоронки на одном году пришло — каково, думаешь, мне было? На Петю, на Владимира, на Павла — и все в сорок пятом году. Вот как война-то нас шарахнула напоследок.

А что, надоть как-то жить. Да надоть наследника але наследницу смекать. Мужик весь приохался: «Вот помру, и весь род-корень чемакинский искурится».

В сказке вон старик взял полешко да вырезал Ольшанка — вот тебе и сын, а нам как быть? Один весь изранен да искалечен и дру́га немолода молодка.

Ну господь услыхал — дал Надежду. А что Надежда? Семё худое — говорю, живого места на мужике нету. И земля одно званье — когда есть цвет, а когда нету — вот как я рожала Надежду. Вот девка-то за все

и расплачивайся. И за войну, и за матерь (у меня два зуба во рту было, когда рожала), и за голод — отец, можно сказать, нарушил себя, все какой кусок, какая кроха в доме заведется, мне пихал: тебе девку кормить. А девка — слепая, затянуло гноем глаза. Сколько, бывало, языком вылижу — до тех пор и свет белый ей светит, а так — при глазах слепая.

Ученье тоже не пало: с картошки-то не больно разбежишься. До четырех классов с грехом пополам доучилась — дальше-то что делать? В колхозе не работница — ей зажало. Как хлеб на сухой глине. А жить-то надоть. Живым в землю не зарывают.

Ну умолила — в лес взяли. На лесопункт синетаркой. За больныма ухаживать. И вот кого лес губит, а моей девке глаза раскрыл. Что ты, она ведь справилась в лесу-то. Весной приехала домой — стук-постук. Я ночью сплю: кто там стучится? «Я, мама, открой». Ну, открыла. В потемках-то я и не заметила, какая она. А наутрось, на свету-то, увидела и признать не могу. Писаная красавица! «Да ты ли, говорю, это, Надешка?» — «Я, говорит, мама, я». Чистенькая, гладенькая, как картиночка, глаза во все лицо. Бывало, как котенок малый, все с закрытыми глазами, а тут не знаю, что и подумать.

Я опять за спрос: да, может, подменили тебя в лесу-то? А как не подменили. Дома все в голоде, картошка и та не досыта. А в лесу-то она исть стала. Да хлеб хороший, настоящий. Да приоделась. Вот она и расцвела, как цветок в поле.

Ладно, подошла пора моей Надежде пачпорт получать. Пришла домой. «Так и так, Иван Павлович, — это председателю колхоза, — дай бумажку, в район лажу идти». А Иван Павлович, может, по самым большим праздникам только и человек. «Я, говорит, одну бумагу тебе дам — на телятник. У нас телята не поены, не кормлены со вчерашнего».

Надежда моя: «Не имеете права. Я, говорит, уж три года на лесном фронте». — «А теперь, говорит, будешь на колхозном. Я, говорит, тоже к вам приехал не своей волей. А раз я не своей, и ты будешь робить». Надежда у меня пришла в слезах: «Что делать, мама?» А что мама присоветует? Где мама бывала? Кого за свою жизнь видела? С малых лет в лесу со скотом.

Что — надо возвращаться на лесопункт несолоно

хлебавши, куда больше, а через день Надежда у меня прилетела на крыльях: «Мама, говорит, начальник лесопункта мне бумажку дал. За пачпортом иду. Моли бога, чтобы дали». И дали пачпорт. Да вот с этого-то пачпорта и начались все несчастья у девки.

Пришла на лесопункт, к начальнику: «Спасибо, Михей Лазаревич». — «А чего в спасибе-то?» — «А вот, — говорит Надежда, — праздник будет, бутылку поставлю». — «А мне, говорит, бутылка-то надо та, которая на двух ногах». Да шасть к двери, дверь на крюк. Спозарился на Надежду. Девка красавица писаная, кровь с молоком. «Не могу, говорит, ни жить, ни робить, а у меня планы...» — «Что ты, — говорит Надежда, — ведь у тебя у самого жена есть, дети... Да как, — говорит, — ты подумал-то о таком?» Знаешь, по-хорошему все хотела. Думает, опомнится, придет в себя мужик. А мужик ей на деван валить, силой, приступом брать. Надежда выскочила через окошко, в одной рубахе, не знаю, как и ноги не сломала.

И вот с той самой поры у меня для Надежды житья не стало. Лезом лезут и парни, и мужики. И свои, и вербованные. Один вербованный — до чего дошло — ножом стал стращать. «Моя, говорит, будешь але сколю». Девка у меня с ума сходит. Хоть вешайся, хоть топись. Как-то прибежала домой: «Что мне делать, мама? Мужики проходу не дают. И от начальства никакой заступы». Такая уж, знаешь, у ей красота. Вот тянет на ей мужиков, да и только. Теперь уж сколько — тридцать пять, а хоть с завязанным лицом ходи — липнут, да и все.

Я говорю: раз в чужих местах житья нету — возвращайся домой. У нас, говорю, в колхозе мужиков наперечет и поспокойнее свои будут. «Нет, говорит, мама, домой не вернусь. Не для того, говорит, я столько беды приняла с этим пачпортом, чтобы добровольно, своей охотой его лишаться. Надо, говорит, мне други ходы-выходы искать. На лесопункте реку вброд перебродить».

И вот перебрела. Шестнадцати годков замуж выскочила. Я учула — заплакалась. Кто же в эти годы свою жизнь губит? А как зятя-то увидела, у меня и ноги подкосились. Под потолок будет. Мне надоть голову задирать кверху, чтобы зятя своего высмотреть. И некрасивый — черный. А она-то, как цветок лазоревый перед ним. «Что, мама, не понравился мой Вася? — Васильем

жениха зовут. — Ничего, говорит. Я, говорит, видеть эту красоту не могу. Со своей намаялась. Я, говорит, оборону себе искала. Самый крепкий да самый сильный человек на лесопункте, хоть во спокое поживу. Теперь, говорит, ко мне близко никто не подойдет». А что — неверной, все равно житья не стало.

Я не раз уже слышал эту историю, но не стал прерывать старуху. Старый человек любит выговориться, а у Федосеевны какой сегодня день?

— С первого дня веры не дал. «Ты, говорит, нечестна». Надежда доказала свою честь. Рубахой. Чуло, видно, сердце-то, откуда сиверок дохнет. Опять: «Как за меня, за такого лешего, пошла?» — «За силу твою, — говорит Надежда, — пошла. Мне, говорит, сила да заступа твоя надобна, хорошей да чистой жизни хочу». Опять — не любишь! Замучил, с первого дня замучил девку. Але кого Надеха встретит, не смей говорить-здороваться. А как не здороваться, как не говорить с людьми? У меня девка смалу в учтивости да в обхождении воспитана.

И вот Надежда у меня мучилась-мучилась, парничка прижила — ну, нету жизни. Всем бы хороший человек — и не пьет шибко, деньги хорошие зарабатывает, хозяйственный. Все справили: небель, стервант, одежды всякой назаводили, посуды звонкой. Ну неверной. В клуб не сходи, к людям не выйди, и на улице — вышла — везде евонные глаза.

Ну что, три года пожила, ушла Надежда. Все ему оставила: небель, деньги, тысяча рублей на книжке было — только, бога ради, оставь меня во спокое, дай мне жить-дышать. Да вот с тех пор так и путается — ни девка, ни женка. Я начну говорить. «Не учи, не твое дело. Нынче половина так живет»...

Старуха ждала моего одобрения, и мне бы надо хоть кивнуть головой, что ли, — на большее я был не способен, потому что я раз двадцать высказывался по поводу образа жизни ее дочери, столь необычного для нашей все еще во многом патриархальной местности, но сегодня во мне вдруг что-то забастовало, и обиженная Федосеевна в конце концов встала с бревна, на котором мы сидели, да так и пошагала, не попрощавшись.

1978—1980

СЛОН ГОЛУБОГЛАЗЫЙ

1

И как только я не называл, не крестил ее про себя, каких только прозвищ не придумывал! То̀пало, бегемот, сундук ходячий, медведица двуногая...

Но все это было не то, все это, в лучшем случае, передавало ее внешний облик, ее громоздкость. Помню, я даже растерялся, когда впервые увидел ее, — такая вдруг громадина, такая вдруг стопудовая туша выперла из-за угла, да еще в этом своем мужикоподобном, длиннющем, до колена, пиджаке из какого-то дешевого темно-синего сукна...

Я немного успокоился, когда на ум пришла вот эта самая кличка — слон голубоглазый. Тут уж было кое-что ухвачено и от ее характера, от ее внутренней сути. По крайней мере — от ее доброты. Ибо всякий раз, встречаясь со мной (а мы как соседи по двору встречались почти каждый день), она улыбалась мне своими голубыми, прямо-таки ангельскими глазами (это при ее-то габаритах!) и с какой-то обезоруживающей простотой и даже застенчивостью, всегда одним и тем же, ровным и тихим, чуть-чуть шепелявым голосом спрашивала:

— Как вы поживаете? Как ваше здоровье? Как вам работается?

Я, конечно, отшучивался, говорил какие-то банальности, пустяки. А что было делать? Не принимать же всерьез все эти расхожие, изо дня в день повторяющиеся благоглупости? Но, странное дело, с некоторых пор я стал замечать: после встречи с Марией Тихоновной мне весь день было как-то легко и хорошо и даже лучше работалось.

Между тем время шло. Прошла осень (первый раз я встретил Марию Тихоновну в солнечный сентябрьский день, когда весь наш двор был засыпан золотом опавшего листа), прошла зима, весна зелеными тополями вскипела у нас на дворе, а мы как раскланивались при встречах, так и продолжали раскланиваться. Да большего, откровенно говоря, я и не хотел.

И вдруг однажды приходит из университета жена (она читала курс русской литературы на заочном отделении, где работала Мария Тихоновна) и говорит:

— Марию Тихоновну видела.

— Ну и что?
— Приглашала на юбилей.
— На юбилей? На какой юбилей?
— На свой. Шестидесятилетие будет отмечать.
— Что ж, сделай доброе дело — сходи.
— Видишь ли, — сказала жена, — она нас вместе приглашала.
— Ну, знаешь... Только мне теперь по юбилеям и ходить...
— Ничего. На часок — на два можно. Надо же уважить человека.

Я пришел в ярость. Конец июня, конец учебного года, — да разве ей объяснять, ей растолковывать, что за жизнь в это время у преподавателя университета? Каторга! Дипломные и курсовые работы, завершение лекционных курсов и спецкурсов, подведение всевозможных итогов за год — по учебной работе, по научной, по воспитательной... А всякие там собрания и заседания, всякая писанина отчетная... Да тут не то что по юбилеям ходить — дыхнуть некогда. А потом, что меня еще вывело из себя, — как она не подумала о главном деле — моей жизни! Да, да, именно в те годы в великой тайне от всех — по ночам, в летние каникулы, в выходные дни, годами недосыпая и не отдыхая, — я сотворял свой первый роман, и завтра как раз было воскресенье — единственный день за эти две сумасшедшие недели, когда я хоть на час — на два мог засесть за свою любимую работу.

Жена дала мне выкричаться, дала отвести душу, а вечером, за ужином, снова завела разговор про юбилей: Мария Тихоновна старый, одинокий человек, у Марии Тихоновны никого нет — ни детей, ни мужа...

Я легко отбил и эту атаку: всех не пожалеешь.

Но жена не унималась:

— Всех-то ты жалеешь. Только и делаешь, что говоришь да пишешь о любви к людям. А вот на деле любовь к человеку проявить — к живому, к конкретному...

И тут жена вдруг расплакалась:

— А ты забыл, забыл, что сделала для меня Мария Тихоновна? Да если бы не она, может, меня на свете сегодня не было...

Были, были черные дни в нашей жизни. Написала жена кандидатскую диссертацию — на кафедре расхвалили до небес: новое прочтение раннего Горького, заметный вклад в науку, работу необходимо опублико-

вать... А через день та же самая кафедра вынесла решение: защиту диссертации отменить. И из-за чего? А из-за того, что накануне было партийное собрание университета и на том собрании выступил какой-то молодчик из породы так называемых бдителей. Потрясая с трибуны авторефератом диссертации, он заявил, что вот, мол, до чего докатился филологический факультет, кому доверил разработку боевых проблем партийности в литературе! Человеку, который в годину всенародного подвига отсиживался у немцев.

И напрасно, напрасно жена стучалась во все двери, искала справедливости, взывала к своим товарищам по кафедре: нет вины за ней, не по своей воле она, девчонка, два года заживо умирала в городке, внезапно занятом врагом. Закаменели. Оглохли и ослепли.

И вот в это самое время, когда все рушилось вокруг, когда, казалось, сама земля уходила из-под ног, в это самое время ей и попалась на пути Мария Тихоновна.

Не знаю, до сих пор не знаю, чем так помогла жене Мария Тихоновна. Да и могла ли она вообще помочь, если говорить начистоту? Не то делопроизводитель, не то какая-то секретарша заочного отделения, а в общем, как говорится, из малых мира сего, — да что она могла сделать для жены? Какую такую особую роль сыграть в ее судьбе?

Я, однако, никогда не старался прояснить все подробности и детали этой истории. Во-первых, не хотелось лишний раз травмировать жену, а во-вторых... А во-вторых, надо правду говорить: в те трудные дни я и сам не лучшим образом вел себя. Меня в те дни тоже захватил какой-то всеобщий страх и малодушие, и в душе я не раз клял себя за то, что так легкомысленно, так необдуманно связал свою жизнь с человеком такой судьбы и тем самым навсегда погубил свою чистую, свою безупречную биографию, которая по тогдашним временам открывала передо мною все двери.

Слезы, сознание до сих пор не выветрившейся полностью вины сделали свое дело, и в конце концов я махнул рукой: быть по-твоему! Пойдем, пойдем на юбилей.

2

Вечер был — чудо. Золотой закат во все ленинградское небо, пушкинская Нева с каменными сфинксами, которые нездешними, загадочными глазами вглядывались в медленно наплывавшую на город белую ночь, первые цветы, первая зелень, широкие набережные, еще не остывшие от дневной жары и дымящиеся легким парком после полива...

И мы шли с женой по этому сказочному городу, наслаждались всей окружающей красотой, и я был счастлив. Счастлив от своего великодушия, от своего благородства, от того, что я не зачерствел, как другие, душой, откликнулся на простой человеческий зов. И я представлял себе, как обрадуется сейчас старуха, увидев меня в дверях, какой переполох вызовет мое появление у ее невзрачных подруг — всех этих секретарш, делопроизводителей, лаборанток...

Так мы дошли до Дома ученых на Дворцовой набережной, и тут я опять, который уже раз за сегодняшний вечер, посмотрел на жену: не ошиблась ли она? Действительно ли в этом роскошном дворце назначен ужин? Ведь сюда даже известные ученые далеко не всегда могут пробиться.

Жена ответила уже известным мне доводом:

— Да говорю тебе, все дело в столовой. Тут хорошо кормят и недорого.

Однако когда мы вошли во дворец, столовая, по словам мордастого раззолоченного швейцара, была уже закрыта и единственный банкет, который проводился сегодня в Доме, был на втором этаже, в главном банкетном зале.

В величайшем смущении, сопровождаемые подозрительным взглядом швейцара, мы по широкой мраморной лестнице, устланной коврами, поднялись на второй этаж и вступили в непривычный, сказочный мир дворцового великолепия.

«Ерунда, ерунда какая-то», — оробело твердил я про себя и, уж не помню как, открыл какую-то дверь. Открыл и буквально замер: такое праздничное сияние огней, такое праздничное многолюдье увидел в зале. И кто, кто восседал в центре этого многолюдья, за главным столом, утопавшим в цветах? Мария Тихоновна, моя соседка по двору, в своем неизменном синем пиджаке.

3

Я начал понемногу приходить в себя, уже сидя за столом.

Много, много было гостей! Профессора, доценты, ассистенты, аспиранты. С геологического, с географического, с биологического...

Многих из них я знал лично, уже сколько лет встречаясь на разных собраниях и совещаниях. Но тут было немало и таких, кого я видел впервые, кто жил и работал, как я узнал от своей соседки, дамы строгой и сердитой, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Урале, на Кольском полуострове.

— И что же, они специально приехали на этот вечер?

— Ну а как же! Да на юбилей Марии Тихоновны люди с того света приехали бы, а уж с этого-то что.

К нашему приходу (а мы с женой, все по тем же моим амбициозным соображениям, опоздали на сорок минут) главные речи и тосты были уже произнесены, и теперь в права вступали чувства, которые то и дело то тут, то там, как шампанское, выплескивались через край.

— Мария Тихоновна, вы были для меня как родная мать! Честное слово!

— А я Марии Тихоновне обязан жизнью... В тридцать третьем году меня исключили из комсомола, а значит, и из университета, как сына кулака... И если бы не Мария Тихоновна...

Голос говорившего дрогнул.

— В общем так: первую свою дочь я назвал Марией, и мой сын свою первую дочь тоже назвал Марией. И я хочу, чтобы обе мои Марии хоть немного, хоть капельку походили на вас, Мария Тихоновна...

— А я на всю жизнь запомнил слова, которыми меня Мария Тихоновна вытащила из беды: «Смотри не на тех, кому лучше, смотри на тех, кому хуже...»

— Товарищи, товарищи... — Мария Тихоновна поднялась. — Нельзя же так. Это уже похоже на культ.

По столам прокатился смех, хохот, затем известный ученый-географ Василий Павлович, как бы подводя итоги, сказал:

— Наши дела, дела людей науки, измеряются статьями, книгами, открытиями, а чем, какой мерой измерить дела души, дела сердца?

Кто-то за дальним столом от полноты чувств закричал:

— Предлагаю учредить новую ученую степень — степень доктора доброты и человечности и первой присвоить эту степень нашему юбиляру!

Я посмотрел на жену — в глазах у нее стояли слезы, да у меня и самого горло перехватывало, и вдруг я понял, что̀ значила Мария Тихоновна в жизни этих людей.

Дети железного века, века, когда исчезли, позабылись такие слова, как «сострадание», «милосердие», «жалость». Но она-то, Мария Тихоновна, знала, ведала силу этих слов. И сколько человеческих сердец отогрелось, оттаяло возле нее! Сколько отчаявшихся воспрянуло духом!

Между тем волны всеобщего энтузиазма, которые одна за другой обрушивались на Марию Тихоновну, стали понемногу стихать. Подвыпившие гости, как это всегда бывает на банкетах, начали члениться на группы и группки, пошли разговоры уже свои, не имевшие прямого отношения к юбилею, потом кто-то завел радиолу, и вот уже две-три пары закружились в вальсе.

4

Была, была своя Мария Тихоновна и в моей жизни.

В тридцать втором году я окончил начальную школу первым учеником, и, казалось бы, кто, как не я, должен первым войти в двери только что открывшейся в соседней деревне пятилетки? А меня не приняли. Не приняли, потому что я был сын середняка, а в пятилетку в первую очередь, за малостью мест, принимали детей бедняков и красных партизан.

О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет меня повезли на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, — а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне.

Один-единственный человек понимал, утешал и поддерживал меня. Тетушка Иринья, набожная старая дева с изрытым оспой лицом, которая всю жизнь за гроши да за спасибо обшивала чуть ли не всю деревню.

Пять месяцев изо дня в день я ходил ночевать к ней. Днем было легче. Днем я немного забывался на

колхозной работе, в домашних делах, — а где спастись, куда убежать от отчаянья вечером, в кромешную осеннюю темень?

Я брел к тетушке Иринье, которая жила на краю деревни в немудреном, с маленькими старинными околенками домишке. Брел по задворью, по глухим закоулкам, чтобы никого не встретить, никого не видеть и не слышать. Нелёгко было время, корежила жизнь людей, как огонь бересту, — и как было не сорвать свою ярость, не отвести душу хотя бы и на малом ребенке?

И вот только у тетушки Ириньи я мог отдышаться и выговориться, сполна выплакать свое неутешное детское горе...

Танцы продолжались, моя жена тоже была в кругу танцующих, и за столом, похоже, остались мы вдвоем — я да Мария Тихоновна.

Мария Тихоновна сидела напротив меня, задумавшись и подперев щеку рукой. Широкое, скуластое лицо ее окутывал полумрак (свет для уюта пригасили), и я залюбовался ее прекрасными голубыми глазами...

Где, где я видел раньше эти глаза — такие бездонные, кроткие и печальные? На старинных почерневших портретах? Нет, нет. На иконе богоматери, которую больше всего любили и почитали на Руси и которую я впервые увидел на божнице у тетушки Ириньи...

Марии Тихоновны давно уже нет в живых, и я даже не знаю, где покоится ее прах. Но в те дни, когда мне бывает особенно тягостно и безысходно, я вспоминаю ее юбилей.

1979

СКАЗАНИЕ О ВЕЛИКОМ КОММУНАРЕ

1

Августовский заморозок, или утренник, как говорят на Севере, на всем лету срезал лето.

Еще накануне гуляли в одних рубашках и платьях, еще вечером пили чай у раскрытого окна, а утром встали — мостки белые от инея.

Секретарь райкома, молодой, еще все принимавший близко к сердцу, переживал эту беду как личное горе.

— Жуть, жуть! Три года подряд неурожай. Мы уж на зерновые махнули рукой, да ведь и картошку-то не можем собрать. Картошку третий год завозим в район.

— И часто это у вас?

— Утренники-то? А года через два, через три. Что вы хотите, где живем-то? — Секретарь ткнул пальцем в сторону административной карты, висевшей на стене. — Под самым Полярным кругом. Ну, раньше все-таки меньше лютовал Север, лесов больше было, леса сдерживали. А теперь Ледовитый океан чуть чихнул, и не то что нас, Вологду в дрожь. В общем, — секретарь сокрушенно покачал светловолосой головой, — такими темпами будем косить леса, скоро вся Россия на сквозняке окажется, от моря до моря будут продувать ледяные ветры.

— Ну так не косите! — Я это бросил со злостью, с вызовом, потому что надоели эти местные плачи, надоел скулеж.

— Ах вот как, не косите!.. А план? А задание? Я сегодня пришел в райком — какой первый звонок из области? Об утреннике? О том, что на полях делается? Как бы не так! Сколько кубов дал за сутки. Да мы ради того, чтобы план выполнить, готовы последнее дерево в районе срубить. Можете вы это понять?

Минуты две мы сидели молча, избегая встречаться друг с другом глазами, затем секретарь, уже снова собранный, подтянутый, начал обзванивать совхозы.

— Самсонов, что у тебя? Докладывай. Нечего докладывать? Ну хоть картошки-то сколько-нибудь уцелело? Всю спалило, только на приусадебных участках кое у кого осталось... Ну-ну...

Секретарь вяло опустил трубку.

— Вот так. У Самсонова самое высокое место в районе, так что другим можно не звонить.

Но он снова взялся за телефон.

— Санникова мне. Санников у телефона?.. А чему ты радуешься, товарищ Санников? Тебя что — утренником не ударило? Чего-чего? Ни про какой утренник не слыхали? Да ты что... Нет, ты серьезно? Поздравляю, поздравляю...

С молодого лица секретаря, как волной, как весен-

ним ливнем, смыло всю хмурь, и он первый раз за это утро рассмеялся:

— Герой этот Санников! Третий год подряд утренников нет. Во всех деревнях все морозом убило, а он только похохатывает. Я заколдован, говорит. Черта лысого, он заколдован. Болото за деревней осушено — вот в чем дело. Рассказывали мне как-то, крестьянин один у них был, еще до революции, сорок лет болото осушал.

— Сорок? Сорок лет болото осушал?

— Сорок. Прямо какой-то Микула Селянинович! Я в прошлом году, когда мне рассказали, тоже не поверил. Фантастика какая-то, думаю, сказка. А теперь вижу — тут что-то есть.

2

Наверху опять было лето, такое же голубое и сияющее, как вчера и позавчера, а на земле была осень, поздняя, безрадостная осень. Все почернело, все сникло, набухло водой: картофельная трава, ячмень, овсы. И дороги развезло — легковуху качало как пьяную. Так всегда бывает после большого утренника.

Но вот мы поднялись в гору, перевалили за холм, и, что за чудо, куда девалась осень? Ячмень стоит колос к колосу, как гвардия на параде, картофельные гряды сочно зеленеют под солнцем, а за картофельными грядами и вообще летняя сказка — рожь волнами.

— В Шавогорье завсегда так, — сказал заметно повеселевший шофер. — Весь район сегодня в трауре, а они песни поют.

Песен, положим, на деревне не было, но председатель сельсовета, тот самый Санников, к которому часа два назад звонил секретарь райкома, встретил меня чуть ли не переплясом — веселого нрава был человек, хоть и не первой молодости.

— Так, так. Насчет нашей знаменитости, значит, пожаловали? Был, был у нас Сила Иванович.

— Сила Иванович? Так и звали?

— Так. По метрикам-то, правда, Силантий, а старые люди — Сила. Да и сам он себя Силой называл. Высоко голову держал. Раз, говорит, я Силой родился, дак мне, говорит, и дела надоть по моим силам. И вот придумал — с чертями сражаться. А? Ничего себе работенку подыскал? Люди пашут, сеют, воюют, а он одно знает — войну с болотом. В гражданскую, сказывают,

тут, в Шавогорье, страсть что было. Один конец деревни у белых, другой у красных. А он — знать ничего не хочу. В одну руку лопату, в другую батог — старый уж был, прямо ветром шатало, — да на свое болото. Дак, понимаешь, что было? Бои стихали меж красными и белыми. Ждали, когда старик полем пройдет. Заметный был. Все, говорят, до самой смерти в кабате ходил. Рубаха такая длинная из белой домотканины, вроде как спецовка по-нынешнему.

При этих словах я невольно посмотрел в окно, за которым кипело зеленое поле.

— Нет, нет, — оскалил крепкие зубы Санников, — не там расхаживал Сила Иванович. Там у нас юг, а Силины владенья на севере.

Машины под рукой не оказалось — «райкомовка» сразу же укатила обратно, а совхозные — где они среди страдного дня? Мы отправились на телеге — сил не было ждать до вечера.

Дорога была плотная, хорошо накатанная, и мы быстро миновали поля, подъехали к озеру, в которое когда-то Сила Иванович спускал воду из болота, а от озера — уже пешком — двинулись к зарослям ольшаника.

Я волновался как мальчишка.

Я жадно вглядывался в надвигающуюся на нас зеленую чащобу и все ждал: вот-вот расступится сейчас кустарник, и я увижу неоглядное болото, поле битвы человека, который всецело захватил мое воображение.

Санников — он шагал впереди — вдруг остановился:

— Ну вот, пришли.

— Как пришли? — Я непонимающим взглядом обвел задичавшую, невыкошенную пожню, на которой мы стояли, посмотрел на зеленую стену ольшаника — до него оставалось метров пятьдесят, не меньше.

— Пришли, говорю. Отсюда Сила Иванович начинал свои дела.

— А болото?.. Где болото?

Санников широко улыбнулся:

— Да это и есть болото. И где ольшаник — болото, и за ольшаником — болото. Далеко, километра на два на север уходит. Я еще помню Силины окопы. Мы так канавы евонные в детстве звали, в войну тут все ребятами играли. Ну а теперь, ясно дело, все заросло. Без топора в эту чертоломину не скоро и попадешь.

Мне все же хотелось своими глазами увидеть дело рук легендарного человека (по крайней мере для меня легендарного), и я, не говоря ни слова, полез в чащобу.

Долго я продирался через кустарники, долго бродил по лесу (тут и сосны, и ели росли), долго слышал сзади себя тяжелый сап (у Санникова оказалась одышка), но каких-либо отчетливых признаков канав не нашел. Только кое-где на красном и зеленом долгомошнике угадывалось что-то вроде продолговатых ложбинок.

— Да, может, все это россказни? — заговорил я, когда мы выбрались из ольшаника и присели на угорышек, под которым ржаво, густо заросший осокой, сочился ручеек.

— Что — россказни? Сила Иванович — россказни? — Санников вытер ладонью красное, запаренное лицо. — А как же это? Всех утренником бьет, а нас бог милует? Нет, тут болото было страсть, — он махнул рукой в сторону ольшаника. — Как немножко сивер дунет, и по этому болоту, ровно как по трубе, хлынет стужа на деревню. Все сжигало, все убивало. Отец, бывало, все говорил: редкий год доходили хлеба. Сила, Сила Иванович беду отвел от Шавогорья. Он сорок лет канавы копал да воду из болота спускал.

— Один?

— Копал-то? Да, можно сказать, что один. Правда, попервости-то, сказывают, он давал клич мужикам. Обращался на тогдашнем на общем собрании деревни. Как его это, общее собранье, тогда звали? Сход, что ли? Давайте, говорит, навалимся всем миром, всем скопом на это чертово болото, спустим воду, отгоним холода. Ежели нам, говорит, не суждено хорошей жизни увидеть, дак пущай, говорит, хоть наши дети увидят. Ну а русский мир, сам знаешь, какой. Бульдозером не своротишь. Только один брат евонный и откликнулся, да и тот через год — через два загнулся.

— Умер?

— Болото съело.

Санников на минуту задумался.

— Не знаю, не знаю, что за человек был. Зарплаты не платили, канавокопателей и всякой техники не было. Все лопатой, все лопатой. Сорок лет. Железо вон неделю в воде полежит — и того ржа съест. А тут живой человек, из костей, из мяса, да не неделю, а сорок лет... Вот его, бывало, великим коммунаром и называли.

— Кто назвал?

— Комиссар один. Он когда ведь умер-то? А в аккурат в то самое времечко, когда гражданская у нас кончилась. Я-то, конечно, ничего этого не помню, поскольку меня в то время еще в проекте не было, а отец рассказывал. Войск, говорит, красных нагнали — деревня не вздымает. Гроб, говорит, красный, знамена красные — по-новому хоронили. Митинг у церкви. И вот, говорит, комиссар. Мы, говорит, товарищи бойцы с винтовкой в руках коммуну завоевывали, а он, говорит, с лопатой. Сорок лет. Да как, говорит, такого человека назвать? Великий коммунар...

Санников устал, видно, от затянувшегося серьезного разговора и опять заухмылялся:

— Ну а насчет детальностей, как и что, надо старушонок потеребить. Есть еще, которые помнят те времена.

3

За два дня я наслушался про Силу Ивановича всякого.

Человек-богатырь, какого еще земля шавогорская не рожала («Бывало, руки раскинет — ровно сажень»); колдун, который всю жизнь с лешаками водился («А иначе как бы он такое болото осушил?»); чокнутый, не в своем уме («Разве нормальный человек стал бы сорок лет в болоте рыться?»)...

— Он ведь и в церкву не ходил, — поведала одна набожная старушонка, — в вокресенье робил. Батюшко, бывало, все стращал: прокляну тебя, еретика. А ему и дела мало: я, говорит, лопатой крещусь каждый день с утра до вечера. Вот моя молитва богу.

Всего-всего, до последнего вздоха отдал себя болоту Сила Иванович — его на болоте мертвым и нашли.

Но, господи, до чего же жестоки, до чего неблагодарны бывают те, ради которых сжигают себя!

Человек поднялся на такое дело, можно сказать, всем богам и всем чертям вызов бросил — да вся деревня твой вековечный должник, все — стар и мал — твои слуги, твои помощники. А ему земляки на болото напрямик не разрешили ходить. Умолял, на каждом сходе упрашивал: разрешите через поля, и даже не через поля, а через полевые межи тропку протоптать — в два раза короче у меня будет дорога. Не разрешили. Так до самой смерти и шастал в обход.

— Плакал, — рассказывала одна старушонка и при этом сама плакала. — Я ведь, говорит, для вас стараюсь, не для себя... Я ведь, говорит, не возьму болота на тот свет... Я ведь, говорит, два часа на одну ходьбу трачу, а это время мог бы, говорит, болото рыть.

— Але опять обносился, обтрепался, — это уже другая старуха сказывала, — дак веришь ли, весь в заплатах да в заплатках — разноцветных, как, скажи, ряженый по улице-то идет. Да босиком але в лаптях берестяных. Дак матери-то, бывало, нас, малых, пугают: вот пошали у меня, отдам Болотному — все Болотным звали. Дак мы — ума-то нету — и палкой, и камнем в его. А он эдак берестом только голову прикрывает. Кажинный раз, и вперед, и назад, как грешник, по деревне-то идет.

Не любили, не любили его при жизни, это уж после его стали добрым-то словом вспоминать, когда он север от деревни отогнал...

Перед тем как покинуть Шавогорье, я еще раз потоптался на том месте, где когда-то стоял холостяцкий домишко Силы Ивановича (ему и жениться некогда было, рассказывают старухи), а потом пошел поклониться его могиле.

Долго мы с Санниковым бродили по кладбищу, побывали у каждого столбика, у каждой пирамидки и не нашли, не нашли могилы Силы Ивановича. Не уцелела.

— Следопытов красных у нас нету, — начал было объяснять мне Санников, когда мы уже выходили с кладбища, — а то бы они живо отыскали... В газетах-то вон читаете: там того отыскали, там другого...

И замолк, отвел глаза в сторону.

1979

БРЕВЕНЧАТЫЕ МАВЗОЛЕИ

Новгородчина. Восточная сторона...

Сколько раз за эти дни проходил я через заброшенные, словно вымершие деревни, сколько видел пустых домов с давно остывшими печами! И, кажется, уже на-

чал привыкать и к запустению и задичанию, но эта деревня меня взволновала: на углах домов я увидел небольшие красные звездочки, вырезанные из жести, в память о погибших на войне. Обычай, ныне довольно распространенный на сельской Руси.

От единственной старушонки, которая жила в этой деревне (на лето из города приехала), я узнал, что поставил звезды на домах местный учитель со школьниками, и мне захотелось познакомиться с ним. Но учитель жил в соседней деревне, до которой, по словам старухи, было километра четыре, а на дворе уже надвигался вечер, и я решил отложить встречу с учителем до завтра.

При непривычном свете давно забытой керосиновой лампешки мы с хозяйкой попили чаю, поговорили о том о сем, а потом перед сном я вышел глотнуть свежего воздуха.

Вечер был дивный. На голубом небе дружно высыпали звезды, да такие яркие, спелые. И была луна слева, так что вся улица была закрещена чернильными тенями.

Путаясь в паутине этих теней, я прошел через всю деревню, вышел к старой, обвалившейся изгороди и опять потянулся глазами к небу.

Звезды стали еще ярче. И я смотрел-смотрел на их алмазное мерцание и вдруг вспомнил притчу из далекого детства — о том, что после смерти людей души их поселяются на звездах, каждая душа на особой звезде.

Но, боже, как холодно, как одиноко и тоскливо на этих звездах, подумал я. И почему бы душам погибших на войне из этой деревни не поселиться в собственных домах, за которые они отдали жизнь?

И едва я подумал так, как тотчас же мертвые дома, чернеющие под ярким, алмазным небом, представились мне сказочными бревенчатыми мавзолеями, в каждом из которых покоится душа погибшего на войне хозяина — солдата.

Бревенчатые мавзолеи... По всей России...

1978

НЮРКИНО ЛЕКАРСТВО

(Разговор в такси)

— Откуда, откуда приехали? С Казахстана? С целины?

— Да. А что?

— Да у меня же брательник там! Целиноградский край, совхоз «Рассвет». Не были, случаем?

— Не приходилось.

— Коренной ленинградец, между прочим. Как и я. И женка городская. А теперь куркуль. Чистый куркуль! Одних свиней стадо.

— У кого свиней стадо? У брата?

— Ага. Все шалопай, хулиган был, отец, да и мы все замучились с ним. Что ни случись на заводе, в цеху — выпивка, заваруха какая, — а Валерка обязательно влип. И вот когда это движенье на целину началось — бога ради, катай! Не держим. Прижился. Сколько лет прошло с тех пор, а он и не собирается обратно. Дом. Дети. Все честь по чести. Приедет это со своей Нюркой в Ленинград, всего накупит — и айда. Но скупой — жуть! Сорок свиней у человека, да? А сальца послал хоть раз брату? И в гости приедет — большие деньги, да? А чтобы бутылку выставить — не жди. «Я гость, а гостей положено угощать...» Был я в позапрошлом году у него, разобрало любопытство — дай, думаю, съезжу. Точно: загон свинины, нарочно пересчитал. Тридцать одна штука. И свиньи все такие звери — страшно подойти.

— Да что же у вашего брата — частная ферма? Нигде не работает?

— Почему не работает? Тракторист в совхозе. И жена не на последнем счету. Депутат поселкового Совета. На жене-то, между прочим, все и держится. Вот баба! Не женщина, а автомат. Утром в шесть часов встанет, все успеет за два часа: свиней накормит, детей накормит, в школу соберет и Валерия на ноги поставит. Я как-то смеюсь: «Нюра, говорю, да ведь ты из Валерки куркуля сделала». Может, говорит, и сделала. А вашего Валерия ежели, говорит, с головой не занять, сопьется. Посмотри, говорит, что у соседа делается. Ящиками водку покупают». Между прочим, я думаю, это Нюркино лекарство неплохо бы и в городах применить. Вот разрешить бы рабочему человеку в саду копаться,

дачку завести или ремеслом каким у себя дома заняться — смотришь, поменьше бы пьяниц стало. Так? Согласны со мной? Да и общество не было бы в накладе. Валерка, конечно, у нас куркуль, тут спорить не приходится. Но ведь этих двадцать поросюх не сам же он съедает. На рынок вывозит. Значит, кто же выигрывает от того, что он свиней кормит? Только он сам? Вот то-то и оно. Начитаешься всяких ученых книжек, а как жизнь-то понюхаешь: э, нет, погоди, тут надо и свой рубильник включить... Правильно гвоздь бью? По шляпке?

1974

ДОРОГАМИ СУВОРОВА

Сказки про Райозеро нам начали сказывать еще в Новгороде. Места бесподобные, райские: светлые, нетронутые сосняки, синие ельники, упирающиеся в небо, грибов да ягод всяких навалом, а уж само-то озеро так и вовсе небывальщина — в одном году есть, а в другом нету, вместе с рыбой под землю уходит. Одно плохо: пути-дороги туда заказаны.

— Кем заказаны? Какой такой кощей там сидит?

— А вот именно что кощей. Только имя-то у этого кощея нынешнее — бездорожье. Что вы хотите, на стыке двух районов, самая что ни на есть лесная глухота...

— Ну а раньше?

— Чего раньше?

— Были раньше дороги?

— Тю, спрашиваешь! Сам Александр Васильевич на тройке разъезжал.

— Это какой же Александр Васильевич?

— Какой, какой... Один у нас, на Новгородчине, Александр Васильевич, которого все знают: граф Рымникский, князь Италийский. Имение у него в тех краях было, а может, так, для огляду ездил...

Новгородские россказни крепко запали нам в голову, тем более что по мере продвижения по области они обрастали все новыми и новыми подробностями, и вот когда мы с приятелем оказались в райгородке, от ко-

торого ближе всего до сказочного озера, мы чуть ли не с порога заговорили о поездке туда.

— Нет, нет, — замахали на нас руками, — пустая затея. Не проехать.

Но тут уж взвились мы. Как это не проехать? В каком веке живем? Да вы что, дорогие товарищи!

И в конце концов пристыженным дорогим товарищам ничего не оставалось как уступить. Короче, нам дали самую сильную машину из легковых — зеленый с крытым кузовом УАЗ, на бортах которого внушительно краснели кресты «скорой помощи», и самого надежного и опытного шофера, который, по словам секретаря райкома, просто вырос на здешних дорогах.

Однако сам шофер, человек далеко уже немолодой, сел за баранку без всякого энтузиазма. А когда мы стали выезжать из городка, начал даже склонять нас к объездному маршруту: дескать, хоть и подлиннее будет, да зато надежно. А прямая дорога — кто когда по ней ездил... Я вспылил:

— Суворов ездил! — И, чтобы раз и навсегда покончить с этим, просто скомандовал: — Прямо!

Картина была знакомая-презнакомая: сперва шумная, стремительная река жизни — асфальтовое шоссе, соединяющее область со столицей, потом поворот на грунтовку — и жизнь сразу сузилась до размеров ручья.

Но тут еще все было, как говорится, «на поряде»: были жилые деревни, были люди, был скот, поля, трактора, грузовики пылили. И так продолжалось километров двадцать — двадцать пять, а потом последняя автобусная остановка — и прощай, жизнь, прощай, белый свет. Ухаб направо, ухаб налево, одна гнилая мостовина, другая, третья, потом грязь-болотина — кидай все что попало под колеса, а иначе загорай тут, пока не выручит какой-нибудь случайный трактор, а потом еще одна пытка — ольха и береза.

Поэты на все лады славословят и слюнявят песенное дерево, возведя его в поэтический символ России: ах, белая, ах кудрявая... А мы эту белую да кудрявую кляли самыми последними словами. Разрослась, сдавила дорогу с обеих сторон и бац-бац по кузову, по стеклам. Как будто тебя вместе с машиной гонят сквозь березовый строй...

Час двадцать пять минут понадобилось нам, чтобы

преодолеть перегон в три километра — вот какие скорости мы развили.

В заброшенной деревне — мертвая тишина среди бела дня, только вой и стон от разъяренных слепней и оводов, тучей набросившихся на нас, — мы напились из колодца холодной, но уже с привкусом подгнившего сруба воды и двинулись дальше.

И опять те же муки российского бездорожья, опять пустые, задичавшие деревни, иные от ветхости уже развалившиеся, рассыпавшиеся, а иные — из матерого листвяка-кругляша — как крепости. И самое удивительное — все дома в таких крепостях без замков, без запоров: заходи и живи. И все, все как при хозяевах в избах, кое-где даже самовар с чашками на столе стоит. Так и кажется, что хозяева в какой-то великой спешке выскочили из дому и вот-вот вернутся назад.

— Ничего не понимаю, — сердился наш шофер, который, как потом оказалось, был коренной горожанин. — Всю жизнь слышу: крестьянин — собственник, крестьянин — жадюга. А тут что видим?

Но была, была одна радость и на нашем пути. Раз выезжаем из чащобы дремучего ольшаника (березовая порка к тому времени нам казалась уже лаской) и глазам не верим: золотая сказка.

Да, да, впереди холмик — каравай из чистейшего золота (как потом оказалось, наглухо сорняком, сурепкой, зарос), а на том холмике-каравае деревенька в пять-шесть дворов, да такая веселая, такая ладная, что сразу решаем: жилая.

И точно, в деревеньке были люди — старик со старухой. Живые, натуральные. Сидят себе на крылечке рубленом в тени под навесиком и во все глаза, как на какую-то невидаль, как на чертей, смотрят на нас, вылезающих из машины. А мы и в самом деле походили на чертей — грязные, запотелые и угорелые: всю дорогу из-за слепней и оводов не открывали окон.

— Да откуда вы, родимые? — ласково, нараспев, совсем-совсем в духе старинной сказки заговорила старуха и начала подниматься. Наверняка затем, чтобы поставить самовар и собрать на стол.

Мы наотрез отказались. Во-первых, немного подкрепились в предыдущей деревне, а во-вторых, нам и некогда было. Солнце уже клонилось к лесу, а где оно, это Райозеро? Сколько еще до него?

— До Райозера-то недалеко, — сказал старик. —

За Сосёнками. Верст пять отселева. Только вам ведь не попасть.

— Это почему же? Как не попасть? — петухом вскинул голову шофер. Он к этому времени тоже заразился нашей страстью.

— А потому что ничейная территория.

— Какая-какая?

— Ничейная. Ну, по-военному навроде как нейтральная полоса. Ни нашего района, ни соседнего. Ничья.

— Да ты, дедко, в уме ли? — напролом пошел шофер. — Что за территория, которая никому не принадлежит? Война, что ли, у вас тут?

— По карте-то она принадлежит. Да на ней-то никто не живет. Дороги нету.

— Даже такой дороги, какой ехали сюда?

— Ну сюда-то худо-бедно и трактора и грузовики ходят, а чтобы от нас к Районзеру ездили — не помню.

— А раньше, в старые времена? — это уж мы с приятелем начали допытываться.

— Раньше-то как не ездили. И дорога была, и на каждой версте хутора стояли, — рассудительно добавила старуха.

— Ну раз раньше дорога была, — сказал шофер, — порядок. Давай, дед, залезай в карету, проводишь нас до лесу.

— Куда ему, — вздохнула старуха. — Без ног сидит. До ветру-то без меня не сходить. Разве что я сколько провожу.

— А где же это ты, дед, ноги-то потерял? — полюбопытствовал шофер.

— На почте, — ответила за мужа старуха. — Тринадцать годков по деревням почту носил, а каково по снегу-то на лыжах? Вот в снегах-то в этих он и оставил ноги. Да еще обходчиком сколько лет был. Должность такая в совхозе — старух по деревням проведывать: кака жива, кака умерла, кака при смерти. Ведь в иной деревне одна старушонка всю зиму мается.

— И вы зимой одни в деревне?

— Одни, как не одни. Снегом да сугробами закладет по самую крышу, всю зиму, как Папанин на Северном полюсе, сидим. Осенью муки на тракторе завезут, и до весны вдвоем кукуем.

Шофер наставительно сказал:

— Надо бросать эти единоличные-то замашки, вот

что я тебе, бабка, скажу. Переехали бы на centralку (есть у вас центральная-то усадьба тут?) — и жили бы себе припеваючи, с утра до ночи телек смотрели.

— Нет уж, — сказала старуха и вдруг всплакнула, — поздно нам на чужую-то сторону ехать. В своем дому помирать будем.

— Да и приказ вроде как есть, по радио говорили — чтобы поворот, значит, на старые места сделать.

Старуха, до сих пор такая тихая и благочестивая, тут вдруг вспылила — на больную мозоль наступил старик.

— Сиди! Говорить-то можно, язык без костей, а ты смотри, что в жизни-то деется. — Она кивнула на незасеянные вокруг, в желтой сурепке поля и пошла к нашей машине: дескать, раз надумали ехать дальше, так надо ехать, а не речи разговаривать. А то солнышко в ельник скатится — куда попали?

По щетинистой, выкошенной луговине, по которой когда-то проходил тракт (еще кое-где можно было угадать старую колею), мы выехали за деревню и нырнули в серый душный ольшаник.

— Тут спуск будет, — предупредила шофера старуха. Она сидела с ним спереди.

— Вижу, бабка.

Передние колеса машины на секунду повисли в воздухе, она вздыбилась, как норовистая лошадь перед препятствием, но все обошлось благополучно — сползли, съехали как на брюхе. А дальше стоп — место для подвига Сусанина или, как еще сказал наш шофер, место для партизанской базы: ни взад, ни вперед. Желтая болотина с выгоревшей на солнце осокой, ольха, ельник со всех сторон. И тучи, серые тучи слепней и комарья.

Старуха было пустила слезу: дескать, давно ли еще они тут колхозное сено подымали, а теперь вот во что превратилась пожня, — но шофер круто оборвал ее:

— Ты не сказки нам сказывай, а говори лучше, как отсюда выбраться.

Посередке болота белыми костями лежал старый березовый настил, по которому когда-то ездили. Но сейчас он захрустел, захрупал от ветхости, едва мы на него ступили.

Может, попробовать болотину в других местах? Может, там она потверже?

Мы пробовали, вдоль и поперек месили болото, пробовали гатить болото заново — не одну ель, не одну березу свалили. Все бесполезно — вперед не пройти.

А все-таки на другой день мы добрались до Райозера. И добрались не окружным путем, а той же самой дорогой, по которой ездил Суворов.

Правда, для этого нам пришлось пересесть с УАЗа на вездеход.

1980—1981

КУСТ РУКОТВОРНЫЙ

Ивану Андреевичу Данилову,
народному учителю

От Пеши, где я обосновался тем летом, до Слуды всего шестьдесят километров, да и то рекой, а почтовым трактом, или горой, как больше говорят на Севере, и того не будет, а у меня такое ощущение было — на другую планету попал: везде, по всем деревням (а Слуда — это целый куст деревень) гремят топоры, визжат пилы, весело пахнет древесной стружкой. Строительство! Строят скотные дворы, складские помещения, жилые дома. И когда? В какое время? В самый разгар сенокосной страды. В ту пору, когда в деревне испокон веку прекращаются не только всякие работы, а, можно сказать, вымирает сама жизнь: все, и стар и мал, выезжают на пожню.

Поразил меня и зеленый наряд Слуды.

В Пеше в жаркий летний день сгоришь, покамест от одного конца до другого доберешься: ни одного кустика. А тут, в Слуде, тополя над головой. Кипят, шумят на ветру — не то стая птичья крыльями бьет, не то море волной играет.

Я не сомневался: виновник всему в Слуде директор совхоза Василий Степанович Латышев. Двадцать пять лет назад начал он как председатель самого захудалого в районе колхоза (вместе с доярками подвешивал на веревках коров-доходяг), а ныне весь район к нему учиться ездит — какая еще аттестация нужна?

И такого же мнения были люди, но только не сам Василий Степанович.

— Хорошо бы, хорошо бы въехать в местные святцы отцом новой Слуды, — сказал он с легкой усмешкой, — да нет, не получится. Не от меня пошла жить нынешняя Слуда.

— А от кого?

Василий Степанович хитровато прищурил свой серый, немного раскосый глаз и вдруг выпалил:

— От куста!

— От куста?

— Вижу, вижу: сказки рассказывает Латышев. А может, и сказки. В Слуде не приходилось бывать раньше? Ну, твое счастье. Сахара. Песчаный остров. Старики свинью своим внукам подложили — построились на песчаном холме, думали: вот мы сколько хорошей земли сэкономим, самого господа перехитрим. Тот ведь по этому вопросу с самого начала четкое указание дал: возле воды строиться. А тут один песок. Ничего у дома не вырастишь, ни репки, ни ягодки. В солнечный день с потрохами сгоришь. А ежели ветер — опять ад форменный: с закрытыми глазами, на ощупь по деревне ходишь. Ну и ясно, пока был у нас прижим, кое-как и Слуда чадила. А потом вожжи маленько поослабили — все, как тараканы из холодной избы, поползли. Кто куда. Кто в город, кто в леспромхоз. И до того Слуда обезлюдела — корову подоить некому. А начальство требует: дай работу в колхозе на полный ход, потому как леспромхоз кормить надо. А леспромхоз — это кубики, валюта. Вот ведь какая тут диалектика природы... Первым делом, конечно, по кадровому вопросу ударили. После войны за семь лет одиннадцать председателей сменили. Раз даже первого секретаря райкома поставили. Это уж секретарь обкома один хватил. Приехал в Слуду порядки наводить. Сам. А там, в Слуде, незнамо что. Вот он и психанул. «А, говорит (это секретарю-то райкома), раз толкового председателя подобрать не можешь, сам в сани впрягайся!» Ну, результат тот же — через полгода и секретаря выпрягли, то есть прогнали. А сколько, ты бы знал, всякого добра в эту Слуду свалили! Техника, денежные ссуды — кому в первую очередь? Слуде. Шефская помощь и всякая дармовщина? Слуде. Налоги скостить, недоимки списать — с кого? Со Слуды. Ну все равно, все никто не хочет жить и работать в Слуде. И вот в это самое время, когда уж, мож-

но сказать, саму деревню решили срывать с лица земли, в Слуде и грянула «Аврора»...

Василий Степанович откинул со лба черное, с густой проседью крыло волос, вяло махнул рукой.

— Какая там «Аврора»?.. Сноп хворостин, вот эдаких вот виц саженных. Старый учитель выстрелил. Я попервости, когда его увидел — идет, сгибается под этой ношей, — даже подумал: ну, допекло и старика. Решил, видно, перед тем как концы отдать, порку всем задать. Так сказать, на прощанье. Да, я в то время как председатель по Слуде в мыле бегаю, бабенку какую-нибудь ищу, чтобы на скотный затолкать — второй день коровы не доены, — а старый учитель, Прокопий Алексеевич Потанин, с этим вот снопом хворостин тоже обход по Слуде делает: кустики-топольки возле домов уговаривает выращивать. Я от злости просто света белого невзвидел, просто ногами стоптал. А как? Подо мной земля рушится, у меня коров некому подоить, а тут о каких-то кустиках... Да выйди за деревню, там этих кустиков видимо-невидимо! Все поля завалило. А Прокопий Алексеевич мне и отвечает: «А напрасно, напрасно, Василий Степанович, вы против кустиков-то. Я, говорит, зеленых помощников вам хочу дать». И дал.

Василий Степанович порылся в письменном ящике, вытащил изрядно потрепанную, в клеенчатой обложке тетрадь.

— Вот тут вся история превращения нашей Сахары в зеленый сад. Смотри — список хозяйств деревни, у кого сколько кустов и когда посажены. А вот по годам да по числам — полив. За пятнадцать лет изо дня в день. Ничего учетик? И так до самой смерти, с ранней весны до поздней осени. Сперва доказал, что на наших песках тополя растут, а потом — самое главное — чтобы возле этих тополей грядки зеленые завелись да ягоды, да овощи заросли... Всего было у нас — и смеха, и горя. Иной бы: да иди ты к богу в рай со своими кустиками! Не до кустов мне. А потом как одумается, кто его просит, — и забегал. А как? Как старому учителю отказать, когда он и детей твоих учил, и тебя, и жену? Да Прокопий Алексеевич больно-то и не упрашивал. Не хочешь? Лень-матушка заела? А ну дай мне, старику, ведро, сам схожу за водой. Вот так он на старости-то лет своих бывших учеников воспитывал.

Василий Степанович потряс тетрадкой и рассмеялся:

— А я, между прочим, тоже под учетом у Прокопия Алексеевича состоял. Есть в этой тетрадочке и фамилия директора совхоза. Теперь вот скоро на пенсию выходить, жена: давай поедем на родину, — а я так, пожалуй, тут, в Слуде, намерен остаться. Выходит, Прокопий-то Алексеевич и меня посадил на свой зеленый якорь.

Мы вышли из конторы уже на закате. В заметно посвежевшем воздухе было тихо — ни единой ветриночки. Но верхушки тополей, облитые розовым светом, волновались, и Василий Степанович, задрав кверху голову, сказал:

— Думаешь, это тополя рокочут? Прокопий Алексеевич наказы мне дает. На завтра.

Помолчал и уже тихо, на полном серьезе:

— Вот так каждый вечер. Всю страду.

1978—1981

КАК ЛУКЕША СВОЮ МАНЬКУ ЗАМУЖ ВЫДАЛА

Кончила техникум, работы близко от дома нету, услали в чужой район. Ну в чужой и в чужой. Не ты первая, не ты последняя. Нонь не старое время: самолет. Было бы желанье — на выходной домой можно.

Ну ладно, уехала у меня Марея. В отпуска приезжает, на выходные приезжает, а пошто она замуж-то не выходит? Три года как ученье кончила, три года на стороне живет, а все одна.

Я думала-думала — надумала: дай-ко к ней съезжу, погляжу, что у ей за жира. Пошто ни один парень не рад моей девке? Красоты большой нету, да и негаведна. Руки-ноги на месте и все остальное не хуже, чем у людей. Шуба — пятьсот пятьдесят рублей давано, сапожки теплые сто двадцать рублей, платок пуховой. И здоровьем не обижена: добрый конь.

Поехала. У коров взяла отпуск (всю жизнь скотницей роблю), отца с малыми на самообслуживание поставила.

Вот добралась до Манькиного поселка. Быстрехонько, за один день. Улицу нашла, дом нашла. А как в дом зайти? Все крыльцо снегом завалено, под саму крышу сугробы, только вот эдакая вот тропиночка протоптана. Как ручеек.

Увидела — дед из соседнего дома вышел.

— Уважаемый, — говорю, — живут, нет здесь девушки?

— Живут, — говорит. — У ихнего крыльца стоишь.

— А вход-то, — говорю, — к ним с двора, что ли?

— Пошто со двора? С этого крыльца.

Я больше слов не сорила. Разгорячилась, распалилась — одним махом на лестницу взлетела, на втором этаже живут, а там в избу да не то палку, не то веник схватила да давай-давай утюжить Маньку. Это вместо здорованья-то. Пять кобыл живут в общежитии: кто на койке лежит, кто курит, кто на гитаре брякает... Вот какая у них вольница!

— Мама, мама, не сходи с ума! — Это Манька-то мне.

Нет, буду, буду сходить! Да вы откуда, говорю, понаехали? От каких матерей-родителей? Да неужели же, говорю, вас дома ничему не учили? Лежите, срамницы, крыльцо запало снегом, в дом не попасть. Все, все, говорю, за лопаты! До единой!

Выгнала. Даже одеться не дала. В одних платьишках выскочили.

Живехонько загребли. Не дорожки — улицы на весь мир побежали.

Умеют. Ведь они из деревни все. Это тут без материного-то глаза обленились, волю забрали, а дома-то они чуть на ноги встали — лопата в руки...

Ну и все. И женихи нашлись. Я вечером-то того же дни из бани возвращаюсь, тоже и я лопатой орудовала, вся употела, — у них полно ребят. Негде сесть.

Вот так, говорю, и живите, чтобы к вам со всего света дороги вели, а я поеду. Меня коровы ждут, до́ма ждут.

Уехала.

И вот не знаю, прожила я, нет недели-то три дома, от Маньки письмо: мама, я замуж выхожу. А вскорости по ейным-то следочкам и другие побежали. И общежитие распалось. Да...

Ну дак уж тут летом Манькины подруги в гости приезжали, было у нас смеху.

— Ты, ты, — говорят, — Кирилловна, нас замуж выдала. По твоим дорогам к нам женихи побежали.

А может, и по моим? Может, еще и теперь бы в девках сидели, кабы я порядка не навела?

1981

САН САНЫЧ

1

Услужливые товарищи из областного управления культуры нам предложили сразу несколько туристских маршрутов. На выбор. Обжитых, хорошо обкатанных. А мне вдруг захотелось дикости. И в том, конечно, немало повинна была Франция, где я только что побывал.

Красивейшая, культурнейшая страна! Распахана, разделана и разрисована, как парк. И что скрывать, у меня попервости сердце пухло от зависти. А потом какой-то сдвиг внутри — и мне вдруг стало скучно. Где же тайны, где же извечные загадки земли? Где нехоженые тропы, где ни с чем не сравнимый дух первозданности?

И вот мы с приятелем котомки за плечи, батог в руки — и пошли-пошагали куда глаза глядят.

Ух, радость! Ух, счастье! Ночлег у костра на берегу речки или озерка — с ушицей, пахнувшей дымком, с росяной свежестью, с восходами и закатами; парное молоко прямо из-под коровы; чистое, как небо, как леса, российское слово...

Но, увы, так было недолго, каких-нибудь дня три, пока мы держались в зоне жизни, то есть пока мы крутились возле асфальтового шоссе и расползающихся от него проселочных усов, а потом дороги кончились, началась непролазная глушь, из которой то и дело выныривали заброшенные и задичалые деревни и деревушки.

Скоро наши котомки отощали, от комарья не было пощады даже днем, а потом еще одна беда — заблуди-

лись. Это уж исключительно по моей вине: я, спросонья разжигая костер, вместе с газетой спалил местную верстовку.

И вот бродим, часами бродим по замшелым ельникам да болотам, шастаем взад-вперед по бывшим дорогам-тележницам, сплошь заросшим матерой травой да дудкой, с завистью вглядываемся в синее небо, где то и дело в непроглядных глубинах вспыхивают серебряные крестики пассажирских лайнеров (Нечерноземье же! Сердце России!), а куда податься? Как выбраться к ближайшему жилью?

Нас выручил приглушенный рокот мотора, который мы услыхали, раз выйдя на старую вырубку. Только что умирали от жары, от голода, только что из последних сил нахлестывали себя березовыми вениками (страсть в тот день сколько комара было), а тут рванули, как лоси, как олени.

Выбежали к ручью с поляной, а на той поляне ни мало ни много — танк.

Вскоре рассмотрели и людей. Двое. Сидят вразвал под развесистой черемухой и давят бутылку.

— Куда двигаем?

— А куда надо, туда и двигаем, — отрезал чернявый, с редкими зубами, и хмуро, недружелюбно оглядел нас с головы до ног.

— Да нам, собственно, дела нет до вашего маршрута, — начал я примирительно. — Нам бы как до ближайшей лавки добраться — второй день на подножном корму.

— Витамины? — пьяненько подмигнул товарищ чернявого и, явно желая сострить, добавил: — Водка — первый витамин.

— Заткнись! — И чернявый, еще больше напустив на себя строгость, кивнул за черемуху: — Дойдете до Власина, а там отоваритесь.

— Да ведь до Власина-то им двадцать верст чапать! — пожалел нас мужичонка.

— А это уж не моя забота! Я их сюда не звал. — Чернявый тяжело поднялся (на добрый центнер был!) и пошагал к вездеходу, который мы попервости приняли за танк.

— Понимаете, — извиняющимся голосом, как бы в оправдание своего товарища, заговорил мужичонка, — мы вас на свой объект пустить не можем. К нам посторонним вход строго запрещен.

— А что у вас за объект?

— У-у, секрет... Научная база... — Мужичонка повертел головой и как-то загадочно ткнул пальцем в небо. — Которые там... Понимаете?

Мы с приятелем невесело переглянулись: неужели нам и в самом деле придется «чапать» за двадцать километров во Власино?

— Послушай, друг, а ведь мы тоже научные работники. Так что ваша база для нас не закрыта...

— Не, не, нельзя... У нас строго насчет этого... Сан Саныч, наш начальник, такую жизель нам устроит...

— Как, как вы сказали? Сан Саныч? — Я как утопающий ухватился за соломинку.

— Сан Саныч... А чего?

— Так это же мой закадычный друг! — Тут уж я пошел напролом, тем более что у меня действительно когда-то был знакомый по имени Сан Саныч, а то, что он не имеет никакого отношения к начальнику здешней научной базы, плевать. Сейчас главное для нас — выбраться из этой проклятой глуши.

— Финоген! — вдруг торжествующе на весь лес закричал мужичонка. — Открывай карету! — У него все-таки было доброе сердце. — Мужики-то эти знаешь кто? Друзьяки самого Сан Саныча.

— Пой, пой, соловушка...

— Чего пой-то? У нашего Сан Саныча, сам знаешь, по всему свету друзья-приятели.

И дальше все уже развертывалось как в сказке: чернявый из нашего злодея-недоброжелателя в один миг превратился в предупредительного слугу и сам предложил нам садиться в машину.

2

Я представлял себе научную базу чем-то вроде благоустроенного современного поселка за дощатым забором и непременно с охраной возле въездных ворот. А тут смотрю — деревня, да и деревня-то, судя по первым домам, так себе. Только лесок справа меня сразу же поразил — ровнехонькая елочка-жердевка в три ряда, эдакий живой зеленый тын метров на двадцать пять, а рядом с тыном белый щит с черными буквами, которые можно прочитать чуть ли не за полверсты: «Научная база НИИ-101. Вход посторонним строго воспрещен!!!»

Вот у этого елового леска чернявый и дал тормоза. Выскочил из машины, уставился, как пес, на лесок и заорал:

— Сан Саныч, принимай гостей!

— Каких гостей, Финоген? — спросили из-за леска. Голос был строгий, приказной. — Я никаких гостей не жду.

Затем оттуда как напоказ вынес себя высокий жердистый человек — босиком, в шортах, и я глазам своим не поверил: мой знакомый. Тот же в оскале золотой рот, те же невозмутимые голубенькие глазки с желтыми, цыплячьими ресничками, тот же крепкий костистый череп, словно выкованный из красной меди.

Сан Саныч тоже узнал меня и первый раскрыл объятия.

— Ну вот, — облегченно вздохнул чернявый и вдруг громко расхохотался, — друзьяки! А мы ломай голову на перекрестке двух дорог...

— Была, была у нас закупорка-то в мозгах, Сан Саныч, — признался и его товарищ, виновато улыбаясь. — Приказ надо сполнять, и опять же видим — наука: открывай все семафоры...

Сан Саныч снисходительно, с пониманием покачал головой:

— Ах дурачки, дурачки! Надрались. Еловые гаишники нам нипочем. Ну ладно, ладно, идите. Протряситесь маленько. Ночью, может, сетешкой придется тряхнуть — надо же гостей свежей ушицей побаловать.

— Это у нас не заржавеет! Мы хоть все озеро протралим!

— Чапайте, чапайте. Да у тебя, Афиноген, мать вроде баню топила, повыбивайте из себя дурь-то молодой березой.

Мужики захохотали — по душе пришлась шутка, — но Сан Саныч не обращал на них уже ни малейшего внимания. Он подхватил под руки меня и моего приятеля и повел в дом.

С Сан Санычем меня свел случай. Лет десять назад выехали мы с одним товарищем в Подмосковье на подледный лов. Выехали налегке, в демисезонных пальтишках, в туфельках — нулевая температура была с утра, да у приятеля, только что приобщившегося к этому занятию, по правде сказать, и справы нужной еще не было, — а потом как с полудня завыл-завыл сиверко да

как повалила-повалила мокрая липуха — мы и закоченели, в один миг превратились в ледяные сосульки.

И вот кабы не Сан Саныч, наш сосед по лункам, нам бы пропадать. А Сан Саныч как живая баня на льду: грейся. Хоть полушубком с его плеча, хоть подогревом из фляжки.

Я сразу же привязался к Сан Санычу. Во-первых, видный специалист по заповедникам, а значит, и по вопросам природы, или, выражаясь по-современному, по вопросам экологии, — есть о чем поговорить с человеком! А во-вторых, Сан Саныч был еще и охотник, а к охотникам я с малых лет неравнодушен.

Короче, по первой же пороше мы выехали с Сан Санычем на зайчиков, на его любимую охоту. Выехали целым семейным кланом: сын Сан Саныча с женой, дочь с мужем и он сам с молодой женой.

Добыча для меня, школяра в этом деле, оказалась баснословной: за каких-нибудь три часа команда Сан Саныча расколошматила семнадцать лопоухих!

Тушки их, уже закоченевшие, с красными пятнами замерзшей крови, белой поленницей выложили на черном еловом лапнике, уселись вокруг сами, и начался пир, пир, как торжественно выразился Сан Саныч, по обычаю наших далеких пращуров...

После этого Сан Саныч еще несколько раз приглашал меня на зайчиков, но я всякий раз под каким-либо предлогом уклонялся, и в конце концов мы потеряли друг друга из виду.

Сан Саныч за те десять лет, что мы не встречались, ничуть не изменился: ни единого седого волоса ни в рыжем курчавом венчике вокруг лысой головы, ни на шерстистой груди, хотя ему было за семьдесят. И вообще, сухой и прямой, внешне спокойный и невозмутимый, весь с головы до ног прокаленный солнцем, он напоминал сейчас библейского пророка-пустынника, а вернее сказать, боевого индейского вождя — уж очень для святого крепки были его широкие тяжелые ручищи и большие, по-медвежьи растоптанные ступни.

— Труд, труд, мой милый, — кивнул мне свысока Сан Саныч, как бы отвечая на мои мысли. Затем, подведя нас вплотную к елкам, сказал: — Весь этот еловый забор в три ряда вот этими рученьками сотворен. Каждая елушка в лесу выкопана да сюда перенесена. Север. Пришлось вот этой живой стеной от северных ветров загораживаться.

Дом Сан Саныча, стоявший сразу за еловым леском, походил на сказку. Тут тебе и старина-матушка (двускатное рубленое крыльцо с навесом), тут тебе и все удобства и блага современной цивилизации: водопровод, ванна, облицованная белым кафелем, газ (конечно, привозной, в баллонах), теплый туалет.

И мы переходили из одной комнаты в другую и только качали головами (какие тут найдешь слова!), а когда вошли в кабинет хозяина (был тут и кабинет), у нас и вовсе дух захватило: три больших окна, почти без простенков, и во все три окна прет озеро. И даже не прет, а лениво изнывает за окнами, развалясь, как какой-то гигантский добродушный зверь с серебряной, сверкающей на солнце шкурой.

— Да откуда у вас все эти чудеса, Сан Саныч? Мы бродим тут, пустыня, думаем, лесная...

— Труд, труд, ребятушки, — опять назидательно сказал Сан Саныч. — Ох, если бы вы видели, что тут было! Ну, дом этот, — он сделал рукой полукружье, — одни стены, это ясно. Да тут ведь и души-то человеческой ни единой не было. Я этих здешних аборигенов Фенка да Тютю где, думаете, закрючил? В райцентре, возле пивного ларька. А сколько нервов да крови стоило, чтобы уговорить их вернуться на круги своя... Ладно, — оборвал он себя, — сперва питанье, а потом воспоминанье.

Мы прошли на кухню, просторную, светлую, с белым, некрашеным полом из широченных плах (старая постройка) и буквально всю заваленную цветами. Там нас уже поджидал, как выразился Сан Саныч, легкий перекус: холодное молоко, прямо с погреба, клубника, крупная, сочная, огурчики свежие, слегка спрыснутые водой и с такими аппетитными пупырышками, и рыба, нарезанная тонкими звеньями, — свежепросольный сиг.

Хозяйку — она за стол не села — я сперва принял было за родственницу Сан Саныча: такой она показалась мне молоденькой по сравнению с той, что я видел когда-то на охоте. Да и цвет волос был другой. Та, помнится, была черноволосая, с короткой мальчишеской стрижкой, а эта беленькая-беленькая и пушистая, как одуванчик. Перекрасилась? Прошла какую-то мудреную обработку у особо изощренных мастеров?

Я все ждал, что эту семейную загадку разъяснит сам Сан Саныч, с этой целью я даже недвусмысленно

поглядывал то на девчонку, то на него, но Сан Саныч, делая вид, что всецело захвачен обязанностями хозяина, помалкивал.

3

После перекуса, который, прямо скажем, разросся в настоящий пир, мой приятель принялся за свои порванные кеды (еще вчера на сук напоролся), а мы с хозяином вышли на вольный воздух, в царство зелени и воды.

— Да сними ты колодки-то со своих бедных ноженек, — посоветовал мне Сан Саныч. — Разрядись ты от этого проклятущего электричества. Неужели тебе не надоело оно в городе? Восстанови хоть на часик свой союз с землей-матушкой.

Соблазн был велик. Сам Сан Саныч по-прежнему вышагивал босиком и всем своим видом показывал, как это хорошо.

И в конце концов я тоже снял туфли, хотя и не очень легко предаваться босоногим радостям с моей отвисшей клешней.

По отлогому угорышку, белому от ромашек, мы спустились к озеру и пошли сухим, песчаным бережком, и мелкая теплая волна то и дело ласкала наши ноги.

— Ничего здешние палестины? Нравятся?

Я в ответ только руками развел.

— Так за чем же дело? Вставай к нам на якорь.

— Что значит на якорь?

— Шалашом обзаводись.

— Тут, у вас?

— А что?

— Но ведь я, как говорится, другого прихода. Кстати, а что у вас за научная база? Кому она принадлежит?

Сан Саныч пожал плечами.

— Да как тебе сказать. Во всяком случае, для тебя она не закрыта. Ох советую! Не пожалеешь. Хочешь — отдыхай, хочешь — работай. А места-то какие! А климат-то! Сосна, лиственные породы. У нас сердечники здесь про сердце забывают. Да я сам, старый гриб, можно сказать, как заново тут родился...

— Вижу, вижу... — с намеком подмигнул я. — Заметил перемены в твоем хозяйстве.

— Ах, ты это про Ветку... — Сан Саныч вздохнул. —

Ну что тебе сказать, друг милый, по этому вопросу? Грешен. Три раза был в законном браке, лимит отпущенный, как говорится, исчерпал сполна, а я все еще не отпихиваю от себя кубок жизни. Светка, которую ты знал, ничего девчонка была, хорошо разгоняла старику кровь. Ну, вопрос поставила ребром. Тридцать лет. Либо женись, вписывай в свою краснокожую паспортину, либо бьем горшки. С характером. Ну, я подумал-подумал: а надо ли мне на старости лет, как говорит моя дочь, марать свое автобио? Да и опять же этот интерес к камешкам, к презренному металлу. Раньше, бывало, шею бусами из ягод шиповника обвила — королева! А тут, смотрю, одна золотая цепочка, другая, колечки-перстеньки на пальчики подай, да с камешками... Да... Э нет, моя хорошая, сына и дочь обворовывать не намерен, помню свои отцовские обязанности. Вот так мы со Светланой Ивановной и помахали друг другу ручками. Ну а я вот этой козочкой-беляночкой обзавелся... Много их нынче, стригунков-несмышленышей, развелось. Из родительского гнезда выскочат — за рюмку, за папиросу, всего отведать хочется, а потом — и жить не хочу. Моя травилась. Из провинции приехала, в институт не прошла, денег нету, за художника зацепилась — не прижилась... Мне жалко их, глупышек. Да отогрейся ты возле меня, старика! Не съем. А крылья отрастишь — лети на здоровье куда вздумается. Между прочим, — сказал Сан Саныч назидательно, — я и тебе не советую пренебрегать биологической силой как фактором обновления... — И тут Сан Саныч со свойственной ему обстоятельностью начал развивать целое учение об этой самой биологической силе, то и дело уснащая свою речь научной, не очень понятной мне терминологией.

На мое счастье, неподалеку от нас из зарослей ивняка с большой корзиной белья на плече вышла старуха, и у Сан Саныча к ней оказалось дело.

— Ну что, Марфа, — закричал он ей с ходу, — сбил с себя дурь Фенко?

— С чего? — Подойдя к нам, старуха остановилась, поставила корзину на землю. — Еще с тем, кощеем-то, бутылку опростали.

Сан Саныч неодобрительно покачал головой, и строгая повелительность появилась в его голосе:

— Скажи этим обормотам, чтобы часика через два у меня были наготове. Пускай хоть кишки из себя выворачивают. На озеро вылазку хочу сделать.

— Ладно, скажу, как добужусь. Фенко-то все головой за стол имался, может, и заснул. А я вот чего хотела спросить у тебя, Сан Саныч. Внучка пристала: «Баба, шанег спеки, баба, шанег хочу...» — дак можно, я банки две молока на сметану поставлю?

— А из каких шишов ты эти две-то банки выкроишь?

— Дак вот я об етом и хотела спросить. Может, кому можно сбавить?

— А кому?

— Кому-кому... Кому скажешь, тому и сбавлю.

— Нет уж, давай не будем ломать заведенный порядок. Внучка твоя и без шанег не умрет, а люди должны получать молоко. Внучка шанег захотела... А у генерала язва... А у Петра Прохоровича диетпитание... А Эдуард Эдуардович, тот вообще одну кашку ест... Да нас с тобой живьем съедят, ежели мы их без молока оставим!

Я решительно ничего не понимал. Почему Сан Саныч занимается распределением молока? Корова, что ли, у них со старухой общая?

— Да не общая, — начал объяснять Сан Саныч, когда мы отошли от старухи. — Корова Марфина. Она хозяйка. Да коров-то в деревне всего две, вот и приходится распределять молоко в централизованном порядке. — Сан Саныч горестно пожевал пестрыми от веснушек губами. — Увы, те перебои в снабжении людей молоком, о которых пишет наша пресса применительно к городам, имеют место и в нашей деревне. Население-то летом у нас какое? Одиннадцать домов. А сельскохозяйственная база? Две крестьянские семьи, две буренки, вот и хочешь не хочешь, а ставь регуляторы у подойников, вводи военный коммунизм.

— А хозяева? Хозяева коров не возражают?

— Э, милый! Да как им возражать-то? Зря, что ли, умные люди сказали: жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Да этот Афиноген да Тютя только благодаря нам в своей родной деревне и небо-то коптят! А как? Можно, к примеру, тут без вездехода жить? Сам видел, дороги-то какие.

— А разве нельзя эти дороги поправить? Так, чтобы на грузовике хотя бы проехать можно было?

Сан Саныч посмотрел на меня как на малого ребенка.

— Да, мил человек, вся-то загвоздка в том, чтобы тут дорог не было.

Кровь бросилась мне в лицо. Я даже остановился. Россия криком кричит: дай дороги! А тут о чем забота? Да здравствует бездорожье?..

Когда я немного взял себя в руки, Сан Саныч с озабоченным видом заговорил:

— Понимаю, понимаю... Подъем Нечерноземья... Создание нового русского поля и тэ дэ и тэ пэ. Читаем, читаем газеты. Да если на то пошло, я и сам по этой части одно рацпредложеньице подбросил. Ай хорошее предложеньице! Грозятся даже на премию выдвинуть. Вот так-то, милый друг. Не в долгу, не в долгу перед целиной номер два. Работаем. Вносим свой патриотический вклад. Ну а если по-деловому, без сантиментов... Стояла пустая, заброшенная деревня, а я со своими товарищами тут жизнь раскочегарил. Худо это? Во вред государству?

— Так у вас тут вовсе и... не научная база?

— Ах, любим мы всякую формалистику! Три доктора наук, два членкора, три столпа из трех министерств, учти — важных министерств, генерал — это тебе не научная база? Да один Эдуард Эдуардович у нас целый институт. В прошлом году пятнадцать с половиной миллионов чистой прибыли дал. Один! А откуда эта прибыль взялась? А из здешних лесов, из здешней глуши. Здесь Эдуард Эдуардович разработал свой метод. Одно плохо. — Сан Саныч глубоко вздохнул. — Леспромхоз на той стороне объявился. Я прохлопал. На моей это дело совести.

— А чем помешает вам леспромхоз?

— Ну что ты! Сегодня вот тихо, выходной, а завтра что начнется? Дороги — это хорошо, кто спорит, да по дорогам народишко хлынет, все вытопчет, землю-то здешнюю на ногах унесет, а не то что там грибы, ягоды... Ну да мы еще поборемся. Гуляет где-то в верхах наша бумага за большими подписями. Бьем на заповедник. Чтобы заповедником объявить здешние места. А как? — Сан Саныч живо обернулся к озеру, неподдельный восторг появился на его лице. — Неужели дать сгубить всю эту красу? — И вдруг предложил: — Присоединяйся к нашему колхозу! Не пожалеешь, ой не пожалеешь! Дом есть, почти готовый, за месяц марафет наведем — вывози отсюда красоту, радуй читателя.

Я не сразу, но ответил шуткой:

— Боюсь, лесную промышленность не одолеем, много хлопот будет с отъездом.

— А ты не бойся! С божьей помощью да еще кое с чьей положим и лесную промышленность на лопатки. Есть в нашем стане богатыри, заставим с собой считаться. Ну а ежели не положим, уйдем в другие леса. На Руси-матушке их на наш век хватит. Техника? Техника для нас не проблема. Вездеходом разжились, разживемся и вертолетом. В Америке чуть ли не у каждого лавочника личный самолет, а мы хуже? Доколе будем лазаря-то петь?

4

Мне не удалось побывать в деревне, где разместился «колхоз» Сан Саныча. Ибо в ту самую минуту, когда мы с ним подходили к горке, на которой стояла деревня, от дома Сан Саныча замахали белым платком.

— Это еще что за баловство? Кому я понадобился? — недовольно проворчал Сан Саныч, но вслед за тем повернул к дому.

Белым платом махал мой приятель. Он встретил нас на изготовке: в зашнурованных кедах, в штормовке, с рюкзаком за плечом.

Не глядя на меня, буркнул:

— Отчаливаю...

Я ничего не понимал. Какая вдруг муха укусила человека? С девчонкой Сан Саныча поцапался? А может, все проще? Может, самого Сан Саныча возненавидел?

От моего приятеля всего можно ждать. Шума не поднимет, все больше молчит, но уж что надумает — не своротишь.

Меж тем Сан Саныч и раз и два легонько толкнул меня сзади: дескать, не удерживай. Пускай себе шастает. Нам от этого хуже не будет.

Но мог ли я бросить товарища? Мог ли позволить ему одному глядя на ночь шлепать бездорожьем, этими глухими лесами, где мы еще днем заблудились? А потом мне вдруг представилось, что мне предстоит целый вечер провести вдвоем с Сан Санычем, — и я пришел в ужас.

— Постой! — крикнул я и бросился в дом за своим рюкзаком.

1981

ЖАРКИМ ЛЕТОМ

1

Столярка у Аркадия была на задах, под одной крышей с баней и погребом, и велика ли хода̀ от нее до дома, а он вот как уплясался за день у верстака — крыльца не мог одолеть без передыху.

Шумно, как загнанный конь, отдуваясь, он вытер ладонью худое запотелое лицо, посмотрел за реку. Солнце садилось в ельник, но жара еще не спала и картофельная трава в огороде как обвисла тряпьем после полудня, так и висела. Не предвещал никаких перемен на завтра и пес, развалившийся прямо на земле возле дома.

Обычно, когда вечером он переступал порог кухни, на него с криком, с гамом вешались дочери — четыре кобылы сразу, — да еще мать иной раз в детство впадала, а сегодня ни одна с места не сдвинулась.

— У вас что — собранье или забастовка ныне?

На шутку никто не откликнулся.

Почувствовав что-то неладное, Аркадий окинул взглядом дочерей — по всей кухне вразброс сидели, — поискал глазами старшую.

— А та где? Не вижу.

Опять экзамен на выдержку.

— Я спрашиваю, Гелька где?

— Ушла, — не сразу ответила Фаина.

— Куда ушла? Я, по-моему, ясно сказал: никаких гулянок!

— К отцу ушла... — опять с оттяжкой ответила жена. И вдруг всхлипнула, а вслед за ней прорвало и девок — в три трубы заревели.

— Ладно, — отрубил Аркадий, — с возу упало — кобыле легче.

Первым делом он, как всегда, оседлав скамеечку возле печи, снял прокаленные за день ботинки, затем начал было расстегивать широкий брезентовый пояс, к которому был прикреплен протез — две металлические шины, подпирающие больную ногу, — и вдруг заорал на всю кухню: по горячей кирпичине голой спиной шаркнул.

— Ты калишь печь-то — крещенье на улице?

— Дак ведь как... Исть-пить надо...

— Исть-пить... А вы чего расселись? — накинулся

он на дочерей. — Делать вам нечего? Отец с работы пришел, а у них еще и стол не накрыт.

— Сейчас, сейчас накроем, не успеешь руки сполоснуть. — И Фаина, несмотря на свою полноту, с живостью бросилась хозяйничать.

— А их куда берегешь? — еще пуще прежнего заорал Аркадий, кивая на дочерей. — Что за порядки новые завели? Мать с утра до ночи убивается, а они диван давят.

За столом сидели как на похоронах. У Аркадия жара изнутри поднялась — пять стаканов чая подряд выдул, и все равно не помогло, пришлось холодянкой заливать.

— Ну, каковы на сегодняшний день трудовые успехи? — вопросил Аркадий, когда, вытерев полотенцем пот с лица, с шеи, опять сел на свое место.

— Какие успехи... — ответила за девок Фаина. — Та ушла... мы с ума сошли...

— А тебе-то чего с ума сходить? Мати ты ей родная, чтобы с ума-то сходить?

— Мати не мати, да об ей перва забота была. Какая копейка в доме завелась, кому чего бы купить, нет, стой: Гельке. Гелька у меня в девки выходит.

— Вот и дура! Не теперь у людей сказано: сколько волка ни корми, все равно в лес смотрит.

— Папа, а ты бы съездил в Горки-то, — захныкала самая малая.

— Зачем? Чего я там не видал?

— Дак, может, Геля-то еще там, не уехала...

— Да вы что?! За кого отца принимаете? Игрушка отец-то вам? Так вот сел в лодку, мотор завел и покатил: не угодно ли вашей милости на прежнее местожительство?

— Ну и что... А как мы без Гели-то?

— Как, как... А как она без вас, так и вы без ей.

— Папа, съезди за Гелей... Папа, привези Гелю...

Заголосили в три голоса. И даже не заголосили, а затрубили.

Хотел, хотел он было сегодня вечером передышку сделать, хотел было «Технику — молодежи» почитать, свежий номер вечор привез из Горок, и ноге больной покой требовался, но разве его доченьки об отце думают?

В общем, выскочил из-за стола как на пожар, даже не покурил.

2

Вечер не принес свежести. Лодка у реки совсем обсохла. И надо бы, надо бы дойти до реки, спихнуть ее на воду (все не так гнить будет), но он представил себе, какой сейчас зной скопился на песчаном, раскаленном за день берегу, и похромыкал в столярку.

Стоять за верстаком у него уже не было сил, и он разобрался с сеткой, которую с весны сочинял из всякого старья и хлама... Была, была у него сетка, и хорошая, капроновая, да прошлой осенью опростоволосился — отобрал рыбнадзор, а новую схлопотать не удалось, хотя кому только он не писал в город. Вот и приходится все лето мучиться, потому что по нынешним временам без подмоги реки какая жизнь? Хлеба, сахару купишь, а насчет всего прочего лучше и не думай — своими средствами добывай.

Работа попервости пошла ходко, хорошо заходила в руках деревянная игла, а потом он вдруг увидел в ногах смятый бумажный рубль (из кармана, должно быть, выпал, когда сигареты доставал) — и стоп: опять на уме Гелька. Взяла ли на автобус денег? Или гордость заела — без копейки из дому выскочила? Да и вообще, спрашивал себя немного успокоившийся к этому времени Аркадий, как все это могло случиться? Как могла ихняя семейная лодка на всем ходу развалиться?

Ну он себя не хвалит: псих. Под горячую руку может наломать дров. А у нее-то, у Гельки-то, где ум? Раз видит, отец распсиховался...

Э-э, да какой ты, к дьяволу, отец! Отец-то у нее на черной лакированной легковухе по району разъезжает, а ты ей кто?

Аркадий устало перевел дух, помахал рукой в запотелое лицо.

Жара, жара во всем виновата. После Петрова дня ни одного дождя за целый месяц не было, даже в Ильин день не помочило — вот какой нынче год, — и все, и люди и животина, измаялись до крайности. Сегодня, к примеру, за ночь он пять раз курил — ну и ясно, что утром не успел протез надеть, был на взводе.

А началось все... все началось с семейного наряда. Четко, ясно сказал после завтрака:

— Сегодня, как и вчера, — все на пожню.

— Все, но только не я.

Аркадий попервости подумал: шутит Гелька. Сестер хочет этой перепалкой с отцом встряхнуть, ведь тех, соней, ежели с утра не растрясти, до полудня киснуть будут, — и он еще ответил шуткой:

— Ты-то как раз впереди всех и пойдешь.

— Нет, папа, я сегодня не пойду.

— Как это не пойдешь? С кем решила?

— Я на день рождения к Ире Манухиной поеду.

— Никаких дней рожденья! — уже начал закипать он.

— Но, папа, я же обещала.

— А я медицине обещал, что у верстака каждый день стоять не буду, а вот стою. Чтобы вам пить-исть что было.

— Нет уж, Аркадий Васильевич, надо отпустить девку. — Это Орефьевна, старая курва, высказалась. С утра черт принес в гости! — Девка заслужила выходной. Смалу ломит как незнамо кто...

— Поезжай, поезжай, Гелька! — поддакнула Фаина, а на то, что отец сказал, наплевать.

И у самой Гельки в эту минуту ум отшибло. Первая его помощница, первая советчица, с одного взгляда все понимает, а тут начала смеяться в лицо, да еще, как малого ребенка, по головке гладить.

— Не надо подсказывать папочке. Папочка у нас хороший. Папочка и сам отпустит.

И вот небывалое дело — схватил ремень, огрел изо всей силы.

— Папа, да ты это всерьез?

— А как ты думаешь? Меня всего трясет, колотит, а тебе — шуточки?

И, надо думать, на этом все и кончилось бы — ведь умница же! Как не понять его, дурака? Так нет, Орефьевна дубоголовая огоньку подбросила. Прямо навзрыд запричитала:

— Что, дочерь не родная, не жалко. Кто заступится за сиротину...

— Да не сиротина она! — с новой силой взъярился он. — А ежели сиротина, может хоть сегодня же проваливать! Есть у ей отец.

...И сейчас Аркадий был уверен, что все дело именно в этих последних его словах. Не в ремне, нет. Ремень — ерунда. Боль прошла, и все. А вот когда тебя по душе бьют, когда тебе такие слова кидают... Гордая

девка! Пятнадцать лет за отца почитала, пятнадцать лет думала, что я у себя дома, а чуть не так сказала — и проваливай! Вон из моего дома...

3

Аркадия Лысохина в четырнадцать лет выписали на лесозаготовки, а в семнадцать лет он уж был инвалидом: простудился на осеннем сплаве — и костный туберкулез правой ноги.

Долго, годами кочевал он по всяким больницам и лечебницам, два раза был под ножом, а когда предложили ему и третий раз на операционный стол лечь, он сказал: хватит — и поехал умирать домой.

И вот вскоре после приезда в свою Лысоху он и встретился с фельдшерицей Тоней. Сама пришла к нему, без всякого вызова. Из соседней деревушки. И, помнится, первое, что он увидел, когда она перевалила за порог, — ее дырявые, вдребезги разбитые сапожонки. А весенняя распутица была, самый что ни на есть потоп. И он ей строго сказал:

— Не ходи больше ко мне. Мне все равно крышка, а ты в этих чеботах без ног останешься. Как я.

И еще он пожалел ее потому, что она была с брюхом — шлепнется по дороге, что будет? Криком кричать — ни до кого не докричаться.

Однако через три дня Тоня опять пришла. И опять в этих самых калеках-сапожонках. И тут уж он просто заорал на нее:

— Да ты совсем сдурела, баба! Как тебя и мужик-то отпускает в такую погоду?

— Нету у меня мужика.

— Понятно. Так сказать, невтерпеж стало — досрочно отоварилась.

Тоня расплакалась (кто бы на ее месте не расплакался), но вот какой характер у человека: в один миг все шлюзы перекрыла и так ему больную ногу обработала да промыла, что он в ту ночь спал без снотворного. Впервые за много-много недель.

Назавтра проснулся — солнце во все окна барабанит, журавли на озимях за деревней трубят — с закрытыми окошками слышно, и мать вошла с улицы — так и хлынула весна в ихнюю берлогу.

Э, да хватит тебе лежать! Вылезай на крыльцо, по-

дыши еще напоследок вольным воздухом да полюбуйся на земную красу.

Вылез. На все предписания, на все запреты медицины плюнул, самого Евгения Федоровича побоку, а Евгений Федорович Калистратов — бог в областной больнице. И мало того что вылез. Рубаху еще с себя стащил. Пущай и кости погреются на весеннем солнышке.

Мать увидела — заругалась, запричитала: с ума парень сошел? А парень одно твердит: помирать, так помирать с музыкой.

Тоня ходила к нему целый месяц, и Аркадий целый месяц блаженствовал: стихли боли в ноге, аппетит появился, а потом настал день — и на ноги встал.

Первый большой выход, конечно, в Радово, к ней, своей спасительнице. Нашло, накатило — сдохнуть, а самому доползти до Радова.

Тоня услыхала гром в дверях — не совладал с костылями, — перепугалась насмерть:

— Ой, ой, сумасшедший человек!

— Сумасшедший? Сумасшедшие-то мировые рекорды не ставят, а я сегодня два километра за пять часов пробежал.

— Так вы это пешком? — Тут уж у Тони и вовсе глаза на лоб.

— Пешком! Говорю, рекорд скорости поставил.

— Да вам же категорически нельзя.

На Аркадия опять нашло, накатило — весь день с утра на взводе был, — выпалил:

— А раз мне нельзя ходить, переезжай ты ко мне.

— Я?

— А чего?

— Я что-то вас не понимаю, — пролепетала Тоня.

— Да чего понимать-то? Человек ей руку и сердце предлагает, а она — не понимаю...

Тоня расплакалась — ручьи по полу побежали, — а потом, глядя на него мокрыми, несчастными глазами, сказала:

— Я вам ничего худого не сделала, а вы так издеваться надо мной...

— Да я не издеваюсь! С чего ты взяла, что издеваюсь?

— Но вы же видите, какая я...

— Вижу. С брюхом. — И пошутил, чтобы как-то приободрить невесту: — Имей в виду, эта посудина и впредь пустовать не будет.

Разговоров в этом духе было немало. Тоня заладила — на брюхатых не женятся, колом не своротить, а когда он наконец допек ее, опять мать родная взбунтовалась. И сколько ей ни доказывал Аркадий, что ежели бы не Тоня, так, может, его и в живых-то сейчас не было, укатила от срама к дочери.

А сраму действительно было немало. Потому что часто ли такое бывает, чтобы невеста рассыпалась в первую брачную ночь? А у Тони роды начались, как только переступила порог дома жениха.

4

Падчерицу свою Аркадий разглядел чуть ли не в день похорон жены. То есть видеть-то ее он видел и раньше. Куда от нее денешься? За стол садишься — глаза мозолит, и из-за стола вылезаешь — глаза мозолит. Да только внимания-то он на нее никакого не обращал. Как, впрочем, не обращал никакого внимания и на родных дочерей.

Тоня после первых родов передохнула три годика, а потом как начала выстреливать каждый год по девке (она от родов и умерла) — дай бог силенок да ума, чтобы всех напоить, накормить да одеть, и где уж тут было думать, кто у тебя и как растет.

Смерть жены открыла Аркадию глаза на падчерицу.

Ночью в день похорон проснулся он от головной боли (на поминках стаканами давил горе) и вдруг в углу у печки услыхал плач.

Он встал, осветился спичкой. Малые, то есть родные дочери спали — хоть из пушки пали, не проснутся, а плакала, заглатывая слезы, Гелька.

— Ты чего не спишь?

— В дет-дом не хо-чу...

— В какой детдом?

— Дак ведь я не твоя.

— Не моя? Кто это тебе сказал, что не моя?

— Орефьевна.

— Ну я ей, старой курве, ноги узлом завяжу! Ты мамина, так? А мама-то чья была? Дак соображай теперь, чья ты.

Он натянул на всхлипывающую девочку одеяло, сделал шаг к своей кровати и вернулся.

— Ну-ко пойдем ко мне, а то я тоже не могу заснуть. Мне ведь, девка, не меньше твоего маму жалко,

а что сделаешь? Надо жить. Вас у меня четверо, а большая-то ты одна. Понимаешь?

Кажется, за все эти годы он впервые взял ее на руки и удивился, до чего она была легка. Как пушиночка.

В постели Геля сжалась в комок. А сама худущая-худущая, каждое ребрышко под рукой выступает.

— Да ты не бойся меня. Прижмись. К матери-то ведь жалась.

А с чего жалась-то? Всем хороша была Тоня, никогда не раскаивался, что женился, а первого своего ребенка не любила. Не любила, потому что Гелька не от него, Аркадия. Во всяком случае, он не помнит, чтобы она хоть раз когда-нибудь на его глазах приласкала старшую дочку.

И, подумав так, он обнял девочку, привлек к себе.

— Спи.

Затаилась, замерла, как воробышек, когда того накроешь рукой.

— Спи. Сколько ни убивайся, а матери не воротишь. А нам с тобой надо жить. Девок-то малых, сестер-то твоих, кто будет поднимать-воспитывать?

И тут он почувствовал, как маленькое худенькое тельце под его ладонью с облегчением начало распрямляться. И они оба заснули.

А назавтра утром встал он, встала и она. Он встал, чтобы какой-никакой завтрак, еду сообразить, ведь вот-вот раздастся: «Папа, исть хочу!» Как воронята голодные в гнезде, крик подымут. А она-то чего встала? Ей-то чего не спится?

А она встала, чтобы ему помогать.

И помогала. Ох как помогала! Он со своей клешней туберкулезной куда попал? А ведь надо воды с улицы занести, девок на горшок посадить, на огороде луку нащипать, в лавку за хлебом сбегать, овец из хлева выпустить, посуду прибрать... Все делала. И как быстро делала! Только что крутилась, вертелась возле тебя, шелестела голыми ножонками (летом не заставишь надеть что-либо на ноги: «Босиком-то быстрее, папа»), смотришь, строчит уж по дороге — за молоком побежала. Как трясогузочка, перебирает своими палочками.

И вот прошел какой-то год-два, за хозяйку стала. Даже кассу семейную незаметно для себя передал. Валяй, девка, рассчитывай, что и когда купить, а мое дело пятаки зашибать.

5

Утром он не встал к чаю — сказался больным (да у него и взаправду разболелась нога), — но когда в доме все стихло, заставил себя подняться. Нельзя ему разлеживать! Позавчера из Горок нарочно приезжал Афанасий Фефилов, бригадир по животноводству, — давай, мол, рамы скорей для нового коровника, осень на носу — и, пополоскав теплым чаем кишки (никакая еда в горло не лезла), Аркадий вышел на улицу.

Все то же пекло, все тот же зной. У хлева, в тени, лежат овцы, совершенно обалдевшие от жары, телушка воет во дворе (тоже измаялась от духоты), за рекой канюк плачет, молит бога: дай воды. А бог, поди, с Петрова дня гуляет — некогда краны небесные открыть.

Аркадий по привычке направился было в столярку и раздумал: Орефьевна который уж день просит пол в избе перебрать. Вредная старуха. Это она настропалила девку против него, она запричитала: сиротинушка разнесчастная... Да и вообще у Орефьевны всегда он во всем виноват. А с другой стороны, как не помочь старухе, когда она всю жизнь тебя выручает! Да и патриотка. Все укатили из Лысохи, и ее звали — племянник звал, племянница. Нет, помирать буду, а не поеду. И вот живут-маются два дурака на кладбище (а как иначе назовешь нынешнюю Лысоху?) — он, калека, да она, старуха.

— Чего у тебя с полом-то? — закричал Аркадий еще в дверях и в следующую секунду едва не растянулся: так и взыграла под ногой половица. — Пляшешь ты, что ли, тут одна?

— Ладно, не зубань, к лешакам, а делай, раз пришел!

Вот так, такая вот у него соседушка. Считай за счастье, что тебе в ейном старье разрешают поковыряться.

А поковыряться пришлось основательно. Половая балка возле порога от сырости сопрела (у Орефьевны вечно помои под тазом), и пришлось набивать на нее сосновую подушку да метра на два половицу менять, тоже выгнила.

— Ехала бы лучше к племяшу, чем в эдаком-то мышовнике жить! — сгоряча запустил Аркадий в старуху, когда забил последний гвоздь, потому что страсть как употел: печь натоплена, окошко на запоре — нечем дышать.

Орефьевна в долгу не осталась:

— Пошто я из дому-то своего поеду? Я ведь не Гелька, меня из дому не выгонишь.

— Да ты рехнулась?! Когда это я Гельку-то из дому гнал?

— Кабы не гнал, дак не бежала бы девка без оглядки.

И пошла, и пошла пушить. В общем, в каталажку сажать надо. Зверь, изверг, девку никогда не жалел...

Аркадий поначалу только отмахивался, а потом мало-помалу начал и сам заводиться, а под конец и вовсе в раж вошел.

— Ты завсегда так, завсегда на моих нервах играешь. Не жалел... А помнишь, как о третьем годе сюда отец ейный приезжал?

...Шумилов нагрянул середи бела дня в черной лакированной машине — нарочно за рекой на самое видное место поставил. И сам разодет как на свадьбу: в галстуке, в шляпе, духами надушен. А он тоже надушен духами, только коровьими (как раз в то время в хлеву навоз отметывал, тогда еще корова у них была), небритый, пиджачонко замусоленный, заплата на заплате...

Фаина прибежала:

— Гелькин отец приехал, иди скорее в кладовку переоденься, я костюм тебе вынесла.

И он потрусил было в кладовку, а потом: чего это ему стыдиться, что работал?

Шумилова он до этого не видал и Тоню, бывало, никогда не терзал расспросами (крестовина на прошлом!), а тут глянул — всю кухню собой загородил — и сразу понял: такой кому хошь голову задурит.

Шумилов времени на разговоры не терял. Начал поделовому, как у себя в конторе:

— Вот, товарищ Лысохин, приехал за дочерью. Пора, думаю, ей начинать новый этап.

— А это уж как она сама. У нас свобода, — сказал Аркадий.

А Фаина, та в слезы: никак не ожидала такого поворота. Да ежели правду сказать, его и самого пóтом прошибло. Потому что чтó же это такое? Жили-жили всю жизнь вместе и вдруг — не твоя девка.

Меж тем в избу вошла сама Гелька. С сестрами за черникой за реку ходили.

— Папа, папа, на той стороне чья-то машина стоит... — И вдруг осеклась, увидав родного отца.

Аркадий, собравшись с силами, сказал:

— Вот, Ангелина, отец за тобой приехал...

— Да, дочка, пора тебе вернуться к родному отцу, — сказал Шумилов.

— Нету у меня другого отца, кроме папы, а папу моего зовут Аркадий Васильевич Лысохин, и я его дочь. — Отчеканила так, как будто загодя выучила. А кто его знает, может, и выучила: знала ведь, что у нее родной отец есть, этого в семье не скрывали.

Шумилов такого, конечно, не ожидал (он думал, на колени упадет Гелька от радости), Шумилов страшно побледнел (так же, между прочим, бледнеет и Гелька) и уже заговорил тоном пониже:

— Это правильно, конечно, дочка, Аркадий Васильевич много для тебя сделал, можно сказать, второй отец, но понимаешь, какое дело...

— Нечего мне понимать, — опять отрезала Геля, — у меня есть папа, а другого отца мне не надо, — и только и видели ее: хлопнула дверью.

Шумилов — эдакий разодетый, раздушенный туз, эдакий кедр под самый потолок, и что перед ним он? Да еще в этом парадном костюмчике, отутюженном коровой. А вот Гелька ни минуты, ни секунды не раздумывала: мой папа — и баста! Никакого другого не хочу.

Да, радость переполняла Аркадия, хлестала через край. Даже в тот день, когда он сам на своих ногах приковылял к Тоне в Радово, кажется, в тот день он не был так счастлив, как сейчас.

Но он увидел поникшего, красного от стыда Шумилова, привыкшего всю жизнь подавать команды, и примиряюще сказал:

— Ты уж извини, товарищ Шумилов, что так получилось... Может, поумнеет еще... Может, и к тебе повернется лицом...

6

На небе, пока он возился с полом у Орефьевны и переругивался с нею, появились льняные начесы, и у Аркадия по-крестьянски взыграло сердце: авось натянет дождя. Но к радости сразу же прибавилась и тревога: догадается ли Фаина сложить сено в стог? Фаина не Гелька. Это та глянула-зыркнула вверх и сра-

зу все поняла, а Фаина в лесном поселке выросла — откуда ей в крестьянской грамоте разбираться?

Аркадий вывел своего коня из сарая — старый, много лет служивший велик — и покатил на пожню.

Луга у них начинаются сразу за деревней, вверх по реке, а это значит, что ему, живущему в нижнем конце, надо проехать через всю деревню, а вернее сказать, через деревенское кладбище.

Была, была Лысоха, одно время даже колхозную контору имела (тридцать пять домов своих да двадцать семь в соседнем Радове — чем не колхоз?), а в войну и после войны сколько мяса, сколько молока давала государству! А потом начали мудрить, начали укрупнять да разукрупнять — люди дай бог ноги: кто в леспромхоз, кто в город, кто куда, а потом уж и совсем черт-те что — неперспективкой объявили.

Четыреста годов перспективкой была, четыреста годов Лысоха здравствовала (Аркадий сам это вычитал в одной книжонке, когда в больнице лежал) — и вдруг команда: сматывай удочки, вытряхивайся из своего дома. Да, скот перегнали в Горки, школу прикрыли, лавку прикрыли — как жить?

Аркадий восстал. Аркадий, самый худявый мужичонка в Лысохе (в смысле здоровья, конечно) уперся ногами и руками: не брошу родную деревню, сдохну, а с места не сдвинусь. И первой опорой его, первой помощницей в борьбе за родную Лысоху — они так и выражались иной раз, чтобы пожарче раскочегарить себя, — была Гелька. К примеру, тот же ларек. Как жить без хлеба? Не будешь же каждый день ездить за семь верст в Горки. «Ничего, папа, наши отцы-матери пекли сами, и мы печь будем». И пекли. Фаина по этой части всем специалистам специалист.

А кино взять. Ведь у всех этих районных прижимщиков, которые Лысоху подвели под монастырь, какой главный козырь? Культура. Дескать, малым деревням культуры дать не можем. Кино, телек там и все такое. «Будет у нас, папа, кино, — сказала Гелька. — Добьемся». И добились. Написали в район, написали в область — разрешили пользоваться старыми кинокартинами. И Гелька еще три дня назад крутила «Чапаева» (специально в школе выучила киношное дело). Крутила в клубе, хотя, конечно, для ихней семьи да для Орефьевны можно было и не открывать клуб. Но разве Гелька согласилась бы такое важное меропри-

ятие (тоже ейное словечко!) у себя в доме проводить?

Клуб в Лысохе, неказистый четырехстенок с сенцами, поставлен каких-нибудь двенадцать лет назад, еще при жизни Тони, и это была единственная во всей деревне постройка, не считая, конечно, дома самого Аркадия и Орефьевны, которая сохранилась в целости. А все остальные...

Большая ли эта радость — разглядывать рот у старой старухи? Ни единого здорового зуба. Одни старые коренья торчат. Так вот такая сейчас была и Лысоха. Все мало-мальски годявые дома увезены. Одни в Горки, другие в райцентр, третьи еще куда-то. А осталось старье да гнилье, заросшее буйным ельником крапивы.

И Аркадий ехал по деревне, сцепив зубы, не глядя по сторонам. А за деревней для него началась новая пытка — луга.

Раньше сена у них на этих лугах было невпроворот. Свой скот кормили и еще в Горки всю зиму возили. А сейчас что? Стожок там, стожок тут — пожни подменили, что ли?

Нет, «передовой» метод уборки, так сказать, по последнему слову науки делают. Середину у луга выстригут, а в кулиги, в кусты, в залузья (а там главные сена) и не заглядывают. Вот вам и результаты — два-три стожка на всем лугу.

Участок Аркадию выделили неблизко — за четыре километра от деревни, за Фалькиным ручьем, который и пехом-то не скоро возьмешь (завалило ольшаником), а с велосипедом он и подавно намаялся.

На пожню выбрался весь мокрый, от пота глаза ослепли, а когда огляделся вокруг — где Фаина, где девки? Шесть копешек, шесть грибков свежего сена на выкошенной пожне, ветерок слегка треплет сухое, еще не улежавшееся сенцо (может, и в самом деле соберется дождь), а куда девались сами сеноставы?

— Эге-гей! Давай сюда!

Он кричал, сложив руки трубой, в одну сторону, кричал в другую, в третью — никто не отозвался.

Все понятно, со вздохом сказал себе Аркадий, укатили домой. И укатили берегом, потому и не встретил по дороге. Да, девки приступили: мама, пойдем рекой, хоть выкупаемся; а мама и растаяла: любит, когда его дочери называют мамой.

Аркадий в нерешительности поднял глаза к небу. Льняные начесы не стали гуще. И вообще мало похо-

же, что из них родится дождь. А с другой стороны, кто может наверняка сказать, что на уме у бога?

Больная нога ныла. От усталости? От предчувствия погоды?

Нет, нельзя до завтрашнего дня оставлять сено в копнах. Всякое может быть. И он, отвязав от багажника велосипеда топор, пошел рубить стожары.

7

Какая это работа для здорового мужика — шесть копешек сухого сена скидать в стог? Не работа, а разминка. А он проваландался целых четыре часа. Разломило больную ногу, криком кричит: не могу. Да и с головой что-то неладно сделалось — сколько раз прикладывал ко лбу мокрую тряпицу.

В общем, он выехал домой, когда уж вечерело, и на душе у него было слякотно.

Нет, нет, без Гельки ему не воевать за Лысоху. Силенка-то, правда, кое-какая еще есть, весной в районной больнице авторитетно сказали: можно жить, ежели режим выдерживать. А кто костер в нем будет раздувать? Фаина да девки и раньше-то в сторону Горок поглядывали — надоело жить в глуши, без людей, без электричества, — а теперь, когда Гельки нет, с утра до ночи будут зудить: папа, поедем в Горки... Папа, поедем в Горки...

Гелькой, Гелькой он держался. И не только летом, а и зимой. Зимой из Горок на выходной прибежит — как солнце, как весна ворвется в избу. На всю неделю заряд. Да и летом — что за жизнь без Гельки? Кто съездит за газетами в Горки? А Гелька взяла за правило: ни дня без свежих газет! И вот дождь ли, ветер, устала, нет, хочется не хочется — поехала. В лодку села, мотор завела — «вперед за политикой!».

Кое-как дотащившись до старых полевых ворот, за которыми начиналась деревня, Аркадий слез с велосипеда: отказывается работать больная нога. Да надо и успокоиться. Нельзя в таком вот разобранном виде заявляться домой, когда там и без него вой стоит.

Привалившись спиной к одному из столбов, оставшихся от порушенных ворот, Аркадий попробовал было представить свою жизнь без Гельки (надо же в конце-то концов трезво взглянуть на дело) и сразу же сплюнул. Ничего не получалось без Гельки. Трех дочерей

нарожал, три дочери родные по крови, по плоти, а разве они заменят Гельку? Кто из них хоть раз по-настоящему согрел отцовское сердце?

В деревне темнота стала заметно гуще — похоже, и в самом деле собирается дождь, — и он набил же себе шишек! Деревни нет, домов нет, изгородь давно пропала, а он на каждый кол, на каждую жердину натыкался. Наконец он выбрался из мрака, глаза укололи хрупкие золотые лучики, которые венчиком разбегались от лампешки в кухне, подъехал к крыльцу.

Что такое? Музыка в доме?

Девки на всю катушку врубили приемник. Этим все равно. У этих душа ни о чем не болит — было бы только весело...

Закипая от злости, Аркадий начал заталкивать велосипед в угол между крыльцом и стеной кухни (не хотелось тащиться в сарай), и вдруг ему почудилось, что в незанавешенном окошке мелькнуло Гелькино лицо.

Какое-то время он стоял с закрытыми глазами (сердце подкатило к самому горлу — не дыхнуть), затем выпустил из рук все еще теплое железо руля и подошел к окошку.

Кухня ходила ходуном — от музыки, от скачущих, обезумевших от радости девок, Фаина и Орефьевна тоже на аллилуйю пели, но он в эти минуты видел только одну ее, Гельку. Гелька улыбалась. Улыбалась мачехе и Орефьевне, улыбалась тормошившим ее сестрам, но черный-то глаз ее, настороженно, по-птичьи скошенный к входной двери, не улыбался. «Меня ждет», — догадался Аркадий.

За домом отчаянно заливался пес — не иначе как выяснял свои отношения с новой кошкой Орефьевны, — по-прежнему грохотал в доме приемник, а он, обхватив голову руками, сидел на скамейке под окном, на которой любил вечерком выкурить сигаретку, и мысленно говорил себе: боже мой, боже мой, какой же ты все-таки остолоп! Гелька не вернется, Гелька уехала насовсем... Да как ты мог так худо подумать о девке? Гельку, самого близкого человека, не знал... Дак что же ты вообще-то знаешь-понимаешь?..

Наконец он встал, выбрался из своего укрытия, поднялся на крыльцо и опять задумался. Задумался над тем, как войти в свой собственный дом.

1970—1981

ПОТОМОК ДЖИМА

Жили-были в предвоенном Ленинграде художник Петр Петрович и его жена Елена Аркадьевна. И был у них Дар, черный красавец доберман-пинчер.

Хозяева души не чаяли в своем Даре. Умнейший, благороднейший пес! И в высшей степени услужливый.

Утром, бывало, Петр Петрович еще только протирает глаза, а он уж держит в зубах ночную туфлю. Потянулся Петр Петрович за папиросой — пожалуйте спички. Ну а ежели Петр Петрович за кисть возьмется — замер. Перестал дышать. Сплошная истома и блаженство. И Петр Петрович, не очень-то избалованный вниманием как художник, вздыхал: «Ах, если бы так понимали искусство те, кому это положено! На какие высоты мы бы поднялись!»

Отношение Дара к хозяйке укладывалось в одно слово — джентльменство. Джентльменство, какого ныне поискать и среди людей. Скажем, возвращаются они с покупками из магазина или с рынка. Позволить Елене Аркадьевне тащить сумку? Ни за что на свете! Легкую поклажу в зубы, а та, что потяжельше, — на спину. И вышагивает, вышагивает, к зависти и восторгу прохожих, слегка пружиня сухие, мускулистые ноги в коричневых чулочках, чуть-чуть грузноватый, закормленный и все-таки элегантный, подтянутый, с тонкой лоснящейся кожей с рыжими подпалами, как бы весь налитый жаром изнутри.

Совсем других правил придерживался Дар в отношении друзей и знакомых дома. Такт, корректность — это всенепременно, но в то же время никакого амикошонства, никаких нежностей, до которых особенно охочи восторженные дамочки.

Квартира Петра Петровича и Елены Аркадьевны была открыта с утра до ночи, к ним перли все, кому не лень, — благо всегда можно задарма поесть и выпить. Дару это не нравилось. Но что поделаешь с его чересчур хлебосольными хозяевами, да к тому же еще слегка бравирующими своей богемностью?

Зато когда хозяев дома не было, Дар не церемонился. Впустить в квартиру впустит, а обратно хода нет. Сиди! До тех пор сиди, пока не вернется один из хозяев. Ну а ежели гость попадался строптивый, своевольный, тогда Дар ложился поперек дверей и издавал та-

кой утробный звук, от которого гость моментально трезвел.

Одним гостям Дар позволял все — малым детям. Дети могли вытворять с ним все, что угодно: гладить, хлопать, даже садиться верхом. Правда, самому Дару это не доставляло большого удовольствия, но он терпел. Терпел, сцепив зубы, потому что бездетные хозяева были без ума от детей. А потом и то надо было принять во внимание: разве сам-то он не был маленьким?

Была у Дара и еще одна слабость — он был сладкоежка, и именно из-за избыточного веса его, умнейшего и благороднейшего пса, не допустили к участию в собачьей выставке.

В то лето, с которого начинается наш рассказ, Дару исполнилось десять лет, и по этому случаю Петр Петрович и Елена Аркадьевна решили закатить пир.

Праздничный обед с шампанским, с обильным набором всевозможных пирожных и тортов, любимого кушанья новорожденного, назначили на воскресенье, на то роковое воскресенье, когда в советский дом вломилась война. И надо ли говорить, что обед не состоялся?

Петра Петровича как белобилетника на фронт не взяли, но мог ли он в такое время сидеть дома?

Петр Петрович напросился на оборонные работы, а вместе с ним отправился и Дар: никакими уговорами, никакими строгостями не могли удержать его.

Дар не рыл с утра до ночи раскаленный песок лопатой, не долбил ломом заклеклую, ставшую каменной в то жаркое лето глину, не надрывался над стопудовой тачкой, но он тоже строил оборону. Ибо одно его присутствие тут, вблизи от ревущего огня и железа, один его домашний, всегда такой франтоватый, неунывающий вид снимал с людей усталость, наполнял их бодростью и верой.

А Петр Петрович, слабенький, вечно зябнувший Петр Петрович... Что бы он делал без своего верного друга?

Спать приходилось под открытым небом, прямо на земле, а потом и вообще пошли холодные ночи — замерзай, щелкай зубами до самого утра. А когда рядом с тобой Дар — привались к его горячему мягкому боку и лежи, как на печи.

Осенью в осажденном городе начался голод. Петру Петровичу и Елене Аркадьевне пришлось туго вдвойне: на Дара карточку не давали.

Друзья в один голос твердили: надо прощаться с Даром. Это безумие — держать собаку в такое время. Но Петр Петрович и слышать не хотел. Предать друга в беде, да как после этого жить?

Раз в сумерках Петр Петрович прохаживался с Даром возле своего дома. Был уже снег, припекал мороз. Петра Петровича била дрожь, хотя он намотал на себя уйму всякой одежды. Он попытался перейти на трусцу, но начавшие пухнуть ноги чугуном врастали в землю.

Уже когда они подходили к парадным воротам дома, на них напали двое мужчин. Вернее, напали на пса, потому что сам-то Петр Петрович их не интересовал. Они только ткнули его рукой, и он упал, а на Дара пытались накинуть сетку.

Дар в один миг раскидал доходяг, и, если бы Петр Петрович не успел подать команду, бог знает, чем бы все кончилось.

После этого случая Петр Петрович уже не решался выводить пса из дома, да ему и самому не под силу стали прогулки: он слег.

В середине декабря Петра Петровича удалось устроить в госпиталь. Дар, доселе покорно следовавший законам вынужденного затворничества, тут вышел из повиновения. Он проводил своего хозяина до госпиталя и затем, несмотря на лютую стужу (а ведь у него была очень короткая шерсть), долго сидел у занесенного снегом крыльца и безутешно, как это умеют только собаки, плакал.

С этого дня Елена Аркадьевна целыми днями пропадала на толкучке. Картины видных мастеров, отечественных и зарубежных, золотые кольца, браслеты, редкие книги — все меняла на хлеб, на землистый блокадный хлеб с множеством примесей, на дуранду, на жмыхи — только бы спасти своего Петю.

Однажды ей крупно повезло: она сумела на одну бесценную вещицу выменять кусочек мяса, да не какой-то там костлявой и жилистой старучины, а свежей благоухающей печени.

Сразу воспрянувшая духом, Елена Аркадьевна сварила печень в кастрюльке и тем же часом отправилась в госпиталь.

— Петюля, Петюленька! Что я тебе сегодня принесла-то.

Она вынула из сумки сверток, развернула и застонала: перепутала... Вместо кастрюльки с печенью завер-

нула такую же на вид кастрюльку с кипятком, которым грелась перед тем, как выйти на улицу.

Она не помнила, как бежала назад мертвыми, безлюдными улицами и переулками, барахталась в снежных сугробах, не помнила, как поднималась к себе на второй этаж, открывала дверь. Все мысли, все ее помутневшееся от ужаса сознание были сосредоточены на маленькой, продымленной кастрюльке, забытой на чугунной «буржуйке». И на Даре, на голодном Даре, по ее вине оставшемся один на один с одуряюще вкусно пахнущим мясом.

Дар не прикоснулся к кастрюльке, даже крышку не сбил с нее. Но что стоило ему это? На полу была лужа слюны.

Кусочек печени не поднял Петра Петровича на ноги. Наоборот, после этого он, казалось, еще быстрее покатился навстречу бездне.

Доктор, дальний знакомый, сам страшнейший дистрофик, в тот раз, провожая Елену Аркадьевну, сказал:

— Выход у вас один, голубушка. И вы знаете какой.

— Пожертвовать Даром? Нет, нет, я лучше сама умру.

— Ах, Елена Аркадьевна, Елена Аркадьевна! Чем может помочь ваша смерть Петру Петровичу?

— Но Петя, когда узнает, проклянет меня.

— Ну, смотрите, смотрите. Недельку еще, надеюсь, протянет, а дальше... — И доктор покорно и обреченно развел руками.

К этому времени Дар сильно отощал и высох, но благодаря жировым излишкам, из-за которых он когда-то не вышел в призеры, он все еще походил на собаку. И конечно, как умел, исполнял свои обязанности. Всякий раз, когда хозяйка, возвращаясь с толкучки, начинала скрежетать железным ключом в промерзших дверях, он вылезал из своей конуры, оборудованной под столом, и встречал Елену Аркадьевну стоя, в духе прежнего, раз навсегда усвоенного джентльменства.

В дни же прихода хозяйки из госпиталя его от волнения охватывала дрожь, и, уткнувшись мордой в заиндевелую полу шубы, он жадно втягивал в себя ее запахи в надежде уловить среди них единственный и неповторимый запах хозяина.

Сегодня Дар не вылез из конуры.

— Дар, Дар... Но я же ничего не сказала... У меня и в мыслях ничего такого не было...

Дар не подавал никаких признаков жизни. В промерзлое, мохнатое от инея окно кухни, похожей на каменный склеп, скупо сочился неживой свет кончающегося декабрьского дня.

«Может, он заболел?» — подумала Елена Аркадьевна.

Она наклонилась к конуре, протянула к отверстию руку, и тут пес заурчал, щелкнул зубами.

Елена Аркадьевна была потрясена — никогда в жизни Дар не позволял себе ничего подобного. Не раздеваясь, она села на кровать и заплакала.

— Дар, Дар, я этого не заслужила. Ну чем, чем я виновата, что кругом война, смерть, что Петр Петрович умирает? Я не хочу, видит бог, не хочу твоей смерти. Но что мне делать? Как спасти Петра Петровича?

То ли на пса, как всегда, магически подействовало имя хозяина, произнесенное Еленой Аркадьевной, то ли он сжалился над ней, слабой, беспомощной женщиной, но он вылез из своей берлоги и тихо и виновато лизнул ей руку.

Елена Аркадьевна хотела приласкать, обнять добермана (сколько раз за эти страшные дни, что она жила одна, без мужа, она черпала силы в разговоре с ним!), но, встретившись взглядом с его темными, исстрадавшимися, всепонимающими глазами, она еще пуще прежнего разрыдалась.

— Дар, Дар... Я ничего, ничего не сказала ему... — Она имела в виду дворника, который снова сегодня, который уже раз за эту неделю, предлагал ей свои палаческие услуги.

Впоследствии, тысячу раз возвращаясь в мыслях к тому, что произошло в этот вечер, она больше всего казнила себя за то, что забыла закрыть за собой на крюк двери. Ибо постучись к ней дворник, разве она открыла бы ему?

Дворник вошел в ту минуту, когда она разговаривала с Даром.

— Пришел, Елена Аркадьевна... Пора кончать с этим делом.

— Нет, нет... Не сегодня...

— Да чего тянуть-то? Неужели вам пес дороже мужа?

— Завтра, завтра... В другой раз...

— Да до другого-то раза я сам не доживу...

Гремя огромными, словно из железа выкованными

ботами, дворник подошел к Дару, накинул ему на шею веревку. И Дар, Дар, который никогда за свои десять с половиной лет жизни не терпел ни малейшего насилия, тут не оказал ни малейшего сопротивления.

Петр Петрович был спасен.

О Даре он не спросил Елену Аркадьевну ни разу, да и вообще разговаривали они теперь только в самых необходимых случаях.

Раз, вскоре после снятия блокады, они вышли на улицу подышать свежим воздухом, а вернее, погреться, потому что был дивный, солнечный день. И вот не успели они перейти улицу, как на глаза им попался белый пудель. Первая собака, которую они увидели за эти два года в городе.

Пуделя на поводке вел старик интеллигентного вида, и оба они — и белый пудель, чистенький, расчесанный, с нарядной попонкой, и прямой, молодцеватый старик, тщательно, до блеска выбритый, в черных, туго обтягивающих красивые руки кожаных перчатках, — оба они походили на каких-то сказочных существ, пришедших в этот, все еще нежилой город не то из довоенного времени, не то с другой планеты.

Ни единого слова не было сказано между Еленой Аркадьевной и Петром Петровичем, но с этого дня Елена Аркадьевна слегла и через полгода умерла.

Петр Петрович пережил жену на три года. В годовщину смерти ее он возложил на ее могилу скромное, но с редким вкусом им самим обработанное гранитное надгробие, а рядом с могилой жены поставил гранитную стену, на которой высек такие слова:

«В ПАМЯТЬ НЕЗАБВЕННОГО ДРУГА ДОБЕРМАН-ПИНЧЕРА ДАРА, ЗАЩИТНИКА И МУЧЕНИКА БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

В последние два года Петр Петрович почти не выходил из своей квартиры и все рисовал и рисовал своего Дара...

Эту печальную, но и возвышающую дух историю рассказала мне одна старая приятельница Петра Петровича и Елены Аркадьевны. Она же указала мне и кладбище, на котором похоронены Петр Петрович и Елена Аркадьевна.

Увы, кладбища этого давно нет. На месте его стоят новые жилые дома.

1983

ЕСТЬ, ЕСТЬ ТАКОЕ ЛЕКАРСТВО!

Избушечка у бабы Мани — бывшая банька, единственная в деревне постройка, которая уцелела от войны, при ней огородик величиной с волейбольную площадку, а деревьев всего одна береза, да и та инвалид Отечественной войны — будто культяпки, подняла к небу сухую развилку, обрубленную снарядом.

Но любит, обожает птичий народ бабы Манину усадебку. Горластые воробьи-забияки разживаются на ней с утра до ночи, белобокие сороки запросто, как на качелях, качаются на березе, вороны, голуби справляют свои свадьбы. А у кого весной первую песню поет красавец скворец? У бабы Мани. На березе-инвалиде, к которой она еще в тот день, когда вместе с земляками вышла из партизанских лесов, приладила немудреную, наспех сколоченную скворечню.

Соседям это было в диво. У них-то скворчиные дома — терема резные на шестах. И со всеми удобствами: тут тебе и леток с хитроумными дверками, тут тебе и полочка, и ветка березовая — садись куда хочешь да пой свои песни.

А вот не рвутся скворцы в эти терема. Весной целыми днями за бабы Манину развалюху воюют, и только после окончательного дележа какой-нибудь неудачник поселялся в теремах.

— Баба Маня, — допытывались соседи, — скажи нам свое птичье слово, которым скворчишек к себе приманиваешь.

— Да какое у меня птичье слово? Никакого птичьего слова я не знаю. Разве иной раз от скуки выйдешь да поговоришь с ними. Вот и все мое птичье слово.

В ту весну баба Маня решила немножко подновить свою скворечню, а то, чего доброго, рассердятся скворушки — к соседям улетят. Всякая божья тварь любит заботу о себе.

В теплый солнечный день она вышла из дома, протоптала в снегу тропку к березе-инвалиду, затем принесла лесенку, приставила ее к стволу дерева.

Старенькая, дряхлая была баба Маня. На первые три поперечины кое-как поднялась, а дальше — голова закружилась — свалилась в снег.

Какое-то время она лежала в снегу без сознания, а потом слетелись на березу воробьи и давай кричать всем скопом:

— Вставай, вставай, баба Маня! А то простудишься.

Баба Маня встала. Встала, с трудом добралась до дома и слегла: у нее началось двустороннее воспаление легких.

Больше месяца не поднималась с постели баба Маня, и врачи не сомневались: умрет старуха. Нет на свете такого лекарства, чтобы старого человека воскресить из мертвых.

Есть, есть такое лекарство!

Его бабе Мане принесли скворцы.

Однажды ранним утром пришла в себя баба Маня — и что такое? Кто стуком стучит во все окошечки ее убогой лачужки?

Она подняла от подушки старую голову — и, боже ты мой: скворушки! Ее любимыши. Стучат, колотятся желтыми клювиками в рамы, бьют вороneными крылышками в стекло:

— Вставай, вставай, баба Маня! Мы тебе здоровье принесли.

Баба Маня от бессилия уронила голову на подушку, заплакала:

— Нет, нет, не могу, ребята. Мне уж не подняться, не встретить вас больше.

— Да как не встретить! Кто сказал, что у тебя сил нет?

Баба Маня сделала над собой немыслимое усилие и поднялась. Не могла она умереть, не посмотрев последний раз на свою любимую птицу.

Хватаясь руками за стены, за косяки дверей, она выползла на улицу, на теплое солнышко, оперлась на легкий, побелевший от старости, как она сама, батожок и долго так стояла с закрытыми глазами, с наслаждением вслушиваясь в весеннюю песню скворцов.

С этого дня баба Маня пошла на поправку.

1983

СОДЕРЖАНИЕ